



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

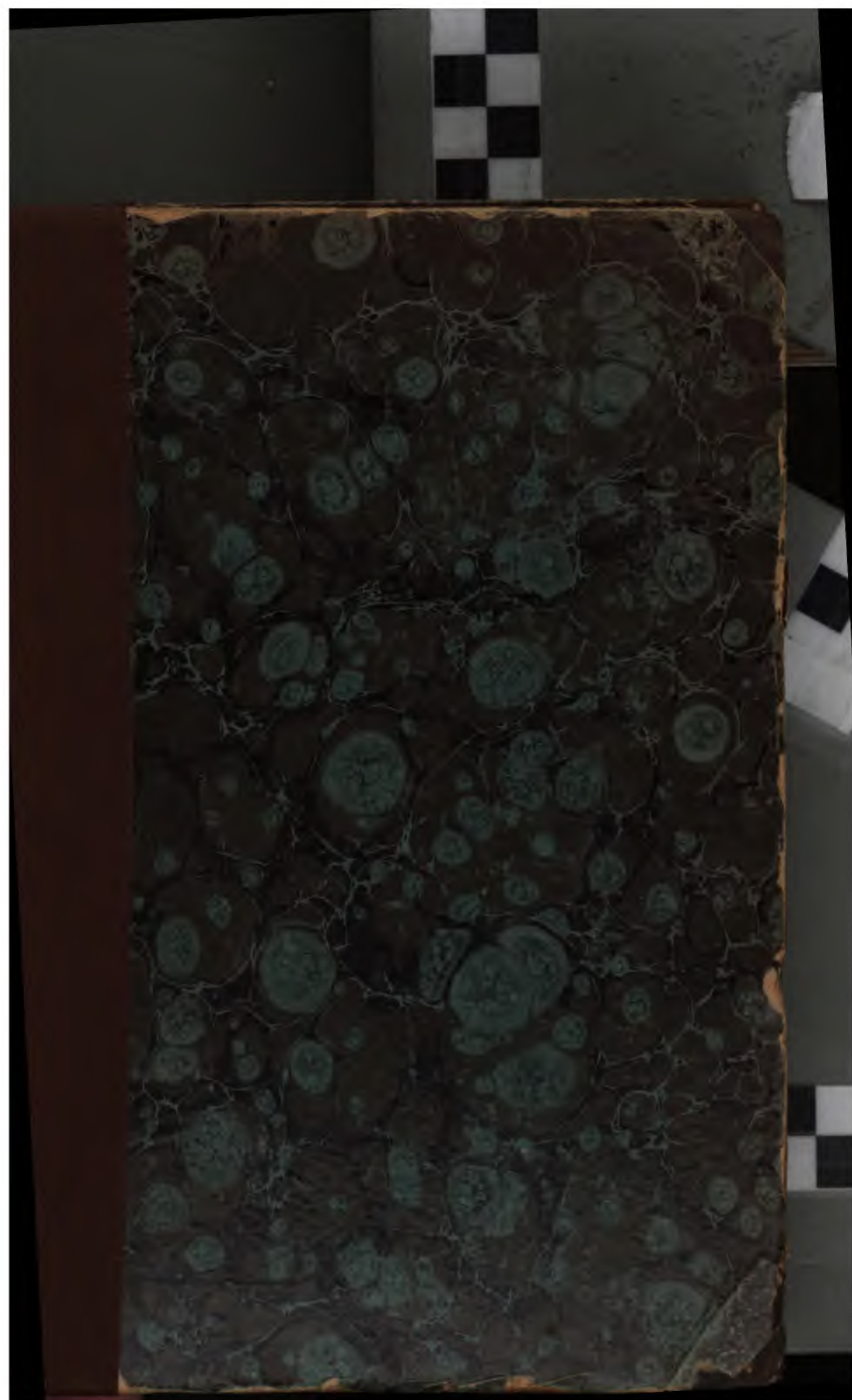
Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.  
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>







2

22-

Государственный  
Книжный фонд

2075/6251

29.03/1999



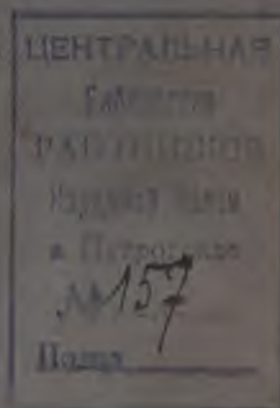
# ИЗЪ ПЕРЕЖИТАГО

АВТОБІОГРАФИЧЕСКІЯ ВОСПОМИНАНІЯ

Н. Гилярова-Платонова.



ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.



ИЗДАНИЕ

Товарищества М. Г. Кузнецова.

МОСКВА—1886.

Isau-let Tam R. C. Iyazawa, Elkon, Itagawa ya Isau-pokot, rep. ind. a

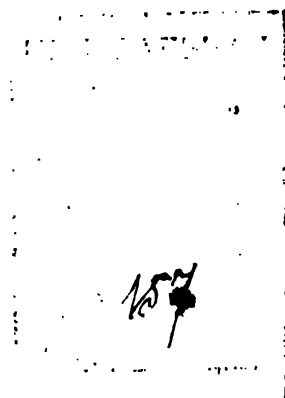


*Гильаров-Платонов, Н. Р.*

# ИЗЪ ПЕРЕЖИТАГО

АВТОБІОГРАФИЧЕСКІЯ ВОСПОМИНАНІЯ

Н. Гильарова-Платонова.

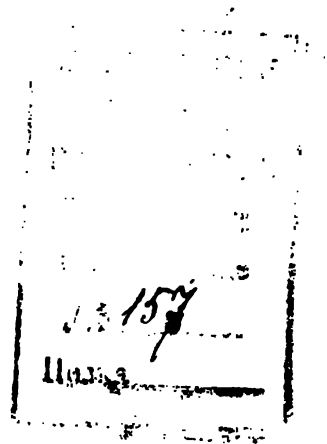


ИЗДАНИЕ

Товарищества М. Г. Кузнецова.

МОСКВА—1886.

CT/218  
G5-13  
v. 1/2



## ИЗЪ ПЕРЕЖИТАГО

Разъ, когда я разрѣзвился болѣе обыкновеннаго, сестры пожаловались на меня отцу, и онъ отвѣтилъ коротко: „А вотъ я его отведу въ семинарію“. Онъ называлъ духовное училище „семинаріей“ по старой памяти: онъ учился еще тогда, когда нашъ городъ, хотя и уѣздный, былъ епархіальнымъ. Въ немъ былъ свой архіерей и своя полная семинарія, отъ инфимы до богословскаго класса включительно. Тридцать лѣтъ прошло уже съ тѣхъ поръ, но у родителя моего такъ и осталось названіе „семинаріи“ до конца жизни; а онъ прожилъ и еще слишкомъ двадцать лѣтъ.

Трудно изобразить чувство, охватившее меня при словахъ отца: не то испугъ, не то смущеніе. Особенно страшнаго ничего не предвидѣлось. Одинъ изъ учителей, и именно тотъ самый, къ которому на руки мнѣ приходилось поступить съ самаго начала, былъ близкій человѣкъ, двоюродный братъ; не такъ еще давно поступивъ на учительское мѣсто,

онъ даже проживалъ временно у насъ до пріисканія квартиры; раскладывалъ по вечерамъ ученическія тетрадки чистописанія и передавалъ сестрамъ при мнѣ свои классныя впечатлѣнія. Я не вслушивался; но міръ отчасти, хотя заочно, мнѣ былъ знакомъ. Тѣмъ не менѣе сердце оборвалось у меня. Это было чувство невѣсты, сговоренной за неизвѣстнаго въ далекую сторону; мнѣ жаль было воли, жаль разлуки съ беззаботною жизнью; смутно предчувствовалась дисциплина, своенравію предвидѣлся конецъ. А я былъ нервный мальчикъ; любилъ дѣлать на зло, хотя не со зла; находилъ потѣху въ тѣхъ шалостяхъ, которыя пугали и тревожили сестеръ. Другаго міра не было у меня; уже годъ какъ не стало матери; ее замѣнила изъ трехъ сестеръ старшая, разнившаяся со мной пятнадцатью годами. При отцѣ я былъ тихъ или проводилъ время на дворѣ, въ саду, на лужайкѣ предъ домою. Но лишь батюшка отлучался, шелъ дымъ коромысломъ: сестры приходили въ отчаяніе, и въ одинъ изъ такихъ-то случаевъ принесли на меня жалобу, которая могла для меня окончиться даже чувствительнѣе нежели обѣщаніемъ отвести въ семинарію: я попробовалъ бы плетки.

Итакъ, прощай воля!

Однако я долженъ познакомить читателя подробнѣе со всею обстановкой, среди которой выросъ, и начать издалека. Плебейское происхожденіе не позволяетъ простирается мнѣ вдаль на цѣлые вѣка; однако родословіе все-таки не потеряно для меня, по меньшей мѣрѣ съ половины прошлаго столѣтія. Читатель долженъ знать моихъ дѣдовъ, долженъ пред-



ставить себѣ этотъ мало или односторонне освѣщенный міръ, далеко ушедшій и теперь даже невѣроятный; видѣть развивавшіеся въ немъ характеры, а у нѣкоторыхъ они были недюжинные. Одинъ изъ умнѣйшихъ людей Россіи (П. В. Кирѣевскій) говаривалъ, что Россія живетъ въ многоярусномъ бытѣ. Часть не дошла еще до XVIII столѣтія; а гдѣ-нибудь въ Пинскихъ лѣсахъ, отрѣзываемыхъ отъ остальнаго міра болотами на цѣлые полгода, въ какомъ-нибудь Мозырскомъ уѣздѣ, гдѣ уже на нашей памяти запаль разъ исправникъ, наступленіемъ лѣта разобщенный со своей резиденціей и даже исключенный изъ списковъ какъ умершій,—въ этомъ глухомъ углу живо пожалуй XIII столѣтіе. Подобныя же границы столѣтій пролегаютъ и въ одной мѣстности, но въ разныхъ слояхъ населенія. Въ той же Москвѣ большинство живетъ исходомъ XIX столѣтія, а безспорно, для другихъ это столѣтіе еще не начиналось. Понятія и быть другъ другу незнакомые, хотя рядомъ живущіе и даже сносящіеся между собой отчасти. Духовенство же есть вообще особенный міръ; а семья, среди которой я выросъ, была и среди особенныхъ особенная: она жила въ XVII вѣкѣ, по крайней мѣрѣ на переходѣ къ XVIII. Консерватизмъ моего родителя былъ чрезвычайный: онъ жилъ вполне какъ его отецъ, и съ очень малымъ отличіемъ отъ того, какъ жили дѣдъ и пра-дѣдъ. Мать и сестры были представительницами прогресса, порывались на нововведенія: сестры ходили уже въ платьяхъ, мать мѣняла сарафанъ на платье для торжественныхъ случаевъ; но всякія нововведенія прививались туго, тѣмъ болѣе что мы,

какъ Мозырскій уѣздъ, отдѣлены были отъ міра. У насъ почти не было знакомыхъ; гостей не принимали и сами не бывали ни у кого. Домъ нашъ былъ своего рода скитомъ, гдѣ царилъ угрюмый, вѣчно молчаливый патріархъ, и при немъ мы, подрастающая дѣвичья молодость и полуребенокъ сынъ.

Сколько однако пришлось пережить и переизпытать затѣмъ! Послѣ тѣсной родительской хранины съ лежанкой, палатами и свѣтелкой; послѣ этой невозмутимой тишины, гдѣ шель одинъ день за другимъ ничѣмъ не разнообразясь, кромѣ того что сегодня скоромный, а завтра постный день, а вотъ скоро наступитъ храмовой праздникъ или „Свѣтлый день“; послѣ школы съ ея сѣкуціями, кулачными боями и насѣкомыми; послѣ міра, въ которомъ горячій, оживленный интересъ возбуждали вопросы, какъ править службу, когда сойдутся Благовѣщенье, храмовой праздникъ и Великая Пятница въ одинъ день; послѣ умственной почвы, гдѣ на фонѣ Четыхъ-Миней, легендъ, бытовыхъ пѣсенъ улегались какъ-то и послѣдняя книжка *Телеграфа*, и латинская грамматика; послѣ этого и изъ этого—участіе въ водоворотѣ быстро текущей всемірной жизни, ученая и отчасти политическая арена, аудиторіи, кабинеты министровъ и дворцовыя залы, знакомство съ лицами имѣвшими историческое значеніе для отечества; круги литературные и ученые; собственное, хотя и маловажное, участіе въ немаловажныхъ событіяхъ. Послѣ полувѣка оглядываешь назадъ, и на прадѣдушку Болону, и на тетюшку Марью Матвѣевну, на эту семью, въ которой чай былъ рѣдкость, а кофе знакомъ былъ только по слухамъ,

для которой городничій представлялъ грандіозную фигуру, а семинаристъ „перваго разряда“ почтенную величину; припомнишь міръ, посѣявшій въ тебѣ первыя духовныя зерна; задумаешься о всемъ ходѣ твоего развитія: нѣтъ, мнѣ кажется, это не должно пропасть, нужно подѣлиться съ другими.

---

къ тому, проходилъ ли черезъ Коломну преподобный Сергій и что съ нимъ было; но мнѣ претило согласиться, чтобы Коломна происходила отъ творительнаго падежа „коломъ“; даже о падежахъ мнѣ было неизвѣстно, но словопроизводства признать не могъ. Послѣ, когда былъ лѣтъ десяти, я прочелъ у Карамзина догадку, что названіе произошло отъ италіанской фамиліи Колонна. Объясненіе точно также показалось невѣроятнымъ, и я доселѣ удивляюсь, какъ ученый съ глубокимъ смысломъ, каковъ былъ Карамзинъ, могъ придумать такую несообразность \*).

Подобно тому какъ въ другихъ старинныхъ городахъ, рассказывали и въ Коломнѣ, что здѣсь-то стояла церковь, но провалилась по случаю страшнаго преступленія; что по ночамъ слышится звонъ изъ-подъ земли. Замѣчательно это эпическое повтореніе того же рассказа въ разныхъ городахъ, почти буквально тождественное. Рассказывали объ архіереѣ святой жизни, который велѣлъ де похоронить себя на паперти, чтобы „всѣ его топтали“. Можетъ быть даже было это и подлиннымъ событіемъ, но оно рассказывалось эпически, торжественнымъ тономъ, полунараспѣвъ, и я впитывалъ его въ себя. Многое запомнилъ, но вообще легендъ слышалъ множество, и мѣстнаго содержанія, и общаго. Изъ послѣднихъ нѣкоторыя, памятные мнѣ по дѣтству, напечатаны съ легкими видоизмѣненіями въ извѣстномъ сборникѣ Аванасьева, къ сожалѣнію запрещенномъ. Запретили книгу, опасаясь соблазна. Но я спросилъ бы оберегателей народной вѣры: а кѣмъ и чѣмъ воспитывается народъ, хотя бы и въ вѣрѣ? Нужно удивляться, какъ еще сохранились въ немъ, хотя въ полумиѣческой оболочкѣ, какія-нибудь ея искры. Священникъ, котораго видитъ народъ только при отправленіи требъ и какъ отправителя требъ, менѣе другихъ повиненъ

\*) Теперь выводятъ, и кажется—основательно, Коломну отъ «коло», то-есть въ смыслѣ окольного, пограничнаго города. Это была дѣйствительно граница; далѣе, за Окой, начинались инородческія земли.



въ учительствѣ. Ему остается одна исповѣдь, но и въ ней едва успѣетъ онъ проронить нѣсколько словъ, при одновременномъ множествѣ исповѣдающихся, да и то если расположенъ идти далѣе механическаго отправления формальностей, указываемыхъ требникомъ. Отецъ, глава семьи, который вѣчно въ работѣ и въ заботахъ? Мать, бабушка—вотъ живыя носительницы преданій, а легенды—кодексъ христіанской нравственности въ поэтической оболочкѣ. Тотъ кому средства дозволяютъ читать легенды въ печати, внѣ уже всякаго сомнѣнія обереженъ отъ соблазна, ибо настолько развитъ, что въ состояніи отличить поэзію отъ исторіи. Между тѣмъ если снять съ легендъ оболочку, мы найдемъ въ нихъ такую высоту, такую глубину христіанскаго воззрѣнія, предъ которою преклоняешься. Возьмемъ хотя легенду объ Ильѣ и Николѣ, столь повидимому соблазнительную, или объ юродивомъ, крестящемся на кабакъ и бросающимъ камнями въ храмъ. Опасаться глумленій можетъ лишь тотъ кто не слыхивалъ самолично легендъ въ дѣтствѣ. А я слышалъ и опытомъ своимъ и чужимъ позналъ впечатлѣніе ими производимое и сужденія ими вызываемыя: ихъ воспитательное дѣйствіе несомнѣнно.

Церковь, при которой отецъ мой былъ священникомъ, стояла на берегу Москвы-рѣки или, какъ выражаются Коломенцы, Москва-рѣки. Я говорю на „берегу“, руководясь теперешними измѣреніями. Но въ дѣтствѣ какія-нибудь сажень семьдесятъ, восемьдесятъ, отдѣлявшія церковь и нашъ домъ отъ рѣки (домъ былъ отъ церкви буквально въ восьми шагахъ), казались значительнымъ разстояніемъ; чтобы достигнуть воды, нужно было пробѣжать нашъ садикъ, затѣмъ городской огородъ—мало ли! И для взрослога уѣзднаго жителя, не бывавшаго въ столицахъ, городскія разстоянія представляются значительно нежели есть; горожанинъ еще болѣе убѣждается въ этомъ своею медленною походкой; пространство размѣнивается на время и имъ между прочимъ измѣряется. Когда провинціалъ попадаетъ въ столицу,

въ тридцатыхъ годахъ, потому что старику не было, кажется, полныхъ ста лѣтъ.

„Коломенскій богъ“ былъ прихожаниномъ нашей церкви; она считалась почти домовою Мѣщаниновыхъ даже и въ началѣ нынѣшняго столѣтія. Рѣшилъ Иванъ Тимошеевичъ слить колоколъ въ свою церковь, и не маленькій, въ тысячу пудовъ. Ёдетъ къ архіерею и проситъ благословенія.

— Какъ, Иванъ Тимошеевичъ, въ приходскую-то церковь, да въ тысячу пудовъ? Это не полагается, не по закону. Въ приходской церкви позволены колокола только въ сотни пудовъ. У насъ и въ соборѣ нѣту такого.

— Да колоколъ ужь отлить, преосвященнѣйшій владыко.

— Нѣтъ, какъ хочешь, никакъ этого нельзя. Лучше закажи ты для Никиты Мученика другой, а этотъ отдай намъ въ соборъ.

Такъ и поступлено. Колоколъ въ тысячу пудовъ повѣшенъ на соборную колокольную и гудитъ на ней доселѣ; къ Никитѣ же Мученику доставленъ новый, въ 200 пудовъ, съ надписью: „Лѣта отъ Рождества Христова 1702“ и проч.

Но поднять тысячепудовой колоколъ на колокольную и даже подвезти его удалось не легко. Колоколъ заупрямился. „Везли его, такъ рассказывали старожилы,—на дровняхъ, какъ полагается; народъ со всего города и деревень тащить. Шелъ хорошо; но подвезли къ Пятницкимъ (крѣпостнымъ) воротамъ,—остановился. И такъ и этакъ, народу прибавили, канаты лишніе подвязали: нѣтъ, прогнѣвался значить, не туда везуть. Мастеръ сѣлъ на него съ плеткой, какъ водится. Хлестнетъ; словно и тронется, а нѣтъ. Молебень съ водосвятиемъ служили; кое-какъ потомъ ужь одолѣли; только выѣстъ съ мастеромъ такъ и подымали на колокольную, и мастеръ, все время какъ поднимали—нѣтъ, нѣтъ и подстегнетъ“.

Такова мѣстность, среди которой будутъ совершаться происшествія, описываемыя въ началѣ настоящихъ

*Записокъ.* Добавлю, что за исключеніемъ церкви предъ глазами, лужайки шаговъ въ тридцать длины и ширины и за ней дома каменнаго, котораго только нижній этажъ былъ отдѣланъ, а верхнія окна забиты досками, я до семи лѣтъ не видалъ ничего или почти ничего. Весь мой горизонтъ ограничивался этимъ убогимъ просторомъ. Меня никуда не брали, никуда не водили. Повернуть за уголъ забора, ограничивавшаго лужайку справа (налѣво была церковная ограда) и пройти на улицу шаговъ за сорокъ, это бывало уже событіемъ. Внѣ своего дома, едва-едва я помню до школы, какъ меня при похоронахъ матери возили куда-то (то-есть на кладбище) и какъ я спрашивалъ Максимыча, Мѣщаниновскаго гучера: куда маменьку везутъ? и онъ мнѣ постарался отвѣтить что-то утѣшительное. Помню еще, какъ сквозь сонъ, что Андреичъ, пономарь, упросилъ разъ моего отца отпустить меня съ нимъ на „иллюминацію“; какъ вывелъ онъ меня за городъ (а мы и жили-то на концѣ города); какъ Андреичъ бралъ меня иногда на руки. Идти было очень трудно; подъ ноги то и дѣло попадались рога, на которые я спотыкался (вблизи были бойни). Много народу; ночь; слышалось пуканье (ракетъ) и видѣлся щитъ, горѣвшій огнями. Очевидно происходило это 22 августа; но въ какомъ году и сколько мнѣ было лѣтъ, изъ памяти исчезло.

Еще темнѣе слѣдующее воспоминаніе. Зима; отецъ ѣдетъ въ Черкизово (село верстъ десять отъ города). Помню, то была помолвка двоюроднаго брата; какъ меня везли, въ чемъ я провелъ нѣсколько часовъ на „чужбинѣ“, все это вылетѣло, и въ памяти осталось лишь, что и руки и ноги у меня окоченѣли. Я попросился на печку; но мнѣ возразили, что тогда у меня руки и ноги отвалятся, и подали холодной воды, куда я долженъ былъ опустить руки. Это меня поразило кажущеюся несообразностью и врѣзалось.

Помню и еще... но это уже было изъ домашней жизни, о которой послѣ. Таковъ однако былъ мой небога-

тый опытъ, такова ограниченность кругозора до самой школы, до семи лѣтъ. Теперь, какъ вспоминаю, поражаетъ меня тогдашняя моя неразвитость. Изъ оконъ виденъ былъ у насъ другой берегъ рѣки, на немъ лугъ, а за лугомъ лѣсъ, среди котораго пять большихъ деревьевъ выдавались изъ прочихъ. Сиживалъ я у окна, вперялъ взоръ и спрашивалъ: чтѣ же однако тамъ, и далеко ли отсюда это мѣсто, гдѣ голубое небо садится на землю? Задавалъ я эти вопросы другимъ. Чтѣ мнѣ отвѣчали—не помню, но должно-быть что-нибудь черезчуръ примѣнительное къ моему возрасту, уклончивое, безъ объясненія сущности, потому что долго такъ и оставалось у меня мнѣніе, что тамъ, за лѣсомъ, и конецъ свѣта.

Удивительно! Удивительно потому, что я былъ мальчикъ смышленный, а къ тому времени умѣлъ даже читать; но умственная жизнь повидимому не начиналась, потому что такъ мало осталось въ памяти изъ этого періода. Между прочимъ поразительно: какъ, будучи уже шести лѣтъ, зная уже грамоту, я, оказывается, не зналъ даже, что такое смерть, когда спрашивалъ Максимыча о матери; какъ не постигалъ противорѣчій, что не можетъ же кончиться свѣтъ сейчасъ за лѣсомъ, когда я зналъ, что есть на свѣтѣ Москва, и слышалъ, что Москва отъ Коломны во ста верстахъ, и что лежитъ она приблизительно въ той же сторонѣ, гдѣ сходится небо съ землей. И въ то же время чуялъ нелѣпость словопроизводства Коломны отъ „коломъ“! Этотъ замкнутый мірокъ, эта нелюдимость семьи, этотъ ограниченный кругъ, въ которомъ вращались слышимые разговоры, именно это не было ли причиной, что при смышленности [и] возбужденной повидимому мысли умъ дремалъ? Въ школьномъ періодѣ испытывалось потомъ многое, подобнымъ же образомъ странное. Я призналъ бы невѣроятнымъ, когда бы это случилось не со мной.

Кончу описаніе роднаго города общею его наружностью, хотя ранѣе семи лѣтъ она для меня не суще-



ствовала. Улицы въ немъ прямыя и въ большинствѣ мощенныя, даже въ тогдашнее время. Много домовъ каменныхъ, почти большинство. Опять фактъ психологическій: примизна улицъ стала мнѣ извѣстна, только уже когда мнѣ было тринадцать лѣтъ, по приѣздѣ въ Москву. Въ случайномъ разговорѣ услышалъ я замѣчаніе о кривизнѣ улицъ московскихъ и задалъ себѣ мысленный вопросъ: „а какія улицы у насъ?“ Представляя улицы ясно, тѣмъ не менѣе я затруднился рѣшить вопросъ заочно: какія онѣ въ самомъ дѣлѣ, прямыя или кривыя? Только уже приѣхавъ снова на родину, убѣдился, что городъ распланированъ правильно. А между тѣмъ объ этой планировкѣ я слышалъ еще ранѣе, и притомъ неоднократно, съ рассказомъ объ обстоятельствахъ, которыми она была вызвана и которыми потомъ сопровождалась. Былъ пожаръ; за исключеніемъ нашего околотка весь городъ былъ истребленъ. Это случилось въ восьмидесятихъ годахъ, ибо отецъ былъ еще мальчикомъ; вмѣстѣ со старшимъ своимъ братомъ, на крышѣ дома, онъ метлой отмахивалъ падавшія голownи. Вѣтеръ дулъ въ нашу сторону; опасность была неминуема. „Тогда, рассказывали мнѣ, къ покойному батюшкѣ (моему дѣду) пристали, чтобъ онъ поднять иконы“. Онъ исполнилъ, обошелъ околотокъ; околотокъ, который былъ обойденъ, уцѣлѣлъ. Мнѣ перечисляли уцѣлѣвшіе дома, съ заключеніемъ, что „батюшка Никита Мученикъ заступился“. Околотокъ уцѣлѣлъ, а городъ, и въ томъ числѣ нашъ околотокъ, все-таки получилъ новый планъ, по которому церковь, выходившая на улицу, была отброшена отъ нея. Новую улицу пересѣкалъ по новому плану переулокъ, который долженъ былъ отъ берега пройти насквозъ до выгоннаго поля. На пути ему представлялись ворота и за ними садъ Мѣщаниновыхъ, тѣхъ самыхъ, которыхъ предокъ, Иванъ Тимоѣевичъ, былъ „Коломенскимъ богомъ“. Коломенскій богъ былъ уже въ могилѣ, а здравствовалъ его племянникъ, Иванъ Демидовичъ. Видя бѣду, что дворъ и земля

князь находилъ приличнымъ, чтобъ и попъ гармонировалъ со всѣмъ дворомъ. Конечно, мой прадѣдъ былъ не пудренъ, но обязанъ былъ носить башмаки и чулки, на подобіе бальнаго кавалера. Къ моему отцу перешли между прочимъ камышевыя, не дешевыя по тогдашнему трости съ серебряными набалдашниками: это несомнѣнно были княжіе подарки ружному придворному попу.

Какую противоположность съ этимъ изящнымъ по наружности попомъ представлялъ прадѣдъ мой по матери, попъ Соборной церкви, Михаилъ Сидоровичъ, по прозванію Болоня! Откуда получилъ прадѣдъ такое прозвище, родитель мой не могъ объяснить. Но Болоня былъ замѣчательный человѣкъ въ своей окружности; онъ слылъ богатымъ: у него были сапоги! Да, сапоги, и это считалось признакомъ достаточности, потому что большинство поповъ одѣвалось въ лапти и валенки. И Михаилъ Сидоровичъ ходилъ также въ валенкахъ, но сапоги у него были и стояли въ алтарѣ. Онъ надѣвалъ ихъ во время служенія. Была ли у него ряса, преданіе умалчиваетъ. Вѣрнѣе, что нѣтъ. Рясъ вообще въ заводѣ не было, и сельскій батъка, являясь въ „епархію“, чтобъ идти на поклонъ къ архіерею, бралъ рясу у кого-нибудь изъ городскихъ священниковъ на прокатъ. Это было удобно и дешево. Къ чему же обзаводиться рясой? Михаилъ Сидоровичъ цѣнилъ свою состоятельность и не прочь былъ ею похвастаться. Въ праздники, когда собирались у него гости изъ окружнаго духовенства, онъ водилъ ихъ въ свѣтелку, подымалъ крышку сундука и показывалъ рубли. Да, серебряные рубли были въ диковину сельскому духовенству, быть котораго совсѣмъ не отличался отъ тогдашняго крестьянскаго.

Удивительно: когда я въ малолѣтствѣ слыхалъ всѣ эти подробности, не поражала меня эта противоположность двухъ прадѣдовъ: шелковые чулки и щегольскіе башмаки, плисовая ряса одного, валенки и нагольный

полушубокъ другаго. И жили они во ста саженьяхъ одинъ отъ другаго, и были пріятелями, водили хлѣбъ-соль, какъ окажется изъ послѣдующаго. Уже послѣ сталъ я вдумываться. Мнѣ кажется, чулки, башмаки, даже плисовая ряса (все, разумѣется, княжіе подарки) были въ глазахъ ружнаго попа тѣмъ, чѣмъ въ Павловскія времена мундиръ для солдата. Ѳедоръ Никифоровичъ скорѣе вѣроятно тяготился атрибутами блеска, нежели щеголялъ. Должно быть и для него обычными были тѣ же полушубокъ и валенки; а рублей и совсѣмъ не было.

Какъ бы тамъ ни было, а два сосѣдніе попа, барскій и мірской, въ столь противоположной обстановкѣ, были пріятели. Ѳедора Никифоровича Богъ благословилъ дѣтьми, преимущественно мужскимъ поломъ; у Михаила Сидоровича Болонны была дочь. Читатель ожидаетъ свадьбы. Онъ не отгадалъ; до свадьбы еще далеко: хотя Михаилъ Сидоровичъ и породнился съ Ѳедоромъ Никифоровичемъ, но послѣ.

Времена тогда были тяжелыя для духовенства. Указъ былъ: гнать всѣхъ ребятъ мужескаго пола въ школу непременно, подъ страхомъ жестокаго наказанія. Ѳедору Никифоровичу хотѣлось спасти хоть кого-нибудь, и онъ нашелъ случай пристроить Матюшку, еще малолѣтка, во дьячки и тѣмъ избавить отъ семинаріи. Дьячкомъ сынъ поступилъ къ нему же, въ Успенскую церковь, разумѣется по назначенію и съ согласія князя, которому архіерей не могъ перечить. До чего еще малолѣтень былъ мой дѣдъ въ званіи чтеца, доказывается тѣмъ что, по семейному преданію, разъ онъ, выйдя на амвонъ съ Апостоломъ, сдѣлалъ со страха противъ воли нѣчто такое, что случается развѣ во младенцествѣ. Исторія эта не имѣла дальнѣйшихъ послѣдствій, и Матвѣй Ѳедоровичъ успѣлъ дорости до іерейскаго сана и поступилъ священникомъ въ Коломну, къ Никитѣ Мученику, гдѣ предъ тѣмъ былъ священникомъ его же родной старшій братъ.

Перерву на минуту историческую послѣдовательность разсказа и обращусь къ остальнымъ членамъ семьи Ѳедора Никифоровича. Старшій его сынъ, Василій, не избѣгъ семинаріи. Онъ прошелъ всю ея премудрость и даже былъ по окончаніи курса учителемъ семинаріи, что не мѣшало ему быть съ тѣмъ вмѣстѣ протодіакономъ Коломенскаго собора. Отличительнымъ достоинствомъ всѣхъ сыновей моего прадѣда, по крайней мѣрѣ Матвѣя, моего дѣда и его брата Василя, была голосистость. Это были два рѣдкіе баса, а Василій Ѳедоровичъ обладалъ даже необычнымъ. Иванъ Ивановичъ Мѣщаниновъ (сынъ того Ивана Демидовича, который отхлопоталъ поправку въ городскомъ планѣ) передавалъ мнѣ въ сороковыхъ годахъ, что во всю долгую жизнь свою онъ голоса такой силы и звучности не слышалъ, сколько ни знавалъ протодіаконовъ вообще, и архіерейскихъ, и придворныхъ. Разъ было, говорилъ онъ мнѣ, пью я у архіерея чай въ Подлипкахъ (архіерейская загородная дача). День былъ жаркій, окна отворены. Я услышалъ гудѣніе. „Слышите: это мои быки ревуть“, сказалъ архіерей. Это означало, что Василій Ѳедоровичъ зашелъ къ брату Матвѣю какъ разъ ко времени вечерни. Отправились оба въ церковь, и за дьячка ли, за дьякона ли служилъ старшій братъ, но они потѣшались, распѣвая и возглашая въ перегонки. Таковъ былъ разсказъ Ивана Ивановича, человека неспособнаго преувеличивать: я познакомлю читателя въ послѣдствіи съ этимъ истинно замѣчательнымъ лицомъ. Тѣмъ не менѣе случай повидимому даже невѣроятенъ. Подлипки отъ города отстоятъ по меньшей мѣрѣ версты на полторы, а Никитская церковь, гдѣ потѣшались два „быка“, лежитъ на противоположномъ концѣ.

Какъ бы тамъ ни было, но голосъ, по крайней мѣрѣ Василья Ѳедоровича, былъ во всякомъ случаѣ феноменальный. Отъ его выкриковъ лопались стекла, какъ увѣряютъ: вспоминается мнѣ по этому поводу давно читанное извѣстіе о какомъ-то голландскомъ пивоварѣ, разбивавшемъ

двѣнадцать стакановъ своимъ крикомъ. Физиологическое явленіе это, оставшееся у меня въ памяти по его необычайности, приводимо было въ подтвержденіе библейскихъ толкованій богословами натуралистической школы. Такъ называлась школа, отвергавшая чудеса, но не рѣшавшаяся спорить съ Библіей. Всѣ чудесныя явленія въ обоихъ Завѣтахъ она объясняла естественными законами и въ томъ числѣ паденіе стѣнъ Іерихонскихъ отъ трубнаго звука осаждавшихъ Израильтянъ. Здѣсь-то и пригодился голландскій пивоваръ, котораго безъ того я не имѣлъ бы удовольствія знать. Если существовалъ такой пивоваръ, то не удивительно и существованіе Василя Ѳедоровича, гласъ котораго разбивалъ стекла въ окнахъ. Во время коронаціи императора Павла, дѣдъ Василій въ числѣ другихъ протодіаконовъ участвовалъ въ церемоніи. Какъ случилось это, преданіе умалчиваетъ. Выходилъ ли такой нарядъ для самой епархіи, или же наряженъ былъ коломенскій протодіаконъ лично по извѣстному его голосу, достоверно то, что Павелъ поразился и потребовалъ Василя Ѳедоровича ко двору, возвышая его въ санъ придворнаго протодіакона. Консерватизмъ должно-быть въ роду былъ у насъ по мужскому колѣну. Въмѣсто того чтобъ обрадоваться предложенной чести, Василій Ѳедоровичъ уперся, прикинулся больнымъ, нѣсколько времени воздерживался отъ служенія даже у себя въ городѣ и ходилъ, въ качествѣ больного, лѣтомъ въ тулупѣ; подкрѣпленный свидѣтельствомъ докторовъ и архіерея, онъ спасся отъ чести, которой позавидовалъ бы другой на его мѣстѣ.

Чтобы кончить съ Василемъ Ѳедоровичемъ, прибавлю, что съ переводомъ Коломенской архіерейской каедры въ Тулу, съ нею послѣдовалъ туда же и протодіаконъ. У него должно было остаться потомство, и встрѣчая иногда въ печати фамилію Черкизовскій, я задаю вопросъ: не внучата ли это или правнучата моего дѣда, которому было то же прозваніе? Какъ гово-

рено выше, отецъ его, наравнѣ со всѣми лицами изъ духовенства, не имѣлъ родоваго имени. Приходилось Ѳедору Никифоровичу выдумать, когда отдавалъ сына въ семинарію, и онъ окрестилъ его именемъ села.

Стѣдуетъ сказать здѣсь къ слову о происхожденіи вообще фамилій, носимыхъ лицами духовнаго происхожденія. Одинъ шутникъ объяснялъ, что кутейника легко отличить по прозвищу: оно либо передѣлано изъ латинскаго (Сперанскій, Делицынъ), либо связано съ мѣстнымъ храмомъ (Покровскій, Преображенскій), или наконецъ ведетъ свое начало отъ „сладкихъ“ предметовъ: Малининъ, Сахаровъ, Виноградовъ. Къ этому объясненію я добавлю еще два вида: одинъ отъ села, какъ у моего дѣдушки, и затѣмъ цѣлый рой Твердолюбовыхъ, Доброславовыхъ и тому подобныхъ. Этого рода фамиліи уже болѣе новаго происхожденія; ихъ придумывали учителя-умники и ректоры-прогрессисты тогда уже, то есть въ нынѣшнемъ столѣтіи, когда фамиліи въ родѣ Покровскихъ и Воскресенскихъ слишкомъ опошлялись и когда носить въ своемъ имени напоминаніе о духовномъ происхожденіи начинало считаться не то что постыднымъ, а такъ, не вполне приличнымъ; словомъ, когда левиты начали стыдиться своего происхожденія.

Теперь я могу приступить къ свадьбѣ, которой не безъ основанія ожидалъ читатель при разсказѣ о моихъ прадѣдахъ. Если у Ѳедора Никифоровича были по преимуществу сыновья, то у Михаила Сидоровича Болоны была дочь, Марья Михайловна. Отдана она была за дьячка въ Москву, Ѳедора Андреевича Руднева. Фамилія Рудневъ показываетъ, что дѣдъ мой по матери происходилъ изъ села Рудни. Странно какъ-то, что при тогдашней рѣдкости сношеній и при отдѣльности епархій Московской и Коломенской, попала бабка въ Москву; но было такъ: Ѳедоръ Андреевичъ, зять Михаила Сидоровича Болоны, служилъ дьячкомъ при церкви Григорія Неокесарійскаго на Полянкѣ. Чѣмъ онъ провинился, неизвѣстно въ точности; покойный родитель

говаривалъ о тестѣ, что онъ „варилъ солянку въ церкви“. Такъ ли, иначе ли, но Рудневъ отрѣшенъ былъ отъ мѣста и отданъ въ солдаты: онъ былъ красивый, высокій мужчина и потому записанъ въ гвардію. Оставшаяся жена съ дочерьми и сыномъ вынуждена была перебраться къ отцу на хлѣбы въ Черкизово. Сынъ взятъ былъ и отданъ потомъ въ „Армейскую семинарію“; двѣ дочери, Акулина и Аграфена, тоже пристроены, одна за дьячка въ Москву (Аграфена), другая за дьячка же въ Черкизово, къ той же Соборной церкви, при которой былъ самъ Болонъ; тогда это было просто. На рукахъ осталась одна младшая дочь, Мавруша, моя мать. У прадѣдушки Болонъ была такимъ образомъ внучка, а у прадѣдушки Ѳедора Никифоровича, внучата, сыновья Матюши, и изъ нихъ младшій, Петръ. Старшій, Ѳедоръ, едва-едва лизнулъ школьной грамоты, а Петръ подвигался въ семинаріи. И сыновья и внучата навѣщали старика, ружнаго попа; ружный попъ съ Болоной пріятель и сосѣдъ. Младшій внучекъ одного, Петруша, подходилъ какъ разъ по возрасту къ младшей внучкѣ Болонъ, Маврушѣ: Петруша годомъ былъ старше Мавруши. Старики про себя ударили по рукамъ: Петруша женится на Маврушѣ, когда, Богъ дастъ, кончитъ курсъ. Мѣсто готово: Болонъ уже на исходѣ дней; онъ передастъ „Соборную“ церковь и свой приходъ внучатамъ, доживая вѣкъ на покоѣ. Знали-ль молодые до времени предназначенную имъ судьбу или нѣтъ? Скорѣе нѣтъ. Но спора тутъ во всякомъ случаѣ нельзя было ожидать. Петруша былъ скромнѣйшій, послушнѣйшій юноша, очень красивый собой, а Мавруша и просто красавица. Какое могло тутъ встрѣтиться препятствіе? Ребята игравали вмѣстѣ, когда коломенскіе гости навѣдывались въ Черкизово; старшіе на нихъ любовались. А намѣченной четѣ, цѣломудренной въ глубочайшихъ складкахъ души, даже въ голову не приходило, что изъ нихъ будетъ, и даже вопросъ о бракѣ вообще не приходилъ въ голову: воображеніе было чисто.

Прежде нежели перейду къ разсказу о томъ, какъ исполнилось желаніе старшихъ относительно младшихъ внучатъ, я обязанъ досказать судьбу Федора Андреевича, записаннаго въ гвардейскіе солдаты. Не по душѣ пришлось это московскому дьячку. Онъ былъ живой, изобрѣтательный человѣкъ, мастеръ на всѣ руки, балагуръ, словомъ—человѣкъ скорѣе легкомысленный нежели серьезный. Тѣмъ замѣчательнѣе твердость, имъ выраженная. „Не хочу служить“, рѣшилъ про себя Рудневъ и исполнилъ. Онъ притворился глухимъ. Какимъ испытаніямъ подвергался онъ, сколько побоевъ вытерпѣлъ—легко представить; это происходило въ суровое Павловское время, когда палокъ не жалѣли. Во время сна стрѣляли надъ ухомъ Руднева, но онъ вышелъ побѣдоносно и изъ этого испытанія. Не оставалось начальству ничего дѣлать; его выписали въ нестроевые и перевели въ Ревель, отдавъ въ распоряженіе тамошнему коменданту. Комендантомъ былъ князь Волконскій, отецъ Петра Михайловича Волконскаго, бывшаго потомъ министромъ Двора при Александрѣ I. Получивъ Руднева въ распоряженіе, комендантъ взялъ его къ себѣ въ деньщики, какъ смышленнаго и грамотнаго; даже болѣе, приставилъ къ дѣтямъ въ качествѣ дядьки и учителя. Глухота разумѣется исчезла съ той же минуты, какъ почувствовалъ себя Рудневъ въ нестроевыхъ; назадъ не вернуть же. Нужно устраивать здѣсь, въ Ревелѣ, свою судьбу и умѣть снискать расположеніе командира. Дѣду моему удалось это вполне. Онъ умѣлъ вкрасѣться; въ немъ было нѣчто кощачье даже въ наружности: ласковый, привѣтливый взглядъ и круглые, голубые, добродушные глаза.

Учить дѣдушка княжатъ грамотѣ, князь въ немъ души не слышитъ: такъ умѣетъ обойтись съ ребятами! Не всегда княжата его слушались; дѣдъ сумѣлъ ихъ развлечь играми или заковать ихъ вниманіе разсказами, всегда увлекательными, умѣлъ пристыдить ихъ въ случаѣ и въ числѣ наказаній употреблялъ между прочимъ



лапти, которые нарочно для этого сплелъ, лапти маленькіе, на дѣтскую ногу. Они были и игрушка и своего рода плетка; не слушается князенокъ, упрямится, лѣвится: обуйся въ лапотки. Стыдно сіятельному, и средство дѣйствовало.

Но дѣдъ Федоръ тайлъ далекіе планы. Онъ былъ дипломатъ. „Не хочу служить и не буду служить“: это было рѣшено съ первой минуты поступленія на службу, и дѣдъ положилъ этого добиться; усердіе къ князю-коменданту было только искуснымъ подходомъ. Грамоты дѣти были выучены скоро. Старый князь благодаренъ. „Ваше сіятельство! я нашелъ въ васъ втораго отца; какъ и цѣнить мнѣ вашу княжескую милость! Но довершите благодѣяніе: изволили кормить до усовъ, со-благоволите кормить до бороды. Жена осталась на родинѣ, дѣти. Мнѣ хотъ бы однимъ глазкомъ взглянуть; отпустите меня къ нимъ повидаться. Навѣкъ слуга я вашей княжеской милости.“ Князь былъ давно и постепенно подготовляемъ къ такой просьбѣ; старался исподоволь дѣдъ размягчить въ этомъ направленіи и сердце княжатъ.

„Отпустить! Отпускъ не положенъ, нельзя.“ Но дѣдъ просилъ такъ настойчиво, такъ былъ убитъ разлукой съ семействомъ; стали нападать на него меланхолическіе припадки (притворства было ему не занимать); такъ покорно и съ такою сердечностью увѣрялъ, что „только лишь повидаться съ семьей“, а то онъ немедленно воротится и посвятить весь остатокъ дней сіятельному семейству, призрѣвшему его, болѣе дорогому ему теперь нежели собственная семья. Князь уступилъ. Какъ онъ обошелъ формальности, не знаю, но онъ исходатайствовалъ дѣду ранѣе узаконеннаго срока „чистую“ отставку. Дѣдъ собрался въ Черкизово.

Нужно перенестись въ то время, когда не было не только телеграфа, но и почтой пользовались только состоятельныя и привилегированныя лица. Послать письмо, это эпоха жизни, межа съ которой начинаютъ от-

считывать время: „это было, когда получено было или посылали письмо...“ Да и какъ писать въ село? и гдѣ деньги у деньщика, пусть онъ и княжимъ дядькой? Словомъ, прибытіе солдата къ женѣ, замужней вдовѣ, было радостною неожиданностью. Объясненія, радостныя слезы, рассказы. А въ теченіе отлучки на военную службу, все-таки не кратковременной, случилось многое: Мавруша между прочимъ отдана замужъ. Марья Михайловна проживала въ Черкизовѣ, но бывала иногда въ Коломнѣ у свата, Маврушина свекра.

Прошелъ день въ воспоминаніяхъ и разговорахъ. Наступаетъ вечеръ и ночь. Марья Михайловна пропадаетъ; гдѣ она? Ѳедоръ Андреевичъ идетъ въ Коломну къ свату; онъ же и не видалъ его еще. Жена тамъ; она успѣла предупредить о возвращеніи мужа. Новые разговоры, новыя объясненія, новыя радостныя слезы. Проходитъ день, наступаютъ вечеръ и ночь. Марья Михайловна вновь исчезаетъ. На ночь она отправляется опять въ Черкизово. За ней снова мужъ; но снова повторяется старое: днемъ она съ нимъ ласкова, любезна, радуется на него, но на ночь удаляется. Собирается семейный совѣтъ, которому жалуется полупризнанный мужъ. „Люблю тебя, радуюсь тебѣ, объяснила твердо замужняя вдова; но быть для тебя женой, какъ была и какъ по закону Божію надо быть, не могу. Ты—солдатъ, а я не хочу, чтобы будущія дѣти мои были солдаты.“ Залилась сама слезами моя бабка, но осталась непреклонна. Покорился и дѣдъ. Разцѣловались они, какъ братъ съ сестрой, при дочеряхъ и зятяхъ, и какъ братъ съ сестрой провели остальную жизнь. Успѣлъ обойти дѣдъ гвардейское начальство, успѣлъ провести ревельскаго коменданта, но вся настойчивость его сокрушилась предъ цѣломудренною твердостью женщины; мечты, которыя годами лелѣялъ онъ, обратились въ дымъ.

Ѳедоръ Андреевичъ проживалъ потомъ то въ Черкизовѣ, то въ Коломнѣ, разумѣется не возвращаясь въ

Ревель; болѣе—въ Коломнѣ, гдѣ помогалъ дьячкамъ въ отправленіи должности; зарабатывалъ иногда деньги чтеніемъ Псалтыря по покойникамъ, шитьемъ сапогъ и разнымъ ремесломъ, какое попадалось подъ руку. Онъ не дожилъ до старости, а ранѣе того проводилъ и жену свою въ могилу.

Я упомянулъ выше объ Армейской семинаріи, куда отданъ былъ единственный сынъ Ѳедора Андреевича, Никита Рудневъ. Своенравный Павелъ, сосредоточивъ подъ управленіемъ одного *оберъ-священника* все военное духовенство, устроилъ изъ него не только вполнѣ независимую епархію, но и посадилъ оберъ-священника Озерецковскаго членомъ въ Синодъ на ряду съ архіереями. Озерецковскій—лицо замѣчательное, заслуживающее подробной біографіи. Онъ родоначальникъ направленія, отъ котораго по прямой линіи происходятъ отецъ Беллюстинъ, авторъ книги *О сельскомъ духовенствѣ*, и журналъ *Церковно-Общественный Вѣстникъ*. Личныя непріятности съ архіереемъ привели провинціальнаго попа въ Петербургъ, гдѣ чрезъ брата, члена Академіи Наукъ, онъ надѣялся снискать себѣ защиту. Достигъ онъ болѣе нежелая: снискалъ не только защиту, но возможность мстить своему архіерею, котораго, пользуясь силой въ Синодѣ и при Дворѣ, гонялъ онъ затѣмъ съ одной епархіи на другую до того, что тотъ не вынесъ этого измыванія и умеръ. Нѣтъ сейчасъ подъ рукою данныхъ для справокъ, кто былъ этотъ архіерей \*); но событіе достоверно. Озерецковскій мстил затѣмъ не одному своему архіерею, но архіерейству вообще, будучи *mytratus* хора, какъ называлъ его митрополитъ Платонъ, — „попомъ въ митрѣ“, по власти не только архіереемъ, но почти патріархомъ, хотъ и безъ епископскаго сана.

\*) Боюсь ошибиться, но этихъ несчастныхъ архіереевъ не былъ ли Аванасій Коломенскій? Озерецковскій, если не ошибаюсь, былъ между прочимъ одно время и ректоромъ въ Коломенской семинаріи. Не здѣсь ли даже началась и вражда?

У этого-то митрованного попа была не только цѣлая епархія въ видѣ армейскаго и флотскаго духовенства, но и особенная въ Петербургѣ семинарія, названная Армейскою и пополнявшаяся дѣтьми армейскихъ священниковъ. Въ ней-то учился дядя Никита Ѳедоровичъ. Кончилъ ли онъ курсъ, неизвѣстно мнѣ. Между прочимъ, былъ онъ въ качествѣ дьячка при парижскомъ посольствѣ, когда представителемъ Россіи былъ князь Куракинъ; осталось преданіе, что въ короткое пребываніе при посольствѣ дядя удачно промышлялъ изготовленіемъ и продажей кислыхъ щей, напитка неизвѣстнаго Парижу, но нашедшаго тамъ любителей. Никита Ѳедоровичъ поступилъ затѣмъ въ Медицинскую Академію, былъ полковымъ штабъ-лѣкаремъ и умеръ въ Баку, оставивъ небольшое наслѣдство сестрамъ по оригинальной духовной, о которой будетъ сказано въ своемъ мѣстѣ.

Родословіе моей семьи этимъ кончено. Отселѣ выступить предъ читателемъ сама семья, лица, которыхъ я уже зазналъ; ни дѣда, ни бабокъ я не засталъ, тѣмъ менѣе—прадѣдовъ: всѣ померли ранѣе чѣмъ я родился, и даже дядя, о которомъ сейчасъ была рѣчь.

### III.

## Родительское гнѣздо.

Вникаю въ почеркъ дѣдушки Матвѣя Ѳедоровича. Какъ сейчасъ вижу его подпись; я ее изучилъ хорошо, когда простаивалъ всенощныя и обѣдни въ алтарѣ, что случалось нерѣдко, и когда голодный умъ просилъ работы. Я всматривался тогда въ лѣпнаго голубя на сводѣ надъ престоломъ и лѣпные же лучи отъ него исходящія, въ желѣзныя рѣшетки оконъ, задавая себѣ вопросъ, почему онъ здѣсь такого изгиба, а въ теплой

церкви другаго. Каждая мелочь каждой запрестольной иконы высмотрѣна; рисунокъ серебряныхъ окладовъ на нихъ, гдѣ травчатый, гдѣ прямолинейный, замѣченъ; горнее мѣсто, престолъ съ дароносицей на немъ; ниша съ выдолбленною въ ней чашей на днѣ для выливанія воды, жаровня, кадило, жертвенникъ, даже полотене съ круглымъ зеркаломъ въ четверть величиной, все было сто разъ осмотрѣно. Зеркало не разъ было даже перевернуто и осмотрѣно съ затылка. „Что это оно такое тусклое? Не металлическое ли оно, какія бываютъ, я читалъ? Ободокъ-то мѣдный“. Комодъ, гдѣ хранилась ризница, давно и не разъ подвергнутъ тщательной ревизіи: здѣсь краска потерта, здѣсь выпотѣла; изъ мѣдныхъ скобочекъ одна неисправна, и знаю гдѣ. Разводы на парчѣ, если какое облаченіе лежитъ на комодѣ, тоже извѣстны уже, и знаю, въ которомъ мѣстѣ серебро осыпалось и видны лохмы какихъ-то желтыхъ толстыхъ нитокъ. Но главными выручательницами были книги, лежавшія на томъ же комодѣ, *Уставъ Церковный*, *во-первыхъ* (Типиконъ), раскрытый на томъ днѣ, котораго служба правилась. Вкусная книга! вся закапанная воскомъ; очень вкуснымъ находилъ я, одновременно съ углубленіемъ въ чтеніе, отскабливать ногтемъ воскъ и потомъ разглаживать закапанное мѣсто. Затѣмъ *Полный Россійскій Мѣсяцесловъ* съ описаніемъ соборовъ и монастырей Россійскихъ. Обѣимъ этимъ книгамъ я обязанъ многими свѣдѣніями. Наконецъ, старыя приходо-расходныя метрическія книги; онѣ давали большую пищу любознательности. Какіе смѣшныя почерки, какія чудныя имена! Нѣкоторыя и знакомы; это пишетъ Яковъ Юдичъ, староста; вонъ Половинкинъ, а онъ тоже былъ старостой. А это кто же такой, Постниковъ? Тоже староста; должно быть это отецъ былъ Николая Акимыча Постникова. А вотъ „іерей Матѣій Ѳедоровъ“; это значитъ—дѣдушка подписывалъ. Годы и дни рожденія многихъ знакомыхъ изъ прихожанъ запоминалъ я безъ усилія и безъ желанія помнить, безъ вѣдома тѣхъ,

кого удерживала память; но если бы меня спросили въ какомъ домѣ изъ прихода, я бы отвѣчалъ безошибочно, кто въ этомъ домѣ когда родился и у кого кто былъ крестный отецъ. Отсюда же я запомнилъ, что дѣдушка умеръ въ 1809 году и что на его мѣсто поступилъ мой отецъ; съ любопытствомъ не разъ пересматривалъ записи о моихъ сестрахъ и братьяхъ, родившихся въ Коломнѣ, и о томъ кто умеръ изъ нихъ и когда. Никого я объ этомъ не спрашивалъ, и никто объ этомъ мнѣ не говорилъ, и никому свѣдѣній своихъ я не передавалъ: но все улеглось въ памяти.

Итакъ, вотъ почеркъ дѣдушки, почеркъ твердый и ясный, какъ будто бы писавшій и не изъ тѣхъ кто „въ школахъ не былъ“. Вдумываюсь теперь уже, кто однако дѣда училъ писать? Не Ѳедоръ же Никифоровичъ, едва грамотный; должно-быть кто-нибудь изъ дворовыхъ. И значитъ, дѣдъ писалъ довольно, когда рука такъ освоилась съ перомъ, окрѣпла. Потомъ: когда онъ женился, когда и гдѣ породились у него дѣти, адѣсь или въ Черкизовѣ? Книги не даютъ отвѣта; онѣ не заходятъ такъ далеко. Несомнѣнно во всякомъ случаѣ, что въ восьмидесятыхъ годахъ дѣдушка былъ уже не дьячкомъ въ Черкизовѣ, а іереемъ въ Коломнѣ. О бабушкѣ еще менѣе извѣстно; ея въ книгахъ нѣтъ, въ семейныхъ разсказахъ имя ея упоминалось рѣдко; говорилось только, что она баловала и прикрывала старшаго сына Ѳедора, который былъ семьѣ не на радость.

Дѣтей у дѣда было пятеро: кромѣ двухъ сыновей, три дочери, изъ которыхъ двѣ, старшая и младшая, были пристроены за дьяконовъ, средняя—за псаломщика въ Коломенскомъ соборѣ. Средняя и младшая скоро овдовѣли и очутились снова на родительскихъ рукахъ. А старшая... тоже давно овдовѣла, и я какъ сквозь сонъ, едва, едва помню какую-то старушку въ крашенинномъ холодникѣ, которая бывала у насъ еще при жизни матери и которую звали Катерина Матвѣевна. Это она; должно-быть приходила она на побывку

къ дочерямъ своимъ: одна была за башмачникомъ, другая—за Хорошовскимъ крестьяниномъ, а не то можетъ-быть даже и жила у нихъ.

Не безъ утѣшенія вспоминаю я иногда, что родословіе мое упирается въ отставнаго солдата, а бокомъ примыкаетъ къ ремесленнику и хлѣбопашцу. Судьба дѣтей моего дѣда и ихъ потомства этимъ и заслуживаетъ вниманія. Въ тѣ времена, въ началѣ нынѣшняго и концѣ минувшаго столѣтія, ни въ самомъ духовенствѣ, ни между нимъ и другими званіями (за исключеніемъ дворянскаго) еще не пролегало рѣзкой черты и еще не зачиналось поползновеній на какой-нибудь аристократизмъ по па предѣ дьячкомъ и даже предѣ крестьяниномъ и ремесленникомъ. Аристократизмъ не успѣлъ по крайней мѣрѣ спуститься до села и до провинціи. Только въ Москвѣ рядныя, сохранившіяся въ консисторіи отъ XVIII столѣтія, обличаютъ лисьи шубы у поповъ, экипажи и даже крѣпостныхъ. Въ уѣздной, хотя епархіальной Коломнѣ, дѣдъ, городской священникъ, братъ учителя, чуть не префекта семинаріи, выдаетъ дочь за причетника. Положимъ, Марья Матвѣевна имѣла несчастіе быть рябою и потому не нашла себѣ болѣе видной пары; но и это обстоятельство не лишено значенія: приданое стало-быть не стояло тогда на первомъ планѣ. Во всякомъ случаѣ, еслибы лѣтъ черезъ сорокъ потомъ и даже тридцать послѣдовалъ въ той же Коломнѣ и даже въ той же семьѣ подобный бракъ, на него посмотрѣли бы какъ на похороны: чтобы дочь священника была выдана за дьячка, внука за мужика или за башмачника (очень бѣдныхъ въ добавокъ)! Я помню дѣвичество своихъ сестеръ; мое дѣтское сердце вполнѣ бы присоединилось къ ихъ отчаянію, когда бы предсталъ имъ такой *mésalliance*, и подсказало бы совѣтъ лучше оставаться вѣкъ въ дѣвицахъ, нежели идти на такой позоръ.

Чудною представляется съ нынѣшней точки зрѣнія судьба и самой Катерины Матвѣевны, тещи этого башмачника и этого мужика. Городской дьяконъ, за кото-

раго она была выдана, былъ не простой дьяконъ. Внушительно говаривали мнѣ, что у него была „шпага и треугольная шляпа“. Смутно я понималъ, что такое шпага, но треугольной шляпы даже представить не могъ; только ощущалъ, что какого-то великаго отличія былъ удостоенъ дядя. Дѣло въ томъ, что Гастевъ, такова была фамилія мужа Катерины Матвѣевны, съ такимъ успѣхомъ учился въ семинаріи, что его отправили въ университетъ для „усовершенствованія въ наукахъ“. Это водилось. Сверхъ латыни семинаристы тогдашніе сильны были по своему только въ богословіи и философiи, а въ положительныхъ наукахъ и новыхъ языкахъ плоховали. Лучшихъ воспитанниковъ въ виду этого посылали въ университетъ. Тамъ-то удостоивались они „шпаги и треугольной шляпы“; по возвращеніи же на родину поступали учителями въ семинаріи.

Гастеву дали каеэдру французскаго языка и опредѣлили въ приходскую церковь дьякономъ. По нынѣшнимъ понятіямъ, поступокъ дикій. Умницу, дважды ученаго человѣка, опредѣляютъ дьякономъ къ какому-нибудь охряпку-попу, который можетъ-быть и до риторики не дошелъ, а то и не нюхалъ семинаріи совсѣмъ, и у котораго однако по іерархическому подчиненію профессоръ-дьяконъ обязанъ цѣловать руку. Нынѣ такой случай причисленъ былъ бы къ „проявленіямъ возмутительнаго деспотизма“. Тогда же никого это не поражало, и самъ Гастевъ не находилъ своего назначенія неестественнымъ. Ни малѣйшаго намека на что-нибудь подобное ни отъ кого я не слыхалъ, а слышалъ, наоборотъ, другое. Архіерей, помнится Аѳанасій, тоже зналъ французскій языкъ (что не за всѣми архіереями водилось) и потому съ особенною внимательностью прислушивался къ ученическимъ отвѣтамъ на экзаменѣ. Ученикъ переводилъ. „Не такъ!“ восклицаетъ архіерей. Гастевъ докладываетъ, что переведено вѣрно. „Не вѣрно!“ настаиваетъ владыка.— „Такъ какъ же нужно?“— „Знаю, да не скажу“.—Объ этомъ „знаю да не скажу“



батюшка мой любилъ повторять разсказъ, поясняя, что архіерей въ сущности разумѣлъ плоше и учителя и ученика, а только корчилъ знатока. Впрочемъ, мнимое неудовольствіе не мѣшало преосвященному неизмѣнно послѣ каждого экзамена приглашать Гастева съ собой въ карету и везти къ себѣ на трапезу. Но прежде чѣмъ доѣхать до архіерейскаго дома, горячій споръ обыкновенно продолжался, и разъ до того что разсерженный Гастевъ вырвался даже изъ кареты и пришелъ къ архіерейскому обѣду пѣшкомъ. Времена!

Что же однако произвело такой переворотъ въ воззрѣніяхъ и въ такое короткое время? Два закона: 1) требованіе, чтобы на священническія мѣста опредѣляемы были не иначе какъ кончившіе курсъ, и 2) освобожденіе священниковъ и діаконовъ отъ тѣлеснаго наказанія. Тѣмъ и другимъ внезапно приподнята была одна половина клира и надъ народною массой, и надъ другою половиною клира же. Съ тѣмъ вмѣстѣ низшая половина клира низвергнута была на степень паріевъ, нечистыхъ Самарянъ, которымъ „Жидове не прикасаются“. Впечатлѣніе усиливалось грозою рекрутчины, постигавшей выброшеннаго изъ школы, если не успѣвалъ онъ ни попасть на церковно-служительское мѣсто, ни „избрать родъ жизни“ (юридическое выраженіе, означавшее приписку къ податнымъ обществамъ), и—рекрутчиной дѣйствительною, которой подпадали дьячки, отрѣшенные отъ мѣстъ. Школѣ сообщилась магическая сила; какъ прежде упирались, такъ стали теперь напирать. Кончить курсъ, быть „кончалымъ“, стало мечтой, управляющею всѣми помышленіями подросткающаго духовенства. Магическую силу пріобрѣло не только знаніе „кончалаго“, но разрядъ, въ которомъ курсъ оконченъ; кончившій въ первомъ разрядѣ всю жизнь потомъ свысока смотрѣлъ на второразряднаго, тѣмъ болѣе третьеразряднаго. Черезъ двадцать лѣтъ по выходѣ изъ школы онъ все еще видѣлъ въ себѣ существо какъ бы изъ другаго тѣста слѣпленное — пшеничнаго, не ржаного. А

что сказать о воспитавшемся возрѣніи на школьный отбросъ, изъ котораго началъ составляться причетническій классъ!

Разумная въ основаніи мысль Сперанскаго, осуществленная преобразованиемъ духовныхъ училищъ, произвела безспорный вредъ, отдаливъ клиръ отъ народа, вмѣсто того чтобы сблизить ихъ, и посѣявъ раздоръ въ самомъ клирѣ, раздѣлившемся на „черненькихъ и бѣленькихъ“. Любопытный фактъ общественной патологии въ этомъ смыслѣ явила между прочимъ извѣстная книга отца Беллюстина *О селѣскомъ духовенствѣ*, составившая своего рода эпоху въ исторіи административныхъ и законодательныхъ отношеній къ духовенству, продолжающихся отчасти доселѣ. Не щадя желчи и мрачныхъ красокъ для изображенія архіереевъ, которыхъ авторъ величаетъ „сатрапами въ рясахъ“, онъ съ презрѣніемъ, съ гнушеніемъ опрокидывается на низшій причтъ, даже не догадавшись, что обличаетъ этимъ въ іереѣ такого же сатрапа по отношенію къ дьячкамъ и дьяконамъ, какимъ описанъ архіерей по отношенію ко всему духовенству.

Продолжаю прерванную нить разсказа. Не на радость семьѣ былъ дядя Ѳедоръ, сказалъ я. Въ молодости ему предстояла солдатчина. Попалъ ли онъ подъ одинъ изъ тѣхъ указовъ, которыми отъ времени до времени производилось „очищеніе“ духовенства, или же совершилъ какую-нибудь прямую провинность, только дѣдъ, чтобы спасти сына, вынужденъ былъ отправляться въ Москву и валяться въ ногахъ у намѣстника. Колѣнопреклоненный, со слезами молилъ онъ вельможу; но намѣстникъ былъ непреклоненъ, и дядю не миновала бы красная шапка, еслибы не вступилась жена намѣстника, смущенная униженіемъ „такого почтеннаго отца“, какъ выразилась она, и тронутая его слезами. Черта опять не нашего времени: жена сановника присутствуетъ при оффиціальной аудіенціи, даваемой просителю!

Спасенный отъ солдатчины дядя записанъ былъ въ нижній земскій судъ и началъ жизнь подъячаго. Женился онъ потомъ, завелъ свой домъ; онъ выстроилъ его въ Рѣпенкѣ (такъ называется одна изъ городскихъ слободъ), на общественной землѣ, отведенной городомъ. Берегъ рѣчки Коломенки, на которомъ стоялъ домъ, началъ обсыпаться, и дядя перенесъ свою осѣдлость на другой берегъ рѣчки, въ слободу „Запруды“, гдѣ выстроилъ новый домикъ на землѣ, тоже отведенной городомъ. Тамъ и я бывалъ, когда сопровождалъ причтъ со славленьемъ объ Рождествѣ и Святой; кромѣ того, по случаю свадьбы Василя Ѳедоровича, двоюроднаго брата, меня пригласили въ качествѣ „мальчика съ образомъ“, неизбежнаго при благословеніи предъ вѣнчаніемъ. Болѣе я не бывалъ, и самъ дядя навѣщалъ насъ очень рѣдко: два, много три раза въ годъ, на Святой и объ Рождествѣ. Не помню, чтобъ онъ былъ даже на похоронахъ моей матери и на свадьбѣ сестры. Отношенія между двумя братьями, а также и отношенія сестеръ къ старшему брату, вообще были холодныя, чтобы не сказать непріязненныя. Братьевъ отчасти раздѣляла самая разниа развитія и противоположность идеаловъ. Сестры боялись задорнаго, придирчиваго характера, которымъ къ несчастію одаренъ былъ дядя, и брани, на которую онъ былъ очень скоръ. Тяжелое впечатлѣніе и на насъ, дѣтей, производилъ этотъ старичекъ во фризовой шинели и въ картузѣ, обыкновенно надѣтомъ глубоко, съ крикливымъ голосомъ, рѣзкими движеніями и бородой, которая казалась мнѣ всегда мало обритою, потому что колола меня при поцѣлуяхъ. Съ приходомъ его обыкновенно всѣ разговоры прекращались; начинались сухіе, отрывочные, казенные вопросы о погодѣ, здоровьѣ домашнихъ и тому подобныя занимательныя бесѣды.

Я узналъ дядю уже въ отставкѣ, губернскимъ секретаремъ. Съ ироніей говаривалъ мой отецъ, и въ глаза своему брату и за глаза, что онъ нарочно вертится въ

валъ батюшка, въ какомъ сюртукѣ идетъ Малининъ; если въ „кармазинномъ“, значитъ всѣмъ порка поголовно, и мы къ этому готовились. (Что такое „кармазинный“ сюртукъ, я не понималъ тогда, не понимаю и теперь). Велико было терпѣніе вообще у ребятъ. Противъ розги въ принципѣ ни у кого не было и въ помыслѣніи протестовать; но такое безпощадное и безтолковое примѣненіе довело классъ до неслыханнаго поступка: они рѣшили жаловаться архіерею! Почему прямо архіерею, минуя ректора и префекта? Должно-быть не надѣялись на заступничество. Нарядили двухъ депутатовъ и отправили въ извѣстныя читателю Подлипки, за городъ. Кремль Коломенскій („городъ“, по мѣстному именоваію) стоитъ на горѣ при слияніи Коломенки съ Москвою-рѣкой. Прирѣчная часть стѣны должно-быть и тогда уже до основанія была въ развалинахъ; путь къ архіерейской дачѣ, лежавшій за Коломенкой, былъ виденъ изъ семинаріи, помѣщавшейся въ Кремлѣ. Разставили махальныхъ, которые должны были подать условленный знакъ при самомъ выходѣ пословъ съ архіерейскаго подворья. Домъ семинаріи сохранился доселѣ; но тогда у него было то отличіе, что во всю длину его, именно къ той сторонѣ, которая смотритъ на дворъ, а чрезъ него и на Коломенку, тянулись снаружи „хоры“, по-теперешнему—открытая галерея съ лѣстницами. Сидятъ за скамьями полумертвые въ ожиданіи семинаристы. Нужно понять ихъ положеніе, припомнивъ, что тогда учащіеся были въ полномъ архипастырскомъ распоряженіи, внѣ всякаго контроля свыше; гнѣвъ архіерея, и всѣ они стерты съ лица земли. „Идутъ!“ раздалось наконецъ съ хоръ. Классъ ринулся на хоры, и таковъ былъ единомушный дружный напоръ, что хоры не выдержали и рухнули.

Посольство увѣнчалось полнымъ успѣхомъ. Чрезъ полчаса пришелъ Малининъ въ классъ, плакалъ, просилъ извиненія; пенялъ, что не обратились первона-

чально къ нему лично, объяснялъ, что виновата его болѣзнь, не онъ сѣкъ, а она.

О другомъ случаѣ порки вспоминалъ отецъ, касавшемся его лично. Съ двоюроднымъ братомъ Прокопіемъ, сыномъ Василія Ѳедоровича, вздумали они прогулять классъ и отправились за городъ. Узнано. Дядя Василій явился тогда въ классъ, хотя и не въ немъ учительствовалъ, и произвелъ порку. Порка произведена была особенно чувствительная, такъ что чрезъ пятьдесятъ лѣтъ живо вспоминалась батюшкою, и притомъ съ одобреніемъ.

Простота отношеній съ учащими и съ начальствомъ была замѣчательная. Богословскій классъ располагался лѣтомъ на чистомъ воздухѣ, въ саду Спасскаго монастыря, настоятелемъ котораго былъ ректоръ. И преподаватель-ректоръ читалъ свою лекцію и ученики слушали его полулежа. Повидимому отецъ мой даже не видалъ въ такой, по нынѣшнему выраженію, халатности ничего необыкновеннаго. Онъ упоминалъ о ней только въ поясненіе другаго случая, болѣе существеннаго, какъ ему казалось. Иванъ Лукичъ, товарищъ-одноклассникъ отца и тоже двоюродный братъ ему (по матери) разъ указалъ товарищамъ на неосторожно раскрывшагося ректора и отпустилъ вполголоса не вполнѣ печатную остроту, вызвавшую всеобщій смѣхъ. Ректоръ слышалъ сказанное, а Иванъ Лукичъ, чтобы загладить невѣжливость, на другой день поднесъ его высокопреподобію въ классъ же корзинку персиковъ, подѣлившись тутъ же частію и съ товарищами. Онъ слеталъ за десять верстъ къ садовнику князей Черкасскихъ, съ которымъ былъ знакомъ. Ректоръ принялъ подарокъ, и миръ былъ заключенъ. Впрочемъ Иванъ Лукичъ чуть ли не опредѣленъ былъ уже тогда, хотя еще не посвященъ, во священника.

Къ концу курса постигло семинаристовъ испытаніе. Царствовалъ Павелъ, и не смотря на затрапезъ и крашенину, въ которые облачены были студенты, они обя-

заны были, подстригая передъ и брѣя бороду, отпускать и заплетать косы по формѣ высочайше установленной. На головахъ обязательно шляпы. Когда рассказывалъ объ этомъ отецъ, онъ всегда называлъ шляпы „коровьими“. Въ чемъ была сущность этого наименованія? Понятно, что поярковые, а тѣмъ болѣе пуховыя шляпы заводить голякамъ-семинаристамъ было не подѣ силу, и не въ этомъ смыслѣ отецъ о коровьихъ шляпахъ упоминалъ; должно-быть, въ виду указа изготовлялись какія-нибудь спеціальныя шляпы, получившія однако названіе не отъ формы своей, а отъ матеріала. Любопытное должно быть зрѣлище представлялъ этотъ маскарадъ молодыхъ людей въ затрапезныхъ и крашенинныхъ халатахъ или понитковыхъ кафтанахъ, безъ жилетовъ и безъ брюкъ, но съ придворною косою и съ форменною шляпою на головѣ!

Къ слову объ одеждѣ. Знаменитый историческій дѣятель учился въ той же семинаріи, нѣсколькими курсами моложе моего отца. Филарета мой отецъ помнилъ, какъ очень скромнаго мальчика, „рябенькаго“ (?), во фризовомъ сюртукѣ. Последнее обстоятельство придавало ему видъ щеголя среди своихъ сверстниковъ. По дѣдушкѣ Никитѣ Аѳанасьевичѣ будущее свѣтило состоялъ сосѣдомъ нашимъ. Зачатская церковь, въ которой былъ священникомъ дѣдъ Филарета, а послѣ священствовалъ его братъ Никита Михайловичъ, была одна изъ трехъ ближайшихъ къ Никитѣ Мученику церквей, о которыхъ было упомянуто въ первой главѣ. Діакономъ у Никиты Аѳанасьевича былъ Иванъ Яковлевичъ, двоюродный братъ моего отца (сынъ Якова Ѳеодоровича) и мой крестный отецъ; у Ивана Яковлевича сынъ Григорій Ивановичъ, въ послѣдствіи извѣстный протоіерей Троицы на Листахъ, зять митрополита Филарета, женатый на его сестрѣ Аграфенѣ Михайловнѣ и отчасти сосватанный за сестру самимъ владыкой. Когда родители спрашивали его совѣта, за кого пристроить дочь, онъ и указалъ имъ студента, давно имъ из-

вѣстнаго, котораго и Аграфена Михайловна знала съ дѣтства. Такъ гласитъ наше семейное преданіе; сохранилось ли оно въ родствѣ знаменитаго митрополита? Дроздовъ (будущій митрополитъ) гащивалъ у дѣдушки. Не смотря на свою скромность, онъ не чуждъ былъ и шалостей. На моей ужь памяти, разъ во время посѣщенія владыкой родины, напомнилъ ему о дѣтствѣ одинъ изъ купцовъ. „А помните, владыка, сказалъ онъ ему, какъ мы съ вами лазили черезъ заборъ за яблоками въ садъ Корчевскихъ?“ Это были сосѣди Никиты Аванасьевича.

О коровьихъ шляпахъ и обязательной косѣ родитель мой вспоминалъ не иначе какъ съ горечью, чуть не съ проклятіемъ, и не изъ-за нихъ самихъ, а изъ-за того что обязанность отправляться къ цирюльнику для приведенія головы въ указной видъ познакомила его съ употребленіемъ хмѣльнаго. До того онъ росъ, какъ красная дѣвушка, въ родительскомъ домѣ, не отлучаясь никуда, кромѣ школы и родныхъ, у себя въ городъ и Черкизовъ. Но тамъ, въ Запрудѣ, гдѣ помѣщалась цирюльня, помѣщался и погребокъ; въ немъ угощались товарищи, сходящіеся для убранства головъ. Тамъ-то и вкусилъ мой родитель, упрошенный болѣе опытными семинаристами, сначала „романей“ и какой-то наливки. Негодованіе возбуждалось воспоминаніемъ объ этомъ обстоятельстве въ моемъ родителѣ потому, что спиртные напитки производили на него раздражающее дѣйствіе. Употребленные безъ мѣры они перерождали ягненка, какимъ онъ обыкновенно бывалъ, въ звѣря. Онъ зналъ это и не поминалъ добромъ запрудской романей.

Приближалось окончаніе курса. Оставался всего одинъ годъ. Старики Ѳеодоръ Никифоровичъ съ Михаиломъ Сидоровичемъ, давно ударившіе про себя по рукамъ, о чемъ безъ сомнѣнія предувѣдомленъ былъ и Матвій Ѳеодоровичъ, объявили о рѣшеніи молодымъ людямъ. Состоялась помолвка. Благословили, и девятнадцатилѣтній женихъ каждую субботу и канунъ праздника от-

правился къ невѣстѣ въ Черкизово. И не съ пустыми руками выдавалъ прадѣдъ Маврушу: изъ заветнаго сундука сто серебряныхъ рублевиковъ приготовлены были къ выдачѣ въ приданое, не говоря о полномъ хозяйствѣ, лошади съ упряжью, коровахъ, овцахъ; и въ добавокъ готовое мѣсто, да еще въ кругу родныхъ. Два дѣда похъ бокомъ; теща, свояченица со своякомъ-дядькомъ при томъ же приходѣ и первоначально въ одномъ домѣ. Двадцатилѣтній хозяинъ имѣлъ и готовыхъ руководителей. Все улыбалось, все готовило счастливую и веселую будущность. По окончаніи курса не замедлили послѣдовать свадьба и посвященіе Петра Матвѣевича Никитскаго къ церкви Собора Пресвятыя Богородицы въ селѣ Черкизовѣ. Со ставленою грамотой, подписанною Меѳодіемъ епископомъ Коломенскимъ и Тульскимъ, отправился юный іерей въ новое гнѣздо, не задержанный обязанностью учиться священнослуженію какъ другіе. И на этотъ разъ судьба благопріятствовала. Согласитесь, весело ли проводить медовый мѣсяцъ на чужбинѣ? А это неизбѣжно происходитъ со всякимъ ставленникомъ, обязаннымъ обучаться священнослуженію подъ руководствомъ кого-нибудь изъ старшихъ въ епархіальномъ городѣ.

Читателю видно, что моему батюшкѣ фамилія была уже Никитскій, а не Черкизовскій, какъ у его дяди. Дядю отдали въ семинарію изъ Черкизова, и потому прадѣдъ называлъ сына Черкизовскимъ. Матвѣй Ѳедоровичъ, не бывшій въ школахъ, остался безъ фамиліи, подобно своему отцу; повторить фамилію брата онъ не разсудилъ, а называлъ своихъ сыновей по церкви. И эта фамилія однако не уцѣлѣла: младшій Никитскій своимъ сыновьямъ придумалъ уже другую, болѣе, казалось ему, красивую и благозвучную.

Съ окончаніемъ курса Петромъ Никитскимъ почти кончилась и Коломенская семинарія. Не болѣе года, кажется, она послѣ того просуществовала. вмѣстѣ съ епархіей переведена была она въ Тулу; епископъ Ко-



ломенскій сталъ именоваться Тульскимъ, а къ титулу Московскаго митрополита прибавлено „и Коломенскій“. Епархіи были разверстаны по губерніямъ, семинаристы—по епархіямъ, къ которымъ оказались принадлежащими. Опустѣла родина. Она подошла подъ тотъ типъ казенщины, который тамъ раньше, тамъ позже, но неуклонно повсюду овладѣваетъ Россіей, стирая все бытовое, мѣстное, историческое, не щадя ни одного уголка, ни одного отправления общественной жизни. Раньше развѣнчаны Ростовъ и Переславль, позже или одновременно съ Коломной, Бѣлгородъ и Переяславль. Съ какимъ-то кажущимся озлобленіемъ, а въ сущности даже безотчетно преслѣдовались самыя названія, и притомъ когда они ничему не мѣшали и никакого затрудненія административной машинѣ учинить даже не могли. Къ какому затрудненію, на примѣръ, могло повлечь именованіе епископа „Тульскимъ и *Каширскимъ*“? Второй титулъ архіереевъ ровно никакихъ практическихъ послѣдствій за собой вообще не влечетъ, хотя бы назвали кого Гвинейскимъ или Новозеландскимъ. Однако Тульскій епископъ именуется теперь „Тульскимъ и Бѣлевскимъ“. Кашира все-таки древній городъ, значился въ старыхъ архіерейскихъ титулахъ; такъ нѣтъ же, долой ее. Для чего это?

Для чего! Вопросомъ этимъ предполагается цѣль, умыселъ; расширение и углубленіе казенщины хотя и продолжается неутомимо, но давно перестало быть послѣдствиемъ чьихъ-либо расчетовъ. Оно совершается самостоятельно; люди служатъ направленію, а не двигаютъ имъ. На каждый разъ найдутся частныя объясненія и побужденія. Недавно, кажется, не болѣе года назадъ, Бѣлгородская семинарія переведена въ Курскъ. Объясненія нашлись конечно: въ губернскомъ городѣ „удобнѣе“ быть семинаріи; сношенія съ начальствомъ легче, да и мало ли какихъ возраженій можно набрать противъ оставленія семинарій въ уѣздѣ? Лѣтъ десять, двѣнадцать назадъ велась въ печати оживленная рѣчь о

томъ чтобъ и Московскую Духовную Академію перевести изъ Троицкой Лавры въ Москву. Тоже находились поводы и основанія благовидныя. Но въ сущности во всѣхъ этихъ проектахъ и мѣропріятіяхъ дѣйствуетъ фронтовой идеалъ, который засѣдаетъ въ душѣ русскихъ умниковъ. Разнообразіе коробить, волнистыя линіи колютъ глазъ, личная самостоятельность, мѣстная особенность приводятъ умъ въ замѣшательство. Безотчетное чувство понуждаетъ приводить все къ одному уровню, превращать, хотя бы насильно, всякій органическій процессъ, если возможно, въ механическій. Между прочимъ и мысли спокойнѣе. Она приучается къ общимъ мѣстамъ, слѣдовательно къ безмыслію; жизнь совершается по общимъ формамъ, слѣдовательно двигается, а не живетъ. Что такое губернскій городъ? Городъ, въ которомъ находится губернаторъ, архіерей и острогъ, а кстати и гимназія съ семинаріей; безпокойно представить „губернію“, въ которой бы не доставало этихъ атрибутовъ гражданственности, или представить иное вообще ихъ размѣщеніе.

Съ плачемъ проводили Коломенцы архіерейскій дворъ, консисторію, учителей и учениковъ семинарскихъ. Отселъ они живутъ въ городѣ исключительно торговомъ. Торговые интересы будутъ отселъ главные и единственные; на нихъ будетъ сосредоточиваться и покоиться общественное вниманіе: гурты, барки, хлѣбъ, сало. Экономическая жизнь города, съ выводомъ епархіи, не потерпитъ; она держится на твердомъ основаніи, независимомъ отъ административныхъ дѣленій; ей нанесенъ будетъ ударъ чрезъ шестьдесятъ лѣтъ, но съ другой стороны.

---

## V.

## На переходъ.

Не такова сладость жизни досталась молодому Петру Никитскому, какая обстоятельствами сулилась. Съ поступленіемъ на мѣсто онъ попалъ, по его выраженію, въ жернова. Двадцатилѣтній юноша, возросшій подъ крыломъ батюшки съ матушкой въ городѣ, выдавшій деревню только мимоходомъ во время краткихъ побывокъ у родныхъ, не умѣлъ отличить ржаного колоса отъ ячменнаго. Между тѣмъ вся дальнѣйшая жизнь должна основаться на хозяйствѣ; довольство ея будетъ зависѣть отъ земледѣльческаго труда и умѣнья. Ни дѣдъ, ни теща, а и того менѣе своякъ-дьячокъ со свояченицей не могли быть довольны бѣлоручкой, какъ они его называли, попавшимъ къ нимъ въ домъ: „смотри, ученый, соху отъ бороны не отличить, лошадь даже путемъ запрячь не умѣетъ“. Начнутъ бывало меня пилить, вспоминалъ родитель, въ четыре пилы, урекать, жаловаться, стыдить, насмѣхаться, а жена плакать... И каждый-то день такъ! Тяжко, невыносимо становилось моему родителю, который отгрызнуться не умѣлъ, да притомъ сознавалъ правду упрековъ. Пойду бывало, объяснялъ онъ, черезъ мостъ на другой берегъ, посмотрю на Коломну и плачу. Съ другаго берега дѣйствительно Коломенскія церкви видны были какъ на ладони, такъ бы и полетѣлъ подъ родительскую кровлю! А въ сущности батюшка вѣдь былъ главой дома; повелительнымъ тономъ онъ могъ бы прикрикнуть, тѣмъ болѣе на дьячка-свояка, лицо повидимому вдвойнѣ подчиненное. Но онъ былъ безпомощенъ, противъ него было все въ заговорѣ кромѣ жены. Бѣдовое дѣло поступать „въ домъ“, хотя бы и хозяиномъ, когда порядки въ немъ установились и лица дѣйствуютъ тѣ же.

И служба оказалась тоже не очень веселою. Курная изба съ дымомъ рѣжущимъ глаза, краюха хлѣба вмѣсто денегъ за требы, и въ довершеніе холодная церковь. Въ храмовой праздникъ, 26 декабря, случалось, руки примерзали ко кресту и губы къ потиру.

Какъ быть должно, съ поступленіемъ на мѣсто, молодой соборный попъ, первымъ дѣломъ, отправился на поклонъ въ княжескія палаты, къ владѣтельному князю Борису Михайловичу Черкасскому, бригадиру въ отставку, обладателю многихъ тысячъ душъ въ окружности, не считая имѣній въ другихъ губерніяхъ. Застѣнчивый Петръ Матвѣевичъ растерялся, не зная какъ ступить, какъ сѣсть, и радъ былъ, что аудіенція продолжалась всего нѣсколько минутъ. Откланявшись князю, направился мой родитель по паркетному, отъ роду не виданному полу къ выходу, и можно вообразить его смущеніе, когда вмѣсто двери онъ наткнулся на стѣну. Чопорная симметрія, въ какой расположены были всѣ княжескія хоромы, сказала и здѣсь: съ двухъ боковъ гостиной были одинаковыя двери, и одинъ изъ нихъ фальшивыя. При входѣ уже закружилась голова у трепещущаго іерея, и онъ не помнилъ, откуда зашелъ. Пренебрежительно-покровительственный голосъ князя вывелъ моего отца изъ смущенія; князь указалъ настоящія двери.

Съ кѣмъ же раздѣлить душу? Оставались дворовые люди, эта интеллигенція села. Большинство приняло новаго батюшку съ сочувствіемъ. Ихъ требованія были выше того, чтобы довольствоваться Болоной въ его нагольномъ тулупѣ, неспособнымъ разсуждать о чемъ-нибудь кромѣ мужицкихъ дѣлъ. А они видали кое-что, бывали въ Москвѣ, многіе состояли уже вольноотпущенными, иные даже почитывали. Но величайшимъ благодѣяніемъ и главною отрадой было для отца, что въ приходѣ у него кромѣ князя оказался еще помѣщикъ, въ верстѣ отъ погоста, Василій Любимовичъ Похвисневъ. Не иначе какъ съ самымъ теплымъ

чувствомъ вспоминалъ о немъ подъ старость батюшка.

Василій Любимовичъ Похвисневъ принадлежалъ къ числу тѣхъ представителей средняго дворянства, которые олицетворяли тогда (да и теперь олицетворяютъ) главный умъ Россіи. Сколько можно судить по разсказамъ отца, Похвисневъ былъ Новиковской школы. Онъ получалъ тогдашніе журналы, читалъ все что выходило. Съ сосѣдомъ-княземъ не водилъ знакомства. „За хвостомъ дядюшкиной лошади ѣздилъ; вотъ вся заслуга, за которую онъ получилъ бригадирскій чинъ“: такъ отзывался о князѣ Похвисневѣ. (Князь доводился племянникомъ фельдмаршалу Румянцеву). Князь любилъ удить, и окруженный челядинцами просиживалъ иногда на мосту цѣлые часы за этимъ занятіемъ. „Знаете ли, батюшка, какая будетъ правильная дефиниція удочки?“ спрашивалъ Василій Любимовичъ моего отца по этому поводу. „Удочка есть орудіе, оканчивающееся съ одной стороны поплавкомъ, съ другой дуракомъ.“ „Эта дефиниція и записана была у батюшки въ особенной книгѣ, куда онъ заносилъ замѣчательныя изреченія, вычитанныя или слышанныя имъ. Туда же переписывалъ онъ стихотворенія, нравившіяся ему. Книга листового формата, въ черномъ кожаномъ переплетѣ; заведена она, судя по отмѣткамъ, еще въ Черкизовѣ, и до десятихъ годовъ нынѣшняго столѣтія продолжались вклады въ нее.

Василій Любимовичъ обласкалъ молодого священника, далъ ему свою библіотеку въ распоряженіе; и отецъ находилъ въ чтеніи усаду, отдохновеніе отъ непривлекательной дѣйствительности. Естественно, что сухо смотрѣлъ на близость попа къ сосѣду-помѣщику князь, ненавидѣвшій Похвиснева за независимость вообще и за то въ частности, что никакъ не соглашался тотъ продать сіятельному сосѣду свою Бохтемеревскую усадьбу, которая бѣльмомъ на глазу сидѣла у князя. На десять верстъ простирались княжія владѣнія, а тутъ тор-

читать это чужое Бохтемерево, да еще въ рукахъ этого досаднаго вольнодумца. Дворяне и не бѣдиѣ его состояли при дворѣ князя, потѣшая его и прислуживаясь къ нему: какъ не гнѣваться на такое рѣзкое исключеніе!

Кромѣ дворянъ-прихлебателей князь, какъ и подобало особѣ такого ранга и званія, кормилъ нѣсколько сотъ дворянъ и нѣсколько тысячъ псарни. Онъ былъ холостъ. Но въ палатахъ его, при самой ихъ постройкѣ, предусмотрительно выложена была потайная каменная лѣстница, по которой водили къ нему въ спальню метрессъ изъ дворовыхъ и крестьянокъ, имъ облюбованныхъ. Многихъ онъ бросалъ послѣ первыхъ наслажденій. Но двѣ долго владѣли его сердцемъ, оспаривая его одна у другой. Одну звали Наталья Ивановна; я зазналъ ее еще въ живыхъ, и скончалась она почти столѣтняго возраста, переживъ даже освобожденіе крестьянъ. Очевидно она была красавица смолода; да впрочемъ объ этомъ свидѣтельствовалъ и медальонъ съ ея волосами и портретомъ, подарокъ князя. Она доживала остатокъ дней на мѣсячинѣ, среди той же дворни, въ особой впрочемъ приличной квартирѣ. Бывшей барской барынѣ оставили это положеніе сынъ и потомъ внукъ князя, изъ уваженія къ памяти отца и дѣда. Счастливыѣ Натальи Ивановны была ея соперница, дочь кузнеца. Счастье ея было то, что она приносила дѣтей сіятельному другу. „Если бы мнѣ Богъ далъ дѣтей, не то бы я была“, говаривала Наталья Ивановна. Дѣтей князь воспитывалъ достойно ихъ происхожденія. Ихъ народилось уже пятеро, если не шестеро, въ томъ числѣ четыре сына. Разъ выбравъ часъ и день, когда князь расположенъ былъ къ мягкосердечію, мать со всѣми дѣтьми вошла къ нему и пала на колѣна. Чтѣ происходило далѣе между ними, это извѣстно имъ однимъ; но вскорѣ князь сочетался законнымъ бракомъ съ матерью своихъ дѣтей, и тогда-то Наталья Ивановна поступила за штатъ.

Кто же однако они, эти дѣти? Не красиво значатся

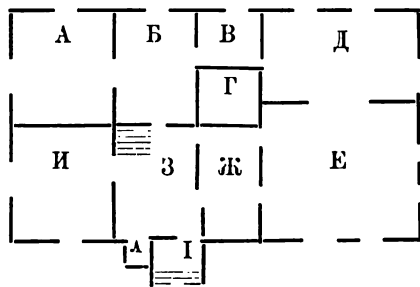
они въ метрикахъ: они — незаконнорожденные дворовой или крестьянской дѣвки такой-то. Къ числу имѣній князя принадлежалъ извѣстный Нижній Ландехъ, отчина знаменитаго Пожарскаго, въ нѣсколько тысячъ душъ, перешедшая по наслѣдству въ родъ Черкасскихъ. Князь рѣшился продать ее (кажется, крестьяне сами выкупили себя), чтобы дѣтямъ, рожденнымъ до брака, купить дворянство. Въ тѣ времена покупка этого товара не была невозможностью; въ Польшѣ шляхтою хотѣлось мости; оставалось найти подходящаго шляхтича, который бы рѣшился продать свое имя; затѣмъ — найти дѣльца, который бы оформилъ куплю. Дѣлецъ найденъ, и экспедиція отправлена. Молва болтала, что въ числѣ дѣльцевъ, главнымъ или второстепеннымъ, былъ извѣстный въ послѣдствіи археологъ П. В. Хавскій, скончавшійся недавно столѣтнимъ старикомъ. Онъ самъ этого не отрицалъ, хотя лично мнѣ не удалось его объ этомъ разспросить. Да и по годамъ его такъ выходило. Молодость Хавскаго принадлежала еще Екатерининскимъ временамъ: къ воцаренію Павла онъ былъ уже такимъ для провинціи значительнымъ чиновникомъ, что приводилъ жителей (кажется Егорьевска) къ присягѣ новому царю. Притомъ онъ былъ коломенецъ.

Экспедиція совершена была удачно. Незаконнорожденные дѣти кузнечихи обратились въ дворянъ Витовскихъ. Впрочемъ не надолго: съ высочайшаго разрѣшенія они были усыновлены (это было при Александрѣ I) и стали князьями Черкасскими. Напрасно только потратился князь и спустилъ такое богатѣйшее имѣніе, какъ Нижній Ландехъ!

Жить вмѣстѣ со своякомъ стало не въ могогу отцу. Да и не порядокъ попу вести общее хозяйство съ дьячкомъ: доли разныя. Пришлось раздѣлиться и разойтись, а отцу строить новый домъ, или точнѣе домъ просто, потому что прежнее помѣщеніе была изба, а не домъ. Я видѣлъ памятникъ зодческихъ способностей отца чрезъ тридцать лѣтъ послѣ того какъ онъ былъ

воздвигнуть. Дивлюсь ненаходчивости зодчаго. Она была впрочемъ общая тогда всѣмъ. Ту самую черту неразвитости искусства замѣчаю и въ коломенскомъ домѣ, который построенъ былъ дѣдомъ и дошелъ въ дѣвственной неприкосновенности до моего времени.

Исторію дѣдовскаго дома рассказываютъ такъ. Бревенчатый четверугольникъ перегороденъ рублеными стѣнами на четыре равныя части. Одна половина четверугольника была „покой“ (двѣ комнаты равной величины); другая состояла изъ холодныхъ сѣней и „топлюшки“ или „стряпущей“, по нынѣшнему—кухни. Снаружи лѣстница и крыльцо. Должно-быть неприглядны были и для тогдашняго времени поповскіе хоромы. И. Д. Мѣщаниновъ, о которомъ уже знаютъ читатели, замѣтилъ дѣду, что пора бы этому дому и на покой. „Да съ деньгами не соберусь“, былъ отвѣтъ. На другой же день явились къ дѣду вошки съ вопросомъ: „куда велишь сваливать?“ Привезенъ прекрасный шестивершковый сосновый лѣсъ, подарокъ Мѣщанинова; явились и плотники отъ него. Дѣдъ построилъ, но какъ? Старого дома все-таки было жаль; онъ его перебралъ и передвинулъ, а къ нему приставилъ новый такой же величины, и образовалось слѣдующее:



Величина была очень порядочная, и давалась возможность полному комфорту; возможна была и фигура. Ничего такого не оказалось. Съ потугами на нѣчто.



болѣе цивилизованное, раздѣлена была новая половина по крайней мѣрѣ на части неравныя. Но снаружки симметріи никакой; окна были неровныя, и всѣ простѣнки разной величины. Не было догадки, да очевидно и потребности, на изящество и удобство. Лица подобнаго званія и достатка, какъ дѣдъ, имѣли предъ собой съ одной стороны избу, и притомъ курную, съ другой—барскіе хоромы, назначенные для житья при болѣе или менѣе многочисленной прислугѣ. Средняго типа не представлялось.

Чтобы не возвращаться къ этому, чуднóму на нынѣшній взглядъ дому, доскажу объ его постройкѣ и внутреннемъ расположеніи. Срубили домъ; предстояло озаботиться о печи. Могли удобно помѣститься двѣ печи съ отопленіемъ всего дома. Но это было бы такимъ смѣлымъ нововведеніемъ, котораго отъ Матвѣя Ѳедоровича нельзя было ожидать. Печь была сложена одна, правда на славу, огромная и притомъ съ лежанкой; за то половина дома оставалась холодною. Рассказывали мнѣ, что кладка печи была великимъ событіемъ. Для печника не жалѣли угощенія. Печникъ великое дѣло! Или сложить такую, что не будетъ грѣть, померешь отъ сырости и угара; или, что особенно страшно, что-нибудь такое положить въ печь, что пойдетъ несчастіе за несчастіемъ, не то домовая заведется, нечистая сила выживетъ (печникъ и мельникъ слыли неизмѣнно колдунами: ихъ мудренаго дѣла иначе народъ и не умѣлъ себѣ объяснить). Но печникъ попалъ богобоязненный: „такую батюшка сложу, что домъ переживетъ“. И дѣйствительно чрезъ пятьдесятъ лѣтъ послѣ кладки я зналъ ее: она стояла какъ была, ни разу во все время не потребовала починки, когда домъ уже обветшалъ. Славная печь! На ней укрывалось бывало, въ зимніе вечера, все наше семейство: мать или тетка съ сестрами за работой, и я тутъ же; иногда отецъ подсядетъ на лежанку. А на палатахъ противъ печи можно и еще помѣститься троимъ, четверымъ, и помѣща-

лись при случаѣ, когда у насъ гащивалъ кто-нибудь. Но возвращаюсь къ описанію дома.

Снаружи лѣстница открытая и за ней крытое крылечко (см. на чертежѣ I). На немъ виситъ глиняный рукомойникъ, тотъ гениальный рукомойникъ, который изяществомъ фигуры напоминаетъ Этрусковъ, а удобствомъ превосходитъ рукомойники всего міра. Смѣютъ ли по удобству соперничать съ нимъ разные хитрые снаряды со сложными механическими приспособленіями, а и того менѣе—обычный европейскій тазъ съ кувшиномъ, при которомъ или предполагается прислуга, или же предоставляется мыть себя тою же водой, которая стекаетъ съ грязнаго лица и рукъ?

Съ крыльца ходъ въ холодныя сѣни (З); ведетъ въ нихъ широкая дверь съ кольцомъ. Сѣни раздѣляются серединою дома, упираясь въ топлюшку. Изъ нихъ лѣстница на верхъ, въ свѣтелку (тесовую) съ балкономъ, смотрящимъ въ садъ и на рѣку. Налѣво изъ сѣней ходъ въ нижнюю свѣтелку (И), холодную, хотя изъ рубленого лѣса; направо въ маленькую „прихожую“ (Ж); прямо, какъ сказано—въ „топлюшку“ (Б). Изъ топлюшки налѣво одностворная дверь въ другую свѣтелку (А), тоже рубленую, но тоже холодную. Противъ свѣтелки одностворная же дверь въ другую прихожую (В), параллельную первой. Здѣсь драгоцѣнная лежанка, идущая съ печью чрезъ всю комнату. Съ лежанки, если угодно, отправляйтесь на печь (Г), съ нея на палаты, простирающіяся надо всѣмъ свободнымъ отъ печи пространствомъ. Далѣе ходъ въ „боковую“ (Д). Печь съ лежанкой занимаетъ столько мѣста, что двери негдѣ было навѣсить. Изъ боковой двухстворчатая дверь въ „горницу“ (Е), изъ горницы двухстворчатая же въ прихожую № 1 (Ж) и оттуда въ сѣни. Или наоборотъ, пойдемъ параднымъ ходомъ: изъ прихожей № 1 въ горницу (по теперешнему „залу“), отсюда въ боковую; назовите ее спальней или гостиной, какъ угодно. Изъ боковой чрезъ прихожую № 2 и кухню снова въ сѣни.

Свѣтелки были непроходныя и одна съ другой не соединялись.

По стѣнамъ неподвижно прикрѣпленныя лавки, и только въ горницѣ крашеные стулья, обитые кожей, лоснящеюся и блестящею отъ долгаго употребленія (такъ же лоснилась и лекадь на печи отъ полустолѣтняго на ней сидѣнья). На стѣнахъ въ горницѣ портреты, должно-быть изъ Мѣщаниновскаго дома, выброшенные оттуда за негодностью. Одинъ изображалъ Екатерину, другіе два какихъ-то мальчиковъ въ бѣлыхъ воротничкахъ. Почему-то въ малолѣтствѣ воображалъ я въ нихъ великихъ князей. Должно-быть потому, что первый портретъ былъ царскій.

Прошу извинить за подробности, но онѣ кажутся не лишними для исторіи быта вообще, для выясненія пути, какимъ двигалась и распространялась цивилизація въ тѣснѣйшемъ ея смыслѣ бытовыхъ и хозяйственныхъ удобствъ. Стулья, какъ видитъ читатель, были еще роскошью, и въ нашей семьѣ они оставались недосыгаемою роскошью до тридцатыхъ годовъ текущаго столѣтія. Знаете ли, между прочимъ, чему обязаны знакомствомъ со стульями даже селенія лежація подъ самою Москвой? Нашествію Французовъ и за нимъ послѣдовавшему нашествію крестьянъ на ту же Москву съ цѣлію грабежа. Награбленная мебель послужила образцомъ для комфорта и типомъ для ремесла. И еще: кто разноситъ, знаете ли, и сейчасъ цивилизацію домашней утвари по всей Россіи? Станціонныя дома желѣзныхъ дорогъ, внезапно появляющіеся тамъ, куда изобрѣтеніе дивановъ и стульевъ еще не дошло.

Родитель мой выстроилъ себѣ домъ тѣмъ же крестовидно раздѣленнымъ четвероугольникомъ, какой былъ у дѣда въ старомъ домѣ. Лишняго матеріала не было, чтобы позволять себѣ такую роскошь какъ прихожая. А просто: ходъ съ крыльца въ сѣни, по обыкновенію холодныя, хотя рубленыя. Налѣво та же „горница“ съ „боковою“ и прямо та же кухня и та же одна печь;

нѣтъ нужды, что кирпичъ былъ дешевъ, а дрова даже свои, собственнаго церковнаго лѣса. Въ тридцатыхъ годахъ братъ, поступившій въ Черкизово на то самое мѣсто, на которомъ былъ нѣкогда отецъ, и получившій въ обладаніе домъ сооруженный родителемъ, возмущался тѣмъ особенно, что не было передней: изъ холодныхъ сѣней прямо въ залу (горница тогда уже переименовалась въ залу). Время успѣло совершить свое: у духовенства явились верхняя одежда и калоши, которыя приходилось оставлять внѣ покоевъ, да и посягители бывають такіе (съ лакеями пожалуй), что безъ передней обойтись нельзя.

Съ добрый десятокъ лѣтъ пробылъ батюшка въ Черкизовѣ, схоронилъ обоихъ дѣдовъ и даже успѣлъ попасть подъ судъ чрезъ одного изъ нихъ. Практическій старикъ Болонъ смастерилъ какую-то незаконную свадьбу. Женихъ съ невѣстой толкались въ разные мѣста, но получали отказъ. Священникъ одного изъ сосѣднихъ селъ, двоюродный братъ отца и слѣдовательно родственникъ Болонъ (Иванъ Лукичъ, упомянутый въ прошлой главѣ), обратился къ старику. Попъ-родственникъ обвѣнчалъ, старикъ же досталъ Черкизовскія метрики, куда и вписано было вѣнчаніе. Воспользовался ли онъ отсутствіемъ отца или какъ иначе ухитрился, только дѣло открылось, и отца обвинили въ томъ, что онъ не донесъ, и послали за это на недѣлю подъ начало въ Голутвинъ монастырь вмѣстѣ съ вѣнчавшимъ попомъ, двоюроднымъ братомъ. Наложенное покаяніе было не очень сурово. Эпитимія болѣе состояла въ попойкахъ и угощеніи монаховъ; но отецъ до старости не могъ простить дѣду этого злоупотребленія довѣренностью. Сиротой выглядывалъ онъ потомъ, когда послѣ Двѣнадцатаго Года всѣ получили извѣстные бронзовые кресты, а онъ нѣтъ, за то что былъ штрафованъ. Воспоминаніе о дѣдушкѣ Болонѣ, полагаю, векипало въ немъ каждый разъ, когда въ крестномъ ходѣ приходилось ему выступать среди священниковъ-сверстниковъ, какъ бы опе-

ваннымъ. Уже чрезъ двадцать слишкомъ лѣтъ послѣ знаменитаго Двѣнадцатаго Года несправедливость была заглажена: крестъ былъ надѣтъ на батюшку, и при обстоятельствахъ загадочныхъ. Неожиданно получено было изъ Москвы приглашеніе отъ викарнаго архіерея (Николая) явиться на подворье. Много было тревоги и недоумѣній: у меня, мальчика, сжалось тогда сердце. Приглашеніе притомъ необычное, не чрезъ благочиннаго, а прямо отъ преосвященнаго, за его подписью. Въ тоскѣ ожидали всѣ мы, дѣти, возвращенія батюшкина изъ Москвы: какой и откуда громъ грянетъ? Однако возвратился отецъ, и загадка разъяснилась, иль нѣтъ — задалась еще другая, мудренѣе. Владыка принялъ отца и объяснилъ коротко: „У васъ нѣтъ еще креста за Двѣнадцатый Годъ; вотъ онъ, получите“. Кому пришло въ голову, чьему вниманію обязанъ, что вспомнили? Не изъ тѣхъ юркихъ людей былъ мой отецъ, чтобы объ этомъ дознаваться; а чтобъ идти для этого еще заднимъ ходомъ какимъ-нибудь — Боже сохрани! Лишь бы скорѣе до дому. Такъ и осталось для насъ всѣхъ загадкой. И такъ какъ И. И. Мѣщанинова привыкли мы всѣ считать своимъ добрымъ геніемъ и знали его неисчерпаемую доброту, то домашнимъ совѣтомъ было рѣшено: „навѣрное это онъ; это онъ ѣздилъ ко владыкѣ и просилъ. Кому же больше?“

## VI.

### Второе поколѣніе.

Десять лѣтъ проведенныхъ въ селѣ не приучили отца къ хлѣбопашеству, хотя земля и должна была служить главнымъ подспорьемъ для жизни. Пашни и покосъ въ воспоминаніи его не занимали никакого мѣста, хотя не прочь онъ былъ припомнить о томъ, напимѣръ, какъ ходилъ по грибы и собиралъ ягоды. Никогда ни

называютъ практическимъ не было вообще и тѣни въ отцѣ, а книги еще болѣе уносили его въ міръ идеальный, и чѣмъ далѣе отъ дѣйствительности, тѣмъ было ему любѣе. Онъ рассказывалъ о путешествіяхъ, о далекихъ странахъ, о моряхъ, о флотскихъ обычаяхъ, о древнихъ и новыхъ герояхъ, о Сократѣ и Діогенѣ, о переходѣ Суворова черезъ Альпы, о Ломоносовѣ, забирался на звѣзды; любимую его угрозой семьѣ было, что онъ уйдетъ во флотскіе священники. Сколько могу судить, въ немъ развилась мечтательность, и онъ жилъ въ мірѣ фантазіи, куда уносился, не дѣлясь съ другими своею внутреннею жизнію. Догадка эта приходила мнѣ еще въ малолѣтствѣ, когда выпивши удалялся онъ, какъ бы спать, въ горницу, а мы съ тревогой посматривали въ дверную щель, успокоился ли онъ. Чаще всего я видѣлъ его не лежащимъ, а сидящимъ и какъ бы разсуждающимъ, съ живыми тѣлодвиженіями, съ поворотами головы, размахами рукъ. Когда отворялась дверь, онъ съ какимъ-то испугомъ оборачивался къ вошедшему и спрашивалъ ласково, что нужно, хотя бы удалился гнѣвный; какъ будто бы чувствовалъ себя пойманнымъ въ чемъ-то нехорошемъ. Читатель увидитъ послѣ, что черта эта перешла отчасти къ младшему сыну при однородныхъ обстоятельствахъ воспитанія. По себѣ судя, воспроизвожу душевное состояніе родителя. Съ идеалами, которыхъ не раздѣляютъ вокругъ и даже никто не понимаетъ, съ познаніями, которыми не съ кѣмъ подѣлиться и которымъ нѣтъ никакого практическаго исхода, при матеріалистически-коммерческомъ направленіи кругомъ, что же оставалось дѣлать? Погружаться снова въ чтеніе и играть въ умственные куклы, создавать другой міръ, жить съ нимъ и утѣшаться имъ. Возиться съ пашней, распоряжаться рабочими, продавать хлѣбъ... да куда же это было моему родителю, когда самой простою куплей, не говоря о продажѣ, онъ стѣснялся? Мальчикомъ сопровождалъ я его иногда за покупками въ „городъ“; отецъ никогда не торговался; единственный вопросъ

его въ такихъ случаяхъ бывалъ: „нельзя ли подешевле?“ И то произносилось несмѣло, какъ бы въ опасеніи оскорбить торговца подозрѣніемъ въ запрашиваніи. Стоило купцу сказать: нѣтъ, это настоящая цѣна,—и батюшка велитъ отвѣшивать или отмѣривать. И любопытно: съ особенною живостью рассказывалъ онъ анекдотъ объ одномъ семинаристѣ, которому нужно было купить сапоги, а денегъ было всего полтина или меньше, словомъ меньше того, сколько нужно за сапоги. Онъ приходитъ, спрашиваетъ сапоги. Показываютъ. „Что стоить?“—„Два рубля“. „Нѣтъ ли похуже?“ спрашиваетъ семинаристъ, не домекнувъ, что надо бы спросить: „нѣтъ ли подешевле?“ Ему подають другую пару. „Что стоить?“—„Полтора рубля“.—„Нѣтъ ли похуже?“ спрашиваетъ снова, и такъ далѣе, пока получаетъ оборванные опорки, которые и надѣваетъ за свою полтину. Сдается мнѣ, рассказывая о семинаристѣ, батюшка воспроизводилъ собственные чувства, испытываемыя при покупкахъ.

Практическій умъ замѣняла отцу мать. Она и вела хозяйство, но потому хозяйство и не могло простираться далѣе избы и двора. Въ важныхъ случаяхъ хозяйственной практики внѣ двора выручалъ отца безъ сомнѣнія своякъ, Василій Михайловичъ, съ которымъ наша семья жила по родственному, не смотря на раздѣлъ, вызванный домашними несогласіями. Я не засталъ Василя Михайловича. Это былъ, по общему сказанію, замѣчательно живой и смысленый человѣкъ, что называется въ одно ухо влѣзеть, а въ другое вылѣзть. Къ числу особенностей его принадлежало, что онъ былъ, какъ выражались, „лунатикъ“, изъ чего выходило много потѣшныхъ исторій. То выбѣжитъ днемъ съ подушкой въ село и расположится среди улицы, разумѣется сонный; то жена раннимъ зимнимъ утромъ идетъ затопить печку, достаетъ первоначально въ печуркѣ огниво и осязаетъ неожиданно чьи-то ноги. Подымается крикъ. Оказывается, что стоитъ предъ „че-

домъ“ Василій Михайловичъ въ трубѣ. Разъ возвращаются онъ и отецъ къ вечеру изъ Коломны. Дѣло было зимой и ѣхали по Москвѣ-рѣкѣ. Какъ разъ на поворотѣ рѣки, у „луки“, Василій Михайловичъ оставливаетъ лошадь и говоритъ, что ему нужно выйти. Вышелъ. Немного погодя, отецъ тронулъ лошадь и завернулъ за луку. Отецъ думалъ пошутить: „своякѣ посмотреть, что лошади нѣтъ, подумаетъ, что я уѣхалъ, побѣжитъ, а я сейчасъ тутъ же и стою“. Случилось не такъ. Ждетъ отецъ, нѣтъ свояка; ждетъ еще, нѣтъ. Воротился назадъ, нѣтъ. „А, это онъ вздумалъ отвѣтить шуткой, взошелъ на берегъ и пошелъ пѣшкомъ въ Черкизово; встрѣтитъ уже со смѣхомъ: чтѣ это, батюшка, такъ запоздали? рассчитывая, что я его буду ждать и искать“. Отецъ стегнулъ лошадь и пріѣхалъ домой. Свояка нѣтъ. Вечеръ и ночь, свояка нѣтъ. На другой день гонцы по обѣимъ дорогамъ, рѣчной и береговой. Одинъ изъ нихъ видитъ Василя Михайловича, направляющагося на дорогу по сугробамъ изъ Семибратской рощи. Чтѣ ты, братъ, какъ ты туда попалъ? Василій Михайловичъ разсказалъ слѣдующее. Когда онъ обернулся назадъ и увидалъ, что лошади нѣтъ, онъ ускорилъ шагъ. Долго ли онъ прошелъ, не помнитъ, но его нагналъ знакомый мужикъ. Разговорились. Мужикъ позвалъ его чуть ли не къ себѣ въ избу. Пошелъ Василій Михайловичъ съ нимъ, и мужикъ пропалъ. „Оглядываюсь, вижу, что сижу на высокой березѣ въ лѣсу. Пришлось слѣзать и выходить на дорогу“.

Смерть дѣда вызвала отца въ Коломну. Мѣсто Матвѣя Ѳедоровича было ему предоставлено, но съ условіемъ купить домъ у сестеръ-вдовъ, жившихъ на попеченіи дѣда, Марьи и Татьяны. Последнія деньги, какія были, отчасти полученныя за Черкизовскій домъ, отчасти сохранившіяся отъ материнскаго приданаго, отчасти скопленныя матерью. пришлось отдать, и пришлось занять еще. На время предоставлено было на-



слѣдницамъ дѣда проживать въ томъ же домѣ въ свѣтелкѣ; дѣло было лѣтнее. Не на добро пошли деньги. У молодыхъ вдовъ начался кутежъ; откуда взялись пріятели и пріятельницы, пьянство, пѣсни, гамъ, топотня! „А я сижу, рассказывала мать моей старшей сестрѣ, слушаю да и плачу. Вотъ куда идутъ кровныя деньги, вотъ какъ поминаютъ родителя! А вѣдь несчастныя къ намъ же опять придутъ промотавшіяся; куда же иначе дѣнутся?“ Предсказаніе матушки сбылось. Спустивъ наслѣдство, прибѣгли къ намъ, и къ счастью нашлась возможность устроить по крайней мѣрѣ одну сестру, Марью. Ея старшему сынишкѣ было уже лѣтъ четырнадцать, и онъ опредѣленъ былъ причетникомъ къ Никитской же церкви; младшаго отдали въ монастырь. Здѣсь изъ послушниковъ онъ доросъ до іеродіакона.

Не знаю, предстанетъ ли мнѣ случай вернуться къ этимъ чадамъ Марьи Матвѣевны. Расскажу ихъ судьбу. Судьба не блестящая. Ивана Евсигнѣевича (старшаго) перевели скоро въ другой, сосѣдній приходъ, въ слѣдствіе указа, запретившаго служеніе близкихъ родственниковъ въ одномъ причтѣ. Много ли мало ли онъ тамъ прослужилъ, но онъ былъ отрѣшенъ отъ мѣста; должно-быть за пьянство, хотя я его не зналъ пьяницей. Какъ сквозь сонъ помню, рассказывали, что на слѣдствіи онъ отзывался „падучею болѣзнію“. Отсюда подозреваю, не повалился ли онъ когда-нибудь пьяный съ амвона при самомъ чтеніи Апостола. Помнится, какъ будто такъ и передавали. Подобный казусъ конечно долженъ былъ возбудить дѣло, хотя можетъ-быть и не повести къ отрѣшенію отъ мѣста, при болѣе милосердомъ взглядѣ начальства. Какъ бы то ни было, много попеталась съ нимъ несчастная мать. Бѣды какія-то большія угрожали Ивану Евсигнѣевичу, и тетка отправилась въ Москву, гдѣ ежедневно путешествовала съ Дѣвичьяго Поля въ городъ. Изъ рассказовъ ея узналъ я, что есть въ Москвѣ „Боровицкія

Ворота“, и старался ихъ себѣ представить. Отъ самого Ивана Евсигнѣевича, возвратившагося цѣлымъ и невредимымъ, узналъ, что въ Москвѣ есть „яма“ и есть „острогъ“, гдѣ онъ сидѣлъ. Какимъ образомъ онъ могъ попасть въ „яму“, назначенную для должниковъ? Но въ острогѣ онъ видѣлъ Николая Павловича, и государь давалъ ему вопросы.

Не лучше судьба постигла и младшаго сына, Алексѣя, въ монашествѣ Арсенія: онъ былъ разстриженъ, понятно, тоже за добрыя дѣла. Оба брата промышляли чтеніемъ и пѣніемъ въ церквахъ, помогая причетникамъ, а главное чтеніемъ Псалтырей по покойникамъ, — занятіе въ которомъ упражнялся дѣдъ Ѳедоръ Андреевичъ и которое оставилъ онъ въ наслѣдство Вагаткѣ (такъ называлъ онъ Ивана Евсигнѣевича, когда тотъ былъ ребенкомъ). Жена Ивана Евсигнѣевича съ двумя дѣтьми бросила его и жила отдѣльно, прокармливаясь работой, а онъ принималъ уголь у нашего дьячка. Алексѣй Евсигнѣевичъ пропадалъ по разнымъ мѣстамъ, изрѣдка появляясь.

Иванъ Евсигнѣевичъ былъ философъ и художникъ. Рѣдкое ремесло не было ему знакомо: онъ шилъ башмаки, дѣлалъ клѣтки, собиралъ и разбиралъ часы; починка замковъ не обходилась безъ него. Первоначальнымъ учителемъ у него былъ дѣдъ Ѳедоръ Андреевичъ. Иванъ Евсигнѣевичъ рассуждалъ, что птицы говорятъ и звѣри говорятъ, и что надо понимать ихъ языкъ; что воробьи говорятъ отчасти даже по нашему, одинъ „живъ, живъ, живъ“, другой отвѣчаетъ: „чуть живъ, чуть живъ, чуть живъ“. Посмотрите на галокъ, воронъ, какъ онѣ переговариваются; молчать долго и вдругъ всѣ заговорятъ; сговариваются, куда летѣть и что дѣлать. Гуси, утки при отлетѣ дожидаются товарищей на опредѣленной станціи и летятъ, когда придутъ ожидаемые. Скворцы осматриваютъ квартиры сообща, приводятъ сначала знакомыхъ посмотреть, хорошъ ли скворечникъ. Убивать животныхъ по на-

стоящему грѣхъ; не знаемъ кого убьемъ: можетъ-быть душу человеческую загубимъ. Отъ Ивана Евсигнѣевича я узналъ, что есть страна, съ которою никогда не бываетъ и не будетъ войны; такое у нея положеніе,— Китай. Онъ же передавалъ, что Русскій царь каждый день тратитъ по миллиону на войско и что государь (Николай Павловичъ) родился въ 1796 году и потому ему ровесникъ. Воспроизводилъ рассказы, слышанные отъ дѣда Ѳедора Андреевича о солдатскомъ житѣ-бытѣ и особенно о солдатѣ Щипакинѣ, который потѣшалъ всю роту въ страшное время Павла и который не плоше дяди Василя Ѳедоровича, разбивавшаго стекла голосомъ, на пари сдувалъ четверикъ крупъ со стола и гасилъ двѣнадцать свѣчъ стоящихъ рядомъ, только не голосомъ. А болѣе всего утѣшалъ меня Иванъ Евсигнѣевичъ своими рассказами о покойникахъ. Я жался къ нему содрагаясь, но просилъ рассказывать. Дѣтъ двѣнадцати былъ онъ, и пришлось ему читать по покойнику въ церкви, притомъ ночью, чередуясь съ пономаремъ; тѣло стояло въ придѣлѣ, отдѣляющемся отъ корридора, за которымъ былъ другой придѣлъ, „фарамугою“ (стѣной изъ стеклянныхъ рамъ). „Читаю и слышу, будто кто-то по стекламъ фарамуги прутикомъ ведетъ. Стало жутко; пойти къ пономарю, спавшему на паперти,—надо пройти чрезъ эту самую фарамугу. Я подошелъ къ алтарю, двигаясь задомъ отъ покойника и задомъ возвращаясь. Взялъ пукъ свѣчъ и весь его зажегъ, чтобы было веселѣе. Звукъ продолжается; начинаю читать громче, чтобы заглушить его, а онъ меня заглушаетъ. Уставился въ книгу, но поднялъ случайно глаза и вижу—вдругъ царскія двери растворились. Упалъ и больше не помню; пономарь потомъ, когда пришелъ на смѣну, поднялъ меня.“

Рассказывалъ онъ мнѣ, что здѣсь, въ Никитской церкви, совершилось чудо, и съ негодованіемъ прибавлялъ: „Кабы не такой вашъ дѣдушка былъ, то церковь бы

прославилась. Икона Силуамской Божіей Матери, знаете, стоитъ налѣво въ холодной (я зналъ, что она есть, и киваю ему головой). Снизлось слѣпой деревенской бабѣ, что она выздоровѣтъ, когда пойдетъ къ Никитѣ-Мученику и отслужитъ молебенъ Силуамской Божіей Матери. Она знала, что есть Никита-Мученикъ, но что есть тамъ Силуамская Божія Матерь, не слыхала. Является къ вашему дѣдушкѣ. И тотъ путемъ не зналъ, что это Силуамская, но по объясненію старухи отслужилъ молебенъ. Старуха выздоровѣла и прозрѣла; каждый годъ потомъ являлась на богомолье.“ Я передавалъ о разсказѣ Евсигнѣевича отцу и спрашивалъ подтвержденія. „Да, что-то было такое“, отвѣчалъ онъ небрежно. Отецъ былъ отчасти раціоналистъ, хотя самымъ строжайшимъ образомъ исполнялъ мельчайшія постановленія церкви. Удивительное сочетаніе двухъ токовъ: одного унаслѣдованнаго отъ семьи, а другаго—отъ лютеранскаго богословія (Мозгейма), по которому учился, и отъ книгъ которыя читалъ.

Нѣсколькими заключительными чертами дополню духовный образъ моего родителя. Когда случалось ему вести продолжительный разговоръ (для этого нужно было, чтобъ онъ былъ нѣсколько навеселѣ), онъ бывалъ остроуменъ, мѣтокъ въ сужденіяхъ, давалъ читанному, слышанному, лицамъ и поступкамъ дѣльную оцѣнку. Прозвища, которыя онъ давалъ, такъ и прирастали къ человѣку: называлъ одного разъ „сомовымъ рыломъ“, иначе потомъ не звали его и другіе. Другую окрестилъ „аршинъ проглотила“, и говоря объ этой гордой особѣ, прибавляли и другіе ту же характеристику. Помимо наружности, клеймилъ онъ столь же мѣтко душевныя качества. Мысли свои способенъ былъ излагать толково и литературно. Таковы его письма къ роднымъ. Но во всю жизнь не рѣшался написать проповѣди, кромѣ той которую поневолѣ долженъ былъ сочинить, когда былъ еще въ семинаріи студентомъ; очередныя проповѣди ему писали сыновья.

Я знаю еще другой такой примѣръ богатаго внутренняго содержанія, но которое не шло далѣе изустной рѣчи, и притомъ не отъ лѣности. Покойный Θ. А. Голубинскій, профессоръ философіи въ Духовной Академіи—глубина и широта учености необъятныя, импровизація блестящая; но заставить его написать что-нибудь было выше силъ человѣческихъ. Ректоръ Алексій (скончавшійся потомъ архіепископомъ Тверскимъ) поступилъ съ нимъ, какъ съ англійскими присяжными, заперъ на ключъ. Написалъ взаперти профессоръ предисловіе къ письмамъ „О Конечныхъ Причинахъ“, но тѣмъ и кончилъ; трудъ, начало котораго было уже напечатано, продолженъ былъ другимъ. Что же это такое? Я не думаю равнять своего родителя со знаменитымъ профессоромъ, но явленіе однородное. У Голубинскаго мы, слушатели и сослуживцы, объясняли этотъ недостатокъ подавляющею громадой знаній, съ которою, какъ намъ казалось, не совладѣвалъ ученый. Сужденіе, можетъ-быть имѣющее долю основательности, но натянутое: излагалъ же Голубинскій своимъ слушателямъ цѣлую систему. Это недостатокъ не ума, а воли: гдѣ-то, что-то надломлено, какой-то проводникъ оборванъ, и даже не между мыслию и словомъ, а между словомъ и письмомъ; какое-то своего рода суевѣріе предъ начертаннымъ звукомъ. Я склоняюсь видѣть причину этого явленія въ семинарскомъ воспитаніи. „Сочиненіе“,—это есть послѣдняя, главная, можно сказать даже единственная задача семинарскаго воспитанія. Мѣрка для опредѣленія удовлетворительности сочиненія въ силу того преувеличенно возрастаетъ у обязанныхъ „сочинять“, и они отступаютъ, по застѣнчивости какъ мой отецъ, и по смиренію какъ Θ. А. Голубинскій.

## VII.

## Попъ Захаръ и попъ Родивонъ.

Наступилъ 1811 годъ, преддверіе грознаго 1812 года. У Петра Матвѣевича съ Маврой Ѳеодоровной трое дѣтей, два сына и одна дочь; было больше, но тѣ померли. Старшему сыну, Александру, уже восемь лѣтъ; пора въ училище. На мѣстѣ разрушенной Коломенской семинаріи, чтобы „не угасалъ свѣтъ ученія“, устроено училище неопредѣленной формаціи, ни то ни се, съ двумя классами, „высшимъ грамматическимъ“ и „низшимъ грамматическимъ“, не соотвѣтствовавшимъ никакой ступени обычнаго семинарскаго курса съ информой, фарой, грамматикой, синтаксіей, поэзіей и такъ далѣе. Два попа учительствуютъ, третій, протоіерей, главноначальствуетъ. „Попъ Захаръ и попъ Родивонъ“: попъ Захаръ въ низшемъ грамматическомъ классѣ, попъ Родивонъ съ высшемъ, оба не прошедшіе полнаго курса семинаріи, равно какъ и ихъ начальникъ протоіерей. Ведутъ Александра Петровича, по фамиліи пока еще Никитскаго, къ попу Захару. „Что, Петръ Матвѣевичъ, пришелъ обольванивать парня?“—„Да, пора.“—„Какъ же его записать, Никитскимъ что ли, какъ ты?“ Дѣло происходило за рюмочкой; попъ Захаръ счелъ нужнымъ принять гостя. — „Не нравится мнѣ моя фамилія, отвѣчалъ Петръ Матвѣевичъ, нужно какую-нибудь другую.“—„Какую же? Давай посмотримъ въ Лебедевой.“ Обратились къ латинской грамматикѣ Лебедева, очень хорошей по своему времени, къ слову сказать—болѣе толковой нежели Амвросія, по которой я учился. Но Амвросій былъ митрополитомъ ко времени преобразованія училищъ, чуть ли не получилъ докторскую степень за свою грамматику, и учебникъ Лебедева отставили.

Стали перелистывать: Celer—скорый, Jucundus—приятный, не то; Honor, Honestus... „А, постой: что онъ у тебя, веселый мальчикъ?“—„Да ничего.“—„Хочешь Hilaris—веселый? *Гиляровъ*, какъ тебѣ кажется?“ Петръ Матвѣевичъ одобрилъ, и сынъ его, шедшій изъ дома *Никитскимъ* и просто поповичемъ, возвратился Александромъ Гиляровымъ, ученикомъ низшаго грамматическаго класса.

Горе было, а не ученіе. Учили разумѣется одному латинскому и ничему болѣе. Греческій и въ семинаріяхъ, и въ академіи (Славяно-Греко-Латинской) считался тогда роскошью; онъ и послѣ, не смотря на всѣ преобразованія, не прижился къ духовной школѣ. А наукъ какихъ-нибудь и въ поминъ не было. И ученіе не то шло, не то нѣтъ; въ классы рѣдко ходилъ попъ Захаръ: то на крестинахъ, то на молебнѣ, то просто выпивши. Въ первый же день заданъ былъ брату урокъ, безо всякихъ разговоровъ, первая страница Лебедева. Пришелъ малый домой, засѣлъ учить; не дается ему: твердилъ, твердилъ, никакъ не запомнить. Твердилъ онъ въ слухъ, сидя на лежанкѣ; матушка противъ него за прялкой на лавкѣ. Мальчикъ плачетъ, и она готова плакать. „Да ты запомни, Саша, говоритъ она, *Федьку Каратаева*.“ Въ урокъ между прочимъ было foedus—союзъ (какъ примѣръ дwoегласнаго *oe*), и уже матушка запомнила это слово, а мальчику не дается. *Федька Каратаевъ*, сынъ сосѣдняго купца, товарищъ брату въ играхъ, долженъ былъ, по основательному разсужденію матушки, напомнить о проклятомъ не дающемся словѣ.

Училище вскорѣ удостоено было архіерейскаго посѣщенія. Пріѣхалъ Августинъ. Классы раздѣлялись только сѣнями. Двери настежь тамъ и здѣсь. Входитъ тучная, низкорослая фигура Августина. Послѣ обычныхъ церемоній садится на ученическую лавку, заставляетъ переводить. Ни въ зубъ толкнуть никто. Тѣмъ временемъ мальчикъ, около котораго сѣлъ архіерей, сталъ играть архіерейскими орденами.

— Какъ тебя зовутъ? спрашиваетъ мальчика архіерей.

— Григорій Богословъ (Богословскій).

— А ты это что же, богословъ, любы что ли тебѣ? спрашиваетъ преосвященный, показывая на орденъ.

— Да, отвѣчаетъ ученикъ, отнявъ руку и начавъ ковырять ею въ носу, не переставая сидѣть въ то же время.

— А, такъ ты хочешь, чтобъ у тебя такіе были! Учись, и будутъ, только въ носу не ковырай. А ну-ка скажи: *praelatus* какъ „начало“? (то-есть, какъ первое лицо глагола въ настоящемъ времени.)

Ученикъ молчитъ.

— *Prælat* какъ начало? возглашаетъ архіерей громко, своимъ обычнымъ звонкимъ теноромъ на весь классъ.

Молчаніе.

— Ну, ты, учитель, *prælat* какъ начало?

Попъ Захаръ потрясъ головой и отвѣчалъ въ полголоса:

— *Nescio* (не знаю).

— Что же это ты своею козлиною бородой трясешь? Я не слышу.

Попъ Захаръ повторилъ свой постыдный отвѣтъ.

— Ну, ты, толстопузый, *prælat* какъ начало? обратился архіерей къ попу Родивону. Тотъ отвѣчаетъ тоже что попъ Захаръ, уже не трясъ бородой.

— Ну, ты, отецъ, *prælat* какъ начало?

Протоіерей Михаилъ Ѳедоровичъ далъ отвѣтъ, котораго ждалъ Августинъ. „Учи ихъ, дураковъ“, примолвилъ архіерей, выходя изъ класса и указывая на двухъ поповъ, учителей высшаго и низшаго грамматическаго классовъ.

Протоіерей, оказавшійся знающимъ слово *prælat*, былъ отецъ уже начинавшаго восходить на высоту Филарета Дроздова; а изъ поповъ одинъ, именно Родивонъ, былъ Иродіонъ Степановичъ Сергіевскій, зять Михаила Ѳедоровича, женатый на его дочери, сестрѣ Филарета, Ольгѣ Михайловнѣ.

Вскорѣ наступилъ Двѣнадцатый Годъ, и училище было распущено. Не буду отвлекать читателя разска-



зомъ о „Непріятельскомъ Годѣ“, какъ называли его у насъ въ Коломнѣ, и продолжу о судьбѣ училища. Двѣнадцатый Годъ прошелъ и тринадцатый прошелъ; ни то ни се продолжалось; совершался переломъ „старого“ образованія на „новое“. Новый уставъ вводился въ Московскій округъ съ 1814 года, и до того времени брать не то учился, не то болтался. Съ 1814 года началось регулярное ученіе, и къ 1818 г. Александръ Гиляровъ кончилъ курсъ, пройдя „низшее“ и „высшее“ отдѣленія училища, съ латинскимъ и греческимъ языкомъ, географіей, Католицизмомъ и Священною Исторіей. Ученіе процвѣтало? Правда, попа Захара уже не было, но попъ Родивонъ, не умѣвшій объяснить слова *praefatus*, оставался учителемъ высшаго отдѣленія. О степени процвѣтанія можетъ дать понятіе слѣдующій достоверный рассказъ. Въ числѣ существеннѣйшихъ занятій были такъ-называемыя „задачи“, по нынѣшнему *extemporalia*, состоявшія въ переводѣ съ русскаго на латинскій. Иродіонъ Степановичъ имѣлъ *Тита Ливія*, переводилъ его на русскій языкъ, диктовалъ переводъ ученикамъ, назначалъ латинскія слова, которыя должны быть употреблены, и ученики обязаны были возстановлять текстъ писателя. Изъ ребятъ кто-то досталъ *Тита Ливія* и подѣлился съ товарищами. Дѣло пошло ходко и притомъ, въ извѣстномъ смыслѣ, честнымъ порядкомъ. Безошибочный переводъ дозволялось представить только первому ученику, а прочіе обязаны были дѣлать ошибки или, выражаясь технически, „класть ероры“ (*errores*), по степени того какъ на самомъ дѣлѣ кто учится и сколько силенъ въ латыни. Было благовидно и шло благополучно; но попутала рѣчь матери Коріолана, начинающаяся, какъ извѣстно, словами *sine me, priusquam te amplectar*, то-есть „позволь мнѣ, прежде чѣмъ я тебя обниму“. На грѣхъ учениковъ и учителя, *sine*, повелительное наклоненіе глагола *sino*, есть вмѣстѣ и предлогъ *безъ*; *sine me* можетъ быть переведено *безъ меня*. Не догадался Иродіонъ Сте-

пановичъ и предположилъ предлогъ. Однако видитъ чепуху. Что онъ нагородилъ, неизвѣстно, но онъ понималъ самъ, что совралъ, и потому былъ увѣренъ, что ученики должны наврать непременно въ томъ мѣстѣ, дѣг онъ съ полнымъ сознаніемъ перевелъ неправильно, но лишь бы связать какъ-нибудь смыслъ съ проклятымъ безъ меня. А въ этомъ-то мѣстѣ ни одинъ изъ учениковъ и не догадался „положить ерора“. Съ отчаяніемъ приходитъ Иродіонъ Степановичъ, и восклицаетъ: „вы всѣ умнѣе меня! Я отказываюсь васъ цѣнить; составьте конклавъ и выберите, кто изъ васъ первый, кто второй; назначьте и подайте мнѣ списокъ.“ „Конклавъ“, это значило вотъ что: онъ же, Иродіонъ Степановичъ, преподавалъ географію, то-есть задавалъ изъ нея уроки и выслушивалъ ихъ; безъ сомнѣнія и онъ самъ впервые изъ нея узналъ, что папа выбирается „конклавомъ“. Слово ему понравилось.

Конклавъ собрался, списокъ составленъ, поданъ, сдѣлана пересадка, и такъ продолжалось до конца курса: списки составлялись конклавомъ, и всегда самымъ добросовѣстнымъ образомъ; не было ни жалобъ, ни споровъ.

Остановлюсь на минуту. Противъ духовныхъ училищъ много писали и пишутъ, и въ большой части основательно. Но сколько мнѣ извѣстно, ни одинъ изъ писавшихъ не потрудился подмѣтить положительныя качества, которыя однако были въ духовной школѣ, и чѣмъ далѣе пойдемъ мы въ старину, тѣмъ ихъ было болѣе. Ни одинъ изъ безусловныхъ хулителей не отдалъ себѣ отчета даже въ томъ, откуда въ немъ самый этотъ протестъ, это негодованіе. Ахъ, еслибы знали они, есть сферы, гдѣ не возникаетъ и протеста, гдѣ даже не зачинается самосознанія! Придется мнѣ безъ сомнѣнія много говорить о духовной школѣ, и не я буду шадить ее: едвали найдется много людей, кто бы столько вытерпѣлъ отъ нея, сколько я. Но я подниму затоптанныя ея достоинства; я не скрою, чѣмъ ей обязанъ и чего бы не получилъ кромѣ нея нигдѣ.

Возьмемъ этотъ случай, случай достовѣрный; дѣятелемъ былъ мой родной братъ; его конклавъ и выбралъ первымъ ученикомъ и продолжалъ выбирать. „Дико, нелѣпо, дуракъ учитель, какое же послѣ того ученіе?“ Все такъ; но ребята учились и продолжали учиться подѣ конклавомъ. Не во многомъ успѣли, не ихъ была вина; но они не злоупотребляли довѣріемъ учителя, они поступали добросовѣстно. И вотъ что скажу: въ духовныхъ училищахъ, до моего по крайней мѣрѣ времени, этотъ духъ справедливой, безпристрастной оцѣнки товарищей царствовалъ безусловно. И затѣмъ: лучшимъ, даровитѣйшимъ и старательнѣйшимъ ученикамъ оказывалось ото всѣхъ безусловное же уваженіе, и притомъ не взирая на происхожденіе. Предъ аристократіей ума и образованія преклонялись безъ протеста; лѣнтяй, сорванецъ, не говоря уже о малодаровитомъ, считалъ за счастье, если можно сказать такъ, погрѣться около солнца дарованій и прилежанія.

Это разъ. Не упустите изъ вниманія и другую черту. Иродіонъ Степановичъ отдаетъ составленіе списка на произволъ учениковъ. Вы думаете, это—сумасбродство? На этотъ разъ сумасбродство, но оно вытекло изъ болѣе глубокой причины, изъ уваженія къ личности: за учениками признана ихъ личность, признано ихъ право. Припомнимъ Малинина и учениковъ, просившихъ на него. Какъ поступлено было бы, не говорю въ кадетскомъ корпусѣ, но въ гимназій и вѣроятно даже въ теперешней семинаріи? Это — бунтъ. Но архіерей не считалъ это бунтомъ, самъ учитель не видѣлъ бунта, не думали бунтовать ученики. Во всей исторіи понятіе бунта отсутствовало, и съ вытаращенными глазами посмотрѣли бы ученики, и архіерей, и учитель, на того кто заговорилъ бы по поводу этого о субординаціи и ея нарушеніи. Какъ ни далека повидимому примѣръ, но я укажу на англійскую оппозицію, „оппозицію ея величества“, какъ она себя величаетъ. Какъ ни горячи пренія, сколь ни ожесточенна борьба, но въ

общихъ принципахъ преданности государственному уставу, вѣрноподданничества, служенія величію отечества, сходятся правая и лѣвая единогласно. На этой почвѣ онѣ и спорятъ. Ни одному изъ учениковъ, жаловавшихся на Малинина, ни на секунду не приходила мысль, чтобъ архіерей могъ одобрить поведеніе учителя за то одно, что онъ учитель; архіерей и равно учитель не допускали мысли, чтобы со стороны учениковъ было озорство. Всѣхъ одушевляла одинаковая идея, что въ отношеніяхъ учителя къ ученикамъ въ семинаріи вообще должна быть справедливость. Справедливость—своего рода конституція; на ней стоятъ одинаково обѣ стороны, и одна другую въ этомъ подкрѣпляютъ. Придетъ время, мы встрѣтимъ еще много случаевъ, странныхъ съ точки зрѣнія формальной дисциплины. Но они странны только тогда, когда формѣ придается безусловное значеніе. Словомъ „отеческій“ злоупотребляютъ; но представьте себѣ отношенія, по существу отеческія или даже полу-братскія, словомъ, семейныя, и вы поймете, какъ могло случиться, что ректоръ помирился на персикахъ, послѣ того какъ ученикъ отпустилъ на его счетъ остроту. Острота была сказана не съ тѣмъ чтобы посмѣяться надъ ректоромъ; самъ ректоръ былъ въ этомъ увѣренъ и конечно первый же бранилъ себя, зачѣмъ онъ неосторожно раскрылся, и отнесся братски къ ученику, тѣмъ болѣе уже назначенному во священника.

Пребываніе брата въ училищѣ ознаменовалось еще другимъ высокимъ посѣщеніемъ, кромѣ Августина. Пріѣзжалъ архимандритъ Филаретъ, Петербургской академіи ректоръ, назначенный обревизовать новооткрытый Московскій округъ. Въ глазахъ Коломенцевъ стоялъ онъ на высотѣ тѣмъ болѣе недостижимой, чѣмъ менѣе іерархическая степень его соотвѣтствовала его дѣйствительной силѣ. Всесильный архимандритъ, со звѣздой на груди (тогда это была новость), прославленное чудо ума и учености. Выражаясь фельетоннымъ языкомъ,

въ свою очередь заимствованнымъ изъ меню французскихъ обѣдовъ, посѣщеніе Филаретомъ Коломенскаго училища представляло особенную *пикантность* въ томъ, что здѣсь смотрителемъ былъ его отецъ, учителемъ зять. Конечно, заранее можно было предсказать, что найдено будетъ все въ отличномъ видѣ. Но Филаретъ велъ себя при посѣщеніи съ тонкимъ достоинствомъ: относясь къ зятю какъ къ обыкновенному учителю, онъ обратился къ своему родителю со словомъ „батьюшка“ и пригласилъ его сѣсть. Не долгоъ былъ осмотръ, не мудрены вопросы; но на одинъ изъ нихъ, очень простой повидимому, ученики затруднились отвѣтить, и по вызову „кто скажетъ“ отвѣтилъ братъ. Вопросъ былъ о томъ, чтѣ такое „купина“. Филаретъ далъ брату еще нѣсколько вопросовъ, спросилъ фамилію и занесъ ее въ свою записную книжку. Братъ былъ на верху торжества; ученики его поздравляли, и самъ Иродіонъ Степановичъ благодарилъ, что „выручилъ“.

Столѣтній юбилей воскресилъ память Филарета; появились характеристики, воспоминанія, поднята его жизнь, отношенія къ роднымъ и сами родные его. Что касается родныхъ и родителей, нельзя не сказать противъ нѣкоторой преувеличенности въ описаніяхъ. Не для того чтобы положить тѣнь, а для того чтобы возстановить истину съ мясомъ и костями, по совѣсти долженъ упомянуть, что родители приснопамятнаго владыки были люди со слабостями. Они не гнушались приносами кизлярской водки и сами не прочь были выкупать. Михаила Ѳедоровича относили, случалось, на рукахъ домой изъ лавокъ около Пятницкихъ воротъ. Такъ говорила Коломна. Авдотья Никитична, вдовая протопопица, когда жила въ трехъ шагахъ отъ насъ у сына своего Никиты Михайловича, была тоже какъ всѣ уѣздныя протопопицы стараго времени. Но къ чести ея надо сказать, что сіянье сына какъ бы озарило и ее. Съ переѣздомъ въ Москву, подъ бокъ къ

высокопреосвященному сыну, чтимому всею Россіей, она приподняла свой образъ жизни, чтобы не ронять владыки (она была умная женщина). Въ Москвѣ Авдотьи Никитичны и невѣстки ея Анны Ксенофоновны не могли узнать тѣ, которые зазнали ихъ и бывали у нихъ въ Коломнѣ.

За посвѣщеніемъ Филарета, скоро ли, долго ли, послѣдовала награда Михаилу Ѳедоровичу необычайная: крестъ „за заслуги или за дарованія сына“ или что-то въ родѣ этого. А Иродіонъ Степановичъ вознесся, особенно по смерти тестя. Онъ былъ произведенъ на мѣсто его въ протоіереи, въ смотрители училища, въ благотворительные и удостоился ордена. Въ училищѣ я едва-едва его не засталъ; но помню его, когда онъ разъ, благотворительнымъ, пріѣзжалъ въ нашу церковь для осмотра и зашелъ къ намъ въ домъ. Увидѣвъ меня, спросилъ, учусь ли я. Я сидѣлъ на азбукѣ и помню какъ теперь, что стоялъ на титлахъ и именно на словахъ „Милость, Милосердѣ“. Заставивъ меня прочитать, Иродіонъ Степановичъ погладилъ меня по головѣ, сказалъ теноромъ, переходящимъ въ баритонъ: „хорошо, братецъ“, и я замѣтилъ его орденъ — красноватый крестъ на ярко-красной лентѣ съ желтыми каемками. Эту диковину я въ первый разъ тогда видѣлъ и долгіе годы потомъ не видалъ. Это было въ 1828 году.

## VIII.

### Двѣнадцатый Годъ.

Послѣ всего писаннаго о Двѣнадцатомъ Годѣ многое ли могу добавить своими разсказами? Но я не хочу умолчать о простодушіи моихъ земляковъ. Черкизово также бѣжало отъ нашествія; но куда? Въ лѣсъ, и что замѣчательно—всего за полверсты. Туда перешло все село

съ лошадьми, скотомъ, пожитками и расположилось таборомъ. Скотъ выпускали на пастбу какъ обыкновенно, а раннимъ утромъ, передъ свѣтомъ, осторожно выходили изъ лѣса дозорные и съ опушки смотрѣли на оставленныя слободы: не шевелится ли кто-нибудь, нѣтъ ли *непріятеля*. Меня занимаетъ психологія этого происшествія; въ общемъ оно повторялось повсюду, но можетъ-быть нигдѣ съ такою потерей здраваго разсудка, какъ въ Черкизовѣ. Повторена была извѣстная исторія страуса, прячущаго голову, чтобы его не видѣли. Ту же исторію отецъ мой рассказывалъ, какъ подлинное происшествіе, о чьемъ-то теленкѣ въ Черкизовѣ, проходившемъ зажмурясь чрезъ сѣни. Повторяя своего теленка, Черкизовцы всѣмъ селомъ и на довольно долгое время (нѣсколько недѣль) совершали то же, что бываетъ при пожарахъ и вообще неожиданной опасности. Но растерянность отдѣльныхъ единицъ на нѣсколько минутъ объяснима; продолжительный же періодъ отсутствія сообразительности у цѣлаго населенія—задача психологическая.

Собрались убираться изъ Коломны. Зарево освѣтило сѣверозападъ, и дошла ошеломляющая вѣсть: „Москва горитъ, и тамъ непріятель!“ Къ Нитикѣ Мученику внезапно нахлынули гости на нѣсколькихъ подводахъ. Въ Москвѣ былъ у батюшки своякъ Алексѣй Михайловичъ, дьячекъ отъ Іакова Апостола въ Казенной, женатый на старшей дочери Ѳедора Андреевича. Москва вся готовилась къ бѣгству и бѣжалъ всякъ кто могъ. Іерей отъ Іакова Апостола въ числѣ другихъ подумывалъ, куда направить путь. Алексѣй Михайловичъ предложилъ своему „батюшкѣ“, не убраться ли имъ вмѣстѣ въ Коломну; „я думаю туда, если не въ самый городъ, то въ село; тамъ два свояка у меня“. Одобрилъ іерей намѣреніе. Снарядились. Случай привелъ Яковлевскаго батюшку гдѣ-то видѣть, во время самыхъ сборовъ, еще священника, изъ другой стороны города, отъ Пятницы на Божедомкѣ, близъ Пречистенки. „То-

же собираюсь, говоритъ Лука Милохоровъ (Божедомскій), только не знаю, куда: не возьмете ли съ собой? Такимъ образомъ цѣлый караванъ нагрянулъ на маленький дворъ у Никиты Мученика. И не совсѣмъ кстати. Наши тоже убирались. Шли хлопоты о спасеніи церковныхъ драгоценностей: снимали оклады и ризы съ большихъ иконъ, малыя цѣликомъ укладывали въ сундукъ: облаченія, сосуды убирали и все это помѣстили въ подвалъ подъ церковію. Преданіе не дошло до меня: зарыты ли были сундуки, или поставлены въ подвалъ на открышѣ, съ повтореніемъ Черкизовскаго теленка.

Когда объявлено было московскимъ гостямъ, что и здѣсь имъ не предстоитъ осѣдлости, они отвѣчали: „куда вы, туда и мы: мы отъ васъ не отстанемъ, благо нашли пріютъ; вы все-таки здѣшніе, а мы на чужой сторонѣ, не знаемъ, какъ и что“. Батюшка между тѣмъ заранѣе рѣшилъ семейнымъ совѣтомъ переправиться въ Княжи, погостъ за нѣсколько десятковъ верстъ, стоящій въ лѣсу, среди болота. Кажется, это уже въ Рязанской губерніи, за Окой. Тамъ дьячкомъ былъ родственникъ. Выборъ былъ сравнительно удачный, нѣсколько позволяли обстоятельства: непріятель въ эту глушь не пойдетъ, тѣмъ болѣе—и поживиться тамъ нечѣмъ. Прибравъ церковь, батюшка вручилъ ключи богобоязненному мѣщанину-прихожанину съ наставленіемъ беречь церковное добро и хранить тайну (дьячки тоже разбѣжались). Въ домѣ ничего не убирали, только привѣсили замокъ къ сѣнямъ.

Отправились въ Княжи; прожили тамъ сентябрь. Время проходило не скучно. Гости московскіе пріѣхали и съ запасами и съ деньгами; были и карты; преподаны были уроки въ нѣсколькихъ играхъ, которыхъ Коломенскіе не знали (да и картъ у нихъ вообще не водилось); прогулки по лѣсу доставляли тоже своего рода отраду. Возвратъ послѣдовалъ, когда отъ гонца нарочно посланнаго въ Коломну, получено извѣстіе, что „все спокойно“.



Было не только все спокойно, но оказалось и все сохраннымъ. Не дохваченный на дорогу кувшинъ съ молокомъ, случайно оставшійся на крыльцѣ, стоялъ въ томъ же положеніи; только вмѣсто молока въ немъ была уже сметана.

Пребываніе московскихъ гостей составило своего рода эпоху въ домашнемъ бытѣ Никитскихъ. Столичные отцы держались нѣкоторыхъ обычаевъ, дотошъ невѣдомыхъ нашимъ. Одно изъ существенныхъ отличій, поразившихъ тогда брата моего (уже восьмилѣтняго), былъ ежедневный чай. Распиваніе его было для нашихъ чѣмъ-то въ родѣ торжественнаго богослуженія. Яковлевскій іерей подзывалъ ребятъ, давалъ имъ по куску сахару, съ наставленіемъ какъ его употреблять. Научилъ, что послѣ второй чашки (больше дѣтямъ де не полагается) нужно накрыть чашку донышкомъ къверху; это де означаетъ „довольно“. Затѣмъ должно „благодарить“, то-есть подойти и поцѣловать руку. Наставленія просвѣтителей соблюдались коломенскими малютками свято и послужили кодексомъ правилъ на дальнѣйшее. Много и въ одеждѣ они увидали новаго, не виданнаго; съ почтительнымъ удовольствіемъ смотрѣли на карманные часы, о которыхъ прежде не имѣли понятія, любовались на складное зеркало.

Я бы могъ остановиться; но перенесу читателя за это версты; познакомлю его съ тѣмъ, что происходило въ другомъ близкомъ мнѣ семействѣ, тоже церковническомъ, но въ Москвѣ. Разсказъ мой будетъ основанъ на показаніяхъ тестя моего Алексѣя Ивановича Богданова, который служилъ тогда дьякономъ въ Москвѣ при церкви Симеона Столпника за Яузой. Цѣлый рой воспоминаній поднимается, но я ограничусь тѣмъ, что тѣсно связано съ описываемымъ періодомъ.

Алексѣй Ивановичъ Богдановъ коренной Москвичъ; въ Москвѣ родился, въ Москвѣ учился; кончилъ курсъ въ Славяно-Греко-Латинской Академіи. Это былъ уже совсѣмъ другой міръ, далекій отъ первобытныхъ нра-

вовъ старой Коломенской семинаріи. Учители не ходили въ нагольныхъ тулупахъ, какъ дѣдъ-протодіаконъ. Шелкъ и сукно появились здѣсь и на духовенствѣ. Изъ академіи хотя тоже отсылали въ университетъ нѣкоторыхъ; за то и въ нее для „усовершенствованія“ присылали кончившихъ семинарскій курсъ изъ разныхъ епархій. Это была дѣйствительно академія, съ блестящими диспутами, съ громкими проповѣдниками. Студентамъ не закрытъ былъ доступъ и въ высшее общество, въ качествѣ учителей конечно. У нѣкоторыхъ были фраки; были изъ нихъ танцоры, были театралы, были болтавшіе по-французски или по-нѣмецки, хотя большинство и не на много вообще обгоняло коломенскихъ тюфяковъ. Алексѣй Ивановичъ былъ изъ числа владѣвшихъ французскимъ языкомъ и вообще съ лоскомъ; его и на „благословеніе“ съ невѣстой взяли съ бульвара, гдѣ онъ весело прогуливался, забывъ объ урочномъ часѣ. Взялъ онъ за себя воспитанницу епифанской помѣщицы. Были двѣ барышни, двѣ вѣчныя дѣвицы, съ ними мать старушка. Періодъ куколъ прошелъ. Женщины не пріискались или не нравились; материнскія потребности однако говорили. По пути изъ „степной“ деревни въ Москву семейство старушки Козловой останавливалось по обычаю на передышку въ „подмосковной“. Въ подмосковной у дьякона родится дочь къ этому времени. Дьяконъ барынѣ въ ноги: „не откажите крестить“; (могъ ли онъ упустить такой случай?) Барыня отпустила барышню; барышня согласилась, но сказала: „только ужъ, отецъ дьяконъ, эта дѣвочка — моя. Ты перестань и знать ее; забудь ее. Надя (названная такъ по имени крестной) моя дочь“. Дьякону оставалось благодарить за такое счастье и Бога молить за добрую барышню.

Такимъ-то путемъ изъ дьяконской избы попалъ ребенокъ въ барскіе хоромы, гдѣ и воспитывался, какъ бы родное дитя дѣйствительно; къ нему приложено было любви, по меньшей мѣрѣ сколько къ любимой куклѣ. Но

вышла катастрофа. У другой барышни-сестрицы тоже своя пріемница, своя любимая кукла. Соперничество сестеръ, твоя или моя лучше, слезы, и въ концѣ всего—рѣшеніе сбыть Надю. Обратились въ Москвѣ, гдѣ былъ свой домъ у Козловой, къ приходскому протоіерею, чтобы нашелъ жениха изъ духовныхъ, приличнаго. Алексѣй Ивановичъ найденъ, представленъ, понравился и невѣстѣ, и маменькѣ. Состоялся бракъ и поступленіе на мѣсто водьяконы. Для Алексѣя Ивановича былъ кладъ. До того времени онъ болты болталъ; занимался по окончаніи курса корректурой въ типографіи Селивановскаго (единственной тогда частной), давалъ кое-гдѣ уроки. Къ духовному званію его не влекло: идеалъ его былъ свѣтская жизнь, общество, гулянье, театръ. Дѣвушка изъ неприкосновеннаго духовнаго быта не могла ему понравиться. А здѣсь, какъ угодно, не просто поповна; да и манило обезпеченіе впереди отъ названной матери.

Обстоятельства, сейчасъ разсказанныя, необходимы къ поясненію послѣдующаго. Наступилъ наконецъ августъ; прогремѣла Бородинская битва; обозы раненыхъ потянулись по Москвѣ; уѣхалъ съ Иверскою Августинъ, провожаемый чуть не проклятіями за оставленіе столицы. Воззванія Ростопчина разжигаютъ народъ; разносятся слухи, что идутъ на помощь Англичане; тѣмъ не менѣе населеніе валить вонъ.

У Надежды Ѳедоровны Козловой, названной тещи Алексѣя Ивановича, былъ родной братъ сенаторомъ. Съ приближеніемъ сентября Надежда Алексѣевна (жена Алексѣя Ивановича) отправляется къ нему узнать, въ какомъ положеніи дѣла. Сенаторъ успокоиваетъ ее, но на другой же день (это было въ самыхъ послѣднихъ числахъ августа) присылаетъ человѣка съ совѣтомъ или приказаніемъ, чтобы Наденька собиралась немедленно ѣхать въ деревню; оставаться въ городѣ невозможно. Наскоро собралась, простилась съ мужемъ Надежда Алексѣевна (дѣтей у нихъ послѣ четырехлѣтняго супружества еще не было). Карета съ нею и съ сенаторомъ въ

сопровожденіи нѣсколькихъ подводъ выѣхала въ Серпуховскую заставу по направленію въ Тулу. Вся дорога вплоть до Каширы представляла какъ бы гулянье, точнѣе—крестный ходъ: пѣшеходы валять толпой, подводы въ нѣсколько рядовъ одна другую тѣснить, сталкиваются. Не одинъ разъ нагайкѣ сенаторскаго лакея или можетъ-быть курьера приходилось работать. Но часто и сенаторскій санъ оказывался безсильнымъ; особенное затрудненіе представлялось подъ самой Каширой, когда приходилось переѣзжать черезъ Оку: не сотни, а тысячи подводъ по нѣскольку дней стояли на берегу, дожидаясь возможности переправиться; берегъ былъ запруженъ, и добраться до него каретъ чрезъ ряды телѣгъ стоило не малаго труда, увѣщаній, денегъ, побоевъ, обращенія къ сельскимъ властямъ.

Оставимъ Надежду Алексѣевну доѣзжать съ сенаторомъ до Епифанскаго уѣзда и возвратимся къ Алексѣю Ивановичу. Онъ остался и не могъ не остаться. 1 сентября Симеонъ Столпникъ, храмовый праздникъ, обязательная служба. Положимъ, и прихожанамъ было не до того, приходъ опустѣлъ. Самъ по себѣ и бросилъ бы Алексѣй Ивановичъ Москву, послѣдовавъ за женой, но не допустить богобоязненный священникъ Николай Ѳедоровичъ. Николай Ѳедоровичъ умереть на порогѣ храма, а исполнить священнослужительскій долгъ, хотя бы тысячи непріятельскихъ штыковъ грозили ему. Это былъ тотъ, неустрашимой вѣры іерей, который изъ всѣхъ двухъ сотъ въ Москвѣ одинъ выискался совершить нѣчто, для слабыхъ духомъ невозможное. Кто-то изъ священниковъ изрыгнулъ св. дары тотчасъ послѣ принятія почти въ моментъ причастія. Къ архіерею съ докладомъ. Архіерей кладетъ резолюцію: на совершившаго епитимію, и затѣмъ если его блазнить обратно принять изверженное, и если не найдетъ другаго, кто бы согласился, — сжечь дары. Замѣститель выискался: Николай Ѳедоровичъ, осѣнивъ себя крестомъ, потребилъ предложенное, не блазнясь и не

сомняся. Таково было въ духовенствѣ преданіе о Николаѣ Ѳеодоровичѣ.

Итакъ праздникъ неизбежно было справить. Всенощная, обѣдня съ подобающимъ священнымъ торжествомъ, праздничный звонъ, водосвятіе, хотя и въ пустой церкви. Къ вечеру 1 сентября Алексѣй Ивановичъ былъ свободенъ. По обычаю пошли со крестомъ по приходу; но изъ прихода выѣхали всѣ. Одинъ принялъ посѣщеніе — староста Верещагинъ.

При имени „Верещагинъ“ читатель вспоминаетъ исторію о растерзанномъ Верещагинѣ въ 1812 году. Къ нему-то я и веду рѣчь. Староста Симеона Столпника былъ отецъ растерзаннаго Верещагина, и самъ растерзанный Верещагинъ — пріятель Алексѣя Ивановича Богданова. Эту темную исторію я расскажу въ томъ видѣ, какъ принялъ отъ тестя.

Въ числѣ тогдашняго образованнаго общества были сочувствовавшіе Наполеону, и молодежь преимущественно. Сличая съ настоящимъ временемъ, приравниваю тогдашнихъ поклонниковъ Наполеона къ теперешнимъ либераламъ-космополитамъ. То были тоже либералы и тоже космополиты. Наполеонъ — не только великій человекъ, но чадо революціи, наслѣдникъ великихъ идей свободы и возстановленія человѣческихъ правъ. Грубая, невѣжественная, рабская Россія получить свѣтъ и свободу отъ всемірнаго генія. Въ числѣ воодушевленныхъ такими чувствами былъ молодой Верещагинъ, связанный между прочимъ дружбой съ сыномъ почтъ-директора (Ключарева): а это былъ рьяный поклонникъ Наполеоновской миссіи. Ключаревъ-отецъ, а чрезъ него и сынъ, получали свободно иностранныя изданія. Какая-то статья ли, прокламація ли (тестъ называлъ прокламаціей) была переведена Ключаревымъ, передана Верещагину; Верещагинъ ее распространялъ. Былъ ли то листокъ печатный или письменный, я не дозналъ отъ тестя. Но въ одно утро Верещагинъ вошелъ къ Алексѣю Ивановичу съ листкомъ и сказалъ: „на-ка, прочитай“; самъ тутъ же

ушелъ. Едва Верещагинъ за порогъ, какъ явился квартальный.

— Чтѣ такое? Какъ вы пожаловали?

— Да чтѣ, вотъ служба, не приведи Богъ! Листки тутъ разносятъ и разбрасываютъ, прокламаціи отъ Бонапарта; велѣно отбирать. Вожусь съ этимъ цѣлое утро. Дайте у васъ передохнуть; да кстати нѣтъ ли закусить?

Квартальный былъ тоже пріятель. Поставленъ графинчикъ. Тары да бары, а я сижу ни живъ, ни мертвъ, рассказывалъ Алексѣй Ивановичъ. Листокъ-то тутъ же, на подзеркальничкѣ. Только оглянись туда гость, пропалъ я!

Однако гость ушелъ, не обративъ вниманія на подзеркальничкѣ. Верещагина взяли. Ростопчинъ зналъ, какъ происходило дѣло, рассказывалъ Алексѣй Ивановичъ, и онъ добивался, чтобы Верещагинъ выдалъ Ключарева. Тотъ былъ непреклоненъ, не смотря на такую явную улику, что самъ не зналъ же иностранныхъ языковъ. Ростопчинъ вызвалъ отца; отецъ на колѣняхъ умолялъ сына пощадить его и пощадить себя, сказать правду. Молодой Верещагинъ не сдался. Въ послѣдній разъ, предъ самымъ выѣздомъ изъ Москвы, призвалъ его Ростопчинъ и наконецъ объявилъ, что упорство будетъ стоить безумцу жизни. Верещагинъ остался нѣмъ. Тогда-то Ростопчинъ выбросилъ его народу со словами: „вотъ измѣнникъ!“

Не одинъ и не два раза передавалъ мнѣ Алексѣй Ивановичъ свои приключенія Двѣнадцатаго Года, и всегда въ томъ же стереотипномъ видѣ эпизодъ о Верещагинѣ. При этомъ никогда не выражалъ онъ ни тѣни негодования на Ростопчина, ни участія къ сыну-Верещагину, котораго считалъ сбившимся малымъ, погибшимъ отъ собственнаго безразсудства.

Настало 2-е сентября. Послѣ обѣда показались нерусскіе мундиры на улицахъ. „Англичане на помощь пришли!“ объявилъ Алексѣю Ивановичу кто-то, церковный

ли сторожъ, или сосѣдъ. Вышелъ Алексѣй Ивановичъ на улицу, спустился подъ горку и видитъ синіе мундиры; разставляются пикеты. На столько онъ былъ свѣдущъ, что зналъ національные цвѣта. Онъ понялъ. Въ тотъ ли самый вечеръ, на другой ли день, солдаты на улицѣ съ восклицаніемъ „un juif!“ (жидъ) подошли къ нему и потребовали сапоги. Онъ отдалъ безпрекословно. По бородѣ, по кудрившимся волосамъ и по подряснику его приняли за Еврея. Съ другими сапогами, въ которыхъ рискнулъ мнимый еврей выйти снова на улицу, повторилось то же; то же съ третьими, старыми, и онъ остался въ кухаркиныхъ опорахъ. На ночь явился постой: два италіянскіе офицера. По сосѣдству, въ домѣ Баташева, Шепелева тожъ (теперь Чернорабочая больница), стоялъ какой-то маршалъ.

Постояльцы-офицеры спали со своимъ хозяиномъ на двуспальной супружеской кровати, положивъ его между себя. Онъ не спалъ всю ночь, но при каждомъ его движеніи постояльцы поднимались и хватались за сабли.

Владѣя французскимъ языкомъ, Алексѣй Ивановичъ разговаривалъ потомъ съ гостями. Они признавались ему, что походъ имъ не по сердцу, и дерутся они не по своей волѣ. Пока оставались въ домѣ Алексѣя Ивановича, они защищали его добро, гоняли солдатъ являвшихся поживиться. Но съ отлучкой ихъ начался грабежъ, кончившійся тѣмъ, что вытащено все, что могло быть унесено. Тѣмъ временемъ вспыхнулъ пожаръ, разлилось огненное море; кухарка ушла и пропала; стало нечего ѣсть: нужно было думать о спасеніи. Къ тому же Верещагину-отцу отправился Алексѣй Ивановичъ: староста былъ единственная знакомая душа въ окружности, оставшійся частію по своимъ церковнымъ обязанностямъ, а главное по милости сына. Выходить за свой околотокъ поискать другихъ знакомыхъ или родныхъ было страшно: убьютъ (отнять уже нечего было), не то сгорятъ; въ самомъ милостивомъ случаѣ обратятъ въ возовую лошадь, заставятъ нести тяжести. Верещагинъ

предложилъ Алексѣю Ивановичу отправиться вмѣстѣ съ нимъ на его заводъ. Оставалось только благодарить, и они вышли пѣшкомъ, въ Рогожскую или Проломную заставу; Алексѣй Ивановичъ—въ старомъ худомъ подрысникѣ и въ кухаркиныхъ опоркахъ.

## IX.

### Домашняя школа.

Я былъ младшимъ въ семьѣ, „поскребышемъ“, какъ называлъ меня отецъ съ улыбкой прихожанамъ, „Давидъ Лессеевъ“, какъ шутилъ со мною Иванъ Евсигнѣвичъ: старшій братъ обогналъ меня на двадцать одинъ годъ и ко времени рожденія моего уже оканчивалъ курсъ; ближайшая по возрасту сестра была старше меня тремя годами.

Первое воспоминаніе мое имѣетъ нѣкоторое отношеніе къ книгамъ и къ школъ. Лѣтній день, въ свѣтлѣхъ, рядомъ съ топлюшкой, окна открыты; за столомъ сидитъ нѣсколько ребятъ; предъ ними книги. Ближе къ окну виситъ люлька, и въ ней я сижу. Очень живо представляю себѣ эту люльку и набойку съ заплатами, на нее натянутую, веревочки привязанныя къ тому же должно-быть крюку, на которомъ виситъ люлька. Я сижу, держу въ рукахъ веревочку, раскачиваюсь и распѣваю „ла“ „ла“ „ла“, изображая звонъ и воображая въ себѣ звонаря. Когда это было? Неужели я еще спалъ къ тому времени въ люлькѣ? Только мнѣ не было еще четырехъ лѣтъ во всякомъ случаѣ.

Ребята съ книгами, это—школа, домашняя школа. Мать была „мастерица“, бравшая дѣтей на выучку грамотѣ и передавшая это ремесло сестрамъ, которыя одна за другой наслѣдовали званіе „мастерицъ“. Приходское и уѣздное училища были въ городѣ, но горо-



жане отдавали туда дѣтей неохотно. Кромѣ нашего дома, были школы и у другихъ изъ духовенства. Славилась особенно школа Николая Матвѣевича, дьячка отъ „Николы въ городѣ“. Я видалъ эту школу, когда у Николая Матвѣевича квартировалъ мой братъ, учитель, съ которымъ мы скоро познакомимся. То была настоящая школа, съ партами въ нѣсколько рядовъ; ученики считались десятками, и Николай Матвѣевичъ выучкой составилъ себѣ состояніе; онъ слылъ богатымъ дьячкомъ. Учительскій гонораръ послужилъ и для моихъ сестеръ главнымъ фондомъ, изъ котораго составились ихъ приданья.

Курсъ состоялъ изъ чтенія и письма, не далѣе. Учились по славянской, синодской азбукѣ; за нею слѣдовалъ Псалтырь, у нѣкоторыхъ еще Часословъ (предъ Псалтыремъ, непосредственно послѣ азбуки); затѣмъ письмо. За выучку положенная цѣна: пять рублей за азбуку, десять за Псалтырь, десять за письмо; за Часословъ прибавлялось пять рублей,—все на тогдашнія ассигнаціи. Способъ ученія былъ первобытный. Давалась указка въ руки; ученикъ или ученица крестился, „мастерица“ начинала: „азъ, буки, вѣди, глаголь, добро“. Это повторялось нѣсколько разъ. Дни, недѣли, мѣсяцы проходили, пока доползетъ дитя только до ижицы, то-есть кончитъ алфавитъ. Затѣмъ „склады“ и „титла“, потомъ знаки препинанія: „оксія, исю, варія, кавыка, звательцо, титло“ и пр. Объясненія никакого. Смыслъ читаемаго едва ли понятенъ былъ самимъ мастерамъ и мастерицамъ, по крайней мѣрѣ въ упомянутомъ перечисленіи знаковъ препинанія. Спросить, что такое „исю“ или „варія“ и зачѣмъ это учатъ, никто бы не отвѣтилъ. Даже изученіе складовъ совершалось механизмомъ самымъ неосмысленнымъ. Читали, и сама мастерица или мастеръ начинали такъ: „буки-азъ-ба—ба, вѣди-арцы-азъ-ра—вра.“ Словомъ, вся процедура перечисленія буквъ до окончательныхъ *вра* или *ба* (последнее притомъ еще повторялось) производилась задаромъ.

Въ учащемся, при произношеніи этой тарабарщины, не проходило соображенія, что это молъ отдѣльныя буквы, и если де ихъ приставить одну къ другой, то выйдетъ вотъ чтѣ. Послѣдствіе было бы тоже, можетъ-быть учащемуся было бы даже легче, когда бы заставляли его просто читать: „ба“ или „вра“. Смыслъ складовъ доходилъ бы до сознанія другимъ путемъ, а не тѣмъ которымъ доводили. Живо это помню по себѣ. Я читалъ помню такъ (и всѣ такъ читали): „буки Богъ, Божество“; это значило, что титла расположены были въ азбучномъ порядкѣ и начинались „Б. Богъ, Божество“. Б. было заглавіемъ строчекъ, въ которыхъ слова съ титлами начинались этою буквой: и это заглавное названіе буквы все-таки заучивалось. Но такъ повелѣвалось преданіемъ

Въ той же азбукѣ за славянскими буквами слѣдовали гражданскія и за славянскими складами и молитвами нѣсколько страницъ гражданской печати съ нравоученіями, начинающимися: „Буди благочестивъ, уповай на Бога и люби Его всѣмъ сердцемъ“. У насъ то и другое пропускалось, равно и катихизисъ (церковно-славянскими буквами), слѣдовавшій за азбукой и начинавшійся словами: „*Вопросъ*: отчего ты называешься христіанинъ?“ Выучившіеся читать и сидѣвшіе на Часословѣ и Псалтырѣ лазили иногда въ азбуку, смотрѣли и нравоученія и катихизисъ. То и другое породило шутки, переходившія по преданію. Такъ начало катихизиса передавали слѣдующимъ образомъ: *Вопросъ*: отчего ты босъ? *Отвѣтъ*: лаптей нѣтъ. Символъ вѣры и молитвы въ азбукѣ выучивались, но тоже безъ понятія, какъ и склады, титла и знаки препинанія. „Чаю воскресенія мертвыхъ“... Что такое „чаю“, я не понималъ и не находилъ нужнымъ спросить; только недоумѣвалъ о подобиозвучіи „чаю“ съ чаемъ. Разумѣніе читаннаго не входило въ программу учащагося. Грамота представлялась механизмомъ, который нужно одолѣть,—и все тутъ.

Издали, лѣтомъ, когда окна открыты, можно было „слышать“ школу (которая впрочемъ этимъ именемъ никогда не называлась). Дѣти твердили на распѣвъ особенною, традиціонною интонаціей. Сидитъ матушка или подлѣ нея сестра. Возлѣ мастерицы на столѣ или на лавкѣ—плетка, неизмѣнная принадлежность. „Ну, чтѣ, дѣти, стали?“ И начиналось галдѣніе, кто во что гораздъ, въ родѣ звона на Ивановской колокольні. Одинъ медленно читаетъ: „живете... зѣло... иже... и“. Другой: „вѣди-арцы-азъ-ра-вра“; третій поетъ Псалтырь. Плеть употреблялась только какъ понуканье, никогда какъ сѣченье. „Ну, ты, опять за свое!“ обращается мастерица къ кому-нибудь, занимавшемуся пойманною мухой или пристающему къ сосѣду со щипкомъ либо щелчкомъ. Ударъ плетью, и порядокъ восстанавливается: ученики (ученицъ у насъ почти не было) встряхиваютъ обстриженными въ кружокъ головами, и пѣніе начинается. „Я вытвердилъ“, объявляетъ кто-нибудь и читаетъ вытверженные три, четыре строки Псалтыря. Мастерица „начинаетъ“ далѣе, новый урокъ строки на три, не обращая вниманія на смыслъ; уроки шли не по точкамъ, а по строчкамъ; не останавливались только въ полусловѣ. Уроки „стверживались“, то есть послѣдній урокъ прочитывался вмѣстѣ съ прежнимъ. Повтореніемъ пройденнаго неизмѣнно начинался каждый классъ: это называлось „читать зады“. Приходитъ ученикъ, и если онъ стоитъ на Псалтырѣ, то помолвившись и усѣвшись, беретъ книгу и читаетъ съ начала той каѳизмы, которую училъ. „Васятка уже на пятой каѳизмѣ, а ты третьей не кончилъ; а вмѣстѣ начали!“ говоритъ съ упрекомъ мастерица какому-нибудь Мишуткѣ.

Послѣ двадцатилѣтняго запоя звуковымъ методомъ, вопросъ объ обученіи грамотѣ поставленъ снова на очередь. Дѣйствительно, если сравнивать двѣ системы, старую съ „буки-арцы-азъ-ра—бра“ и новѣйшую, усовершенствованную, трудно сказать, которая изъ нихъ

заслуживаетъ пальмы первенства по неудовлетворительности, хотя и въ противоположныхъ смыслахъ. Механизмъ обученія чтенію былъ затрудненъ въ старой дьячковской системѣ до послѣдней степени. Какъ бы стараніе приложено было, чтобы возможно долѣе ребенокъ не овладѣвалъ первымъ шагомъ грамотности. Нынѣ наоборотъ механизмъ упрощенъ; но затѣмъ производится сбиваніе съ толку дальнѣйшимъ мнимымъ облегченіемъ, состоящимъ въ скучномъ пережевываніи того что давно и безъ науки извѣстно дитяти; въ этомъ анализѣ того что само по себѣ дается безо всякаго напряженія; въ этомъ предположеніи, что учитель имѣетъ дѣло съ полудидіотомъ. Старая школа напротивъ оставляла все на самостоятельность учащагося: прямо можно сказать, что его не учили даже; если онъ доходилъ до чего, то самъ; учебникъ скорѣе былъ поводомъ, а не орудіемъ къ ученію. Понятно, учась безъ малѣйшаго облегченія и вспомошествованія, немногіе, очень немногіе достигали цѣли, которую предполагаетъ ученіе; большинство останавливалось на механической грамотности. Но то же съ новѣйшею школою. За то изъ старой выходили начетчики, любители чтенія, и притомъ для которыхъ славянская и русская книги были одинаково доступны по смыслу и изъ русскихъ не трудны даже при самомъ отвлеченномъ содержаніи. Мнѣ приходилось наблюдать за вышедшими изъ теперешнихъ школъ грамотности: любви къ чтенію прививается во всякомъ случаѣ не больше чѣмъ послѣ старой.

Само собою разумѣется, я не проповѣдую возвращенія къ буки-азъ—ба, но думаю что излишнія помочи и разжевыванье скорѣе вредны чѣмъ полезны; что всегда нужно оставлять уму мѣсто для труда, для углубленія и притомъ по собственному побужденію. Въ этомъ между прочимъ смыслъ я стою за начинанье церковною азбукой, а не гражданскою. Послѣ церковной азбуки гражданская дается сама собою, ей не нужно учить, тогда какъ переходъ отъ гражданской къ

церковной требуетъ особаго ученія. И первоначальное чтеніе опять должно бы быть церковно-славянское, и именно потому, что языкъ затруднительнѣе. Облегчите механизмъ чтенія, но заставьте преодолевать, не безъ вѣшняго пособія, а все-таки *преодолевать* невнятное содержаніе читаемаго. При началіи чтенія съ церковно-славянскаго, въ умѣ дитяти происходитъ приблизительно процессъ, переживаемый умомъ при обученіи классическимъ языкамъ. Въ таинственной лабораторіи ума недовѣдомо производится сличеніе понятій и формъ одного языка съ понятіями и формами другаго, работа формальнаго умственного развитія, — развитія, замѣтите, самостоятельнаго.

По выучкѣ чтенію приступали къ письму; оно начиналось выводомъ буквъ по написанному мастерицей. Мастерица также „начинала“, писала строку и болѣе. Пропись на столѣ. Послѣ механическаго обвода буквъ, начертанныхъ чужою рукой, ученикъ долженъ былъ выводить самъ, и когда пройдетъ всю азбуку, списываетъ съ прописей, какъ тамъ назначено, сперва по крупному, потомъ по мелкому, красующіяся тамъ изреченія.

Занятіе учениками не мѣшало мастерицѣ заниматься своимъ дѣломъ, шитьемъ, вязаньемъ чулка, плетеніемъ кружевъ. Приходила гостья, завязывались разговоры, ученики навастривали уши. „Ну, вы опять стали? Чего вы!“ И снова встряхиваютъ головами мальчишки, и снова начинается пѣніе или причитаніе, не знаю какъ назвать точнѣе.

Тотъ же процессъ и мною пройденъ, только безъ письма. Письмо осталось пробѣломъ, по обстоятельствамъ отъ меня не зависѣвшимъ. По преданію, какъ подобало, 1 іюля, въ день Космы и Даміана, посадили меня за азбуку. (Почему дни Космы и Даміана, іюльскій и ноябрьскій, признаны въ народѣ законными къ началію ученія, недоумѣваю до сихъ поръ. Мальчикомъ, не знаю съ чьихъ словъ, я разсуждалъ, что правильнѣе бы начинать ученіе 1-го декабря, въ день пророка На-

ума, потому что онъ наставляетъ *на умъ*). Предварительно была куплена азбучка въ красненькой обложкѣ (отецъ выбралъ какая покрасивѣе); куплена костяная указка съ пѣтушкомъ, немножко даже подмалеванная въ ручкѣ. Отецъ велѣлъ отпереть церковь и повелъ меня. Поставилъ меня на солеѣ предъ мѣстной иконой и сказалъ, чтобъ я молился; затѣмъ прочиталъ нѣсколько молитвъ. Полагаю, что онъ служилъ молебень, хотя и безъ дьячка (котораго трудить не хотѣлъ конечно для частнаго дѣла), потому что покрылъ меня епитрахилью и читалъ что-то, очевидно Евангеліе. Я наклонилъ голову по приказанію и рассматривалъ въ это время отцовскій подрясникъ. Пришли обратно въ домъ, и меня посадили за азбуку. Далѣе пошло обычнымъ порядкомъ.

Нѣтъ, не совсѣмъ обычнымъ. Ученики приходили утромъ, часовъ въ восемь, отпускаемы были обѣдать часовъ въ двѣнадцать, возвращались и распускаемы были окончательно къ часу вечерень. Меня же учили и не въ учебное время, можетъ-быть потому что въ учебное время менѣ мною занимались. Раннее, раннее утро. Сажу на лежанкѣ, и мать подаетъ мнѣ кашу для завтрака въ глиняной муравленой чашкѣ. „Ну, теперь азбучку возьми“. Помню ее, съ покрытою непремѣнно головой, въ зеленомъ съ коричневыми полосками сарафанѣ, весьма, весьма полиняломъ. Или вечеръ. Почти всѣ на печи. Я съ азбукой. „Да ну же; а вотъ я тебѣ приготовила“, и показываетъ винную ягоду. Въ письмѣ къ брату, случайно сохранившемся, отецъ упоминаетъ о подобномъ обстоятельстве. „Разбираетъ, пишетъ онъ, слова премудренныя *Буки, Богъ, Божество*, и охотно учится, когда ему общаютъ какую-нибудь гостинку“. Гостинки были рѣдкость, и онѣ были не купленыя, — остатки свадебъ. Свадебъ двѣ, три въ годъ все бывало въ приходѣ; неизмѣнно приглашались батюшка съ матушкой. Изъ лакомствъ, которыя подавались, два, три мятные жемка, винныя ягоды, черносливъ, иногда финикъ,

приносились матушкой и запирались въ шкафъ впредь до случая полакомить изъ дѣтей кого-нибудь.

Кромѣ ласкъ дѣйствовали и страхомъ. Къ окнамъ подходилъ иногда Калина, нищій старикъ, за подаваніемъ. Ему подавали, а на меня почему-то страхъ нападалъ при видѣ его сумы и палки: такъ и представлялось, что вотъ возьметъ онъ меня, посадить съ суму и унесетъ не-вѣсть куда. „Погоди, вотъ Калина придетъ, отдадимъ тебя!“ Это была сильная угроза.

Но пятый годъ прошелъ, прошелъ и шестой, четвертый мѣсяцъ истекалъ и седьмого. Писать меня не начинали учить. Къ тому времени матушка захворала. Канунъ нашего храмоваго праздника, 14-е сентября. Торжественная всенощная, на сколько въ состояніи придать себѣ торжества уѣздная церковь. Приглашался дьяконъ (причтъ не имѣлъ своего дьякона); являлись какіе-то сборные пѣвчіе, то-есть просто мѣщане-любители. Матушка отстояла всенощную. Легли спать. Я спалъ съ ней ночью; я попросился. Она встала и босикомъ проводила меня въ сѣни. На другой день она почувствовала себя дурно. Поражающую противоположность представляли хлопоты около больной при праздничномъ видѣ погоста, разряженныхъ богомольцахъ, торжественномъ звонѣ. Но ей было худо. Накидывали горшокъ, прикладывали къ животу пареное сѣмя льняное. Явились откуда-то знахархи и совѣтницы. Матушка слегка окончательно.

День ото дня ей дѣлалось хуже. Докторъ. Въ первый разъ я увидалъ аптечные пузырьки, впрочемъ не съ хитрымъ лѣкарствомъ. Врачъ, не смотря на свою докторскую степень, полученную какъ говорили, по протекціи дяди своего, профессора Мудрова, не много должно быть разумѣлъ. Кромѣ мятныхъ и гофмановыхъ капель и магнезій, помнится, не прописывалось ничего. Магнезія насъ съ сестрой (младшею) поразила, и мы находили вкуснымъ ея лакомиться. А о мятныхъ и гофманскихъ капляхъ, какъ о лакомствѣ, просили старшихъ

сестеръ, чтобъ онѣ накапали на кусочекъ сахара и дали намъ.

Болѣзнь усиливалась; по нѣскольку часовъ матушка кричала во весь голосъ. Мы притаивались, забирались всѣ въ топлюшку, и мрачный отецъ молча щепалъ сухое полѣно, приготовляя спички; онѣ будутъ потомъ обмакнуты въ сѣру. Разъ мы выбѣжали съ сестрой на дворъ, взяли корытце, изъ котораго кормятъ куръ, поставили его на голову, понесли и запѣли *Со святыми упокой* или *Святыи Боже*. „Ахъ вы, безстыдники, разстрѣлы, что вы дѣлаете! Смерть на мать накликаете!“ крикнула на насъ тетка. А мы рѣшительно не понимали, чтѣ дѣлали и почему. Корыто было брошено.

Плохо, не одобровать. Начинаютъ говорить, что примѣты дурныя, воробей влетѣлъ въ церковь. Дано знать роднымъ въ Черкизово. Приѣхали къ больной старшая сестра (вдова Василия Михайловича) и племянницы. Матушка потеряла языкъ, поманила проститься; крестила, взяла свою руку и, пересчитавъ пальцы по числу дѣтей, съ особеннымъ выраженіемъ пожала означавшій старшую сестру. Двадцати одного года оставляла она ее, давно невѣсту. При бѣднотѣ, при отцѣ ребенкѣ въ практической жизни, удастся ли ей пристроиться? Не могла не тосковать въ виду темнаго будущаго любящая душа матери, при отходѣ въ другую жизнь.

Затихло что-то, никого нѣтъ, пусто. Я иду въ свѣтелку; тамъ есть, я знаю, лепешки оставшіяся отъ праздника. Подхожу къ столу, выдвигаю ящикъ, протягиваю руку... Вдругъ слышу прикосновеніе къ плечу и тихій голосъ отца: „иди, мать умираетъ“. Окруженная дѣтьми и родными, мать напряженно и рѣдко вздыхаетъ. Еще рѣже... еще... Послѣдній вздохъ. Секунда, и домъ огласился крикомъ. Тетка и замужняя дочь ея сорвали повойники, рвали волосы, колотились головой о притолку. Мои сестры плачутъ, и я тоже. Тяжелая картина, тяжелое воспоминаніе! Отецъ стоялъ молча; глаза его увлажнились, и онъ вышелъ.



Чтеніе Псалтыря по матери-покойницѣ не миновало Ивана Евсигнѣевича. Помню гробъ изъ дубовой колоды, подсвѣчники около него, похороны съ поразившимъ меня видомъ сестеръ, одѣтыхъ въ черное, съ головой обвязанной бѣлыми платочками, отца стоявшаго въ церкви на ряду съ прочими, не въ качествѣ священнослужителя; служили другіе. Отнесли матушку на кладбище, и читателямъ памятенъ мой вопросъ кучеру: „куда это маменьку несутъ“?

Пока тѣло лежало въ комнатѣ, ночью мы приносили скамейку съ сестрой и открывали у покойницы глаза, эти прекрасные большіе голубые глаза. Иванъ Евсигнѣевичъ, при всей ласковой почтительности, съ какою всегда съ нами обходился, отогналъ насъ, пристыдилъ и положилъ покойницѣ по мѣдной монетѣ на каждый глазъ.

Уныло, похоронно потянулись дни. Жизнь не могла наладиться. Приглашена тетка Марья Матвѣевна замѣнить мать въ стряпнѣ; такъ она и осталась. Приѣхалъ средній братъ, только-что кончившій курсъ въ семинаріи, но пробылъ не долго. Во мнѣ онъ оставилъ по себѣ тогда воспоминаніе только своимъ необыкновеннымъ картузомъ, съ чрезвычайно длиннымъ козырькомъ, не круглымъ, а четырехъугольнымъ; послѣ, чрезъ нѣсколько лѣтъ, козырекъ обрѣзали и дали мнѣ картузъ донашивать. Вскорѣ наступила холера. Тарелки съ хлорною известью, разложенныя по угламъ, распространяютъ острый запахъ. Изъ Москвы отъ старшаго брата получались протыканныя письма и съ вѣстями одна другой мрачнѣе. Въ довершеніе бѣдъ сваливается отецъ.

Когда лежалъ больной отецъ на той самой постелѣ, въ боковой комнатѣ, на которой скончалась мать; когда мы садились вечерами около него и прислушивались, не попроситъ ли онъ ослабѣвшимъ голосомъ чего-нибудь (обыкновенно клюковнаго морса или сухарной воды): только тутъ я оцѣнилъ, чтѣ такое смерть, ощутилъ, чтѣ значитъ потеря близкаго, а особенно гла-

вы дома, единственной опоры существованія семьи. „Что, если тятенька умереть тоже?“ При этомъ мысленномъ вопросѣ вступалъ такой ужасъ, обнимала такая непроглядная темь безнадежнаго будущаго, что и теперь не могу вспомнить объ этомъ чувствѣ безъ трепета. Куда мы дѣнемся? Чѣмъ будемъ жить? Что съ нами будетъ? Туманилась дѣтская голова, и я боялся заглядывать даже сестрамъ въ глаза. Страхъ безпомощности, чувство безнадежности такъ глубоко проникли меня тогда, что не знаю, представляетъ ли кто живѣ меня подобное положеніе, когда рассказываютъ о другихъ. Вотъ что содѣйствовало, между прочимъ, укорененію моихъ основныхъ социальныхъ воззрѣній. Изученіе историческое и философское только подкрѣпило выводъ, встававшій въ видѣ призрака предо мной, еще шестилѣтнимъ ребенкомъ. Обеспеченіе быта единицъ должно быть положено въ основу общественнаго устройства, при свободѣ и обязательности труда. Безпомощныхъ сиротъ не должно быть, ни въ видѣ малолѣтнихъ, ни въ видѣ взрослыхъ. Самый трудъ, то-есть способность къ труду, можетъ и долженъ быть капитализованъ. Капиталъ происхожденіемъ своимъ прежде всего обязанъ именно стремленію человѣчества застраховать себя отъ случайностей. Но къ страхованію себя способенъ и трудъ. Капиталъ въ своемъ понятіи не предполагаетъ непременно ограниченія опредѣленнымъ видомъ, и въ этомъ смыслѣ попытка къ великому міровому шагу совершается въ настоящее время Бисмаркомъ; попытка нерѣшительная, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ жалкая, тѣмъ не менѣе великая.

Я уклонился однако. Батюшка выздоровѣлъ. Прошла зима, пришла весна. Жизнь воротилась на старое. Старшая сестра въ верховномъ хозяйствѣ дома замѣнила мать, а равно въ мастеричествѣ. Меня посадили снова не за азбуку уже и Псалтырь, а за письмо. Но письму стали учить по новому, по ученому, заставляли писать „палки“ по настоянію брата. Ученье шло

съ перерывами; отъ палокъ до буквъ я едва доплелся къ той порѣ, когда лѣтомъ жалоба сестеръ вызвала смутившее меня слово: „а вотъ я его отведу въ семинарію“.

## Х.

### Первый училищный искусъ.

Послѣ обѣда отецъ велѣлъ мнѣ одѣваться. Это значило, что я долженъ былъ надѣть сапоги, сюртучокъ и взять картузь. Сапоговъ я обыкновенно не носилъ и не любилъ носить. Даже послѣ, въ училищѣ, съ удовольствіемъ по выходѣ изъ класса снималъ ихъ и бралъ подъ мышку. Въ лѣтнее время особеннымъ наслажденіемъ для меня было шлепать голыми ногами по горячей пыли или брать настоящую ножную ванну, не пыльную, а водяную. Противъ нашего дома рѣка по мелководью была перепружена вдоль плотиной. По сую сторону отъ плотины мелко, и вода въ лѣтніе дни почти горячая; какъ пріятно, засучивъ брюченки, ходить въ этой водѣ и шлепать по водѣ длиннымъ прутомъ!

Мы заворотили за уголъ, прошли улицу, повернули направо, вступили Пятницкими воротами въ Кремль, дошли до собора и повернули противъ него въ отворенныя большія ворота, надъ которыми—икона, обвѣшенная гирляндой завядшихъ цвѣтовъ и какая-то надпись, извивающаяся лентой. Налѣво тянулось длинное двухъэтажное зданіе, направо такое же, только меньшей величины, квадратное. Последнее, во время епархіи, служило помѣщеніемъ для консисторіи. Во дворѣ у этого дома по стѣнѣ хоры, то-есть галлерей, и въ ней лѣстница. Она была очень обыкновенная, двойная, но меня поразило и долгое время поражало: какъ

это, налево ли пойдешь, направо ли пойдешь, все придеши къ одному? Поднялись въ верхній этажъ и вступили въ длинную залу, показавшуюся мнѣ огромною. Бросился въ глаза потолокъ, на которомъ изображена какая-то птица съ вѣнкомъ вокругъ. Подобнаго я еще отъ рода не видывалъ; великолѣпіе я могъ измѣрять только своею церковью, а она только побѣлена, придѣлъ только покрашенъ. Длинные, черныя скамьи стояли по обѣимъ сторонамъ, двоякаго вида: скамьи низенькія и узкія, и скамьи высокія и широкія. Классъ былъ пустъ, и лишь на одной изъ высокихъ скамей лежалъ брюхомъ малый годами четырьмя, пятью меня старше, въ зеленомъ нанковомъ скюртукѣ. „Гдѣ Иванъ Васильевичъ?“ спросилъ его отецъ. Едва повернувъ голову, школьникъ указалъ пальцемъ дверь, въ которую мы было вошли. Мы повернули обратно, прошли въ другую дверь, въ другой сторонѣ дома. Вступили снова въ классъ, меньшей величины и со скамьями уже некрашеными. Классъ, въ который мы вступили, былъ „приходскимъ училищемъ“, занимавшимъ четверть этажа. Первая зала, въ которую прежде попали, была „низшее отдѣленіе уѣзднаго училища“, занимавшее половину этажа. Изъ приходскаго училища между партъ направились мы къ двери, противоположной съ тою, въ которую вошли. Здѣсь въ комнаты, и одна изъ нихъ принадлежала Ивану Васильевичу Смирнову, учителю приходскаго училища, къ которому меня вели, а другая Ивану Макаровичу Дроздову, учителю низшаго отдѣленія. Итакъ, учительскія квартиры, то-есть по одной комнатѣ у каждаго, помѣщались между двумя классами: ходъ и выходъ у нихъ только чрезъ классъ. Но мнѣ все казалось великолѣпнымъ и нѣсколько даже страшнымъ.

Ласково встрѣтилъ меня Иванъ Васильевичъ, двоюродный братъ, сынъ Василія Михайловича. „А, что, попалъ!“ сказалъ онъ, поцѣловавшись со мной. Ребенкомъ Иванъ Васильевичъ самъ былъ у моихъ родите-

лей вмѣсто сына. Учась въ училищѣ, онъ жилъ у насъ. Иванъ Васильевичъ посадилъ меня за свой столъ, обитый зеленымъ сукномъ, со шкафчиками взади, далъ въ руки книгу и сказалъ: „вотъ, выучи“. Это была *Россійская Грамматика*, и задана была мнѣ вся первая полная страница. Иванъ Васильевичъ растолковалъ, какъ нужно учить: „Сперва прочитай вотъ до точки; потомъ снова прочитай; потомъ отложи книгу и попытай прочитать въ нее не глядя“. Драгоценное наставленіе! Многого ли оно стоило? Но не всѣ были такъ счастливы, чтобы получить его. Какъ учить наизусть? Вопросъ повидимому не мудреный, но добрая половина ребятъ именно этого-то и не знали, и не выучивали урока не смотря на стараніе, или же осиливали его долбежкой, утрачивая смыслъ. Большинство учили не прочитывая до точки и даже до запятой, а приступали къ ученію такъ: „грамматика есть, грамматика есть, грамматика есть“ и т. д. разъ сорокъ, можетъ быть сто. Потомъ: „грамматика есть наука, есть наука, есть наука, грамматика есть наука...“ И весь курсъ, всю училищную жизнь продолжался потомъ тотъ же способъ! Можно прозакладывать что угодно: большинство отставшихъ и затѣмъ совсѣмъ отвалившихся не двинулись просто потому, что не умѣли учить. Лѣтъ чрезъ пять, во время моей школьной славы, останавливалъ я иногда ребятъ, своихъ одноклассниковъ; брала жалость при видѣ какъ они долбятъ, наклонившись надъ книгой и зажавъ уши. Растолковывалъ имъ, повторялъ драгоценное наставленіе Ивана Васильевича. Тщетно! Складка уже образовалась и расправить ее было выше силъ чьихъ бы то ни было. Послушаетъ тебя, попробуетъ, но потомъ бросить. „Нѣтъ, трудно, такъ лучше, такъ я привыкъ. Грамматика есть, грамматика есть, грамматика есть, грамматика есть...“ Боже, сколько можетъ быть дарованій пропало, сколько силъ загублено, и отъ такой пустой причины!

Отецъ распростился съ Иваномъ Васильевичемъ и

оставилъ меня со словами, обращенными къ учителю: „сѣките его больше“. Замѣчаніе это мнѣ не показалось. „Къ чему это? сказалъ я себѣ. Добро бы самъ меня часто сѣкъ!“ Сѣкъ онъ меня дѣйствительно рѣдко, хотя и мѣтко. Разумѣется, это размышленіе осталось при мнѣ; я углубился въ книгу, а Иванъ Васильевичъ ушелъ въ классъ, гдѣ уже начинали мало-по-малу галдѣть. Отецъ меня привелъ: 1) во время обѣда, и потому мы никого не застали кромѣ зеленого скюртука; 2) не въ урочное время года, не осенью, когда начинается ученіе, а предъ вакаціей, и потому я не посаженъ въ классъ, а оставленъ въ учительской комнатѣ; „запишутъ“ меня осенью.

Со страхомъ я принялся учить, но къ великой радости и несказанному удивленію одолѣлъ очень скоро. Иванъ Васильевичъ рассчитывалъ занять меня на все время до своего возвращенія, а я освободился живо. Въ ожиданіи моего ласковаго брата, я началъ осматриваться, вслушиваться. Изъ слѣдующей учительской комнаты (Ивана Макаровича) ведетъ тоже дверь, но въ другой классъ, „низшее отдѣленіе“, туда куда мы вошли было съ отцомъ сначала и гдѣ мы видѣли зеленый скюртукъ. Дверь заперта, въ нее нѣтъ хода. Прислушиваюсь, и холодъ обступилъ меня. Я услышалъ крики о пощадѣ. „Сѣкутъ“. О сѣченъѣ я слышалъ, сдѣлалось страшно. Но скоро звонокъ пробилъ. Иванъ Васильевичъ вошелъ, спросилъ, сладилъ ли я съ урокомъ. Я ему отвѣчалъ. Онъ прослушалъ меня и сказалъ: „молодецъ! ты будешь отлично учиться“. Съ восторгомъ, не слыша земли подъ собой, я побѣжалъ домой, забывъ даже о смутившей меня розгѣ, звуки которой до меня нѣсколько минутъ назадъ доносились.

Это почти было гулянье, а не ученіе. Я приходилъ, легко выучивалъ уроки и уходилъ счастливый. Скоро я былъ совсѣмъ отпущенъ; подходили экзамены; Ивану Васильевичу было не до того. „Вотъ, думалъ я, настала воля!“ Но я ошибся. Послѣ экзаменовъ отецъ

упросилъ Ивана Васильевича, чтобъ я ходилъ къ нему ежедневно, даже во время вакацій. Братъ согласился, и я ходилъ къ нему уже на другую квартиру. Вмѣстѣ со мной приходилъ еще мальчикъ, изъ купеческихъ дѣтей, котораго отдали учить моему брату, между прочимъ и французскому языку. Мое ученье шло легко. Братъ рѣдко даже бывалъ, иногда поручалъ мнѣ нарвать травы для кроликовъ, которые у него были. Это исполнялось съ удовольствіемъ. Кремль былъ не мощень, и въ самой его серединѣ, предъ соборомъ, былъ лужочекъ. Я выбѣгалъ туда щипать траву, бѣгалъ и подальше, приносилъ цѣлую полу и кормилъ кроликовъ.

Въ чемъ состояло мое ученье, не умѣю и сказать. Къ сентябрю меня записали настоящимъ образомъ въ училище, помѣстивъ во *второй* классъ. Это означало, что я умѣю читать и писать. Но это несправедливо: писать я положительно не умѣлъ, и когда приходилось, царапалъ каракули не то письменныя, не то печатныя.

Второй классъ помѣщался съ первымъ въ одной залѣ: второй на правой сторонѣ, первый—на лѣвой. Я вступилъ въ товарищескій міръ, въ *стадо*. Оно различалось, во первыхъ, по шерсти: были затрапезники, были нанковики, были въ брюкахъ и безъ брюкъ. Поправлюсь: въ брюкахъ былъ только я одинъ, потому что лишь я одинъ оказался городскимъ. Затрапезники принадлежали къ казеннокоштнымъ. Вообще бѣдность, такъ что я даже, при всей недостаточности отца, былъ изъ богатыхъ. Зимой на всѣхъ нагольные тулупы, которые въ классѣ не снимались; на мнѣ была заячья шубенка, и притомъ крытая; я былъ аристократомъ. Сужденія, самыя тѣлодвиженія поражали меня грубостью и цинизмомъ. Крикъ, вѣчныя драки кого-нибудь съ кѣмъ-нибудь, это было не по мнѣ. Я почувствовалъ себя одинокимъ; да притомъ всѣ были старше меня. Лишь одинъ школьникъ возбуждалъ мое сострадательное сочувствіе, котораго я не осмѣливался однако показывать. Я за него страдалъ молча; это былъ Иванъ

Лосевъ, первоклассникъ, слѣдовательно сидѣвшій еще на чтеніи и письмѣ. Какъ сейчасъ вижу его. Онъ былъ бѣдиѣ всѣхъ: у него не было даже тулупа, даже сапогъ. Онъ одѣтъ былъ въ простую крестьянскую свиту съ рукавами, помню, отороченными кожей; мужицкая шляпа и лапти довершали убранство. Надъ бѣднотой его не смѣялись, но смѣялись надъ его возрастомъ; вѣроятно ему было лѣтъ 19. Насмѣхались надъ тѣмъ, какъ онъ женится, какъ будетъ службу править; „приводи къ намъ своихъ дѣтей“. А онъ былъ необыкновенно кротокъ, ласковъ, услужливъ; улыбался въ отвѣтъ на грубыя шутки, вызывался на услуги—достать что-нибудь изъ другаго угла, поправить завернувшійся подолъ тулупа, разлиновать бумагу. Я страдалъ за него, но не могъ подать голоса, потому что рисковалъ получить клочку, на которую не въ состояніи дать сдачу по молодости и малосилію.

По тѣмъ же причинамъ молодости и слабосилія рѣдко выходилъ я и на дворъ училища и лишь съ завистью смотрѣлъ на игры и бѣготню, въ которыхъ не могъ принять участія, между прочимъ и потому, что въ грубомъ ухорствѣ, которыми игры сопровождались, не находилъ себя въ состояніи участвовать. Тонъ этого стада, въ которое я вступилъ, былъ совсѣмъ не тотъ, къ которому я привыкъ въ тепломъ гнѣздышкѣ среди сестеръ.

Не знаю, допелся ли кто-нибудь изъ тогдашнихъ моихъ одноклассниковъ до окончанія семинарскаго курса, переползъ ли даже кто черезъ училище. Сомнѣваюсь. Въ приходское училище попадали только дѣти дьячковъ или полные сироты. Прочіе учились по „билетамъ“. Такова была разумная льгота, предоставляемая родителямъ. Сохранена ли она доселѣ, не знаю, но это былъ дѣльный порядокъ, облегчавшій учителей, а вмѣстѣ дававшій ребятамъ подготовиться основательнѣе нежели возможно въ школѣ, среди сотни сорванцовъ. Родители всѣ прошли тотъ же курсъ, учились многіе



въ свое время лучше теперешнихъ учителей: педагогія рачительному отцу не могла быть трудною. Такое домашнее подготовленіе дозволено было для всѣхъ классовъ училища вплоть до семинаріи, и понятно, чѣмъ моложе классъ, тѣмъ болѣе бывало билетныхъ. Какой отецъ не въ состояніи дома обучить ребенка чтенію и письму, посвятить въ русскую этимологію, преподавать начатки Закона Божія и ариѳметику простыхъ чиселъ? А въ этомъ и состоялъ курсъ приходскаго училища, и еще въ нотной азбукѣ. Дальше уже пойдетъ латинская и греческая премудрость, въ которой не всякій родитель могъ чувствовать себя достаточно сильнымъ.

Годъ въ приходскомъ училищѣ прошелъ, я и не видалъ какъ. Я былъ лучшимъ ученикомъ; все давалось мнѣ легко, благодаря хотя и кратковременной, но предварительной подготовкѣ. Предъ каждымъ роппускомъ (на Святки и Святую) были экзамены, производимые торжественно смотрителемъ въ присутствіи учителей. Я скажу объ этихъ порядкахъ въ послѣдствіи, а здѣсь упомяну о томъ лишь, что въ воспоминаніяхъ осталось исключительно отъ этой, низжайшей ступени училища.

Съ приближеніемъ роппусковъ на Святки и Святую, ребятъ не столько занималъ предстоящій экзаменъ, сколько перспектива самаго роппуска и лепешки, ожидавшія въ деревнѣ вмѣстѣ со славленіемъ. И въ тотъ, и въ другой роппускъ они собираютъ по приходу нѣсколько грошей, а въ Свѣтлую недѣлю сверхъ того и цѣлый коробъ яицъ. Собирались кучами, толковали, кто какъ пойдетъ, съ кѣмъ. У иного можетъ-быть есть землякъ изъ синтаксистовъ (учениковъ высшаго отдѣленія), надежный путеводитель и руководитель. Присылка лошадей изъ дома рѣдкими предполагалась, да тѣ и не участвовали въ совѣщаніяхъ. Передавалось о препятствіяхъ, грозящихъ на дорогѣ, злыхъ мужикахъ, иногда попадающихся, зажорахъ на дорогѣ въ оттепель. А то хорошо, кабы нагналъ знакомый односелець, возвращающійся съ базара!

Мнѣ нравится, какъ вспоминаю объ этихъ малолѣтнихъ митингахъ теперь, эта выковка характера, эта самостоятельность, къ которой приучается мальчуганъ съ девяти, десяти лѣтъ. Живетъ онъ здѣсь въ общинѣ, состоящей изъ такихъ же малолѣтковъ какъ онъ, а то много тремя, четырьмя годами старше,—общинѣ, въ которой онъ есть равноправный членъ съ другими. Но вотъ приходитъ ему путь-дорога, и онъ, надѣвая за спину котомку со скуднымъ бѣльемъ, отправляется верстъ за тридцать, сорокъ, сперва сопровождаемый одноклассниками, вышедшими въ ту же заставу, затѣмъ одиночкой, чрезъ лѣса, буераки, рѣчки и овраги, надувшіеся и шумящіе предъ водопольемъ. Вотъ это *help yourself*: оно есть, было по крайней мѣрѣ, и у насъ, и именно въ томъ званіи, въ которомъ я родился. Пройти малюткѣ пѣшкомъ, съ парой сапогъ и котомкой за плечами, сорокъ, тридцать верстъ, это цѣлая школа.

Въ виду радостнаго отпуска особенную прелесть для ребятъ получало писаніе для себя отпускныхъ билетовъ. Это было нѣкоторымъ священнодѣйствіемъ, а жстати оно же было своего рода экзаменомъ. Каждый отпускаемый на родину обязанъ былъ написать себѣ билетъ, который будетъ представленъ для подписи смотрителю. Живо представляю форматъ этого билета: онъ писался не вдоль листа, а поперекъ; чтобы строки не выходили очень длинны, загибались съ обоихъ концовъ поля, сходявшіяся между собой, если сложить ихъ. У меня сохранилось воспоминаніе о двухъ мучительныхъ чувствахъ, которыя я тогда испытывалъ: во первыхъ, боязнь, что придется и мнѣ писать билетъ, а писалъ я хуже послѣдняго лавочника; во вторыхъ, меня мучило недоумѣніе о первыхъ словахъ билета: „Объявителю сего (такому-то)“. Почему объявителю *сею*? Надобно: объявителю *сему*. Помнится, я обращался даже къ учителю, доброму Ивану Васильевичу, и онъ, помнится, даже объяснялъ, что разумѣется тутъ *билетъ*;

но все-таки не могъ я въ толкъ взять и про себя продолжалъ быть увѣреннымъ, что это что-то не такъ, смысла нѣтъ.

Тщательно, щегольски, насколько умѣлъ кто, писались билеты; показывали другъ другу, хвалились, кто лучше. Не жалѣли гроша, чтобы купить лучшей листъ бумаги; свинецъ очинивали (карандаши были роскошь недоступная) тщательнѣйшимъ образомъ.

Не смотря на мои безпокойства, билета мнѣ ни разу писать не приходилось, и еще не приходилось ни разу сдавать экзаменъ и даже быть спрошеннымъ изъ одного предмета, который однако стоялъ въ программѣ — изъ нотнаго пѣнія, и я переведенъ былъ въ слѣдующій классъ, въ „уѣздное“ училище, съ самою отличною аттестаціей. Не былъ ни разу я и сѣченъ, да сколько помню, не былъ ни разу высѣченъ въ теченіе года никто, хотя лозы и готовились аккуратно къ каждому дню. Ребята объясняли эту благодать тѣмъ, что уже годъ какъ поступилъ къ намъ на мѣсто Иродіона Степановича новый смотритель, Василій Ивановичъ Груздевъ. Прежняя патріархальность бывшаго читателя конклавовъ отмѣнена, и между прочимъ, какъ слухи носились, у учителей отнята власть сѣчь. Сѣкутъ, но только по разрѣшенію смотрителя, и сѣчетъ не „сѣкуторъ“ изъ учениковъ, а солдатъ Давыдъ. Съ почтеніемъ посматривали поэтому на Давыда, а бурсаки дѣлились съ нимъ ломтями хлѣба. Но толкованія были лишь отчасти основательны. Дѣло въ томъ, что Иванъ Васильевичъ самъ по себѣ былъ мягкій человѣкъ, и притомъ съ тѣмъ чувствомъ порядочности, котораго такъ часто не достаетъ у „вахлаковъ“. По окончаніи курса онъ жилъ нѣкоторое время у князей Черкасскихъ учителемъ побочныхъ дѣтей Александра Борисовича (Борисъ Михайловичъ уже умеръ). Вотъ отчего намъ было всѣмъ легко, а мнѣ, какъ родственнику, и тѣмъ легче, перейти первый школьный искусь.

## XI.

**Конституція духовной школы.**

Хотя училище, въ которое я поступилъ, состояло изъ двухъ, приходскаго и уѣзднаго, и послѣднее изъ двухъ отдѣленій, низшаго и высшаго, какъ приходское изъ двухъ классовъ, перваго и втораго, и хотя употреблялъ я эти названія въ предшедшей главѣ, но они ученикамъ были почти неизвѣстны. Намъ были извѣстны: 1) *Бурса* (первый классъ приходскаго училища, одногодній), 2) *Фара* (второй классъ, тоже одногодній), 3) *Грамматика* (низшее отдѣленіе уѣзднаго училища, двухгодичное), 4) *Синтаксія* (высшее отдѣленіе, опять двухгодичное). Названія шли со старыхъ временъ, когда еще была семинарія. Почему первый классъ назывался *Бурсой*, тогда какъ это слово есть названіе не класса, а общежитія; почему второй классъ назывался *Фарой* и откуда самое это слово, предоставляю разыскивать другимъ. Названія *Грамматика* и *Синтаксія* соотвѣтствовали курсу старыхъ семинарій; старыя семинаріи въ свою очередь были сколкомъ съ западныхъ школъ. Въ средніе вѣка на Западѣ быть ученымъ и знать латынѣ было одно-значительно; ученая литература была исключительно латинская, общая всей Европѣ, какъ и римская вѣра, официальнымъ языкомъ который былъ латинскій же. Отсюда школа имѣла задачею прежде всего обучить латыни, открыть дверь, ведущую въ храмъ премудрости. На основаніи этого расположилось и преимущество классовъ въ такомъ порядкѣ: *Грамматика*, *Синтаксія*, *Поэзія*, *Реторика*.

Латинскій языкъ (или, по теперешнему, классическое языкознаніе) признаваемъ былъ *орудіемъ* знанія; самостоятельную образовательную силу классическихъ языковъ выразумѣли уже позднѣе. Сами учителя старой

школы, подвергая посредством латыни умъ учениковъ гимнастикѣ, не думали о томъ; они старались только обучать языку.

Духовная школа по этому совсѣмъ несоотвѣтственно носила названіе духовной; она была общеобразовательная, болѣе даже отвлеченная и менѣе спеціальная нежели всякая другая. Латынь была въ ней средоточіемъ курса, какъ во всякой другой школѣ, и притомъ по всей Европѣ. Но она была сословная, и это клало на нее свой отпечатокъ и давало ей особенность. Отпечатокъ врѣзывался тѣмъ глубже, особенность выступала тѣмъ виднѣе, что преимственность школы не прерывалась: никакой полковникъ и никакой штатскій чинъ не врывались въ ея администрацію, и никакому новатору изъ другихъ системъ воспитанія не давалось вторгнуться въ ея внутреннюю педагогію. Она шла какъ шла, съ неизмѣнными преданіями, одинаково святыми, прибавлю, для учителей, для начальниковъ, для учениковъ, для родителей, ибо всѣ они прошли тотъ же, совершенно одинаковый путь, вышли изъ того же быта, съ тѣми же привычками и съ одинаковыми бытовыми воззрѣніями.

Внѣшніе распорядки школы, въ которой я учился, хранили ту же печать старины, наравнѣ съ внутреннимъ строемъ ученія.

- Каждый классъ имѣлъ *цензора*, *авдиторовъ* и *дневальнаго*. Дневальные назывались нѣкогда *эдиллами*, но къ моему времени наименованіе утратилось. *Цензорами* и *эдиллами* воспроизводилась въ школьной корпораціи Римская республика. Преданіе сказывало, что бывали въ числѣ должностныхъ лицъ нѣкогда еще *квесторы*; въ чемъ ихъ состояла обязанность, до меня не дошло. Въ мое время у *цензора*, обыкновенно перваго ученика, былъ классическій журналъ, въ которомъ отмѣчалось, чѣмъ учитель съ учениками занимался въ классѣ, кто изъ учениковъ не явился и почему; наконецъ, часть страницы назначалась для отмѣтокъ: „которые въ классѣ рѣзвились“. Последняя графа въ большинствѣ остава-

лась пустою; нужно было случиться необыкновенному происшествію, въ родѣ разодранія у кого-нибудь одежды, или залитія казенной вещи чернилами, чтобы попасть въ „рѣзвившихся“. Журналъ подписывался учителемъ и ежедневно подавался цензоромъ зрителю.

У цензора, сверхъ того, была *нотата*, — разлинованный листъ съ фамиліями учениковъ и съ клеткой для каждаго числа, въ которой вписывалось, кѣмъ какъ выученъ урокъ. Какія отмѣтки употреблялись въ Фарѣ, хотя чуть ли не было нотаты даже въ моихъ рукахъ, я не припомню теперь; но въ дальнѣйшихъ классахъ писалось: *sc*, *ns*, *er*, то-есть, *scit*, *nescit*, *ergavit*, (знаеть, не знаетъ; ошибался). На отсутствующихъ писалось *abs* или *aegr* (то-есть *absens*, отсутствующій, или же *aegrotus*, больной, когда извѣстно, что отсутствуетъ по болѣзни). *Sc* или по ученическому выговору *ситъ* — вожделѣнная отмѣтка. „У него во весь годъ только одни *ситы* и есть“, говаривалось о комъ-нибудь съ благоговѣніемъ.

Отмѣтки въ нотату вносились „авдителями“, то-есть лучшими учениками, между которыми раздѣленъ былъ классъ, и которыхъ обязанность была выслушивать ученическіе уроки предъ приходомъ учителя. Сами авдиторы тоже „слушались“ у другаго кого-нибудь.

„Дневальный“, по старому „эдилъ“, о, эта должность замѣчательная! На ней чередовались поденно всѣ, начиная отъ перваго до послѣдняго. Обязанность дневальнаго подмести классъ, а для этого имѣть въ запасѣ метлу; имѣть наготовѣ мѣлъ и тряпку (не губку, о которой понятія не имѣли), и наконецъ, на обязанности же дневальнаго лежало приготовить „лозы“ (розги). Въ теченіе шестилѣтняго курса ни разу не приходилось мнѣ нести фактическія обязанности дневальнаго, хотя по очереди я и числился на ряду съ другими. Въ первые три года подступающая очередь всегда повергала меня въ безпокойство: гдѣ я возьму метлу или лозы? Но судьба постоянно меня избавляла, потому что въ каждомъ классѣ были безкорыстные любители дневальства, для кото-

рыхъ приготовить метлу и лозы было своего рода страстію. Онъ пойдетъ въ лѣсъ, выберетъ самыя гибкія, самыя плакучія вѣтви, устроитъ метлу и въ особенности советъ лозу артистически, щегольски, художественно. Пусть между прочимъ на свою спину, но охота не теряла отъ того своей прелести. Она бывала удѣломъ тупыхъ къ ученью мальчугановъ, но изъ нихъ были мастера на всѣ руки. Они были прекрасные рыболовы; благодаря имъ бурса лакомилась иногда раками, для ловли которыхъ тотъ же любитель дневальства доставалъ обручъ и переплеталъ его крестъ-на-крестъ мочалами. Съ приближеніемъ зимы, охота за синицами; у иного есть пара голубей, за которыми онъ ходитъ съ нѣжностью матери. Классъ для него такое же дитя. Не углубляясь въ науки, онъ ото всего сердца заботился тѣмъ не менѣе, чтобы классная комната была въ наружномъ порядкѣ, чиста и опрятна, на сколько хватаетъ идеала опрятности. Артистъ дневальства есть сидѣлка за больнымъ. Не помню, въ которомъ я былъ классѣ, но въ бурсѣ заболѣлъ и умеръ одинъ оспой. Нашлись добрыя сердца, и именно изъ плохо учившихся, которые сидѣли около больного, ухаживая за нимъ, пропускавшая для того классъ и подвергаясь опасности быть поставленными за то на колѣни (да конечно и ставили ихъ). Такіе люди всегда находились для каждаго класса: ихъ надобно было искать въ концѣ списка, а въ самой заглѣ классной — среди вѣчно колѣнопреклоненныхъ. И опять, какъ вспомню объ этомъ, сколько способностей гибло отъ одного несоотвѣтствія ихъ съ обязательнымъ курсомъ! Добрыя сердца, смысленные умы, дѣятельная воля, подвижность всего существа, и идетъ звонить на колокольню среди снисходительнаго пренебреженія одноклассниковъ-товарищей и подъ болѣе грубымъ презрѣніемъ старшихъ — попа, благочиннаго, не говоря объ архіереѣ! А вышелъ бы и не звонарь.

Женскіе институты стараго времени дѣлились на отдѣленія: первое, второе и третье. Каждое слушало свой

курсъ хотя изъ тѣхъ же предметовъ (за исключеніемъ третьяго, курсъ котораго, кажется, былъ ограниченнѣе). Сколько я слышалъ, такое раздѣленіе отмѣнено теперь. Но по настоящему, при каждомъ училищѣ должно бы быть мѣсто для отсѣда менѣе способныхъ, пожалуй и столь же, даже болѣе способныхъ, но по другому роду развитія. Въ неоднократныхъ бесѣдахъ съ покойнымъ А. П. Ахматовымъ (бывшимъ оберъ-прокуроромъ Святѣйшаго Синода передъ графомъ Д. А. Толстымъ), въ виду предпринимаемаго преобразованія духовныхъ училищъ (послѣдняго), я раскрывалъ ему эту мысль подробно, чуть ли не подалъ объ этомъ даже записку. Устройство параллельныхъ классовъ при семинаріяхъ и училищахъ, не на теперешнемъ основаніи полного равенства курсовъ, а именно съ примѣненіемъ къ различію способностей, не потребовало бы особенныхъ расходовъ, а между тѣмъ повысило бы курсъ духовной школы, оставивъ для нея только отборныя зерна, съ тѣмъ вмѣстѣ не оставивъ безъ воспитанія можетъ-быть цѣлую половину, для которой тяжела головоломщина. Въ томъ и заключалась жалкая особенность старой духовной школы, что умственная выправка, которую она давала, была не для дюжинныхъ натуръ. Отсюда бьющая глаза противоположность: на ряду съ выдающимися умами, съ оригинальными и глубокими мыслителями, съ учеными, поражающими разносторонностью знаній, она выпускала олуховъ, невѣждъ, за которыхъ стыдно предъ четырехклассниками гимназій; выпускала, замѣтьте, такихъ олуховъ по окончаніи курса, на ряду съ Павскимъ, Голубинскимъ, Горскимъ, Надеждинымъ.

Я два раза упомянулъ о *бурсѣ*. Была она у насъ и въ тѣснѣйшемъ смыслѣ слова, то-есть въ видѣ казенно-коштныхъ учениковъ, воспитывавшихся на „полномъ коштѣ“ и на „полukoштѣ“. При всей тогдашней моей неприхотливости я не могъ входить безъ содраганія и оставаться долѣе нѣсколькихъ минутъ въ грязныхъ и душныхъ казармахъ, служившихъ помѣщеніемъ для



бурсаковъ въ нижнемъ этажѣ бывшей консисторіи. Особенно отличалась одна, почти лишенная даже свѣта, который заслоненъ былъ стѣной монастырскаго двора съ одной стороны и стѣной собора съ другой. Грязи на полу не менѣе осьмушки вершка; по крайней мѣрѣ половицы не были видны; по веснамъ и въ дождливую погоду стояли лужи, стекавшія со двора (полъ былъ ниже двора). На убогихъ кроватяхъ (деревянныхъ) подушки тиковыя, съ грязью опять на столько толстою и на столько долговременною, что лоснились. Не описываю внутренней жизни бурсаковъ, съ которою незнакомъ. Но бурсаки казались мнѣ вообще грубѣе своекоштныхъ, потому ли что набирались изъ такого слоя, полные сироты и дѣти сельскихъ причетниковъ, до семи или восьми лѣтъ не выдавшіе нравственныхъ попеченій; или потому что, не смотря на близость къ начальству, надзоръ былъ за ними и въ бурсѣ слабѣе въ сущности нежели надъ своекоштными. Своєкоштные жили небольшими кучками на квартирахъ подъ присмотромъ все-таки хозяекъ и хозяевъ, до извѣстной степени отвѣтствовавшихъ предъ родителями.

Полнокоштному бурсаку давали кромѣ помѣщенія и стола затрапезный халатъ, фризový сюртукъ (праздничная одежда), тулупъ нагольный, картузь и сапоги. Нижняго платья и жилета не полагалось. Платье носилось до послѣдней возможности; продырявленные локти были не рѣдкость. А сапоги... о! сапоги шили такіе, что я дивлюсь, гдѣ находили сапожника. Они были обыкновенные личные, мужицкіе, но столь прочные, что выводили ребятъ изъ терпѣнія, и видалъ я, какъ яной, насыпавъ полсапога пескомъ, нарочно бьетъ имъ въ стѣну, авось отвалится подошва, — подлое варварство съ вещью, данною изъ благодѣтельнаго состраданія, но психологически понятное!

Учрежденіе „старшихъ“ замыкало конституцію школы. Они были изъ синтаксистовъ, и на ихъ обязанности лежалъ надзоръ за домашнимъ житьемъ и бурсаковъ, и

квартирантовъ. Въ каждомъ изъ четырехъ бурсацкихъ номеровъ былъ свой старшій. Кромѣ того, нѣсколько старшихъ было для квартирныхъ, надзоръ за которыми раздѣленъ былъ по районамъ города. Ихъ обязанностью было отъ времени до времени навѣщать ученическія квартиры и смотрѣть, добропорядочно ли тамъ проживаютъ.

Такова была іерархія изъ самихъ учениковъ. Поверхъ ихъ на оба училища пять учителей; изъ нихъ двое занимали съ тѣмъ вмѣстѣ одинъ смотрительскую, другой инспекторскую должность.

## XII.

### Временное отупѣніе.

Какъ смутно, какъ темно! Напрягаю усилія, и память отказывается служить. Слѣдующіе два года за приходскимъ училищемъ, то-есть пребываніе мое въ низшемъ отдѣленіи уѣзднаго, или какъ называли у насъ въ *Грамматикѣ*, почти пропали для меня; пропали глубже нежели годъ предшествовавшій. Два года! Сколько было экзаменовъ, прошла цѣлая вакація, потомъ самая послѣдовательность этихъ двухъ лѣтъ, чѣмъ одинъ годъ отличался отъ другаго, все потонуло во мракѣ. Остались нѣкоторые отрывки, иные даже неизвѣстнаго времени. А мнѣ уже было 8—10 лѣтъ. Что это значитъ?

Читатель не осудить меня, что я занимаюсь своею личною судьбой, по его мнѣнію, можетъ-быть болѣе надлежащаго. Пускай тогда онъ броситъ чтеніе. Прослѣдить личное развитіе—одна изъ цѣлей, побудившихъ меня взять перо. Здѣсь вопросъ не о томъ, чье развитіе описывается, а о психологическомъ фактѣ, иногда странномъ, и я ловлю такіе факты. Имѣю притязаніе думать, что они не лишены научнаго значенія.

Читатель помнить, что весело, шутя прошелъ для меня первый годъ школы. Все давалось легко. Я былъ сообразителенъ и улыбался, когда мои сверстники сбивались на вопросъ, задаваемый Иваномъ Васильевичемъ: „у Ноя было три сына Симъ, Хамъ и Іафетъ; кто ихъ былъ отецъ?“ Ребята заминались, мнѣ было смѣшно. Я живо писалъ грамматическіе разборы, бѣгло отвѣчалъ на всѣ вопросы въ предѣлахъ программы. На публичномъ экзаменѣ чѣмъ-то даже особеннымъ отличился вмѣстѣ съ Яковомъ Никулинскимъ, „билетнымъ“, котораго только привезли предъ экзаменомъ и которому нашли справедливымъ дать мѣсто перваго ученика, мнѣ втораго. Но потомъ вдругъ будто оборвалось. Позднѣйшее осталось темнѣе и въ памяти, и самое развитіе стало туже, какъ будто остановилось (оттого очевидно и въ памяти осталось мало).

Въ классѣ, куда я поступилъ, началась латинская и греческая грамматика. Кромѣ того, продолжалась и русская; въ программѣ еще стояла славянская грамматика и церковный уставъ; катихизисъ съ ариѳметикой и нотнымъ пѣніемъ сами собою. Внѣшняя особенность, для меня оказавшаяся существенною, была та, что классъ уже имѣлъ не одинъ десятокъ учениковъ. Изъ приходскаго въ уѣздное или изъ *Фары* въ *Грамматику* переводили ежегодно; въ *Грамматикѣ* же курсъ былъ двухгодичный. Такимъ образомъ, однимъ приходилось сидѣть два, другимъ три года. Мы попали въ „курсовой“ годъ; чрезъ два года мы можемъ перейти въ *Синтаксисъ*; но ранѣе насъ годомъ перешедшіе дождались насъ и перейдутъ съ нами вмѣстѣ чрезъ *три* года по поступленіи въ *Грамматику*. Существенно было то въ этомъ обстоятельствѣ, что мы, новички, должны были догонять тѣхъ, кто ранѣе тому же учился цѣлый годъ, и самою судьбой стало-быть мы были обречены оставаться слабѣйшими.

Помню первый урокъ изъ латинской грамматики. Это уже не то, что первый урокъ изъ русской, который

дался такъ легко, благодаря ласковому двоюродному брату. Здѣсь не было брата. Учитель, который показался мнѣ сердитымъ, задалъ намъ урокъ, велѣлъ его выучить и между прочимъ выучиться писать латинскія буквы. Онъ ихъ показалъ на доскѣ, написавъ самъ. Легко сказать: показалъ! Всѣхъ было девятисто человѣкъ въ классѣ, и мы, какъ младшіе, сидѣли въ задѣ. Я напрягалъ зрѣніе, старался запечатлѣть въ памяти, но придя домой забылъ. Удивительно, какъ вспомню теперь, забылъ я самую простѣйшую изъ простыхъ буквъ, прописное Н. Казалось, какъ же не догадаться, что это простой русскій „нашъ“; но не приходило въ голову! По случаю сестриной свадьбы пребывалъ у насъ тогда гость, одинъ священникъ; завидѣвъ меня съ грамматикой въ рукѣ, освѣдомился, чѣмъ я занимаюсь. Я передалъ свое недоумѣніе. Онъ мнѣ написалъ Н и сказалъ, что это просто; я увидалъ, что дѣйствительно очень просто, но чрезъ полчаса забылъ. Вспоминалъ, что это что-то очень простое, но никакъ не могъ уцѣпиться, не могъ найти нити, по которой бы дойти до затеряннаго памятью начертанія. Удивительныя казусы бываютъ въ дѣтскихъ головахъ.

Другое затрудненіе мучило меня. На первой же или на второй страницѣ грамматики встрѣчается въ скобкахъ слово *diphthongi*. Я мучился его разобрать и не могъ по простой причинѣ, что объясненіе произношенія *ph* и *th* шло далѣе: высокопреосвященному автору грамматики (Амвросію) было не въ домекъ, что употреблять такіе знаки, произношенія которыхъ еще не объяснено, не подобаетъ.

Что же было далѣе? Не помню. Помню, что я училъ уроки; понималъ ли что-нибудь, не знаю. Помню положительно, что не могъ понять одной страницы Востокова о *Причастіяхъ*. Не понималъ и только. Именно этой страницы не понималъ: почему, не знаю. Я искалъ ее потомъ въ зрѣломъ возрастѣ, чтобы составить себѣ понятіе о томъ, чѣмъ могутъ затрудняться дѣтскія головы

въ учебникахъ, но къ великому огорченію не отличилъ этого мѣста; а я помню живо, что именно тутъ, о *Примечаніяхъ*, было для меня непонятно, а все остальное въ Востокѣ было ясно. Помню, что писалъ я и подавалъ задачи (*occupaciones*), то-есть переводы съ русскаго на латинскій и греческій; но никакого слѣда въ головѣ и никакого тогда дѣйствія на голову. Никто ничего не объяснялъ, и какъ совершалъ я эти „упражненія“, затрудняюсь даже объяснить теперь. Происходило что-то безсознательное, механическое. Помню разъ, отецъ, и то случайно, навелъ меня еще нѣсколько на мысль. Учитель латинскаго языка далъ намъ упражненіе на домъ. Въ русскомъ текстѣ стояло между прочимъ слово *большаю*. Обратите вниманіе, сказалъ учитель, что стоитъ *большаю*, а не *большію*, помните это.

Расположился я дома писать. Отецъ полюбопытствовалъ. „Да ты какъ задачи-то пишешь?“ спросилъ онъ. Должно-быть я отвѣчалъ неудовлетворительно, потому что отецъ нашелся вынужденнымъ растолковать: „ты смотри, какой падежъ на русскомъ, такой клади и на латинскомъ“. И это меня какъ свѣтомъ озарило! Тутъ только нѣсколько понялъ я, въ чемъ суть нашихъ упражненій, то-есть въ соотвѣтствіи выраженій одного языка выраженіямъ другаго. Слѣдовательно я даже этого-то не понималъ дотолъ; и однако писалъ же я упражненія до того и подавалъ! Какимъ же процессомъ я совершалъ это и чтѣ выходило? Выходило однако не совсѣмъ скверно, потому что значился я не въ послѣднихъ учебникахъ, хотя вмѣстѣ съ поступленіемъ въ *Грамматику* и сошелъ съ первыхъ.

Къ слову: надъ *большимъ* сколько я ни ломалъ голову, такъ и оставилъ тогда въ латинскомъ положительную, а не сравнительную степень. Учитель послѣ и объяснилъ намъ, что это сравнительная степень, напомнимъ о своемъ предупрежденіи, но я все-таки не понималъ; точнѣе, не убѣдился, чтобы *большаю* была сравнительная степень. Сказать правду, я и теперь

склоняемаго *большій* не признаю чистымъ русскимъ словоупотребленіемъ.

Славянская грамматика (Виноградова), по поговоркѣ, въ одно ухо прошла, въ другое вышла, хотя я и училъ изъ нея уроки. Надо отдать ей справедливость: нигда негодна, и была она составлена, кажется, еще до Добровскаго, чуть не по Смотрицкому; чего же было ждать?

Мучителенъ былъ для всѣхъ ребятъ *Церковный Уставъ*. Его зубрили, ничего не понимая. Учебникъ предполагалъ въ ученикѣ свѣдѣнія, которыхъ у него не имѣлось, и ограничивался казуистикой: „аще случится по праздниство и предпраздниство, то на *Господи воззвахъ* стихиры на 6“ и тому подобное. А мы не имѣли понятія, что такое по праздниство и предпраздниство, ни даже что такое стихира и тѣмъ болѣе стихира на 6. Единственное что могло быть намъ понятно—*Господи воззвахъ*: мы это слыхали въ церквахъ; но что такое само *Господи воззвахъ*, и этого не было объяснено. Тогдашней Коммиссіи Духовныхъ Училищъ не дѣлаетъ чести, что столь несваримую книгу предложила она въ учебникъ; не дѣлаетъ чести, что находила нужнымъ ввести учениковъ въ казуистику богослуженія прежде чѣмъ объясненъ общій составъ богослуженія. И такъ шло десятки лѣтъ, ученики надсѣдались, зазубривали безъ смысла наборъ словъ, имѣвшій видъ магическихъ заклинаній; ѣздили по училищамъ изъ семинаріи ревизоры, и никому было не въ домекъ возбудить вопросъ, въ законности котораго однако никто изъ нихъ не могъ сомнѣваться, потому что каждый изъ нихъ прошелъ самъ ту же пытку. Учителя не менѣе учениковъ тяготились этою частію программы: изъ ста девяносто девять столь же мало понимали заклинанія учебника, какъ и ученики; лучшіе потому искали способа помочь горю. Учитель, поступившій къ намъ среди курса, оказался изъ таковыхъ. Книжка *Устава* была отброшена, и намъ велѣно было учить розданныя намъ записки. Записки содержали

не Уставъ Церковный и даже не объясненія службы вообще, а толкованіе, чуть ли не въ азбучномъ даже порядкѣ, названій, которыя приписаны разнымъ пѣснопѣніямъ: что такое „кондакъ“, „тропарь“, „икось“; толкованіе, отчасти филологическое и отчасти мистическое. Объясненія многія были натянуты и не строго научны; напримѣръ „икось“ значитъ „домъ“ и такъ названъ потому, что заключаетъ пространную похвалу святому, а „кондакъ“—домъ малый, потому что содержитъ краткое описаніе. „Эксапостиларій“—отъ греческаго глагола, означающаго посылать, и напоминаетъ о посланіи апостоловъ на проповѣдь. Но мы были несказанно рады такимъ объясненіямъ; они были понятны, мало того—они возбуждали интересъ: ихъ учили охотно. Разумѣется, и эта дешевая премудрость не отъ нашего учителя исходила, а досталъ онъ или попались ему отрывки изъ академическихъ профессорскихъ лекцій, либо студенческихъ записокъ.

Ученіе о составѣ богослуженія вошло въ духовно-учебный курсъ только уже въ 1840 году, при новомъ преобразованіи, да и то въ семинаріи, подъ названіемъ *Ученіе о богослужебныхъ книгахъ, Обрядословія и Церковной Археологіи*. Привилось однако очень плохо и понято было односторонне. Символическое значеніе и историческое происхожденіе—вотъ единственныя двѣ точки зрѣнія, съ которыхъ ученые мужи академій, а за ними и семинарій, находили нужнымъ разсматривать богослуженіе. Для перваго руководителемъ былъ Симеонъ Солунскій, писатель XVI столѣтія, для втораго Бингамъ, ученый первыхъ временъ протестантизма. Новенькіе изъ профессоровъ пускались за помощью и къ болѣе позднимъ западнымъ изслѣдователямъ церковной археологіи. Но символическія объясненія всѣ и искусственны и не научны; ихъ достоинство нравственно-поучительное. Архіерейскій трикирій пускай напоминаетъ тебѣ о трехъ ипостасяхъ въ Божествѣ, дикирій о двухъ естествахъ во Христѣ, пять

просфоръ—чудо насыщенія пяти тысячъ пятью хлѣбами, и т. д. Что же касается церковной археологіи, она вполнѣ законное дитя протестантства, для котораго вся церковь, въ смыслъ внѣшняго учрежденія, стала отжитою древностью. Протестантъ смотритъ на обрядъ, да иначе и смотрѣть не можетъ, подобнымъ же образомъ, какъ смотритъ русскій ученый на употребленіе кунъ или на обычай „выдавать головой“. Ученому, который принадлежитъ къ пребывающей церкви, къ продолжающемуся живому организму, ограничиваться такою точкой зрѣнія не пристало бы. Тѣмъ не менѣе *Уставъ Церковный* продолжаетъ оставаться нетронутою, по крайней мѣрѣ не развитою наукой въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, и по причинѣ той, что православной богословской науки вообще не начиналось еще; все что имѣемъ мы, продолжаетъ быть компиляціей съ западныхъ богослововъ, у однихъ болѣе удачною, у другихъ менѣе, но компиляціей—не далѣе. Въ самое послѣднее время явившіяся диссертациі магистровъ и докторовъ богословія—тѣ же компиляціи, хотя и высматривающія свысока, съ цитатами изъ первоисточниковъ. Знакомый съ западною литературой однако легко открываетъ, что ученія изысканія авторовъ идутъ не далѣе вторыхъ рукъ и во всякомъ случаѣ черезъ нихъ. То же и съ богослуженіемъ. Старики Гоаръ, двѣсти лѣтъ назадъ жившій, издалъ *Rituale Graecorum* (Греческій Требникъ) съ объясненіями, и онъ служитъ краеугольнымъ камнемъ нашихъ знаній о собственномъ богослуженіи. Есть книги и трактаты *О Восточныхъ Литургіяхъ*, но опять западнымъ же ученымъ принадлежащія.

Лѣтъ двадцать назадъ одинъ изъ петербургскихъ духовно-ученыхъ, отецъ Никольскій, попыталъ изложить въ довольно объемистой книгѣ Церковно-богослужебный Уставъ, и мнѣ пришлось пробѣгать его для составленія рецензіи на рукопись, имѣвшую притязаніе изложить систему Устава для учебнаго руко-



водства. Начальство (я служилъ тогда управляющимъ Синодальною типографіей) поручило мнѣ рассмотреть представленную рукопись. Она оказалась совсѣмъ негодною, съ грубѣйшими ошибками; но и трудъ отца Никольскаго преисполненъ промаховъ. Такъ пробѣлъ въ этой части духовно-учебнаго курса и остается пробѣломъ.

Я бы не сказалъ всего, когда бы не упомянулъ о психологической причинѣ, которая отвлекаетъ русскихъ богослововъ отъ изслѣдованій о церковномъ богослуженіи. Та же причина дѣйствуетъ и по отношенію еще къ одному предмету духовно-учебнаго курса—церковному пѣнію. Исполненіе устава службъ и техника пѣнія есть дѣло дьячковское, немногимъ выше искусства звонить: вотъ глубочайшая, на днѣ лежащая посылка, въ силу которой умъ богослова отвращается отъ казуистики устава и отъ церковныхъ нотъ. Я упомянулъ, что въ приходскомъ училищѣ мнѣ удалось даже не быть спрошеннымъ ни раза по церковному пѣнію; я оставался не спрошеннымъ и во весь училищный курсъ; я не пропѣлъ соло въ слухъ ни одной нотной строки, лишь подтягивалъ хору товарищей, держа предъ глазами Октоихъ или Обиходъ. Тѣмъ не менѣе я значился и въ приходскомъ училищѣ, и затѣмъ послѣ, въ высшемъ отдѣленіи уѣзднаго, отлично учившимся; по нотному пѣнію стояли вѣроятно тѣ же превосходныя отмѣтки, какъ по остальнымъ предметамъ. И не со мною однимъ такъ было. Большинство прошедшихъ семинарскій и академическій курсы были невѣжды въ пѣніи, за это можно поручиться, и чѣмъ лучше кто учился, тѣмъ стыднѣе становилось заниматься—чѣмъ же?—дьячковскимъ дѣломъ! Лично я, положимъ, не зараженъ былъ презрѣніемъ къ пѣнію; только изъ застѣнчивости боялся на людяхъ въ одиночку ступать голосомъ; я пыталъ проходить гамму и распѣвать по нотамъ, но про себя. Вообще же пренебреженіе къ упомянутымъ двумъ статьямъ духовно-

учебной программы истекало именно изъ ложнаго аристократизма, изъ боязни уронить свое достоинство и затѣмъ изъ практическихъ соображеній о бесполезности. Да для чего де это мнѣ пѣвческое искусство, эти дьячковскія познанія?

А жаль. Пробѣлъ въ этомъ пѣвческомъ искусствѣ и въ этихъ дьячковскихъ познаніяхъ—одна изъ причинъ пастырскаго безсилія, холодности народа къ церкви и порожденія сектъ. Народъ связывается съ церковію все-таки чрезъ богослуженіе, и самое главное, чѣмъ можно привязать его къ церкви или отвратить отъ нея, есть отношеніе служителя церкви ко внѣшнему отправленію богослуженія; здѣсь исходная точка, откуда пошли старообрядство въ одну сторону, молоканство, духоборство, хлыстовщина въ другую.

Боюсь надоѣсть разсужденіями и останавливаюсь. Не удержусь однако отъ слѣдующаго замѣчанія, пусть оно и не покажется отцамъ іереямъ. Найдется ли сотня во всей Россіи священниковъ и діаконовъ, которые бы, не говоря о чемъ другомъ, умѣли *читать*? Да, читать, и только. Безсмертное: „да не читай какъ пономарь“ остается заслуженнымъ упрекомъ и до нашихъ дней. Читать въ церквахъ не только дьячки, которымъ и Богъ простить, но діаконы, іереи, даже епископы не умѣютъ. Сносный, не говоря вполнѣ удовлетворительный—мнѣ не удавалось еще такихъ встрѣчать—чтець привлекаетъ въ церковь тысячи однимъ чтеніемъ. Народъ тѣснится, когда настоятель, читающій во всякомъ случаѣ удовлетворительнѣе дьячка, выходитъ на средину церкви возглашать Покаянный Канонъ. Подумаешь: какъ мало нужно, чтобъ удержать въ церкви народъ и привлечь къ ней, и какъ мало для того дѣлается пока! Демократизація, которая сдѣлалась модой, и сюда впрочемъ стала проникать. Чрезъ полстолѣтія съ удивленіемъ будутъ читать наши внуки о времени, когда священнослужители не умѣли ни читать ни пѣть и не умѣли править службы, по-

тому главное, что считали практику въ этомъ для себя унизительною!

## XIII.

## С ъ к у ц и и

Въ приходскомъ училищѣ, какъ я говорилъ ранѣе, я не былъ сѣченъ и не былъ высѣченъ никто, за исключеніемъ двухъ, трехъ случаевъ, когда производилъ расправу смотритель торжественно, въ присутствіи учителей, послѣ экзамена, надъ нѣсколькими мальчиками, заслуживавшими, по его мнѣнію, чувствительнаго поощренія. Операция производима была каждый разъ чрезъ извѣстнаго Давыда; но въ *Грамматикѣ* сѣкли учителя и руками „сѣкуторовъ“, любителей и знатоковъ сѣченья, выскивывавшихся между учениками. Были такіе любители; были и любители приспѣшничества: этимъ словомъ я называю придерживанье рукъ и ногъ сѣкомаго. „Лозу!“—на это восклицаніе выскакивалъ сѣкуторъ съ орудіемъ кары и двое ребятъ, которые брали подсудимаго, валили на полъ; одинъ удерживалъ руки, другой садился на ноги; послѣдній стаскивалъ нижнее платье... Но уволю читателей отъ подробностей, на описаніе которыхъ, слышалъ я, нашлись мастера кромѣ меня.

Судьба и на этотъ разъ оказала мнѣ благосклонность. Не смотря на то что отецъ при каждомъ свиданіи съ учителями не переставалъ повторять: „сѣкните его больше“, меня все-таки не подвергали экзекуціи во весь двухгодичный грамматическій курсъ, хотя разъ и предстояла опасность. Учитель (латинскаго языка) потребовалъ для меня лозы. За чтò? Не помню; по правдѣ, едва ли было за чтò; я училъ уроки исправно; шалостей за мной не водилось. Если познанія можетъ-быть оказывались слабыми, то не слабѣе другихъ многихъ, и по совѣсти учитель не могъ меня винить. Но какъ

бы тамъ ни было, а рѣшено было меня высѣчь. Съкурторъ съ приспѣшниками уже стояли среди класса, готовые принять меня. Я уцѣпился за парту съ рыданіемъ; сидѣлъ я на задней лавкѣ. Сосѣди пытались оторвать мои руки, но тщетно. Дѣло происходило предъ концомъ утренняго класса. Ученики распушены, а я такъ и замеръ, держа скамью въ объятіяхъ, пока не пришелъ учительскій „келейникъ“ съ приглашеніемъ къ Ивану Макаровичу (учителю) на квартиру. Тамъ ихъ жило трое и въ томъ числѣ братъ Иванъ Васильевичъ. Онъ оказался и на этотъ разъ заступникомъ. „Что это, братъ, съ тобой?“ спросилъ онъ участливо и уговорилъ моего гонителя отмѣнить приказъ, обнадеживъ его чѣмъ-то отъ моего имени.

Одинъ изъ учителей, Петръ Михайловичъ—не назову его фамиліи, хотя онъ уже и на томъ свѣтѣ,—не столько еще сѣкъ, сколько ругался надъ учениками. Ставилъ на горохъ на колѣни; приказывалъ готовить дурацкіе колпаки, надѣвалъ на подвергаемыхъ наказанію и ставилъ несчастныхъ во весь ростъ на заднія парты, съ предписаніемъ притомъ держать руки распростертыми, а на руки велитъ положить на каждую по лексикону. Руки у несчастныхъ опускаются подъ тяжестью; но—горе! сзади поставлены тоже приспѣшники, съ картузами въ рукахъ, обязанные бить изнемогавшаго мальчика козырькомъ по головѣ при едва замѣтномъ пониженіи рукъ. Это было гадкое зрѣлище: шесть партъ, по три на каждой сторонѣ; мальчики сидятъ и сзади ихъ возвышаются, подобно статуямъ, по три, по четыре распятыхъ съ обѣихъ сторонъ и за ними приспѣшники. Да что! Бывало хуже: велитъ кому-нибудь бить по щекамъ несчастнаго, плевать въ лицо... И за что! За малоуспѣшность, за невыученный урокъ, можетъ быть даже только по малоспособности. Нѣтъ, такую педагогіей знаменовалось нѣчто звѣрское въ истязателѣ, отсутствіе нравственнаго чувства; имъ говорило не желаніе исправлять, а желаніе тѣшиться ощущеніемъ власти

и чужими слезами. Такого рода педагоги суть развратители школы. Нужно думать, ихъ и нѣтъ уже теперь; а если въ какомъ углу сохранились къ несчастію, они заслуживаютъ острога.

Но не острогъ, а повышение ждало Петра Михайловича. Онъ былъ переведенъ въ одно изъ московскихъ училищъ, исправлялъ, кажется, даже инспекторскую должность и въ концѣ концовъ награжденъ священническимъ мѣстомъ въ одномъ изъ лучшихъ приходовъ Москвы. Онъ умеръ; но здравствуетъ еще іерей, кажется даже протоіерей, въ Москвѣ, пользующійся общимъ уваженіемъ и вполне достойный уваженія за свои высокія нравственныя качества, за строгое свое отношеніе къ пастырскому долгу. Когда онъ былъ учителемъ въ Коломнѣ, въ томъ же училищѣ и даже въ томъ самомъ классѣ, о которомъ говорю, лѣтъ черезъ пятнадцать послѣ того какъ я учился, онъ, говорятъ, прибѣгалъ къ такимъ же мѣрамъ истязанія мальчиковъ. Не называю его; я слишкомъ уважаю его. Но онъ узнаетъ себя, когда прочтетъ настоящія строки, и я обращаюсь къ его душѣ, къ его совѣсти; пусть вспомнитъ онъ это прошлое и психологически объяснитъ, какъ случилось, чѣмъ доведенъ онъ былъ, чтобы также становить мало успѣвающихъ учениковъ съ распростертыми руками и класть имъ на руки даже не по лексикону, а по кирпичу, второе тяжелѣйшему лексикону, да еще холодному? Чтò въ немъ тогда говорило? Дѣтей своихъ вѣроятно не подвергалъ же онъ дома такимъ истязаніямъ. Въ высокомъ нравственномъ развитіи его нельзя усомниться, его теперешняя общественная дѣятельность даетъ объ этомъ свидѣтельство. Такъ чтò же это было? Какъ согласить, какъ понять? И это почтенное лицо, подобно какъ и въ мое время Петръ Михайловичъ, было единственнымъ изъ всѣхъ учителей, чтò потѣшался такъ учениками, и потѣшался, какъ сказывали мнѣ, хладнокровно; голосъ его ни на полноты въ такихъ случаяхъ не возвышался. Ниже я

чистосердечно исповѣдую, что во мнѣ лично, было время, поднялись звѣрскіе, гадкіе инстинкты, и объясняю, откуда и почему. Услугу бы оказалъ отецъ протоіерей и педагогин и человѣчеству, когда бы, углубившись въ себя, пояснилъ и повѣдалъ, откуда въ учительскихъ душахъ, и именно въ духовныхъ училищахъ, только въ нихъ, возникала эта утонченная жестокость наказаній; чѣмъ воспитывалось, чѣмъ вызывалось это безчеловѣчіе...

Какая однако несправедливость судьбы! Почти одновременно съ тѣмъ, какъ Петръ Михайловичъ, не смотря на свою жестокость, повышался по службѣ, другой изъ педагоговъ нашего же училища едва не попалъ дѣйствительно въ острогъ и даже въ Сибирь, обвиненный въ смертоубійствѣ ученика.

Тяжелыя впечатлѣнія вызываются воспоминаніемъ объ этомъ случаѣ, темнымъ пятномъ ложится онъ на приснопамятнаго Филарета! Читатель помнитъ Иродіона Степановича, читателя конклавовъ, доводившагося зятемъ Филарету и скончавшагося протоіереемъ, смотрителемъ училища, благочиннымъ и кавалеромъ. Коломенское духовенство кишѣло тогда родными владыки, котораго и мать еще жительствоваала въ родномъ гнѣздѣ, домъ покойнаго своего отца. Ничего удивительнаго нѣтъ, что не хотѣлось филаретовцамъ упустить смотрительское и протоіерейское мѣста. Родными, говорятъ, уже и намѣченъ былъ священникъ, женатый на близкой родственницѣ владыки; не назову его имени, хотя онъ тоже скончался; слишкомъ темныя дѣянія лежатъ на его памяти.

Случилось однако вопреки ожиданіямъ родныхъ, вопреки можетъ-быть ходатайствамъ самой матери владыки, Авдотьи Никитичны. Состоялось невѣроятное опредѣленіе, даже изъ другой епархіи: переведенъ былъ въ Коломну смотритель изъ Галича, Костромской епархіи, тамошній протоіерей Василій Ивановичъ Груздевъ. Назначеніемъ своимъ онъ обязанъ былъ самому Фила-

рету, который зналъ его еще по Троицкой семинаріи, гдѣ Груздевъ учился (тамъ и Филаретъ доканчивалъ курсъ) и чуть ли не былъ потомъ учителемъ. По преобразованіи училищъ, Груздева назначили „профессоромъ“ въ Костромскую семинарію. Налегаю на это наименование „профессоръ“: профессорами назывались, современи преобразованія училищъ, наставники имѣвшіе магистерскую степень; прочіе носили скромное названіе учителей. Груздеву, не имѣвшему ученой степени, данъ былъ титулъ профессора въ видѣ отличія и едва ли не по рекомендаціи опять Филарета, въ бытность ректоромъ Академіи ревизовавшаго между прочимъ и Костромскую семинарію. Груздевъ былъ дѣйствительно наставникомъ рѣдкимъ, образцовымъ. Я скажу объ его учительскомъ талантѣ послѣ, а теперь продолжу разсказъ о драмѣ, которой мнѣ привелось быть если не участникомъ, то свидѣтелемъ.

Легко вообразить чувства, съ которыми встрѣтила неожиданнаго пришлеца сила коломенскаго духовенства. Неудовольствіе еще болѣе усилено было послѣдовавшимъ поведеніемъ Груздева. Онъ повелъ себя не гордо, но осторожно и холодно по отношенію къ владыкинымъ роднымъ. Онъ съ ними не водился домами, уклонялся; къ счастію еще, онъ не былъ благочиннымъ, а только цензоромъ проповѣдей; случаевъ къ столкновенію не представлялось. Но къ его несчастью, онъ былъ замѣчательно острый человѣкъ; иронія его была зла, и не всегда онъ воздерживался отъ изреченій по адресу присныхъ владыки. Можно думать, что въ теченіе четырехъ лѣтъ не мало положено было трудовъ, чтобъ очернить досаднаго протоіерея въ глазахъ Филарета. Смотри изъ теперешняго далека на тогдашнее, заключаю, что митрополитъ не только охладѣлъ, но косо началъ смотрѣть на человѣка, имъ же достойно возвышеннаго. Въ теченіе всего четырехлѣтія, Груздевъ не получилъ никакой награды. Итакъ недоставало только случая, чтобъ совсѣмъ сгубить его. Случай представился.

Къ осторожности (а вмѣстѣ и просвѣщенному педагогическому уму) Груздева должно отнести между прочимъ и то, что онъ не одобрялъ сѣченья, производимаго учителями. Самъ, какъ смотритель, прибѣгалъ къ экзекуціямъ рѣдко, и когда прибѣгалъ, то старался дѣйствовать болѣе на воображеніе, чѣмъ на шкуру. Оттого и сѣкъ у него Давыдъ, и сѣченье было легкое; до десяти ударовъ едва ли когда доходило. Свидѣтельствую, какъ очевидецъ.

Наступала Святая Недѣля и предъ нею экзаменъ. Былъ у насъ въ *Грамматикѣ* со мной вмѣстѣ Константинъ Бажановъ, какъ теперь вижу его, мальчикъ замѣчательный худобой и желтымъ цвѣтомъ лица. Ребята говаривали, что у него были глисты (?!). Онъ оказался въ числѣ неуспѣшныхъ и подвергся послѣ экзамена, съ другими двумя или тремя подобными, экзекуціи въ общемъ присутствіи учениковъ и учителей. Сѣкъ Давыдъ, по обыкновенію. Ласково, полуплутиво какъ всегда, Груздевъ (онъ никогда не возвышалъ голоса) обратился къ Бажанову: „Что же это ты, братъ? Надо тебя посячь“. Если я скажу, что дано было пять ударовъ, я преувеличу; три, много четыре. Словомъ, происходило самое обыкновенное сѣченье изъ обыкновенныхъ и самое снисходительное изъ всѣхъ, какія видѣлъ я прежде и какія пришлось самому терпѣть послѣ. Но надобно было случиться грѣху. Буду продолжать словами уже Ивана Васильевича, слышанными десять лѣтъ спустя. Подробности, имъ рассказанныя, не могли быть мнѣ во время извѣстны. Довольно того, что въ училищѣ экзекуція надъ Бажановымъ не оставила ни малѣйшаго слѣда. То ли дѣло, когда бы сѣченье вышло сколько-нибудь изъ предѣловъ обыкновеннаго! Какой бы гулъ пошелъ среди мальчишекъ!

Экзамены кончились; ученики распущены, получили билеты. Я собираюсь, рассказывалъ Иванъ Васильевичъ, къ своимъ, въ Черкизово; вдругъ присылаетъ за



мною Василий Ивановичъ (Груздевъ). Что я ему, думаю, понадобился? Прихожу.

— А знаете ли, сказалъ Василий Ивановичъ,—Константинь-то Бажановъ умеръ.

— Ну что жъ, царство ему небесное, отвѣчалъ я полушутя.

— Такъ-то такъ, возразилъ Василий Ивановичъ;—но мы его посѣкли. Вѣдь должно быть слѣдствіе, смерть скоропостижная.

— Что вы, что вы! Да какое же тутъ отношеніе?

Опасеніе Груздева однако оправдалось. Слѣдствіе-то было назначено, да привлекли и его въ качествѣ обвиняемаго.

Здѣсь начну рѣчь уже отъ себя. П. В-чъ, предполагавшійся конкурентомъ на мѣсто Груздева, началъ ходить къ ученикамъ, покупать имъ булки и подучивать, чтобы они въ преувеличенномъ видѣ представили произведенное сѣченье. Ко мнѣ не забѣгалъ этотъ обвинитель изъ-за угла, да меня и не допрашивалъ никто, хотя я былъ тоже свидѣтелемъ сѣченья; но мнѣ передавали товарищи-мальчуганы, какъ шнырялъ ехидный іерей между ними, караулилъ ихъ при выходѣ изъ классовъ (это послѣ Свѣтлой Недѣли конечно). Передавали мнѣ и всему классу мальчики въ тѣ самые дни: „Вчера (или давеча) остановилъ меня...“ и проч.; передавали съ негодованіемъ и отвращеніемъ. Замѣчательная черта! Все училище, начиная отъ старшихъ, 17 лѣтнихъ, и кончая послѣднею мелюзгою, уважали смотрителя. Его не любили; онъ не привлекалъ сердца, но питали къ нему неограниченное почтеніе, какъ къ великому знатоку, затмѣвающему учителей своимъ просвѣщеніемъ, и къ начальнику въ высшей степени справедливому. Смѣясь, презрительно, сравнивали его съ покойнымъ Иродіономъ Степановичемъ, котораго, замѣтьте, любили, и который во время рекреаций панибратствовалъ съ синтаксистами.

Что же далѣе?

Дѣло пошло въ судъ, въ уголовную палату, затѣмъ по старому порядку—къ генералъ-губернатору. Груздевъ былъ оправданъ; но Филаретъ не согласился съ мнѣніемъ палаты и генералъ-губернатора. Н. Ѳ. Островскій, родственникъ (шуринъ) Груздева, передавалъ моему брату слышанное имъ, что князь Д. В. Голицынъ (тогдашній генералъ-губернаторъ) съ негодованіемъ отзывался о мнѣніи высокопреосвященнаго, какъ о несправедливой жестокости, не дѣлающей чести его сердцу. Вотъ какова однако была сила родственныхъ внушеній, пусть и издалека подведенныхъ!

Съ большимъ интересомъ просмотрѣлъ бы я теперь въ судебномъ архивѣ дѣло о Груздевѣ, именно когда мнѣ извѣстна его подноготная, настоящая подкладка. Что нашелъ докторъ? Кого вызывали въ свидѣтели? Какія давались показанія? На чемъ основался Филаретъ въ своемъ жестокомъ отзывѣ, и дѣйствительно ли онъ былъ такъ жестокъ, какъ передавали? Въ ученическомъ мірѣ о несчастной кончинѣ Бажанова рассказывали такъ. Онъ пришелъ изъ класса, какъ и всегда, ничего, такъ. Игралъ съ ребятами на дворѣ. Возвратившись домой, сталъ жаловаться хозяйкѣ на дурноту, полѣзъ на печь и умеръ. Патологическая причина, сразившая несчастнаго, особенно и занимаетъ меня въ виду этого простодушнаго рассказа, слышаннаго мною отъ жившихъ на квартирѣ съ Бажановымъ. Поэтому любопытенъ и отзывъ доктора, о которомъ неизвѣстно, въ какихъ еще отношеніяхъ стоялъ онъ къ обѣимъ сторонамъ. О, старый судъ! Страшный это былъ судъ! Явные преступники, злодѣи выходили изъ него чистыми и даже продолжали пользоваться уваженіемъ общества; но и невинные могли погибать отъ козней и ябедъ.

Гражданскимъ судомъ Груздевъ былъ оправданъ, но духовною властію московскаго святителя низвергнуть съ мѣста и былъ переведенъ протоіереемъ—боюсь сказать куда—кажется въ Серпуховъ, на нищенское мѣ-

сто. Счастье было его, что тамъ узналъ и оцѣнилъ его извѣстный тогдашній московскій купецъ С. Л. Лепешкинъ, пользовавшійся большимъ расположеніемъ Филарета. Лепешкинъ сталъ долбить владыкъ, не усталъ ходатайствовать и наконецъ выпросилъ Груздева къ себѣ, въ приходъ Троицы въ Вишнякахъ, на Пятницкой. Филаретъ не могъ отказать. Кромѣ расположенія, которымъ вообще пользовался Лепешкинъ, онъ былъ въ добавокъ еще храмоздатель. Такому лицу отказать въ просьбѣ не приходилось. При церкви Троицы въ Вишнякахъ Груздевъ и скончался.

Я упомянулъ объ образцовомъ учительствѣ Груздева. Два свидѣтельства предо мною. Во первыхъ, его ученики: отъ души сожалью, что не дано мнѣ было у него учиться. Въ два года синтаксическаго курса, къ которому приготовлены были ученики, какъ и всѣ мы грѣшные, то-есть очень плохо, Груздевъ достигалъ того, что его питомцы читали свободно и Цезаря, и Саллюстія, и Тита Ливія, и Плинія, и Светонія, даже Virgilія и Горация. Совершалось нѣчто чудесное, непостижимое; сами ученики его, оставшіеся въ живыхъ, дивуются и лично ему чрезъ двадцать лѣтъ послѣ школы выражали свою благодарность и удивленіе.

Другое свидѣтельство: рукописный учебникъ его по реторикѣ, бывшій у меня въ рукахъ. Груздевъ преподавалъ по немъ въ Костромской семинаріи. Необыкновенная ясность и толковость изложенія! Не могу простить себѣ оплошности. Рукопись дана была мнѣ для прочтенія братомъ, которому авторъ далъ ее тоже только для прочтенія (братъ Груздеву доводился своякомъ). Учасъ въ семинаріи, имѣлъ я неосторожность взять Груздевскій учебникъ разъ съ собой въ классъ и положилъ въ пюпитръ. Въ продолженіе какого-нибудь получаса, пока я выходилъ въ корридоръ, какой-то негодяй похитилъ у меня драгоцѣнность. И для чего? Зачѣмъ она понадобилась? Такъ, ради одного озорства.

Рукопись не безъ основанія называю драгоцѣнностью.

Она была на русскомъ языкѣ, и это было чудо своего рода: въ тѣ времена реторику преподавали по-латыни, и меня самого учили ей на этомъ языкѣ. Какимъ образомъ пятнадцать еще, двадцать лѣтъ назадъ, костромской профессоръ преподавалъ на русскомъ? Откуда онъ взялъ такую смѣлость и кто далъ ему право? Это загадка для меня; но учебникъ былъ тѣмъ болѣе замѣчательнъ. Между прочимъ восхищалъ онъ меня переводами съ латинскаго, приведенными въ видѣ примѣровъ. Переводовъ, равныхъ по точности, по глубокому разумѣнію обоихъ языковъ, мало того по изяществу, я еще не читалъ, ни прежде ни послѣ. Не помню буквально текста, но на примѣръ начало рѣчи Цицероновой *pro lege Manilia* — этотъ трехсаяженный періодъ переданъ былъ на русскій языкъ съ такимъ, не говорю уже пониманіемъ, но съ такою легкостью, что я поражался читая. Самая высокопарность Цицерона какъ-то снималась, безъ нарушенія однако свойственной Цицерону торжественности. А я тогда уже былъ способенъ цѣнить литературныя произведенія.

#### XIV.

### Уединеніе и однообразіе.

Если умъ мой былъ замороженъ въ Грамматическомъ классѣ, то сердце горѣло, а къ концу періода запросило пищи воображеніе. Привязанность моя, понятно, сосредоточивалась прежде всего на домашнихъ. По смерти матери старшая сестра заступила ея мѣсто, и я перенесъ на нее всю сыновнюю любовь. Но она скоро ушла, тотчасъ по вступленіи моемъ въ низшее отдѣленіе. Когда ее выдавали замужъ, я при всеобщей радости терзался и плакалъ; я отказывался видѣть ея жениха, меня тащили къ нему насильно. Во время благословенія

ихъ образомъ, я, уединившись въ свѣтелкѣ, со слезами предъ образомъ на колѣняхъ молилъ смерти и всѣхъ напастей злодѣю, который увозить куда-то Богъ знаетъ, за тридевять земель, мою неоцѣненную Машу. Она выходила дѣйствительно за тридцать верстъ, въ Рязанскую губернію; а это было по тогдашнимъ понятіямъ далѣе Хартума: Зарайскій уѣздъ по отношенію къ Коломнѣ былъ тѣмъ почти, чѣмъ Коломенскій по отношенію къ Москвѣ тридцать лѣтъ назадъ, при моихъ дѣдахъ и пра-дѣдахъ. Мало вѣроятнымъ покажется теперь, но сношенія съ замужнею сестрой и вѣсти отъ нея и о ней выпадали на долю нашу два, много три раза въ годъ. И это въ тридцати верстахъ! Въ тридцати верстахъ, такъ; но въ другой епархіи, за рѣкой, за боромъ, который тянется одинъ двѣнадцать верстъ и въ которомъ на свѣжей памяти были разбои. За Окой, по выраженію нашему и по понятіямъ тогдашнимъ, начиналась *степь*, какой-то другой міръ, не нашъ.

Замѣстительницей первой сестры стала вторая. Шестнадцатилѣтняя теперешняя хозяйка уже не подходила мнѣ быть матерью, но чтобъ и другомъ быть въ дѣтскомъ смыслѣ—отопла годами. Младшая сестра, ближайшая мнѣ по возрасту, съ выходомъ сестры замужъ и поступленіемъ средняго брата на священническое мѣсто въ Черкизово, въ тотъ приходъ гдѣ нѣкогда былъ отецъ, рѣдко пребывала дома: то братъ, то сестра брали ее къ себѣ. Я оказывался безъ товарища, а сердчишко искало его. Я прилѣплялся къ школьникамъ, съ которыми доводилось сидѣть рядомъ на лавкѣ; отдавался имъ душой, дѣлился чѣмъ могъ, съ радостью уступалъ имъ, чего они требовали; старался угадывать ихъ желанія и исполнять, не требуя возмездія; наслаждался самоотверженіемъ; это былъ какой-то женственный періодъ. Въ моемъ распоряженіи бывали просфоры, остававшіяся послѣ службы; ихъ предоставлялъ мнѣ отецъ на завтракъ; бывало ихъ по двѣ, а одна непременно. Я голодалъ, а несъ какому-нибудь Троицкому или послѣ

другому однокласснику, Павлу Смирнову, котораго въ разказахъ о немъ дома называлъ „Голубенькимъ“, по голубому цвѣту нанки, покрывавшей его тулупъ: Голубенькій былъ еще не грубый, тихій мальчикъ, но Троицкій — чурбанъ, и черствый, и глупый, и въ добавокъ драчунъ. Но мнѣ пришлось сидѣть съ нимъ рядомъ нѣкоторое время, и этого было довольно. Троицкій радъ былъ меня эксплуатировать; онъ меня обиралъ, завладѣлъ даже моимъ кушакомъ. Въ довершеніе, чрезъ годъ, когда мы были въ слѣдующемъ классѣ, этотъ самый другъ мой былъ изъ числа тѣхъ, которые, какъ послѣ будетъ объяснено, пробовали на мнѣ силу кулаковъ.

Такъ сердце оставалось безъ отвѣта; даже пути не было сблизиться съ кѣмъ-нибудь изъ сверстниковъ. Въ общихъ играхъ я не былъ участникомъ. Я любовался, какъ другіе играли въ свайку, но самъ не рѣшался ее взять, да никто ни раза и не предложилъ мнѣ. Въ бабки и кубарь игрывалъ, но дома, съ Петей, сыномъ Ивана Евсигнѣевича, который прихаживалъ къ бабушкѣ. Онъ былъ только годомъ меня моложе; повидимому пара, но ничего у насъ не завязывалось. Змѣй ли пустить, въ бабки ли играть, было случайнымъ дѣломъ, начинавшимся безъ плана и оканчивавшимся безъ уговора о продолженіи. Въ училище я съ кубаремъ не являлся, съ бабками и подавно. У меня почти и не было ихъ. А у настоящихъ школьниковъ хранились цѣлые магазины; игра была систематическая; велись цѣлыя кампаніи. На игрѣ наживались состоянія, разумѣется считая по школьничьему; былъ установленный рынокъ и опредѣленная цѣна бабкамъ. Другіе проигрывались въ пухъ, ставили послѣднюю копѣйку, привезенную изъ деревни. Гдѣ же и съ чѣмъ было мнѣ приставать къ такой организаціи, и кто бы меня принялъ? Всѣ принадлежали къ какой-нибудь артели; у нихъ были общіе интересы, независимо отъ школьныхъ; тождественный міръ окружалъ ихъ; находились и разговоры, и заботы

общія, которыя мнѣ были чужды и отчасти непонятны. На меня съ своей стороны и другіе смотрѣли, какъ на чужаго; я не ходилъ въ бурсу, не шлялся по квартирамъ, за то и ко мнѣ никто; да и что было у меня дѣлать?

Были еще купеческія и мѣщанскія дѣти, ученики домашней сестриной школы. Съ ними завязывалось знакомство, особенно въ вакаціонныя недѣли; съ болѣе личными находилось времяпровожденіе. Сынъ богатаго купца-гуртовщика воображеніемъ уносился къ занятіямъ своего отца. Стволы подсолнечниковъ служили у насъ „быками“: мы ихъ собирали, гоняли, поили, ставили на покой. Но это меня мало занимало. Другой водилъ къ себѣ на голубятню, давалъ любоваться своими турманами и „чистыми“; но тутъ я оставался только свидѣтелемъ, а не участникомъ. Я подзывалъ своихъ знакомцевъ въ игрѣ, которую самъ придумалъ; ей за то они не могли отдаться, какъ отдавался я.

Подо всею церковью, въ томъ числѣ и подъ наружными папертами, были у насъ подвалы. Подъ церковью они были заняты отчасти церковнымъ имуществомъ, отчасти складами, кажется товарными; папертные были пусты и открыты. Въ нихъ былъ ходъ или точнѣе лазъ чрезъ полукруглыя окна. Туда-то я любилъ удаляться и тамъ-то находилъ занятіе. Не смотря на относительную пустоту, въ подвалахъ, особенно одномъ, наиболѣе мною облюбованномъ, было нѣчто. Во первыхъ,—переносное творило для известки, въ родѣ бездоннаго ящика, оставленное когда-то вѣроятно рабочими при штукатуркѣ церкви; во вторыхъ, черепа и кости. До чумы, покойниковъ хоронили при церкви; остались кругомъ надгробные камни полувросшіе въ землю, а здѣсь подъ папертью болѣе наглядные признаки. Я обрѣлъ въ нихъ орудіе для игры. Раза два, три мнѣ случалось быть въ аптекѣ, куда меня посылали за мелilotнымъ пластыремъ. Видъ форменныхъ шкаповъ, вѣсовъ, ступки, стеклянокъ, банокъ съ надписями произвелъ на меня впечатлѣніе: я устроилъ въ подвалѣ аптеку. Творило послу-

жило шкафомъ, нѣсколько дощечекъ, принесенныхъ нарочно, образовали прилавокъ; изъ двухъ череповъ (верхней темянной части) сложены вѣсы; остальные послужили вмѣсто банокъ и ступки. Кости разложены въ порядкѣ. Я набиралъ травъ и клалъ каждую въ особенную чашку, то-есть въ черепъ; костяшкой растиралъ ее; на прилавкѣ въ порядкѣ лежали бумажки, то-есть рецепты. Но бѣда: у меня не было покупателей; къ этому-то я и старался привлечь знакомыхъ ребятъ. Они брались сначала охотно, бывали и лаборантами, и покупателями; но скоро остывали.

Другая, нѣсколько подобная же забава придумана была мною въ видѣ „пещеры“, вырытой въ снѣгу. Это послужило забавой на зиму, какъ аптека на лѣто. Съ младшею сестрой вмѣстѣ, при пособіи, самомъ легкомъ впрочемъ, не знаю кого изъ старшихъ, устроили мы на дворѣ „гору“, катались съ нея; а я въ горѣ вырылъ пещеру, въ ней сложилъ снѣжный столъ и лавку, лавку покрылъ сѣномъ. Продѣлалъ окошко, вставилъ въ него рамку со стекломъ отъ какой-нибудь должно-быть гравюры, валявшуюся на чердакѣ. Я удалялся въ эту келью, располагался въ ней, училъ уроки. Пещера служила долго; все кругомъ растаяло, а она была цѣла.

Случалось (это уже къ концу описываемаго двухлѣтняго періода), средній братъ, пріѣзжая въ Коломну, оставлялъ у насъ на нѣсколько дней дочь, дѣвочку, еще не ступавшую на ноги, и я находилъ удовольствіе быть нянькой. Изъ „коровьяго“ стульчика (съ котораго доятъ коровъ) я устраивалъ своего рода телѣжку, каталъ племянницу и утѣшался ея весельемъ. Случалось, когда младшая сестра была не въ отъѣздѣ, садились мы съ нею за карточную игру въ „пьяницы“; а по святкамъ болѣе обширная партія засаживалась въ „свои козыри“. Но въ общемъ, свободныхъ часовъ, особенно въ вакаціонныя недѣли и праздничные дни, оставалось довольно, и одиночество меня томило. Я забѣгалъ къ пономарю, дьячку, находилъ тамъ кого послушать; церков-



ный сторожъ, напрімѣръ, котораго я нерѣдко заставлялъ тамъ, вкусно рассказывать о Суворовѣ, подъ командой котораго онъ служилъ, о Неаполѣ, гдѣ ему случилось быть. Радость бывала, когда къ намъ приходила старуха Кузьминична, повитуха, жившая тоже на церковномъ дворѣ. Она повѣствовала о моровой язвѣ, которой была свидѣтельницей въ Москвѣ. Описывала фуры, въ которыхъ возили умершихъ; фурманчиковъ, одѣтыхъ въ кожу и вооруженныхъ баграми, которыми вытаскивали покойниковъ. Почти одна она осталась жива во всемъ домѣ, а домъ былъ большой, каменный, во много этажей. Всѣ перемерли. Фуры пріѣзжаютъ ежедневно съ неизмѣннымъ вопросомъ: „живы ли?“—и умершихъ вытаскиваютъ. На какомъ-то шестѣ ей, Кузьминичнѣ, тогда дѣвчкѣ, подавали пищу, не выпуская ее изъ зачумленнаго жилища.

Въ вакаціонное время подзывалъ меня къ себѣ братъ гостить въ Черкизово. Вынужденъ я бывалъ соглашаться, потому что такъ приказывалось; но дни въ Черкизовѣ были самые для меня тоскливые. Сверстниковъ тамъ тоже не обрѣталось, и дѣла не находилось, и слушать было не кого и видѣть не кого. Братъ, разговорчивый въ другихъ мѣстахъ, усвоилъ для дома родительскую привычку молчанія. На улицѣ пусто, въ лѣсъ идти одному боязно. На усадебной землѣ, сзади дома, голо. День тянулся неимоверно и начинался однимъ изъ мучительнѣйшихъ ощущеній. Въ просонкахъ, на зарѣ, регулярно слышалъ я звукъ, приводившій меня въ отчаяніе; уныніе овладѣвало мной; я бы бѣжалъ, бѣжалъ куда-нибудь, самъ не знаю куда, но чтобы не слышать этого отбиванія косы, которое ежедневно будило меня и продолжалось часъ и болѣе, равномерно и однообразно среди всеобщей тишины. Конецъ дня не менѣе былъ мучителенъ. Пригонъ стада повидимому долженъ былъ бы развлекать; въ смѣшанномъ блеяньѣ и мычаньѣ животныхъ, равно и въ суетѣ бабъ, кличущихъ свою тпруконьку или загоняющихъ глупую овцу,

порывающуюся на чужой дворъ, можно бы, казалось, находить отдыхъ отъ однообразія. Но меня пригонѣ стада съ его музыкой угнеталъ, навѣвалъ грусть не-сказанную. А затѣмъ чрезъ часъ или полтора новая музыка, новые звуки, еще болѣе ужасные. Сѣло солнце, потемнѣло небо; водворилась тишина. Вдругъ неожиданно бьетъ колоколъ, какъ бы надъ самымъ ухомъ; ударяетъ медленно, жалобно; звуки несутся, замираютъ, и не успѣло затихнуть послѣднее дрожаніе—ударъ снова. До конца я не могъ привыкнуть къ этому обнадеживающему оповѣщенію сторожа, — „спите де, православные, спокойно; я караулю“. А я вздрагивалъ при первомъ звукѣ, томительно ждалъ втораго и бѣжалъ бы зажавъ уши; какъ будто на смерть зовутъ меня эти рѣдкіе удары, какъ будто смертный приговоръ читаютъ: вотъ еще, и умру!

Оживлялось времяпровожденіе сѣнокосомъ. Мы вырѣзывали деревянные рогульки, и я съ удовольствіемъ ворошилъ сѣно; съ удовольствіемъ смотрѣлъ, какъ навиваютъ возы; охотно провожалъ ихъ; присутствовалъ при угощеніи косцовъ, образовавшихъ „помочь“, которую братъ работалъ. Косцовъ кормили по череду: сегодня попъ, завтра діаконъ, далѣе причетники; луга у причта были общіе. Но вотъ и всѣ интересы; придетъ развѣ Наталья Ивановна иногда, расскажетъ о старинѣ, или какой другой дворовый съ повѣствованіями объ охотахъ былого невозвратнаго времени. Я рвался домой, и радъ былъ, когда сажали меня въ телѣгу и везли обратно къ отцу, теткѣ и сестрамъ. Но какое разнообразіе ждало и дома?

Служилъ отецъ обѣдню или не служилъ, все равно, онъ уже дома, когда я проснулся (беру день, когда я не въ училищѣ). Батюшка за столомъ съ заплетенною косою сидитъ въ рубашкѣ; поясокъ на бедрахъ, на поясѣ ключъ, очки на носу и книга на столѣ. Онъ читаетъ. Сестра сидитъ съ учениками, плететъ кружева или вяжетъ чулокъ. Поодаль тетка, трясая головой отъ

старости; съ очками на носу, какъ отецъ; вяжетъ чулокъ, какъ сестра. Случалось, подойдетъ тетка, положивъ чулокъ, къ отцу съ какимъ-нибудь хозяйственнымъ вопросомъ или замѣчаніемъ, получаетъ короткій отвѣтъ и удаляется. Лѣниво раздаются гудѣніе и причитаніе ребятъ-учениковъ. А вотъ скоро и двѣнадцать часовъ; не пора ли обѣдать? Ребята отпускаются, съ шумомъ закрываютъ книги и разбѣгаются (непремѣнно съ шумомъ и непремѣнно разбѣгаются, по поговоркѣ, какъ сорвавшіеся съ цѣпи).

Обѣдъ. Накрытъ столъ скатертью, салфетокъ нѣтъ; общая глиняная миска (муравленая), деревянные ложки по числу обѣдающихъ; предъ отцомъ особая, большая круглая. Меню неизмѣнное: щи и каша по буднямъ; вмѣсто каши по праздникамъ большею частію картофеля, почему-то считавшійся болѣе аристократическимъ и потому праздничнымъ. Вмѣсто щей иногда похлебка картофельная, лапша, почки, которыя подавались иногда и на сковородѣ. Неизмѣннымъ спутникомъ праздника бывалъ пирогъ, а то лепешки—пшеничныя, не крупчатыя. Щи по преданію съѣдались въ два пріема, какъ видывалъ я потомъ и на постоянныхъ дворахъ, сперва безъ говядины, потомъ съ говядиной. Въ будни и праздники подавался часто студень. Онъ былъ ни по чѣмъ въ Коломнѣ, большими партіями заготовлявшей солонину для флота; солонина также являлась на столѣ и съ ней варили щи.

Въ постные дни говядину замѣняли снятки. Нерѣдко являлась уха изъ свѣжей рыбы, сравнительно недорогой въ прирѣчной Коломнѣ; рѣже соленая рыба, которая весной, между прочимъ, шла въ ботвинье изъ сныти. Изъ сныти непремѣнно, за сборомъ которой батюшка регулярно отправлялся, и большею частію взявъ меня съ собой, въ Мѣщаниновскій садъ. Также регулярно въ лѣтніе ясные вечера отправлялся онъ предъ самымъ покосомъ въ городскіе луга, въ моемъ сопровожденіи, собирать тминъ для хлѣба.

Рыба разрѣшалась для обыкновенныхъ постныхъ дней. Въ Великій Постъ, за исключеніемъ Благовѣщенія и Вербнаго, во дни Усѣкновенія и Воздвиженія, въ сочельники—ни рыбки, ни даже снятка. Въ первую и страстную седмицы не употреблялось и масла; тутъ за все отвѣчали грибы, горохъ, картофель печеный. Вообще уставъ церковный по части трапезы держался твердо, такъ твердо, что отступленіе отъ него и въ головѣ не укладывалось. Квартировалъ отъ насъ недалеко одинъ офицеръ, о которомъ слухъ былъ, что онъ употребляетъ въ Великій Постъ скоромное. Того же офицера видѣли мы въ тотъ же постъ причастникомъ въ церкви. Домъ нашъ пораженъ былъ удивленіемъ, какъ согласить двѣ, казалось намъ, несовмѣстимыя вещи: таинство принимаетъ и въ постъ скоромное ѣсть! О себѣ самъ отецъ рассказывалъ, что при какомъ-то чрезвычайномъ случаѣ пришлось ему „закусить“ рыбой въ Великій постъ. Его цѣлый день тошнило.

Я остановился повидимому долѣе надлежащаго на нашей незатѣливой кухнѣ. Но меня занимаетъ отсутствіе изобрѣтательности, сказавшееся здѣсь, какъ и въ домостроеніи. И это не въ нашей семьѣ только: изойдите изъ конца въ конецъ Россію, да не по станціямъ желѣзныхъ дорогъ и „ресторанамъ“ почтовыхъ, а пройдите постоянные дворы на торговыхъ трактахъ, сельскіе трактиры: между щами и кашей поселанина и котлетами, дошедшими въ трактиръ чрезъ тысячи посредствъ отъ повара на барскомъ дворѣ—перехода никакого. Словомъ, кухня французская и притомъ искаженная, лишенная вкуса, и—элементарная русская, другими словами никакая. А оставшіяся записи дворцовыхъ обѣдовъ XVII столѣтія не могутъ пожаловаться на однообразіе. Явленіе историческое, не лишенное значенія! Какъ въ архитектурѣ, такъ и въ кухнѣ, заимствованіе чужаго и распространеніе его въ высшихъ классахъ остановило творчество. Не повторилось ли это въ одеждѣ, и далѣе—въ музыкѣ? Способность къ развитію изъ

себя отшиблена, а чужое усваивается въ видѣ заимствованія одной формы. Супъ или котлета постоялаго двора съѣдобны развѣ для неразборчиваго желудка; не лишенный вкуса человѣкъ помирится охотнѣе на простыхъ щахъ того же постоялаго двора.

Послѣ обѣда батюшка идетъ соснуть въ горницу. Встаетъ; снова очки на носу и снова книга. И такъ до ужина. Если завтра служба, то отслужена вечерня. Иногда дьячекъ подойдетъ къ окну съ докладомъ; иногда идетъ батюшка на рынокъ; иногда къ И. И. Мѣщанинову—книгу или газеты отнести и взять новыя. Ясный, тихій лѣтній вечеръ: выйдетъ батюшка на дворикъ, сядетъ и задумчиво смотреть, барабани пальцами.

Возьмемъ зиму. Въ долгій вечеръ тетка осмѣливается сказать: „Что же бы вы, братецъ, хоть почитали бы намъ что-нибудь“. Если находится книга удобная для чтенія всѣмъ, въ родѣ ли *Тысячи одной ночи* или чьего-нибудь стариннаго путешествія, напримѣръ *Всемирный Путешественникъ* аббата Делапорта, батюшка читаетъ въ слухъ самъ или, какъ потомъ было, предлагаетъ мнѣ. А то принесетъ изъ церкви Четы-Минеи по просьбѣ тетки, и она назначаетъ чтеніе. Она не грамотна, но помнитъ забирающія сердце житія, по преимуществу легендарныя: Евстаѳія Плакиды или Кипріана мученика. Все это мы слушали уже нѣсколько разъ, но слушаемъ въ десятый, двадцатый, притаивъ дыханіе. Романическія подробности Евстаѳія Плакиды, или въ житіи Кипріана подробности сатанинскаго царства съ престоломъ Зевса, потрясали воображеніе.

День разнообразится праздникомъ, приходомъ кого-нибудь посторонняго (рѣдкимъ) или торжественными моментами года, въ родѣ рубки капусты, сниманія хмѣля и яблокъ. Рубка капусты опредѣляется заранѣе; просятъ на прокатъ корыто у прихожанина-купца и сѣчки. Въ торжественный день, точнѣе—вечеръ рубки, всѣ за работой; работаемъ усердно, весело. Мы, молодежь, наслаждаемся кочерыжками. Хмѣля и яблонь

Рыба разрѣшалась для обыкновенныхъ постныхъ дней. Въ Великій Постъ, за исключеніемъ Благовѣщенія и Вербнаго, во дни Усѣкновенія и Воздвиженія, въ сочельники—ни рыбки, ни даже снятка. Въ первую и страстную седмицы не употреблялось и масла; тутъ за все отвѣчали грибы, горохъ, картофель печеный. Вообще уставъ церковный по части трапезы держался твердо, такъ твердо, что отступленіе отъ него и въ головѣ не укладывалось. Квартировалъ отъ насъ недалеко одинъ офицеръ, о которомъ слухъ былъ, что онъ употребляетъ въ Великій Постъ скоромное. Того же офицера видѣли мы въ тотъ же постъ причастникомъ въ церкви. Домъ нашъ пораженъ былъ удивленіемъ, какъ согласить двѣ, казалось намъ, несовмѣстимыя вещи: таинство принимаетъ и въ постъ скоромное ѣсть! О себѣ самъ отецъ рассказывалъ, что при какомъ-то чрезвычайномъ случаѣ пришлось ему „закусить“ рыбой въ Великій постъ. Его цѣлый день тошнило.

Я остановился повидимому долѣе надлежащаго на нашей незатѣливой кухнѣ. Но меня занимаетъ отсутствіе изобрѣтательности, сказавшееся здѣсь, какъ и въ домостроеніи. И это не въ нашей семьѣ только: изойдите изъ конца въ конецъ Россію, да не по станціямъ желѣзныхъ дорогъ и „ресторанамъ“ почтовыхъ, а пройдите постоялые дворы на торговыхъ трактахъ, сельскіе трактиры: между щами и кашей поселянина и котлетами, дошедшими въ трактиръ чрезъ тысячи посредствъ отъ повара на барскомъ дворѣ—перехода никакого. Словомъ, кухня французская и притомъ искаженная, лишенная вкуса, и—элементарная русская, другими словами никакая. А оставшіяся записи дворцовыхъ обѣдовъ XVII столѣтія не могутъ пожаловаться на однообразіе. Явленіе историческое, не лишенное значенія! Какъ въ архитектурѣ, такъ и въ кухнѣ, заимствованіе чужаго и распространеніе его въ высшихъ классахъ остановило творчество. Не повторилось ли это въ одеждѣ, и далѣе—въ музыкѣ? Способность къ развитію изъ

себя отшиблена, а чужое усвоется въ видѣ заимствованія одной формы. Супъ или котлета постоялаго двора съѣдобны развѣ для неразборчиваго желудка; не лишенный вкуса человѣкъ помирится охотнѣе на простыхъ щахъ того же постоялаго двора.

Послѣ обѣда батюшка идетъ соснуть въ горницу. Встааетъ; снова очки на носу и снова книга. И такъ до ужина. Если завтра служба, то отслужена вечерня. Иногда дьячекъ подойдетъ къ окну съ докладомъ; иногда идетъ батюшка на рынокъ; иногда къ И. И. Мѣщанинову—книгу или газеты отнести и взять новыя. Ясный, тихій лѣтній вечеръ: выйдетъ батюшка на дворикъ, сядетъ и задумчиво смотритъ, барабана пальцами.

Возьмемъ зиму. Въ долгій вечеръ тетка осмѣливается сказать: „Что же бы вы, братецъ, хоть почитали бы намъ что-нибудь“. Если находится книга удобная для чтенія всѣмъ, въ родѣ ли *Тысячи одной ночи* или чьего-нибудь стариннаго путешествія, напримѣръ *Всемирный Путешественникъ* аббата Делапорта, батюшка читаетъ въ слухъ самъ или, какъ потомъ было, предлагаетъ мнѣ. А то принесетъ изъ церкви Четы-Минеи по просьбѣ тетки, и она назначаетъ чтеніе. Она не грамотна, но помнитъ забирающія сердце житія, по преимуществу легендарныя: Евстаѳія Плакиды или Кипріана мученика. Все это мы слушали уже нѣсколько разъ, но слушаемъ въ десятый, двадцатый, притаивъ дыханіе. Романическія подробности Евстаѳія Плакиды, или въ житіи Кипріана подробности сатанинскаго царства съ престоломъ Зевса, потрясали воображеніе.

День разнообразится праздникомъ, приходомъ кого-нибудь посторонняго (рѣдкимъ) или торжественными моментами года, въ родѣ рубки капусты, сниманія хмѣля и яблокъ. Рубка капусты опредѣляется заранѣе; просятся на прокатъ корыто у прихожанина-купца и сѣчки. Въ торжественный день, точнѣе—вечеръ рубки, всѣ за работой; работаемъ усердно, весело. Мы, молодежь, наслаждаемся кочерыжками. Хмѣля и яблокъ

было въ нашемъ садикѣ немного, но обрядъ совершался по преданію отъ того времени, когда и того и другаго было довольно. Аккуратно вынимаетъ батюшка шесты и аккуратно же убираетъ ихъ до будущаго года. Онъ былъ человѣкъ примѣрной аккуратности: грибокъ, найденный въ лѣсу, положить въ лукошко не иначе, какъ очистивъ корешокъ ножичкомъ. Мы обрываемъ шишки; онѣ несутся на просушку и потомъ продаются. Яблоки не продажны; они кладутся на солому на погребикъ; часть (худшая) рѣжется на ломтики, нанизывается на нитку и вялится на солнцѣ. Да много ли ихъ? И деревьевъ уже немного, но половину плодовъ постаралась молодежь сбить, еще не давъ созрѣть.

Важнѣйшая изъ эпохъ—полая вода и вообще наступленіе весны. Далеко ли зайдетъ къ намъ вода? Садикъ нашъ оканчивался частоколомъ и по его линіи ветлами, которыя сажалъ дѣдушка въ годы рожденія дѣтей: вотъ ветла, посаженная въ годъ рожденія батюшки, а вотъ въ годъ рожденія Татьяны Матвѣевны. Ветлами удерживались льдины; но частоколъ въ рѣдкій годъ не бывалъ сломанъ. Ко времени половодья большею частію уже открывались и свѣтелки, изъ которыхъ одна, рядомъ съ топлюшкой, ежегодно на зиму забивалась войлоками и рогожами. Какъ этотъ процессъ забиванія войлоками представлялъ нѣчто погребальное, обращалъ домъ, стѣсняя жилье, въ родъ тюрьмы, такъ отбиваніе вѣяло праздникомъ, двойнымъ, и весны и наступающаго Свѣтлаго Воскресенія. Вонъ и едва замѣтная щетинка зелени пробивается на лужайкѣ; вонъ и церковь холодную готовятъ; вонъ и ризы серебряныя мѣстныхъ иконъ приносятъ. Таковъ порядокъ: къ Свѣтлому дню, если только онъ не очень ранній, служба перебирается изъ придѣла въ главную, холодную церковь. Ризы снимаютъ съ иконъ и чистятъ; мѣщаниновскіе дворовые на это специалисты: какъ блеститъ послѣ того серебро! Какъ звонко



раздается пріятный теноръ Андреевича подъ высокимъ сводомъ! Какъ свѣтло въ церкви, совершенно бѣлой внутри. А то и праздникъ не въ праздникъ въ душевной, низкой, темной церкви придѣла!

Съ открытіемъ свѣтелокъ предвидится возможность и отворить окна. Рамы во всемъ домѣ выставляются: въ свѣтелкѣ выметають съ оконъ мухъ, оставшихся съ осени и мертвенно лежащихъ на оконницѣ. А вотъ и батюшка переберется съ своею постелью изъ прихожей тоже въ свѣтелку, чѣмъ рядомъ съ сѣнями. То-то весело! Ходъ кругомъ; въ окна, когда откроешь, врывается свѣжій весенній воздухъ; можно бѣжать и на верхнюю свѣтелку и изъ нея на балконъ. Съ чердака два слуховыя окна на двѣ стороны; теперь позволяется ихъ открывать и смотрѣть вдаль на сосѣдніе огороды и вторые этажи. Но главный интересъ сосредоточивался все-таки на рѣкѣ. Трогается ледъ. Вотъ онъ пошелъ къ устью лѣниво, вяло. Вода вышла на берегъ; когда она къ намъ? А это зависитъ отъ Оки: поидетъ Очный ледъ. Когда? Завтра, послѣ завтра. А вотъ и онъ идетъ. Не найдется въ цѣломъ городѣ равнодушнаго, кто бы миновалъ это зрѣлище.

Предъ устьемъ Москвы-рѣки на Окѣ каменистый островъ; далѣе, послѣ впаденія, тоже островъ и кажется два даже. Трогается ледъ въ Окѣ, и встрѣчая въ островахъ препятствіе, начинаетъ переть влѣво, въ Москву. Москворѣцкій ледъ останавливается; напоръ москворѣцкой воды борется съ сильною Окой. Но нѣтъ, ему не одолѣть; подбываетъ сверху, изъ Каширы, и еще вода, и еще ледъ; пытается прорваться чрезъ острова. Ледъ ломается, льдины громоздятся одна на другую, вода претъ впередъ, напирая одновременно и на Москву-рѣку, не давая ей хода. Направо нѣтъ мѣста: тамъ высочайшій берегъ, и надалеко. Наконецъ Москва изнемогаетъ; она раздается, но не находя по сторонамъ прѣстора, поворачиваетъ совсѣмъ назадъ. Очныя льдины лѣзутъ на Москворѣц-

кія и всѣ вмѣстѣ несутся кверху, несутся быстро, несутся далеко, отбидываютъ рѣку назадъ на цѣлую полсотню верстъ. Вотъ это-то зрѣлище Очнаго льда и было самымъ восхитительнымъ. Плывуть ледяныя башни, колокольни, причудливыя зѣмки изо льда и снѣга, окаймленные иногда поперекъ, иногда вдоль разрисованные, навозомъ, оставшимся отъ зимней рѣчной дороги. А вотъ и проруби и плотомойни, ставшія то бокомъ, то вкось, и выглядывающія окнами и воротами въ этихъ узорчатыхъ зѣмкахъ. На самую вершину зѣмка или колокольни забрался плетень отъ плотомойни. Ба, даже верша тутъ, а вонъ и рыбацья лодка, садокъ перевернутый вверхъ дномъ: какъ чудно онъ виситъ! Смотрите, онъ словно въ рукахъ у какого-то снѣжнаго великана: вотъ его голова, вотъ руки, вотъ выпяченное брюхо, и ноги, сквозь которыя видимъ еще другія плывущія льдины. Ахъ, Боже мой, корова, корова, какъ она попала? Да нѣтъ, смотрите, сани, и съ лошадыю; гдѣ же мужикъ? Нѣтъ его; утонулъ онъ или спасся? Боже мой, гдѣ же онъ? Кто спасетъ эту лошадь, эту корову? Но едва успѣли ахнуть, новыя льдины несутся, несутся, едва успѣвая дать налюбоваться на свои ежеминутно разнообразящіеся узоры. А вода все подбываетъ; съ каждымъ плескомъ волны она подходитъ ближе на четверть, на поларшина, на аршинъ. Вотъ, вотъ она; частокола уже нѣтъ, онъ подъ водой; вотъ она идетъ; до самаго дома не дойдетъ, этого не бывало никогда, но за черемуху въ саду нынѣшнимъ годомъ зайдетъ: это отъ дома пятнадцать шаговъ.

Четырнадцать лѣтъ мнѣ было. Я зналъ языки, зналъ географію, перечиталъ книгъ множество по всѣмъ отраслямъ, пробѣгалъ журналы, и я недоумѣвалъ, что *Очной* ледъ, идущій вверхъ по рѣкѣ, есть явленіе специально боломенское. Живу въ Москвѣ уже. „Ледъ пошелъ“, говорятъ.—„Который? Куда?“ спрашиваю. Вверхъ или внизъ?“ На меня смотрятъ съ удивле-

ніемъ, и когда объяснили, что не можетъ рѣка течь вверху, тутъ только я сообразилъ и подивился своей недогадливости. Такъ иногда даже въ болѣе зрѣлыхъ лѣтахъ, и у людей съ сильнымъ и острымъ умомъ и съ обширными познаніями, застрянетъ какая-нибудь мысль и увѣренность отъ дѣтскихъ лѣтъ, и сойдетъ въ могилу человѣкъ, до старости не догадавшись, что рѣки къверху не текутъ. Въ другомъ видѣ, но сколько такихъ предразсудковъ объ *Очномъ* лѣдѣ живетъ и даже двигаетъ жизнь въ наукѣ, въ быту, въ политикѣ!

Десятки верстъ заливаешь вода. Если бы не лѣса, можно бы проплыть по прямой линіи до Бронницъ; и лѣса и эта самая роща, чтѣ предъ нашими окнами на другомъ берегу, залиты. Видны только верхи и, какъ на островѣ, Бобриневъ монастырь, слободка котораго покрыта водой, стоящею можетъ-быть по колѣно въ избахъ. Залить Голутвинъ; изъ кельи въ церковь переправиться пожалуй нуженъ плотъ.

Но нѣсколько дней прошло, ледъ возвращается. Какой онъ тщедушный, чахлый! Гдѣ же эти зѣмки? Нѣтъ ихъ. Прибываются къ намъ ихъ жалкія развалины, слѣды развалинъ, но не менѣе красивые. Многіе—чистый хрусталь; снѣгъ, грязь частію стояли, частію смыло. Любилъ я собирать эти хрустальные камни, хрустальные плиты, хрустальные жезлы, когда ихъ прибывало къ намъ. Весело приставлять ихъ къ стѣнѣ и составлять изъ нихъ уже свои узоры, свои зѣмки и колокольни.

---

## XV.

## Цивилизація.

При всей косности, домашній бытъ нашъ къ описываемому періоду все-таки тронулся съ того времени какъ я себя зазналъ. У насъ завелась лишняя мебель, явилось при домѣ крытое крыльцо, двѣ комнаты оклеились бумагой, одна оштукатурилась. Какъ все это ничтожно, какъ обыкновенно,—но то и другое и третье были событіями. Столбы подъ домомъ сгнили, пришлось подводить новые и подымать домъ. Подрядчикъ-плотникъ совѣтовалъ кстати, въ отвращеніе гнилости, обшить столбы подборомъ, чего прежде не было; да кстати ужъ матушка рѣшила и сама, при исправленіи наружной лѣстницы, обшить ее и покрыть. Последнее почему? Потому что такъ уже начинало заводиться при городскихъ домахъ: открытая лѣстница съ висящимъ на ней рукомойникомъ, это—деревня. По этому соображенію лѣстница была покрыта, и рукомойникъ перенесенъ въ топлюшку. Помню долги приготовленія къ этому обновленію наружности дома и дорогую, тяжелую цѣну, во что оно обошлось — тридцать рублей, на ассигнаціи разумѣется. Цифру эту я твердо помню, и помню то, что родители находили ее тяжелою по своимъ средствамъ.

Тогда же оклеились горница и „боковая“; употреблена на это оберточная бумага, потомъ окрашена въ одной комнатѣ купоросомъ, въ другой должно-быть охрой. Въ горницѣ маляръ даже расписалъ потолокъ по „трафарету“, изобразивъ какую-то гирлянду.

Шестью стульями, диваномъ и ломбернымъ столомъ поклонился родителямъ старшій сынъ, получивъ дьяконское мѣсто въ Москвѣ. Письмомъ мы были предувѣдомлены о подаркѣ и ежедневно свѣрялись, не подошла

ли барка, долженствовавшая привезти невиданную утварь. О стульяхъ мы имѣли понятіе, но диванъ или, какъ предпочиталъ называть его отецъ, „канapé“, для насъ по крайней мѣрѣ, дѣтей, былъ диковиной. По полученіи обновки выломана лавка въ „боковой“; туда изъ горницы перенесены старые стулья съ лоснящимися сидѣніями, а горница убралась московскою мебелью. Мебель была очень немудреная, прямолинейная, топорная, но обшита сафьяномъ, крашена и покрыта лакомъ. Намъ нравился этотъ запахъ, и вообще воображеніе было поражено, такъ что мы задумали устроить миниатюру стула. Взяли полѣно, начали вырѣзать, но гдѣ же сладить дѣтскимъ рукамъ? Помогъ уже средній братъ, Сергѣй, пріѣхавшій на вакацію изъ Москвы; миниатюрный стулъ былъ вырѣзанъ точь-въ-точь по подлиннику, даже выкрашенъ, покрытъ лакомъ и обитъ, только вмѣсто сафьяна коленкоромъ. Сжалился надъ нашими трудами Иванъ Евсигнѣевичъ и воспроизвелъ всю полдюжину, но не такъ изящно и прочно; ножки въ его стульяхъ были вставныя, а напѣ стулъ весь былъ изъ цѣльнаго куска.

Диванъ, точнѣе полъ подъ диваномъ, надолго обратился для меня съ сестрой въ любимую резиденцію, тѣмъ болѣе что тамъ мы нашли полочки, выставлявшіяся подъ сидѣньемъ, послужившія намъ своего рода чуланами. Я откладывалъ туда сахаръ, сберегаемый отъ чая. Пилъ я чай неохотно, опоражнивалъ чашку почти безъ прикуски, а сахаръ относилъ въ свой чуланъ, время отъ времени обращаясь къ нему и откусывая по крошкѣ.

Когда молодые послѣ свадьбы пріѣхали навѣстить родителей въ Коломну, нами младшими дѣтьми, испытывалось вѣроятно подобное тому, что нѣкогда старшими при пріемѣ московскихъ гостей въ 1812 году. Меня поразилъ шелковый подрясникъ брата, его широкій поясъ золотомъ шитый (братъ поступилъ въ Дѣвичій монастырь, и поясъ былъ подаренъ ему бѣлицами-золото-

швейками). Карманные часы, аляповатые правду сказать, луковицей, въ двойномъ футлярѣ, но какъ невидаль, тоже привлекли мое вниманіе. Московскія сайки береглись и ѣлись исподоволь, какъ лакомство. А два гостинца, назначенные спеціально для меня и для младшей сестры, даже и остались только на поглядѣнье. Мнѣ привезена была бѣлая сахарная собачка, сестрѣ красная леденцовая кукла. То и другое копѣчной стоимости; но ни того ни другаго намъ не дали, а только показали, объяснили, что кому предназначено и поставили за стекло въ шкафъ навсегда.

Мы были и польщены тѣмъ, что членъ нашего семейства попалъ во дьяконы въ Москву. Казалось бы, что особеннаго? Отецъ былъ не дьяконъ, а священникъ, священствовавшій притомъ къ тому времени уже тридцать лѣтъ, да еще должностное лицо—„увѣщатель“ въ судахъ. Но въ понятіяхъ духовенства, по крайней мѣрѣ московскаго, столичнѣй дьяконъ выше священника уѣзднаго, тѣмъ паче сельскаго. Перворазрядный студентъ семинаріи брезгалъ, продолжаетъ вѣроятно брезгать и теперь, священническимъ мѣстомъ въ селѣ, при вѣроятности получить дьяконское, но въ Москвѣ; дьяконскими въ Москвѣ мѣстами не пренебрегали и кандидаты академіи. Образовались два вида духовенства, столичное и уѣздное, качественно различныя, даже отрѣзанныя взаимно; такъ что семинаристъ, хотя бы перворазрядный, попавъ въ село, уже терялъ надежду выбраться въ Москву, тогда какъ дьякону московскому, хотя бы второразрядному, переходъ на священническое мѣсто въ столицѣ не закрывался. Идти изъ дьяконовъ московскихъ въ сельскіе и даже уѣздные попы, это почти разжалованіе. Если же бы сельскій іерей сталъ просить перемѣщенія въ Москву, хотя бы заслуженный, онъ въ консисторіи возбудилъ бы не только удивленіе, но негодованіе, какъ забывшійся нахаль; нужды нѣтъ, что на то же мѣсто завтра поступить дьяконъ изъ второразрядныхъ и третьеразрядныхъ семинаристовъ,

притомъ ничѣмъ не выдающійся на службѣ, тогда какъ сельскій священникъ вмѣстѣ и примѣрный благочинный. Не удалось мнѣ бесѣдовать съ покойнымъ Филаретомъ объ этой іерархической несообразности, да по всей вѣроятности и бесполезно было бы: онъ въ отпоръ указалъ бы мнѣ два, три примѣра, что отличившіеся сельскіе и уѣздные священники были также переводимы въ Москву, и—еще болѣе обильные примѣры, что переводимы были изъ уѣздовъ (Коломны именно) родственники самого митрополита. Ни тѣ исключительные примѣры, ни это систематическое возвышеніе родственниковъ не измѣняли существа; фактъ остается въ силѣ: бытовая іерархія превозмогаетъ церковную и даже отчасти государственную. Последнее въ томъ смыслѣ, что и награды духовенству бообразовались, въ тѣ времена по крайней мѣрѣ, не съ самымъ служеніемъ, а съ мѣстомъ гдѣ оно проходило. Сельскій благочинный, депутатъ, увѣщатель и прочія должностныя лица такъ и вѣковали, не дождавшись вишняго поощренія, хотя бы пятьдесятъ лѣтъ пробыли, и притомъ на такой должности, которая даже по статуту даетъ право на орденъ чрезъ двѣнадцать лѣтъ; столичное же духовенство хватало скуфы, камилавки и ордена. Въ послѣдніе года, по отношенію къ отличіямъ болѣе примѣнено равноправности, хотя и не скажу, чтобы къ особенной пользѣ церкви; но въ старыя времена, не говоря объ орденѣ, скуфы на сельскомъ священникѣ Московской епархіи была рѣдкость. Сельскій попъ, будь онъ разблагочинный, за счастье долженъ почестъ, если подъ конецъ укланяется и получить мѣсто „ранняго“, наемнаго священника при московскомъ батѣкѣ, предоставляя послѣднему сибаритствовать лѣтомъ на дачѣ, а зимой отправлять службу и требы только для разнообразія жизни, посвященной въ весьма посредственной степени приходу.

Правиленъ ли такой порядокъ, едва ли нужно объяснять. Если въ положеніи, усвоенномъ со времени

Сперанскаго. и даже ранѣе, со времяъ Прокоповича, что школьное образованіе есть главная принадлежность священства, замѣтенъ отгѣнокъ протестантства, то возвышеніе столичнаго дьяконства предъ сельскимъ священникомъ было шагомъ къ латинству, — тому латинству, которое пресвитеровъ и дьяконовъ царствующаго Рима поставило въ санъ кардиналовъ выше даже епископовъ. Священнослужительское мѣсто есть награда за успѣшное окончаніе курса наукъ, а въ самой должности священнослужителя существеннѣйшее есть доходъ съ нея получаемый: понятна и эта мораль установившагося порядка.

Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ не болѣе двухъ или трехъ разъ навѣстилъ московскихъ отецъ; не чаще того и они къ намъ пріѣзжали; но мы уже чувствовали себя приобщенными къ свѣту. Средняя (по дому тогда уже старшая) сестра съ недѣлю какъ-то гостила въ Москвѣ. Расскажамъ ея, по возвращеніи, мы внимали какъ Шехерезадѣ; и надобно отдать ей справедливость, она такъ живо, такъ подробно и съ такою наблюдательностью передавала свои впечатлѣнія, что не видавъ, мы познакомились со столицей не менѣе самой счастливцы, побывавшей тамъ. Когда спустя нѣсколько лѣтъ пришлось мнѣ быть въ театрѣ, я вошелъ въ него, какъ человѣкъ бывалый; всѣ подробности я заранѣе представлялъ себѣ по рассказамъ сестры именно такъ, какъ нашелъ ихъ потомъ.

Отсталость въ бытѣ насъ мучила. Припоминая это ощущеніе, сравниваю его съ другимъ, которое навѣрно многими испытано. Снится, что въ какое-нибудь отборное общество являешься вполне одѣтымъ, но босикомъ и не знаешь куда дѣваться, какъ спрятать ноги, какъ не дать замѣтить другимъ свою небрежность, оплошность, разсѣянность. Окружавшее насъ духовенство, и именно изъ молодаго поколѣнія, даже болѣе бѣдные, дьяконы напимѣръ, пили чай ежедневно. У насъ этого было не заведено. И мы старались этого не показывать.



предъ посторонними. Я носилъ личные сапоги; пусть стыда предъ сверстниками я не чувствовалъ, потому что прочіе носили ту же обувь; но моею мечтой было удостоиться „смазныхъ“ сапоговъ. По ходатайству сестры потомъ я получилъ ихъ, между прочимъ крайне удивившись, что новые, праздничные сапоги оказались не только не дороже, но даже дешевле тѣхъ, которые прежде были у меня. И съ какимъ же усердіемъ я ихъ чистилъ!

Сестры ходили въ шубейкахъ, покрывались платочками. О шляпкахъ не смѣли онѣ и мечтать, но перемѣнить шубейку на салопъ, это казалось достижимымъ, и сестра-домохозяйка копила деньги, получаемыя отъ учениковъ, чтобъ устроить себѣ желаемое облаченіе. И устроила; точнѣе—всѣ мы трое устроили. Предшествовали долгія совѣщанія, изъ чего сшить, чѣмъ покрыть, какой воротникъ поставить. Акакій Акакіевичъ не такъ радовался своей шинели, какъ радовались всѣ мы трое сестриному салопу. Сейчасъ помню: онъ былъ драдедамовый, зеленого цвѣта, на заячьемъ крашеномъ мѣху, съ лисьимъ воротникомъ. Почему именно зеленый, не просто черный, ни оливковый, ни какой другой? Замѣьте, и сарафаницы, переходя къ платью и въ особенности отъ бумажныхъ къ шерстянымъ матеріямъ, начинаютъ съ зеленого, которымъ замѣняютъ яркіе цвѣта и крупные разводы прежняго одѣянія; за зелеными платьями на ступень выше слѣдуютъ обыкновенно синія. По этимъ цвѣтамъ узнаете горничную, кабачницу, жену овощнаго лавочника. Тутъ дѣйствуетъ не примѣръ, не мода и не вкусъ портнихи. Помимо желанія подняться виѣшностью до „господъ“, дѣйствуетъ свой внутренній идеалъ красоты; совершается въ душѣ неувидимый процессъ, въ силу котораго перестаютъ нравиться цвѣта, рѣжущіе глазъ, но зрительный нервъ еще требуетъ возбужденія и не удовлетворяется ни сѣрымъ, ни чернымъ, хотя это и модно, а барыни такъ одѣваются. Очевидно, сестры и я стояли

на этой эстетической стадіи, когда облюбовали зеленый цвѣтъ.

Я озаглавилъ настоящую главу словомъ „цивилизация“, имѣя въ виду не то понятіе, которое съ нимъ соединяють въ Европѣ и которое равнозначительно просвѣщенію. Мы—я и сестры—ко многому тянулись дѣйствительно потому, что находили новое болѣе просвѣщеннымъ. „Что это ты сказалъ: *инда* я испугался? замѣчаетъ мнѣ сестра; нужно говорить: *даже* я испугался“. Не говори: „*съмъ* я возьму“, а „позвольте взять“. Это были уроки вѣжливости и благовоспитанности дѣйствительно, хотя по истинѣ и жаль, что просительное „сѣмъ“ не получило гражданства въ литературѣ; оно такъ живописно и такъ идетъ къ прочимъ вспомогательнымъ глаголамъ, заимствованнымъ отъ первичныхъ физическихъ дѣйствій: „сталъ“, „пошелъ“, „взялъ“! Но смазные сапоги и зеленый салопъ не выражали благовоспитанности, не означали просвѣщенія, не представляли даже удобства; салопъ, особенно тогдашній безрукавный, несомнѣнно холоднѣе шубы. А я готовъ былъ прятать ноги предъ мальчикомъ въ смазныхъ сапогахъ; а мы умирали отъ стыда, когда случалось обмолвиться предъ посторонними и сказать о комнатахъ „горница“, „боковая“, „топлюшка“. Горница переименовалась въ „залу“, топлюшка въ „кухню“, даже прихожая въ „переднюю“. Что было необразованнаго, невѣжливаго въ „горницѣ“ или „прихожей“? Тутъ дѣйствовалъ уже слѣпой примѣръ, потребность приличія, въ другихъ случаяхъ именуемаго *модой*. Но мода сравниваетъ вчерашнее съ нынѣшнимъ, а здѣсь сравниваются не времена, а общественные слои. Перемѣной быта сказывается боязнь унизиться до простонародья или желаніе вырваться изъ него, поползновеніе на барство и прибавлю—барство въ смыслѣ тунеядничества. Мать-покойница сама стряпала; потомъ стряпала тетка; обѣ онѣ и сарафанницы. Богъ продлилъ вѣкъ теткѣ, но ни въ какомъ уже случаѣ не стала бы къ печкѣ на ея мѣсто

сестра, какъ считаетъ за стыдъ стать къ печкѣ теперь всякая попада, дьяконица, даже дьячиха. Всякая лавочница при первой возможности найметъ кухарку, не потому чтобъ ей было тяжело или не хватало времени, а изъ стыда; трудъ раздѣлился въ понятіи на благородный, безразличный и низкій.

Если бы случай поблагопріятствовалъ, дѣти Никитскаго священника живо бы онѣмечились или офранцузились, (скорѣе конечно бы офранцузились): до того насъ тянуло быть выше, „благороднѣе“; а цвѣтомъ „благородства“ конечно признавалось совершенное отрѣшеніе отъ народа. Меня еще спасалъ патріотизмъ, воспитанный чтеніемъ книгъ и разсказами отца; на всѣхъ насъ кромѣ того былъ грузъ, невольнo оттягивавшій къ низу, къ народу — вѣра съ ея обрядами. Однако и я, на примѣръ, выучилъ на изусть (глазами, а не слухомъ) почти всю книжку *Французскихъ Разговоровъ*, случайно оказавшуюся у насъ; и сколько помню, однимъ изъ побужденій пробѣгать незнакомыя французскія фразы было именно желаніе духовно приблизиться къ тому кругу, изъ котораго выведены герои читанныхъ мною повѣстей и романовъ. А въ тогдашнія времена не было беллетристическаго произведенія, гдѣ бы въ разговорахъ не пестрѣли французскія фразы.

Если не на иностранномъ дѣйствительномъ, то на непонятномъ для другихъ языкѣ говорили мы однако и употребляли его именно при постороннихъ, подобно тому, какъ господа объяснялись по французски при прислугѣ, чтобы не профанировалась господская мысль даже внѣшнимъ участіемъ къ ней Хама. Мы пользовались русскимъ языкомъ, но намѣренно исковерканнымъ. Сначала насъ научили вставлять предъ каждымъ слогомъ зе: зе-я, зе-по-зе-шелъ, зе-до-зе-мой; это значило „я пошелъ домой“. Но послѣ съ чьихъ-то словъ прибѣгли къ тарабарщинѣ помудренѣе: вставляли между слогами по два слога и притомъ съ гласными, измѣняющимися сообразно подлинному слогу: я-нава, вы-

нывы, ше-невелъ; это означало „я вышелъ“. Мы говорили этою тарабарщиною чрезвычайно быстро и дѣйствительно достигали того, что насъ другіе не понимали. Знали мы еще и третій способъ коверкать слова и прибѣгали къ нему, но рѣже, и не усвоили полной быстроты. Этотъ способъ состоялъ въ перестановкѣ слоговъ; пай-сту, мой-до, вутъ-зо — значило: „ступай, домой, зовутъ“.

Понятно послѣ того, что молодежь у Никиты Мученика не развлекалась ни народными пѣснями, ни народными играми, напротивъ, сторонилась отъ нихъ, какъ бы отъ неблагопристойности; напротивъ, купили мы на послѣдніе гроши какой-то дрянной пѣсенникъ и разучали по немъ *Звукъ унылый фортепіано* и *Черную шаль*, хотя упивались и слушая Ивана Васильевича, когда онъ игралъ на скрипкѣ *Лучину лучинушку* или *Не одна во полѣ дороженька*. Но то уже игра на скрипкѣ, занятіе благородное, хотя пѣсни мужицкія. Мы пѣвали съ сестрой иногда и народныя пѣсни, но только ради комизма, насмѣшливо передразнивая мужицкое пѣніе. Зато просидѣли всѣ мы цѣлую ночь на пролетѣ у окна, когда въ сосѣднемъ домѣ у городничаго былъ балъ по случаю именинъ. Мы подмѣчали каждую мелочь, которая доходила до насъ отъ „образованнаго“ класса, хотя бы чрезъ разряженную дворовую дѣвушку. Мы сличали свое „грубое“ съ видимымъ у другихъ, утонченнымъ по нашему мнѣнію. Мы не знали, что такое „котлета“ и „сыръ“, и я въ частности вкусилъ то и другое не ранѣе тринадцати лѣтъ отъ роду; но вѣроятно, каковъ бы ни показался вкусъ того и другаго, мы не менѣе бы усердно кушали, чѣмъ я „бисквиты“, съ которыми познакомился десяти лѣтъ. Это было памятнымъ происшествіемъ. Готовить ужинъ на свадьбѣ сестры приглашенъ былъ мѣщаниновскій поваръ Яковъ Васильевичъ. Мое любопытство было возбуждено непонятнымъ для меня взбиваніемъ сливокъ.

— Что это такое будетъ, Яковъ Васильевичъ?

— А это, сударь мой, я доложу вамъ, кремъ къ бисквитамъ.

— Какой кремъ, какіе бисквиты?

— А вотъ будете кушать, изволите узнать.

Съли за столъ позднимъ вечеромъ; ужинъ тянется; одолѣваетъ меня дремота, и я засыпаю.

— Бисквиты, бисквиты! восклицаетъ наклонясь ко мнѣ прислуживающій человѣкъ.

Я мгновенно просыпался, разочаровывался и снова погружался въ сонъ, пока наконецъ восклицаніе „бисквиты“ разбудило меня къ дѣйствительнымъ бисквитамъ.

Съ какимъ жаднымъ вниманіемъ прислушивались мы къ рассказамъ брата Сергѣя Петровича, когда онъ рассказывалъ о знакомомъ ему княжескомъ и графскомъ бытѣ, что и какъ тамъ ѣдятъ, на чемъ сидятъ, какъ ходятъ и кланяются. Для брата (Сергѣя), какъ и для насъ въ томъ періодѣ, обычаи свѣтскаго и именно высшаго общества были верховнымъ кодексомъ, и въ этомъ отношеніи мы отличались не только отъ отца, но и отъ старшаго брата (Александра). Для отца значеніе обычаевъ, можно сказать, не существовало; онъ жилъ въ тѣхъ, которые унаслѣдовалъ, именно *въ нихъ жилъ*, а не то что *держался ихъ*. Онъ не перемѣнялъ обычая, потому что не задавалъ себѣ навѣрное никогда о немъ и вопроса, какъ не задаетъ никто вопроса, жить или не жить вообще, носить ли вообще нижнее платье или ходить голоногимъ. Остался, на примѣръ, Никитскому священнику по преемству отъ Матвѣя Федоровича обычай приглашать къ себѣ въ день ангела (для батюшки онъ приходился въ праздникъ Петра и Павла) послѣ обѣди значительнѣйшихъ прихожанъ „на чашку чая“; по тому же обычаю, послѣ чая подносимъ былъ собственноручно каждому изъ гостей бокалъ сотерна. Почему сотернъ именно, не другое вино? На этотъ вопросъ батюшка вѣроятно бы затруднился дать объясненіе. Поэтому именно что такъ было при дѣдѣ; а при дѣдѣ шампанское и вообще шипучія вина до Коломны не дохо-

дили. Братъ Сергѣй справлялъ праздникъ и принималъ гостей уже съ шипучимъ, правда „полушампанскимъ“, какъ его тогда называли, а не съ шампанскимъ (что такое за вино было полушампанское — не вѣдаю). Это было зеленое платье, какъ батюшкинъ сотернъ—сарафанъ. Братъ Александръ относился прямѣе и свободнѣе. Въ немъ не было поползновенія на аристократизмъ, да не питалъ онъ и уваженія къ аристократамъ; скорѣе наоборотъ. За то не стыдился онъ ни званія своего, ни бѣдности своей, ни своего быта. Останавливаю вниманіе на этихъ трехъ типахъ, потому что они живутъ въ обществѣ и теперь. Старина не разсуждающая, живущая какъ жила—одинъ; другіе не прочь принять обычай новый, но свободно, по справедливымъ требованіямъ гуманности, удобства, денежныхъ средствъ; третій типъ: рабская погоня за внѣшностью высшихъ насъ по состоянію и общественному положенію. На этой стадіи мы, младшіе члены семьи, и стояли въ описываемое время. Какъ извѣстно, теперь есть еще и четвертый типъ—нахальнаго неряшества, намѣреннаго, почти насильнаго пренебреженія внѣшностью, хвастовства незнаніемъ приличій. Онъ родился въ послѣднее двадцатипятилѣтіе вмѣстѣ съ натянутымъ демократизмомъ разныхъ видовъ: это то же рабство, только съ перемѣной кумира и съ утратой прежней добросовѣстности. Младшія дѣти Никитскаго священника рабствовали простодушно, и притомъ предъ требованіями свѣтскаго приличія, отождествляя ихъ bona fide съ требованіями образованности. Эта болѣзнь о приличіи, этотъ страхъ оказать при случаѣ неблаговоспитанность мужицкую, или мѣщанскую грубость, или кутейническую неловкость изошряли наше вниманіе и къ разсказамъ Сергѣя Петровича. Послѣ, уже въ семинаріи, нота эта слышалась и у другихъ. Однимъ изъ любимыхъ разсказовъ между школьниками былъ анекдотъ о миѳическомъ семинаристѣ, попавшемъ къ барину въ учителя или гувернеры, и о похищеніяхъ его, не менѣе потѣш-

ныхъ чѣмъ похожденія Пошехонцевъ; что вотъ онъ на-  
примѣръ сморкнулся въ „атмосферу“ за неимѣніемъ  
платка или заткнулъ себѣ скатерть вмѣсто салфетки,  
и выскочивъ изъ-за стола все потащилъ, всѣхъ залилъ  
и перебилъ посуду. Или анекдотъ о сельскомъ дьяконѣ,  
котораго подчивали въ одномъ мѣстѣ артишоками, въ  
другомъ фисташками: артишоки онъ глоталъ цѣликомъ  
со шкурой, а фисташковыя зерна откладывалъ по мѣрѣ  
того какъ грызъ. „Что вы не кушаете, отецъ дьяконъ?“ —  
„Да они всѣ гнилыя“, отвѣчаетъ гость, указывая на ба-  
гровый цвѣтъ зеренъ. Подобныя преданія ходятъ вѣроят-  
но не въ одной московской семинаріи, хотя здѣсь слу-  
чаевъ соприкосновенія съ господскими домами предста-  
влялось больше и стремленіе къ свѣтскости говорило  
сильнѣе нежели гдѣ-нибудь. Въ другихъ городахъ ста-  
рый бытъ сохранился долѣе. Уже въ пятидесятыхъ го-  
дахъ Москвичъ, попавшій на учительское мѣсто во  
Владимірскую семинарію, рассказывалъ мнѣ, что туда  
обычай носить брюки къ тому времени еще не дохо-  
дилъ. Семинаристы даже въ богословскомъ классѣ хо-  
дили въ халатахъ. Разъ онъ — по крайней мѣрѣ такъ  
онъ передавалъ — предложилъ одному богослову свои  
брюки, жилетъ и сюртукъ, чтобы тотъ въ приличномъ  
костюмѣ отправился на свадьбу, куда его звали. Надѣлъ  
малый непривычное одѣяніе, пошелъ, но черезъ нѣ-  
сколько минутъ прибѣжалъ запыхавшись обратно; „нѣтъ,  
В. И., позвольте снять“. — „Что же такъ?“ — „Да всѣ  
смотрятъ; я не зналъ куда дѣваться“. Около того же  
времени, одного изъ учителей той же семинаріи видѣлъ  
я входившимъ въ гостинную, и не къ очень даже вы-  
сокой особѣ, но которую учитель считалъ свѣтскою.  
Онъ вошелъ съ перчатками въ рукъ, держа двумя паль-  
цами всю пару, не надѣвъ ее ни раза, не примѣривъ  
даже, и даже не оторвавъ лѣвую перчатку отъ правой,  
а такъ, какъ поданы были ему въ магазинѣ, присте-  
гнутыми одна къ другой. Послѣ я зналъ людей, и при-  
томъ изъ лучшаго общества, которые совсѣмъ не носи-

ли никогда перчатокъ по принципу; припоминался мнѣ при этомъ бѣдняга учитель, заплатившій дань приличію, но не менѣе забавнымъ способомъ чѣмъ тотъ негритянскій король, который съ важнымъ видомъ давалъ аудіенцію европейскому посланнику, одѣтый въ англійскій красный мундиръ, только безъ брюкъ, и въ проволочномъ кринолинѣ надѣтомъ поверхъ.

## XVI.

### П р и х о д ъ.

Я бы опустилъ существенное обстоятельство, еслибы, сказавъ объ училищѣ и домашнемъ бытѣ, не коснулся еще среды, въ которой между прочимъ совершилось мое возрастаніе: прихода. Приходовъ два типа въ Россіи: территоріальный и родословный. Въ селахъ они сливаются, не то въ городахъ. Въ столицахъ прихожанами считаются не лица, а дома; лица только потому, что живутъ временно въ этомъ, а не другомъ домѣ; Пятницкій прихожанинъ будетъ завтра Ильинскій, съ переходомъ на квартиру близъ церкви „Ильи Пророка“. Въ нѣкоторыхъ городахъ то же, что въ столицахъ, и въ большихъ это неизбежно. Возможно ли было бы въ Москвѣ, напримѣръ, въ случаѣ требы, отправляться за священникомъ изъ Мѣщанской къ Серпуховской заставѣ или изъ Преображенскаго въ Поддѣвичье? Но приходъ при территоріальномъ раздѣленіи утрачиваетъ часть понятія о себѣ, какъ живомъ цѣломъ, состоящемъ изъ братьевъ и дѣтей одного отца, на сей разъ не только Небеснаго, но и земнаго, въ видѣ отца духовнаго. Сегодня здѣсь, завтра тамъ, крестился у одного, исповѣдывался у разныхъ, вѣнчался гдѣ пришлось; бываетъ такъ, что исповѣдывался у одного священника, а Таинство Причастія принималъ на



другой день у другого въ другой церкви, по запискѣ духовника. Интересы прихода не могутъ приниматься близко къ сердцу, когда связанъ съ нимъ только временно и внѣшнею связью сосѣдства; когда не только по пословицѣ „кто ни попѣ, тотъ батька“, но и храмъ тотъ или другой говоритъ сердцу безразлично, какъ храмъ вообще, а не въ частности *нашъ* храмъ. Бываютъ явленія даже прямо уродливыя: приходскія церкви безъ прихожанъ. Въ Москвѣ есть приходы, гдѣ два, три дома, составляющіе весь приходъ, принадлежатъ иноѣрцамъ, даже евреямъ. Бывали и такіе случаи, правда въ старину, что настоятели продавали часть прихода сосѣду. Такъ случилось по преданію съ церковью Большаго Вознесенія на Никитской, тою церковью, въ которой Потемкинъ надѣялся было обвиняться съ Екатериной. Священникъ или протоіерей Вознесенскій выдалъ дочь; зять поступилъ въ сосѣдній приходъ Θεодора Студита, а тестъ въ замѣнъ или въ дополненіе приданнаго отчислилъ „натурою“ часть домовъ зятю-сосѣду. \*

Въ Коломнѣ приходы состоятъ изъ семей безразлично къ мѣсту жительства, и только два территоріальны, Троицкій (гдѣ родился Филаретъ) и Запрудскій, но потому, что это особенныя слободы, и первая изъ нихъ—Ямская. Братство прихожанъ въ Коломнѣ поэтому тѣснѣе, нежели въ Москвѣ, и особенно наглядно свидѣтельствовавалось оно постами, во время говѣнья, и на праздникахъ, не говоря о храмовыхъ и двенадесятыхъ,

\* Протоіереемъ при церкви Θεодора Студита состоитъ нынѣ отецъ Преображенскій, редакторъ *Православнаго Обозрѣнія*. Желалось бы, чтобъ онъ провѣрялъ не рассказы старожилъ и, если возможно, по церковнымъ записямъ, дошедшее до меня преданіе. Совершилась передача части прихода въ видѣ приданнаго очевидно еще ранѣе Іосифа Михайловича, извѣстнаго Москвѣ въ свое время настоятели Вознесенской церкви, объяснявшагося преимущественно по-французски и даже въ храмѣ. «Pardon, permettez, madame!» слышались его восклицанія, когда во время канихъ-набудъ похоронъ кадилъ онъ церковь, и непременно со свѣчными огарками, воткнутыми въ ноздри; покойникъ не терпѣлъ запаха труповъ и спасалъ свое обоняніе огарками.

но и рядовыхъ. Хотя другая церковь и въ пяти шагахъ, прихожанинъ идетъ къ обѣднѣ все-таки въ свою: сколько-нибудь зажиточнымъ она родная между прочимъ потому, что здѣсь есть вклады отъ отцовъ и дѣдовъ, отъ того икона, отъ другаго облаченье, а вотъ и завѣса у царскихъ вратъ изъ штофной, шитой золотомъ фаты. Это я уже помню: фату на завѣсу принесла церкви въ даръ моя крестная мать, купчиха Скворцова, мужа которой, ослѣпшаго подъ старость, заслуживался я, когда онъ рассказывалъ о „степи“, на десятки верстъ простирающейся, объ одинокихъ „хуторахъ“, объ опасностяхъ гуртамъ при прогонѣ, о малороссійскомъ борщѣ, съ которымъ по вкусу не можетъ сравняться ни одно изъ нашихъ кушаній, о томъ наконецъ, какъ приходилось воевать на хуторахъ съ крысами, которыя вваливались по ночамъ въ покои цѣлыми стадами.

Великій Постъ, первая недѣля, главное говѣнье. Жалобно-протяжно звонятъ колокола, ударяя не только предъ началомъ службы, но и среди, предъ началомъ каждого „часа“. Въ предвидѣніи частаго ихъ употребленія, Ѳедотъ дьячокъ благоразумно еще съ утра въ чистый понедѣльникъ привѣсилъ къ тремъ колоколамъ по длинной веревкѣ, чтобы не лазить каждый разъ на колокольную, а звонить съ земли. Служба начинается въ урочное время, и народъ собирается рано, всегда къ самому началу. Лица серьезнѣе обыкновеннаго. Служба долгая, поклоны тяжелые и учащенные, что служить поводомъ между прочимъ къ пересудамъ.—„А смотри, Ѳеклистовна-то опять забрюхатѣла“, замѣчаетъ тетка, придя домой отъ первыхъ же часовъ въ чистый понедѣльникъ и сядя съ нами за трапезу, состоящую неизмѣнно въ этотъ день изъ отварныхъ грибовъ съ квасомъ и хрѣномъ.—„А что?“—„Большихъ поклоновъ не клала.“

Пятница на первой недѣлѣ поста сопровождается неизмѣнно происшествіемъ, поднимающимъ душу со дна.

Этотъ день, день исповѣди, и безъ того мрачно торжественный. Но раздирающее душу представлялъ старичокъ, мѣщанинъ Максимъ Ивановичъ; онъ приближался къ церкви съ рыданіями, падалъ на колѣни и на колѣнкахъ ползъ по всему переулку отъ улицы до паперти церковной. Рыданія были громогласныя, на всю улицу, съ воплями, мольбами, ударами въ грудь. Судьба этого семейства—судьба мрачная, отмѣченная. Старичокъ любилъ выпить; это бы еще ничего. Онъ былъ задоренъ; и это бы еще ничего. Но у него былъ сынъ не менѣе задорный; завязывалась брань, и отецъ проклиналъ сына. Проклиналъ, и затѣмъ на другой же день раскаивался. За батюшкой шлють бывало. Что такое?—Да что, опять снимать проклятіе! То-есть призывали читать положенныя разрѣшительныя молитвы. Усовѣщивали старика, самъ онъ раскаивался, но при первомъ случаѣ повторялъ прежнее, а въ пятницу великопостной недѣли оглашалъ плачемъ раскаянія чуть не весь городъ. И это неизмѣнно каждый годъ.

Умеръ старикъ; остался сынъ, сто кратъ проклятый и сто кратъ разрѣшенный. Но онъ повторилъ отца: тѣ же проклятія дѣтямъ и тѣ же разрѣшенія. Оглашалъ ли онъ воздухъ покаянными воплями, не знаю; меня уже не было тогда въ Коломнѣ. Сынъ его, внукъ Максима Ивановича, былъ богатъ, наживъ состояніе нечистыми, даже безчеловѣчными средствами, но попался, былъ судимъ и сосланъ на поселеніе. Это было громкое происшествіе, доставившее всему городу торжество: страдавшихъ не оказалось ни души. Говорятъ, богатъ - сынъ оставлялъ нищимъ отца, заставлялъ его пресмыкаться, и набожная Коломна въ стеченіи этихъ обстоятельствъ усматривала печать „проклятія“, которое сами на свой родъ положили Максимъ Ивановичъ и Иванъ Максимовичъ.

Отдыхала душа на праздникъ, и Свѣтлая Недѣля, равно какъ Рождество, имѣли для меня особенное значеніе, потому что, съ семилѣтняго кажется возраста,

стали брать меня по приходу; то-есть я сопровождалъ причтъ и точно такъ же получалъ, какъ и они, „за святыню“. Я лично не находилъ въ этомъ утѣшенія, потому что получаемыя деньги отдаваемы были отцу, и тотъ за труды мои награждалъ меня уже по окончаніи всего славленія не болѣе какъ нѣсколькими грошами. Много ли я всего набиралъ, точно не умѣю опредѣлить, но помню, что братъ-учитель говорилъ шутя ученикамъ обо мнѣ: „онъ богатъ, у него есть тридцать рублей пятачками“. Это значило, что отецъ откладывалъ собранныя мною деньги, размѣнявъ ихъ предварительно на серебряные пятачки. Полагаю, что братъ преувеличилъ. Но по его словамъ, стало-быть у меня накопилось до полутора ста пятачковъ (они ходили, помнится, по 22 копѣйки) примѣрно въ два года, и слѣдовательно я „нахаживалъ“ въ каждую святыню болѣе семи рублей. Это много. Я помню дѣлежи денегъ всего причта, послѣ Рождественской и Свѣтлонедѣльной святынь. На долю отца доставалось 60 рублей, безъ малаго или съ небольшимъ; по 20 рублей дьячкамъ. Словомъ, выхаживалось всѣми до ста рублей. Слѣдовательно, если я набиралъ до восьми рублей, это былъ доходъ значительный. Не во всѣхъ домахъ мнѣ давали и не вездѣ одинаково: гдѣ копѣйку, гдѣ грошъ, гдѣ пятакъ Екатерининскій, тяжелый, а гдѣ и пятачекъ серебряный и даже гривенникъ. Тридцать рублей, собранные мною и лежавшіе у отца въ видѣ пятачковъ, поступили въ часть приданаго старшей сестрѣ Марѣ Петровнѣ; это было мое усердіе и воля отца.

Шестьдесятъ рублей, и притомъ ассигнаціями, это былъ самый крупный доходъ моего батюшки. Такого онъ не получалъ еще ни въ какое другое время года и ни при какомъ случаѣ. Требы были грошевыя; свадьбы, которыхъ бывало по одной, по двѣ въ годъ, давали высшее — синенькую, то-есть пять рублей на всѣхъ; красненькая, это уже баснословно. А свадьба — дороже другихъ вознаграждаемая треба. Я помню слу-

чай, какъ въ 1840 году, по случаю дороговизны хлѣба, братъ московскій стѣснился содержать меня даромъ и высчиталъ батюшкѣ, что за содержаніе меня приходится 90 рублей. Пріѣхалъ я въ Коломну, и отецъ, при обратномъ проводѣ меня, сталъ отсчитывать вмѣстѣ со мною мѣдные гроши и копѣйки, которые откладывалъ онъ, чтобы накопить требуемую сумму. Девяносто рублей копѣйками, грошами, пятаками, изрѣдка попадалась серебряная мелочь! Тяжелы были эти девяносто и въ буквальномъ смыслѣ, вѣса много: но какое было мнѣ отнимать это сбереженіе, зная какимъ медленнымъ процессомъ оно достигнуто?

Положеніе духовенства и въ другихъ приходахъ не блистало, но было во всякомъ случаѣ лучше, отчасти по относительному богатству приходовъ, а болѣе всего по практичности іереевъ, которой былъ лишенъ отецъ. Въ числѣ доходовъ городского духовенства не малую часть составляетъ „проскомидія“ (поминовеніе за литургіей). По старозавѣтному, родитель мой служилъ обѣдни не каждый день, а при жизни своей „Мавруши“ и тѣмъ рѣже. Онъ строго слѣдовалъ правилу Служебника, повелѣвавшему супружеское воздержаніе предъ днемъ литургіи и запрещававшему литургію „нечистому“. Молодые іереи поступили и начали, къ немалому удивленію, служить ежедневно, а на недоумѣніе, выражаемое по этому поводу стариками, отвѣчали съ улыбкой: „Э, что позвонишь, то и получишь“. Ежедневнымъ звономъ привлекался ежедневный доходъ съ проскомидіи, а съ тѣмъ и другія поминовенія въ видѣ сорокоуствоу, полугодичныхъ и годичныхъ, которыя дотолѣ заказывались почти исключительно въ монастыряхъ и соборахъ, гдѣ служба обязательно ежедневная.

Не довольствуясь ежедневностью, отцы стали привлекать православныхъ раннимъ звономъ. Для торговаго человѣка важно кончить набожныя дѣла прежде начатія мірскихъ. Отсюда конкуренція: кто раньше

ударить? Пошли въ перегонки, и не знаю, на какой точкѣ теперь остановились. А въ старыя времена, чего я уже не запомню, раннія обѣдни даже вообще запрещались, и одна изъ коломенскихъ церквей (Николы въ Городѣ) обязана, сказывали мнѣ, самымъ сооруженіемъ этому правилу: въ видѣ привилегіи, специально для того сооруженному храму дозволены были обѣдни ранѣе указнаго часа. Подобный процессъ совершается теперь, но не съ обѣднями, а со всенощными. Въ зимнее время онѣ первоначально совѣмъ не полагались по приходамъ (говорю о московскихъ); затѣмъ, въ видѣ привилегіи, по особому ходатайству дозволены нѣкоторымъ; недалеко время, что войдутъ въ общій обычай, и конечно нѣтъ разумныхъ основаній тому препятствовать.

Праздникъ Рождества ли, Пасхи ли, когда предстоило хожденіе по приходу, сопровождался неизмѣнно тѣми же обстоятельствами. Беру Рождество. Раннимъ, раннимъ утромъ, часу въ третьемъ, тотчасъ послѣ утрени, садимся въ сани (выпрошенныя всегда у Мѣщанинова) и ѣдемъ „по чужимъ“, то-есть не по нашимъ прихожанамъ, а по тѣмъ, кто хотя чужаго прихода, но насъ принимаетъ или даже принимаетъ всѣхъ. Маршрутъ назначается, кѣмъ начинать, кѣмъ кончать. Кончась Запрудомъ, самою дальнею стороною, откуда возвращаемся уже при благовѣстѣ къ обѣднѣ. Жутко бывало мнѣ это время: всегда морозъ, руки и ноги коченѣютъ, а при проѣздѣ чрезъ Большую (Астраханскую) улицу овладѣвало уныніе, подобное тому, какое ощущалъ я при звукахъ отбиваемой косы. Большая улица—трактъ изъ хлѣбородныхъ губерній въ Москву. Зимами всѣ ночи на пролетъ тянулись и къ Москвѣ и обратно безконечныя обозы, путь которыхъ сопровождался однообразнымъ, равномернымъ стукомъ полозьевъ о ступеньки, образованныя въ снѣгу копытами лошадей. Тутъ-тукъ-тукъ, и это въ безконечность, въ непрестанномъ, неумолкающемъ однообразіи, однимъ и тѣмъ же размѣромъ.

Любознательность питалась разсматриваньемъ купеческихъ хоромъ. Я узналъ о существованіи столовыхъ часовъ: ихъ указалъ мнѣ отецъ въ одномъ домѣ (Токарева) и каждый разъ, каждые святки и каждую святую, мы подходили къ нимъ неизмѣнно и разсматривали. Въ другомъ домѣ былъ зимній садъ, то-есть зала, въ которой насъ принимали, была уставлена померанцевыми и лавровыми деревьями въ кадкахъ и была прохладна, что мнѣ очень не нравилось, потому что озлябіе члены просили тепла. Въ третьемъ столѣ же неизмѣнно, послѣ того какъ приложатся хозяева ко кресту, заходитъ рѣчь, не написалъ ли еще чего-нибудь хозяйскій сынъ (самоучка-живописецъ). Стѣны залы, въ которой насъ принимали, размаLEVаны были масляными красками отъ пола до потолка; сюжетъ патрістическій: *Взятіе Шумлы*, *Штурмъ Варшавы*, и я становился возлѣ какого-то генерала во весь ростъ на конѣ, въ треугольной шляпѣ, съ поднятою шпагой. Даже на мои дѣтскіе глаза малевка была очень плохая, но любезность требовала освѣдомиться о художникѣ-самоучкѣ. Услышалъ я въ первый разъ, при томъ же славленѣ, гнусавое гудѣніе старообрядцевъ. Намъ пришлось въ одномъ домѣ дожидаться въ передней, пока кончатъ они свое пѣніе; пономарь Андреичъ не упустилъ при этомъ въ полголоса передразнивать ихъ, а отецъ, сдерживая улыбку, останавливалъ его. При томъ же славленѣ познакомился я и съ городской бѣднотой: съ мазаными лачугами, покривившимися на бокъ, а то и съ каменными, но у которыхъ стѣны внутри были полосатыя, сѣраго и чернаго цвѣта, чернаго какъ сажа, съ ручьями сырости на нихъ, съ окнами изъ стеколъ только на половину, а на половину изъ сахарной бумаги, съ воздухомъ столѣ нестерпимымъ, что одну семью, жавшуюся въ такомъ углѣ, я прозвалъ „Варькою вонючей“ (по имени домохозяйки). Были такія семьи, и мы ихъ посѣщали, при чемъ не всегда даже брали деньги; отецъ отстранялъ руку,

протягивавшуюся дать, можетъ-быть, пятакъ; онъ зналъ, что пятакъ этотъ дорогъ былъ семьѣ, хотя еще дороже „святыня“; не обходилъ онъ такія семьи „святыней“, но и отказывался отъ пятака. Это безкорыстное утѣшеніе святыни доставляемо было, понятно, только своимъ прихожанамъ, по которымъ путешествіе совершалось днемъ, продолжаясь не только въ первый день праздника, но и въ слѣдующіе. Шло исподоволь, и притомъ по чинамъ; посѣщали тѣхъ прежде, кто значительнѣе и можетъ обидѣться на недостаточное вниманіе; рассчитывали и то, въ какомъ домѣ не отпустить безъ чая. Домъ Мѣцанинова, какъ перваго прихожанина, посѣщаемъ былъ не только прежде другихъ, но и прежде чужихъ, непосредственно послѣ заутрени перваго дня.

Не много пищи получалъ мой умъ въ бесѣдахъ за чаемъ, если гдѣ насъ оставляли. Разговоръ шелъ о гуртахъ, о степи, хороша ли торговля, много ли ждуть барокъ (если дѣло идетъ на Святой); въ десятый разъ повторяется воспоминаніе о Макарьевской ярмаркѣ, на которой Терентій Титычъ получилъ болѣзнь ногъ. „Ярмарка тогда была еще у Макаря, а не въ Нижнемъ; ходу-то было версты двѣ; ну, такъ видите...“ и проч. Отецъ слушаетъ участливо старика, повторяющаго этотъ рассказъ о причинѣ своей болѣзни, пономарь Андреичъ подобострастно, то улыбаясь, то качая головой какъ бы слышитъ въ первый разъ, между тѣмъ какъ и я уже выучилъ наизусть.

Въ Свѣтлую Недѣлю происходило то же, но съ тою вариацией, что предъ обѣдней ходили только по своимъ напротивъ, а не по чужимъ, и притомъ съ образами, изъ которыхъ одинъ носимъ былъ мною. Послѣ обѣдни носить образа было запрещено въ предупрежденіе пьянства и безобразій съ иконами, и отецъ исполнялъ это предписаніе. Другая была разница, что приходилось христосоваться со всѣми и получать яйца, что мнѣ было не по вкусу, ни то, ни другое, тѣмъ болѣе



что приходилось нечаянно иногда раздавливать въ карманѣ яйцо, оказавшееся не крутымъ, а сваренымъ въ смятку. А сюртучекъ къ Свѣтлой Недѣлѣ большею частію шили мнѣ новый: что за пріятность пачкать обнову! Еще варіація: прежде чѣмъ кончено хожденіе, въ первый же день послѣ вечерни (послѣ вечерни вообще не ходили со святаыней) происходилъ дѣлежъ куличей, пасхи и яицъ, оставленныхъ въ видѣ вознагражденія натурой за освященіе пасхи. Слыхалъ я о безобразіяхъ, какія бывали при такихъ дѣлежахъ въ селахъ; доходило иногда до формальныхъ сраженій; противники вооружались яйцами и стрѣляли другъ въ друга, обращая церковь въ арену. У насъ дѣлежъ происходилъ на дому и совершенно скромно. Батюшка предоставлялъ эту операцію производить младшему члену причта, то-есть пономарю, который и рѣзалъ каждый кусокъ на три пропорціональныя части, или же спрашивалъ общаго совѣта, не считать ли эти двѣ или три пасхи за одно, то-есть одного достоинства? Сестры иногда просили Андреича, чтобы не забылъ отложить имъ яичка два-три порозовѣ; имъ де нужно „съ такою-то похристосоваться, яичко требуется по-лучше.“ Андреичъ исполнялъ съ удовольствіемъ.

Кромѣ яицъ, пасхи и куличей, былъ и еще предметъ дѣлежа, который и тогда возбуждалъ, и доселѣ продолжаетъ возбуждать мое недоумѣніе: кувшинъ съ пивомъ. Самъ кувшинъ очень изящный, фарфоровый, съ нарисованными китайскими фигурами на немъ, являвшійся неизмѣнно въ томъ же экземплярѣ, препровождался обратно Мѣщаниновымъ, отъ которыхъ онъ поступалъ; а пиво или точнѣе брага (пиво было домашней варки) выпивалось. Зачѣмъ оно было и зачѣмъ попадало на столъ вмѣстѣ съ освящаемою пасхой? Обычай шелъ очевидно съ незапамятныхъ временъ. Хотя дьячки и шутили, выпивая тутъ же при дѣлежѣ: „Пріидите, пиво піемъ новое“, — но неужели этотъ примосъ пасхальнаго канона и послужилъ нача-

ломъ къ обычаю, котораго въ другихъ приходахъ, сколько мнѣ извѣстно, не было, да и въ нашемъ только домомъ Мѣщанинова практиковался? А почему знать? Можетъ-быть какой-нибудь прапрадѣдъ Мѣщанинова и растолковалъ вмѣстѣ съ тогдашнимъ попомъ пасхальный ирмосъ въ буквальномъ смыслѣ и нашелъ по сему приличнымъ пиво, къ питію котораго приглашаетъ канонъ, приносить для освященія вмѣстѣ съ сыромъ, разрѣшаемымъ на праздникъ. О старыхъ временахъ это не удивительно, и въ доказательство расскажу о двухъ случаяхъ. Иконописецъ изобразилъ царя Давида поднявшимъ голову вверхъ, откуда сіяніе, и держащимъ простертую длань, а на ней два глаза. Подпись: „очи мои, Господи, предъ Тобою выну“. „Выну“, то-есть „всегда“, художникъ понялъ въ смыслѣ „вынимать“; это рассказъ батюшки, видѣвшаго икону. Другой рассказъ его же о церковномъ обычаѣ, существующемъ, сколько извѣстно, въ одной Коломнѣ. Послѣ вѣнчанія священникъ провожаетъ молодыхъ со крестомъ до дома. Это водится и въ другихъ мѣстахъ, но въ Коломнѣ крестъ сверхъ того и оставляется въ домѣ новобрачныхъ на нѣсколько дней. Священникъ потомъ отправляется за нимъ, беретъ обратно въ церковь и получаетъ при этомъ подарокъ. Откуда это? Хотя исполняя установившійся порядокъ, но критически относясь къ нему, батюшка передавалъ, что разъ былъ просто забытъ крестъ попомъ съ пьяна; на свадебномъ ужинѣ вѣдь не бываетъ безъ того, чтобы не выпить лишняго. „Отсюда и завелось, тѣмъ болѣе когда попа даже одарили за то, что ихъ божница нѣсколько сутокъ осѣнена была на престольною святыней“. И такъ, если „очи мои выну“ послужили къ изображенію безглазаго праотца, а забывчивость охмѣлившаго попа—къ обычаю оставлять крестъ въ домѣ новобрачныхъ, отчего и пиву не явиться на пасхальный столъ въ церковь, для освященія, на ряду съ сыромъ, яйцами и куличемъ?

Упомяну еще о двухъ обычаяхъ, принадлежавшихъ уже не всей Коломнѣ, а относившихся къ нашей церкви особенно. 1) Въ нашу церковь приносили дѣтей „прикалывать“; это бывало во время страданія „колотьемъ“. Не изъ города только, и даже изъ города менѣ всего, а изъ деревень, иногда за десятокъ и болѣе верстъ, приносили младенцевъ. Операция состояла въ томъ, что отецъ благословлялъ ребятъ, и взявъ копіе съ жертвенника, касался больного мѣста. Кто завелъ этотъ обычай? Когда? Почему? Читаны ли были при этомъ какія молитвы? Въ свое время я не любопытствовалъ, такъ какъ и не думалъ, что это есть привилегія, усвоенная народомъ специально нашей церкви; а теперь затрудняюсь объяснить, сообщая только фактъ. 2) Являлись часто; рѣдкій день не бывали за „святою водою отъ Никиты Мученика“. Приносили пузырькъ, имъ отливали, и бабы крестясь давали копѣйку или грошъ. Такъ какъ приходящіе являлись и вечерами, и среди дня, когда нѣтъ службы, то у насъ въ домѣ всегда была наготовѣ бутылка со святою водою, а на полочкѣ, въ особенномъ мѣстѣ, лежали собранныя деньги, которыя при первомъ богослуженіи и относились отцомъ въ церковь. Откуда опять этотъ обычай? Откуда это особое почитаніе Никиты Мученика? Наконецъ не знаю, сохранились ли до сего времени оба обычая.

„Это все—богослуженіе; а проповѣдь живая была“? Нѣтъ, до того нѣтъ, что даже тѣхъ проповѣдей, которыя батюшка произносилъ по наряду въ соборѣ, онъ въ своей церкви не произносилъ. Онъ былъ врагъ всякой аффектаціи; проповѣдь по наряду была форма, которую нужно было исполнить, и онъ исполнялъ, обращаясь къ сыну съ просьбой приготовить къ назначенному дню заданное упражненіе. Неохотно слушивалъ онъ даже чтеніе проповѣдей. *Страстная* ли *Седмица* *Иннокентія* вышла, или отдѣльно какая проповѣдь знаменитаго оратора напечатана была въ *Христіанскомъ Чтеніи*, однажды братъ Сергѣй читалъ намъ ее въ слухъ.

Онъ декламировалъ мастерски, чему помогалъ и голосъ, чистый, звонкій, выразительный. Всѣ мы слушали съ наслажденіемъ; женскій полъ плакалъ; батюшка барабанилъ тихо пальцами по столу и по окончаніи вышелъ молча, не отозвавшись ни словомъ.

Да и въ самомъ дѣлѣ, церковное краснорѣчіе, начиная съ кievскихъ ораторовъ, наѣхавшихъ въ Москву 200 лѣтъ назадъ, и до сего времени, было болѣе риторствомъ нежели ораторствомъ, не было сердечною, отъ души идущею проповѣдью. Исключеній немного. И народъ, сердцемъ прослышавъ это, въ общемъ холодно отнесся къ проповѣди, доселѣ не признавъ за нею существеннаго дополненія къ богослуженію.

Исповѣдь, бесѣда личная, пока остается у насъ главною, почти единственною формой и случаемъ поученія. Въ Коломнѣ, какъ въ прочихъ мѣстахъ, не столько цѣнили, хорошо ли проповѣдуетъ, а внимательно ли „батюшка“ *исповѣдуетъ*.

## XVII.

### Общественная жизнь.

Обойду ли молчаніемъ общественную жизнь роднаго города въ болѣе обширныхъ предѣлахъ нежели приходъ?

Ея не было; но въ томъ и дѣло. Когда въ зрѣломъ моемъ возрастѣ возникали и рѣшались крупные вопросы, политическіе и соціальные, вводились реформы, я за повѣркой обращался между прочимъ въ свои дѣтскіе годы и искалъ тамъ зачатковъ, развитіе которыхъ теперь совершалось предо мной, вопросовъ, на которые давался теперь отвѣтъ законодательствомъ и печатью; я спрашивалъ объ отношеніи, въ какомъ находились къ тѣмъ самымъ вопросамъ мои современники тридцатыхъ годовъ.—Тщетно; я не находилъ никакого отно-

шенія, никакихъ запросовъ, никакихъ зачатковъ. Предъ крестьянскою реформой, напимѣрь, съ трудомъ я вошелъ въ мысль, что прекращеніе крѣпостныхъ отношеній должно произвести коренной, глубокой, всеобъемлющій переворотъ. Таково было недоумѣніе, оставленное во мнѣ средой меня воспитавшею, не смотря на то что я нѣсколько лѣтъ уже занималъ кафедру, достаточно между прочимъ былъ знакомъ съ политическими и соціальными ученіями, современными и прошлыми, не говоря объ исторіи. Сужденіями по многимъ вопросамъ и событіямъ внутренней политики я производилъ на пріятелей, воспитавшихся въ другой средѣ, впечатлѣніе „институтки“; употребляю это выраженіе, сказанное въ тѣ времена мнѣ и обо мнѣ однимъ извѣстнымъ Россіи публицистомъ, котораго не назову, но который вспомнить о своемъ отзывѣ, вызванномъ моею тогдашнею во многихъ отношеніяхъ наивностью.

Дѣло не во мнѣ разумѣется. Существенна открывающаяся въ этомъ полосатость общественнаго развитія; именно полосатость, другаго названія не приберу. Иное дѣло степень развитія, иное его характеръ, путь которымъ оно идетъ, исходная точка откуда движется. Иное цвѣта радуги, одинъ въ другой переливающиеся отъ преломленія лучей въ однородной массѣ; иное свѣтловыя полосы, получаемыя спектромъ отъ разносоставнаго тѣла. Такого рода полосы и въ общественномъ сознаніи, именно въ Россіи. Для ясности укажу примѣръ изъ моей же жизни, хотя изъ другаго періода. Готовясь къ философскому классу, пробѣгалъ я между прочимъ тетрадки, по которымъ учился братъ, и обрѣлъ трактатъ *De libertate* (О свободѣ). Тамъ разсуждалось *de libertate cogitandi, libertate dicendi, libertate agendi*, и доказывалось рѣшительное право всякаго на свободу мысли и слова. Это семинаристы учили и во всеуслышаніе исповѣдывали на публичныхъ испытаніяхъ во времена Аракчеева и Магницкаго! Были ль они, при всемъ вѣрованіи въ *libertatem cogitandi et dicendi*, либералами въ

томъ смыслѣ, какого боялся Аракчеевъ или Шишковъ? Ничуть, и покойный Филаретъ спокойно слушалъ эти разсужденія, безъ опасеній, что предъ нимъ напрямки провозглашались принципы французской революціи, тезисы извѣстной *Declaration des droits de l'homme*. Другой примѣръ. Въ 1848 или 1849 году кто-то изъ петербургскихъ мудрецовъ предложилъ запретить правила Василия Великаго о монашествѣ, усматривая въ нихъ опасный коммунизмъ. Предложеніе Бутурлина вычеркнуть изъ молитвы Господней слова „Да придетъ царствіе Твое“ я считаю басней, хотя о немъ въ свое время тоже говорили; но попытка къ остракизму твореній Василия Великаго есть фактъ подлинный. Мы, до кого сомнѣніе о Василии Великомъ отчасти касалось, не могли никакъ даже въ толкъ взять: да чѣмъ же наконецъ грозитъ политическому порядку этотъ учитель церкви, одинъ изъ „трехъ великихъ святителей“? Въ петербургскомъ же мудрецѣ опасеніе понятно, да и во всякомъ, кто бы взялъ творенія Св. Отца въ исторической связи, въ мѣста ихъ въ церкви, а перешелъ къ ихъ чтенію прямо отъ Фурье или Кабе. Вотъ наглядно два теченія, идущія съ разныхъ точекъ, каждое своимъ русломъ, и при встрѣчѣ неизбѣжно возбуждающія взаимное о себѣ недоумѣніе. Подробнѣе раскрывалъ я то явленіе нѣкогда въ рецензій на книгу *Странствія инока Парвенія*. Среди насъ и съ нами, говорилъ я, живетъ другой міръ, намъ незнакомый, съ другимъ строемъ мысли, чуждымъ намъ и непонятнымъ, хотя лица эти извѣстны намъ, мы сталкивались съ ними, говаривали, ведемъ съ ними постоянныя сношенія. Но есть событія, совершающіяся въ этомъ, чужомъ для насъ мірѣ, которыя нами не замѣчаются, не подозрѣваются въ своемъ существованіи, не узнаются, когда мы ихъ и видимъ. Равно событія и идеи нашего міра не замѣчаются и не понимаются этими людьми, среди насъ живущими, но съ мыслию объ-онъ-полъ лежащею; совершенно въ другомъ освѣщеніи представляется окружающее и намъ и

имъ. Это я и называю полосатымъ общественнымъ развитіемъ. Какъ бытъ живетъ въ разныхъ ярусахъ, такъ и мысль общественная течетъ разными струями одновременно, притомъ качественно разными, а не количественно; одна не есть степень другой. Невниманіе къ этому обстоятельству способно часто обмануть расчеты законодателя, обратить въ ничто и даже во вредъ самыя благонамѣренныя предначертанія, и чѣмъ обширнѣе кругъ ими обнимаемый и чѣмъ они повидимому основательнѣе теоретически, тѣмъ опаснѣе грозитъ разочарованіе.

Крѣпостное право вѣдомо было Коломнѣ и въ частности мнѣ, десятилѣтнему мальчугану. То же имѣніе Черкасскихъ, о которомъ было говорено, и еще ближе, тотъ же домъ Мѣщаниновыхъ, о которомъ въ настоящихъ *Запискахъ* упоминается на каждой страницѣ, знакомили меня съ существомъ отношеній. Цирюльникъ Алексѣй Ивановичъ, дворовый Мѣщаниновскій человекъ, этотъ старичекъ съ большою сѣдою бородой, беззубый и съ слезящимися старческими добрыми глазами, считалъ нужнымъ, когда стригъ, развлекать меня повѣствованіями о зломъ нравѣ шестидесятилѣтней барышни. „Она всегда была злая, сударь мой“, скажетъ онъ, отступя немного, остановившись и прищуреннымъ взоромъ осматривая, вѣрно ли подрѣзаны виски. „Всегда была такая, не то что покойница Марья Ивановна, царство ей небесное. А эта, бывало, какъ пудришь ее и завиваешь къ балу, кормить тебя оплеухами. Со страха руки трясутся, хуже портишь, а она-то злится пуще“. Любимымъ его рассказомъ было повѣствованіе о походахъ въ Москву и Петербургъ за отысканіемъ Фортуната, тогда мальчика, а ко времени рассказа уже пятидесятилѣтнаго старика. Отданъ былъ Фортунатъ къ нѣмцу - портному, но бѣжалъ. Цирюльнику поручено было его отыскать, и порученіе исполнено было съ успѣхомъ. Рассказъ Алексѣя Ивановича былъ рассказъ охотника, который выслѣживалъ звѣрка, ставилъ тене-

та и словилъ наконецъ. Самъ Алексѣй Ивановичъ принадлежалъ тоже къ семейству, бѣжавшему отъ господъ. Объ этомъ онъ не рассказывалъ, ему было тяжело, понятно; но въ домѣ у насъ исторія была извѣстна. Николай Ивановичъ, старшій братъ Алексѣя, былъ глава семейства и старшій конторщикъ или управляющій Ивана Демидовича Мѣщанинова, ведшаго обширныя торговыя операціи, человѣкъ смысленности и опытности образцовой, честности примѣрной. Не худо жилось у господина, который его любилъ и довѣрялъ ему, тѣмъ не менѣе онъ рѣшилъ бѣжать. Въ глубокой тайнѣ шли приготовленія, тѣмъ болѣе что семья была большая, и собственного добра было у нея не мало. Надо было найти подводъ, извозчиковъ, уложиться и не дать замѣтить. Укладываясь къ побѣгу, не хотѣлъ управляющій оставить и господскія дѣла въ разстройствѣ. Всѣ бумаги привелъ въ порядокъ, приготовилъ по всѣмъ статьямъ полную отчетность, перевѣрилъ всѣ склады, кассу, и тогда уже, оставивъ въ конторѣ ключи ото всего съ полнымъ обо всемъ отчетомъ, уѣхалъ съ домочадцами. Его слѣдъ пропалъ первоначально, и неутѣшенъ былъ Иванъ Демидовичъ. Однако какъ же не отыскать было слѣдъ? Слѣдъ былъ найденъ. Николай Ивановичъ бѣжалъ въ Одессу, торговалъ, нажилъ трехъэтажный домъ въ Таганрогѣ или Кременчугѣ (въ которомъ-то изъ этихъ двухъ городовъ, названіе которыхъ память моя смѣшала). Достать его сначала трудно было, онъ жилъ на вольной землѣ; однако гдѣ-то накрыли, и все бѣглое семейство возвращено было къ прежнему быту. Наказанія особенно сильнаго не послѣдовало. Прежняго положенія бывшему управляющему, разумѣется, не было возвращено; но онъ самъ себя составилъ наказаніе; онъ, до того примѣрно трезвый, запилъ, допился до чертиковъ и въ бѣлой горячкѣ прибѣгалъ иногда къ намъ, на монастырь, съ восклицаніями въ родѣ слѣдующихъ: „слышите, слышите, батюшка, какъ они поютъ? Поютъ, гудятъ, смотрите, какія у нихъ дудки чудныя“. Онъ ука-



зываетъ при этомъ на невидимыхъ музыкантовъ въ воздухѣ. Безъ смѣха, съ почтительнымъ состраданіемъ отъ-носились и отецъ мой и домашніе къ болѣзни неудавшагося южно-русскаго негоціанта.

Злая барышня не терпѣла женатыхъ и замужнихъ. И рассказывалась исторія, какъ такой-то, тщетно умо-лявшій о позволеніи жениться на такой-то, распоролъ наконецъ бритвой себѣ животъ. Пригласили доктора; но самоубійца, упорствуя и противодѣйствуя, вырывалъ изъ себя внутренности и умеръ-таки.

Все это и подобное я слышалъ, переживалъ своимъ сердчишкомъ страданія, о которыхъ мнѣ повѣствовали; но общаго вопроса о *правѣ*, не говоря юридическомъ, а человѣческомъ и христіанскомъ, какъ-то не приходило, и недоумѣнія не возникало: какъ де это такъ, жениться, такое законное и правильное дѣло, не позволяютъ? Никто и изъ окружающихъ никогда не проронилъ ни слова, которое бы дало поводъ начаться недоумѣнію, или же представленію о возможности другихъ порядковъ. Семья наша и всѣ, кого случалось слышать и видать, относились очевидно къ крѣпостному праву, какъ относятся къ стихійной силѣ, молніи и дождю, или къ физическому закону тяжести, съ которыми не спорять въ существѣ и съ которыми только обходятся такъ или иначе, покоряясь имъ, облегчая себя отъ нихъ подходящими средствами, но не объявляя имъ войны самимъ въ себѣ.

Предполагались бы въ городѣ, и сравнительно немало, общіе городскіе интересы. Какіе они были? Никогда никакого проблеска, никакой мысли о возможности органическаго, совокупнаго общественнаго труда на общественное благо. Есть то что есть, прилаживайся къ нему каждый; вотъ повидимому была общественная мораль.

Несомнѣнно однако были же собранія городскія, конечно и дворянскія, происходили выборы; но ни о томъ, ни о другомъ никогда я не слышалъ. Имѣлось понятіе,

что существуетъ голова, бургомистры, ратманы, исправникъ, предводитель, судьи, засѣдатели; но чтобы въ умъ запаало понятіе о различіи должностей выборныхъ и коронныхъ, до этого не доходило. Не доходило въ цѣлыя шесть лѣтъ развитія (съ 8 до 14 лѣтъ), когда я читалъ уже и газеты, и журналы, и слѣдилъ даже за политикой. Но около меня самого какъ будто пустое мѣсто было; взоръ находилъ только разные образцы домашней жизни, разные виды приходскихъ и школьныхъ отношеній; понятіе же о городскомъ обществѣ отсутствовало, и мнѣ тѣмъ болѣе это странно теперь, что въ другихъ старинныхъ городахъ сознаніе коллективной городской личности никогда не прерывалось. Или можетъ-быть не видѣлъ я того въ Коломнѣ только потому, что семья моя не принадлежала къ городскому сословію?

Въ теченіе помянутаго періода не было ни войны, ни другаго крупнаго политическаго событія, которое могло бы служить огнивомъ, извлекающимъ изъ кремня искру, и положило бы въ меня зачатокъ политическихъ идей, не изъ книгъ взятыхъ, а жизнью указанныхъ. Изъ крупныхъ событій были: пожаръ Зимняго Дворца; читалось объ этомъ, и даже слышанъ былъ разсказъ очевидца. Учредилось Министерство Государственныхъ Имуществъ; проведена первая желѣзная дорога (Царскосельская); государь переломилъ ключицу въ Чембарѣ и, проѣзжая обратно въ столицу, останавливался и даже ночевалъ въ Коломнѣ; съ прочими я глазѣлъ по цѣлымъ часамъ передъ окнами, гдѣ онъ останавливался. Были какіе-нибудь у кого-нибудь разговоры съ какимъ-нибудь политическимъ отъѣнкомъ? Ни у кого, никогда, никакихъ. Всего какихъ-нибудь три, четыре года передъ тѣмъ произошло усмиреніе польскаго мятежа, восемь лѣтъ тому назадъ случилось 14 декабря. Никогда не слышалъ я отъ окружающихъ ни слова ни о томъ, ни о другомъ. Только разъ, на просьбу дать что-нибудь почитать, отецъ вынесъ мнѣ изъ ризницы Докладъ

Верховнаго Суда о декабрьскомъ возмущеніи; я прочиталъ его, запомнилъ, но оставилъ онъ во мнѣ впечатлѣніе столько же, сколько оставило бы описаніе какого-нибудь политическаго происшествія въ Гонолулу.

Слышалъ я бесѣды и о государѣ и о высшихъ правительственныхъ мѣстахъ, но представленія были дѣтскія, отчасти сказочныя. Съ любовью передавались рассказы, на большую половину миѣическіе, о царскихъ дѣтяхъ Александрѣ и Константинѣ, ихъ разныхъ характерахъ, ихъ времяпровожденіи, саги о Константинѣ Павловичѣ, который де не умеръ, а скрывается и находится съ государемъ-братомъ въ перепискѣ. Этимъ миѣическимъ рассказамъ не вѣрилъ самъ кто рассказывалъ: это была народная поэзія.

Отдамъ справедливость моимъ землякамъ: къ двумъ общественнымъ вопросамъ они были не равнодушны,—къ военному постою и къ городской стѣнѣ. Постоемъ сильно тяготились: состоятельный гражданинъ за долгъ почиталъ имѣть два дома, изъ коихъ одинъ для поста. Учрежденіе городскихъ казармъ было общимъ желаніемъ, и оно потомъ было исполнено. Негодовали горожане, что изъ матеріаловъ городской стѣны мѣстныя власти строить дома, даже хлопотали въ высшихъ сферахъ о ея поддержаніи и даже успѣли, правда, отчасти только. Стѣны валились, крошились; упала и Мотасова башня, о которой была рѣчь выше (въ первой главѣ). Упала она почти на моихъ глазахъ. Еще за нѣсколько мѣсяцевъ обнесена была она заборомъ по берегу и по самой рѣкѣ; событіе очевидно было предвидѣно. Страшный грохотъ заставилъ меня разъ вздрогнуть, когда я шелъ изъ училища домой обѣдать; а когда послѣ обѣда возвращался на вечерній классъ намѣренно „низомъ“, то-есть ближайшею къ берегу улицей, на берегу и въ водѣ лежали глыбы камней на мѣсто высившейся башни; она рухнула съ самаго основанія, подгрызенная временемъ и водой въ своей подошвѣ.

Жизнь горожане вели затворническую. Лавка и цер-

ковъ, вотъ единственныя мѣста выходовъ, и первая притомъ исключительно для мужскаго населенія, если не считать торговыхъ, сидѣвшихъ въ палаткахъ или съ лотками на открытомъ воздухѣ. Откуда этотъ теремной режимъ, когда въ высшемъ сословіи теремъ уже кончился, а въ низшемъ, то-есть крестьянскомъ, его даже не бывало? И тѣмъ удивительнѣе, что купечество пополнялось выходцами изъ деревень же. Въ томъ же Дѣдновѣ, тѣхъ же Ловцахъ, откуда вышелъ купецъ-гуртовщикъ или грузовщикъ, дѣдъ и даже отецъ его, даже можетъ-быть самъ онъ былъ обыкновеннымъ крестьяниномъ, и жена его съ дочерью не сидѣли за занавѣсками оконъ, съ боязнію даже посмотрѣть на проходящихъ по улицѣ. Тѣмъ не менѣе, со вступленіемъ Дѣдновца въ купечество, вступалъ въ свои права и теремъ, эта анахроническая пародія на боярство, которое само освободило свой женскій полъ отъ затворничества. Съ ужасомъ рассказывали по Коломнѣ, и вѣроятно въ преувеличенномъ видѣ, о неожиданно эманципировавшейся дамѣ купческаго семейства, которая открыто принимала уланскихъ офицеровъ и, о ужасъ! даже каталась съ ними. Кататься можно женщинѣ изъ приличнаго семейства; но на это положено определенное время, масляница, когда по назначенному десятилѣтіямъ, а можетъ-быть вѣками маршруту, вереницы экипажей совершаютъ кругъ по городу, при чемъ повелѣвается преданіемъ сидѣть неподвижно, со взоромъ безжизненно устремленнымъ въ спину кучера.

Я сказалъ о Дѣдновѣ, изъ котораго по преимуществу пополнялось коломенское купечество. Дѣдново—невольная колонія Великаго Новгорода, царемъ ли Иваномъ или ранѣе того населенная. Въ этомъ селѣ есть Софія, существуютъ „Концы“ какъ въ метрополіи; слышатся слѣды и новгородскаго нарѣчія; но преданія политической свободы исчезли, тѣмъ болѣе что къ моему времени Дѣдново было уже въ крѣпостномъ владѣніи фаворита Екатерины, Измайлова, славившагося между

прочимъ сумасбродными потѣхами и необузданнымъ характеромъ. Онъ заманивалъ исправниковъ и засѣдатель, чтобы высѣчь, находя въ этомъ удовольствіе. Въ своемъ епифанскомъ имѣніи онъ пригласилъ разъ изъ города соборное духовенство съ чудотворной иконой. Отправилось духовенство, хотя недоумѣвало о внезапномъ приливѣ набожности у вельможи, слывшаго за вольнодумца. Встрѣтили съ почетомъ экипажъ, привезшій икону и духовенство. Вносять чередомъ икону въ залу; священникъ или протоіерей начинаетъ молебенъ въ присутствіи безногаго барина, вкаченного на креслѣ. Но въ ту же минуту отворились двери съ обоихъ боковъ, и съ одной стороны входятъ музыканты, съ другой вбѣгаютъ наряженные плясуны. Начинается пляска. „Пляши, отецъ! приказываетъ хозяинъ (а за нимъ гайдуки съ нагайками), иначе заporю“. Колебался служитель алтаря, но вынужденъ былъ отплясывать въ облаченіи въ тактъ скоморохамъ предъ иконой. „Ну, батъка, благодарю, отвелъ душу! воскликнулъ утѣшенный сумазбродъ отсыпая горсть золотыхъ. Вотъ тебѣ за потѣху. А еслибы заупрямился, живъ бы отсюда не вышелъ“. Это разсказъ моей тещи, епифанской родомъ. Отъ нея же слышано слѣдующее. Козловъ, братъ ея воспитательницы, сенаторъ, охотился вмѣстѣ съ Измайловымъ, который ему доводился сосѣдомъ. Повздорили о чемъ-то. На обратномъ пути Измайловъ, смягчившись внезапно, сталъ усиленно приглашать Козлова къ себѣ. „Нѣтъ, братъ, слуга покорный“, отвѣчалъ сенаторъ, пересѣлъ въ свой экипажъ и велѣлъ кучеру ударить по лошадамъ.—„Умно, братецъ, сдѣлалъ, признался Измайловъ при слѣдующемъ свиданіи съ Козловымъ; было бы худо“.

Должно-быть окрестности Коломны, какъ пограничнаго со степью и инородцами города, вообще служили мѣстомъ ссылки. Сужу такъ по разнообразію произношенія; не выходя изъ города, я слышалъ, и притомъ частію отъ горожанъ, частію отъ подгородныхъ, и що-

канье, и цоканье, и смягченіе и расширеніе гласныхъ: *цаво* (чего), *лебоше* (либо что), *нашелси втиреди*, *мъзя* (лѣзеть), *идѣть* (идеть) и т. п.; и притомъ у разныхъ разное, въ одномъ селѣ та, въ другомъ другая особенность: ясный слѣдъ происхожденія изъ разныхъ мѣстъ и отъ разныхъ племенъ.

### XVIII.

## Книжный міръ.

При отсутствіи игръ и сверстниковъ, въ однообразіи быта, среди мертвого окружающаго, я подобно отцу находилъ утѣшеніе въ книгахъ. Какъ я читалъ? Когда началъ читать? Чтѣ читалъ? Но я не помню, чтобы при первомъ досугѣ не держалъ въ рукѣ книги, съ тѣхъ поръ какъ выучился читать; не знаю книги, которую бы видѣлъ и не воспользовался случаемъ прочитать ее. На нижнихъ полкахъ нашего домашняго шкапа лежали книги, исключительно, помнится, Екатерининскаго времени; я ихъ прочиталъ и перечитывалъ всѣ, за исключеніемъ отвлеченныхъ разсужденій въ родѣ извѣстнаго *Наказа*. Разъ у кого-то, когда ходили по приходу, оставлены мы были откушать чаю; лежала книга на окнѣ; въ теченіе бесѣды хозяина съ гостями я предъ открытымъ окномъ (былъ теплый весенній день пасхальной недѣли) прочелъ книгу, которая оказалась, какъ послѣ я узналъ, *Баснями Крылова*; ни прежде, ни послѣ долго я ихъ не видалъ. Въ свѣтелкѣ на окнѣ кѣмъ-то оставленная книга въ осьмушку, въ кожаномъ переплетѣ съ золотымъ обрѣзомъ, привлекла по обыкновенію мое вниманіе; я взялъ ее и въ саду за одинъ присѣстъ прочелъ. Это была часть историческихъ книгъ Ветхаго Завѣта, на славянскомъ конечно языкѣ. Чтобъ это была Библія—я этого не

вѣдалъ, да не зналъ и того еще, что есть на свѣтѣ книга называемая Библіей (хотя уже начиналъ учить катихизисъ). Но съ тѣхъ поръ я и еврейскихъ царей и исторію Товита дозналъ вполне. Мыло ли, сахаръ ли принесли изъ лавки завернутымъ въ листъ съ печатными строками: это былъ макулатурный листъ, но я прочелъ его; онъ оказался анекдотами о Балакиревѣ. Я сложилъ листъ и даже упросилъ Ивана Евсигнѣвича заброшюровать его. У школьниковъ попадались книги, изъ которыхъ, помню, прочтены: *Гуакъ или Непреоборимая Вѣрность*, сказки о *Бовѣ Королевичѣ*, *Ерусланъ Лазаревичъ*, *Исторія Франциска Венціана*, *Похожденія Ваньки Каина*, *Карпуша*, *Совѣстдрала большаго носа*, *Похожденія Пошехонцевъ*, *Не любо не слушай*, *Пересмѣшникъ*, *Письмовникъ Курганова*, *Гидательная Книга*. Это по части народной литературы, и притомъ книги; сказка объ *Емелѣ Дурачкѣ* и другія принадлежали лубочнымъ брошюрамъ; *Мыши кота погребаютъ* или *Морозъ красный носъ*—листы той же печати. Эти картины съ текстомъ высмотрѣны и прочтены преимущественно при хожденіи по приходу, во время „Христосъ воскресъ“, которое выпѣвалось одновременно съ тѣмъ, какъ пробѣгалъ я глазами на листѣ, прибитомъ къ стѣнѣ гвоздями, картину. Тутъ попадались и Ноевы сыновья („Симъ молитву дѣлетъ, Хамъ пшеницу съетъ, Іафетъ власть имѣетъ“), и Шульгинъ московскій оберъ-полицеймейстеръ, и Бобелина греческая героиня, и Паскевичъ съ Дибичемъ, и храмъ Петра въ Римѣ, и перевалъ какого-то войска черезъ горы: между прочимъ сидитъ солдатъ на пушкѣ и его спускаютъ. Эти двѣ картины съ иностранными подписями. А одна изъ самыхъ замѣчательныхъ была портретъ Константина Павловича, награвированный между 19 ноября и 14 декабря, съ подписью: „Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій.“

Сказанное сейчасъ относится къ мимоходному чтенію. Но у отца было постоянное чтеніе. Всегда на его столѣжъ лежала книга съ закладкой на томъ мѣстѣ, гдѣ

пуская ихъ мимо, когда случалось попадать на нихъ, въ повѣстяхъ напимѣрь. И описанія природы, коль скоро проникнуты лирическимъ оттѣнкомъ, тоже отталкивали меня: душа просила объективнаго изображенія, пусть даже изъ фантастическаго міра.

Замѣчательная вещь: къ стихамъ я вкуса не имѣлъ и не имѣлъ терпѣнія ихъ читать. Признаюсь въ своемъ недостаткѣ: стихотворная форма до сихъ поръ не находитъ отзвука въ моей душѣ; хотя я не лишенъ способности цѣнить стихъ, но цѣню его внѣшнимъ образомъ. Никогда во всю свою жизнь не могъ я выжать изъ себя стишонка и никогда къ этому не чувствовалъ позыва. Хуже того: я никогда не запоминалъ стиховъ и не могъ почти ни одного заучить. Были и есть исключенія, но они ничтожны. Между тѣмъ память у меня была замѣчательная, особенно съ десятилѣтняго возраста, до того быстрая, что я уроковъ не училъ, за исключеніемъ вокабулъ; достаточно было разъ прослушать, и я зналъ наизусть, но только прозу. Эта ужасная память отчасти послужила потомъ и къ моей невыгодѣ, какъ увидить въ послѣдствіи читатель; но чтобы запомнить строфу стиховъ, мнѣ нужно было усиліе, и если я преодолевалъ его, заученное столь же легко улетало изъ головы, какъ трудно въ нее укладывалось. Эта физиологическая особенность заслуживаетъ вниманія потому между прочимъ, что одновременно съ тѣмъ я равнодушенъ къ музыкѣ. Пусть музыкальною памятью я также не одаренъ, но самое теченіе звуковъ въ размѣренномъ порядкѣ и ихъ гармонія производятъ на меня и производили всегда глубочайшее, всеобъемлющее дѣйствіе. Разъ шелъ я изъ училища домой обѣдать. Въ одномъ домѣ, мимо котораго я проходилъ, отворено было окно и изъ него лились звуки фортепіано. Я сталъ какъ вкопанный; и фортепіано-то я слышалъ впервые, да и переходы звуковъ меня поразили. Я простоялъ забывшись такъ долго, что не имѣлъ времени даже дойти до дома и во-



ротился въ училище безъ обѣда. Когда я расшаливался и капризничалъ дома, еще въ малолѣтствѣ, однимъ изъ средствъ укрощенія была заунывная пѣсня. Выведу изъ терпѣнія сестеръ и онѣ запойтъ: „О чемъ ты, Маша, плачешь“ или „Веселая бесѣдушка“. Я зажимаю уши, плачу; наконецъ молю сестеръ, чтобъ онѣ остановились, и дѣлался тихъ и покоренъ. Не противорѣчіе ли это? Его замѣтилъ покойный Сергѣй Тимоѣевичъ Аксаковъ, когда я ему рассказывалъ о своей идіосинкразіи. Стихъ вѣдь есть та же музыка; музыкальный размѣръ есть тотъ же стихъ. Тѣмъ не менѣе одно дѣйствуетъ, другое нѣтъ. Въ одномъ изъ сыновей своихъ я замѣтилъ обратную идіосинкразію. Онъ владѣетъ стихомъ и имѣетъ къ нему позывъ, а музыка для него то же, что стихъ для меня: его чувство къ ней тупо.

Къ слову, еще объ одной моей идіосинкразіи, и то же въ органѣ звука. *Я не имѣю понятія о звукѣ, издаваемомъ кузнечиками.* Мнѣ въ этомъ не вѣрятъ, нѣкоторые негодуютъ даже, когда я объ этомъ объявляю, особенно когда сами они въ то же время слышать стукъ этого насѣкомаго. Разъ или два, когда меня подводили къ самой травѣ, гдѣ трещалъ кузнечикъ, я слышалъ дѣйствительно нѣчто похожее на звукъ пилы, но звукъ слабый во всякомъ случаѣ, который безъ указанія и не дошелъ бы до меня. Меня увѣряютъ однако, что звукъ, производимый кузнечикомъ, очень силенъ, даже несносенъ. Счастіе это или несчастіе, но я лишенъ его. Точно также я почти не слышу колокольчиковъ съ толстыми стѣнками, которые назову колокольчиками „стучащими“ въ отличіе отъ звенящихъ. Говорятъ, что такіе колокольчики издають очень сильный и рѣзкій звукъ; я его не знаю и предлагаю физиологамъ обсудить мой недостатокъ. Мекаю, что неспособность слышать кузнечика и тупость слуха къ стучащимъ колокольчикамъ истекають изъ той же причины: въ органѣ слуха не достаетъ чего-то, чтобы воспринять извѣстное качество

звука,—у кузнечика и стучащаго колокольчика не однородное ли? Иду далѣе, хотя это и слишкомъ смѣло можетъ быть. Самый стихъ не есть ли кузнечикъ и стучащій колокольчикъ, въ отношеніи къ которому колокольчикъ звенящій есть то же что музыка къ стиху? Но это догадка, подтвердить или отринуть которую дѣло физиолога.

Книгами снабжалъ И. И. Мѣщаниновъ, новыми по мѣрѣ выхода и пріобрѣтенія, старыми по особой просьбѣ и указанію. Когда его не бывало въ Коломнѣ и источникъ изсякалъ, начиналось перечитываніе, тасканье изъ церкви Четѣихъ Миней, Георгія Кедрина (византіецъ-хронографъ); въ сотый разъ перечитывался *Календарь 1832 года, Сынъ Отечества 1812 года*, перечитывалась даже толстая ариѳметика Аничкова, впрочемъ не правила, а примѣры; пересматривался даже латинскій лексиконъ Розанова, и опять не съ филологическою цѣлью, а точнѣе съ историческою. Въ предисловіи говорилось о золотой и серебряной латыни и объяснялись сокращенія, подъ которыми означались писатели. Меня занимало, кто золотой, кто серебряный писатель, и я любилъ разгадывать сокращенія.

Что же я зналъ въ результатѣ? Говорю о періодѣ отъ 10 до 13 лѣтъ. Зналъ я очень много и опять повторяю—по части эмпирическихъ свѣдѣній и прикладныхъ знаній. Исторія, географія, домоводство, сельское хозяйство, техника. Откуда же хозяйство и техника? Свѣдѣніями снабжали журналы и словарь Щекатова, изданія Вольнаго Экономическаго Общества, *Энциклопедическій лексиконъ* Плюшара, начавшій выходить къ тому времени, и путешествія. Я имѣлъ понятіе, на примѣръ, о кораблестроеніи, о торфѣ, о сидрѣ, о трехпольной и плодоперемѣнной системахъ, о чугуноплавильныхъ домнахъ, не говоря о странахъ, лицахъ, годахъ Старого и Нового Свѣта, древней и новой исторіи, объ искусствѣ, политикѣ, литературѣ. Было не связано, не полно, неравномѣрно, поверхностно, но обширно. Связь

отчасти возникала потомъ сама собою: событія, лица, естественно-историческія и техническія явленія устанавливались въ соотвѣтственныя рамки и послѣдовательный порядокъ сами собою, тѣмъ процессомъ, какимъ укладываются въ свою систему непосредственныя впечатлѣнія природы и общества.

Любопытенъ вопросъ: чтó оставалось въ душѣ, чтó отбрасывалось? Мнѣнія не оставались, какъ всякія разсужденія и лирическія изліянія. Я былъ постояннымъ, на примѣръ, читателемъ критическихъ статей и рецензій, но существо отзыва если запоминалось, то запоминалось какъ фактъ, не усваиваясь въ смыслъ убѣжденія. И еще наблюденіе о дѣйствіи нравственномъ. Вспоминается отзывъ еще Златоуста, который сравнивалъ читателя со пчелой, выбирающею съ цвѣтка, чтó ей нужно. Нѣтъ сомнѣнія, что пришлось читать въ романахъ, на примѣръ, много двусмысленностей, картинъ возбуждающихъ чувственность; это отлетало безъ слѣда; не помнилось, и вниманіе скользило. Припоминаю одинъ случай, когда вниманіе остановилось и возбудилось недоумѣніе. Путешествіе Вальяна по южной Африкѣ, изданіе, кажется, прошлаго столѣтія, одна изъ тѣхъ переплетенныхъ книгъ съ красивымъ обрѣзомъ, которыя такъ любы мнѣ, перечитано было мною нѣсколько разъ: она же и съ изображеніями Готтентотовъ и Кафровъ. Вальянъ былъ женатъ; изъ путешествія это видно. Но съ тѣмъ вмѣстѣ онъ же самъ говорилъ о своихъ близкихъ отношеніяхъ супружескаго свойства къ одной Готтентоткѣ. Я поразился этимъ и никакъ не могъ примирить несообразности. Да какъ же это, вѣдь онъ женатъ и у него жена во Франціи? Такъ ли я понимаю? Этимъ сказалась высокая цѣломудренность отца и вообще непорочная чистота нашей семьи. А не монастырски же мы воспитывались; все мы свободно могли слышать и видѣть, и несомнѣнно слышали и видѣли, но въ сознаніи преломлялись не тѣ лучи, которые пуска-

лись. Душа просто не воспринимала многого, для чего въ ней не было почвы. На одномъ дворѣ съ нами, въ нашемъ же садикѣ, въ пяти шагахъ отъ нашего дома жилъ въ своей избушкѣ на нашей землѣ Петръ Яковлевичъ, овчинникъ, котораго я маленькимъ называлъ, картавя, „Покрака“, а онъ называлъ меня „графчикъ“; (я долго не понималъ что такое „графчикъ“ и первоначально полагалъ, что графчикъ въ родѣ графинчика что-нибудь). Съ нимъ жила, замѣняя ему кухарку и хозяйку, младшая тетка моя Татьяна Матвѣевна. Какія ихъ были отношенія? Какъ Очный ледъ, идущій къ верху, странное сожителство моей тетки съ чужимъ ей Покракой не возбуждало вопроса, хотя я точно зналъ, что они и не родные и не мужъ съ женой. И точно также какъ объ Очномъ лдѣ, уже въ лѣта юности разговарившись какъ-то съ братомъ, я догадался о существѣ отношеній между этими двумя лицами, которыхъ видѣлъ ежедневно.

Просится подъ перо много педагогическихъ замѣчаній, изъ которыхъ удовольствуюсь однимъ—о тщетѣ строго систематическаго воспитанія. Система въ головѣ дитяти создается помимо педагогической указки и часто вопреки ей, совершенно такъ же какъ нравственность слагается, не слушаясь отвлеченныхъ нравученій. А признавъ это, произнесемъ смертный приговоръ господствующей у насъ, въ первоначальномъ по крайней мѣрѣ образованіи, системѣ упрощеній и облегченій, „навожденій“, всегда мнимыхъ. „Что дѣлаютъ руками? что дѣлаютъ ногами?“ Учебникъ, задающій эти вопросы, непременно долженъ отуплять. Начать уже съ того, что ногами ничего не „дѣлаютъ“; это бессмыслица. Но нелѣпо требованіе вести ребенка именно опредѣленною лѣстницей, одного какъ другаго одинаково, съ одной опредѣленной ступеньки на другую столь же опредѣленную; такъ позволительно учить только глухонѣмаго. Помимо учебника, помимо изустныхъ уроковъ, цѣлый міръ разнообразія одновре-

менно дѣйствуетъ на умъ и сердце дитяти, возвращая въ немъ сѣмена, большею частью даже неуловимыя. Идіосинкразія нравственная, какъ и физическая, есть все для успѣха въ педагогiи, и чѣмъ менѣе считаются съ индивидуальными особенностями, чѣмъ болѣе усиливаются имѣть въ виду „общечеловѣка“ въ методѣ воспитанія, тѣмъ оно безуспѣшнѣе, иногда даже вреднѣе. Отнюдь не думаю рекомендовать случайнаго набора, которымъ составились мои первоначальныя свѣдѣнія. Но размышляю иногда: еслибы все, мною добытое, преподано было мнѣ систематически, послѣдовательно, больше ли бы я зналъ и правильнѣе ли, нежели узналъ своимъ безпорядочнымъ способомъ? Полагаю, что я не узналъ бы сотой доли, и тысячная доля не прижилась бы ко мнѣ и не срослась бы. Читая, я не заботился о писателяхъ, не изучалъ царствованій въ хронологическомъ порядкѣ, не зубрилъ ботаники по классамъ растеній; но еслибы кто тогда проэкзаменовалъ меня, право я оказался бы знающимъ болѣе и основательнѣе не только географію и исторію, и въ частности исторію литературы, но даже ботанику, зоологію и минералогію, нежели другой, прососавшій учебники малый, даже старше моихъ лѣтъ. Причудливая машина—человѣческая природа!

## XIX.

### На шагъ отъ гибели.

Я прервалъ разсказъ о личной своей судьбѣ на порогѣ между грамматическимъ и синтаксическимъ классами или низшимъ и высшимъ отдѣленіями училища. Мнѣ было десять лѣтъ, и я переведенъ былъ въ Синтаксiю, помнится, тринадцатымъ ученикомъ, едва ли даже не во второмъ разрядѣ. Новая классная зала,

смотрѣвшая веселѣе той, изъ которой меня перевели, казалась будто и свѣтлѣе прежней: она была розоваго цвѣта, съ розеткой, изображенною посрединѣ потолка. Пять скамей, три налѣво отъ входной двери, двѣ направо. Все это памятно мнѣ, и не даромъ: здѣсь пропла бѣлая половина моего училищнаго искуса, четыре года, тогда какъ въ обоихъ прежнихъ классахъ въ сложности всего три. Противъ входной двери, на противоположной сторонѣ была другая, ведшая въ сѣни смотрительской или теперь уже ректорской квартиры.

Да, съ удаленіемъ В. И. Груздева, намъ назначенъ новый начальникъ уже съ титуломъ „ректора“, такъ какъ онъ былъ магистръ; магистерская степень давала смотрителю привилегію именоваться ректоромъ, какъ учителю семинаріи профессоромъ. Коломна доселѣ не видала магистерскаго креста, за исключеніемъ двухъ ревизоровъ, временно пріѣзжавшихъ на испытаніе училища.

Каковъ будетъ *этотъ*? Съ нѣкоторымъ суевѣрнымъ страхомъ ожидали мы будущаго начальника и учителя (онъ долженъ былъ преподавать латинскій языкъ въ высшемъ отдѣленіи). Съ почтеніемъ смотрѣли мы уже на Груздева, и я въ частности исполнился къ нему благоговѣніемъ, когда разъ на испытаніи онъ замѣтилъ учителю, что въ переводимомъ мѣстѣ христоматіи, кажется въ рѣчи изъ Саллюстія, должна быть ошибка: не *luminis* надо читать, а *luminis* (или наоборотъ, не помню). Какимъ-то полубогомъ, пучиной учености показался онъ мнѣ тогда: каково, найти ошибку—гдѣ? Въ христоматіи, да еще умѣть поправить! Я очень живо представляю себѣ это чувство. Какимъ-то сверхъестественнымъ всевѣдѣніемъ показалось мнѣ, что изъ числа столькихъ словъ въ такой толстой книгѣ, какъ лексиконъ, онъ помнитъ слово похожее на *lumen* и знаетъ что оно именно должно стоять здѣсь! А теперь у насъ будетъ учителемъ и

главнымъ начальникомъ еще болѣе ученый; онъ не въ семинаріи, а въ самой академіи училъ, да кстати опредѣленъ не только въ ректоры, а и въ благочинные.

Собрались мы, трепещущіе. Я сидѣлъ далеко, на третьей лавкѣ послѣднимъ; по крайней мѣрѣ не близко отъ очей, заранѣе представляемыхъ грозными, не такъ страшно; полторы лавки первыхъ скамей заняты *старыми*, то-есть оставшимися на повторительный курсъ. Отворяется дверь (противоположная входной); входитъ онъ съ едва обложившеюся бородой (недавно посвященъ), въ темнооливковой суконной рясѣ, со своимъ отличительнымъ крестомъ, сильно кудрявый, черноглазый, со строгимъ лицомъ. Молитва *Царю небесный*. Сурово, по окончаніи молитвы, обращается ректоръ къ читавшему:

— Почему жъ не по-латыни? Читать по-латыни.

Сильно „окающее“ произношеніе обличало въ немъ Вятчанина. Выслушавъ приказаніе, ученикъ сѣлъ.

— Кто тебѣ позволилъ сѣсть? спросилъ ректоръ.— Стой болваномъ.

Этихъ утонченностей мы не знали до сихъ поръ и въ простотѣ садились, не дождавшись позволенія. Не только Иродіонъ Степановичъ, но и Груздевъ не внушали намъ виѣшнихъ приѣмовъ вѣжливости. Ректоръ обратился къ другому ученику:

— Переведи: *sine love nec pedem move*.

Ученикъ замялся; ректоръ обратился къ другому и третьему. Къ концу класса оказалось съ десятокъ стоящихъ „болваномъ“ учениковъ. Когда намъ было объяснено, тутъ ли же или послѣ, не помню,—только ученики не посаженные обязаны были и слѣдующій классъ также продолжать стояніе впредъ до того, пока посадятъ, хотя бы не ближе какъ чрезъ недѣлю или мѣсяцъ даже. Это было нововведеннымъ наказаніемъ, котораго мы не знали дотолѣ.

Классы между учителями были раздѣлены поденно, а не по часамъ. Поэтому и вечерній классъ долженъ.

быть того же грознаго ректора. Ранѣ ли обыкновеннаго противъ другихъ учителей пришелъ онъ, я ли опоздалъ по случаю шедшаго дождя, только ректоръ былъ уже въ классѣ, когда я вошелъ.

— Какъ твоя фамилія?

Я сказалъ.

— Стой здѣсь у двери столбомъ, чтобы другой подобный тебѣ дуракъ, который придетъ, разбилъ тебѣ голову.

Это было первое мнѣ привѣтствіе отъ новаго начальника и учителя. Худое предзнаменованіе! Оно было вдвойнѣ худо. Ректоръ диктовалъ „задачу“, то-есть русскій текстъ латинскаго упражненія. Простоявъ столбомъ, понятно, я не могъ писать и упражненія, слѣдовательно осуждался на невольную неисправность.

Пошли классы своимъ чередомъ, задаванье уроковъ, переводы съ древнихъ языковъ, задаванье задачъ для обратнаго перевода съ русскаго на древній. Курсъ тотъ же почти, чтò въ низшемъ отдѣленіи. Отставились только уставъ церковный, русская и славянская грамматика; прибавились географія съ священною исторіей. Ректоръ взялъ себѣ, кромѣ латинскаго, географію и катихизисъ, предоставивъ остальное инспектору.

Я упомянулъ о *старыхъ*, сидѣвшихъ на первыхъ полутора лавкахъ. О, это заслуживаетъ особаго разсужденія. *Старые*, оставшіеся на повторительномъ курсѣ, слѣдовательно олухи, малоуспѣшныя, малодаровитыя; такъ должно заключить по здравому смыслу. Дѣйствительно, большинство изъ нихъ и были малоуспѣшныя и малодаровитыя. Но это были командиры и тираны класса на томъ основаніи, что они числились въ спискѣ первыми, а въ силу того по школьной конституціи имъ вручалась власть: изъ нихъ назначались цензоры, назначались аудиторы. Ужасна была эта власть, какъ сейчасъ будетъ видно. Въ темномъ предчувствіи, что они калифы на часъ, что молодые ихъ обгоняютъ, старые спланивались, образовывали лигу, стояли одинъ за



другаго и старались подставить ногу каждому „молоденькому“, оттереть. И удивительно, каждое двухлѣтіе повторялась эта исторія! Удивительно потому, что каждое двухлѣтіе неизмѣнно оканчивалось тѣмъ же: старые подъ конецъ въ большинствѣ проваливались, и бразды правленія захватывались „молоденькими“. Тѣмъ не менѣе, съ наступленіемъ курса, исторія прошлыхъ двухъ лѣтъ забывалась, и „старые“ повторяли тираннію, тщету которой должны бы помнить по себѣ, когда годъ и два тому назадъ сами были „молоденькими“. Но можетъ-быть тѣмъ яростнѣе и держались они за власть, что предвидѣли ея кратковременность и сознавали въ душѣ свое узурпаторство. Когда вспоминаю объ этой, периодически повторявшейся борьбѣ, приходятъ на память блестящіе остроуміемъ страницы Карла Фогта въ его *Застринныхъ Царствахъ*. Въ пчелиномъ быту онъ находитъ подобіе конституціонно-монархическаго устройства, въ избіеніи трутней возстаніе рабочихъ противъ дворянства, словомъ—революцію: ежегодная революція, которая однако на слѣдующій годъ забывается, съ тѣмъ чтобы повториться. То же было въ конституціи духовныхъ школъ.

Прерогативы „старыхъ“ имѣли однако и свое разумное основаніе, историческое. На повторительный курсъ оставались не всегда олухи, а въ прежнія времена даже вовсе не олухи, напротивъ ученики и даровитые и успѣвающіе, но желавшіе только болѣе укрѣпиться въ знаніяхъ. Такое побужденіе тѣсно связывалось со строемъ старой школы, гдѣ каждый классъ представлялъ особую стадію развитія съ законченнымъ курсомъ, въ слѣдующемъ классѣ уже не повторявшимся и не продолжавшимся. Риторъ, чувствовавшій себя не въ полномъ совершенствѣ подготовленнымъ въ латыни и въ искусствѣ составлять композиціи, не рѣшался переступить въ философію, гдѣ преподаваніе уже велось по-латыни и гдѣ существенною частью ученія были ежедневные диспуты, разумѣется

на латинскомъ же. Даровитый и ревностный риторъ внутренно спрашивалъ у себя аттестатъ зрѣлости и въ случаѣ нерѣшительнаго отвѣта предпочиталъ остаться на повторительный курсъ. О студентѣ (начиная съ философскаго класса слушатели Славяно-Греко-Латинской Академіи назывались уже студентами), просидѣвшемъ два курса въ реторикѣ, можно было утвердительно заранѣе сказать, что нѣтъ классика, котораго бы онъ не прочиталъ вполнѣ и не изучилъ, тогда какъ о другихъ не всегда это можно было утверждать.

Съ концомъ Славяно-Греко-Латинской Академіи и съ наступленіемъ „новаго образованія“, старыя преданія нѣсколько лѣтъ держались. Диспуты въ философскомъ и даже въ богословскомъ классѣ продолжались. Учебнымъ языкомъ оставалась та же латынь, и потому въ первые курсы Московской семинаріи изъ реторики въ философію переходило немногимъ развѣ болѣе половины учениковъ; остальная, и не только второразрядные, но перворазрядные ученики предпочитали оставаться на повторительный курсъ. И это были не олухи. Между прочимъ такъ поступилъ братъ мой, и отъ повторительнаго реторическаго курса у него остались томы выписокъ изъ латинскихъ писателей. Истинно томы! Книги были рѣдки и дороги; чтеніе писателей входило въ обязанность; лучшіе нравившіеся отрывки и цѣлыя сочиненія переписывались. Словомъ, время даромъ проводимо не было.

По той же причинѣ, которая сейчасъ объяснена, это учрежденіе „старыхъ“, ихъ тираннія и борьба съ молоденькими не повторялись въ другихъ классахъ кромѣ реторики и синтаксиса. Въ реторикѣ побужденіемъ оставаться на повторительный курсъ служило желаніе подробнѣе изучить классическую литературу; въ синтаксисѣ — основательнѣе овладѣть механизмомъ языка. Въ другихъ классахъ не представлялось равносильныхъ побужденій; не было и „старыхъ“, или они были изъ числа малоуспѣшныхъ и малодаровитыхъ, кото-

рымъ преданіе не оставило притязаній на власть и тираннію.

Назначены были и намъ, молоденькимъ, аудиторы изъ старыхъ; изъ старыхъ назначенъ цензоръ, назначены старшіе, словомъ, полный кабинетъ образованъ изъ нихъ исключительно. Назначенъ урокъ изъ географіи. Географія—Арсеньева. О, какъ я ее помню! Доселѣ знаю наизусть ея первую страницу, которая, можно сказать, оказалась для меня кровавою страницей. Выучилъ. Иду утромъ слушаться. Аудиторомъ—Михаилъ Преображенскій, старшій перваго нумера бursы. Вхожу въ эту казарму, съ грязью вмѣсто пола, съ воздухомъ удушливымъ, спертымъ, въ которомъ, по пословицѣ, можно топоръ воткнуть. Аудиторъ мой сидитъ на кровати въ одной рубашкѣ, не мытой вѣроятно мѣсяцъ.

— Пришелъ прослушаться, говорю я.

— Что принесъ?

Этотъ вопросъ означалъ: принесъ ли я копѣйку, грошъ или лепешку. Я посмотрѣлъ съ недоумѣніемъ.

— Читай.

Я сказалъ урокъ, но потомъ увидалъ въ нотатѣ *er*, то-есть *erravit*, неисправно сдалъ урокъ.

— Да вѣдь я знаю, возразилъ я аудитору.

Молчаніе было мнѣ отвѣтомъ.

Пришелъ къ классъ ректоръ и просмотрѣвъ нотату провозгласилъ: „знающіе садитесь, не знающіе на колѣни становитесь.“ Вмѣстѣ съ другими долженъ былъ я стать на колѣни.

И такъ пошло, сегодня, и завтра, и послѣ завтра, у ректора и у инспектора, на латинскомъ и на греческомъ, на географіи и на ариѳметикѣ, на священной исторіи и на катихизисѣ. Въ довершеніе и письменныя упражненія наши повѣрялъ ректоръ самъ только у лучшихъ учениковъ, отдавая остальные на просмотръ тѣмъ же аудиторамъ. Взяткомъ мнѣ давать было не изъ чего, денегъ не бывало; предлагалъ, когда случалось, просвирку, но это мало умилоstellяло. Протестовать не рѣшалъ

ся по робости. Да и къ чему могло повести? Пробовали нѣкоторые. Соглашается провѣрить ректоръ; выслушаетъ самъ.

— Да это онъ послѣ уже, какъ прослушался, подучилъ, оправдывается аудиторъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, поди, замѣчалъ жалующемуся съ своей стороны инспекторъ, когда жалобу приносили въ его классъ; Богъ на томъ свѣтѣ его (аудитора) накажетъ за несправедливость, а ты поди, флекти (то-есть становись на колѣни).

Да притомъ вскорѣ отнята была и физическая возможность протестовать. Подошло въ географіи перечисленіе морей, затѣмъ далѣе Пиренейскій полуостровъ. Требовалось показывать на картѣ, которая на стѣнѣ. Но старые составляли изъ себя сплошную живую стѣну, загораживали карту и не допускали „молоденькихъ“. Сколько времени прошло, недѣля, или двѣ, или мѣсяць, не помню; ректоръ призналъ за благо произвести суммарную расправу, пересмотрѣть нотату за истекшій періодъ и воздать каждому по дѣломъ. Потребованы лозы, и меня первого растянули.

Меня первого наказалъ ректоръ, и я въ первый разъ подвергся, послѣ трехлѣтняго ученія, сѣкуціи. Высѣченъ былъ я больно.

И такъ пошло далѣе. Я уже заранѣе зналъ каждый день свою участь и готовился: стоять на колѣняхъ вѣчно и быть отъ времени до времени сѣченнымъ. Сѣкли сильно, сѣкли слабо; это зависѣло отъ сѣкутора. Ректоръ не стоялъ надъ ученикомъ, а расхаживалъ; инспекторъ былъ подслѣповатъ. Снискать милость сѣкутора можно было взятками, которыхъ опять у меня не было. Впрочемъ особенно жестокосердыхъ не находилось, и только разъ, помню, высѣченъ я былъ до крови.

Я пересталъ учить и со зла разорвалъ Географію (ее послѣ склеили опять и переплели по приказанію отца).

Сначала я чувствовалъ горе, потомъ негодованіе, затѣмъ отчаяніе. Я махнулъ рукой и мысленно отрекся

отъ класса и ото всѣхъ сидѣвшихъ. Я не призналъ ни въ комъ товарищей: въ старыхъ—за ихъ несправедливость; въ успѣвавшихъ вообще (сидѣвшихъ) — за ихъ гоненія; въ колѣнопреклоненныхъ со мною—потому что они были мнѣ не по плечу, неразвитые и невѣжды, дѣйствительные олухи, а нѣкоторые и негодяи. И только одного нашелъ, отъ кого душа не отвращалась: Иванъ Любимъ, прозванный почему-то *Кукомъ*; но его также преслѣдовали, отчасти за безобразіе (некрасивыя черты и притомъ рябъ какъ кукушка), а болѣе за кротость характера. Въ уголкѣ стоя на колѣняхъ, за другими стоявшими впереди, невидимые учителю, играли мы иногда во время класса въ нолики, „на щелчки“. Нолики — это былъ написанный четырехугольникъ съ девятью клетками, на которыхъ одинъ изъ играющихъ писалъ крестики, другой нолики, и кто успѣвалъ написать три нолика или крестика подъ рядъ, тотъ выигрывалъ и давалъ противнику три щелчка въ лобъ.

Я подвергался гоненіямъ, сказалъ я. Да, я былъ всѣхъ моложе, всѣхъ слабосильнѣе, всѣхъ нѣжниѣе, ни съ кѣмъ не водился. Этого было достаточно. Меня стали бить, бить ни за чтѣ, а такъ, чтобы попробовать и показать свою силу. Приходитъ сорванецъ въ классъ, видитъ меня и, проходя мимо, ударяетъ кулакомъ въ спину или въ голову, при общемъ смѣхѣ товарищей. Смотря по силѣ удара, я падалъ, иногда летѣлъ въ уголъ; случалось — удерживался на ногахъ. Защищаться и сдачи давать я не могъ; жаловаться не смѣлъ, да и бесполезно было: жалобы не подтвердились бы и только участились и ожесточились бы побои. Оставалось терпѣть или укрываться, когда представится возможность. Были два любителя, которые упражняли на мнѣ свои кулаки ежедневно, какъ бы считали обязанностью; безъ того не сидеть на лавку, чтобъ меня не стукнуть. И въ числѣ этихъ былъ именно Троицкій, къ которому полтора года назадъ я прильпился душой,

съ которымъ всѣмъ дѣлился, которому отдалъ свой кушакъ даже.

Тяжелыя воспоминанія! Грѣхъ лежитъ на душѣ покойнаго А. И. Невоструева, человѣка въ высокой степени почтеннаго въ другихъ отношеніяхъ. Какъ было не замѣтить этого мальчика, несомнѣнно выдѣлявшагося отъ другихъ даже видомъ своимъ, который не могъ быть такъ грубъ и тупъ, какъ у другихъ? Но не одинъ видъ мальчика долженъ былъ обратить на него вниманіе. Невоструевъ, надо отдать ему справедливость, отлично преподавалъ географію, обращая ее въ своего рода энциклопедію. Къ описанію странъ онъ прибавлялъ исторію; при перечисленіи знаменитыхъ мужей той или другой страны передавалъ ихъ біографію, перечислялъ ихъ заслуги и труды. Большею частію это было не въ коня кормъ. Ученики были не подготовлены, а потому естественно забывали всѣ толкованія, — кромѣ меня однако, который при обширномъ чтеніи могъ часто сказать больше нежели даже передано учителемъ.

— А кто былъ Микель-Анджело? Болванъ, ты не помнишь, вѣдь было говорено!

— Кто былъ Микель-Анджело? возвышая голосъ обращался ректоръ ко всему классу.

Наступаетъ гробовая тишина. Дыханіе у всѣхъ захватывается. Онъ былъ страшенъ, онъ билъ по щекамъ, таскалъ за волосы, билъ табакеркой по головѣ; билъ, придерживая рукавъ рясы такъ, что малый покачивается въ одну сторону, а онъ подхватитъ тотчасъ же и ударитъ съ другой стороны, чтобы возстановить равновѣсіе. Ни живы ни мертвы всѣ.

— Кто скажетъ? Кто знаетъ? Болваны!

Въ это время тщедушный мальчикъ, сидящій послѣднимъ на третьей скамьѣ, если по какому-нибудь чуду не доводилось ему въ этотъ день стоять на колѣняхъ (чудо это потомъ случалось, по низверженіи старыхъ) начиналъ сухимъ перомъ скрипѣть по бумагѣ. Это дѣлалъ я нарочно, чтобъ обратить вниманіе.

— Ну, такъ, это вѣрно бездѣльникъ Гиляровъ! Кто былъ Микель-Анджело? Если скажешь, прощу, а то станисъ на колѣни.

— Микель-Анджело былъ скульпторъ и живописецъ. Его работа—храмъ Петра; его картина—*Страшный судъ*, и проч.

— Ну, садись, бездѣльникъ.

Это повторялось неоднократно. И никогда же не пришло въ голову во время моихъ бѣдствій почтенному Александру Ивановичу удивиться и спросить себя: да откуда же, да отчего этотъ мальчишка отвѣчаетъ всегда на вопросы, когда всѣ оказываются незнающими?

И однако ему не пришло въ голову. И меня продолжали сѣчь, я продолжалъ стоять на колѣняхъ, и меня не билъ только лѣнивый.

Какъ еще только я уцѣлѣлъ и вынырнулъ!

## XX.

### П р о г у л ъ.

Уцѣлѣлъ я потому, что царствованіе „старыхъ“ продолжалось не вѣчно, рушилось скорѣе даже обыкновеннаго, и съ громомъ, какого еще не бывало. Чуть ли не послѣ первыхъ же Святокъ, во всякомъ случаѣ не дожидаясь каникулъ, нѣсколько „старыхъ“, человѣка четыре, были исключены изъ училища среди курса—событіе чрезвычайное. Кромѣ того, было перепороно по крайней мѣрѣ человѣкъ тридцать и притомъ торжественно, въ сѣняхъ, на виду двухъ классовъ, чуть не „подъ звонкомъ“. „Сѣченье подъ звонкомъ“, это, по преданіямъ училища, шедшимъ еще отъ старой семинаріи, была торжественная экзекуція въ родѣ

прогнанія сквозь строй, полагавшаяся для чрезвычайныхъ преступленій, въ присутствіи всего учебнаго и учащаго персонала, при ударахъ звонка, сопровождавшаго взмахи розогъ. Къ моему времени сѣченье подъ звонкомъ оставалось только въ преданіи, но экзекуція надъ тридцатью напоминала былое: два класса настежь, учителя въ полномъ сборѣ, въ углу цѣлый ворохъ розогъ, и притомъ не нашихъ, артистическихъ, а просто пучковъ хворостины, мочалкой перевязанныхъ и не свитыхъ. Понятно: и приготовилъ-то ихъ сторожъ-солдатъ, а не „дневальный“ любитель.

Что такое было? За что такое торжественное наказаніе? Въ самыхъ общихъ, неясныхъ чертахъ доведена была до меня сущность происшествія. Ученики попались въ „питьѣ“, а нѣкоторые и того хуже, чуть ли не въ посѣщеніи домовъ терпимости. Невоструевъ призналъ нужнымъ должно-быть потрясти училище необычайностью расправы, съ тѣмъ чтобы совсѣмъ изъ него выкурить обнаружившіеся пороки. И надо отдать справедливость, это ему удалось; о томъ чтобы за учениками вообще и за кѣмъ-нибудь въ особенности водилась привычка вкушать хмѣльное, я послѣ того уже не слыхалъ. А велась эта привычка издавна, благодаря старой семинаріи, гдѣ учились и взрослые. Старшіе классы семинаріи упразднены, а право пить, молча признанное самимъ начальствомъ за старшимъ возрастомъ, осталось и перешло къ синтаксистамъ, которые изъ теперешнихъ учащихся оказывались самими возрастными. Первый смотритель училища, Иродіонъ Степановичъ, продолжая преданіе старой семинаріи, угощался самъ на рекреаціяхъ съ синтаксистами гдѣ-нибудь въ рощѣ, подъ звуки кантовъ ими распѣваемыхъ, среди игоръ въ лапту и чехарду. Груздевъ такихъ безобразій себѣ не позволялъ, но синтаксисты не отрекались отъ понятія о себѣ, какъ о большихъ, которымъ пристало пить и предаваться другимъ совершеннолѣтнимъ забавамъ. Торжественная



экзекуція надъ тридцатью понизила самосознаніе ребятъ до естественнаго уровня.

Итакъ, „старыхъ“ большинство высѣчено, нѣкоторые исключены внѣ срока и въ томъ числѣ мой аудиторъ. Аудиторы вообще перемѣнились, и цензоръ назначенъ изъ молодыхъ. На греческомъ классѣ у инспектора производились даже пересадки, и первые обращались въ послѣднихъ. Невоструевъ не производилъ пересадки весь курсъ; тѣмъ не менѣе іерархія, насъ встрѣтившая при переходѣ въ классъ, была потрясена, и мнѣ не приходилось уже бояться требованія взятокъ; карты географическія оставались въ свободномъ распоряженіи.

Что жъ, я воспринялъ? Нѣтъ, но вмѣсто ѣдкаго негодования и потомъ отчаянія наступило равнодушіе и какое-то презрѣніе. Да, презрѣніе ко всей школѣ у десятилѣтняго мальчишки. Я читалъ про себя запоемъ книги, но уроковъ не училъ и упражненія писалъ спустя рукава, лишь бы сбыть съ рукъ. У меня былъ другой фантастическій міръ, въ которомъ я жилъ душой и который былъ далеко и отъ училища, и отъ Коломны, иногда даже отъ земнаго шара. Скорѣе для смѣха нежели серьезно, иногда я выучивалъ урокъ, внимательно составлялъ задачу и даже ходилъ „делёкой“. Делёка, это было вотъ что. Существенное въ курсѣ по преданіямъ было—написать безъ „ероровъ“ упражненіе; уроковъ можно не знать, особенно по предметамъ не относящимся къ языковѣдѣнію, но можно занять первое мѣсто, если писать „синё“, то есть sine еггоге. На этомъ основаніи завелся обычай: кто считаетъ себя обиженнымъ въ списокѣ, а другаго занимающимъ незаслуженное мѣсто, тому предоставлялось право предложить поединокъ сопернику, котораго онъ считалъ ниже себя. Это называлось „делёкой“ (de loco). Задавалось упражненіе, и претендентъ на болѣе высокое мѣсто объявлялъ учителю, что онъ идетъ „делёкой“ на такого-то. Соперниковъ отсаживали за осо-

приходили къ обѣду и даже въ классъ, изъ котораго, впрочемъ „прослушавшись“ удалялись. Никакъ не могу себѣ уяснить теперь, какими способами удавалось намъ увертываться отъ наказаній и не дать замѣтить своего отсутствія? Очевидно это оказывалось возможнымъ потому только, что спрашивали учениковъ оба учителя не по списку, а по наличности, на кого упадетъ взоръ.

Но какое наслажденіе были эти лѣтніе дни на открытомъ воздухѣ, это созерцаніе смотровъ, скаканья улановъ въ карьеръ; эти безмолвныя сидѣнья на берегу рѣки, по которой ежеминутно одна за другою, тащились барки съ вѣчнымъ крикомъ водоливовъ „до-ло-ло-ло-о-о“! Тянуть сухопарыя лошади, свистить длинная хвостина погонщика; а не то вдругъ со щелканьемъ выпрыгиваетъ изъ воды канатъ, которымъ тащатъ, и потомъ снова падаетъ, когда по кособору вынуждены лошади убавить шагъ. Идемъ иногда къ мосту. Здѣсь сидитъ по часамъ неподвижно рыболовъ, устремивъ глаза на поплавокъ и не обращая вниманія на зыблущійся плотъ подъ тяжестію вступившаго воза съ сѣномъ. Вотъ конецъ плота уже погружается, подъ рыболова подливаетъ; ему что за дѣло: „клячетъ!“ А наверху кружатся „рыбаки“, вдали же цапля на берегу стоитъ, поджавъ ногу. А вотъ здѣсь, за мостомъ, какъ разъ противъ кремля и училища, изъ котораго впрочемъ насъ не видно, мы находимъ другихъ ребятъ, тоже бѣжавшихъ. Съ барокъ они ловятъ раковъ. Ловъ удаченъ; пойдемте, ребята, на тотъ берегъ; разводится огонь и тутъ же происходитъ трапеза *жареныхъ* раковъ. Они очень вкусны казались тогда, не пробовалъ я ихъ потомъ. Эти бѣгства сдружали со мною моихъ гонителей; меня тутъ уже не били, не издѣвались, хотя и особенной дружбы не оказывали, какъ и я имъ.

Глубокою осенью, съ заморозками, бѣга принимали другое направленіе. Около городской стѣны—ровъ, наполняющійся водой въ дождливое время. Захватываетъ

морозъ, образуется зыблющееся зеркало. Какое удовольствіе бѣгать по немъ и чувствовать именно зыбь! Вотъ вбѣгаетъ кто-нибудь постарше и — останавливается. Хруститъ ледъ, распространяются лучи, предвѣстники пролома... ничего, только не стоять, катись! Запыхавшись, я потомъ приходилъ домой, садился за журналъ, найденный у батюшки на столѣ, за неконченный романъ. Ахъ, нѣтъ, не всегда домой. Разъ катанье не прошло даромъ. Катящіеся наскочили одинъ на другаго, проломился ледъ, и всѣ мы искупались. Большинство были бурсаки; я вынужденъ былъ за ними идти въ бурсацкій нумеръ верхняго этажа, и тамъ, снявъ одежду съ бѣльемъ, до просушки укрыться съ другими вмѣстѣ на полкѣ бывшаго консисторскаго шкафа, вѣланнаго въ стѣну. Укрыться долго однако не пришлось. По доносу ли чьему-либо или такъ вошелъ инспекторъ, и насъ въ одеждѣ праотца тутъ же и наказали.

Что было бы со мною, еслибы такое оригинальное ученіе продолжалось? Я былъ безпеченъ и не размышлялъ о будущемъ. Разъ, только одинъ разъ, именно по истеченіи двухлѣтняго курса, когда долженъ былъ рѣшиться вопросъ, переведутъ ли меня, оставить ли или исключать, сжалось у меня сердце, и то при видѣ одного изъ своихъ сверстниковъ. Онъ шелъ печальный; это было уже послѣ рождества. — „Что ты?“ — „Исключенъ“, отвѣтилъ печально Богоявленскій, и только тутъ пришелъ мнѣ тревожный вопросъ: „А что, пожалуй, не исключили ль и меня?“ Но и то была одна минута.

Что было со мной? Былъ бы я исключенъ. Во дьячки не попалъ бы конечно, но записали бы меня вѣроятно на службу въ какой-нибудь уѣздный судъ, куда попалъ мой товарищъ по колѣнопреклоненію, Иванъ Любвинъ, возвысившійся года чрезъ два въ столоначальники. Я навѣщалъ его, впрочемъ уже изъ семинаріи, и онъ по старой памяти посвящалъ меня въ премудрость входящихъ и исходящихъ, журналовъ, протоколовъ и настольныхъ реестровъ, а я любопытствовалъ

касательно зеркала и формы *слушали* — *приказали*, объясненія которой настоятельно требовалъ. Но судьба не допустила меня ни въ уѣздный судъ, ни въ магистратъ, ни въ канцеляристы вообще, не смотря на мою безпечность и на вѣчное повидимому отчужденіе отъ училища. Послѣ двухлѣтняго курса меня не перевели, не исключили, но оставили на повторительный курсъ, словомъ, меня обращали въ „старого“. Къ удивленію, при составленіи списковъ, какъ объявилъ батюшкѣ потомъ инспекторъ, была рѣчь даже о томъ, не перевести ли меня? Меня, который уроки готовить отказался, упражненія писалъ небрежно, у котораго колѣнопреклоненіе чередовалось съ прогуломъ, который успѣлъ даже свыкнуться съ сѣкуціей, въ первый годъ чуть не ежедневно принимая ее, какъ неизбѣжную дань природѣ! Однако было такъ: не прочь были меня перевести, но удержались за мою молодость, вспомнивъ, что ранѣе четырнадцати лѣтъ дозволялось переводить въ семинарію только въ видѣ исключенія.

Не забуду изъ этого двухлѣтняго періода дополнить нѣсколько словъ о нашемъ грозномъ ректорѣ. Случалось, что онъ не плоше Малинина, о которомъ рассказывалъ батюшка, сѣкъ и билъ почти безъ разбора. Сегодня вина легкая наказывалась жестоко, завтра болѣе важная—снисходительно. Бывало онъ являлся въ классъ совсѣмъ молча и уходилъ не сказавъ ни слова. Сумрачный, суровый, онъ тыкалъ на кого-нибудь пальцемъ, и тотъ долженъ былъ понять, что нужно взять Корнелія Непота и переводить. Среди перевода ударъ по щекамъ, послѣ неудачной поправки ударъ книгой или табакеркой по головѣ или тасканье за волосы, такое что клоки оставались въ рукѣ бившаго. Невоструевъ былъ желчнаго темперамента, а поступивъ въ Коломну не нажилъ себѣ друзей; напротивъ, какъ Груздева, духовенство неблагопріятно встрѣтило этого чужака, тѣмъ болѣе недовольное, что онъ не водилъ ни съ кѣмъ хлѣба-соли, отдаваясь больше книгамъ. Заводились непріятности, и ихъ

онъ вымещалъ на беззащитныхъ мальчуганахъ, доведенныхъ до того, что разъ они собирались на митингъ обсудить вопросъ: не принести ли жалобу? Митингъ кончился ничѣмъ, тѣмъ болѣе что жестокое расположение находило на ректора только по временамъ, а при особенно сильныхъ, тѣмъ болѣе продолжительныхъ экзекуціяхъ находился для ребятъ добрый геній-защитникъ въ лицѣ его супруги. Квартира, какъ я сказалъ, помѣщалась рядомъ съ классною залой. Сѣкутъ, подымается крикъ бичуемаго; крикъ продолжается, становится разъ отъ раза пронзительнѣе. Тогда раздавался стукъ въ дверь; грозный ректоръ уходитъ, сѣченье по неволѣ прекращалось и по возвращеніи конечно уже не возобновлялось. Правда, вызовы ректора случались и не среди сѣченья, но особенное совпаденіе ихъ съ раздирающими криками сѣкомыхъ внушало намъ догадку, что надъ нами бодрствуетъ добрый геній въ видѣ цвѣтущей молодостью и красотой подруги нашего начальника. Ей не было и двадцати лѣтъ, и она была прекрасна какъ майское утро. И могло ли въ самомъ дѣлѣ сердце ея оставаться равнодушнымъ при этихъ продолжительныхъ, раздиравшихъ душу вопляхъ о пощадѣ?

## XXI.

### Фантастическія убѣжища.

Сначала озлобленіе, потомъ презрительное равнодушіе—таково было мое настроеніе среди побоевъ, незаслуженныхъ наказаній, обиднаго невниманія. Но я не жилъ въ училищѣ, не былъ въ классѣ, когда даже присутствовалъ, не видѣлъ стѣнъ и скамей, не слышалъ разговоровъ и криковъ. Я виталъ въ другомъ мірѣ, другое было въ глазахъ и въ ушахъ у меня. Я воздвигалъ дворцы и мосты, прокладывалъ дороги, создавалъ

царства, совершалъ открытія, былъ въ походахъ, устраивалъ хозяйства, погружался въ моря, влеталъ къ звѣзднымъ мірамъ. Когда и съ чего начались мои фантастическіе полеты, не могу уловить момента. Вѣрно то, что начались они именно въ періодъ озлобленія, между 10 и 12 годами отъ рода, когда я разорвалъ книгу и бросилъ учиться; натолкнули на нихъ разнообразныя путешествія, читанныя мною, и затѣмъ историческіе романы; а возбуждалась каждая фантазія всегда несоотвѣтствіемъ вычитаннаго идеалу, который залегалъ въ душѣ или тутъ же создавался. Прочитываю, положимъ, я записки Фукса о Суворовѣ, біографіи генераловъ Двѣнадцатаго Года и вообще описаніе этой войны. Я недоволенъ тѣмъ, что Суворовъ не дожилъ до Двѣнадцатаго Года и не встрѣтился вообще съ Наполеономъ, и начинали слагаться картины: что бы произошло, когда бы Суворовъ дожилъ до Аустерлица и принялъ бы командованіе? Или я допускалъ и Аустерлицъ и Фридландъ, но приглашалъ Суворова къ началу Отечественной Войны, придумывалъ ему порученія, для того чтобъ онъ не могъ быть вызванъ ранѣе; сочинялъ положенія, придумывалъ небывалый походъ въ родѣ десяти тысячъ грековъ Ксенофонта, гдѣ-нибудь въ Персіи, далѣе еще—въ горахъ Белуджистана, гдѣ завязли наши войска со своимъ безсмертнымъ полководцемъ, претерпѣвая ужасы, но совершая безпримѣрные подвиги. Я мысленно чертилъ планы сраженій, разставлялъ войска, каждому роду оружія давалъ свое назначеніе, придумывалъ новыхъ героевъ, которые при этомъ выдвигались; шагъ за шагомъ я слѣдилъ за послѣдовательностью битвъ, участвовалъ въ переходахъ, чертилъ мѣстности, въ которыхъ происходили событія. Это были не мимолетныя картины, а послѣдовательныя, и притомъ не картины, а мысли, сопровождаемыя живыми представленіями. Исторія пересочинялась. Петръ живетъ на примѣръ болѣе семидесяти лѣтъ и вычеркиваются страницы Екатерины I, Петра II, Анны Іоанновны,

продолжаются реформы, развивается все шире планъ Петра; замыслы, которыхъ онъ не успѣлъ привести въ исполненіе, довершаются, карта Европы и Азіи измѣняется, забѣгая впередъ за XIX столѣтіе; кругомъ рождались новыя династіи, совершались перевороты, крушились царства. Мысль, разъ остановившись на чемъ-нибудь прочтенномъ и захвативъ меня, была зерномъ, которое развивалось все далѣе и далѣе, разрастаясь въ цѣлое древо. Она пришла мнѣ сегодня, но я ложусь съ ней спать, встаю съ ней завтра; умъ не уставая работаетъ надъ ней безъ перерыва цѣлыя недѣли, пока изнемогаетъ, доводя часто преувеличеніе или превращеніе до абсурда, или поражаясь чѣмъ-нибудь новымъ, что даетъ теченію мыслей новое направленіе. Римляне, завоевывая дикія страны, начинали тѣмъ, что прокладывали дороги. Достаточно было объ этомъ прочитать, и можетъ-быть съ описаніемъ прочности этихъ дорогъ, сохранившихся тысячелѣтія; воображеніе начинало работать: прокладываю дороги по всѣмъ направленіямъ земнаго шара; умъ углубляется въ размышленія, гдѣ должны пройти (а воображеніе создавало—уже прошли) главные дороги, гдѣ побочныя, какъ размѣститься должны (въ воображеніи—размѣщается) родъ человѣческій, согласно очертаніямъ береговъ и внутреннихъ водныхъ путей. Кто жъ сработалъ эти дороги и сколько времени потребовалось? Умъ принимается за вычисленія, вспоминаетъ о египетскихъ пирамидахъ и луксорскихъ подземельяхъ. Сколько лѣтъ, сколько рукъ потребовалось на эти гигантскія сооруженія!

Путешествія были преимущественнымъ, а морскія — любимымъ чтеніемъ. Какія суда воображеніемъ были сооружены, какая изящная и прочная оснастка имъ дана, какой быстрый бѣгъ имъ сообщенъ, какой матеріалъ для ихъ кузова придуманъ, противостоящій всѣмъ стихіямъ! Хотя пароходы и паровозы изобрѣтены и я видѣлъ рисунки тѣхъ и другихъ, но они не увлекли воображенія. Воображеніе требовало живаго дѣятеля,

личной отваги; порядокъ, при которомъ дѣйствуетъ механическій законъ, а человѣкъ остается покорнымъ орудіемъ мертвой силы, добавочнымъ колесомъ машины, этотъ порядокъ не прельщалъ и не увлекалъ меня. Мои корабли ходили на парусахъ и на веслахъ, на подвижномъ килѣ особеннаго устройства, какъ и паруса были также особенные; вѣтеръ съ одинаковымъ успѣхомъ дѣйствовалъ, попутный онъ или противный. Воображеніе создавало парусъ въ видѣ вертящихся крыльевъ мельницы, одновременно вращающихся и на своей оси, въ родѣ того какъ въ послѣдніе годы придумано устройство вѣтряныхъ двигателей въ Америкѣ компаніей *Эклипс*. Корабли были металлическіе, но не желѣзные, а изъ металла, легкостью превосходящаго алюминій и упругостью превышающаго сталь. Нужно было открыть этотъ металлъ, и къ услугамъ явились горы, служащія ему мѣсторожденіемъ, случай поведшій къ его открытію, экспедиціи снаряжавшіяся за его добычей, войны народовъ за его пріобрѣтеніе. Корабли летаютъ по морямъ; они содержатъ правильное сообщеніе между всѣми пунктами земнаго шара; для всемірнаго удобства они подчинены одной власти. Народы согласились раздѣлить сушу, а въ морѣ не терпѣтъ ничьего владычества. Это общая стихія, какъ воздухъ. Рядомъ войнъ и конгрессовъ установлена эта свобода, гдѣ море принадлежитъ всѣмъ и никому, и подъ всемірнымъ контролемъ совершаются транспортные и почтовые рейсы никому и всѣмъ принадлежащихъ кораблей.

Но не узко ли, не ограниченно ли дѣйствіе этихъ крылатыхъ носителей? Рыба плаваетъ не надъ водой, а въ водѣ; утка, плавая, способна летать. Воображеніе изощрялось представить и умъ помогалъ осмыслить суда, способныя погружаться до дна океана и летать по воздуху съ быстротой птицы. Аэростатъ такъ же не занималъ меня, какъ пароходъ съ паровозомъ: покорность причудамъ стихій тѣснила меня. Я требовалъ птицы или похожаго на птицу, пусть похожее на ле-



тучую мышь, но живое, подчиненное личному велѣнію. Лодка съ крыльями изъ легкаго матеріала, съ перьями какъ у птицы, наполненными также горячимъ воздухомъ какъ у птицы; это не металлъ, а можетъ-быть и металлъ, можетъ-быть сокъ какого-нибудь растенія на какомъ-нибудь коралловомъ островѣ, способный отвердѣвать подобно копалу и пріобрѣтать упругость равную роговой матеріи пера. Я леталъ въ этихъ воздушныхъ лодочкахъ, я созидалъ ихъ нѣсколько видовъ: одинъ годный для употребленія въ видѣ крыльевъ или зонта, и — громоздкія разныхъ размѣровъ и видовъ. Но напрягаясь ихъ сочинить, умъ уставалъ и обращался къ возможности воспользоваться услугами дѣйствительныхъ птицъ. Лошадь пріучена, на собакахъ и оленяхъ ѣздить, орелъ имѣетъ силу поднять ягненка. Отчего не воспитать и птицъ для послуги при полетѣ? И образовывался изящный воздушный экипажъ со стаей запряженныхъ птицъ, съ лодочкой среди нихъ, со станціями для ихъ остановки. Какая прелесть этотъ воздушный караванъ, напоминающій стадо журавлей въ видѣ треугольника, съ тѣмъ же кормчимъ впереди, но вмѣстѣ съ боковыми вѣтвями, которыя напоминаютъ крылья! Это — птица, составленная изъ нѣсколькихъ птицъ; птицы — крылья припрягаются къ ней, чтобъ облегчить повороты движенія этой лодочки, расположенной среди нихъ и напоминающей отчасти китайскую лодку водныхъ жителей Кантона, отчасти венеціанскую гондолу.

Зерно, найденное въ египетскихъ пирамидахъ и сохранившее живую силу ростка нѣсколько тѣсячъ лѣтъ, повело ту же мысль въ другую сторону. Почему не можетъ быть такой сильной птицы, которая способна была бы одна поднимать человѣка и даже нѣсколькихъ? Въ горахъ Тибета, куда еще не ступала нога европейца, гдѣ-нибудь водится такая птица, вдесятеро больше страуса, слонъ въ царствѣ пернатыхъ. А можетъ-быть именно сохранилась пара яицъ, случайно открытая, выложенная на солнце и произведшая двухъ цы-

пять-родоначальниковъ. Но нѣтъ, это долго. Десяти-лѣтія, вѣка должны пройти прежде разведенія этихъ колоссовъ пернатаго міра. Пропорціонально росту потребуется и долгій періодъ возрастанія: слонъ живетъ двѣсти лѣтъ, не менѣе должна жить и также медленно расти эта птица исполинъ. Нѣтъ, тамъ, въ горахъ, живетъ племя невѣдомое міру, какъ невѣдомы были міру Монголы, кочевавшіе въ степяхъ. Какъ Монголы вылетѣли внезапно изъ своихъ степей и запленили полміра, такъ поднялось это племя и повѣдало о себѣ. Воображеніе долго услаждалось видомъ этихъ невиданныхъ птицъ, которыхъ нарядъ такъ же изященъ, какъ необыкновенна сила и изумителенъ умъ.

Разноцвѣтныя, блестящія перья, гребень какъ у пѣтуха, широкія и высокія ноги. Издали эти необыкновенныя созданія можно принять по росту за верблюдовъ; бѣгъ ихъ такъ же скоръ, какъ легокъ полетъ; длинныя правильныя перья у крыльевъ служатъ вмѣстѣ и подпорками, которыми для ногъ облегчается бѣгъ. Никакой скакунъ, никакой паровозъ не сравнится съ ними въ быстротѣ бѣга, совершаемаго, когда нужно, съ прыскомъ. Никакимъ войскомъ, никакимъ орудіемъ они не одолимы: гранатныя осколки отскакиваютъ отъ ихъ упругаго оперенія, не плоше чѣмъ пули отъ крокодиловой или слоновой шкуры. Живое представляется строй этихъ красавцевъ мірозданія: владѣющій ими получалъ значеніе и силу рыцаря Среднихъ Вѣковъ, которому неуязвимая броня обращала въ рабовъ безоружное населеніе визеновъ... Я безпокоился, какому народу могло попасть въ руки такое орудіе силы, и изобрѣталъ походы, послѣ которыхъ въ концѣ доставалось оно, послѣ тяжелой борьбы, не Испанцамъ, какъ Америка, не Англичанамъ, какъ теперешнія моря, а Русскимъ. Какое наблюденіе надъ яйцами этихъ гигантовъ, какой долгій процессъ пекенія яицъ, какой внимательный выборъ пищи для нихъ! А они, какъ воздушные верблюды, наѣдаются и напиваются надолго;

они могутъ отъ обѣда до обѣда обогнуть земной шаръ. Они способны летѣть съ быстротой пущенной пули. Но зачѣмъ? Такая быстрота и не нужна, развѣ въ особенныхъ случаяхъ.

Отправлялся я на этихъ воздушныхъ носителяхъ, и помню, первая моя экспедиція была на полюсы. Они не изслѣдованы; на картахъ пустыя мѣста. Я пролеталъ этими мертвыми пространствами, гдѣ видъ изнемогалъ отъ однообразія сѣробѣловатыхъ горъ освѣщаемыхъ, смотря по времени года, то сѣвернымъ сіяніемъ, то не закатающимся солнцемъ. А почему не быть на полюсахъ жизни? А можетъ-быть тамъ, за льдами, островъ, и притомъ вѣчно зеленѣющій, съ вулканическою почвой, гдѣ, какъ около Геклы, никогда не замерзаетъ, благодаря вѣчному подземному теплу. И создавался цѣлый народъ, цѣлое общество съ обычаями отъ насъ далекими, въ родѣ японскихъ или древномексиканскихъ. Воображеніе перескакивало къ нашей Лапландіи, и умъ задавался вопросомъ: почему бы здѣсь не быть такой вулканической почвѣ? Этотъ край, подобно теплицѣ, произращаетъ на зло географической широтѣ тропическіе плоды, и земля не уступаетъ въ плодородіи Нильскимъ берегамъ.

Отъ воздушныхъ великановъ воображеніе обращалось къ земнымъ великанамъ изъ четвероногихъ. Не довольствуясь слонами, пыталось воспроизвести допотопныхъ звѣрей, придумать такихъ, которыхъ и наука не открыла. И какъ по морю совершается правильное сообщеніе на чудахъ-корабляхъ, такъ движутся по сухопутнымъ дорогамъ въ той же размѣренной правильности слоны-гиганты, съ силой и быстротой необыкновенными. Ихъ путь опоясываетъ земной шаръ, дополняя воздушныя сообщенія.

Сколько знакомаго напомнилось мнѣ, когда начали выходить романы Жюль Верна! Многое, не то самое, но подобное пережито мною начиная съ десятилѣтняго возраста. Леталъ и я на луну, но предпочиталъ другія

свѣтила: то ближайшія планеты въ родѣ Марса и Венеры, то создавалъ новаго землѣ спутника. Попалась на глаза чья-то догадка, что луна можетъ-быть есть отрывокъ той части земнаго шара, которая теперь покрыта Великимъ Океаномъ; у меня составилъ планъ новаго отторженія отъ земли. Сибирскія тундры или степь Гоби негодны; жалѣть ихъ нечего; онѣ оторвались, образовали планету. Я пустился въ приблизительныя исчисленія, какъ великъ будетъ новый шаръ и сколько будетъ хода кругомъ. Я представилъ себѣ карту этого шара, на который, вмѣстѣ съ отлетомъ его отъ земли, попало и нѣсколько живыхъ существъ, сотни, тысячи, можетъ-быть и сотни тысячъ. Я начиналъ съ ними исторію ихъ культуры, переживалъ Робинзона въ новомъ изданіи; чувствовалъ безпокойство отъ слишкомъ короткихъ дней, отъ ночей, которыя оказывались чересчуръ ясными при освѣщеніи, получаемомъ, помимо луны, еще и отъ земли. Я щурился и замуривалъ глаза, когда задумывался объ этомъ, какъ будто и въ самомъ дѣлѣ лечу въ звѣздномъ пространствѣ на одномъ изъ тѣхъ тѣлъ, которыя называются падающими звѣздами.

Жюль Вернъ пользуется фантастическими описаніями, чтобы сообщить научныя свѣдѣнія. У меня происходило наоборотъ: мечты понуждали къ добыванію научныхъ свѣдѣній. Чтобы дополнить какую-нибудь неясную подробность въ моемъ фантастическомъ созданіи, я обращался къ книгамъ и спрашивалъ у нихъ, какіе физическіе способы представляются къ тому на примѣръ, чтобы корабль могъ опускаться на дно не задушая пассажировъ, и какою сравнительною плотностью и упругостью обладаютъ тѣла. Гдѣ только можно было, я вычитывалъ палеонтологическія свѣдѣнія, для того чтобы создать своихъ птицъ-гигантовъ и слоновъ-великановъ, или воссоздавать грифовъ, съ которыми я тоже жилъ нѣкоторое время. Забота о размѣщеніи рода человѣческаго, о средствахъ предста-

влявшихся новымъ Робинсонамъ, повели къ изученію плодородія вообще. По сту разъ я срывалъ колосья зерновыхъ хлѣбовъ, пересчитывалъ, выводилъ среднія числа, поражался и скорбѣлъ, какъ при пятидесяти и болѣе зернахъ колоса, при нѣсколькихъ притомъ колосьяхъ изъ одного зерна, урожай не достигаетъ даже десяти, пожалуй пяти. Я придумывалъ преувеличенно интенсивное хозяйство, истощался въ изобрѣтеніи средствъ дать почвѣ высшее плодородіе, принуждать ее давать даже четыре жатвы въ годъ, какъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, произращать хлѣбныя зерна величиной не уступающія финику, и это приводило къ самому внимательному чтенію сельскохозяйственныхъ книгъ и статей, къ просьбамъ о томъ чтобъ ихъ достали.

Читывалъ я о дѣйствіи хашиша. Мои фантастическія построенія были именно тѣмъ состояніемъ, которое производитъ хашишъ, но только безъ потери будничнаго сознанія. Пріятное и желаемое воображеніемъ возводилось въ грандіозныя размѣры, иногда выраставшіе до уродливости, которою я начиналъ тяготиться, и бросалъ утомленный, переходя къ другому роду созданій.

И не только въ періодъ моего озлобленія и равнодушія уносился я въ міръ внѣ реальнаго. Нѣтъ, эта двойная жизнь затѣмъ никогда меня не покидала; со случайнымъ ослабленіемъ внѣшнихъ впечатлѣній или со случайными препонами для практическаго исхода мыслямъ менѣе фантастическимъ, умъ принимается за построенія въ мірѣ возможнаго, несуществующаго, часто неосуществимаго. Я долженъ употреблять усилія, чтобъ остановить себя, и я подчасъ боюсь, чтобы не кончить мнѣ хроническимъ, неисцѣльнымъ недугомъ этого свойства: жутко мнѣ становится при представленіи этой опасности.

Постоянство этого пребыванія въ фантастическомъ мірѣ одновременно съ реальнымъ образовало нѣкото-

рые излюбленные пункты, на которыхъ преимущественно сосредоточивается и любитъ привитать фантазія. Вниманіе отъ нихъ отстраняется на время, занятое практическими заботами или творчествомъ въ реальномъ мірѣ, но при первомъ случаѣ снова возвращается, продолжая прерванный процессъ чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ, иногда даже лѣтъ. Въ перечисленныхъ выше образцахъ не все поэтому принадлежитъ исключительно описываемому возрасту отъ 10 до 12 лѣтъ. Подробности птицъ-великановъ сочинены, дополнены, можетъ-быть уже чрезъ два года или чрезъ три, когда я жилъ въ Москвѣ и когда совершалъ ежедневныя путешествія въ семинарію отъ Дѣвичьяго монастыря до Никольской, на разстояніи пяти верстъ, въ продолженіе часа. Голова пустовала и умъ былъ свободенъ: онъ обращался къ полузабытымъ образамъ, дополнялъ ихъ, обдѣлывалъ, придавалъ имъ болѣе естественности.

Когда я придумывалъ новыя царства и передѣлывалъ исторію, я для большей естественности обращался къ незнаемымъ странамъ; я населялъ ихъ и сочинялъ имъ исторію безъ опасенія вступить въ противорѣчіе съ дѣйствительностью. Австралія или по тогдашнему Новая Голландія была однимъ изъ любимыхъ мѣстъ, гдѣ я давалъ просторъ своему творчеству. Тутъ копошилось болѣе сотни милліоновъ; горами, рѣками и озерами испещрялась внутренность страны; придумывалась флора и фауна, сочинялась своеобразная культура. Постройка жилищъ, одежда, вооруженіе, языкъ, династіи — все было сочинено и большей части дано даже имя. Въ ученическихъ тетрадкахъ, оставшихся отъ синтаксическаго класса, я нахожу слова, написанныя мною по печатному, бессмысленныя на взглядъ; но они имѣли для меня смыслъ: это были собственныя имена царей, полководцевъ, художниковъ-сочиненнаго мною государства. Сочинять это небывалое государство дало мнѣ поводъ должно-быть путеше-

ствіе Головнина и открытый имъ своеобразный міръ Японцевъ. Въ моемъ фантастическомъ государствѣ были тоже бумажные дома, по изъ папье-маше, монументальныя зданія, фигуру которыхъ доселѣ я живо представляю, своеобразнаго стиля. Жалѣю подчасъ, что не умѣю рисовать. Эти причудливыя линіи были бы не безынтересны. Не въ этотъ періодъ 10—12 лѣтъ, а послѣ я пробовалъ вылѣплять изъ глины, вырѣзывать и выклеивать изъ бумаги памятники, храмы, дворцы, созданные моею фантазіей, но не могъ докончить никогда, по обилію требовавшагося мелочнаго труда. Тѣмъ не менѣе я жадно изучалъ исторію архитектуры, насколько позволяли средства; на долго я иногда вперялъ взоръ въ какой-нибудь чертежъ, и посторонній свидѣтель могъ бы подивиться, чѣмъ я такъ особенно люблюсь; но я не любовался, какъ не любовался стоя въ классѣ по часу предъ картой; въ эту минуту въ головѣ моей совершался процессъ построеній, которому видимое изображеніе служило только поводомъ. На географической картѣ можетъ-быть я искалъ въ эту минуту естественныхъ географическихъ средоточій общежитія. Я находилъ ихъ на Суэцкомъ и Панамскомъ перешейкахъ. Я прорывалъ черезъ нихъ каналы, не тѣ мизерные, что сооруженъ Лессепсомъ въ Суэцѣ и проектированъ въ Панамѣ, но каналы шире Босфора. Я перекидывалъ черезъ нихъ цѣпные мосты, ширины необъятной и красоты неописанной, съ висячими садами, съ высившимися маяками, изъ которыхъ каждый есть чудо искусства. Я протягивалъ улицу, которой нѣтъ равной въ мірѣ, которая соединяетъ оба материка, заканчиваясь по обѣ стороны дорогами: одною теряющеюся въ Камчаткѣ, другою упирающеюся къ мысу Доброй Надежды. Тутъ-то денно и ночью двигаются четвероногіе великаны среди дворцовъ, которымъ развѣ слабое подобіе представляютъ знаменитѣйшія столицы міра. Какъ въ Венеціи, каждое зданіе есть памятникъ искусства, запечатлѣнный своеобразнымъ геніемъ. Какъ Венеція,

эта столица полушарія изрѣзана каналами, представляя заразъ и Венецію и Швейцарію,—Швейцарію потому, что ей надобно быть совершенствомъ, а чтобы быть совершенствомъ, она не должна страдать отъ жаркаго климата; она потому расположена на разныхъ высотахъ, такъ что круглый годъ продолжаются всѣ времена года. Черезъ холмы, какъ черезъ каналы, протянуты также нити мостовъ, напоминающихъ кружевные ленты; подгорія опушены садами, а внизу снуютъ суда всевозможныхъ размѣровъ, очертаній, цвѣтовъ. Мраморъ, фарфоръ, порфиръ и лазуревый камень, никкель и алюминій соперничаютъ въ украшеніи зданій, то величественныхъ въ своей простотѣ, то прихотливыхъ по вычурности, которую представляетъ инкрустація слоновой кости, перламутра, черепахи и яшмы на палье-маше, представляя гармоническую смѣсь китайскаго съ мавританскимъ, восточно-малайскаго съ западно-семитическимъ.

Прошу послѣ этого перенестись въ эту, хотя и свѣтлорозовую залу съ розеткой на потолокъ, съ изрѣзанными, словно изгрызенными скамьями, въ добавокъ зачерненными; стать среди этихъ грубыхъ мальчишекъ, отъ которыхъ несетя гамъ ругательствъ и стукъ раздаваемыхъ колотушекъ; сюда, въ этотъ темный уголъ колѣнопреклоненныхъ, къ этимъ лохмотьямъ нагольных тулуповъ, къ этимъ тупицамъ, въ числѣ двухъ или трехъ, сидящимъ зажавъ уши и задалбливающимъ въ сотый разъ короткую фразу; къ этимъ шеямъ, протянутымъ чтобы „списать“, къ свирѣпому ректору, расхаживающему по залѣ (онъ никогда не сидѣлъ) и вотъ заносящему руку съ табакеркой, чтобы ударить; къ этому свисту розги, къ этимъ плевкамъ, въ которыхъ упражняются искусники, пуская ихъ изъ угла въ уголъ и попадая въ цѣль съ удивительною мѣткостью. Это все было кругомъ меня, но подчасъ чувствовалось не болѣе какъ бѣлье на тѣлѣ. Половины окружавшаго для меня не существовало.



## XXII.

## Особенности полета.

Политическое, отчасти техническое, хозяйственное, художественное направлѣніе принимала моя фантазія, но женщина въ нихъ не получала мѣста ни прежде, ни послѣ, хотя я перечиталъ не вѣсть сколько романовъ и хотя большинство ихъ завязано на любви. Въ дѣтскомъ возрастѣ не удивительно, что женскій образъ отсутствовалъ въ мечтахъ; но его не появлялось и въ ту пору, когда половыя потребности должны бы были повидимому направить къ нему воображеніе.

Никогда фантазія не направлялась и въ міръ религиозно-мистическій, хотя Четы-Миней служили подпочвой моего чтенія, и обращался я къ нимъ не разъ и не два. Создавая героевъ въ разныхъ сферахъ общественныхъ, ни разу воображеніе не бралось произвести подвижника подобнаго Симеону Столпнику, представить видѣніе въ родѣ Покрова Богородицы, словомъ—низвести горній, духовный міръ и распорядиться имъ. Между тѣмъ суровое подвижничество Симсона, Фивадская пустыня съ Пахоміемъ и Ѳеодосіемъ и даже Радонежская пустыня, точнѣе — лѣсная пуща Сергія поражали меня. Я представлялъ себѣ живо этотъ отшельнический міръ; онъ трогалъ меня, восторгалъ, но фантазія бездѣйствовала, творчество не подступало дополнить и развить вычитанное. Потому ли что не ощущалось противорѣчія идеалу, не видѣлось надобности переѣлывать и доѣлывать? Дальше Симеона Столпника и Маріи Египетской и уйти некуда. Или потому что вымышляя событія, я не присваивалъ себѣ никогда личнаго участія, оставаясь только зрителемъ и свидѣтелемъ картинъ и драмъ, создаваемыхъ мною, развѣ только что леталъ иногда, или случалось носиться по

морямъ въ одиночку? Я не возносілся мечтой къ тому чтобы быть чѣмъ-нибудь, обладать чѣмъ-нибудь, наслаждаться чѣмъ-нибудь, поражать кого-нибудь чѣмъ-нибудь: фантазія хотѣла, чтобы предо мной происходило и жило то или другое. Изоцряясь въ сооруженіи памятниковъ, я придумывалъ художниковъ, которые надъ ними трудились, воображалъ ихъ усилія; я смотрѣлъ на битвы, взоромъ слѣдовалъ за походами, придумывалъ одѣянія для измышляемыхъ царей и народовъ, въ томъ числѣ для обоихъ половъ и для женщины слѣдовательно; религіозный культъ съ монастырями включительно развивался и процвѣталъ предъ моими мысленными глазами. Но тѣмъ и другимъ и третьимъ я только любовался, только успокоивался, преодолевая трудности придумыванія. Ранѣе, устраивая аптеку изъ папертнаго подвала, я воображалъ себя провизоромъ; въ тотъ же періодъ любилъ изображать изъ себя и учителя, расхаживалъ по горницѣ диктуя, раздавая тетрадки мысленнымъ ученикамъ, то-есть разбрасывалъ ихъ по стульямъ. Но этотъ кукольный періодъ, періодъ лицедѣйствія, кончился къ тому времени, когда фантазія начала работать углубившись въ себя. Тутъ лицедѣйствія уже не было, даже мысленнаго. Изрѣдка, да и то въ послѣдніе годы, воображеніе увлекало меня принять на себя благодѣтельство роду человѣческому, помощь кому-нибудь въ страданіяхъ въ видѣ подкрѣпленія такими или другими матеріальными средствами; но и въ этихъ случаяхъ фантазія упорно требовала моего инкогнито: я наслаждался видомъ утѣшенныхъ, освобожденныхъ, осласливленныхъ, но они меня не видѣли и не знали. Фантазія воплощала Иванушку или Емелю дурачка, которые совершаютъ чудеса, заставляя недоумѣвать о виновникѣ; а виновникъ продолжаетъ пребывать гдѣ-нибудь въ избѣ, незнаемый и презираемый.

Въ міръ отвлеченной науки также не воспаряла фантазія; во первыхъ, наука сама по себѣ уже есть отрицаніе образа; во вторыхъ, личное развитіе не доросло

до того, чтобы высшія истины обратить въ глину для выѣпки образовъ. Я проектировалъ въ моемъ фантастическомъ городѣ библіотеки, музеи и лабораторіи, назначенныя для общаго пользованія; устраивалъ цѣлое вѣдомство для поощренія изобрѣтеній и изобрѣтателей, которые въ фантазіи являлись верховными, чтимыми ото всего общества жрецами; но себѣ опять не давалъ среди нихъ мѣста. Въ мечтахъ лично о себѣ я представлялъ иногда, что какимъ-нибудь необыкновеннымъ переворотомъ судьбы я пріобрѣлъ себѣ покровителя и ментора, который разрѣшаетъ мгновенно всѣ мои сомнѣнія, доставляетъ всѣ желаемыя мною книги, отъ котораго я обучаюсь всѣмъ возможнымъ языкамъ; усиливался иногда и представить изъ себя ученаго, погруженнаго въ книги; но падала безсильная мысль за отсутствіемъ дальнѣйшаго матеріала, за отсутствіемъ реального содержанія, ибо наука ей не была знакома.

Не могу не остановиться на идиосинкразіи, обнаружившейся во время моихъ фантастическихъ полетовъ. Придумывая собственные имена, я облюбовывалъ преимущественно извѣстныя сочетанія звуковъ. Такого было имя „Чольфъ“; его-то между прочимъ и нашелъ я изображеннымъ на своей ученической тетрадкѣ. Помню, что въ большей части придумываемыхъ именъ повторялись эти звуки: либо ч, либо лъ, либо ф. Разъ я занялся усердно армянскою исторіей: почему? Потому только что мнѣ понравилось въ своемъ звукосочетаніи имя Арсакъ; отсюда судьба Арсака и Арсакидовъ заинтересовала меня; внимательно нѣсколько разъ я перечитывалъ о нихъ въ словарѣ Плюшара; Арсакиды же повели меня и далѣе къ Армянамъ и затѣмъ къ Грузинамъ. Случайнымъ такое дѣйствіе звуковъ не можетъ быть, и я напоминаю о фактѣ, полагаю, не безызвѣстномъ въ типографіяхъ: „у каждого писателя есть свои *походныя* буквы“. Для типографскихъ касъ въ каждомъ языкѣ есть свой общій законъ, въ силу котораго однѣ буквы употребляются чаще, другія рѣже; исчислено доволь-

но точно даже ихъ ариѣметическое отношеніе; на немъ основано количество, въ которомъ отливаются буквы, сколько должно приготовить для каждой кассы употребительнѣйшаго *о* и сколько мало употребительнаго *и*. На томъ же основаніи самыя помѣщенія для буквъ разнятся своею величиной въ кассахъ. Шифрованное письмо любого языка на томъ же основаніи легко читается, если взяты вмѣсто буквъ произвольные, но для каждой постоянные знаки. Тѣмъ не менѣе бывають писатели, ниспровергающіе общій законъ, по крайней мѣрѣ вводящіе значительное отъ него уклоненіе несоотвѣтственно частымъ повтореніемъ извѣстныхъ буквъ. Набравшіе напримѣръ покойнаго Михаила Петровича Погодина знали, что для статей его нужно запастись въ особенномъ обиліи буквой *и*. Были долготерпѣливые, которые высчитывали количество словъ употребленныхъ знаменитыми писателями, составляли для каждаго словаря и находили возможнымъ строить на этомъ выводы о существѣ и размѣрѣ дарованій того и другаго. Но есть, какъ оказывается, соотношеніе дарованія не къ составу словаря, а къ составу самой азбуки. Почему-нибудь да любимы извѣстныя сочетанія звуковъ; почему-нибудь къ нимъ да прибѣгаютъ охотнѣе умъ и перо: явленіе заслуживаетъ того, чтобы наука остановила на немъ свое вниманіе.

Въ построеніи фантастическихъ народовъ и государствъ дѣтскій умъ не оставилъ безъ вниманія и языкъ. Всемирное государство или государство всего Стараго Свѣта отъ Камчатки до мыса Доброй Надежды должно имѣть какой-нибудь государственный языкъ. Это государство въ моихъ представленіяхъ было федераціей государствъ и народовъ и управлялось конгрессами, періодически собирающимися. Оставалось придумать языкъ. Есть такой языкъ, подсказывала фантазія, въ которомъ каждый изъ прочихъ находитъ свои простѣйшіе элементы; онъ каждому понятенъ, какой бы кто народности ни принадлежалъ; прочіе суть его от-

ростки взаимно себя не признающіе. Представлялся онъ мнѣ чѣмъ-то въ родѣ китайскаго языка, съ односложными звуками и съ азбукой независимою отъ звуковъ. Стоитъ знать эту азбуку и законъ ея сочетанія: каждый, смотря на нее, воспроизведетъ многосложное слово, отличительное его народу.

Эта фантазія не переходила предѣловъ естественности. Дѣтская голова чуяла бытіе первоязыка и законъ развитія отдѣльныхъ языковъ подъ вліяніемъ географіи и исторіи. Но нѣкоторые образы принимали совершенно сказочный колоритъ. Телеграфовъ тогда не было еще. Потребность въ нихъ удовлетворялась для меня своего рода зеркаломъ, о которомъ говорится въ сказкѣ, что посмотришь въ него и увидишь желаемое. Происходящее за тридевять земель читать де можно на лунѣ, гдѣ должно отражаться все происходящее на земномъ полушаріи, къ ней обращенномъ. Невозможность читать происходить лишь отъ несовершенства оптическихъ инструментовъ. А то придумывались особенныя магнетическія пластинки, которыя обладали такимъ свойствомъ, что написанное на одной одновременно воспроизводилось на другой. Какимъ бы пространствомъ ни были разлучены обладатели пластинокъ, они получали возможность переговариваться между собою. Свойствомъ производить на другомъ полюсѣ начертаніе изображенное на противоположномъ одарено особенное химическое вещество; и самыя пластинки устраивались изъ особаго спеціально чувствительнаго металла.

Но увольняю читателя отъ подробностей, которыми наполнить можно цѣлые томы. Особенная судьба моего личнаго развитія, совершавшагося подъ дѣйствіемъ рѣзко очерченныхъ причинъ, не можетъ не представить интереса, по моему мнѣнію, для педагога, для психолога, фізіолога, пожалуй психопатолога. И поэтому я позволялъ себѣ о моихъ витаніяхъ внѣ реальнаго міра нѣсколько распространиться. Они преслѣдовали всю жизнь мою и только перемѣняли видъ: въ юноше-

скія лѣта и далѣе, на мѣсто фантастическихъ грезъ вступили логическія построенія, на мѣсто образовъ—понятія и затѣмъ преувеличенная рефлексія, все тотъ же самопожирающій процессъ внутренней работы. Она усиливалась обыкновенно и ослабѣвала по мѣрѣ того, какъ расширялся или стѣснялся просторъ воздѣйствія на внѣшнюю жизнь. Въ числѣ прочаго вреда моя рѣдкая въ дѣтскіе годы память, между прочимъ, приносила и тотъ, что давала головѣ много досуга. Опытный педагогъ присадилъ бы меня за такую выучку, чтобы чувственное воспріятіе работало до утомленія и затѣмъ являлась бы потребность въ физическомъ отдыхѣ. Но уроки по моимъ силамъ были ничтожно слабы; сначала я ихъ не училъ потому, что отказался отъ нихъ, а послѣ того я успѣвалъ знать ихъ безъ заучиванья. Опытнаго и внимательнаго педагога около меня не было, и если бы случился, я бѣ ему не открылся; мой фантастическій міръ оставался при мнѣ, я ни съ кѣмъ имъ не дѣлился, никому даже отдаленнаго намека не показывалъ. Въ послѣдствіи педагогію къ себѣ прилагалъ я самъ, задавая себѣ механически-умственные труды въ родѣ счета и выкладокъ. Въ молодыя лѣта я составлялъ сводъ церковныхъ законовъ. Десятки тысячъ карточекъ своеручно уписаны были извлеченіями изъ каноновъ, изъ богослужебныхъ книгъ, изъ Полнаго Собранія Законовъ. \* Въ эпоху эманципаціи подобный же сводъ былъ сдѣланъ всему (впрочемъ, не безъ посторонней помощи \*\*) писанному о крестьянской реформѣ, всѣмъ стать-

\* Одинъ изъ моихъ бывшихъ слушателей и сослуживцевъ Гр. Н. Смирновъ-Платоновъ въ своей *Автобіографіи*, напечатанной въ журналѣ *Дѣтская Помощь*, вспомнилъ объ этомъ моемъ трудѣ, въ которомъ и онъ отчасти участвовалъ. Достойный редакторъ *Дѣтской Помощи* выражаетъ сожалѣніе, что учено-художественное воспроизведеніе церковнаго организма, задуманное тогда мною, замерло на дорогѣ. Но обстоятельства сильнѣе человѣка. Напоминаніе бывшаго участника въ моемъ трудѣ можетъ быть воодушевить кого нибудь къ повторенію задуманнаго мною: и то бы хорошо!

\*\* Помощниками моими были: О. А. Гиларовъ и В. В. Крестовоздвиженскій; (послѣдніе уже нѣтъ въ живыхъ).

ямъ и всѣмъ мыслямъ каждой статьи. Подобные труды налагаемы были мною на себя и по другимъ отраслямъ; иные можетъ-быть даже увидать свѣтъ. Есть книжка, даже печатная, мною составленная (напечатано ея всего десятка два экземпляровъ), въ которой на 230 страницахъ ничего нѣтъ кромѣ цифръ, и притомъ каждая съ десятию десятичными. Это были внѣшне-утомительные труды, но я съ радостью садился за нихъ, отдыхалъ на нихъ, находилъ въ нихъ для себя гимнастику, въ предупрежденіе полетовъ въ эту область сверхреальнаго, въ это невольное опьянѣніе умственнымъ хашишемъ, доводившее меня иногда до изнеможенія. Упорство и послѣдовательность фантастическихъ образовъ, которые во мнѣ возникали, принесли мнѣ свою долю пользы, послуживъ къ чрезвычайному расширенію моихъ свѣдѣній въ дѣтскомъ возрастѣ и къ упроченію добытыхъ. Но все-таки это—болѣзненное явленіе и по моему мнѣнію не безопасное при необузданномъ ходѣ.

### XXIII.

#### Отъ тиранства къ сердоболію.

Итакъ, я оставленъ *старымъ*. Въ списокъ я былъ зачисленъ вторымъ ученикомъ, сѣлъ на второе мѣсто; какъ водится, меня возвели въ аудиторы и въ „старшіе“ (надъ квартирными своекоштными). Черезъ нѣсколько дней человекъ пятеро изъ моихъ сверстниковъ-*старыхъ* (насъ оставлено всѣхъ съ не большимъ десяткомъ) пригласили меня въ трактиръ. Я отправился. Это было второе мое посѣщеніе трактира, которое потомъ въ Коломнѣ уже не повторялось; въ первый разъ около года назадъ водилъ меня одинъ исключенный изъ низшаго отдѣленія мальчикъ, пріѣхавшій изъ деревни въ училище за „свидѣтельствомъ“. Онъ жилъ у нашего

пономаря, зналъ меня близко и, увидавъ меня, пригласилъ въ трактиръ, гдѣ накормилъ зернистою икрой съ калачемъ. Мои товарищи, старые, теперь потребовали чаю; значитъ мы почувствовали себя большими. Пригласили меня вотъ для чего: старые де рѣшили такъ и такъ держаться съ молодыми, и вотъ дескать всѣ уговарились, и ты долженъ знать. Словомъ, это былъ скопъ. Разсѣянно я слушалъ эти наставленія, которыхъ въ подробности даже не помню теперь. Вѣроятно я уже выдѣлился чѣмъ-нибудь или обѣщалъ выдѣлиться, что сочли нужнымъ дать мнѣ инструкцію въ чрезвычайной аудіенціи. Скоро впрочемъ я выдвинулся дѣйствительно. У инспектора быстро я былъ пересаженъ на первое мѣсто, а предъ ректоромъ чѣмъ-то провинился сидѣвшій у меня сбоку цензоръ, вслѣдствіе чего былъ низвергнутъ на конецъ скамьи, вопреки обычаю ректора не дѣлать пересадокъ. Должно-быть вина ученика была какая-нибудь чрезвычайная, что прибѣгнуто къ такой чрезвычайной мѣрѣ. Но душа моя была такъ далека отъ класса, что я тогда даже не полюбопытствовалъ о причинѣ, какъ не вникъ полтора года назадъ въ подробности вины торжественно высѣченныхъ тридцати. По низверженіи сосѣда я облеченъ былъ, сверхъ прочихъ преимуществъ, еще прерогативой цензорства, на что (какъ и на званіе старшаго) получилъ грамоту за № и подписью ректора, проще сказать—„инструкцію“. Обѣ эти инструкціи у меня сохранились и обнаруживаютъ нѣсколько канцелярскій взглядъ А. И. Невостружева; старшій, на примѣръ, обязанъ былъ наблюдать между прочимъ, чтобъ ученики вставали въ 6 часовъ утра; это я-то за учениками, разсѣянными по вольнымъ квартирамъ!

Звѣзда моя поднялась, и стала такъ высоко, какъ ничья еще никогда, по преданіямъ училища. Безъ инструкціи, на словахъ, по ректоръ объявилъ меня по какому-то случаю „сеніоромъ“, то-есть старшимъ надъ старшими, и суперъ-авдиторомъ, то-есть аудиторомъ



надъ аудиторами. Въ праздничные дни я долженъ былъ наблюдать, чтобы все училище являлось къ обѣднѣ въ соборъ; я долженъ былъ вести и разстановивать учениковъ; не только нашъ классъ, но, за исключеніемъ внутренности прочихъ классныхъ залъ, все училище было подъ моею косвенною властью. Я имѣлъ право поставить столбомъ любого; по моему одному слову могла послѣдовать порка; я могъ переспросить урокъ и провѣрить аудитора, могъ обревизовать ученическія тетради и пр. и пр.

Существенною частью этихъ прерогативъ я пользовался очень умеренно и неохотно. Я даже ни разу не посѣтилъ квартиры подвѣдомственныхъ моему старшинству. Въ моемъ районѣ не было общежитій; подвѣдомственные жили по одиночкѣ, и большею частію у родныхъ. Не только моя застѣнчивость, но здравый смыслъ должны были говорить, что въ данномъ случаѣ надзоръ смѣшонъ и обозрѣвать нечего. На училищныя шалости я смотрѣлъ сквозь пальцы, не донося ни на кого, а тѣмъ менѣе представлялъ къ сѣченію. Когда, вмѣсто того чтобы идти къ богослуженію, нѣкоторые изъ ребятъ предпочитали биться въ Пыточной улицѣ на кулачкахъ, я ограничивался замѣчаніемъ; я умалчивалъ даже о такихъ происшествіяхъ, какъ серьезный кулачный бой, на которомъ одинъ мальшій былъ избитъ до синяковъ на лицѣ. Я даже любилъ присутствовать на этихъ бояхъ на Пыточной улицѣ по праздничнымъ вечерамъ, когда они происходили. Я любовался. Это происходило обыкновенно только зимой, и игрище начиналось мальчишками, школьниками духовными съ одной стороны, мѣщанскими съ другой. Къ десятилѣтнимъ приставали вскорѣ старшіе, и бой разгарался. Мелкота отходила по мѣрѣ того, какъ подбывала крупная сила. Болѣе или менѣе продолжительное время бьются „стѣнка объ стѣнку“, ни та ни другая не уступая шагу. Стѣнки (каждая состояла изъ рядовъ двухъ, трехъ) запирали улицу; мел-

кота, бывшая впереди сначала, теперь жалась по бокамъ и сзади, дожидаясь своего чередъ. Двѣ противныя стороны стоятъ выстроившись. Съ боку только и видишь размахиваніе кулаками по воздуху. Каждый стоитъ въ ожиданіи, что противникъ выступитъ впередъ, и тогда наносится ударъ, оканчивающійся разнo. Иногда подвергшійся нападенію не устываетъ; къ нему на помощь обращаются ближайшіе сосѣди; къ единоборствовавшему на противной сторонѣ подступаютъ также ближайшіе; образуется нѣсколько пунктовъ схватки, пока наконецъ на какомъ-нибудь подбытіе новой силы съ заднихъ рядовъ не дастъ рѣшительнаго перевѣса. Противники валятся; иногда шагъ за шагомъ отступаютъ, пятась; остальные пункты спѣшатъ равняться, чтобы не быть отрѣзанными. При равной силѣ съ обѣихъ сторонъ бывало, что чрезъ четверть часа, чрезъ полчаса такого колеблющагося боя, усталыя стороны расходятся на свои мѣста. Мелкота снова завязывала бой, и снова перевѣсъ которой-нибудь стороны вызывалъ подкрѣпленіе сторонѣ противной. Снова стѣнки изъ большихъ; снова маханье кулаками отставя ногу; снова битва, на этотъ разъ оканчивающаяся можетъ-быть бѣгствомъ одной изъ сторонъ. Подбылъ можетъ-быть богатырь какой-нибудь, „Мухрынчикъ“. Подъ его кулаками противники валятся съ ногъ; всеобщее бѣгство съ великимъ гамомъ нападающихъ. И тутъ-то снова работа мелюзгѣ, исполняющей обязанности легкой кавалеріи въ дѣйствительномъ сраженіи: она бѣжитъ въ догонку, бьетъ сзади, иногда въ прыскъ, чтобы достать бѣгущаго въ шею.

Безо всякаго уговора, по граница арены опредѣлена: съ одной стороны берегъ, въ который упирается улица, съ другой площадь. Правила боевъ свято соблюдаются: не только „лежачаго не бьютъ“, о чемъ и пословица сложилась, но безчестно признанному силачу вступать въ бой, прежде чѣмъ противная сила одолѣваетъ. Относительная равномерность силъ есть главное усло-

віе честнаго боя. Онъ и не начнется, если въ первомъ ряду станетъ завѣдомый силачъ. Противная сторона разоидется съ упреками: „вы бы еще Мухрынчика или Комсеря поставили!“ Признанные богатыри въ слѣдствіе того, являясь на бой, часто оставались безо всякаго дѣла, стоя въ резервѣ, въ отдаленіи. Мальчики толпятся около героя кулачныхъ боевъ, смотря ему въ глаза и выжидая времени, когда онъ сочтетъ достойнымъ себя броситься и „косить направо и налево“. Дѣйствительно бывало, что парень, не дѣйствуя кулаками, только разводитъ руками въ стороны, обращаясь направо и налево, и противники падаютъ частію отъ дѣйствительнаго удара, частію въ опасеніи его. Бить позволялось по лицу, по шеѣ, въ грудь, по ребрамъ, но не далѣе; ударъ по „скуламъ“—самый благородный. Подло падать предъ нападающимъ и вставъ бить побѣдителя въ задъ. За это проучивали. Окружали такого молодца, прижимали къ забору, чтобъ онъ не могъ лечь и чтобы „не бить лежачаго“; но уже угощали сытно, не забудетъ долго.

Большее частію происходили все умѣренные бои, съ обѣихъ сторонъ можетъ-быть сотни по полторы, по двѣ бойцовъ. Но бывали изрѣдка грандіозные, когда городскіе шли на деревенскихъ. Ареной служила Москва-рѣка, и противниковъ загоняли то на тотъ, то на другой берегъ; участвовавшихъ бывало по тысячамъ. Раза два я бывалъ свидѣтелемъ такихъ боевъ, но безъ особеннаго удовольствія. Слѣдить становилось уже трудно, и вообще бой нѣсколько утрачивалъ изъ своего характера осмысленной игры. Въ Англіи употребительно боксерство, единоличная борьба на кулакахъ; ею не гнушаются высшіе классы. Объ организованныхъ бояхъ цѣлыми ватагами не доводилось читать. У насъ, на оборотъ, единоборство не въ чести, и потому не въ ходу самая борьба въ тѣснѣйшемъ смыслѣ (боронье); но кулачные бои—любимая народная забава, не совсѣмъ основательно выброшенная

общимъ мнѣніемъ въ рядъ неприличныхъ и даже звѣрскихъ удовольствій. Правильный бой (не драка и не побоище) есть атлетическое упражненіе, ничѣмъ не ниже и не вреднѣе состязаній въ бѣгъ и борьбѣ, но съ тою разницей, что кромѣ развитія гимнастическаго оно воспитываетъ до извѣстной степени стратегическую смышленость.

Лично въ бояхъ я никогда не участвовалъ, хотя въ душѣ завидовалъ удалцамъ. Мѣшала та же застенчивость, по которой я не рѣшался и исполнять соловья изъ котлаго пѣнія.

Возвращаясь къ своему положенію въ училищѣ. Хотя я умѣренно пользовался предоставленными мнѣ верховными правами, но они произвели во мнѣ нравственный переворотъ: я сталъ деспотомъ и тираномъ, деспотомъ и тираномъ безкорыстнымъ; находилъ наслажденіе въ чужихъ слезахъ, любилъ измываться, наводить страхъ и тѣшиться произведеннымъ впечатлѣніемъ. Гадкое это чувство! Въ сердчишкѣ двѣнадцатилѣтняго происходило приблизительно, мнѣ кажется, то же чтò въ сердцѣ грознаго Іоанна, когда тотъ потѣшался казнями. „Павловъ, поди сюда!“ повелѣваю я малому на 5 или 6 лѣтъ старше меня, дюжему, рослому. „Наклоняй голову!“ Онъ наклоняетъ. Я его бью, таскаю за волосы и отпускаю. Бью и таскаю ни за что, а такъ, изъ удовольствія, что вотъ такого большаго, который можетъ меня придавить одною рукою, извѣстнаго кулачнаго бойца, не безызвѣстнаго мѣщанамъ по Пыточной улицѣ, бью безнаказанно, издѣваюсь надъ нимъ какъ хочу, и онъ терпитъ молча и ни слова не смѣетъ сказать. „Василевскій, сюда!“ Вызываемый подходитъ. „Становись на колѣни!“ Становится. Я сажусь верхомъ на шею, велю ему встать и мчатъ меня. Онъ мчитъ послушно, и я его хлыщу лозой. Онъ безропотно трудится до пота. „По мѣстамъ! Молчать! Чтобы муху было слышно!“ Садится классъ въ безмолвіи. „Скѣй на озъ, на кулачки!“ И образуются

двѣ стѣнки и бьются въ мое удовольствіе. Я долженъ объяснить, что такое *скій* на *ѣ* (выговаривалось „на вѣди-ерь-въ“). Въ древнія времена классы не отапливались или отапливались плохо. Чтобы согрѣться, семинаристы устраивали бои, при чемъ на одну сторону становились имѣющіе фамилію на *скій*—Преображенскій, Воскресенскій, Знаменскій, на другую—Смирновы, Соколовы, Орловы, къ нимъ присоединялись Малинины и Любины.

За выстраданный первый годъ душа попросила отместки. Презрѣніе къ неразвитымъ товарищамъ, воспитанное вторымъ годомъ, подсказало форму не корысти, не честолюбія, а охотничьяго чувства. Честолюбіе, еслибъ и было, было удовлетворено свыше мѣры; единогласно я признаю стоящимъ на нѣсколько головъ выше всѣхъ; взяточничествомъ и вообще несправедливыми придирками я гнушался. Но жажду потѣхи надъ безсильными преодолѣть не могъ. Я отводилъ себѣ душу.

Къ счастью, потѣхи мои прекратились скоро: онѣ не продолжались и года. Мнѣ сдѣлалось гадко, стало стыдно предъ собою, и со мною совершился новый переломъ: я сталъ заботливою матерью класса. Я переслушивалъ уроки, но съ тѣмъ чтобъ объяснить, когда знаю, что ученикъ порядочный, и съ дарованіемъ и съ добрымъ сердцемъ, но не понимаетъ фразы, кажущейся трудною. Одному изъ лучшихъ учениковъ я предложилъ составлять записки по ректорскимъ толкованіямъ изъ географіи; трудился съ нимъ вмѣстѣ, наставлялъ его и предлагалъ желающимъ пользоваться нашими трудами. На мѣсто командирскаго озорничества вступила мягкость, услужливость, сострадательность. Переломъ былъ такъ силенъ, что отразился на всю жизнь. Я потерялъ способность приказывать и всякое умѣнье повелѣвать, которое такъ ко мнѣ и не возвратилось, въ какія положенія ни былъ я поставляемъ потомъ судьбой, въ лѣта не только юношескія, но и зрѣлыя. Характеръ надломился въ обратную сторону, и когда мнѣ приходитъ

вопросъ, отъ чего я не способенъ быть администраторомъ, точнѣе командиромъ, требующимъ безпрекословнаго исполненія; отчего я лишенъ настойчивости даже тамъ гдѣ дѣло этого требуетъ; отчего мнѣ даже противны безпрекословные клеветы, и въ исполнителѣ я жажду разумѣнія и сочувствія къ дѣлу; почему охотно, даже далѣе надлежащаго терплю возраженія, даже ищу ихъ и требую: я обращаюсь за объясненіемъ къ давно минувшимъ дѣтскимъ годамъ, и въ несправедливыхъ гоненіяхъ и побояхъ, которымъ подвергался, нахожу первую причину, рядомъ совершенно послѣдовательныхъ перемѣнъ воспитавшую во мнѣ этотъ избытокъ пассивности.

Объяснительныя къ урокамъ записки составляемы были подъ моимъ руководствомъ, какъ сказалъ я выше, однимъ изъ лучшихъ учениковъ (онъ стоялъ въ спискѣ третьимъ). И опять не могу вспомнить безъ жалости. Трудолюбивый, честный, не безъ дарованій, не безъ любознательности, но какая неразвитость, точнѣе сказать—какое неумѣнье учебниковъ приворовиться къ дѣтскимъ понятіямъ! Я помню фразу географіи на первой страницѣ, чуть ли не пятая строка: „земля наша, какъ планета, занимаетъ мѣсто въ системѣ солнечной“. Помню, я пространно долженъ былъ бѣдному Румянцеву толковать почти каждое слово этого предложенія, съ которымъ было у него то же, что у меня съ какимъ-то замѣчаніемъ о причастіяхъ въ грамматикѣ Востокова. „Планета“, „занимаетъ мѣсто“, „система“: каждое изъ этихъ выраженій порознь было тарабарскою грамотой. И сколько, безъ сомнѣнія, такой тарабарщины во всѣхъ учебникахъ! Несмотря на свое чрезвычайное, не по лѣтамъ развитіе, не понималъ и я одного выраженія въ Катихизисѣ. При объясненіи слова *Библия* тамъ сказано, что это слово означаетъ *книги* и что Священное Писаніе названо такъ потому, что „преимущественно предъ всѣми книгами заслуживаетъ сего наименованія“. Невостру-

евъ намъ и объяснялъ, и въ то время какъ объяснялъ онъ, смыслъ темнаго выраженія мнѣ становился понятенъ. Но замолкъ толкователь, и я снова не понимаю, не умѣю себѣ объяснить, что такое „преимущественно предъ всѣми книгами заслуживаетъ сего наименованія“.

Нѣтъ нужды пояснять, что я опять не учился въ классъ за эти два года, но уже въ обратномъ смыслѣ нежели въ первый курсъ. Тамъ я не хотѣлъ учиться, здѣсь учиться нечему было. Я продолжалъ свое домашнее чтеніе, но рвался между прочимъ не только вообратъ въ себя, но и изнести изъ себя что-нибудь. Бывавшія въ рукахъ латинскія и греческія книги прочтены были мною; перевести ихъ не приходило въ голову, потому вѣроятно, что то были книги числившіяся учебниками. Смутно бродила мысль о различіи между учебникомъ и литературнымъ произведеніемъ. Но попала въ руки латинская книга, не принадлежавшая ни къ учебникамъ ни къ классической литературѣ вообще. Случайно узнѣлъ я ее у одного ученика, и она мнѣ понравилась сначала своимъ переплетомъ: онъ былъ пергаменный, чистый, гладкій, ласкалъ руку. На вопросъ: „что это?“ владѣлецъ отвѣчалъ, что это „иностранная, должно-быть нѣмецкая“. Вѣроятно я промѣнялъ ее на что-нибудь; она перешла ко мнѣ. Въ ней оказались сочиненія Павла Іовія, на половину напечатанныя готическимъ шрифтомъ. Сочиненіе *О Римскихъ Рыбахъ* и „Лѣтопись Англіи“ не возбудили интереса; но нашлось *De rebus Moschoviae* или *De Moschovia*, современное описаніе Россіи XVI вѣка, составленное на основаніи показаній Димитрія Герасимова толмача. Я не только внимательно прочелъ это сказаніе, но рѣшилъ его передать на русскій языкъ, сшилъ тетрадку и перевелъ. Жалѣю, что не уцѣлѣло это первое мое литературное произведеніе. Помню, я старался перевести тщательно, перечитывалъ нѣсколько разъ переводъ, измѣнялъ выраженія, которыя находилъ недостаточно точными и

изящными. Я не зналъ тогда, что сочиненіе это извѣстно историкамъ; полагалъ, что я сдѣлалъ открытіе. Объ изданіи въ свѣтъ своего перевода, разумѣется, не мечталъ, да никому и не говорилъ о немъ; но меня утѣшала мысль, что я не только учусь, но и дѣлаю *дѣло* настоящее, серіозное, собственное людямъ не только почтеннаго возраста, но почтеннымъ по себѣ, ученымъ.

Избавился ли я отъ наказаній? Увы, не совсѣмъ. На колѣни меня уже не ставили, но сѣкли нѣсколько разъ, не за мои провинности, а за чужія шалости: „почему за порядкомъ не смотришь“. Переносилъ я эти наказанія спокойно, даже съ нѣкоторымъ благодушіемъ, нимало притомъ не гнѣваясь на тѣхъ, чьи шалости подвели меня подъ лозу. Только разъ я былъ не высѣченъ, а больно избитъ за смѣшанную причину, отчасти личную неисправность и отчасти небреженіе объ обязанностяхъ „старѣйшины“. Былъ урокъ латинской фразеологіи, и мы просили рекреаціи на тотъ день, къ которому урокъ назначенъ. Въ полной надеждѣ, что рекреація будетъ дана, никто не готовилъ урока, и я въ томъ числѣ не просмотрѣлъ его. Рекреація была прошена въ тотъ же день и просьбы продолжались до самаго звонка; некогда было и „прослушаться“. Наскоро занесены были отмѣтки въ нотату, завѣдомо неосновательныя. Входитъ ректоръ, спрашиваетъ одного, другаго: никто ни слова. „А, Іуда же злочестивый не хотѣ разумѣти!“ Съ этими словами бьетъ одного, бьетъ другаго, третьяго, остервенился. Беретъ нотату и окончательно выходитъ изъ себя, находитъ благопріятныя отмѣтки. Обращается ко мнѣ: „Да ты самъ-то приготовился-ли?“ Я зналъ все-таки, хотя не готовился; но надобно было передать фразы въ алфавитномъ порядкѣ, и притомъ при объясненіи игры Римлянъ въ кости я запнулся; побои на меня посыпались: бить и руками, и табакеркой, и по лицу, и по ушамъ, тасканъ за волосы. На одно ухо я ту же слышу, нежели на другое:



можетъ-быть причина другая, но у меня сохранилось воспоминаніе, что я былъ оглушенъ. Въ общемъ однако страшный ректоръ былъ въ послѣдніе годы со мною кротокъ. Когда послѣ пріѣзда изъ Москвы (о чемъ будетъ сейчасъ сказано) вступилъ я въ должность и явился къ нему по обыкновенію съ журналомъ, онъ взялъ меня за вихоръ и отечески, почти нѣжно наклонилъ мою голову со словами: „нужно было поклониться“. Я подивился этой мягкости тона и движенія, для меня невиданной доселѣ, а кстати и неосновательности замѣчаній. „Поклониться! размышлялъ я. — Никогда же онъ этого не требовалъ; онъ только требовалъ, чтобы не держать высоко голову; *только пустой колосъ торчитъ прямо, прибавлялъ онъ сравненіе*“. Да, мы обязаны были держать голову наклоненною. Характерная черта! Одною этою мелочью обрисовывалась вся противоположность двухъ типовъ воспитанія: семинарскаго, монашескаго, съ преклоненною главой и взглядомъ изъ подлбья, и—кадетскаго, военнаго: смотри прямо въ глаза, держись вытянувшись; опущенные глаза—совѣсть не чиста. И вотъ многіе изъ насъ приобрѣли даже сутуловатость отъ внушенной привычки держать голову внизъ, подобно „зернистому, спѣлому колосу“.

## XXIV.

## М о с к в а.

27 іюля 1837 года памятно мнѣ: это было новое рожденіе мое, второе крещеніе. Два пункта равной силы отиѣтились въ моей жизни, и оба врѣзались въ память глубоко, неизгладимо. 27 іюля 1837 года я въѣхалъ въ Москву, 15 августа 1844 года въ Сергіеву Лавру. То и другое совершилось при одинаковыхъ обстоятельствахъ. Вечеръ; тамъ и здѣсь монастырь; тамъ и здѣсь

ли вплоть до открытія желѣзной дороги ходить частію тарантасы, частію простыя телѣги съ кибитками, и притомъ послѣднія и тройками, и парами, и одиночками, съ напрасною тратой лишнихъ повозокъ и лишнихъ лошадей, со скучною обязанностію для путешественника искать лошадей и торговаться? Отчего линейки на загородныхъ трактахъ появились уже послѣ желѣзныхъ дорогъ и между пунктами, которые уже связаны рельсами, то-есть тамъ и тогда, гдѣ и когда по естественному порядку дилижансы наоборотъ должны исчезать? Ходятъ, напримѣръ, линейки отъ Москвы до Богородска и отъ Москвы до Воскресенска. Въ самой Москвѣ, до учрежденія конки, была всего одна линія линейнаго движенія, а при конножелѣзной дорогѣ явилось нѣсколько. На эти вопросы пускай отвѣтитъ будущій историкъ бытоваго прогресса и экономической предприимчивости въ Россіи.

Снаряжая меня, позвали ямщика, Ивана Соплина, нашего прихожанина; онъ уже не возилъ, возили дѣти; онъ довольствовался болтаться на биржѣ и спивать „верхи“.

Поряжено, задатокъ данъ; я выѣду вечеромъ 26-го „въ кибиткѣ“, то-есть внутри экипажа; менѣе состоятельные рядились „на передокъ“ (рядомъ съ ямщикомъ) и даже на „облучекъ“. Завязали мнѣ мой негрузный скарбъ въ узелокъ; батюшка отсчиталъ мнѣ нѣсколько серебряныхъ монетъ и къ нимъ въ придачу нѣсколько мѣдныхъ; деньги слѣдовавшія ямщику, кажется синенькая, даны особенно, съ тѣмъ чтобы заплатить по пріѣздѣ; сестра Душа сшила крошечный холщевый мѣшечекъ для денегъ, который и прикрѣпленъ къ кресту на шеѣ. Часу въ четвертомъ вечера совершился обрядъ проводовъ. Помолились, сѣли на полминуты; расцѣловались съ сестрой, съ теткой; отецъ благословилъ меня, и мы съ нимъ отправились на „биржу“. Соплинъ былъ тамъ и объявилъ, что повезетъ Петръ, молодой и, помню, очень красивый, черноглазый па-

рень; объяснилось притомъ еще, что Петръ — женихъ, и свадьба будетъ на дняхъ, до Спаса (1 августа). „Не беспокойтесь, батюшка, довезетъ благополучно“. Батюшка обратился къ Петру, котораго намъ тутъ представили, просилъ его по приѣздѣ въ Москву нанять мнѣ извозчика подъ Дѣвичій. „Хорошо“. — „Да ты смотри, толкуетъ ему Соплинъ, помни; а то забудешь. Вѣдь онъ не былъ въ Москвѣ-то“ (указываетъ на меня). — „Да ну, что!“ отгрызается Петръ. Батюшка удаляется, а Соплинъ въ слѣдъ снимаетъ шапку и проситъ на чай: „Ужъ какъ хлопоталъ!“

Часа черезъ два должно-быть, къ биржѣ (такъ назывался уголъ площади и Астраханской улицы), гдѣ я дожидался, подъѣхала кибитка; я влѣзъ въ нее. Стало-быть и въ путь? Нѣтъ еще; полчася добрыхъ прошли въ непонятныхъ для меня пререканіяхъ между Петромъ и столпившимися ямщиками. „Да ну, тронься“, крикнулъ какой-то ямщикъ, ударивъ одну изъ кристяжныхъ по задѣ. Петръ перекрестился и сѣлъ. Мы поѣхали. За заставу? Нѣтъ еще: проѣхавъ нѣсколько по улицѣ, остановились принять новаго сѣдока съ узлами и чемоданами; началась укладка и подвязка. Потомъ завернули за уголъ, остановились у одного дома въ переулкѣ; здѣсь новый сѣдокъ, еще не приготовившійся повидимому. Долгая возня съ багажемъ. Петру подносятъ водки, чтобы задобрить; Петръ отказывается: „я не пью“. Этотъ отвѣтъ сразу поднялъ мое сочувствіе къ молодому возницѣ на нѣсколько градусовъ. Такъ бы хотѣлось сѣсть къ нему на передокъ, прижаться къ этому красивому и постоянно задумчивому парню и спросить: „да о чемъ ты думаешь?“

И этотъ третій пассажиръ, мѣщанинъ какой-то, ввалился. Мнѣ по малолѣтству предоставили серединку. Тронулись; но не все еще. На Московской улицѣ, не далеко отъ заставы, дожидался еще сѣдокъ, „на передокъ“. У него котомка; ямщикъ кинулъ ее:

подъ передокъ. „Да ну, садись“, проворчалъ наконецъ даже Петръ мужику, слишкомъ долго расцѣловывавшемуся съ провожавшими его земляками. Мужикъ сѣлъ. „Смотри же, не забудь!“ кричитъ онъ кому-то; Петръ Васильичъ (я узналъ его и отечество) махнулъ кнутомъ, и брэнча бубенчиками тройка выѣхала за заставу. Колокольчикъ былъ привязанъ къ дугѣ. Вышло запрещеніе частнымъ лицамъ и вольнымъ лошадямъ возвѣщать о своемъ приближеніи заливающимъ звономъ. Становые только и засѣдатели ѣздятъ, оглашаемые „даромъ Валдая“.

Потянулась дорога, широкая, Екатерининская, грунтовая. Промелькнула знакомая верста, единственная, до которой я доходилъ за Московскою заставой. Я приготовился смотрѣть.

Но смотрѣть было не на что. По обѣимъ сторонамъ тянулись однообразныя поля, да вскорѣ начало и смеркаться. Не замѣтилъ я и того селенія, что значилось первою станціей въ почтовомъ календарѣ, маленькой книжкѣ, печатанной въ типографіи „Любія, Гарія и Попова“ (фамилія интересовала меня всегда, что это за Любій и Гарій?). Книжка эта имѣлась у насъ въ домѣ; на голодные зубы я пробѣгалъ ее въ числѣ другихъ и запомнилъ станціи Московско-Коломенскаго тракта.

Черезъ 37 верстъ наша тройка остановилась на ночлегъ (въ д. Старникахъ) у Сергѣя дворника, извѣстнаго подъ именемъ „Старниковскаго Сергѣя“ далеко по околотку и даже въ Москвѣ. Спутники указали мнѣ горницу, гдѣ мы должны переночевать, и я свернувшись клубкомъ, заснулъ на пустой кровати безъ матраца, положивъ подъ голову узелокъ. Съ зарей насъ разбудили. Спутники отправились пить чай, предложивъ и мнѣ; но я отказался. Черезъ часъ мы выѣхали, при чемъ я долженъ былъ заплатить пятачекъ за ночлегъ. Началась утомительнѣйшая часть пути: пятьдесятъ верстъ безъ передышки, по жарѣ

вскорѣ наступившей, среди облаковъ пыли. Петръ былъ не изъ лихихъ; лошади трусили; по крайней мѣрѣ мнѣ такъ казалось. Онъ не пѣлъ и не мурлыкалъ, вопреки моему ожиданію, настроенному разсказами о ямщикахъ. Дорога оказалась болѣе прозаическою, нежели я мечталъ. Спутники, не менѣе молчаливые чѣмъ ямщикъ, лѣниво отвѣчали на вопросы съ которыми я неизмѣнно обращался при вѣздѣ въ каждое селеніе, любопытствуя знать его названіе. Прѣхали и Бронницы, городъ, польстившій моему коломненскому патріотизму: онъ оказался селомъ, размѣровъ нѣсколько болѣе обширныхъ обыкновеннаго. Поглазѣлъ я на Мячковскій курганъ, высившійся надъ берегомъ Москвы-рѣки. Я много о немъ слыхалъ, но спутники не умѣли о немъ ничего отвѣтить на мои вопросы. Мнѣ стало даже досадно. Всѣ должны, казалось мнѣ, знать, что я ѣду въ первый разъ и должны сочувствовать моему любопытству.

Къ полудню остановка на обѣдъ за 23 версты отъ Москвы. Имѣете вы понятіе объ этихъ обѣдахъ на постоянныхъ дворахъ? Имѣете вы понятіе объ этихъ обѣденныхъ стоянкахъ? Нѣтъ ничего скучнѣе и унылѣе на свѣтѣ, особенно въ лѣтніе дни. Все вяло, сонливо, неповоротливо. Повсюду одно и то же неизмѣнно. Въѣзжая въ деревню, вы знаете заранѣе постоянный дворъ, въ которомъ остановитесь, хотя въ немъ не бывали. Представляете и эту неизбѣжную лавку при немъ, противъ него или наискось отъ него, съ неизбѣжными же лаптями и валенками висящими въ ней надъ дверью и ремешками развѣшанными по стѣнамъ; этотъ запахъ—смѣсь сѣна и навоза съ дегтемъ; эту сонную бабу, вышедшую на крыльцо умываться; самый дворъ, крытый сплошь или съ просвѣтомъ по срединѣ, а впереди противъ главныхъ воротъ неизбѣжныя заднія необъятной ширины, иногда одностворчатые, ширина которыхъ превосходитъ вышину вдвое. Лѣниво хрустятъ лошади, погромыхивая время отъ времени бубенчиками, или же дрем-

лють повѣся голову, но вздрагивая иногда отъ налетѣвшаго слѣпня и то же погромыхивая; воркуютъ голуби, изрѣдка похлопывая крыльями. Тоска, часъ кажется вѣчностью; ямщикъ и спутники спятъ сладкимъ сномъ послѣ сытнаго обѣда.

А обѣдъ дѣйствительно сытенъ. Кушаньямъ счетъ потеряешь. Студень, солонина, свинина. Нѣсколько горячихъ: сперва пустое хлебово, потомъ съ мясомъ; жаркія разныя и потомъ пирожныя въ видѣ пшеничковыхъ, лапшенниковъ, каши съ молокомъ, каши молочной, лапши молочной, оладьевъ, и иногда огурцы съ медомъ. Ъдятъ не спѣша; возьметъ ложку, почерпнетъ, отнесетъ въ ротъ и положить на столъ, дожидаясь времени, когда прожуетъ хлѣбъ и окончательно проглотить. Ъдятъ до испарины; иной разстегнется, отпуститъ поясъ и даже не разъ, по мѣрѣ того какъ наполняется животъ. Это удовольствіе стоило въ тѣ времена пяталинный; я нахожу недорогоимъ, особенно при даровомъ хлѣбѣ и квасѣ, которыхъ кушай сколько влѣзетъ, за ту же цѣну; да независимо отъ того, каждому рѣзался пшеничный папушникъ. Только вино ставилось въ особую цѣну, и съ нимъ являлся предъ обѣдомъ дворникъ-хозяинъ самолично, держа въ одной рукѣ полштофъ, въ другой рюмку (продажа понятно корчемная). Садилось обыкновенно человѣкъ двадцать, тридцать. Этимъ между прочимъ и объяснялась вѣроятно дешевизна. Ямщиковъ всегда кормили, какъ и чаемъ поили, задаромъ. За нихъ отвѣчали лошади (цѣной овса и сѣна) и сѣдоки (платой за чай, обѣдъ и ночлегъ).

Въ эту первую поѣздку мнѣ было не до обѣда; я сгаралъ нетерпѣніемъ доѣхать и довольствовался булкой, захваченной изъ дома. Поднялись мы уже къ вечеру и поплелись лѣнливо. Даже спутники мои, обыкновенно терпѣливые, начали подговяты ямщика, шутливо замѣчая, что вѣроятно онъ думаетъ о невѣстѣ, когда даетъ идти лошадямъ ни шатко ни валко; пожа-

луй не попадешь въ Москву за-свѣтло. Зашелъ разговоръ о проѣзжаемыхъ деревняхъ. Панки—ну, это скверная деревня; тутъ береги свою клажу, извоцикъ не отставай отъ лошади; живо угонять, а то вырѣжутъ „мѣсто“. А вотъ Потеряевка, не даромъ такъ и названа.

А замѣчательно въ самомъ дѣлѣ, что кругомъ Москвы, по многимъ дорогамъ на разстояніи 10—20 верстъ, расположены селенія, наименованіями свидѣтельствующія, что проѣзжающимъ въ этихъ мѣстахъ приходилось терпѣть: Потеряевка на Рязанской дорогѣ, Грабильовка на Владимірской, Лихоборы на Дмитровской.

Мы пріѣхали хотя за-свѣтло, но поздно. Тщетно я таращилъ глаза увидеть Москву: она заволочена была вечернимъ туманомъ и облаками пыли. Предъ заставой вышли и прошли ее пѣшкомъ; иначе придирка, потребуютъ „видѣ“. Ямщикъ пошелъ въ кордегардію заплатить офицеру положенный оброкъ за пропускъ, въ видѣ пятиалтыннаго или двугривеннаго. Подошелъ солдатъ съ желѣзнымъ щупомъ, поставленный отъ откупа. Впрочемъ онъ не ковырялъ ничего; задаромъ ли оказалъ эту милость, или тоже за гривенникъ или пятакъ, неизвѣстно. Тройка вѣхала въ заставу; мы сѣли и понеслись. Меня поразилъ громъ экипажей, хотя движенія и немного было; но въ Коломнѣ не было ровно никакого. Слышался звонъ; проѣхали нѣсколько церквей и остановились, какъ помню теперь, у „Зарайскаго подворья“. Гдѣ это, въ Таганкѣ или въ Рогожской; не могу представить. Спутники быстро вынули свои вещи и удалились. Сидѣвшій на передкѣ соскочилъ еще у заставы. Деньги ямщику уже отданы предъ вѣздомъ въ заставу. Я вышелъ изъ кибитки и смотрѣлъ недоумѣвающимъ взглядомъ. Лошади и Петръ исчезли. Галѣли ямщики совсѣмъ незнакомые; взадъ и впередъ сновали мимо телѣги и дрожки, возы нагруженные и разгруженные. Я не зналъ, къ кому обратиться и что дѣлать. Быстрѣе молніи промелькнуло въ

головѣ удивленіе на свободу, съ какою рассказывали, разговаривали и даже орали мужики. Словно я ожидалъ, что тутъ должны вести себя съ отмынною скромностью, разговаривать въ полголоса и держать себя чинно. Я проникся ощущеніемъ своего ничтожества и безсилія, подавленный отчасти видимымъ, отчасти заранѣе предположеннымъ величіемъ столицы. И мнѣ казалось, всѣ должны были проникаться въ той же мѣрѣ ощущеніемъ своего ничтожества.

Вышелъ однако изъ двора Петръ; вѣроятно онъ откладывалъ лошадей. Увидалъ меня: „Вы, что же баринъ?“ — „Да мнѣ надо извозчика нанять“. — „А, вамъ куда надо-то?“ Онъ очевидно и забылъ о данномъ порученіи. Я повторилъ адресъ: „Подъ Дѣвичій, за Дѣвичьимъ Полемъ, къ монастырю“. Петръ подозвалъ извозчика, сторговался за двугривенный и распростился. Я сѣлъ на „калиберъ“ и нашелъ его необыкновенно комфортабельнымъ экипажемъ. Замелькали дома и начинало смеркаться. Повезъ меня извозникъ должно-быть чрезъ Красный Холмъ, ибо не смотря на темноту я замѣтилъ бы Кремль, если бъ ѣхали Солянкой; а я его не видалъ. Дома большею частью одноэтажные и, какъ мнѣ казалось, всѣ окрашенные желтою краской, видѣлись по улицѣ съ той и другой стороны. Время показалось очень долгимъ; дѣлалось жутко. Мы ѣхали уже по какой-то мягкой дорогѣ, и я увидѣлъ неясное очертаніе высившагося зданія; не монастырь ли ужъ это? На вопросъ мой извозникъ пояснилъ что это „каланча“; мы проѣхали стало-быть Хамовническія казармы. Какъ несносно долго! Все ѣдемъ, и наконецъ извозникъ убавляетъ шагъ и обращается ко мнѣ съ вопросомъ: „Такъ куда же, къ чьему дому?“ Прохожихъ нѣтъ, и домовъ очень мало, да и въ тѣхъ окна закрыты. Но вотъ открытое окно и свѣтъ. „Спрашивайте, баринъ“. — „Гдѣ домъ дьякона?“ спрашиваю я. Извозникъ повторилъ вопросъ. — „Котораго: приходскаго или Дѣвиченскаго, и котораго Дѣвиченскаго?“ — „Гилярова“, отвѣчаю я. —



„А, вотъ второй домъ налѣво“. Мы подѣхали къ воротамъ, за которыми слѣдовала рѣшетка палисадника. Пока мы перекликались, спрашивая о братниномъ домѣ, пока я разговаривалъ съ извозникомъ, какъ поступить, стучаться ли, звонить ли и гдѣ колокольчикъ,— разговоръ нашъ и вообще движеніе были услышаны. Послышалось восклицаніе свѣжаго, молоденькаго дѣвчьяго голоса: „Да это братецъ Н. пріѣхалъ!“

Разсчесть съ извозникомъ, объятія съ сестрой, поцѣлуй съ невѣсткой.

— А гдѣ же братецъ? спрашиваю я.

— Еще у всенощной; но скоро придетъ вѣроятно, третій звонъ уже.

Только мы обмѣнялись этими словами, раздался благовѣстъ, унылый, унылый благовѣстъ откуда-то; не то далеко, не то близко.

— Это что же? спрашиваю я.

— Это къ „девятой пѣсни“.

Въ Новодѣвичьемъ монастырѣ, кромѣ трехъ обыкновенныхъ звоновъ во время всенощной, производится, производился по крайней мѣрѣ тогда, благовѣстъ еще при пѣніи *Величитъ душа моя*. Нигдѣ въ другихъ мѣстахъ, не говоря о приходскихъ церквахъ, даже въ монастыряхъ благовѣста этого не бываетъ. Онъ отзывался дальнею древностью и тѣмъ своеобразіемъ, которое дѣйствуетъ всегда отрадно на человека, утомленнаго мертвымъ, фронтальнымъ однообразіемъ русской жизни.

Явился братъ. Не долги были разговоры за ужиномъ. Усталый, онъ спѣшилъ въ постель, тѣмъ болѣе что ему предстояло завтра служить двѣ обѣдни, да еще участвовать служеніемъ въ одной съ крестнымъ ходомъ, особенно утомительной. Мнѣ было объявлено, что крестнаго хода я встрѣчать не буду, могу затеряться и мало увижу, но меня проведутъ въ соборъ въ алтарь, и я увижу архіерейское служеніе. Я уснулъ переполненный ощущеніями.

Вотъ маленькій ручей или рѣченка. Купаешься въ

ряется и образуетъ выгонное поле. Сзади огороды, которые понижаясь ведутъ къ Москвѣ-рѣкѣ, а за ними дуга Москвы-рѣки очерчивающей полукругъ. Направо отъ монастыря пруды и за ними тотчасъ же опять Москва-рѣка, налѣво слобода съ домами духовенства, за нею огороды и за ними опять Москва-рѣка. Вдали, впереди, за рѣкой—Воробьевы горы съ церковочкой владонь величиной. Желтыя полосы пестрятъ гору—слѣды брошенныхъ работъ по сооруженію храма Христа Спасителя. Налѣво Мамонова дача; обращаясь направо, минуя всѣ Воробьевы горы, взоръ падаетъ на загородный дворъ Воспитательнаго Дома. Вполнѣ сохранившіяся стѣны монастыря съ узорчатыми башнями. Внутри нѣсколько церквей; соборъ—и древнѣе и величественнѣе Коломенскаго; церкви на обонхъ воротахъ; высокая колокольня, безспорно изящнѣйшая изъ всѣхъ московскихъ; монашескія кельи; надгробные памятники тѣснящіеся около церквей; монахини, изрѣдка переходящія чрезъ одну изъ дорогъ и тропинокъ внутри ограды; тишина. Тишина, но не полная, безмолвная тишина. На колокольнѣ часы бьютъ не только четверти, но отбиваютъ каждую минуту. Представьте склоняющійся къ вечеру лѣтній день; кругомъ памятники, одни—почтенные историческіе, въ видѣ храмовъ и хоромъ, другіе въ видѣ намогильныхъ камней и часовенъ, внутри которыхъ индѣ теплится лампада. Но пока я пишу это, прозвенѣла минута, долго, жалобно, тонко, и едва успѣваешь погрузиться въ думу, снова жалобный, тонкій голосокъ напоминаетъ: минута прошла. На далеко слышенъ этотъ долго не замирающій тонкій звукъ, за четверть всего поля. \*

Говорили (едва ли преданіе точно), что часы поставлены Петромъ съ минутнымъ боемъ нарочно, чтобы чаще напоминать заточенной Софѣ о ея крамолѣ. Кельи

\* Нынѣшнимъ годомъ посѣтивъ монастырь, я уже не слышалъ минутнаго боя: на колокольчикъ наложили молчаніе. Кому онъ пошѣшалъ?

Софьины—двухъ-этажное зданіе, почти вплоть у стѣны, смотрящее за городъ. Что за странность? За кельями не водится, чтобъ онѣ смотрѣли въ „міръ“. А это съ намѣреніемъ опять: здѣсь на зубцахъ или около нихъ на висѣлицѣ качались предъ окнами тѣла казенныхъ стрѣльцовъ. Таковы преданія, уже отличныя отъ преданій о Мотасѣ или Сергіи Преподобномъ, встрѣтившемъ недружелюбный пріемъ коломъ. Это не мнѣ уже, это исторія.

Не знаю, можетъ-быть по пристрастію дѣтскихъ воспоминаній, но мнѣ нравится архитектура и хоромъ (особенно царицыныхъ, гдѣ жила Евдокія Ѳеодоровна, рядомъ съ передними воротами), и монастырскихъ башенъ, не говоря о колокольнѣ: эти темнокрасныя зданія, обдѣланныя украшеніями изъ бѣлаго камня, оригинально изящны.

Еслибъ отъ приходской церкви уѣздной я попалъ къ приходской же церкви, хотя столичной, было бы другое. Еслибъ отъ приходской церкви уѣздной я попалъ въ мужской монастырь, Донской или лавру напимѣрь, было бы опять другое. Жизнь столичнаго приходскаго духовенства отличается отъ уѣзднаго только въ потенціи. Тѣ же требы, то же „славленіе“, то же „что позвонишь, то и получишь“, то же улаживанье отношеній къ прихожанамъ, униженіе предъ богатыми, почти пренебреженіе къ бѣднымъ, та же матеріальная сторона впереди, тотъ же главный фонъ, даже не загрнтованный лицемѣріемъ, и это нужно отнести къ великой чести духовенства, оно себя не корчитъ. Монастырь другое дѣло; тамъ звонятъ по уставу, службу правятъ какъ предано; на первомъ планѣ аскетизмъ, глубокіе поклоны, долгая служба. Не въ томъ вопросъ, искренне ли это, а въ томъ, гдѣ лицевая сторона. Съ незнакомымъ монахомъ чувствуетъ себя обязаннымъ держать постное лицо, говорить „о Богѣ и Его правдѣ, о человѣкѣ и его неправдѣ“, воздыхать, повѣствовать о чудесахъ, о пользѣ молитвы. Попади я въ мужской мо-

настырь, одно изъ двухъ смотря по обстоятельствамъ: меня возмутило бы лицемѣріе; если не лицемѣріе, то несоотвѣтствіе показной стороны съ дѣйствительностью: изъ меня вышелъ бы второй Ростиславовъ; или же бы я экзальтировался, какъ экзальтировались послѣ нѣкоторые изъ моихъ сверстниковъ, возмечтавшіе о пустыняхъ, аеонскихъ подвигахъ, и надѣвшіе клобукъ. Но я попалъ не къ приходской церкви, а къ монастырю, и монастырю женскому, притомъ первоклассному, второму въ Имперіи, древнему, преданіями немного менѣе полному чѣмъ лавра, и несомнѣнно болѣе чѣмъ Донской, Симоновъ и другіе мужскіе. Братія (точнѣе сестры) многочисленная, болѣе двухсотъ. Въ старину онъ былъ богатъ и независимъ; болѣе 14.000 душъ приписано было къ нему. Въ самой Москвѣ ему принадлежала вся окрѣпость отъ Москвы-рѣки и до Зубова, даже по отобраніи крестьянъ. Но гдѣ же матери-игуменѣ и сестрамъ слѣдить за имуществами? Послѣ казны мало-по-малу отрывали монастырскую землю коршуны въ видѣ уже частныхъ лицъ и городского общества. Михаилъ Петровичъ, Дѣвиченскій дьячекъ, котораго уже я засталъ, подъ-носомъ у самаго монастыря, въ самой монастырской слободѣ, „обълилъ“ свой домъ, выправивъ на него планъ, какъ на частную собственность. Кто жъ станетъ ограждать монастырскіе интересы? Адвокатовъ не было, да и надобно, чтобъ игуменья обладала энергіей матери Митрофаніи или геніемъ покойнаго Пимена, Угрѣискаго архимандрита.

Но служба правилась по уставу, болѣе строго можетъ-быть нежели даже въ мужскихъ монастыряхъ; но аскетическая жизнь ведена была не на показъ, а искренне; но сестры не тунеядствовали, а большинство прокармливалось работой, подобно тому какъ было полторы тысячи лѣтъ назадъ въ Фиваидѣ. Впрочемъ, это уже общее отличіе женскихъ монастырей отъ мужскихъ, удивительное, пожалуй даже возмутительное. Монахъ садится на даровой хлѣбъ, на даровую квар-

тиру, участвуетъ въ дѣлежѣ кружки. Сестра, поступая въ монастырь, обязана внести *приданое*, купить келью и содержаться на свой счетъ. Кружка бываетъ, но какіе доходы? Въ мужскихъ монастыряхъ кружка наполняется вознагражденіями за службу, молебны, паннихиды, поминовеніе. Но монахини не правятъ службы, хотя помогаютъ богослуженію пѣніемъ и чтеніемъ. Служить духовенство; доходъ, поступающій въ мужскомъ монастырѣ монахамъ, дѣлится въ женскомъ между причтомъ. Причту въ свою очередь упомянутыя условія даютъ особенное положеніе, необыкновенно благопріятное для цѣли его духовнаго призванія, нигдѣ еще не повторяющееся. Духовенство живетъ не жалованьемъ, а доходомъ. (Жалованье было, но чуть ли не по двадцати рублей въ годъ; такъ щедро отдали „штаты“ за отписанныя четырнадцать тысячъ душъ). По слову апостольскому, оно питается отъ алтаря, не обращаясь въ чиновниковъ коронной службы. Но чтобы получить доходъ, ему не нужно ни принимать личину постничества, ни возбуждать воображеніе противоположностью недостижимаго ангельскаго чина предъ мірскимъ, ни звонить въ перегонки, ни кланчить и угождать предъ богатыми и сильными. Ангельскій чинъ предъ нимъ самъ по-себѣ, искренній, нелицемѣрно смиренный, постный и набожный; уставъ служебный соблюдается также самъ по себѣ, независимо отъ прихотей и поползновеній причта; доходъ отъ алтаря течетъ самъ собою, условливаемый чинностью службы, историческимъ къ монастырю уваженіемъ народа, между прочимъ и строгою жизнью монашествующихъ. Священнослужителямъ остается быть служителями алтаря въ самомъ тѣсномъ и самомъ чистомъ смыслѣ; духовныя обязанности ничѣмъ не засариваются, ничѣмъ не затрудняются.

Братъ мой былъ изъ числа именно такъ относящихся къ своимъ обязанностямъ. Помимо священнослуженія для монашествующихъ, онъ поставилъ себѣ быть *про-*

повѣдникомъ слова Божія. Это его была постоянная мысль, постоянное и единственное дѣло. Въ дневникѣ, веденномъ нѣкоторое время еще до поступленія на мѣсто, такъ онъ и опредѣлялъ себѣ назначеніе. За нѣсколько часовъ до смерти послѣднею его мыслью была забота объ одной изъ своихъ проповѣдей, о перепискѣ ли ея или объ исправленіи ея недостатковъ.

Предоставляю перенестись въ положеніе, которое кругомъ себя увидѣлъ и себя въ немъ ощутилъ тринадцатилѣтній сеніоръ Коломенскаго училища, переводчикъ Павла Іовія. Въ своемъ братѣ, между прочимъ, онъ нашелъ того ментора, котораго смутно искала душа его, который въ предѣлахъ своихъ знаній немедленно отвѣчалъ на всѣ запросы; а запросы были даваемы безъ удержу и удовлетворялись безъ усталы и скуки; напротивъ, Александръ Петровичъ въ каждой прогулкѣ не пройдетъ десяти шаговъ, чтобы не остановить слѣдующаго за нимъ братишку, не указать домъ чѣмъ-нибудь замѣчательный, не рассказать куріознаго случая, о которомъ напоминаетъ это мѣсто, преданія, съ которымъ связанъ этотъ уголокъ Москвы. Братъ притомъ же по природѣ былъ словоохотливъ даже чрезъ мѣру.

Своекомъ доводился брату В. И. Груздеву, о которомъ была рѣчь въ одной изъ предыдущихъ главъ; шурыями были Островскіе, между прочимъ Николай и Геннадій Ѳедоровичи, люди съ академическимъ образованіемъ и замѣчательнымъ умомъ. Николай Ѳедоровичъ притомъ внимательно слѣдилъ за литературой; по части снабженія книгами и журналами онъ былъ для брата почти тѣмъ же, чѣмъ для родителя нашего И. И. Мѣщаниновъ. В. И. Груздева и Островскихъ мнѣ пришлось видать у брата въ свою кратковременную побывку, слышать ихъ бесѣды, и я почувствовалъ себя въ сферѣ другихъ интересовъ, о которыхъ не зналъ коломенскій кругъ, мнѣ доступный. Разсуждали о современныхъ проповѣдникахъ, о современной лит-

тературѣ, о цензурной исторіи съ письмомъ Чаадаева въ *Телескопъ* и объ *Исторіи Ересей* Руднева, тоже перенесшей цензурную передрагу, о путешествіи Наслѣдника и статьѣ Погодина по этому поводу. То были свѣжія новости, и онѣ передавались съ жизнью, которой недостаетъ печатнымъ рассказамъ. Ни Чаадаевская, ни Рудневская исторіи впрочемъ въ печать и не проникали.

Въ Новодѣвичьемъ погребаются знатныя русскія фамиліи. Могильные памятники давали случай брату знакомить меня съ нравственною физиономіей родовъ, съ ихъ взаимными отношеніями, рассказывать ту часть русской исторіи, ему извѣстную, которая разрабатывается теперь *Русскимъ Архивомъ* и *Русскою Стариной*. Случалось встрѣчать и лично кого-нибудь изъ представителей аристократіи. Послѣ взаимныхъ поклоновъ и пары словъ, которыми перекидывался братъ съ бариномъ, я не упускалъ любопытствовать, и мнѣ сообщался послужной списокъ встрѣтившагося, родственныя связи его и то чѣмъ онѣ важны; сообщалось и общее понятіе о сравнительной силѣ чиновъ и родовитости въ Россіи и положеніи фамилій при Дворѣ.

Тестъ брата, бывшій протоіерей, проводилъ подвѣннемъ монаха Θεодорита подвижническую жизнь въ Донскомъ монастырѣ. Раза два доводилось сопровождать къ нему брата. Глубокое почтеніе, которое обнаруживалъ къ нему Александръ Петровичъ, державшійся вообще свободно и почти даже фамиллярно съ лицами высшими его по положенію; отсутствіе праздныхъ словъ со стороны Θεодорита; все это уносило меня опять въ иной міръ, гдѣ на яву представалъ такъ-сказать край Четѣихъ-Миней. А Татьяна Θεодоровна монахиня, чтимая братомъ, и совсѣмъ переносила въ Четѣи-Миней. Объ этой подвижницѣ и прозорливицѣ я расскажу особо.

Таковъ былъ новый міръ, въ которомъ я очутился. Двѣ три прогулки по Москвѣ, одна изъ нихъ пред-

тымъ предъ тѣмъ, и чрезъ Красную площадь Иверскими воротами прошли въ Александровскій садъ, мимоходомъ полюбовавшись фонтаномъ, который билъ въ это время зонтомъ. То была цѣлая лекція. Все что помнилъ, все что зналъ братъ относящагося до Кремля, его святынь, до памятника Минину, до водопровода, до Александровскаго сада, до Воспитательнаго Дома, на который издали мнѣ указано, равно какъ и на домъ бывший Безбородко (потомъ Прохорова) на Вшивой горѣ,—все это выложено было частью тутъ же при обзорѣ, частью дорогой при возвращеніи, на Дѣвичье поле. Разсказано было, какъ въ одну ночь Безбородко, ожидая Государя, развелъ садъ на пригоркѣ, спускающемся отъ его дома къ Москвѣ-рѣкѣ; по поводу Александровскаго сада передано о Неглинной, о рвахъ, отдѣлявшихъ Красную площадь отъ Кремля, и о нечистотахъ, которыми завалена была въ тѣ времена его окружность, о раззореніи Двѣнадцатаго Года, слѣды котораго еще оставались въ 1818 году, когда брата ввели въ Москву. По поводу того же сада передано, почему единственное дерево во всѣхъ общественныхъ садахъ — липа. Старѣйшій изъ бульваровъ, Тверской, былъ засаженъ первоначально березами. Увидавъ насажденіе, императоръ (Александръ I) спросилъ: „что вамъ вздумалось—береза? Лучше бы липы“. Березы были вынуты, липы посажены, и съ тѣхъ поръ вездѣ липы и нигдѣ березы. Воспитательный Домъ напоминалъ о Демидовѣ и его причудахъ, кремлевскій плацъ-парадъ о соборѣ Николы Голстунскаго, снесенномъ въ одну ночь.

Объ этомъ снесеніи я слышалъ потомъ дополнительный разсказъ отъ тестя. Какъ разъ наканунѣ вечеромъ, за нѣсколько часовъ до сломки, онъ со своею женой отправился куда-то въ гости. Путь лежалъ изъ Заяузы чрезъ Кремль. Былъ ли праздникъ какой, или такъ шли, только возвращались они тѣмъ же путемъ на зарѣ. Проходятъ Кремль. „Что это такое, точно такъ?“ обращаются другъ къ другу супруги



съ вопросомъ.—„Да и мнѣ кажется, что какая-то будто перемѣна“. Осматриваются внимательно. „Ай, да гдѣ же соборъ Николы Голстунскаго? Его нѣтъ, мѣсто чисто; даже незамѣтно, гдѣ онъ стоялъ“ Сверхъестественныя должно-быть усилія употреблены были, чтобы въ одну ночь такимъ образомъ снять церковь, пусть она и небольшая была вѣроятно. Но помнили исторію съ Боголюбскою иконой, породившую бунтъ во время моровой язвы, и потому рѣшили выкрасть соборъ незамѣтно. Августинъ, проживавшій въ теперешнемъ Николаевскомъ дворцѣ (принадлежавшемъ Чудову монастырю, и въ немъ жили тогда архіереи) не спалъ ночь, не отходилъ отъ окна, предъ которымъ происходило разрушеніе, крестился и молилъ въ слухъ Бога, чтобы не испытать ему участи замученнаго Амвросія. Но прошло совершенно благополучно; не послѣдовало никакихъ протестовъ, и только не одинъ вѣроятно Алексѣй Ивановичъ съ Надеждой Алексѣвной, а многіе диву давались: „какъ это? Вчера былъ соборъ, видѣли его, молились въ немъ, а сегодня и слѣда нѣтъ, гдѣ онъ стоялъ; исчезъ, словно на небеса поднялся“.

## XXVI.

## П о д г о т о в к а.

Москвы я видѣлъ мало во всякомъ случаѣ. Былъ я въ Донскомъ монастырѣ, и между прочимъ по случаю крестнаго хода 19 августа; осматривалъ памятники тамошніе и въ томъ числѣ пзвѣстный памятникъ солдату съ киверомъ на верху; узналъ, что по богатству монастырскихъ кладбищъ это есть первое (то-есть было первымъ тогда): въ Новодѣвичьемъ поминаемыхъ вѣчныхъ вкладовъ 150,000 рублей (ассигнаціями); въ Донскомъ болѣе. Отправились мы на иллюминацію 30

Побывали мы въ Нескучномъ и на Воробьевыхъ Горахъ. Нескучное дало мнѣ случай узнать объ Алексѣѣ Орловѣ, его охотахъ, объ его дочери и объ архимандритѣ Фотіи. А Воробьевы Горы напомнили брату, между прочимъ, исторію колокола у Николы въ Хлыновѣ. Священникъ любилъ звукъ большихъ колоколовъ до страсти и потому недоволенъ былъ своимъ приходскимъ. Неотступными просьбами уговорилъ прихожанъ слить колоколъ приличнаго вѣса. Слить. Слушаетъ батюшка, и не нравится ему; не о томъ онъ мечталъ. „Григорьевичъ или Сергѣевичъ, говоритъ онъ пономарю: постарайся-ка ударить изо всей мочи“.—„Разобьется, пожалуй, батюшка“.—„Ничего; ты постарайся что ни есть у тебя силы“. Григорьевичъ или Сергѣевичъ постарался и разбилъ колоколъ. Священникъ по прихожанамъ. Нужно отлить новый колоколъ, но что уже скупиться—лить такъ лить побольше. Отлить побольше. Забылъ я, но кажется операція повторена была и еще; колоколъ снова разбить усерднымъ Сергѣевичемъ и снова отлить еще болѣе тяжеловѣстный, пока вполне угодилъ батюшкѣ, и тотъ любовался имъ по своему. Распорядится ударить къ заутрени пораньше, а самъ отправится въ ночь на Воробьевы и таетъ отъ восторга, слушая голосъ своего дѣтища, то такъ прилаживая ухо по направленію своей церкви, то прикладывая ухо къ землѣ.

Совершилъ я и еще путешествіе по Москвѣ, и притомъ единолично, отъ Дѣвичьяго монастыря въ Рогожскую и назадъ, верстъ двадцать должно-быть, или того болѣе, потому что я не довольствовался письменнымъ маршрутомъ, которымъ снабдилъ меня братъ, а заворачивалъ въ переулки направо и налево, чтобы посмотреть домъ ли замѣчательный или храмъ. Маршрутъ мнѣ указывалъ пройти по Москворѣцкой набережной до Яузскаго моста. А я, дойдя до Москворѣцкаго моста, счелъ нужнымъ завернуть и обойти Василія Блаженнаго кругомъ; мимо Воспитательнаго Дома такъ

же не прошелъ равнодушно, также обошелъ кругомъ и силился представить, насколько изящнѣе смотрѣло бы зданіе, когда бы квадратъ со внутреннимъ дворомъ примыкалъ не съ одной стороны, а съ обѣихъ къ увѣнчанному голубцемъ главному корпусу. Мнѣ кололо глазъ отсутствіе симметріи, и когда я сообщилъ свое замѣчаніе брату, онъ сказалъ, что первоначальный планъ таковъ, по слухамъ, и былъ, какого бы я желалъ. Перейдя Яузскій мостъ, я не упустилъ завернуть, чтобъ осмотрѣть Шепелевскій домъ, намѣченный мною еще съ набережной. Отчетъ мой о путешествіи послужилъ брату случаемъ, чтобы рассказать о знаменитомъ Рогожскомъ пожарѣ, когда невозможно было ходить по раскаленной мостовой, когда бумаги изъ горѣвшихъ домовъ летали за нѣсколько верстъ отъ Москвы; когда не уцѣлѣла церковь Сергія въ Рогожской и спасена была лишь церковь Алексія митрополита, вмѣстѣ съ Алексѣевскими домами.

Но для чего такое длинное путешествіе? Для того чтобъ отнестъ письмо. Почта въ Коломну ходила всего два раза въ недѣлю, и при экстренной надобности посылались письма съ ямщиками за недорогую плату: „подателю пятиалтынный“. Это былъ лишній и вѣроятно не маловажный ежедневный доходъ ямской артели. Дѣло подходило къ сентябрю, и родителю писали: 1) чтобъ онъ заявилъ въ училищѣ о невозможности мнѣ, по болѣзни, явиться послѣ каникулъ въ училище къ законному сроку и 2) чтобы прислали мнѣ теплой одежды на дорогу. А меня-де сажаютъ за реторику.

Братъ дѣйствительно далъ мнѣ латинскую реторику *Бургія*, хотя учить меня по немъ не сталъ, совѣтуя лишь почитать его да руководствоваться еще *Лежаемъ*. Бургія—реторика обыкновенная, Лежая (*Lejaу*, Леже)—*Rhetorica Ciceroniana*, обученіе искусству писать Цицероновскою прозой.

Бургій! О, это цѣлый періодъ просвѣщенія! По какому учебнику, читатель, пріучались вы излагать на

ное, въ смыслѣ известнаго метода): указать формы, по которымъ двигается мысль въ своемъ выраженіи, повинаясь законамъ логики съ одной стороны и законамъ творчества съ другой (последнее имѣетъ тоже свои законы), и приучить къ полному обладанію этими формами. Въ книжкѣ Бургія употребленъ, между прочимъ, остроумный приемъ. Одно и то же предложеніе (*hypothes mutant mores*) проведено по всѣмъ формамъ: на немъ продѣлано все, и синонимы, и эпитеты, и періоды, и хриі, и тропы, и фигуры. Краткое предложеніе разрастается, видоизмѣняется, обогащается образами, переходитъ въ лирику, все одно, одна и та же мысль въ строгомъ соподчиненіи всѣхъ частныхъ, на которыя она разбивается, всѣхъ доводовъ и объясненій, которыми она одѣвается.

Заслуга этой методы: она даетъ слововыраженію выправку, воспитываетъ находчивость и предохраняетъ отъ пустословія. Каждое употребленное слово обязано имѣть за себя основаніе, почему оно употреблено; за то ни одна мысль не должна и затрудняться въ приисканіи выраженія. Такого рода выправку всего болѣе и старались дать въ старыхъ семинаріяхъ; отсюда и главнѣйшее упражненіе учениковъ состояло не столько въ письменныхъ задачахъ (а еще менѣе того въ изученіи уроковъ), сколько въ устныхъ экспромптахъ. „*Aurora Musis amica*, ну, кто что?“ восклицаетъ, положимъ, учитель, не то ректоръ или даже архіерей, посѣщая классъ. Встаютъ четверо, пятеро, можетъ-быть и болѣе. Смотря по тому какъ далеко пройдено, говорятъ на провозглашенную тему періоды, хриі, короткія ораторскія рѣчи и даже стихотворенія. Подобно гимнастикѣ тѣлесной, эта гимнастика ума и слова была отчасти и игрой; классъ не скучалъ, хотя головы безъ отдыха работали. Не осуждались учащіеся и на особенно тяжелое напряженіе, благодаря тому же Бургію: формы всѣ были уже въ головѣ готовые; мысль мгновенно перебѣгала по нимъ, въ ту же минуту выбирала подхо-

дѣянія, одѣвала въ нихъ мысль, и готовъ періодъ, хрипъ, рѣчь.

Недостатки методы: она приучаетъ къ общимъ мѣстамъ, къ преобладанію формы надъ содержаніемъ. Приучаясь вертѣть словомъ и туда и сюда съ одинаковою легкостью, умъ теряетъ вкусъ и позываетъ къ истинѣ. Эти недостатки и свойственны людямъ, получившимъ старое семинарское образованіе; о плодахъ новаго не берусь судить, потому что за нимъ не слѣдилъ. Равно свойственны старымъ семинаристамъ и указанныя выше достоинства: осмысленное слово, стройность рѣчи, тонкое чутье логики выраженія. Университеты были свидѣтелями этихъ достоинствъ семинариста, отличавшимъ его отъ гимназистовъ или студентовъ домашняго воспитанія. Тоже и присутственныя мѣста. Смѣло утверждаю, что написать обстоятельную, отчетливую докладную записку, формулировать рѣшеніе, подобрать точно соотвѣтствующіе доводы—въ этомъ искусствѣ не поспорить съ семинаристомъ никто, другаго образованія человѣкъ. Полагаю, служившіе въ старомъ Сенатѣ подтвердятъ это.

Но творчества и вдохновенія не ищите въ семинариствѣ: оригинальной идеи, смѣлой фантазіи нѣтъ. Мысленно перебирая замѣчательнѣйшихъ изъ семинаристовъ, нахожу очень, очень немногихъ, уберегшихъ печать таланта, при безспорной однако ясности ума и обширныхъ способностяхъ у всѣхъ. Далеко бы я зашелъ, когда бы вздумалъ подробнымъ анализомъ подтверждать свое наблюденіе, но укажу на три дарованія, изъ которыхъ каждое по своему типично: Сперанскаго, Филарета и Иннокентія. Послѣдній есть единственный, кого не сковалъ формализмъ реторической выправки; Сперанскій на оборотъ весь есть только систематикъ; умъ его лишенъ былъ творчества. Середину занимаетъ Филаретъ, читая котораго вспоминаешь выраженіе Гоголя о „худощаво-умномъ словѣ“. Рѣчь Филарета воспаряетъ часто до высокой художествен-

ности, но всегда остается нѣсколько сухою, боясь испастъ въ вольность, не освященную преданными правилами. Нужно было слышать его критическія замѣчанія на чужія сочиненія, видѣть его поправки. „Черная зависть! восклицаетъ онъ, читая проповѣдь профессора (теперь уже высокопреосвященнаго, который припомнить этотъ случай, если прочтаетъ настоящія строки) Развѣ бываетъ зависть желтая или зеленая?“ Таковъ былъ пуризмъ, таково преслѣдованіе всякаго смѣлаго оборота. Не замѣчая и тѣмъ менѣе желая, засушилъ покойный великій святитель этою придирчивостью у многихъ дарованія.

Меня братъ помуштровалъ на синонимахъ, эпитетахъ, амплификаціяхъ. Далъ понять, что синонимъ не есть тождество, что эпитетъ не долженъ заключать логическаго противорѣчія, нельзя напримѣръ сказать „низкое возстаніе“, потому что понятія низа и вставанья противорѣчатъ, а можно сказать „низкое поползновеніе“. Затѣмъ посадилъ за періоды, давъ, подобно Бургію, одно для всѣхъ предложеніе: *studia sunt utilia*. „Пользу наукъ“ я обязанъ былъ прогнать сквозь строй всѣхъ формъ періодической рѣчи: періодъ простой, причинный, уступительный, условный и проч. Это было первое мое письменное самостоятельное упражненіе, если не считать переведенной *Москови* Павла Іовія и дневника, веденнаго одновременно съ составленіемъ періодовъ. Упражненіе это у меня сохранилось съ поправками брата и съ приписанными имъ новыми предложеніями, изъ которыхъ каждое обязанъ я былъ подобнымъ же образомъ прогнать сквозь строй уже по приѣздѣ въ Коломну, безъ посторонняго руководства. Я не исполнилъ порученія; показалось мнѣ скучною эта гимнастика; да и далась она мнѣ очень легко; я чувствовалъ, что буду пересыпать изъ пустаго въ порожнее. Равно не могъ я принудить себя къ отливкѣ своей рѣчи въ Цицероновскія формы. Цицеронъ никогда мнѣ не нравился, хотя и не могъ я себѣ тогда объ-

послуги. Три обѣдни были обязательны: поздняя въ соборѣ и двѣ раннія—въ трапезной церкви и въ больничной. Четвертый священникъ отдыхалъ недѣлю, но ему не возбранялось конечно служить и въ свое ваканціонное время; тогда бывала третья ранняя обѣдня, иногда съ участіемъ дьякона, иногда безъ него. Для дьяконовъ отдыха не было, и притомъ на одномъ изъ нихъ лежало ежедневно служить двѣ обѣдни.

Положеніе дьячковъ было оригинальное: при служеніи въ соборной церкви они не участвовали, пѣніе и чтеніе отправляемо было монахинями; но за то на дьячкахъ лежалъ звонъ. Кто составлялъ этотъ забавный штатъ? Извѣстны женскіе монастыри, гдѣ послушаніе звона отправляютъ монахини; въ крайнемъ случаѣ колокольную службу могъ нести сторожъ; чтобы звонить, нѣтъ надобности въ стихарѣ. Чтецами же и пѣвцами дьячки были только за ранними обѣднями. Опять странность: почему не могли этого исполнять монахини, какъ за позднюю обѣдней? Безполезная многочисленность дьячковъ вела только къ ничтожности ихъ содержанія, и я удивляюсь чѣмъ они жили. Изъ ста рублей „общихъ“ доходовъ они получали кажется всего по три рубля (священники 15, дьяконы 10). Если и на долю брата доставался, какъ мнѣ было извѣстно, очень умеренный доходъ, едва дававшій сводить концы съ концами,—какъ жили дьячки? А жили.

Къ слову сказать, откуда идутъ правила о раздѣлѣ доходовъ между членами причта, и по всей ли Россіи они однообразны?

Братъ поступилъ на дьяконское мѣсто въ Новодѣвичій не безъ протекціи. Полагаю, что принимала тутъ участіе и Авдотья Никитична, мать владыки, которая рѣже того высказывала, что не прочь породниться съ нами. Братъ и женился не на родственницѣ, правда, но все-таки на свойственницѣ; Г. О. Островскій былъ женатъ на внучкѣ Авдотьи Никитичны, дочери Продиона Степановича; а за брата отдана сестра Островскаго.

Не удивительно, да и помнится мнѣ, что братъ обнадеживаемъ былъ скорымъ полученіемъ священническаго мѣста. А на сколько скорымъ, это зависѣло отъ случая.

Случай представился; лѣтъ чрезъ шесть или семь службы братъ рѣшился подать просьбу объ опредѣленіи на священническое мѣсто, открывшееся гдѣ-то въ приходѣ. Его ободряло, между прочимъ, то обстоятельство, что не задолго въ Дѣвичій же монастырь опредѣленъ былъ священникомъ сверстникъ его, вмѣстѣ съ нимъ кончившій курсъ. Чѣмъ свѣтъ онъ написалъ просьбу, намѣреваясь тотчасъ послѣ ранней обѣдни везти ее на Троицкое подворье, къ владыкѣ. Крѣпко молился онъ за обѣдней объ успѣхѣ, и за тѣмъ, когда служба кончилась, уже по уходѣ священника съ дьячкомъ, снова повергся въ молитвѣ предъ мѣстною иконой. „Молись, молись, доброе дѣло, вдругъ слышитъ онъ за собой голосъ; — только ты у насъ будешь священникомъ, а не тамъ; ты меня похоронишь.“ Братъ оглянулся и увидалъ старушку-бѣлицу, продолжавшую ему говорить въ томъ же родѣ. Какъ узнала она о намѣреніи котораго онъ не передавалъ никому, и кто она? Зналъ ли ее братъ? Можетъ-быть ему извѣстно было ея имя, а можетъ-быть и нѣтъ. При большемъ числѣ сестеръ и при отсутствіи личныхъ отношеній къ нимъ, не всѣ онъ каждому члену причта были извѣстны. Во всякомъ случаѣ эта необыкновенная рѣчь послужила брату началомъ къ знакомству съ Татьяной Ѳедоровной. Татьяна Ѳедоровна занимала келью въ нижнемъ этажѣ Софьиныхъ хоромъ, примыкавшихъ къ заднимъ воротамъ; ко времени знакомства съ братомъ ей было уже подъ девяносто лѣтъ, если не слишкомъ. Кто она была и что за чудное вѣщаніе произнесла она и почему? Братъ сказывалъ, что послѣ, когда уже познакомился съ Татьяной Ѳедоровной, онъ спрашивалъ, чѣмъ она была побуждена подойти къ нему и сказать именно тѣ слова которыя онъ отъ нея слышалъ; она отозвалась невѣдѣніемъ, запятованіемъ. И въ другихъ



случаяхъ, которыхъ было не мало, когда она изрекала вѣщія слова, они выходили у нея сами, безотчетно, и она ихъ себѣ не приписывала.

Въ бумагахъ брата должно бы остаться *Житіе* Татьяны Ѳедоровны, которое онъ составлялъ съ ея словъ и по ея порученію. Я ограничиваюсь тѣмъ, что мнѣ по памяти извѣстно. Татьяна Ѳедоровна была купческаго рода и осталась въ дѣтствѣ сиротой, но съ большимъ состояніемъ, до ста тысячъ. Кто былъ ея опекунъ, кто воспитывалъ, неизвѣстно. Но еще въ малолѣтствѣ она поступила на послушаніе къ иноку Филарету, подвизавшемуся въ Новоспасскомъ монастырѣ, и отъ него получила духовное воспитаніе. Это былъ святой мужъ, по ея словамъ, высокой духовной жизни. Грамотъ не была она обучена, но въ духовной литературѣ приобрѣла обширныя свѣдѣнія; она поражала слушателя ссылками на отеческія творенія и на житія; большинство читано было ей вѣроятно старцемъ Филаретомъ, а изумительная память ея удержала слышанное.

Въ отроческія лѣта она раздала имѣніе свое; на остатки купила келью въ Дѣвичьемъ монастырѣ. Но оговариваюсь. Меня приводятъ въ смущеніе два обстоятельства. Какимъ образомъ дѣвочка могла быть на послушаніи у старца, жившаго въ мужскомъ монастырѣ? Это разъ. Во вторыхъ, судя по лѣтамъ, поступленіе Татьяны Ѳедоровны въ монастырь должно было бы состояться еще въ прошломъ столѣтіи; но не слышала я, чтобы даже Двѣнадцатый Годъ засталъ ее въ монастырѣ. Въ біографіи очевидный перерывъ. Тѣмъ не менѣе продолжаю, какъ мнѣ передаетъ память.

Поселилась Татьяна Ѳедоровна въ монастырѣ безъ копѣйки. Чѣмъ она кормилась? Чѣмъ согрѣвалась? Она не ѣдала по недѣлямъ, жила въ не топленомъ. Изъ состраданія нищенка приносила ей нѣсколько корокъ; это было все ея насыщеніе. По зимамъ выпрашивала она иногда изъ церкви жаровню, и это было все ея согрѣіе. Она проводила дни и ночи въ молитвѣ. Годы

продолжалась такая жизнь, и никто ее не зналъ. Въ самомъ монастырѣ сестры знали ее лишь по имени. Случалось, она изнемогала, поднимался ропотъ въ душѣ, рождались сомнѣнія и сожалѣнія; она снова повергалась предъ иконою и превозмогала. Но было, что искушеніе начинало преодолевать; ей слышались голоса, и все болѣе и болѣе настойчивые. „Брось, перестань, чего ты ждешь? Ну, чего?“ И опять: „Брось, брось! Къ чему ты живешь? Давись! Давись!“ Внѣ себя она взяла уже полотенце, привѣсила къ потолку, поставила стулъ или скамейку, устроила петлю... но стукъ въ дверь кельи привелъ ее въ себя. Она перекрестилась, отперла дверь.

— Не здѣсь ли живетъ Татьяна Ѳедоровна? спрашивалъ незнакомый мущина, пришедшій вдвоемъ съ другимъ.

— Это я, что вамъ нужно?

Не перепутываю ли я? Не смѣшалъ ли факты? Сомнѣніе возбуждается именно этимъ сочетаніемъ событій, столь похожимъ на посредственные французскіе романы, гдѣ надъ героемъ или героинею уже заносится смертный ударъ, какъ въ ту же минуту является совершенно неожиданнымъ образомъ чудесный спаситель. Но память мнѣ такъ говорить; смѣшать бы не долженъ. Были искушенія; это достоверно. Достоверно, что петля уже была сдѣлана и что въ ту минуту какъ надѣвать ее, стукъ въ дверь воспрепятствовалъ самоубійству. Но совпало ли это обстоятельство именно съ тѣмъ происшествіемъ, которое будетъ сейчасъ описано? Помнитъ мнѣ, что да, но боюсь поручиться.

Были мужъ и жена. У жены былъ отецъ. Мужъ принадлежалъ къ лютеранскому исповѣданію. По профессіи онъ былъ, кажется, провизоръ. Чѣмъ была больна жена не умѣю сказать, но она страдала, и врачевныя средства были безуспѣшны. Лѣтомъ велѣно было больной переѣхать за городъ, дышать сельскимъ воздухомъ; супруги наняли дачу на Воробьевыхъ го-

рахъ. Въ одну и ту же ночь снится сонъ одинаковый и тестю, и зятю.

— Что вы бьетесь? Ничто не поможетъ. А ступайте въ Дѣвичій монастырь: тамъ, рядомъ съ задними воротами, живетъ монахиня Татьяна Федоровна; ходъ въ ея келью изъ самыхъ воротъ; она больной поможетъ.

Кто говорилъ? Въ какую образную обстановку воплотилось вѣщаніе, память мнѣ не сохранила, хотя вѣроятно я слышалъ и эти подробности. Но помню рассказъ брата и самого мужа больной, что сонъ былъ необыкновенно отчетливъ и внушительнъ. Впечатлѣніе было столь сильно, что мужъ, вставъ, одѣлся и направился въ Москву подѣлиться загадочнымъ сновидѣніемъ съ тестемъ. А тестъ, также пораженный, направлялся въ Воробьево передать о сновидѣніи зятю. На Дѣвичьемъ полѣ они встрѣчаются.

— Я къ вамъ! говоритъ одинъ.

— А я къ вамъ! повторяетъ другой.

И къ неопisanному удивленію передаютъ другъ другу тождественный сонъ. Нѣтъ нужды добавлять, что мужъ поворачиваетъ назадъ, оба идутъ въ Дѣвичій монастырь и тамъ по указанію сновидѣнія стучатся въ дверь кельи. Передаютъ Татьянѣ Федоровнѣ причину и цѣль прихода. Та не удивилась, но и не затруднилась.

— Я не лѣчу, отвѣчала она.—А Господь смилостивился надъ вашею больной и хочетъ оказать благодать. Ступайте, отслужите молебенъ съ водосвятиемъ Спасителю надъ Спасскими воротами; молитесь и пойте больную святою водой. Я буду молиться, и если Богъ наши общія молитвы услышитъ, больная получитъ облегченіе.

Больная выздоровѣла почти внезапно. Не видывалъ я ее, но мужа-нѣмца видалъ неоднократно; онъ навѣщаль періодически Татьяну Федоровну, благодѣяніи которой не могъ забыть, и захаживалъ къ брату.

Съ тѣхъ поръ пошла слава Татьяны Ѳеодоровны, и жизнь ея перемѣнилась.

„Пошла слава“, сказалъ я, но долженъ оговориться и отмѣтить фактъ поразительный. Пошла о ней слава, но въ монастырѣ продолжали ее не знать. Она оставалась „какою-то“ бѣлицей, едва извѣстною по имени. Какъ бы занавѣсь какой висѣлъ между нею и окружающими. Выше было сказано, что не зналъ ее братъ, не смотря на семилѣтнюю или шестилѣтнюю службу при монастырѣ. Но ея не зналъ и духовникъ ея, то-есть онъ зналъ ея имя, принималъ ея исповѣдь, но кто она и чтò она—не вѣдалъ. Тѣмъ менѣе вѣдали сестры-монахини. Никто не видѣлъ ея подвиговъ; это понятно; но никто не зналъ и о томъ, чѣмъ она привлекала къ себѣ посѣтителей. Было ли монахинямъ извѣстно даже то, что притокъ посѣтителей былъ по самому числу не совсѣмъ обыкновенный? А Татьяна Ѳеодоровна извѣстна была даже Двору. Императрица-мать Марія Ѳеодоровна, знавшая ее чрезъ кого-то изъ статсъ-дамъ или фрейлинъ, разъ, во время пребыванія въ Москвѣ, навѣстила монастырь съ единственною цѣлю видѣть необыкновенную монахиню и побесѣдовать съ нею. Можно представить торжественный приѣмъ, оказанный государынѣ, но Татьяны Ѳеодоровны государыня не нашла. Игуменья съ недоумѣніемъ услышала вопросъ о какой-то мало извѣстной сестрѣ и сама должна была наводить о ней справки; но пока дознались, пока послали предувѣдомить Татьяну Ѳеодоровну, она скрылась, и государыня уѣхала, выразивъ сожалѣніе, что не удалось ей видѣть святую женщину, о которой много слышала. Татьяна Ѳеодоровна рассказывала брату, что лишь только узнала о Высочайшемъ посѣщеніи, тотчасъ ушла изъ кельи и скрылась въ сухомъ колодцѣ, гдѣ и просидѣла все время, пока государыня была въ монастырѣ.

Рекомендація государыни подняла ли Татьяну Ѳеодоровну среди своихъ? Полюбопытствовали ли они

полускелетъ, безжизненное, изможденное лицо, взоръ углубленный, почти не видящій вокругъ, медленную рѣчь съ разсчитаннымъ каждымъ словомъ, и чуть не славянскую. „Прозорливица!“ размышлялъ я притомъ. Она должна видѣть насквозь, и дѣлалось боязно; перебиралъ свою душу, не застряло ли тамъ чего сквернаго? вдругъ услышу заслуженное обличеніе! Какъ же я былъ удивленъ, увидавъ старушку, казалось, самую обыкновенную! Только глаза ея были не совсѣмъ какъ у другихъ, быстрые, проникательные. Она была ласкова, но не слащава и не слезлива; никогда не вздыхала, равно и не смѣялась никогда, хотя рѣчь ея сопровождалась постоянно полуулыбкой. Голосъ былъ всегда ровень, никогда не возвышался, спокойный, но и не переходившій въ наставительную важность. Ея разговоръ напоминалъ добрую мать, которая говоритъ дѣтямъ: „а это отъ того, дружокъ, что ты бѣжалъ слишкомъ скоро и не смотрѣлъ подъ ноги; будь осмотрительнѣе, и падать не будешь.“ И слышалась та же непоколебимая сила въ ея словахъ, какая слышится ребенку въ голосъ родительницы или вообще въ голосъ всякаго, кто безконечно превосходитъ собесѣдника безспорною опытностью.

Во время побывки своей въ Москвѣ, еженедѣльно я носилъ Татьянѣ Ѳедоровнѣ горячіе пироги по праздникамъ. Это была добровольная дань, которую вносилъ ей братъ. Приношеніями ее вообще заваливали, но они не оставались у нея, какъ и деньги, которыя ей давали на благотворенія: это былъ сосудъ, изъ котораго вытекало, едва успѣвая втечь. Бѣдный мелкій чиновникъ приходитъ, просить молитвъ, совѣта, помощи; мѣсто ли потерялъ или какая бѣда другая случилась. „И кстати вы пришли, скажетъ она простодушно, передавая просителю деньги. Княгиня такая-то или генеральша только что привезла мнѣ сегодня; возьмите да молитесь за нее, перебѣтесь на первый разъ. Богъ-то видитъ вашу нужду, вотъ и послалъ вамъ. А карты

бросьте, и за дѣтьми поприглядывайте. Богъ наказываетъ иногда, посылаетъ испытанія; ждетъ Онъ отъ васъ, оглянется: а вы сегодня карты, завтра карты; семья-то безъ призора... Богъ пошлетъ милость, у Бога милости много.“ И скажетъ еще какое-нибудь такое обстоятельство, которое никому неизвѣстно кромѣ посѣтителя.

Если ее спросятъ: да почему вы это знаете? Она не отвѣтитъ, а продолжитъ рѣчь: „такъ вотъ и слава Богу, вотъ и нужно бороться съ искушеніемъ, и молитесь, Богъ дастъ силы“. При этомъ сыплются примѣры изъ жизни угодниковъ, изреченія святыхъ подвижниковъ или выдержки изъ церковныхъ молитвъ.

Не нужно сказывать, что была Татьяна Федоровна гостепріимна; она не могла не дѣлиться и не любила, чтобъ у нея что-нибудь оставалось. Чаемъ особенно любила она угощать и сама пила его охотно, признавая привычку къ нему своимъ единственнымъ грѣхомъ, единственною слабостью.

Замѣчательно было ея объективное отношеніе къ своей святости. Не тщеславилась она, но и не напускала на себя самоуниженія, ни преувеличенной скромности; не отклоняла отъ себя дѣйствій, которыя безъ преувеличенія были чудесны; только не приписывала себѣ лично, а смотрѣла на себя какъ на постороннюю, какъ на удвоенное орудіе. Поражало меня, поражаетъ и доселѣ порученіе, данное ею брату, записать житіе ея, именно житіе, а не жизнь, то-есть въ сознаніи, что она близка къ лику угодниковъ, что можетъ наступить время, когда она будетъ прославлена со святыми. Эта заботливость о дѣлахъ Божіихъ, на себѣ явленныхъ, внушенная не самоуниженіемъ, но ревностью о славѣ и благодати Божіей, трудно постижима для обыкновеннаго смертнаго. Кто жъ въ самомъ дѣлѣ такъ способенъ отъшиться отъ себя, чтобы при полномъ самовмѣненіи и назвать себѣ же самому о себѣ: *онъ*? Нужно стать внѣ себя, быть внѣ земной жизни, чтобы земную жизнь понимать и чувствовать уже не своею. Постоянно

ь возношеніемъ въ горній міръ и постоянною  
ью въ немъ вѣроятно и объясняется это объектив-  
отношеніе подвижницы къ самой себѣ.

одождала ль она подвижничествовать въ годы своей  
стности? Наружность этого не показывала. Но кто  
илъ за ея ночами? Кто подсмотрѣлъ ея вечернія и  
ныя уединенія? Не постоянно же у нея были посѣ-  
ги. Прислуживала ей монахиня Маріамія. То не  
послушница въ обыкновенномъ смыслѣ, а помощ-  
и, почти постоянно у нея пребывавшая: она по-  
ить самоваръ, сходить куда-нибудь по порученію,  
зетъ увѣдомленіе, передать подаваніе; но она же  
гда приносила и жаровню погрѣться въ лютые  
своей учительницѣ. Маріамія должна была знать  
е другихъ, но она была не словоохотлива; да и  
лся ли кто ее спрашивать?

умолчу объ обстоятельстве, которое для меня  
ется загадочнымъ. Въ случаяхъ трудныхъ, гдѣ ду-  
ую свою опытность признавала Татьяна Федоровна  
статочною, она отправляла посѣтителей, прибѣ-  
и ихъ къ ней... съ трудомъ даже выговаривается  
отправляла къ извѣстному Ивану Яковлевичу Ко-  
гѣ, содержавшемуся въ домѣ умалишенныхъ и слу-  
пему дельфійскимъ оракуломъ для сотенъ тысячъ  
врныхъ. Извѣстны его сумазбродныя выходки, его  
мысленныя писанія, которыми онъ одѣлялъ своихъ  
тителей, разгадывавшихъ потомъ таинственный  
лъ безсвязныхъ каракуль; извѣстно, что онъ былъ  
дною статьей Преображенской больницы; извѣстно,  
для людей повыше суевѣрной лавочницы Иванъ  
левичъ былъ нарицательнымъ именемъ полоумна-  
Но Татьяна Федоровна посылала къ нему на ду-  
ый совѣтъ, и увѣрили, что предъ присланными отъ  
онъ не полоумничалъ и не безобразничалъ. Ъздилъ  
ему разъ и братъ Александръ; сколько помню его  
казъ, Иванъ Яковлевичъ при немъ дѣйствительно  
урачился, но ничего особенно назидательнаго братъ

и не слышалъ отъ мнимаго или дѣйствительнаго умалишеннаго.

Со словъ Татьяны Ѳедоровны братъ передавалъ такъ: Иванъ Яковлевичъ былъ учителемъ Смоленской семинаріи, но рѣшилъ посвятить себя подвижнической жизни и поселился въ лѣсу. Помѣщикъ, которому принадлежалъ лѣсъ, чтилъ пустынника и прибѣгалъ къ его совѣтамъ. Къ дочери присватался панъ, дѣло ладилось; но прежде чѣмъ совершить, баринъ ѣдетъ за благословеніемъ къ пустыннику. Тотъ не далъ благословенія, и панъ получаетъ отказъ. Узнавъ о причинѣ, оставленный женихъ ѣдетъ со своими доѣзжачими въ лѣсъ и бьетъ пустынника, оставляя его въ лѣсу замертво. Хотя очнулся подвижникъ, но бѣды не кончились: о немъ заявлено, какъ о сумасшедшемъ, и представили его въ губернское правленіе. Иванъ Яковлевичъ усмотрѣлъ въ этомъ призваніе Божіе, подвигъ ему указуемый, принялъ навязанное сумасшествіе и сталъ юродствовать.

По смерти Корейши, это было лѣтъ двадцать назадъ, издана была книжка съ его жизнеописаніемъ. Я не читалъ ее. Въ какой мѣрѣ внѣшнія обстоятельства его жизни подходятъ къ слышаннымъ мною отъ брата, а имъ отъ Татьяны Ѳедоровны? Въ какой степени само сочиненіе Прыжова (автора біографіи) достовѣрно? Это вопросы, которыхъ я не берусь рѣшать. Лучшими судьями могли бы быть врачи больницы. Къ какой категоріи душевно больныхъ причисляли они Корейшу и возникало ли у нихъ подозрѣніе въ намѣренномъ дурачествѣ пациента? И достаточно ли сильна психіатрія, чтобы съ непогрѣшимостью отличить истинное сумасшествіе отъ притворнаго? Не вполнѣ объяснимо и то, почему именно Иванъ Яковлевичъ, а не другой кто изъ больныхъ попалъ въ оракулы, чѣмъ условилась что слава или чѣмъ былъ данъ къ ней первоначальный одъ? По всему слышанному склоняешься вѣрить кову, но мнѣніе безспорно разумной Татьяны Ѳедоровны вѣргаетъ въ раздумье...



## XXVIII.

## Отголоски интеллигенціи.

Въ библіотекѣ брата я нашелъ много книгъ, такъ-называемыхъ масонскихъ: *Урозъ Свѣтовостоковъ*, *Сіонскій Вѣстникъ* и другія. Я перелистывалъ ихъ, но читать не имѣлъ терпѣнія, отчасти и потому, что разсужденія вообще мною пропускались въ книгахъ, а здѣсь они излагались еще въ сочетаніяхъ, мало понятныхъ даже для взрослыхъ. У отца изъ этой литтературы видывалъ я Юнга Штиллинга и Эккартсгаузена,—книги, какъ говорилъ онъ, запрещенныя; не разъ принимался я и за нихъ, но тоже никогда не могъ одолѣть. Былъ у отца на „увѣщаніи“ и подѣ духовнымъ надзоромъ одинъ изъ прихожанъ, заподозрѣнный въ масонствѣ, но повинный, кажется, единственно въ томъ что состоялъ сотрудникомъ Библейскаго Общества. Мое любопытство не могло не быть возбуждено: чтѣ же такое масоны? Отецъ отвѣчалъ уклончиво, а братъ ограничивался объясненіемъ, что „они идутъ противъ престоловъ и алтарей“; дополнялъ впрочемъ, что масоны отвергаютъ наше богослуженіе, признавая исключительно внутреннюю церковь. Повидимому братъ и самъ не прочелъ книгъ, имѣвшихся у него. Да и дѣйствительно, нужно было имѣть уже нѣсколько испорченный духовный вкусъ, умъ до известной степени ложно раздраженный, чтобы погрузиться въ масонскую литтературу. Мнѣ передали только о вѣншемъ обстоятельствѣ, послужившемъ къ гоненію на масоновъ. Въ Академіи Художествъ президентъ Оленинъ предложилъ въ почетные члены Аракчеева, а вице-президентъ, онъ же и издатель *Сіонскаго Вѣстника*, Лабзинъ, возразилъ что неумѣстно Академіи вводить въ свой составъ лицо, не ознаменовавшее себя ни трудами художественными, ни содѣйствіемъ искусству. „Я пред-

лагаю, отвѣчалъ Оленинъ, въ виду того что графъ Аракчеевъ есть особа, приближенная къ государю". — „Тогда, отозвался Лабзинъ, достойно предложить въ члены Академіи Илью лейбъ-кучера; онъ есть лицо болѣе всѣхъ близкое къ государю". Оленинъ тотчасъ закрылъ собраніе, и оттолкъ де, передавалъ при мнѣ брату Груздеву, начались преслѣдованія, при чемъ масоновъ обвинили между прочимъ въ соучастіи съ карбонаріями. — „А что такое карбонаріи?" спросилъ я потомъ, и тутъ-то получилъ отвѣтъ, что это люди, которые идутъ противъ престоловъ и алтарей. Никакого дальнѣйшаго объясненія не послѣдовало; да и въ моей мысли никакого возбужденія этотъ отвѣтъ не произвелъ; онъ остался въ памяти внѣшнимъ наростомъ, не находя ничего въ душѣ, съ чѣмъ слиться и пустить органическій ростъ.

Въ моемъ присутствіи передавались еще происшествія, довольно свѣжія тогда, съ письмомъ Чаадаева въ *Телескопъ* и съ *Исторіей Ересеи* Руднева. То и другое обсуживалось опять только со внѣшней стороны. Въ Чаадаевскомъ письмѣ видѣли оскорбленное тщеславіе офицера, посланнаго къ государю въ Верону курьеромъ съ извѣстіемъ о бунтѣ Семеновскаго полка, но по припадѣ занявшагося туалетомъ; предвареннаго вслѣдствіе этого австрійскимъ курьеромъ и за то подвергшагося Высочайшему неудовольствію. Своею статьею онъ вымещаетъ, судили такъ, свою заслуженную непріятность. Въ этомъ отзывѣ была доля правды. Двадцать лѣтъ спустя я видѣлъ Чаадаева. Онъ былъ воплощенное тщеславіе и въ то же время, какъ выражаются Французы, *tiré à quatre épingles*, до чопорности заботливый о своемъ туалетѣ. И опоздавшій курьеръ, и авторъ антинаціональных писемъ виденъ былъ въ немъ. Затѣмъ винили Надеждина, который подвелъ Болдырева, цензора, окрутилъ его, заговорилъ, заморочилъ и убѣдилъ подписать одобреніе къ печатанію не читая. Припоминали, что легкомысліе у Надеждина основная черта характера.

Въ Рудневской исторіи находили, что Филаретъ по

ступилъ несправедливо, обрушившись на цензора (П. С. Делицына) котораго все участіе ограничивалось тѣмъ, что для формы поставилъ онъ на книгѣ свое имя.

Ходъ дѣла былъ таковъ. Канцлеръ Румянцевъ назначилъ премію за сочиненіе исторіи русскихъ ересей. Студентъ Рудневъ въ магистерской диссертациі изложилъ часть этой исторіи; сочиненіе было признано заслуживающимъ преміи и напечатано. Но... о, неожиданности! Въ самомъ сочиненіи найдены были погрѣшительныя мнѣнія, чуть не ереси; при перечисленіи заблужденій Римской церкви авторъ привелъ, какъ несогласное съ православнымъ, между прочимъ, ученіе о равносильности Св. Преданія со Св. Писаніемъ. Послѣдовалъ запросъ изъ Петербурга, пошла переписка, пререкаемыя страницы изъ книги вырѣзаны и замѣнены новыми. Козломъ отпущенія послужилъ цензоръ. Бумажная, лицевая сторона была противъ него\*; но она не воспроизводитъ полной картины. Статочное ли дѣло, чтобы диссертациа выпущена была цензоромъ зря; чтобы ее всю не читали и не перечитывали предварительно профессоръ и потомъ конференція; чтобы не прочелъ ее самъ митрополитъ? И тѣмъ болѣе, когда она писана на премію! Статочное ли дѣло, чтобы профессоръ-цензоръ, онъ же и членъ конференціи, дерзнулъ подписать рукопись исходящую отъ конференціи, не удостовѣрившись въ просмотрѣ ея конференціей? Да откуда же она и поступила въ Цензурный Комитетъ? Провинился, если тутъ была вина, не одинъ Делицынъ и даже совсѣмъ не онъ. Полупротестантское понятіе о преданіяхъ было тогда общимъ въ школѣ. Катихизисъ самого Филарета еще не имѣлъ главы о Преданіяхъ; она внесена уже послѣ Рудневской исторіи. Богословіе Терновскаго также не говорило о Преданіяхъ; рукописный учебникъ, по которому я училъ

\* Не такъ давно С. К. Смирновымъ напечатано извлеченіе изъ документовъ по этому дѣлу.

богословіе уже въ сороковыхъ годахъ, опять умалчивалъ объ этомъ пунктѣ. Періодъ Прокоповичевскій еще продолжался. И не по одному вопросу о преданіи было такъ; ученіе „объ оправданіи“ тоже излагалось по лютеранскимъ книгамъ. Ничего по этому удивительнаго нѣтъ, что и конференція, и самъ митрополитъ дозволили мѣсто въ диссертациі, оказавшееся въ глазахъ Синода предосудительнымъ. Пока Москва шла болѣе или менѣе послѣдовательно за Прокоповичемъ, въ Петербургѣ совершился поворотъ, которымъ, по слухамъ, богословіе обязано было А. Н. Муравьеву.

Замѣчательнѣе всего, что къ нововведенію въ существенномъ повидимому догматѣ профессиональные богословы остались вполне равнодушны: они стали писать и учить по новому, какъ бы и вѣкъ такъ писали и учили. То же равнодушіе отразилось и въ разсказѣ мною слышанномъ: разсказчики, лица съ богословскимъ образованіемъ, судили о фактахъ и лицахъ, но не о мысляхъ. Странное безвѣріе въ духовныхъ лицахъ! можетъ подумать читатель. Но странное на первый взглядъ безучастіе свидѣтельствовало не о безвѣріи, а о томъ, что формулы западнаго богословія лишены живаго значенія для восточной церкви. Тамъ онѣ принадлежатъ къ существу исповѣданій, и вопросъ о нихъ горячъ, а на Востокѣ вопросъ о нихъ и не вызывался. Любопытна въ этомъ отношеніи, между прочимъ, переписка, происходившая въ XVII вѣкѣ между патріархомъ Іереміею и тюбингенскими богословами; тѣ спрашиваютъ его о пунктахъ, на которыхъ главнымъ образомъ зиждется раздоръ между Римомъ и Лютеромъ (о вѣрѣ и дѣлахъ, напримѣръ); а патріархъ отвѣчаетъ помимо и поверхъ, недоумѣвая о самомъ основаніи, ибо предлагаемое недоумѣніе было продуктомъ религіозныхъ умствованій именно Западной церкви, къ которымъ она приведена была своею особенною исторіей.

Объ издателѣ *Телескопа*: онъ былъ дѣйствительно

легкомысленъ. Еще изъ времени академическаго воспитанія передають о слѣдующемъ его поступкѣ. Студентъ Николай Надеждинъ былъ связанъ особенно тѣсною дружбой со студентомъ Александромъ Дроздовымъ. Молоденькіе оба, оба горячіе, оба быстрые, они жили душа въ душу; вмѣстѣ занимались, сообща обсуживали читанное и слышанное; ни одинъ не предпринималъ ничего, не посоветовавшись съ другимъ. Въ одну изъ такихъ бесѣдъ раздумались они о будущемъ и въ религіозной экзальтаціи дали себѣ вопросъ: не пойти ли имъ въ монахи для болѣе плодотворнаго служенія церкви и для спасенія собственныхъ душъ? Пылкіе, они скоро рѣшили: „идемъ!“ Случайно или даже по прямому совѣту Надеждина, они написали общее отъ обоихъ прошеніе на одномъ листѣ, подписались и отправились къ ректору Кириллу (бывшему потомъ архіепископомъ Подольскимъ). Въ восторгѣ былъ ректоръ, благодарилъ Бога, что ангельскій чинъ вообще и ученое монашество въ частности обогащаются такими дарованіями: и Дроздовъ, и Надеждинъ принадлежали къ отличнѣйшимъ изъ студентовъ.

— Богъ васъ благословить, доброе вы задумали, господи, но прошеніе вы подали не по формѣ. Почему оно на одномъ листѣ?

— Мы вмѣстѣ задумали, мы связаны дружбой, одними чувствами одушевлены.

— Это прекрасно; но все-таки нужно, чтобы прошеніе поступило отъ каждого отдѣльно.

Поклонились студенты, и принявъ благословеніе ректора, вышли.

Дроздовъ тотчасъ накаталъ прошеніе, сбѣгалъ къ ректору, подалъ и съ сіяющимъ лицомъ бѣжить въ номеръ къ Надеждину.

— Я подалъ, Николаша. А ты?

— Нѣтъ; да я и раздумалъ подавать.

— Какъ же такъ? Ты же подписалъ, и мы условились, и ректоръ знаетъ.

— Мало ли что! Вольно и тебѣ! Ну, и надѣвай, братъ, кlobукъ, и щеголай, со смѣхомъ отвѣчалъ Надеждинъ.

Такъ Николаша и остался въ мірѣ, былъ потомъ въ Рязани профессоромъ семинаріи, потомъ въ Москвѣ профессоромъ университета, издателемъ *Телескопа*, потомъ ссыльнымъ въ Устьсысольскъ; послѣ редакторомъ *Журнала Министерства Внутреннихъ Дѣлъ*, главнымъ дѣятелемъ Этнографическаго отдѣла при Географическомъ Обществѣ. А Александръ Дроздовъ сталъ Аѳанасіемъ, сначала бакалавромъ Московской Академіи, потомъ ректоромъ въ разныхъ семинаріяхъ, затѣмъ ректоромъ Петербургской Академіи и скончался архіепископомъ Астраханскимъ.

Можно бы этотъ разсказъ принять за острое слово, за шутку, за клевету наконецъ. Нѣтъ, когда Аѳанасій былъ ректоромъ Рязанской семинаріи, а Надеждинъ пріѣхалъ побывать на родину (онъ былъ Рязанской епархіи, изъ Бѣлоомута), Аѳанасій, показывая гостю семинарію, представилъ своего друга семинаристамъ и имъ объяснилъ, что „еслибы не этотъ баринъ, то не быть бы мнѣ вашимъ ректоромъ, не быть бы мнѣ и монахомъ. По его милости я теперь то, что есть; только онъ-то мнѣ измѣнилъ тогда“. Это я уже слышалъ отъ Веніамина (скончавшагося епископомъ Рижскимъ), сверстника моего по академіи. Веніаминъ былъ рязанскій (В. М. Карелинъ въ мірѣ) и когда учился въ семинаріи, предъ нимъ-то въ числѣ прочихъ Аѳанасій исповѣдалъ, какъ другъ Николаша упряталъ его въ монахи. Надеждинъ былъ таковъ. О подобномъ поступкѣ его разсказываютъ относительно другой особы, еще здравствующей. Ю. Ѳ. Самаринъ, котораго домашнимъ учителемъ, между прочимъ, былъ Надеждинъ, передавалъ мнѣ кромѣ того о софистическихъ, почти лицедейственныхъ способностяхъ Надеждина, въ добавокъ обладавшаго рѣдкою импровизаціей; какъ онъ, читая дѣтямъ лекціи, приводилъ ихъ въ трепетъ, заставляя своею

одушевленною рѣчью биться ихъ сердца, проливать даже слезы, а чрезъ часъ самъ издѣвался надъ своею проповѣдью и критиковалъ ее. Яркій примѣръ и достоинствъ, и недостатковъ стараго семинарскаго воспитанія!

Не диво, что я, тринадцатилѣтній мальчикъ, къ вопросамъ о превосходствѣ западной культуры передъ русскою, или къ разницѣ вѣроученій римскаго и православнаго относился еще болѣе равнодушно, нежели рассказывавшіе исторію Чаадаева и Руднева; не моего ума это было дѣло, какъ и оцѣнка масонскаго направленія. Но дивить меня, что никакого слѣда не оставила во мнѣ читанная мною въ этотъ періодъ времени Записка Погодина о Москвѣ (она подана была наслѣднику цесаревичу Александру Николаевичу и потомъ напечатана въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*). Братъ заставилъ меня переписать ее: я переписалъ, но она вылетѣла изъ головы. Тѣмъ болѣе удивительно это обстоятельство, что именно тогда я особенно интересовался Москвой, а чрезъ полтора года въ своихъ *Святочныхъ Досужахъ* заднимъ числомъ приписывалъ себѣ размышленія о Москвѣ, въ слабомъ конечно намекѣ, но тѣ же, которыя обстоятельно и безъ сравненія глубже изложены Погодинымъ. Однако даже тогда, при писаніи *Досужахъ*, статья Погодина не вспоминалась мнѣ. Вторично я прочелъ ее много спустя, чрезъ нѣсколько десятковъ лѣтъ послѣ того, какъ переписывалъ ее. И повторилось случившееся съ замѣчаніемъ о причастіяхъ въ грамматикѣ Востокова. Что-то было неудобнообъемлемое дѣтскимъ сознаніемъ, чего-то въ немъ еще не созрѣло чтобы воспринять ходъ историческаго служенія Москвы въ томъ изложеніи, которое дано Погодинымъ. А какія именно мѣста или какой пріемъ былъ для дѣтской головы неудобоваримъ, этого зрѣлый возрастъ не могъ ни вспомнить, ни открыть.

1837 годъ былъ до извѣстной степени поворотнымъ въ литературѣ. Года не прошло, какъ съ запрещеніемъ

*Телескопы* наступилъ цензурный терроръ, оттогда постепенно усиливавшійся. Года не прошло какъ Рудневскою книгой назнаменовано новое направление богословской литературы. Минувшій годъ былъ Пушкинскимъ годомъ *Современника*, временемъ появления *Коляски* и *Носа* Гоголя. Начаты Краевскимъ *Литтературныя прибавленія къ Русскому Инвалиду*; *Энциклопедическій Словарь* Плюшара былъ новостью; *Живописное Обозрѣніе* Полеваго тоже. Все было мною читано. Но къ огорченію, И. И. Мѣщаниновъ, равно и братъ, были почитателями *Библіотеки для Чтенія*. Братъ такъ увѣровалъ въ нее, что оказался ревностѣйшимъ гонителемъ *сихъ* и *оныхъ* въ своихъ проповѣдяхъ, и тексты началъ приводить въ нихъ, вопреки обычаю, на русскомъ, а не на славянскомъ, въ чемъ однако скоро остановленъ былъ цензоромъ проповѣдей, благочиннымъ. Отразилось это и на мнѣ, оставивъ свой слѣдъ на нѣкоторое время. Съ отвращеніемъ къ напыщенности закралась было склонность къ верхоглядству, предпочтеніе популярнаго изложенія глубинѣ изслѣдованія. Это же кстати и было одною изъ причинъ, почему серіозныя сочиненія предпочиталъ я писать на латинскомъ. Фельетонный пошибъ Сенковского для науки не годился, объ этомъ чутье мнѣ говорило; между тѣмъ на *Библіотекъ для Чтенія* преимущественно и воспитывалась въ это время моя русская рѣчь.

## XXIX.

## И. И. Мѣщаниновъ.

Пора сказать объ этомъ добромъ геніи нашего ~~се~~  
 ва, отчасти и моемъ личномъ. Гоголь изобразилъ  
~~литтсикъ~~ *Помѣщикахъ* неразрывныхъ мужа и  
 ■, о которыхъ будетъ сейчасъ рѣчь,  
 ■ братъ и сестра, и притомъ противо-



положныхъ характеровъ. Гоголь вывелъ типы, а И. И. Мъщаниновъ съ своей сестрой были, что называется, антики, рѣдкіе, если не единственные экземпляры.

Сынъ Ивана Демидовича, выхлопотавшаго измѣненіе городского плана, Иванъ Ивановичъ Мъщаниновъ былъ записанъ съ малолѣтства въ гвардію сержантомъ и тѣмъ кончилъ свою службу. Въ отставку онъ былъ титулярный совѣтникъ. Отецъ говаривалъ, что И. И. Мъщаниновъ есть только личный дворянинъ, и связывалъ это обстоятельство съ ограниченіемъ права имѣть крѣпостныхъ. Однако у И. И. Мъщанинова были и населенныя имѣнія, и дворовые. Сестра его, Елизавета Ивановна, престарѣлая дѣвица, числилась купчихой. Братъ и сестра жили въ своемъ родовомъ коломенскомъ домѣ, Елизавета Ивановна безвыѣздно. Иванъ Ивановичъ былъ также холостъ.

Какъ памятенъ мнѣ этотъ домъ, своего рода замокъ, занимавшій, за исключеніемъ лишь небольшого уголка, цѣлый обширный кварталъ! Этимъ уголкомъ, помню, оскорблялось во мнѣ требованіе правильности; я недоумѣвалъ и досадовалъ, какъ же это, самъ ли Иванъ Ивановичъ или его предки, оставили въ чужихъ рукахъ этотъ уголъ и на немъ домъ, чужой тоже, когда они составляютъ неразрывную часть того же Мъщаниновскаго квартала! Задняя часть Мъщаниновской земли занята была луговиной, огородомъ и фруктовымъ садомъ; за ними слѣдовалъ во французскомъ вкусѣ устроенный садъ для гулянья, съ дорожками пересѣкающимися подъ прямымъ угломъ; ели шапками, аллеи шпалерами, аллея крытая, каменные двухъэтажныя бесѣдки,—все, какъ водилось при барскихъ усадьбахъ. Передъ садомъ дворъ, и на немъ домъ съ обширнымъ каменнымъ балкономъ, глядѣвшій черезъ дворъ прямо на главную аллею, въ концѣ которой красовалась бесѣдка. Домъ лицевою стороною на дворъ! Съ этимъ я тоже долго не могъ примириться. Но старина была такова: оставшіеся отъ нея другіе дома въ Коломенѣ стояли и совсѣмъ на дворѣ.

не глядя на улицу. Этимъ существенно отличается русскій городъ отъ западно-европейскаго. Въ Европѣ дома въ городахъ жмутся, образуютъ сплошную стѣну. Въ Россіи, наоборотъ, городъ былъ собраніемъ отдѣльныхъ усадебъ; каждая усадьба сама по себѣ и была своего рода замкомъ, огражденнымъ, вмѣсто рва и подъемнаго моста, дворомъ, заборомъ и воротами. Сплошную же стѣну представляютъ деревенскія избы; онѣ жмутся одна къ другой, тогда какъ въ Европѣ деревенскія поселенія на оборотъ расположены хуторами въ одиночку. Теперь сглаживаются эти различія. Русскіе города, и даже Москва, строятся по-европейски; а въ Европѣ, Англіи въ особенности, деревни обращаются въ города или вбираются въ нихъ; отдѣльные коттеджи исчезаютъ. Противоположеніе бурга (города) графству (сельскому имѣнію) уступаетъ мѣсто во всемъ свѣтѣ другому противоположенію: владѣющихъ классовъ неимущимъ вообще. Рабочій городской и рабочій сельскій обезразличиваются; тираннія и оборона перестаютъ находить выраженіе въ жилищахъ и зодчествѣ; въ параллель рыцарскимъ замкамъ вырастаютъ замки промышленности, фабрики и заводы, а на мѣсто сомкнутыхъ, укрѣпленныхъ городовъ возникаютъ рабочіе союзы. Лишь русская деревня стоитъ по прежнему упорно, и ея привычку не въ силахъ одолѣть даже обязательныя постановленія, требующія разрывовъ между усадьбами въ отвращеніе пожаровъ. И знаетъ крестьянинъ, что на случай пожара разрывы полезны; но ему жаль разстаться съ „чувствомъ локтя“, какъ называютъ его военные; ему надобно осязать сосѣда; въ неразрывности села онъ слышитъ свое единство, силу, безопасность. И таково впечатлѣніе русской деревни, производимое на иностранца. Я слышалъ отзывъ одного изъ нихъ, образованнаго француза-путешественника. „Ваша деревня сказываетъ о вашей неодолимости: такое впечатлѣніе произвела на меня сплошная стѣна вашихъ избъ“.

Любопытна и еще противоположность деревни городу у насъ, зависящая отъ той же причины. Городской домъ во дворѣ и смотреть во дворъ или же въ садъ, какъ было у Мѣщаниновыхъ. Деревня же всегда смотритъ на улицу и любить противъ себя другой рядъ домовъ, предполагаетъ его, если его даже нѣтъ въ дѣйствительности. Стоитъ село на рѣчкѣ, на оврагѣ: къ рѣкѣ изба непременно задомъ; здѣсь задворки, сарай, а лицевая на улицу, хотя бы улицы въ нынѣшнемъ смыслѣ и не было; баринъ же и вообще интеллигентъ поставилъ бы въ данномъ случаѣ домъ свой лицомъ непременно къ берегу. Въ подмосковныхъ деревняхъ это доходить до забавности. Въѣзжаете въ улицу; деревня какъ деревня, съ избами стоящими задомъ къ рѣчкѣ, а на задворкахъ, тамъ гдѣ у крестьянъ сараюшки, стоятъ изящные домики лицомъ къ рѣчкѣ; это значитъ—купилъ или снялъ это мѣсто городской житель.

Домъ о двухъ, пожалуй даже о трехъ этажахъ; но третій этажъ со своими маленькими окнами былъ чердакомъ. Жилые покои во второмъ этажѣ; нижній занятъ кухней и кладовыми. Вездѣ своды, лѣпная работа, фигурныя печи съ расписанными изразцами. Полъ простой, деревянный въ верхнемъ этажѣ, даже не крашеный, но поражавшій меня своимъ бѣлопепельнымъ цвѣтомъ. Мнѣ объяснили причину: полы мыли не просто водой, но со щелокомъ, золой и известкой. Въ нижнемъ этажѣ полъ выложенъ лепчадью.

Никогда я не могъ преодолѣть нѣкоторой робости, входя въ этотъ домъ-замокъ. Высокія, всегда затворенныя ворота; калитка съ цѣпью; большая собака на дворѣ; пусть лягавая, невинная, принадлежащая одному изъ дворовыхъ, записному охотнику, никогда на меня даже не залаившая; но я боялся большихъ собакъ и при встрѣчѣ всегда далеко обходилъ ихъ, точно также какъ гусей, которыхъ безъ страха не могъ видѣть. Случалось, что завидѣвъ большую собаку,

особенно гусей, я сворачивалъ совсѣмъ изъ улицы и окольными переулками доходилъ до дома, лишь бы не очутиться вблизи угрожающей, вытянутой гусиной шеи. А здѣсь мимо собаки проходить нужно было неизбежно; сердце билось; дворъ пустой; хотя впереди около сада и стоятъ флигеля дворовыхъ, и я увѣренъ что тамъ есть люди, но этимъ безмолвіе двора не нарушалось и смущеніе не успокаивалось. Наконецъ, самый видъ массивныхъ каменныхъ столбовъ, на которыхъ покоился балконъ, и за ними виднѣвшіеся двухъ-этажные каменные дома, безъ крышъ и безъ оконъ, развалины бывшихъ фабрикъ, заросшія травой и даже деревьями, все содѣйствовало мрачному ощущенію. Я зналъ, что въ домѣ живетъ добрѣйшее существо, но обстановка переносила меня къ замкамъ и подземельямъ, о которыхъ я читывалъ. Въ добавокъ кухня Мѣщаниновскаго дома дополняла мнѣ это напоминаніе,—странная кухня: узкій корридоръ, разумѣется со сводами, тянувшійся чрезъ весь домъ, изъ конца въ конецъ, хотя раздѣленный на отдѣленія, и въ этомъ подвалѣ единственный жилецъ, старый престарый Яковъ Васильевичъ поваръ.

Мѣщаниновы были и фабрикантами, и откупщиками, и поставщиками на казну. Иванъ Ивановичъ унаслѣдовалъ отъ отца эти операціи, но бросилъ ихъ, послѣ того какъ потонуло у него нѣсколько барокъ съ солью. Состоянію нанесенъ былъ ударъ. Иванъ Ивановичъ расплатился со всѣми кредиторами, простилъ долги всѣмъ должникамъ, закрылъ фабрики и остался при своихъ двухъ населенныхъ имѣніяхъ (душъ, кажется, 300 съ чѣмъ-то) и одномъ московскомъ домѣ, которыхъ прежде было нѣсколько. Онъ зажилъ жизнью, которая походила на монастырскую. Знакомства не велъ, въ гости никуда не ходилъ, все его время проходило въ чтеніи книгъ, лежа на постели. Иначе я его и не представляю; въ мѣховомъ халатѣ, съ трубкой, которую онъ не выпускалъ изо рта, и съ книгой въ рукѣ. Когда у него кто бывалъ, онъ разумѣется вставалъ, бесѣдовалъ; но гость

уходить—и снова постель, и снова книга въ рукѣ. Когда я прихаживалъ къ нему не мальчикомъ уже (пока я жилъ въ Коломнѣ, мое дѣло ограничивалось: придти, поклониться, спросить книгу, взять и уйти съ поклономъ), нѣтъ, но юношей, лѣтъ семнадцати и восемнадцати, въ Москвѣ, визиты мои были оригинальны. Поклонъ; онъ киваетъ головой, подавъ руку. Я сажусь. Перебравъ книги на столѣ, выбираю, какая возбудитъ мое любопытство, сажусь и читаю. Онъ лежитъ и тоже читаетъ. Молчимъ оба, и часто бывало, я ухожу, не обмѣнявшись словомъ и оставляя его полулежащимъ съ вѣчною книгой и вѣчною трубкой. Трубку онъ не оставлялъ даже ни при какомъ гостѣ. Батюшка ставилъ Ивана Ивановича въ примѣръ курильщикамъ, дѣтямъ, племянникамъ, дьячку: „вы жжете табакъ, а не курите; смотрите, какъ Иванъ Ивановичъ курить“. И дѣйствительно, Иванъ Ивановичъ только курилъ, едва-едва забирая дымъ и не доводя его далѣе передней полости рта; пускаетъ дымокъ и время отъ времени уминаетъ большимъ пальцемъ содержимое трубки. Совершенно равнодушный къ модѣ и почти нигуда не выходившій, Иванъ Ивановичъ одѣвался въ платье, которое носили тому тридцать или сорокъ лѣтъ назадъ. Его шубъ, сюртуку, брюкамъ, шинели не было износа; если бъ онъ прожилъ еще сто лѣтъ, все та же осталась бы у него шляпа, купленная при Александрѣ I, та же шинель съ полудюжиной воротниковъ расположенныхъ этажами, тотъ же однобортный сюртукъ синяго сукна. Онъ уступилъ модѣ, введенной Веллингтономъ, и выпускалъ иногда брюки, но большею частію ходилъ по прежнему, брюки въ сапогахъ. Когда въ сороковыхъ годахъ случалось мнѣ у него бывать въ Москвѣ, и онъ угощалъ меня обѣдомъ въ трактирѣ, помѣщавшемся въ домѣ Посольскаго подворья, мнѣ неимоვნю досадно бывало на половыхъ, которые скверною лакейскою улыбкой посмѣивались на его допотопный костюмъ. Но Иванъ

Ивановичъ не обращалъ на это вниманія, или даже просто не замѣчалъ, и щедро надѣлялъ подачками на чай каждаго, кто къ нему подходилъ. Эта челядь должно-быть считала его дурачкомъ; въ самомъ дѣлѣ, одѣвался такъ странно и давалъ на чай такъ великодушно, да зря притомъ, иногда кому совсѣмъ не слѣдовало!

Съ молоду Иванъ Ивановичъ, по общему отзыву, да и какъ можно было судить по остаткамъ, былъ очень красивъ: высокаго роста, правильныя черты, пріятный взоръ, бѣлокурые волосы. Отъ волосъ осталось у него подъ старость только позади нѣсколько, и при разговорѣ, когда онъ не лежалъ а сидѣлъ, онъ отправлялся изрѣдка рукой къ затылку, чтобы приподнять остатки волосъ на голову. Но всегда это было тщетно: волосъ-то всего оставалось какая-нибудь сотня, головы они не могли покрыть ни на малую долю; привычка осталась очевидно отъ того времени, когда заднія пряди еще могли служить службу. А половые тѣмъ болѣе должны были потѣшаться надъ почтеннымъ старцемъ.

Иванъ Ивановичъ былъ цѣломудренъ отъ юности и добръ безконечно. Родитель мой, бывшій его духовнымъ отцомъ, отзывался о его нравственномъ строѣ съ глубочайшимъ уваженіемъ и питалъ, можно сказать, къ нему даже не почтеніе, а благоговѣніе. Мѣщаниновъ не умѣлъ отказывать въ просьбахъ, если только могъ исполнить. Онъ не имѣлъ духа наказывать прислугу и даже выговаривать. Отъ того его эксплуатировали и обворовывали, у кого только доставали руки, и прислуга не спивалась единственно боясь Анны Ивановны. Съ крестьянъ онъ бралъ оброкъ по три рубля, съ чего не умѣю сказать, но цифру помню; находили ее ничтожною и возмущались тѣмъ, что крестьяне даже того не платятъ, а пользуясь добросердечіемъ барина постоянно выпрашиваютъ прощеніе недоимокъ. Тоже съ московскимъ домомъ;

онъ стоялъ на выгодномъ мѣстѣ, въ центрѣ города (рядомъ съ Ильинкой, Юшковъ переулокъ, теперь домъ Медынцевой). Арендная плата полагалась умѣренная, но добротой хозяина злоупотребляли жильцы, такъ же какъ крестьяне добротой барина, и я былъ разъ свидѣтелемъ сцены меня возмущившей. Явился жилецъ, по виду лавочникъ, началъ просить сбавки. „Помилуй, отвѣчаетъ ему Мѣщаниновъ, называя его по имени и отчеству. И такъ надо мною смѣются, что беру слишкомъ дешево“, и начинаетъ перечислять однородныя квартиры сосѣднихъ домовъ, ходившія вдвое и втрое.—„Точно такъ, отвѣчалъ жилецъ, но я прошу, окажите божескую милость, войдите въ положеніе“. Начинается перечисленіе: здѣсь убытокъ, тамъ недочетъ, кухарка обворовала и Богъ знаетъ чего не нагородилъ.—„Охъ, отвѣчалъ добрыйшій хозяинъ, ну ужъ такъ и быть, что дѣлать съ вами; на этотъ разъ будетъ по вашему. Но въ слѣдующій-то годъ, пожалуйста, платите какъ положено; меня и то бранятъ“. И скажетъ это Иванъ Ивановичъ скорѣе тономъ просительнымъ, нежели настойчивымъ. Поклонился жилецъ, принявъ умиленный видъ, но на лицѣ его скользила почти неумовимая улыбка, и даже не улыбка, а складки около глазъ, говорившія: „ай да славно провелъ!“

Выдавали одну изъ сестеръ моихъ замужъ. Хотя большая часть приданаго изготовлялась ими на собственные средства, скопленные отъ мастеричнаго гонорара, но значительную тягость долженъ былъ поднять и отецъ. Копить не изъ чего было, да и не умѣлъ онъ. Сколачивались кое-какъ, но все не хватало. Сидитъ отецъ у Ивана Ивановича.

— Такъ вы, батюшка, дочку устраиваете? Слава Богу.

— Да, отвѣчалъ отецъ.

— Не нуждается ли вы? Вѣдь тутъ расходъ, я думаю, большой.

— Да, отвѣчалъ отецъ,—недостаешь.

— Сколько, сколько? торопливо спросилъ Иванъ Ивановичъ.

— Да триста рублей нужно, заикаясь произнесъ отецъ.

Поспѣшно всталъ Иванъ Ивановичъ, вынулъ деньги и подалъ отцу. По движенію его было видно, что если бы вмѣсто *трести* отецъ сказалъ *три тысячи*, и если бы у Мѣщанинова въ данное время было столько денегъ, то онъ столь же поспѣшно бы ихъ отдалъ.

Иная была Лизавета Ивановна; она была воплощенная скупость. Преданіе ходило, что на нее отцомъ положено было, при рожденіи ли ея или въ дѣтствѣ, сто тысячъ, и она во всѣ свои долгія лѣта не вынула ни копѣйки, напротивъ, прикладывала изъ доходовъ, получаемыхъ ею съ лавокъ. На себя она не тратила ничего, живя въ братниномъ домѣ, на братниномъ столѣ, пользуясь братниными экипажами. Гардеробъ ея былъ возобновляемъ также братомъ. Дворовые рассказывали, что если бы собрать всѣ чепцы, которые неизмѣнно привозилъ ей братъ послѣ каждой поѣздки изъ Москвы, то ими можно укласть всю дорогу отъ церкви до ихъ дома. Чепцы, какъ и вся рухлядь, откладывались въ кладовыя, и нужно было видѣть злорадостно, съ какимъ рассказывали дворовые, что вздумала какъ-то барышня отправиться въ кладовую перевѣрить тамъ находившееся. Пыль столбомъ, моль, черви и одни отрепки. Въ лѣтнее время ежедневно барышня отправлялась въ садъ, между прочимъ съ садовою пилкой въ рукѣ для моціона, но и съ цѣлю вмѣстѣ пересчитать дули, шпанскія вишни и шишки на кедрахъ. Яблокъ на яблоняхъ вѣроятно она не считала, по ихъ множеству. Но избави Богъ, если дуля пропала! Однакоже ухитрялся народъ и тутъ красть. На крайней мѣрѣ разъ я получилъ отъ одной изъ дворовыхъ въ подарокъ кедровую шишку. Она не могла быть подарена дѣвкѣ барышней; слѣдственно была украдена. Кто-то пострадалъ изъ-за этой ствой шишки, которою я лакомился, не подозрѣ-



вая ея происхожденія? Удивительный кодекс нравственности былъ у дворовыхъ. Старушка Анисья, завѣдывавшая, кажется, господскими курами, ходя въ церковь къ заутрени и въ праздникъ и въ будни, останавливалась иногда у нашихъ воротъ и подсовывала въ подворотню кулекъ съ овсомъ. Овесъ; понятно, былъ краденый. Ни тетка, ни тѣмъ не менѣе отецъ не выпрашивали у Анисьи нашимъ курамъ на кормъ; это было ея доброхотное даваніе, жертва, которую она приносила, но барскимъ добромъ. Богомольная, благочестивая, она не полагала, въ всякаго сомнѣнія, что отнимать у господскихъ куръ, пусть можетъ-быть и лишній, кормъ грѣшно. Она полагала, что совершаетъ доброе дѣло.

Какъ всѣ скряги, Лизавета Ивановна не охотно разставалась съ благороднымъ металломъ. Въ опредѣленные дни она присылала намъ деньги на сорокоусть и другія долги поминовенія, хотя бы и больше рубля, но непременно грошами и пятаками. Незвѣстны счастливицы, получавшіе отъ нея серебро: повару на расходы она отсчитывала также мѣдью.

Она жадничала не только на свое, но и на братнее, и притомъ не только для другихъ, но и для того чьимъ хозяйствомъ завѣдывала. Мѣщаниновъ рѣдко оставался постами въ Коломиѣ, а на Великій Постъ уѣзжалъ въ Москву неизмѣнно. Не дѣла какія нибудь отзывали его, а голодъ. Сестрица держала его постомъ на хлѣбъ и водѣ, кромѣ свекольника ничего не давала, и бѣдный хозяинъ, не желая перечить, уѣзжалъ на прокормъ въ Москву.

Столь не похожіе характерами на старосвѣтскихъ помѣщиковъ, тѣмъ не менѣе Иванъ Ивановичъ съ Лизаветой Ивановной, подобно Аѳанасію Ивановичу съ Пульхеріей Ивановной, были на „вы“, всегда были другъ съ другомъ вѣжливы и почти почтительны. Разность вкусовъ и характеровъ не нарушала гармоніи: если Иванъ Ивановичъ не входилъ въ хозяйство, погружаясь въ

кихъ мѣстахъ, гдѣ никому не придетъ въ голову искать? Я знаю случай, какъ одна нищенка предъ смертію старалась даже съѣсть свои кредитные билеты, и тѣмъ ускорила смерть: подавилась недоѣденною трехрублевкой.

Дворянъ Мѣщаниновыхъ, какъ вѣроятно и вездѣ бывало въ состоятельныхъ домахъ, была на всѣ руки. Были башмачники, столяры, шорники, цирюльники и проч. Одинъ промышлялъ охотой, какъ отхожею, такъ и домашнею: онъ былъ воспитатель канареекъ, которыхъ у него цѣлый заводикъ порхалъ на полкахъ за сѣтками. Не на столько слѣдилъ я за беллетристикою новѣйшаго времени, чтобы рѣшить вопросъ: достаточно ли представленъ типъ дворовыхъ литтературой. Его брали и изображали, какъ прислугу, съ дурными и хорошими чертами, преимущественно съ первыми, такъ называемыми „халуйскими“. Но кажется, ни одинъ художникъ, ни одинъ беллетристъ не подошелъ къ нему съ тѣмъ участіемъ, съ какимъ обрисовалъ Гоголь Акакія Акакіевича. А напрасно. Въ одной изъ первыхъ главъ я называлъ дворянъ интеллигенціей села; прибавлю, что она была носительницей прогресса и личной инициативы въ лучшемъ смыслѣ. Изъ крестьянина, выдѣлившись отъ міра, рѣдко выходитъ что-нибудь лучшее кабатчика; грубая нажива и никакой идеи; удовлетвореніе идеаламъ ограничивается литьемъ колоколовъ и золоченіемъ иконостасовъ. Изъ дворовыхъ выходили мастера, почти художники, выходили и настоящіе художники. Въ лучшихъ изъ нихъ копошились безкорыстныя стремленія, многіе были страстные охотники, другіе—любители и знатоки цвѣтоводства и плодоводства. Работъ Мѣщаниновскихъ башмачниковъ цѣны не было; они работали не просто хорошо, но съ тонкимъ изяществомъ, для грубыхъ коломенскихъ вкусовъ даже излишнимъ, но работавшаго подвигало внутреннее требованіе изящества. И дѣйствительно, когда смотрѣли на башмаки, у многихъ вырывались восклицанія: „жалко носить, стѣдуетъ поставить за стекло да такъ и держать“.

А любознательность? Мальчикомъ отъ десяти до четырнадцати лѣтъ я зналъ объ адмиралѣ Мордвиновѣ и читалъ мнѣнія, которыя подаваемы были имъ въ Государственномъ Совѣтѣ; читалъ въ рукописи Древнюю и Новую Россію Карамзина, читалъ докладъ, опять въ рукописи, Ивана Владиміровича Лопухина о молоканѣхъ, письма Невзорова по поводу гоненій на Библейское Общество. И мало ли что, въ печать не попавшее по цензурнымъ условіямъ! Откуда я доставалъ? Не отъ И. И. Мѣщанинова, а отъ дворовыхъ людей Мѣщаниновскихъ и Черкизовскихъ. Обученъ дворовый грамотѣ чтобы быть конторщикомъ. Любознательность въ немъ пробуждается; она усиливается чтеніемъ книгъ и перепиской сочиненій въ родѣ вышепоименованныхъ. Подслушанные разговоры господъ довершаютъ воспитаніе, которое назвалъ бы я не только литературнымъ, но и политическимъ. Въ дальнѣйшій періодъ моей жизни,—однако до двадцати лѣтъ только, періодъ отроческій,—доводилось мнѣ бесѣдовать съ подобными самородными мыслителями; слышалъ сужденія о проповѣдникахъ, о писателяхъ свѣтскихъ, о государственныхъ людяхъ и политическихъ событіяхъ; слушалъ съ удовольствіемъ и дивился такту, уму и знанію. Но замѣчательно, я удостоивался задушевной откровенности только въ періодъ отрочества. Минуло двадцать лѣтъ, я уже студентъ, не ученикъ, почти ученый, словомъ—баринъ взрослый, пусть и поповичъ; тотъ же Михаилъ Федоровичъ, котораго бывало наслушаешься въ сласть, свернулся какъ ежъ. „Да-съ, нѣтъ-съ, точно такъ-съ“. Онъ держитъ себя какъ „человѣкъ“, то-есть какъ лакей. А было время, онъ смотрѣлъ и держался человѣкомъ въ благороднѣйшемъ значеніи слова. Онъ и забылъ, не помнитъ, какъ распоясывался предъ мальчикомъ-поповичемъ. А мальчикъ-то поповичъ, выросши помнитъ, и сжалось у него сердце при видѣ какъ человѣкъ обращается въ „человѣка“.

## XXX.

## Д в а б р а т а.

Съ обоими моими братьями читатель уже знакомъ нѣсколько. Это два почти противоположные типа. Одинъ (старшій) словоохотливый, податливый на первыя впечатлѣнія, опрометчивый, даже бѣшенный при случаѣ, не вѣдающій корысти и неспособный къ искательствамъ; отсюда слывшій высокомернымъ и дерзкимъ на языкъ (послѣднее отчасти было справедливо). Другой былъ расчетливъ на слова и сдержанъ вообще; умѣлъ и любилъ рассказывать, но въ обществѣ; это не была потребность излиться, а скорѣе желаніе порисоваться; общество было для него душа, безъ общества онъ хилѣлъ. Умѣлъ подлаживаться, былъ остороженъ въ обращеніи, но скопидомства не было у него, какъ и у старшаго брата, а искусства наживать лишены мы всѣ одинаково.

Старшій братъ учился отлично, но не отлично кончилъ. Перейдя первымъ ученикомъ въ философію, переступилъ кажется вторымъ, во всякомъ случаѣ однимъ изъ первыхъ и въ богословскій классъ; а здѣсь едва удержался въ первомъ даже разрядѣ. Семинарія по преобразованіи помѣщалась сначала (временно) на Перервѣ, и тамъ братъ, наравнѣ съ другими, жилъ пансіонеромъ въ казенномъ помѣщеніи. Съ переводомъ семинаріи въ Москву, по отстройкѣ для нея зданія, пришлось жить на вольной квартирѣ и добывать деньги уроками. Не велики были деньги, но судьба задумала побаловать брата; его рекомендовали въ „господскій“ домъ, и онъ въ богословскомъ классѣ поступилъ домашнимъ учителемъ къ С. Н. Кирѣевскому. Здѣсь при готовомъ помѣщеніи и содержаніи получалъ приличное жалованье; имѣлъ въ другихъ домахъ уроки

сверхъ того и былъ еще учителемъ въ пансіонѣ. На школьную науку естественно было ему смотрѣть пренебрежительно и даже классы посѣщать спустя рукава. Одному изъ обязательныхъ предметовъ онъ разсудилъ совсѣмъ не учиться—еврейскому языку. Пусть это была черта почти общая семинаристамъ, но братъ вздумалъ ею даже похвастаться. Зашелъ онъ въ аудиторію (обыкновенно онъ не посѣщалъ еврейскихъ классовъ). Профессоръ спрашиваетъ его. Братъ отвѣчаетъ, что не знаетъ; профессоръ приглашаетъ взять книгу. Братъ отвѣчаетъ, что это бесполезно, потому что онъ не умѣетъ даже читать и не намѣренъ выучиться читать. Должно прибавить, что обезпеченный братъ одѣвался въ ту пору щегольски, явился въ классъ джентльменомъ, въ перчаткахъ, во фракъ можетъ-быть (если предстояло идти на урокъ); вообще представлялъ по внѣшности фигуру болѣе значительную нежели профессоръ. Сцена должна была произвести эффектъ, и за эту-то выходку рѣшили было исключить дерзкаго юношу изъ перваго разряда, но оставили изъ уваженія къ дарованіямъ, прочимъ успѣхамъ и изъ вниманія къ прошлому.

Случай съ братомъ характеренъ. Онъ не единственный; сколько я знаю подобныхъ! И они свидѣлствуютъ, вопреки многимъ поклепамъ, о гуманности и истинно отеческомъ обращеніи духовныхъ начальствъ вообще. Повторяю: говорю о старомъ времени, а не теперешнемъ, котораго не знаю, и объ общемъ уровнѣ. Исключенія, понятно, могли быть и бывали, но нигдѣ такъ не холили дарованій, нигдѣ къ нимъ не были такъ снисходительны, какъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. Дарованіямъ прощалась дерзость, смотрѣли сквозь пальцы на ихъ проступки, при успѣхахъ въ главномъ не придирались за упущенія во второстепенномъ. „Знаніе—наживное дѣло; наука въ жизни; школа только подготовка; главное—способность учиться, желаніе и умѣнье добывать знанія и располагать ими“. Вотъ общее правило, изъ рода въ родъ

переходившее. Взыскательнѣе бывали къ тупицамъ; но и здѣсь являлась мягкость, переходившая даже предѣлы. Чтобы быть „исключеннымъ“, надо было совсѣмъ отъ рукъ отбиться. Лишь бы только малѣйшее стараніе, да при исправномъ поведеніи,—оставляли на повторительный курсъ и даже перетаскивали изъ класса въ классъ. Не теряли надежды: „можетъ-быть поправится“. А то и сердоболіе говорило: „жалко малаго; куда онъ пойдетъ? А старателенъ“. Этому-то режиму, слишкомъ мягкосердечному, между прочимъ и одолжены были семинаріи тѣмъ, что въ нихъ оканчивали курсъ иногда замѣчательные олухи и неучи. Въ примѣръ укажу одного, курсомъ старше меня. Его спрашиваютъ: „почему Господь Саваоѣ изображается сѣдымъ?“ Онъ хлопаетъ глазами и ждетъ, чтобъ ему подсказали. На смѣхъ или потому что подсказывавшій не разслышалъ вопроса, ему шепчутъ: „потому что Онъ заматорѣлъ во грѣхахъ своихъ“. И кончающій богословъ во всеуслышаніе бухнулъ этотъ отвѣтъ! И кончилъ курсъ! Положимъ—въ третьемъ разрядѣ, да и всегда шелъ въ третьемъ разрядѣ, но все-таки кончилъ. И въ добавокъ онъ не былъ ни наушникъ, ни низкопоклонникъ, а плелся на ряду съ другими. Сердоболіе переводило его изъ класса въ классъ и наградило выпускнымъ дипломомъ. Представляло свою невыгоду это мягкосердечіе: классы переполнялись мусоромъ, къ ущербу преподаванія, бесполезно тратившаго силы, которыя могли быть производительнѣе употреблены сосредоточиваясь на даровитыхъ. Но иногда мальчики дѣйствительно „выхаживались“. Примѣромъ служить высокопреосвященный Макарій (Булгаковъ), шедшій первоначально въ числѣ послѣднихъ. Развитіе не у всѣхъ наступало одновременно.

Безалаберныя и жестокія наказанія, за которыя болѣе всего винили семинарію, нужно приписать главнымъ образомъ грубости нравовъ. Въдѣ прошло едва-едва сто лѣтъ, какъ поповъ сѣкли на архіерейскихъ конюш

нихъ. А монастырскій обычай земныхъ поклоненій едва ли даже доселѣ отовсюду вывелся. Въ старыя времена ни то ни другое не считалось ни позоромъ, ни униженіемъ, какъ мужикъ не считаетъ ни во чтѣ подзатыльника, даннаго и полученнаго. Но прозрите далѣ этихъ грубыхъ формъ: за ними увидите болѣе справедливости и человѣколюбія нежели за сдержанными и даже вѣжливыми приѣмами свѣтскаго начальника.

Братъ былъ неистощимъ въ разсказахъ о старой семинаріи. Часть ихъ передана—о томъ времени пока онъ учился въ Коломнѣ. На Перервѣ, въ реторикѣ, куда онъ поступилъ, было чуть ли не до трехъ сотъ учениковъ въ классѣ. Какъ только успѣвали! (Въ слѣдующій курсъ открыто было параллельное отдѣленіе). Латынь была въ ходу не менѣе чѣмъ въ Славяно-Греко-Латинской Академіи. По главнымъ предметамъ во всѣхъ трехъ отдѣленіяхъ (Реторикѣ, Философіи и Богословію) не только учебники были латинскіе, но и устные объясненія въ классѣ происходили на латинскомъ. Этому помогали въ реторикѣ экспромпты, о которыхъ я уже говорилъ, а въ остальныхъ высшихъ классахъ—диспуты. На каждый день назначалась тема, философская въ среднемъ, богословская въ высшемъ отдѣленіи; назначались дефенденты и оппоненты; первые обязаны были защищать, вторые опровергать положеніе. Завязывался турниръ, вступали въ участіе добровольные ратоборцы съ той и другой стороны. Дѣло профессора было руководить преніями, слѣдить за ихъ ходомъ и давать *конклюзію* (*conclusionem*, заключеніе) или помогать въ ея формуловкѣ. Экспромпты держались далѣе, а диспуты годъ отъ года стали все ослабѣвать и наконецъ прекратились совершенно. Они и держались только по преданіямъ Славяно-Греко-Латинской Академіи. Съ уходомъ профессоровъ, получившихъ воспитаніе въ этомъ разсадникѣ просвѣщенія, исчезли и диспуты. Въ новой академіи ихъ уже не было, и являвшіеся оттуда профессора вне-

бою разумѣется. Но я не слыхивалъ, чтобы растолковывалось ученикамъ о безнравственности нападеній на чужую собственность, о томъ что трудъ поселянина неприкосновененъ; что опустошая чужое поле, юноша, наученный Закону Божию, совершаетъ болѣе тяжкій грѣхъ нежели обыкновенный воръ, опускаясь въ нравственности ниже послѣдняго жулика. Взыскивалось за буйство, за драки съ крестьянами, и это ставилось на видъ, а не кражи. Любопытная черта!

Для средняго брата, который учился лѣниво, братъ Александръ былъ и нянькой и опекуномъ. Писалъ ему сочиненія, а послѣ, въ Москвѣ, и содержалъ его. Наступили Святки. Братъ Сергѣй жилъ на бурсачной квартирѣ въ Богоявленскомъ монастырѣ; нужно было платить за харчи. Старшій братъ, дотоптавшій сапоги до совершеннаго износа подошвъ и подкладывавшій бумагу подъ ступню, чтобы не ступать прямо на снѣгъ, принесъ послѣднія деньжонки полученныя съ урока, чтобы внести за брата слѣдовавшія харчевыя деньги. Послѣ тотъ же Александръ пристраивалъ Сергѣя къ урокамъ, и между прочимъ въ домъ Н. Θ. Островскаго. Знаменитый драматургъ, а съ нимъ и теперешній министръ Государственныхъ Имуществъ, хотя краемъ уха, но почерпнули вѣроятно что-нибудь отъ брата Сергѣя.

Попалъ въ село братъ Сергѣй. А конецъ своей учебной жизни онъ проводилъ въ пріятномъ и приличномъ обществѣ; знакомъ былъ, между прочимъ, съ артистами театровъ и съ артистами-музыкантами. Онъ нравился женщинамъ; рассказывали о его похожденияхъ съ крылошанками въ Новодѣвичьемъ монастырѣ, когда онъ временно жилъ у брата. Не могла веселою послѣ того показаться однообразная жизнь сельскаго попа. Знакомство съ помѣщикомъ нѣсколько отводило душу. Но заскучалъ братъ и захандрилъ. Началъ читать лѣчебники и открылъ у себя чахотку. По чьему совѣту, не извѣстно, сталъ прибѣгать къ кровопусканіямъ. Тя-



жело бывало смотрѣть на него, когда сидитъ онъ молчаливый и время отъ времени потрогиваетъ пульсъ; то смотреть на края ладоней, нѣтъ ли подозрительной красноты, то отхаркнетъ и растираетъ мокроту, нѣтъ ли туберкулезныхъ шариковъ. Заняла его на время постройка дома, который былъ имъ воздвигнутъ на мѣстѣ стараго отцовскаго. Со страстью предался онъ зодчеству; каждая бездѣлица была обдумана, каждый вершокъ промѣренъ. И домъ былъ выстроенъ изящный, удобный, для села даже великолѣпный. Но наканунѣ того самаго дня, когда бы въ него перейти, сгорѣлъ. И всякаго сразило бы это, а братъ совсѣмъ растерялся и захандрилъ до размѣровъ трагикомическихъ. Онъ увѣрилъ себя въ предстоящей близкой смерти, пересталъ ѣсть и пить, истощалъ; голосъ ослабъ.

Размышляя о смерти, Сергѣй Петровичъ пришелъ къ заключенію, что успокоительнѣе сложить кости рядомъ съ могилой матери и испустить духъ въ кругу родныхъ. Отправляюсь въ Коломну, рѣшилъ онъ. Тамъ отецъ, тамъ въ другомъ домѣ молодой зять (средняя сестра вышла замужъ за дьякона въ Коломнѣ). Надобно проститься съ дѣтьми духовными. Объявилъ по приходу, что въ такое-то воскресенье отслужить „прощальную“ обѣдню. Слухъ о болѣзни „батушки“ уже пронесся. Собралась церковь полна. Отслужилъ братъ обѣдню слабымъ голосомъ и вышелъ нетвердыми шагами на амвонъ. Началъ рѣчь: это была первая его проповѣдь и даже вѣроятно единственная, имъ самимъ сочиненная. Но она была не сочиненная; слово вылилось прямо изъ души. „Православные! Дни мои сочтены, часъ смерти моей близокъ, и я думаю принять успокоеніе на рукахъ у присныхъ“... И такъ далѣе и такъ далѣе; просилъ у предстоящихъ прощенія въ обидахъ вольныхъ и невольныхъ; говорилъ о спасеніи ихъ душъ, которое ему дорого; наставлялъ ихъ въ христіанской жизни; завѣщалъ молиться за себя, самъ обѣщалъ за нихъ молиться, если удостоится стать предъ пре-

столомъ Всевышняго. Церковь на взрыдъ ревѣла; можно затѣмъ себѣ представить проводы, прощальныя благословенія, слезы духовныхъ сыновей, рыданія духовныхъ дочерей, плачь дѣтей.

Отправился умирающій въ Коломну. И жалко, но и несносно было и отцу и зятю. Совѣтовали лечь въ больницу. Послушался ли совѣта больной, не помню. Но онъ вскорѣ отправился въ Москву, приведенный въ отчаяніе тѣмъ, что никто въ немъ не принимаетъ участія, никто ему даже не вѣритъ, чтобъ онъ былъ боленъ. Даже докторишки отрицаютъ его болѣзнь, тогда какъ онъ самъ, онъ слышитъ, онъ чувствуетъ, что конецъ близокъ. У него нѣтъ ни сна, ни аппетита, и положительные притомъ, самые несомнѣнные признаки сказываютъ о чахоткѣ или сухоткѣ (какую-то изъ этихъ болѣзней онъ себѣ приписывалъ).

Зимній вечеръ подъ Дѣвичьимъ. Часовъ семь или восемь; скоро ужинъ. Звонокъ, и колеблющимися шагами входитъ братъ Сергѣй. Я былъ тогда уже въ семинаріи и жилъ тоже подъ Дѣвичьимъ. Больной дѣйствительно измѣнился: блѣдный, худой, изможденный.

— Ну, что? спрашиваетъ его грубо старшій братъ рѣзкимъ тономъ.—Съ дурью своею пріѣхалъ?

Молча больной выслушалъ это неласковое привѣтствіе и лишь вскинулъ умоляющіе глаза на невѣстку, потомъ на меня, ища состраданія.

Невѣстка кротно спросила пріѣзжаго, лѣчился ли онъ и чѣмъ собственно страдаетъ.

— Что ты съ нимъ, скотомъ, разговариваешь! Вотъ еще, потѣшай его! А и впускать въ домъ-то по настоящему тебя не слѣдовало бы, обратился онъ къ больному.—Ну, что пріѣхалъ? Оставался бы въ Черкизовѣ. Чего ты тутъ потерялъ?

— Боже мой, Боже мой! воскликнулъ больной голосомъ отчаянія.—И это говоритъ братъ, братъ родной! Я пріѣхалъ тебя благодарить, братецъ, за помощь послѣ пожара. Я знаю, что ты прислалъ деньги послѣд-

нія. Но я умираю, братецъ, я чувствую это. Можетъ-быть московскіе доктора найдутъ что-нибудь, чтобы под-держать мою жизнь.

— Ну, пошелъ! Мели тутъ! Вотъ дуракъ!

Подали ужинъ. Первое кушанье—кислая капуста съ квасомъ и рыбой.

— Садись, ѣшь, говоритъ Александръ Сергѣю.

— Боже мой! Да я не могу, простоналъ жалобно Сергѣй.—И ты не вѣришь? Я вотъ уже три недѣли ничего кромѣ чая; едва, едва перепущу крошку бѣлаго хлѣба, да и то съ трудомъ. У меня нѣтъ ли еще сращенія желудка!

— Ёшь, говорятъ тебѣ, лопай. Да ну, говорятъ тебѣ! А то я вышвырну тебя вонъ на морозъ. Умирать, такъ все равно тебѣ, околѣвай на снѣгу.

— Боже мой, Боже мой! стонетъ больной.

— Да вы принудьте себя, хоть одну ложку, участливо уговариваетъ невѣстка.

— Господи, да вѣдь это и здоровому вредно: капуста, квасъ, это...

Больной хочетъ пуститься въ медицинскія объясненія. Старшій братъ останавливаетъ.

— Аксинья, кричитъ онъ кухаркѣ, — бери ухватъ! Если ты еще слово скажешь и не будешь ѣсть, я тебя выгоню.

Съ видомъ человѣка, который видитъ, что смерть его наступитъ гораздо скорѣе ожиданнаго, и притомъ отъ другой причины, больной беретъ съ отчаяніемъ ложку и проноситъ въ ротъ.

— Да ты откуда теперь, изъ Коломны или прямо изъ Черкизова? спрашиваетъ хозяйня.

Больной отвѣчаетъ.

Новый вопросъ о дорогѣ, кто везъ и съ кѣмъ ѣхалъ. Завязывается разговоръ. Больной незамѣтно для себя проноситъ ложку за ложкой. Прошли капуста съ квасомъ, прошло и горячее. Передъ кашей больной остановился. Это пища тяжелая, опасная. Снова окрикъ на него.

— А капуста съ квасомъ легче? Вѣдь все равно тебѣ умирать! Пока не издохъ еще. Ну, ѣшь. Аксиныя! повторяется приглашеніе кухаркѣ.

Кончился ужинъ; продолжаются разговоры.

— Ну, пора спать! повелѣваетъ старшій братъ.— Ступай, спи.

Но больной спать не пошелъ, а отправился въ слѣдъ за мною и промучилъ меня цѣлую ночь. Разсказывалъ о своихъ страданіяхъ; плакалъ о предстоящей судьбѣ семейства, жаловался на безучастіе родныхъ, молилъ меня не оставить его жену и дѣтей, когда я кончу курсъ. Терпѣливо слушалъ я, по возможности успокаивалъ, но наконецъ, къ исходу ночи, замѣтилъ, что въ седьмомъ часу мнѣ надо подниматься въ семинарію.

Прожилъ больной нѣсколько дней, къ докторамъ не ѣздилъ, ѣлъ и пилъ исправно, сдѣлался разговорчивъ. Блѣдность прошла, о пульсѣ и харкотѣ забыто на время. Уѣхалъ онъ почти здоровый.

Окончательное излѣченіе отъ хандры братъ получилъ, кажется, только тогда, когда Филаретъ сдѣлалъ его благочиннымъ, обративъ вниманіе на Записку его о раскольникахъ. Записка была подана, когда митрополитъ затребовалъ мнѣній ото всѣхъ священниковъ, у которыхъ въ приходѣ есть раскольники. Благочинническая должность дала дѣло. А при дѣлѣ хандрѣ нѣмѣсто. Но все-таки, хотя косвенно, хандра, а не что другое, свела брата въ могилу, именно злоупотребленіе кровопусканіемъ, къ которому онъ пріучилъ себя въ годы хандры. Онъ перепустилъ срокъ. Послѣдовалъ параличъ, сначала легкій, имъ даже не замѣченный, а затѣмъ апоплексическій ударъ, который и сразилъ окончательно.

Я упомянулъ объ учительствѣ брата Сергѣя въ домѣ Н. Ѳ. Островскаго. Осталась ли гомеопатическая капля Гиляровскаго въ Островскихъ, не берусь судить, да и прослѣдить невозможно. Но чрезъ брата отъ Островскаго-отца несомнѣнно перешло въ меня нѣчто; сужде-

нія, отзывы, наблюденія, мною слышанныя, не могли оставаться совсѣмъ безслѣдными. Гдѣ-нибудь и какой-нибудь корешокъ непременно былъ пущенъ и чѣмъ-нибудь проросъ въ душѣ. Другой духовный обмѣнъ не могъ не произойти въ слѣдствіе того что другой братъ жилъ въ домѣ и былъ учителемъ у Кирѣевскихъ. Сестра Кирѣевского была мать А. С. Хомякова, который бывалъ у дяди и не могъ не быть извѣстенъ брату, хотя пребываніе брата у Кирѣевскихъ, кажется, совпадало главнымъ образомъ съ періодомъ военной службы Хомякова. Но братъ гащивалъ въ Богучаровѣ, имѣніи Хомяковыхъ, хорошо зналъ Хомякова-отца. Въ Богучаровѣ узналъ объ обычаяхъ „опахиванія“, котораго, хотя издали, былъ очевидцемъ и о которомъ написалъ тогда же къ родителямъ письмо, исполненное нѣкотораго ужаса. Этотъ обрядъ, показавшійся брату демоническимъ, потрясъ его и видомъ своимъ и изступленнымъ пѣніемъ. Объ отцѣ Хомяковѣ братъ отзывался, какъ о человѣкѣ большаго ума и образованія, но съ воображеніемъ развитымъ до чудовищности. Напримѣръ, задумалъ Хомяковъ въ своемъ Богучаровѣ выстроить колоссальнѣйшій въ мірѣ храмъ (величественнѣе Петра въ Римѣ) и не только задумалъ, но заложилъ фундаментъ и началъ работы. Князь В. Θ. Одоевскій въ своихъ *Петербуржскихъ Ночахъ* (очень умной и талантливой книгѣ, преданной забвенію совершенно незаслуженно, тогда какъ она способна дѣйствовать воспитательно и возносить къ идеаламъ, особенно юношество),—въ этой книгѣ князь В. Θ. Одоевскій имѣлъ въ виду Хомякова-сына, то-есть извѣстнаго писателя, когда изображалъ архитектора Пиранезе, сочинявшаго, пусть очень умные, даже геніальные проекты такихъ предпріятій, какъ мостъ черезъ Средиземное море. Извѣстно ли было автору, что отецъ мыслимаго имъ Пиранезе былъ подлиннымъ Пиранезе и дѣйствительно творилъ гигантскіе проекты неосуществимыхъ пред-

пріятій? Замѣчательно, во всякомъ случаѣ, что писатель вѣрно угадалъ извѣстную сторону Хомякова-сына, изобразивъ ее преувеличенно; въ этомъ преувеличенномъ видѣ она была сама дѣйствительность въ лицѣ Хомякова-отца.

Съ Хомяковымъ-писателемъ я познакомился лично спустя двадцать лѣтъ послѣ того, какъ зазналъ его впервые братъ. И я и Алексѣй Степановичъ часто поражались до буквальности иногда доходившіймъ сходствомъ нѣкоторыхъ нашихъ воззрѣній, и отыскивали причину. \* Независимо отъ общей (случайнаго тождества литературы по извѣстнымъ отраслямъ, служившей подкладкой тому и другому) могла имѣть свою долю значенія и частная. Не могло ли случиться, что какое-нибудь замѣчаніе А. С. Хомякова запало въ брата, усвоено, развито и въ какомъ-нибудь видѣ передано мнѣ, а у меня тоже пустило ростокъ? Религіозныя и даже философскія мнѣнія, даже цѣлыя системы иногда имѣютъ такое начало. На горячихъ молодыхъ сектахъ, развивающихся обыкновенно со строгою (хотя одностороннею) послѣдовательностью, законъ этотъ особенно обнаруживаетъ дѣйствіе. Частное положеніе, случайно усвоенное, развиваясь, доводитъ къ принятію общихъ основаній, которыя сознаніемъ и предполагаются. Или тождественное этическое основаніе порождаетъ до мелочей тождественныя послѣдствія въ бытѣ. Сравнимъ католическое и буддійское монашество; ученые склонялись видѣть даже прямое заимствованіе, тогда какъ это два параллельныя независимыя развитія. Духоборцы дошли до предсуществованія

\* Привожу два особенно поразительные примѣра. Когда вышла первая изъ **б** гоголевскихъ брошюръ Хомякова (по поводу Тютчева и аббата Лоранса), я **пр**челъ въ ней сравненіе индульгенцій съ банковыми чеками. Это было мое **сравне**ніе, которое я передавалъ слушателямъ на лекціяхъ. На цѣлыхъ двухъ страницахъ **х** ходъ мыслей и почти выраженія были у насъ тождественны. Въ другой разъ, **б**сѣдуя съ Алексѣемъ Степановичемъ, я сказалъ, что **евангелисты**, если бы **тепер** **р**жили, употребили бы не *Логосъ*, а пожалуй бы *субъектъ-объектъ*, **говори** **о** Второй Ипостаси Божества. Хомяковъ разсѣялся и сказалъ: именно это самое **я** пишу теперь и на это выраженіе *субъектъ-объектъ* указываю (въ одной изъ **с** **с**лѣдующихъ брошюръ).

душъ, не вѣдая о Пифагорѣ и не изучая Индійцевъ, а только послѣдовательно развивая дуализмъ, скрытый въ основномъ догматѣ о буквѣ и духѣ, съ которымъ духоборчество выступило.

А всего поразительнѣе случилось съ безпоповщинскимъ толкомъ объ антихристѣ. Въ горячую пору полемики съ папизмомъ, протестанты учили, что подъ антихристомъ надо разумѣть не одно лицо, а рядъ лицъ. Въ книгѣ *О Вѣрѣ* русскій богословъ, въ видахъ борьбы противъ того же папизма, напоминаетъ что сатана, по Писанію, связанъ на тысячу лѣтъ, и что чрезъ тысячу лѣтъ послѣдовало отложеніе Римской церкви отъ Вселенской. Авторъ прибавляетъ: а такъ какъ число звѣриное (антихристово) есть 666, то не случилось бы чего еще хуже, когда исполнится 666 лѣтъ послѣ тысячи. Къ тому времени подоспѣлъ московскій соборъ противъ раскольниковъ. Раскольники подхватили гаданіе книги *О Вѣрѣ* и заключили, что антихристово время настало. Развивая это положеніе, они пришли затѣмъ къ повторенію общихъ понятій объ антихристѣ, которыя проповѣдывались протестантами первыхъ временъ реформациі, то-есть что антихристъ есть не отдѣльное лицо, а рядъ лицъ, духъ времени. Читая безпоповщинскіе доводы можно подуматъ иногда, что сѣрый мужикъ перелистывалъ когда-нибудь первыхъ преемниковъ Лютера и списалъ ихъ мудрованія.

### XXXI.

#### Училищный итогъ.

Въ половинѣ октября я возвратился домой изъ краткой поездки у брата. О дальнѣйшемъ пребываніи въ Коломнѣ память не сохранила ничего особеннаго. Мнѣ прибавилось только бодрости. При вѣчномъ недоверіи къ своимъ силамъ и знаніямъ, первоначально я не рѣ-

шался утвердительно отвѣчать на вопросъ: вполнѣ ли по силамъ будетъ мнѣ семинарская наука. Теперь я увидалъ, что въ Москвѣ ожидаетъ меня не Богъ знаетъ какая премудрость. Меня беспокоило лишь, что Коломенское училище считается однако изо всѣхъ послѣднимъ въ Московской епархіи, и изъ него во все время одинъ только достигъ Академіи, нѣкто Гермогенъ Виноградовъ, въ преданіяхъ училища—просто Гермогенъ; фамилію, рассказывая о немъ, не считали нужнымъ прибавлять. Гермогенъ въ памяти училища остался какъ чудо знанія и образцовая скромность; нечего говорить, что я и не мечталъ съ нимъ сравняться.

Итакъ, прошло скоро полтора семестра; экзамены, частные и публичные; ревизоръ изъ московскихъ священниковъ-магистровъ, какъ водилось всегда. Я окончилъ курсъ первымъ ученикомъ и получилъ свидѣтельство объ отличнѣйшихъ успѣхахъ по всѣмъ предметамъ и столь же отличномъ поведеніи. Однако справедливо ли было свидѣтельство? Еслибы дали мнѣ его теперь въ руки, я, припоминая тогдашнія свои познанія, внесъ бы въ него сильныя поправки. Что я и какъ зналъ?

1. *Географія*—очень хорошо. Но училищу этимъ я былъ обязанъ только на половину; главные свѣдѣнія пріобрѣтены чтеніемъ книгъ.

2. *Латинскій языкъ*—изрядно по моему возрасту, но не то чтобы совершенно. Я могъ читать свободно классиковъ и даже поэтовъ; но одинъ изъ пробѣловъ былъ, который и мучилъ меня: я не силенъ былъ въ просодіи; не всегда умѣлъ назвать размѣръ, которымъ написано стихотвореніе, способенъ былъ ошибаться въ долготѣ. Съ завистью читалъ я объ Августинѣ, который, какъ увѣряетъ его жизнеописаніе, моихъ лѣтъ или даже еще моложе, написалъ знаменитое стихотворное прошеніе митрополиту Платону, начинавшееся словами:

*Ite mei versus benignas ad praesulis aures,*



стихотвореніе, во всѣхъ отношеніяхъ прекрасное, которое бы сдѣлало честь и не дѣтскому перу. Итакъ, въ двѣнадцать, а можетъ быть и менѣе лѣтъ столь совершенно владѣть латинскимъ стихомъ! Положимъ, стихотворческаго дара вообще не было во мнѣ; но если бы продиктовали мнѣ даже переводъ Августинова стихотворенія и потомъ пригласили возстановить латинскій текстъ, я безспорно не заслужилъ бы болѣе единицы.

3. *Греческій языкъ*—скорѣе худо, нежели хорошо. Легкую прозу я могъ разбирать, но и только. О поѣтахъ-классикахъ нечего и заикаться; я затруднился бы, если бы развернули мнѣ даже какого-нибудь отца, положимъ хотъ Василя Великаго; правда, затруднился бы болѣе въ словосочиненіи, то-есть въ понятіяхъ, которыя были выше моего возраста. Учитель греческаго языка (онъ же, какъ извѣстно изъ прежнихъ главъ, и инспекторъ) былъ предобросовѣстнѣйшій. Онъ сдавалъ намъ вмѣсто коротенькаго офиціальнаго, дрянненькаго учебника свою грамматику, именно этимологическую часть, очень хорошо составленную; мы учили объ энклитическихъ и проклитическихъ частицахъ, учили о производствѣ глагольныхъ формъ, чего не было въ обыкновенныхъ учебникахъ. Учитель корилъ насъ и хвалился: „знаете ли, глупые, это составлено по парижскимъ и берлинскимъ изданіямъ!“ Похвальба была основательна. Но ученики втайнѣ знали, что греческій языкъ не пользуется почетомъ, и недостаточная успѣшность въ немъ бѣды не навлечетъ. А потомъ и преподаваніе было странное. Почтенный Александръ Алексѣевичъ сдавалъ намъ не только грамматику, но и русскій переводъ статей христоматіи. Можно было отличиться, заучивъ этотъ готовый переводъ, въ которомъ, помню, надъ русскими словами даже надписанъ былъ греческій текстъ. Словомъ, въ ротъ положено и даже разжевано; но оттого-то учениками и не переварено, и не усвоено. Въ добавокъ, греческихъ словарей не было. Выданъ былъ въ нѣсколькихъ эк-

землярахъ на классъ лексиконъ Шревеллія. Онъ былъ съ латинскимъ переводомъ, и это бы еще ничего при знаніи латинскаго. Но расположенъ былъ словарь безтолково: алфавитный порядокъ перепутанъ былъ со словопроизводственнымъ. Я помню, собравшись что-то по доброй волѣ перевести съ греческаго, я вскорѣ швырнулъ Шревеллія съ досадой; лишь только слово сколько-нибудь затруднительное, его-то и не найду.

3. *Русскій языкъ* зналъ я порядочно практически, въ чемъ однако не грамматикъ былъ обязанъ. Правописание усвоилось на ходу, привычкой, и этому больше всего способствовали письменныя упражненія, которыя намъ диктовались ежедневно для переводовъ съ русскаго на латинскій и греческій.

4. За *нотное пѣніе* долженъ былъ получить по совѣсти нуль, какъ я объяснялъ уже.

5. *Арифметика*—сносно, но ежели бы мнѣ дали извлечь кубическій или квадратный корень, не ручаюсь, чтобы совершилъ операцію безъ запинки. Съ математикой вообще у меня и послѣ выходило странно. Я пламенно желалъ ее изучать, но она трудно давалась, и пріобрѣтенное очень скоро потомъ вылетало изъ головы, скорѣе нежели даже стихотворенія, о затруднительности которыхъ для моей памяти я уже говорилъ.

Въ свою не малую жизнь, послѣ великаго множества наблюденій, я пришелъ къ выводу, которымъ дѣлюсь съ читателями: математическія способности рѣдко уживаются въ ладу съ филологическими. Слово „филологическій“ не точно; я хочу выразить то понятіе, которое въ старину называли *humaniora*, филологическое чутье въ томъ числѣ. На ряду съ филологическимъ чутьемъ ту же участь испытываетъ философское (творческое) мышленіе и вообще всякое творчество. Знаю, что мнѣ могутъ указать примѣры отрицаемаго мною совмѣщенія, и самъ первый назову Лейбница. Но за то примѣровъ несовмѣстности такое

множество, что я готовъ предложить дѣленіе дѣтскихъ способностей на филологическія и математическія. Тысячу разъ попадутся случаи, что дитя очень тонко разберетъ вамъ пословицу, укажетъ сильнѣйшее мѣсто въ стихотвореніи, а въ ариѳметикѣ не идетъ далѣе сложенія двухъ съ тремя. Другой ребенокъ поражаетъ быстрыми сочетаніями цифръ, но характеристики прочтеннаго разсказа или стихотворенія не спрашиваютъ; сущность и форма, глубина и обстоятельность, то либо другое, въ чемъ-нибудь перевѣсь. Я лично не могу себѣ представить безъ удивленія и нѣкотораго ужаса случай съ знаменитымъ Лапласомъ, извѣстный въ ученomъ мірѣ. Авторъ *Небесной Механики* гдѣ-то въ своемъ трудѣ, держа корректуру, или даже въ рукописи, описался,—минусъ вмѣсто плюсъ поставилъ, или не поставилъ скобокъ, что-нибудь въ этомъ родѣ,—и далѣе пошли у него вычисленія, основанныя на опискѣ. Книга напечатана, издана, составила эпоху въ наукѣ, но съ грубою ошибкой въ вычисленіи, которую однако самъ авторъ не умѣлъ найти и только объявилъ о ней. Вотъ это-то послѣднее и замѣчательнѣе всего. О существованіи ошибки онъ помнилъ и достовѣрно зналъ, а найти ее не могъ: для этого потребовалась бы процедура нѣсколькихъ лѣтъ, цѣлая меледа, извѣстная игрушка, въ которой, чтобы снять одно колечко надобно по нѣскольку тысячъ разъ переснимать и перенадѣвать весь рядъ колець. Ученики, послѣдователи и почитатели Лапласа открыли его ошибку и исправили текстъ. Но я ставлю себя на мѣсто знаменитаго ученаго и усиливаюсь вообразить состояніе ума и души во время этой постановки отвлеченныхъ буквъ съ плюсами и минусами, со скобками и корнями, логариѳмами и знаками безконечнаго. Какое отличіе отъ неодушевленной машины? Чтò тутъ человѣческаго въ работѣ, при чемъ душа, мысль, сердце?—„Какой дерзкій, невѣжественный отзывъ, достойный только грубаго профана!“ Я профанъ въ ма-

тематикѣ точно, но это не мѣшаетъ мнѣ глубоко преклоняться предъ гениемъ Лапласа и Ньютона. А все-таки не могу себѣ представить умственной работы, въ которой бы такъ бездѣйствовали высшія силы мыслительныя и творческія, какъ въ этомъ продѣлываніи меледы гениальнымъ авторомъ *Небесной Механики*, послѣ ошибочно поставленнаго минуса.

6. *Священная Исторія* — изрядно; могъ пересказать вѣрно событія, безъ особенныхъ мудрованій.

7. *Катихизисъ* — худо, едва ли не хуже всего, послѣ нотнаго пѣнія.

Читатель долженъ поразиться. Что же дѣлать, такъ было. Тѣмъ болѣе поразится читатель, что дѣло идетъ о духовномъ училищѣ; тутъ-то Законъ Божій и долженъ бы стоять на первѣйшемъ планѣ. Соглашаюсь съ основательностью удивленія и сочувствую, но такъ было. Катихизисомъ не занимались ни учителя, ни ученики; его отбывали, какъ повинность. На экзаменахъ требовали зубряжки и таковую подавали; объясненій не спрашивали, и рѣдкій бы ученикъ ихъ далъ. Желая, чтобы дѣло стояло теперь иначе, нежели въ мое время, когда въ русскомъ переводѣ существовалъ одинъ Новый Завѣтъ; но впрочемъ и изъ Новаго Завѣта тексты, приводимые въ Катихизисѣ, заучивались безъ перевода; требовалось только, чтобы текстъ прочитанъ былъ твердо, безошибочно; за ошибку, пропускъ или перестановку слова взыскивалось строго; за этимъ наблюдали, но только за этимъ. Несмотря на то что славянская грамматика полагалась въ числѣ учебныхъ предметовъ низшаго отдѣленія и дѣйствительно преподавалась, не каждому изъ учениковъ вразумительно было даже грамматическое строеніе славянской рѣчи въ текстахъ. Спросить бы любаго изъ моихъ соучениковъ, да и меня самого, какъ напримѣръ порусски передать „закономъ закону умрохъ, да Богови живъ буду“, — нельзя поручиться, чтобы отвѣты послѣдовали правильные и отчетливые.

Низкій уровень, на которомъ стоялъ Законъ Божій, не былъ принадлежностью только нашего училища. Въ семинарію, куда я поступилъ, сверстники мои изъ прочихъ училищъ принесли тѣ же недостаточныя познанія въ Катихизисѣ и то же безучастіе къ Закону Божію вообще, за исключеніемъ Перервинскаго училища. Но то была случайность. Тамъ ученики состояли исключительно изъ казеннокоштныхъ, а смотрителемъ одно время былъ очень набожный іеромонахъ. Богомольный характеръ, подъ его кратковременнымъ управленіемъ, приняло и все училище; въ классныхъ и келейныхъ бесѣдахъ аскетъ-смотритель не переставалъ обращаться къ урокамъ религіи, рассказывалъ, пояснялъ, и изъ этой школы вышли ребята болѣе сильныя въ Катихизисѣ, съ нѣкоторыми притомъ лишними церковно-историческими познаніями, и не безучастныя вообще къ Закону Божію. Не мѣшаетъ добавить, что въ остальномъ-то они плоховали.

Итакъ, не съ большимъ запасомъ вышелъ я изъ училища, если принять во вниманіе мои годы: мнѣ было четырнадцать лѣтъ. Разнообразными, обширными познаніями я обладалъ; но ими не училищу былъ обязанъ. Школьная подготовка была очень посредственная; а я еще былъ первымъ ученикомъ! Прочіе были еще слабѣе и въ добавокъ были неразвиты; слѣдовательно, недоставало въ нихъ именно того, чего главнымъ образомъ должно достигать дѣтское воспитаніе.

Иначе впрочемъ не могло быть. Въ духовныхъ училищахъ тогда (да и теперь, кажется, такъ остается), строго говоря, не было ни учителей, ни инспекторовъ, ни смотрителей. Въ Коломнѣ ректоромъ (и учителемъ вмѣстѣ) былъ прежній профессоръ, а нынѣ протоіерей и благочинный; инспекторомъ (онъ же и учитель) состоялъ священникъ приходскій; прочими учителями — студенты семинаріи, чающіе поступить въ московскіе дьяконы и принявшіе учительство въ видахъ заслужить учебною службой предпочтеніе предъ сверстниками при

Другой примѣръ. Во времена Библейскаго Общества издавались духовно-нравственныя брошюры, изложенныя общепонятнымъ языкомъ, иныя въ видѣ рассказовъ, служащихъ дополненіемъ и поясненіемъ христіанскаго правоученія. Наравнѣ съ другими изданіями Библейскаго Общества онѣ подверглись запрещенію. Любопытно, что сію минуту онѣ несутъ на себѣ запрещеніе двойное. Въ прошлое царствованіе онѣ было узрѣли опять свѣтъ, но не надолго: пашковство и штунда послужили поводомъ къ тому, чтобы снова наложить на нихъ руку. И опять свидѣтельствуюсь личнымъ опытомъ. Духовно-нравственныя брошюры Библейскаго Общества послужили благотворно моему нравственно-христіанскому воспитанію. Хотя и запрещенныя, онѣ находились въ библіотекѣ брата, и я ихъ прочелъ не разъ и не два, всегда съ живѣйшимъ интересомъ; никакого яда отъ нихъ не ощутилъ. \*

Знаменитому Ришелье приписываютъ изреченіе: дайте мнѣ чьи угодно двѣ строки, и я найду за что повѣсить автора. Духовная цензура устроена именно на этомъ Ришельевскомъ основаніи. Малѣйшее отступленіе отъ точности, изложеніе, кажущееся недостаточно соответствующимъ важности предмета, по уставу заслуживаютъ висѣлицы. Я знаю рукописи, въ которыхъ цензоръ зачеркивалъ мѣстоименіе „этотъ“, находя его вульгарнымъ и несоответствующимъ священной бесѣдѣ. Книга осуждается не только за то что она говоритъ, но за то чего не говоритъ, осуждается за умолчаніе. Таково основаніе гоненія на духовно-нравственныя брошюры: какъ протестантскія, онѣ основаны только на Библии; такъ почему только на Библии? Да уваженіе Библии и Евангелія еще не есть про-

\* На дняхъ я прочиталъ въ *Руси* духовно-нравственный рассказъ о. Пауловича, галичанина, извѣстнаго страдальца за народность и вѣру. Содержаніе то же что въ брошюрахъ Библейскаго Общества; но видна церковная почва, на которой рассказъ выросъ. Да такихъ-то сочиненій въ Великой Россіи не является почти.

тестантство; молчаніе о церкви и преданіяхъ еще не увлечетъ въ штунду, особенно когда цѣль брошюръ не догматическая, а чисто нравственная. О церкви и преданіяхъ пусть выходятъ книжки сами собою; однѣ другимъ не мѣшаютъ, напротивъ, однѣ другими дополняются. Но книжекъ-то духовно-нравственныхъ нѣтъ или мало ихъ, а которыя есть, тѣ сухи, тяжеловѣсны и состоятъ больше изъ общихъ мѣстъ. Въ итогъ и получается обскурантизмъ. А такъ какъ другая волна — свѣтской литературы — течетъ свободнѣе, особенно въ предѣлахъ не затрогивающихъ политики, то общество и въ частности юношество отдаются на нравственное воспитаніе романамъ и повѣстямъ, съ идеалами, правда, не библейскими и евангелическими, какъ въ брошюрахъ Библейскаго Общества, но зато совсѣмъ антирелигіозными.

Исторія моего училищнаго періода между прочимъ способна отвѣтить и на вопросъ: почему если не большинство семинарскаго юношества, то лучшая его часть **объжить** изъ духовнаго званія? Недостаточное обезпеченіе духовенства — причина не главная и даже вовсе не причина. Не только священникъ или дьяконъ московскій, но даже псаломщикъ обезпеченъ лучше, не говоря о кандидатѣ на судебныя должности, а лучше пожалуй судебного слѣдователя. Существеннѣе причина — нравственная неподготовленность къ священнослужительскому званію; а этой нравственной неподготовленности не мало содѣйствуетъ постановка учебнаго курса и способъ его прохожденія. Расскажу объ одномъ достойномъ случаѣ, наглядно свидѣтельствующемъ о духѣ учебныхъ заведеній, которыя только по внѣшности имѣютъ право назваться *духовно-учебными*. Въ сороковыхъ годахъ Кіевскій митрополитъ Филаретъ предложилъ одѣть духовныхъ воспитанниковъ въ подрясники. Нужно было видѣть, какой ропотъ пронесся по всему духовно-учебному міру, съ какимъ негодованіемъ отнеслись къ этому намѣренію, показавшемуся и обскурантизмомъ, и закрѣпощеніемъ! Не удивительно ли? Послушники

въ монастыряхъ щеголяютъ подрясниками, не находя, чтобъ отличительная одежда ихъ унижала; а добрая половина семинаристовъ почувствовала бы себя загрязненною. Школа, хотя и именуемая духовно-учебною, не умѣла возвысить въ понятіяхъ воспитанниковъ священнослужительское званіе до идеала; идеалы, если успѣвали выростать въ душѣ, то другіе. Отъ того и напоминаніе воспитаннику о священнослужительствѣ, какъ бы неизбѣжномъ для него, кажется ему стѣснительнымъ, и мундиръ въ видѣ подрясника — неприятнымъ.

### XXXII.

#### Классныя занятія

А много ли мы учились? Очень мало. Когда я просматриваю росписаніе уроковъ въ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ и сравниваю нашу былую вольготу, я готовъ приходить въ содраганіе: часъ за часомъ, такъ все занято, такъ мало времени для передышки, такое разнообразіе съ чередующимися переходами отъ одного къ другому, ничѣмъ не связанному съ тѣмъ что было полчаса назадъ и что будетъ полчаса послѣ!

Учителя (въ высшемъ отдѣленіи), какъ я уже говорилъ, чередовались поденно. Классы были двухчасовые, два утромъ (съ 8 до 12), одинъ вечеромъ (съ 2 до 4). По субботамъ не полагалось вечернихъ классовъ. Но и прочіе классы только считались двухчасовыми; скорѣе они были часовые. Изъ вечернихъ пятничныя посвящаемъ были нотному пѣнію; остальные — письменнымъ упражненіямъ. По одному утреннему классу въ недѣлю назначалось для катихизиса и для ариѳметики. Остальныя утра посвящались: одни—латинскому языку съ географіей, другія—греческому со священною исто-



ріей. Приходитъ понедѣльникъ, ректорскій классъ: отдаешься вполнѣ латинскому съ географіей, остальные предметы курса на день забываешь. Точнѣе: отдаешься латинскому исключительно; географія, это только закуска къ обѣду, какъ священная исторія къ греческому, передышка, назначаемая на второй утренній классъ; никакой ломки головъ, одна память. Но первый классъ—переводъ съ латинскаго (или греческаго), вечерній—переводъ на латинскій (или греческій); тамъ и здѣсь работа головъ, очищенной отъ другихъ заботъ. Не берусь защищать этотъ порядокъ, но нахожу его удобнымъ по его простотѣ.

Вечерніе классы наши не требовали учителя, да не всегда учителя и прихаживали. И что въ самомъ дѣлѣ дѣлать учителю, когда ребята сидятъ за писаніемъ? Иногда оставался Невоструевъ, но читалъ какую-нибудь книгу (въ этомъ единственномъ случаѣ онъ и сядилъ). Большею же частію упражненіе задано, и ученики сидятъ одни; половина ихъ уходитъ ранѣе звонка: каждый, подавшій задачу, воленъ удалиться. Одинъ цензоръ сидитъ, дожидаясь, пока послѣдній купунъ кончитъ. Задачи кладутъ на учительскій столъ въ ожиданіи пока учитель придетъ. Если же учитель не пришелъ, а задача послѣдняя подана, цензоръ несетъ всю стопу къ учителю, и классъ тѣмъ конченъ. Возвращаясь, цензоръ видитъ на дворѣ пускающими кубари, бѣгающими, бьющимися на кулачки тѣхъ, кто ранѣе освободился.

Послѣобѣденный классъ пятницы былъ классъ самый легкій и часто потѣшный. Случалось часто, что добрый Александръ Алексѣвичъ, убаюкиваемый однообразнымъ пѣніемъ *Всемірной Славы* или *Како не дивимся*, не могъ, сидя за столомъ, противостоятъ дремотѣ: сперва легко кивалъ головой въ тактъ, подпѣвая ученикамъ все слабѣе и слабѣе; затѣмъ погружался въ полный сонъ. Мальчишки принимаютъ за игры, бѣготню, болѣе или менѣе осторожную. Боясь нарушить

сонъ учителя, сидящіе продолжаютъ пѣніе; но вниманіе невольно обращается на играющихъ, голоса начинаютъ отставать, пѣніе все болѣе и болѣе ослабѣваетъ, цѣлая уже половина виѣ партъ, въ игрѣ; едва кто тянетъ, и на минуту пѣніе прерывается. Поднимаетъ голову проснувшійся, и всѣ мгновенно разбѣгаются по мѣстамъ. Благообразное пѣніе начинается снова, „по солямъ“ ли, „по текстамъ“ ли. Но снова однообразіе убаюкиваетъ учителя, и снова не терпится ребятамъ: сначала показываютъ другъ другу кулаки, кукиши, наставляютъ носы, пускаютъ муху съ привязанною къ ножкѣ бумажкой; потомъ снова возня, снова остановка и снова просыпается учитель. Заставая классъ въ безпорядкѣ, онъ никогда не взыскивалъ, потому что сознавалъ, что самъ подалъ поводъ. Находились дерзкіе, что подходили къ самому столу, брали учительскую табакерку, нюхали табакъ. Разъ чихнулъ одинъ при этой операціи, другой разъ шалунъ прокричалъ кукареку. Это былъ искусникъ такой въ подражаніи пѣтуху, что способенъ былъ всполошить все пѣтушиное населеніе окрестности. Въ эти разы огорчился Александръ Алексѣвичъ и обратился ко мнѣ, цензору, съ упрекомъ: „что ты не смотришь?“

Что значитъ „по солямъ“ и „по текстамъ“? Это значитъ, что, приступая къ какому-нибудь пѣснопѣнію, выпѣвали сначала названія нотъ: ми, ре, ми, фа, соль, фа, ми, ре, ми, ре, ми, ре и т. п. Затѣмъ, когда утвердить „по солямъ“, поютъ уже „по текстамъ“, то есть текстъ пѣснопѣнія. У сестеръ-мастерицъ, при обученіи грамотѣ, употреблялись въ родѣ того же названія: „по складамъ“, а потомъ „по толкамъ“; по складамъ—буки-азъ-ба, а по толкамъ самый текстъ.

Случалось, что и на утренніе классы оставляли насъ однихъ. Это бывало, когда того или другаго учителя отзывало какое-либо дѣло, въ родѣ служенія напри-мѣръ гдѣ нибудь; и тогда, чтобы не болтались мы попусту, давалось намъ письменное упражненіе и на утро.

Но случалось и обратное, хотя рѣдко: изустные уроки по вечерамъ.

Домашнія занятія по вечерамъ состояли въ приготовленіи русскаго перевода (съ греческаго или латинскаго) и въ приготовленіи уроковъ изъ географіи, священной исторіи или катихизиса и ариѳметики, смотря по завтрашнему дню.

Итакъ ученіе отнимало у насъ немного времени. Но при немногосложности предметовъ могли бы мы успѣть много, будь у насъ лучшіе учителя и учебники. Доказательство упомянутый мною Груздевъ. Но было обстоятельство, которое оказывалось хуже недостатка учебниковъ и неискusstва учителей: не было возбуждено любви къ занятіямъ, ни одинъ изъ преподаваемыхъ предметовъ не манилъ къ себѣ вниманія. Еще въ тѣ времена занимало меня между прочимъ явленіе, на которое послѣ я обратилъ болѣе полное вниманіе. Ни одному изъ моихъ сверстниковъ ни разу не пришло въ голову перелистовать который-нибудь изъ учебниковъ. Если бы дѣло шло объ алгебрѣ и геометріи, то читать послѣднія страницы прежде первыхъ учащихся, понятно, и не въ состояніи. Физическую возможность забѣгать впередъ отнималъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ самый способъ, какимъ мы пріобрѣтали учебники: латинскій синтаксисъ и греческая грамматика сдавались намъ письменные, частями, по мѣрѣ того какъ задавались на выучку. Но не говоря, на примѣръ, о Корнеліи Непотѣ или греческой хрестоматіи, никому не приходило въ голову забѣжать впередъ и посмотреть, что говорится на сотой, на примѣръ, страницѣ географіи или на послѣднихъ листочкахъ Священной Исторіи, которую проходили мы пусть по письменному руководству, но сданному еще въ прошлые курсы: полный экземпляръ былъ въ рукахъ. То же явленіе замѣчалось и послѣ, когда я учился въ семинаріи. Хотя у нѣкоторыхъ уже развилась любовь къ чтенію; иной все свободное отъ классовъ время сидитъ за

книгой, но непременно—далекою отъ его учебнаго курса; учебнику предоставлялось одно: быть заучиваемымъ, по мѣрѣ того какъ задаются уроки; какъ будто ненависть какая-то или отвращеніе къ нему залегали въ душахъ. Бывало, что какой-нибудь по ученическому выраженію „початокъ“ учителемъ отчеркивался; этихъ осьми, иногда четырехъ строкъ учить не нужно, и онѣ уже оставались на вѣки не только не выученными, но даже не прочтенными. Меня всегда это удивляло, тѣмъ болѣе, что я одержимъ былъ противоположною страстью: меня рвало наоборотъ всегда желаніе забѣжать впередъ, и послѣднія страницы учебниковъ часто мнѣ были знакомѣе первыхъ. Въ семинаріи изъ печатныхъ руководствъ я любилъ составлять свои другія, письменныя; такъ поступалъ я съ историческими учебниками. У меня была въ виду между прочимъ практическая цѣль: свѣдѣнія учебника чрезъ это легче усвоивались. Всѣ эти мои упражненія въ педагогической литературѣ пропали, и я особенно жалѣю о руководствѣ по русской исторіи, мною составленномъ. Въ основаніе его положенъ былъ, какъ и во всѣхъ такихъ опытахъ, учебникъ проходимый въ классѣ (Устрялова); но мнѣ казалось тогда, что мой лучше, и до извѣстной степени это было вѣроятно справедливо, потому что мое изложеніе несомнѣнно было болѣе примѣнено къ тому періоду развитія, въ которомъ я находился съ моими сверстниками. Мнѣ сдается, что педагогическое облегченіе, придуманное мною лично для себя, могло бы въ извѣстныхъ случаяхъ съ тою же цѣлю облегченія быть примѣняемо въ школахъ: вмѣсто „долбленія“ предложить ученикамъ письменную переработку извѣстной части учебника; помимо облегченія учащимся, получалось бы и педагогами понятіе о томъ, какой порядокъ укладки свѣдѣній и какое изложеніе требуются для извѣстнаго возраста.

Но къ одному предмету ученики питали если не любовь, то почтеніе: къ латыни. О ней по крайней мѣрѣ

говаривали ученики, тогда какъ ни о географіи, ни о священной исторіи, ни тѣмъ менѣе о катихизисѣ съ арифметикой не бывало рѣчи. Вспоминали о старыхъ временахъ, что тогда по-латыни знали и учили лучше; передавали рассказы о калькулюсѣ (*calculus*) и даже собирались было просить о его введеніи. Калькулюсѣ, это то же что „языкъ“ въ институтахъ. Въ старыхъ семинаріяхъ ученики обязаны были говорить между собою въ классѣ только по-латыни; употребившій русское слово получалъ листочекъ, и онъ-то назывался *calculus*; обладатель калькулюса обязывался, сверхъ обыкновеннаго урока, выучить еще какія-нибудь вокабулы или тираду классика. Рассказывались съ удовольствіемъ анекдоты, относящіеся къ латыни, служившіе въ сущности косвенными уроками грамматики; давались своего рода загадки, имѣвшія ту же цѣль. Многое я позабылъ. Но вотъ два примѣра. Идутъ-де семинаристы домой на вакацію. Жарко, пить хочется; проходятъ селомъ. Нужно попросить квасу, а денегъ нѣтъ. Подходятъ къ дому священника ли, дьякона ли. Такъ вы хотите пить? спрашиваетъ батька. — Да. — А какъ пить по-латыни?—*Bibere*, отвѣчаютъ всѣ трое.—А *perfectum*?—Одинъ отвѣчаетъ *bipsi*, другой *bapsi*, и только одинъ сказалъ правильно: *bibi*. — Такъ хорошо же, отвѣчалъ экзаменовавшій и обратился къ женѣ со словами:

*Da bibere bibi, bipsi bapsique carebunt.*

То-есть: дай пить тому кто знаетъ, что *perfectum* есть *bibi*, а тѣмъ двумъ, сказавшимъ *bipsi* и *bapsi*, не давай. Сага предполагала, что и попадья хорошо знакома была съ латынью.

Другой примѣръ.—Ну-ка переведи: *mea pater, mea mater, lupus est lupum in lupo*. — И ломаетъ голову новичекъ: что это за чепуха? Какимъ образомъ мужескаго рода *pater* сочинено съ женскимъ *mea* и вспомогательное *est* съ винительнымъ падежемъ, пока ему объясняютъ, что это каламбуръ и означаетъ (хотя ла-

тынъ въ сущности и плохая): „иди отецъ, иди мать; волкъ ѣстъ щуку въ хмельникъ“. Подобныхъ каламбуровъ и вообще изреченій съ трудными по смыслу оборотами рассказывалось изъ временъ старины множество, и они вводили въ своего рода обладаніе латынью, развивая и вообще смышленость.

Въ междуклассные часы, въ дурную погоду и особенно зимой, когда почему-нибудь нельзя возиться и бѣгать, классъ начиналъ пѣть. Сверхъ кантовъ и пѣсенъ распѣвали иногда сложенную съ незапамятныхъ временъ латинскую фразу:

*Hic gallus, kikireki cantans, sub arbore sedens, dulcia roma comedens.*

То-есть, какъ переводили сами ребята: „Сей пѣтухъ, кикиреки поющій, подъ деревомъ сидящій, сладкія яблоки ядущій“. Фраза эта „склонялась“; по окончаніи ея пѣли тотчасъ же: *hujus galli, kikireki cantantis* и пр. (въ родительномъ падежѣ). И такъ далѣе, во всѣхъ падежахъ и въ обоихъ числахъ. Иногда распѣвалось на два хора: первый поетъ именительный, второй подхватываетъ родительнымъ, тотъ дательнымъ, и такъ далѣе, пока въ полное удовлетвореніе не допокутъ: *his gallis, kikireki cantantibus* и пр., въ творительномъ множественнаго.

Но большая часть свободнаго времени, какъ и повсюду въ школахъ, проходила въ вознѣ, въ „скій“ на „въ“, въ дурачествахъ разнаго рода, а иногда въ рассказахъ изъ сельскаго быта или изъ старыхъ временъ. Последняго рода бесѣды происходили среди малыхъ, уединившихся кучекъ, или вообще когда классъ не въ сборѣ. Особенно памятливы мнѣ такіе сеансы по зимамъ утрами. Встанешь рано и еще въ седьмомъ часу отправляешься; пустынно на улицахъ; развѣ какая старуха плетется отъ заутрени. А если немного попозже, на встрѣчу—цѣлая рота нищихъ цыганокъ, собирающихся по дворамъ: у всѣхъ мѣшки за плечами, у иной въ мѣшкѣ ребенокъ; одѣты всѣ съ изыскан-

нымъ неряшествомъ, въ одѣялахъ, въ лохмотьяхъ или даже въ обыкновенной одеждѣ, но накинутой какимъ-нибудь необыкновеннымъ образомъ, косо, на изнанку, задомъ напередъ, вверхъ ногами. Приходишь въ училище. Въ классѣ уже сидятъ чловѣкъ пять-шесть съ бумажнымъ складнымъ фонаремъ, въ который воткнутъ крошечный сальный огарокъ, или же съ помадною банкой, обращенною въ самодѣльную лампу: она налита саломъ со свѣтильной въ серединѣ. Здѣсь-то, въ этой сумрачной обстановкѣ, рассказывались исторіи о разбойникахъ и конокрадахъ, о кладахъ и разрывъ-травахъ, о попѣ въ козьей шерсти, иль о попѣ и скворцахъ.

Попросился къ попу ночевать прохожій; попъ отказалъ. Постучался къ дьячку. Принялъ дьячекъ, а въ ночь прохожій умираетъ и въ награду за гостепріимство объявляетъ предъ смертью, что на задворкахъ зарытъ котелокъ съ деньгами, который де и поручается гостепріимному хозяину. Послушалъ дьячекъ, нашелъ котелокъ и взялъ. Рассказываетъ батькѣ. Батьку взяла зависть: какъ бы котелокъ отжилить. Онъ убиваетъ козла, сдираетъ съ него шкуру, надѣваетъ на себя, идетъ ночью подъ окно къ дьячку, стучитъ копытомъ въ стекло и протягиваетъ глухимъ голосомъ: „отдай котелокъ“. Разъ это и два. Со страхомъ рассказываетъ о ночномъ видѣніи дьячекъ попу. „Положи котелокъ на мѣсто, совѣтуетъ попъ, дѣло не чисто“. Послушался дьячекъ, положилъ котелокъ на мѣсто, а попъ туда. Беретъ котелокъ. Пришелъ съ котелкомъ домой радостный, снимаетъ шкуру, анъ нѣтъ: шкура-то пристала. Подрѣзаетъ: кровь потекла и больно. Солдатъ Ёома, содержатель табачной лавочки, прибавляетъ рассказикъ, видѣлъ какъ этого попа провозили въ Петербургъ; народа собралось множество смотрѣть, и самъ Ёома видѣлъ этого попа.

Другой попъ былъ большой охотникъ до птицъ. Молодой парень кается ему на исповѣди, что укралъ пару скворцовъ. „Не хорошо, отвѣчаетъ батюшка,

отнеси назадъ. Гдѣ ты досталъ ихъ? — „Да надъ дверями сарая у Гаврилы подъ крышей“. — „Туда и отнеси“. Послушался парень, а попъ не будь глупъ, пошелъ и взялъ себѣ скворцовъ. На слѣдующій годъ снова парень на исповѣди. Кается; познакомился онъ съ дѣвкой, такая красивая, отстать не можетъ и печалится, что грѣшитъ. „Кто же это такая, гдѣ?“ спрашиваетъ торопливо батюшка. — „Ишь ты! отвѣчаетъ парень, это не скворцы“.

Но говоривалось ли когда о высокихъ обязанностяхъ священнаго сана, о его отвѣтственности? Объ утѣшеніи скорбящихъ, о напутствованіи молитвой болящихъ и унывающихъ, объ исправленіи порочныхъ увѣщаніями? Никогда, ничего; какъ теоретическій катихизисъ, такъ и его практическое примѣненіе не входило въ программу школьныхъ разговоровъ.

Если не игра и не возня, если не разговоры и пѣніе въ родѣ выше приведенныхъ, то производится работа во внѣ-классные часы надъ столами. Столы всѣ изрѣзаны и будто изгрызены даже; трудилось надъ ними много поколѣній. Почтенные это были столы! Сыновья на нѣкоторыхъ находили вырѣзанными имена своихъ отцовъ или начертанными имена знакомыхъ по сосѣдству, попа или дьячка. На нѣкоторыхъ красовались изреченія иногда учебнаго содержанія, замѣчательная по трудности этимологическая форма, иногда изреченіе или прозвище по адресу кого-нибудь изъ школьниковъ съ его quasi-портретомъ; ящики выдолбленные и на верху и съ боку. Всякъ у кого имѣлся перочинный ножъ (къ счастію, такихъ богачей было не много) попробовалъ непременно свое искусство надъ столомъ. А былъ одинъ, который столомъ воспользовался для особенной профессіи. Онъ не только выдолбилъ двѣ большіе ящика, но придѣлалъ къ нимъ задвижную крышку. Это были его магазины для насѣкомыхъ. Лѣтомъ обильный запасъ доставляли ему мухи; руки его поэтому были постоянно окровавлены; независимо отъ



магазина цѣлые вороха мушиныхъ труповъ висились у него на столѣ, между книгами и „текой“ (самодѣльной кожаной сумкой для книгъ); а зимой... но даже противно вспоминать объ этомъ... За поисками этотъ охотникъ отправлялся къ себѣ въ бѣлье и въ волосы, а то выпрашивалъ позволенія поискать у другихъ. Магазины были полны, представляя иногда живой звѣринецъ. Начальство разумѣется не знало, а товарищи только подсмѣивались: „Смотри-ка, сколько набралъ онъ сегодня!“ Смотря изъ теперешняго далека, думаю: какъ же я въ качествѣ цензора не остановилъ этого противнаго звѣроловства? Должно-быть по тогдашнему кодексу я не находилъ въ себѣ на это права. Это не „рѣзвость“, которая отмѣчается въ журналѣ; это личный вкусъ и тихое, мирное занятіе.

## XXXIII.

## Воспитаніе воли.

14 и 15 іюля — что можетъ быть ихъ веселѣе! Это были обыкновенно дни публичнаго экзамена и роспуска въ училищѣ (какъ потомъ и въ семинаріи). Это были дни и прощанья моего съ училищемъ. Удивительно, что они почти не остались у меня въ воспоминаніи, какъ и вообще рубежъ, отдѣлившій училищный періодъ отъ семинарскаго. Должно бы сохранить въ памяти полученіе выпускнаго свидѣтельства, которое послѣдовало конечно уже послѣ, во время ваканціи. Но нѣтъ; очевидно, что ректоръ выдалъ мнѣ свидѣтельство не говоря ни слова; и даже лично ли выдалъ? Удивительная сухость! А каждому начальнику необходимо бы припасать на эти случаи нѣсколько словъ для каждаго выпускаемаго: они врѣзывались бы на вѣки въ память и служили бы руководствомъ и

предостереженіемъ, болѣе или менѣе дѣйствительнымъ, смотря по мягкости сердца и по развитію того, къ кому обращены.

Но вообще дни 14 и 15 іюля были праздничные въ училищѣ, и отъ нихъ сохранилось впечатлѣніе, съ которымъ по свѣтлости, по радости, по полнотѣ успокоенія, не равнялось ни одно въ дальнѣйшемъ курсѣ, семинарскомъ ли, академическомъ ли. Начать съ того, что экзаменъ публичный не влекъ никакихъ послѣдствій для учениковъ. Это былъ парадъ; ученикамъ заранее было сказываемо, о чемъ ихъ спросятъ. Невоструевъ, по поступленіи въ ректоры, думалъ было вывести этотъ обманъ публики, но уступилъ обычаю. Онъ, правда, не назначалъ прямо; кого о чемъ спросятъ, но послѣ частныхъ экзаменовъ производилъ репетицію; спрашивалъ нѣкоторыхъ, и это означало, что о томъ же самомъ и тѣ же самые спрошены будутъ на публичномъ. Да въ сущности тутъ и не было обмана, потому что не за тѣмъ собирали, чтобы производить сравнительную оцѣнку одному ученику предъ другимъ или выводить заключенія, чего достоинъ тотъ или другой. Это былъ показъ всего училища публикѣ, которой помимо выслушиванія діалоговъ между спрашивающимъ учителемъ и отвѣчающимъ ученикомъ представлялось вмѣшиваться самой, предлагать и свои вопросы.

Публичные экзамены въ духовноучебныхъ заведеніяхъ суть наслѣдіе публичныхъ диспутовъ. Диспуты въ старыхъ семинаріяхъ и особенно въ Славяно-Греко-Латинской Академіи были блестящи. Тезисы обнародовались заранее, печатались (иногда, вѣроятно для болѣе высокихъ гостей, на атласѣ). Стекался высшій свѣтъ; въ преніяхъ участвовали современныя свѣтила учености. Судя по рассказамъ, нынѣшніе университетскіе диспуты не могутъ равняться со старинными академическими и семинарскими по живости и по участию, которое они возбуждали въ образованномъ обще-

ствѣ. Вѣрно или нѣтъ, но передавали, что одинъ изъ диспутантовъ, архимандритъ Владиміръ, бывшій ректоромъ ли, префектомъ ли Академіи, даже помѣшался отъ диспута. Тезисъ былъ: *Sacra scriptura est clara* (Священное Писаніе ясно). Среди турнира, въ которомъ участіе принимали, точно какъ въ кудачномъ бою, сначала маленькіе, то-есть студенты, а потомъ большіе, то-есть учителя, префекты, ректоры и сами преосвященные, пришлось Владиміру въ качествѣ дефендента отбиваться отъ какого-то тоже архимандрита, въ добавокъ соперника своего на ученомъ поприщѣ. Увлеченный запальчивымъ преніемъ, Владиміръ неосторожно выставилъ ясность Св. Писанія въ столь безусловномъ видѣ, что противникъ осадилъ его указаніемъ на „Звѣриное число“ Апокалипсиса: *atqui numerus 666 quid significat?* (А что значить число 666?) Владиміръ сталъ въ тупикъ и... потерялъ разсудокъ.

Съ преобразованіемъ училищъ публичные диспуты прекратились, но преданіе сохранилось объ обязанности заведенія выступать на судъ общества и экзаменоваться не только у своихъ, но и у постороннихъ, кому угодно. Форма однако неизбѣжно перемѣнилась: участіе постороннихъ могло выражаться только въ задаваніи вопросовъ испытуемымъ, точнѣе сказать—вызываемымъ ученикамъ. Замѣтимъ разницу: публичные экзамены духовныхъ училищъ, переходя по наружности въ то, что называютъ въ свѣтскихъ заведеніяхъ „актомъ“, не становились однако актомъ, то-есть только отчетомъ, хотя и публичнымъ, но оставались именно испытаніемъ, если не учениковъ въ отдѣльности, то всего училища. Чѣмъ дальше проходило время, тѣмъ болѣе впрочемъ утрачивался этотъ характеръ, тѣмъ болѣе публика обращалась въ зрительницу и слушательницу только, и тѣмъ болѣе начала охлаждать Публичный экзаменъ приблизился съ одной стороны къ „акту“, то-есть къ зрѣлищу, а съ другой—къ обыкновенному экзамену. Въ семинаріи и академіи

бличный экзаменъ и имѣлъ послѣднее значеніе: это было испытаніе, производимое начальникомъ епархіи, то-есть митрополитомъ, отчасти ученикамъ, а болѣе всего учителямъ; вся разница отъ обыкновеннаго экзамена, что испытаніе производилось на глазахъ у публики. На ряду съ вопросами тутъ давались и распеканія. О вопросахъ заранѣе назначаемыхъ, понятно, не могло быть и рѣчи. Да не могло испытаніе ни оставлять радостнаго чувства, ни возбуждать пріятныхъ ожиданій. Напротивъ, это были самые тяжкіе, самые томительные дни изо всего учебнаго періода. Въ училищѣ же полнѣе сохранился старый типъ; спросить о томъ что знаешь—давали случай отличиться; хотя публика въ большинствѣ, какіе-нибудь мѣщане, и не способна была принять участіе въ діалогѣхъ, но однако находились иногда посторонніе, архимандритъ напримѣръ или священникъ, который по поводу сказаннаго ученикомъ давалъ вопросъ, и завязывался разговоръ, миниатюрное подобіе диспута. А при такомъ порядкѣ предувѣдомленіе о вопросахъ, которые будутъ заданы, не только не предосудительно, напротивъ, иначе и не должно быть: отрывокъ учебника, передаваемый ученикомъ, есть только поводъ къ испытанію, почва, на которой оно предполагается.

Испытаній могутъ быть и бываютъ различные виды; всѣ я ихъ перешелъ и съ почтеніемъ вспоминаю объ идеѣ, которая хотя въ сумракѣ, но мерцала въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. 1) Экзаменъ устный по пройденному въ классѣ; бери билетъ и отвѣчай: самый обыкновенный, самый теперь распространенный, но самый неполный и наименѣе всѣхъ удовлетворительный способъ. Не говоря о томъ, что онъ есть лотерея,—изъ отвѣта, удачнаго или неудачнаго, узнается только степень механическаго усвоенія чужихъ уроковъ. 2) Испытаніе письменное: дается тема, на которую тутъ же, не выходя изъ аудиторіи, испытуемый долженъ написать отвѣтъ. При устномъ отвѣтѣ на билетъ мож-

но сбиться, случайно запомнить мелочь; не всякій одинаково владѣетъ даромъ слова; безтолковый зубрила имѣетъ преимущество предъ болѣе дѣльнымъ ученикомъ; испытывается память, а не умъ. Письменной задачей дается возможность приготовить отвѣтъ твердый и основательный; испытывается степень отчетливости усвоеннаго знанія; запомнанію, случайному замѣшательству отъ вѣшнихъ причинъ нѣтъ мѣста.

3) Письменная задача, на домъ данная и притомъ на продолжительное время—диссертация. Этотъ видъ испытанія довольно извѣстенъ; предполагается самостоятельная работа и испытывается способность къ умственному и въ частности ученому труду, умѣнье пользоваться источниками и ихъ обрабатывать. Но вотъ видъ испытаній, въ свѣтскихъ заведеніяхъ неизвѣстный: 4) устное, на заданную тему изъ учебнаго курса, съ предоставленіемъ испытуемому болѣе или менѣе достаточнаго времени приготовиться. По моему, это—высшій и совершеннѣйшій видъ испытанія. Такое, въ числѣ другихъ, сдавалъ я при окончаніи курса въ семинаріи. Сказанъ заранее изъ учебнаго курса трактатъ, о которомъ отчета потребуютъ чрезъ нѣсколько часовъ, завтра пожалуй, послѣ завтра (помню, мнѣ изъ богословія назначено было „О промыслѣ“). Ступай, обкладывайся тетрадями и книгами, вспоминай, обдумывай. Всѣ отговорки отняты: ни на случайный тупикъ, ни на медленность соображенія, ни на то что вотъ именно этотъ-то трактатъ менѣе всего и повторенъ предъ экзаменомъ. Прочитай, другъ мой, его снова на свободѣ, хоть сто разъ; времени тебѣ довольно. Но если выйдешь только съ твердымъ воспроизведеніемъ учебника или лекціи, цѣна тебѣ пятакъ; ты не занимался стало-быть, не дополнял заученнаго и слышаннаго своимъ размышленіемъ и трудомъ. И увидимъ мы не только, старателенъ ли былъ ты, но и полнѣе обсудимъ, насколько ты даровитъ, о чемъ отчасти знаемъ изъ твоихъ письменныхъ упражненій.

Кто пройдетъ успѣшно все четыре такіе искуса, тому достойно поставить высшій баллъ, и отмѣтка будетъ безошибочна. Недостаточность успѣха по одному виду испытанія восполняется другимъ. Диссертацию и даже письменный экспромптъ можно списать, по меньшей мѣрѣ воспользоваться чужою помощью, своего рода письменнымъ подсказомъ; отвѣтъ по билету свидѣтельствуетъ о случайномъ знаніи или незнаніи случайной части курса: на устномъ испытаніи по заранѣ указанному вопросу все уравнивается и приводится въ ясность. Въ этомъ-то смыслѣ и на публичномъ экзаменѣ въ училищѣ отвѣты учениковъ на вопросы заранѣ назначенные, какъ сказалъ я, не только не предосудительны, но единственно цѣлесообразны. Какое дѣлали изъ нихъ употребленіе и далеко ли на этой почвѣ продолжали испытаніе, это другой вопросъ.

Распространяюсь объ этомъ предметѣ въ виду капитальнаго вопроса объ экзаменныхъ комиссіяхъ въ университетѣ: какія будутъ имъ даны правила испытаній и какіе виды испытанія будутъ введены?

Итакъ, училище радовалось, торжествовало въ виду публичныхъ экзаменовъ и во время ихъ; душа ученическая играла. Это былъ лѣтній свѣтлый праздникъ, и къ нему готовились, какъ къ Свѣтлому Дню, убирали училище, украшали по вкусу, какимъ надѣлилъ Господь, и по скуднымъ средствамъ, какія находились въ распоряженіи. Между частными экзаменами и публичнымъ обыкновенно давался промежутокъ нѣсколькихъ дней. Составлялись партіи, отправлялись въ лѣса, въ луга. Зачѣмъ это? А набирать зелени и цвѣтовъ. Цвѣточною гирляндой одѣвалась икона надъ воротами; гдѣ только можно, рассыпали зелень и цвѣты около экзаменаціонной залы и въ ней самой, а главное—устраивали коверъ предъ экзаменаціоннымъ столомъ. Это было общее дѣло, своего рода также испытаніе, точнѣе—упражненіе вкуса. Фонъ ковра обыкновенно не

представлялъ трудности: мелко на мелко изрубленная еловая хвоя образовала главное полотно; смѣлый вкусъ и изобрѣтательность особенно остраго ума прибавляли по мѣстамъ листья другихъ деревьевъ для разнообразія, но съ сохраненіемъ общей гармоніи. А главное — узоръ. Узоръ! О, сколько здѣсь преній, сколько порывовъ, сколько первоначальныхъ рисунковъ! Цвѣтовъ огромный ворохъ, нѣтъ—вороха. Каждая партія хвалится одна предъ другою. Слышатся иногда восторги удивленія. „Да откуда это?“ И оказывается, что гдѣ-нибудь за двадцать верстъ набрано въ болотѣ, не то вплавь, не то въ тинѣ по уши. Разныя величины, различныя тѣни; что куда употребить, изъ чего должна быть кайма, изъ чего углы, какой долженъ быть средний кругъ, и кругъ ли онъ долженъ быть или ломаная фигура. И нужны ли разводы? Непремѣнно нужно, если какой-нибудь скабіозы, фіалокъ, васильковъ добыто очень много, такъ что рисунокъ, не затрудняясь, можно выдержать по всему ковра.

На коверъ не становились. Онъ разстился только на поглядѣнье. Попирать можно зелень и цвѣты, рассыпанные по дорогѣ. Да, праздничное это было чувство, радостныя были это хлопоты, свѣтлые это были дни, свѣтлые вдвойнѣ: и по расположенію духа, и по состоянію атмосферы; это всегда бывали ясные, солнечные дни, ласкающіе свѣтомъ и тепломъ.

Другими подобными днями были майскія рекреаціи. Это дни ученическихъ гуляній и игръ, предписанные преданіемъ отъ старыхъ временъ. Число этихъ дней не опредѣлялось, и не пріурочивались они къ опредѣленнымъ числамъ мѣсяца; зависѣло отъ погоды, и съ окончаніемъ апрѣля ребята молили Бога, чтобы май вышелъ благопріятный: чѣмъ болѣе ясныхъ, теплыхъ дней, тѣмъ на большее число рекреаций надежда. Не одинъ выбѣгалъ вечеромъ 30 апрѣля на дворъ и улицу всмотрѣться въ небо, каково-то оно будетъ завтра. Въ четыре часа утра всѣ бурсаки уже на ногахъ; чрезъ

часть, чрезъ полтора дворъ училища наполненъ, собрались отовсюду. Начинаются совѣщанія: просить или не просить, такъ какъ рекреаціи давались не по назначенію начальника, а по просьбѣ учениковъ. Правда, въ просьбѣ можетъ быть отказано, но могутъ ее и уважить, а нужно знать совѣсть, нельзя же просить двадцати рекреаций. Погода хороша, но не вполнѣ, облачка ходятъ, вѣтеръ подуваетъ холодный. Сегодня получимъ, настоящаго гулянья не будетъ по плохой погодѣ; а придутъ хорошіе дни, отнимемъ сами у себя право просить. Но рѣшено: просить. Выстраиваются ученики, начиная съ младшихъ, по пяти или шести въ рядъ, длиннымъ хвостомъ предъ окномъ ректора и поютъ:

Reverendissime pater rector, illustrissime protopresbyter et magister, rogamus primam recreationem. (Досточтимѣйшій отецъ ректоръ, блистательнѣйшій протоіерей и магистръ, просимъ первой рекреаціи.)

Вмѣсто primam (первой) пѣли secundam, tertiam (второй, третьей) и такъ далѣе, по счету рекреаций. Потомъ уже не считали, а пѣли postremam (последнюю) recreationem. Но не довольствовались. Дни стоятъ чудные, а еще двадцатая только числа. Поднимались на простодушныя хитрости. Просили снова ultimam recreationem (крайнюю), затѣмъ posterrimam (самую последнюю).

Только шесть часовъ утра, да и ихъ еще нѣтъ. Позже начинать просьбу опасно. Преданіе разрѣшаетъ просить только до звонка, который пробьетъ въ восемь часовъ; тогда пѣніе должно прекратиться, вся ватага обязана разойтись по классамъ. А до того времени пойдутъ еще переговоры. Ректоръ можетъ находить просьбу излишнею или неблаговременною. Нужно его убѣждать и просить можетъ-быть неоднократно.

Поютъ, тянутъ медленнымъ торжественнымъ напѣвомъ, который раздается чуть не по всему городу.

...да была полная семинарія, учащихся можетъ-быть



подъ тысячу и въ числѣ поющихъ были сильные голоса крѣпкихъ грудей, взрослыхъ юношей, пѣніе слышно было даже далеко за городомъ. Мы, двѣсти мальчиковъ, хотя въ числѣ нашемъ и были басы, не могли распѣвать столь громогласно.

Пѣніе продолжается и повторяется. Вотъ отворяется окно втораго этажа, къ которому направлена просьба. Стало-быть отпустить безъ разговоровъ? радостно мелькаетъ у каждаго, и бодрѣе выпѣвается слогъ, на которомъ застало отворяемое окно. Ахъ, нѣтъ; это теща ректора, въ кацавейкѣ отороченной горностасемъ, полу-сонными глазами выглянула посмотрѣть на невиданную ею картину (она москвичка). Влѣте потянулось пѣніе; окно затворилось. Наконецъ кличутъ: „старшихъ!“ Отправляются „старшіе“ къ ректору для переговоровъ и торговли. Ученики и ректоръ торгуются. Нехорошій день, урокъ сегодняшній очень нужный, плохо прошлую недѣлю занимались, успѣте. Такъ усовѣщиваетъ одна сторона; другая возражаетъ общаніями, что въ слѣдующіе дни налюбуются ихъ занятіями, что день разгуляется, сегодня онъ притомъ скромный, а назначено между прочимъ идти въ деревню туда-то, хлебать молоко; или постный, и приготовились ловить рыбу и взяли уже бредень на поддержаніе; потратились уже, и все пропадетъ. Но нужно ли перечислять всѣ доводы и съ той, и съ другой стороны? Бывало, и строго даже крикнетъ ректоръ: „Чтобы разойтись сейчасъ, вотъ я васъ, не смѣть!“ Но это ничего, поютъ, все поютъ, и еще разъ позовутъ, и еще разъ побранятъ или пугаютъ, но можетъ кончиться разрѣшеніемъ, и кончалось. Отворится окно; ректоръ подойдетъ и благословитъ. Это осѣненіе двухсотенной толпы крестнымъ знаменіемъ изъ втораго этажа напоминало мнѣ, много читавшему, объ извѣстномъ благословеніи, преподаваемомъ папой *urbi et orbi* изъ Ватикана. *Gratias agimus* (благодаримъ), троекратно пропоютъ ребята на благословеніе и разбѣгутся. Троекратно благода-

#### ИЗЪ ПЕРЕЖИТАГО

тъ повелѣвало преданіе, а разбѣгаться побуждалъ тотъ инстинктъ, по которому ученики разбѣгались къ ѡбѣду, отпускаемые сестрою-мастерицей. Меня тогда ще, въ дѣтствѣ, это инстинктивное движеніе приводило въ недоумѣніе. Ну зачѣмъ же, размышляя я, бѣжать? Почему же не разойтись тихо? А нѣтъ, непременно разбѣгутся, хотя останутся почти на мѣстѣ, не только со двора не уйдутъ, но не покинутъ тѣснаго пространства, на которомъ стояли, только разстроятъ ряды. Въ ухахъ и теперь у меня раздаются послѣдніе два слога благодарности, которые пѣлись уже на бѣгу: *gi-mi-u-us*; это *u-u-us* оканчивалось съ постепеннымъ пониженіемъ тона и ослабленіемъ напряженія.

Начинаются совѣщанія, въ чемъ провести день. Впрочемъ, большею частію это обдуманно и рѣшено заранее; программа извѣстна. Часть отправится въ Таборы (подгородный лѣсъ) въ лапту играть; другая, можетъ-быть большею ватагой, на рыбную ловлю, а то просто на катанье по рѣкѣ. Можетъ-быть нѣкоторыми устроена будетъ колоссальная игра въ бабки и пр. Играть и даже дурачиться можно во весь день на распашку. Содошьянные въ этотъ день даже грѣхи не вспоминаются; это не честно и не бываетъ; начальство, даже видя проступокъ, должно пройти не показывая вида, что замѣчаетъ. Но проступиться чѣмъ-нибудь важнымъ и подло. Это знаютъ сами гулящіе и свято блюдутъ. Не гоже оскорблять святыню праздника. Въ древнія времена митрополитъ Платонъ самъ участвовалъ въ семинарскихъ рекреціяхъ, гуляя съ семинаристами на Корбухѣ (въ лѣсу между Троицкою Лаврой и Винонѣй), одѣлая гуляющихъ лакомствами, слушалъ ихъ пѣсни и канты, смотрѣлъ ихъ игры и поощрялъ.

„Не можетъ быть! Какъ? Неужели? И это правда? Не можетъ быть!“ Такими восклицаніями отвѣчалъ мнѣ покойный Ю. Ѳ. Самаринъ, когда я ему какъ-то разговоръ передавалъ объ обычаяхъ рекреаций. Его поразило, что ученикамъ самимъ предоставлялось проси

рекреацій и назначать дни, равно и то, что рекреационные грѣхи не поминались. Во времена императора Николая дѣйствительно не могло не казаться удивительнымъ сохраненіе этого обычая, не менѣ чѣмъ и трактатъ *De libertate cogitandi, dicendi et agendi*, который изучали философы-семинаристы. Но то и другое было. Обычай рекреацій тѣмъ именно и почтененъ, что не давалъ подъ дисциплиной угасать чувству личной самостоятельности; оставлялъ впечатлѣніе, что училищный порядокъ есть только дисциплина, а не оковы. „Ну вотъ, расправляйте крылья, играйте, бѣситесь, отвѣтственность за благопристойность возлагается на васъ самихъ; мы перестаемъ быть на эти дни начальствомъ для васъ.“ А какое освѣжающее чувство оставляли въ ученикахъ эти дни разгула, назначаемые не по командамъ и проводимые внѣ команды!

Воля и характеръ въ мальчикѣ-левитѣ, кромѣ рекреацій, и притомъ болѣе постоянно, воспитывались общежитіями. Говорю не о бурсѣ, а объ общежитіяхъ по вольнымъ квартирамъ. Если нѣтъ у сельскаго церковнослужителя родни или знакомыхъ въ городѣ, онъ обываетъ малаго на квартиру, гдѣ есть гнѣздо ребятъ-школьниковъ; какая-нибудь мѣщанка, солдатка, а то дьячекъ содержитъ для того квартиру, и тамъ ютится до десятка и болѣе ребятъ. Кромѣ мяса, харчи большею частію привезены изъ дома по уговору: мука, крупа, масло, даже какая-нибудь овощъ иногда, рѣпа, напимѣръ. О капустѣ не знаю. Къ постыдной отсталости сельскаго духовенства нужно отнести, что садоводствомъ и огородоводствомъ оно почти не занималось, тогда какъ кромѣ собственнаго прокорма могло то и другое доставить лишній доходъ, въ виду того что крестьянинъ по этой части и еще отсталѣе.

Хозяйствомъ общежитія, смотря по мѣсту, завѣдывали отчасти квартиро-хозяева, отчасти сами ребята, закупая остальную провизію сверхъ привезенной изъ деревни. Нельзя умолчать, что грубость нравовъ и

здѣсь давала себя знать не менѣе, пожалуй больше, чѣмъ въ классныхъ отношеніяхъ учителей къ ученикамъ. Слыхалъ я много возмутительнаго особенно объ епархіальныхъ городахъ, тамъ гдѣ есть не училище только, а и семинарія. Общежитія тамъ обширныя, и ими начальствуютъ „старшіе“; на ряду со „старшими“ рядовые богословы и даже философы помыкаютъ мальчуганами, положеніе которыхъ мало разнится отъ положенія учениковъ въ ремесленныхъ заведеніяхъ. Они должны быть готовы на всѣ побѣгушки, даже до ходьбы за водкой въ кабакъ; мертвое повиновеніе „старшимъ“; беспощадныя порки. Страданія беззащитнаго малолѣтка недостаточно вознаграждались туторствомъ кого-нибудь изъ взрослыхъ, кому отецъ особенно поручилъ своего сына. Иногда туторъ самъ оказывался болваномъ и пьянугой, и гибъ мальчикъ. Я знаю такіе примѣры изъ иногородныхъ семинарій. Но откидывая эти случайности, нельзя не отдать чести общежитіямъ, что они укрѣпляли волю и выдѣлывали характеръ. Въ общежитіяхъ училищныхъ, гдѣ „старшій“ есть самъ мальчуганъ, отстоящій только двумя, тремя годами отъ подвластныхъ, гдѣ онъ сверстникъ въ играхъ и права наказаній не имѣетъ, начало самопомощи выступало чище, и развитіе самостоятельности должно совершаться успѣшнѣе. Вообще, полутора вѣками преданнымъ строемъ духовно-учебныхъ заведеній признавалось начало постепенности между малолѣткомъ и взрослымъ, и это была ихъ добрая сторона. Не было такой рѣзкой грани, что до сихъ поръ ты рабъ неключимый, не осмѣливающійся ни разсуждать ни дѣйствовать иначе какъ по приказанію, а завтра разнузданный, иди сломя голову куда хочешь, начиная впервые быть самимъ собою. Самобытъ общежитій, учрежденіе рекреаций, цензоръ, аудиторъ, старшій и наконецъ лекторъ изъ учащихся представляли ленту съ постепенно блѣднѣющими узорами. Объ аудиторахъ, цензорахъ и старшихъ читатель знаетъ, а лекторами на

зываются учителя низшихъ классовъ, взятые изъ высшихъ и еще продолжающіе учиться.

Въ примѣненіи много было злоупотребленій, много было мерзостей, не говоря о грубости вообще, но не начало виновато въ искаженіяхъ, которыми обиходная жизнь училищъ била глаза. А образцовому примѣненію начала, можно сказать высочайшему совершенству педагогическаго строя, должно было бы помогать (индѣ и помогало) еще одно обстоятельство. Тогда какъ на маленькихъ во многихъ случаяхъ смотрѣли какъ на взрослыхъ, давали имъ разсуждать и дѣйствовать, наравнѣ со взрослыми, въ самомъ верху начальство состояло изъ лицъ, которыхъ объѣтомъ было между прочимъ на оборотъ отреченіе отъ воли. Сочетаніе двухъ началъ идеально представлялось въ слѣдующемъ видѣ: постепенное разнузданіе воли съ добровольнымъ, ради высшего начала, отреченіемъ отъ нея, какъ концомъ воспитанія. Какіе характеры и какого бы непоколебимаго долга люди должны были вырабатываться! Считаю излишнимъ прибавлять, что дѣйствительность слишкомъ часто не отвѣчала этой идеѣ, или точнѣе, слишкомъ рѣдко отвѣчала. Но когда я вспомню объ А. В. Горскомъ, этомъ гармоническомъ сочетаніи полнѣйшаго самоотверженія съ глубокимъ признаніемъ правъ свободы въ другихъ, объ этомъ чудномъ единствѣ строгаго аскетизма съ широкимъ либерализмомъ въ лучшемъ смыслѣ, я восклицаю мысленно: за этого одного человѣка, за одного такого можно простить всѣ безобразія, всѣ крайности духовной школы, въ какія она впадала! А можно поручиться, что А. В. Горскаго произвела именно школа.

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ КНИГИ.



## ОГЛАВЛЕНІЕ.

	<i>Стр.</i>
I. Родной городъ . . . . .	8
II. Предки . . . . .	18
III. Родительское гнѣздо . . . . .	30
IV. Старая семинарія . . . . .	39
V. На переходѣ . . . . .	47
VI. Второе поколѣніе . . . . .	57
VII. Попъ Захаръ и попъ Родивонъ . . . . .	68
VIII. Двѣнадцатый Годъ . . . . .	76
IX. Домашняя школа . . . . .	86
X. Первый училищный искусь . . . . .	97
XI. Конституція духовной школы . . . . .	106
XII. Временное отупѣніе . . . . .	112
XIII. Сѣкуціи . . . . .	121
XIV. Уединеніе и однообразіе . . . . .	130
XV. Цивилизація . . . . .	144
XVI. Приходъ . . . . .	156
XVII. Общественная жизнь . . . . .	168
XVIII. Книжный міръ . . . . .	178
XIX. На шагъ отъ гибели . . . . .	187
XX. Прогулъ . . . . .	197
XXI. Фантастическія убѣжища . . . . .	205
XXII. Особенности полета . . . . .	217
XXIII. Отъ тиранства къ сердоболію . . . . .	223
XXIV. Москва . . . . .	233
XXV. Новая атмосфера . . . . .	244
XXVI. Подготовка . . . . .	255
XXVII. Прозорливица . . . . .	265
XXVIII. Отголоски интеллигенціи . . . . .	277
XXIX. И. И. Мѣщаниновъ . . . . .	284
XXX. Два брата . . . . .	298
XXXI. Училищный итогъ . . . . .	311
XXXII. Классныя занятія . . . . .	322
XXXIII. Воспитаніе воли . . . . .	331









# ИЗЪ ПЕРЕЖИТАГО

АВТОБІОГРАФИЧЕСКІЯ ВОСПОМИНАНІЯ

Н. Гилярова-Платонова.

ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

ИЗДАНИЕ

Товарищества М. Г. Кувшинова.

МОСКВА—1887.



# ИЗЪ ПЕРЕЖИТАГО

АВТОБІОГРАФИЧЕСКІЯ ВОСПОМИНАНІЯ

Н. Гилярова-Платонова.

ИЗДАНИЕ

Товарищества М. Г. Кузнецова.

МОСКВА—1886.

### изъ пережитого

ъ, которые даже на Святки и на Святую продолжа-  
оставаться въ бурсѣ. Помню этого ратора. Онъ дер-  
лъ себя командиромъ и посылалъ ребятъ ломать ма-  
новые стволы, поручалъ сострагивать верхнюю шкур-  
/ и училъ курить ее вмѣсто табаку. Находили, что  
совсѣмъ какъ табакъ"; сообщаютъ ли? Риторъ съ тѣмъ  
юдѣльщикамъ—не воспользуются ли? Риторъ съ тѣмъ  
вмѣстѣ взялъ регентство надъ училищнымъ хоромъ,  
привезя нѣсколько партесныхъ переложений, неизвѣст-  
ныхъ коломенскимъ малолѣтнимъ виртуозамъ. Ребята  
смотрѣли на него раскрывъ ротъ, и я въ томъ числѣ:  
это пришлецъ изъ другаго, высшаго міра, о которомъ  
впрочемъ самъ горній житель не распространялся, до-  
вольствуясь однимъ внѣшнимъ обаяніемъ.

Московская епархія есть единственная, въ которой не  
одна, а двѣ семинаріи: одна въ самой Москвѣ, другая  
близъ Троицы, въ Виѣанскомъ монастырѣ. Къ каждой  
приписаны свои училища: къ Московской—московскія,  
въ самой столицѣ помѣщающіяся (ихъ было въ мое  
время три), одно подмосковное, Перервинское, тоже по-  
чти столичное по мѣстности (въ шести верстахъ), и на-  
конецъ Коломенское. Въ Виѣанскую семинарію посту-  
пали изъ училищъ Дмитровскаго и Звенигородскаго.  
По отношенію къ московскимъ это училища провинці-  
альныя, и сама семинарія Виѣанская имѣла славу про-  
винціальной. „Виѣанецъ“ — низшей породы существо,  
неотесанное, мало развитое. Морщась отецъ-москвичъ  
выдавалъ за него дочь; пренебрежительно посматривали  
на него москвичи-сверстники; при одинаковыхъ юриди-  
ческихъ правахъ москвичи пролѣзали и на лучшія епар-  
хіальныя мѣста; виѣанцы ютились больше тамъ гдѣ-то  
по селамъ и уѣзднымъ городамъ, и притомъ своего ви-  
ѣанскаго округа. Одинаковъ учебный курсъ въ той  
другой семинаріи, по предполагалось, что и учебная по-  
готовка въ Московской выше, нежели въ Виѣанской. Б  
ло нѣкоторое основаніе для такого мнѣнія: въ Моск  
назначали изъ Академіи лучшихъ воспитанниковъ

занятія кафедръ; изъ Виѣанской въ Московскую переводили не только преподавателей, но и ректоровъ съ инспекторами въ видѣ повышенія. А въ сущности, пренебрежительный взглядъ на Виѣанскую семинарію былъ предрасудкомъ. Виѣанцы были только менѣ цивилизованы, грубѣе, не полированы, но къ наукѣ даже ближе московскихъ. Они не бывали въ театрахъ; иной и столицы совсѣмъ не видалъ; не умѣли ступить и сѣсть; со свѣтскимъ обществомъ, со свѣтскою литературой никакого знакомства. Но близость къ Академіи давала особенное озареніе. Академическія знаменитости были свои для Виѣанца; отъ лекцій академическихъ слышались постоянныя въ Виѣаніи отголоски, и у учениковъ болѣе нежели даже у профессоровъ. Виѣанцы были постоянными переписчиками студентовъ; студенческія диссертации, профессорскія лекціи обращались между учениками; лучшіе изъ „философовъ“ и „богослововъ“ ими пользовались для себя, припасали вторые экземпляры. Внѣшняя судьба Академіи, ея профессоровъ и студентовъ была темой разговоровъ и преданій виѣанскихъ. И однако напоминаніе о „виѣанствѣ“ вызывало презрительную улыбку у москвича, и само начальство отдавало Московской семинаріи почетъ. Такова сила преданій: Московская семинарія была прямою наслѣдницей Славяно-Греко-Латинской Академіи, а Виѣанская—дочь домашней семинаріи митрополита Платона, оставленная существовать единственно изъ уваженія къ личной памяти знаменитаго іерарха и изъ сожалѣнія къ зданіямъ, которыя безъ того осуждены были бы на запустѣніе.

Коломенское училище было Виѣаніей своего рода для московскихъ училищъ, единственное провинціальное среди всѣхъ приписанныхъ къ Московской семинаріи, забившееся гдѣ-то въ углу, за сто верстъ. Это нѣчто въ родѣ Звенигорода и Дмитрова, но тѣмъ и путь-дорога въ провинцію же, въ Виѣанію. Здѣсь, въ Москвѣ—аристократы, большею частью дѣти священниковъ и

ьяконовъ московскихъ; немного перервинскихъ сиротъ. Перервинское было казеннокоштное училище), въ большинствѣ тоже московскаго происхожденія. Коломенцы были совсѣмъ другой шерсти въ этомъ тонкорунномъ стадѣ; большинство ихъ впрочемъ скоро и исчезло. И поступило-то насъ, плебеевъ, едва ли тридцать чело-вѣкъ въ семинарію. А гдѣ они? И пятерыхъ не насчитаешь въ числѣ кончившихъ курсъ.

Нужно было меня въ семинарію снарядить. Я отчасти и въ училищѣ выдѣлялся уже своимъ платьемъ. Я носилъ брюки только одинъ изъ двухъ во всемъ училищѣ\*; я носилъ манишку. Но я ходилъ зимой въ тулупъ и не носилъ исподняго нижняго платья, тогда какъ остальные, наоборотъ, не имѣя брюкъ, щеголяли въ однихъ кальсонахъ. Итакъ, меня надобно было обшить. Въ чуданѣ хранились отъ семинарскихъ временъ брата Александра его сюртуки и фраки, всѣ однообразно сянлаго сукна; изъ этого матеріала мнѣ состроили сюртукъ. Порыжѣвшую отъ времени казинетовую рясу отца, темнозеленаго цвѣта, перекрасили въ черный цвѣтъ и сшили мнѣ ватную чуйку съ плисовымъ воротникомъ. А чтобъ еще болѣе предохранить меня отъ стужи, купили сѣрой нанки, такъ-называемаго „мухояру“, и изготовили ватный сюртукъ немного ниже колѣнъ. Затѣмъ бѣлье и еще необходимая вещь—войлокъ аршинной ширины или немногимъ болѣе, обшитый тикомъ, и при немъ подушка съ ситцевою вѣчною наволокой: иначе на чемъ же мнѣ спать?

Снарядили меня, благословили, отправили, и отсели я въ Москвѣ. Забудь меня, родина!

Одинъ изъ профессоровъ былъ товарищемъ брату по семинаріи. Съ наступленіемъ учебнаго времени братъ повелъ меня къ нему, представилъ. Здѣсь узнали мы,

\* Другой былъ сынъ инспектора, моложе меня однимъ курсомъ, известный потомъ профессоръ университета и первый редакторъ *Православнаго Обозрѣнія*, Н. А. Сергіевскій, теперь протопресвитеръ Успенскаго собора.



съ какого дня начнется ученье. Полагаю, что тутъ же исполнены были разныя формальности; по крайней мѣрѣ я ихъ не помню. Никому я не представлялся изъ начальства; не помню, кому бы вручилъ свое увольнительное изъ училища свидѣтельство; не помню перелички, которой не могло же не быть. Должно-быть все это, благодаря брату, обдѣлано было безъ меня. Я узналъ, что поступилъ во „вторую риторикѣ“, то-есть во второй параллельный классъ низшаго отдѣленія. Ихъ было три, и при размѣщеніи учениковъ слѣдовали очевидно порядку, въ какомъ числились училища и въ училищныхъ спискахъ ученики. Коломенское училище было послѣднимъ изъ пяти, и я въ немъ былъ первымъ. Первенецъ Петровскаго училища попадалъ въ первую риторикѣ, Андроньевскаго во вторую, Донскаго въ третью, Перервинскаго снова въ первую, Коломенскаго во вторую.

Семинарія помѣщалась на Никольской, въ Заиконоспасскомъ монастырѣ, на пепелищѣ Славяно-Греко-Латинской Академіи. Трехъэтажный фабрикообразный корпусъ, воздвигнутый на мѣстѣ части академическихъ зданій, живъ доселѣ и смотреть чрезъ Китайскую стѣну на Театральную площадь. Только подвергся онъ съ того времени новому разжалованію: была въ немъ нѣкогда академія, потомъ семинарія, а нынѣ училище—въ томъ самомъ корпусѣ, котораго даже академія не имѣла. Отъ нея осталось двухъэтажное продолженіе дома—въ мое время жилища начальства и профессоровъ; да еще двухъэтажный флигель, тоже съ квартирами профессоровъ; это зданіе памятно тѣмъ, что въ академическія времена тутъ жили „платоники“, студенты изъ лучшихъ, которыхъ митрополитъ Платонъ содержалъ на свой счетъ, и которые въ силу того присоединяли къ своей коренной фамиліи другую—„Платоновъ“.

Новое мѣсто ученія внѣшностью своею не поразило меня: три этажа вмѣсто двухъ, да вмѣсто деревянной каменная лѣстница, обложенная чугунными плитами,

затѣмъ корридоръ—вотъ вся была разнища. Залы были просторнѣе коломенскихъ; вмѣсто плоскихъ столовъ предъ ученическими скамьями стояли пюпитры. Швейцарская, гардеробная, дежурная, ватерклозеты,—всѣ эти роскоши завелись уже въ новой семинаріи, устроенной на другомъ мѣстѣ, послѣ меня. Но живой составъ семинаріи былъ совсѣмъ иной, нежели привыкъ я видѣть въ училищѣ. Развязные, по своему важно держащіе себя ребята. Всѣ смотрѣли „большими“; да и дѣйствительныхъ большихъ, съ бритыми бородами, было довольно, а нѣкоторые были и при бакенбардахъ. На многихъ были цилиндры, у нѣкоторыхъ трости въ рукахъ. Личныхъ сапоговъ уже нѣтъ, всѣ въ брюкахъ и жилетахъ; тулуповъ ни на комъ, даже чуйки виднѣлись развѣ только на пяткѣ или десяткѣ; прочіе ходили въ шинеляхъ и даже съ мѣховымъ воротникомъ нѣкоторые (пальто еще не были изобрѣтены тогда); мальчишескихъ игоръ въ родѣ кулачныхъ боевъ или вообще возни слѣда не было. И все незнакомыя лица! А между собою многіе и знакомы, и друзья, перекидываются разговорами; толкуются на крыльцѣ, шмыгаютъ по лѣстницѣ. Не то ходятъ по корридору, а больше по аудиторіи, обнявшись, положивъ одинъ другому руку на шею. Этого у насъ въ училищѣ не водилось, какъ не знали мы вѣжливаго обращенія на „вы“; съ „вы“ обращались только къ учителямъ. А здѣсь въ перемену слышишь между даже сверстниками и „ты“ и „вы“, второе даже по преимуществу.

Еще одинъ невиданный обычай поразилъ меня: ученики здоровались пожиманіемъ рукъ. Столь общій по видимому обычай былъ для меня тогда совершенною новостью; не только въ училищѣ между мальчиками его не существовало, но и вообще я до того не видывалъ рукопожатій между кѣмъ бы то ни было. Можетъ-быть я читывалъ о немъ въ книгахъ, но и то совсѣмъ проскользнуло, не остановивъ вниманія. Обычно ли было рукопожатіе въ московскихъ училищахъ? Вѣроятно, да.

Проникъ ли этотъ обычай теперь и во всѣ училища? Тоже вѣроятно; и крестьяне, подмосковные по крайней мѣрѣ, такъ теперь привѣтствуютъ другъ друга. А обычай очевидно не народный. Французъ жметъ руку (*serre la main*), Англичанинъ трясетъ руку (*shake hands*), Русскій же „бьетъ по рукамъ“: но бьютъ по рукамъ не въ смыслѣ привѣтствія, а въ смыслѣ удостовѣренія. Теперь же и „жать руку“ для привѣтствія вошло или входитъ въ народный обычай, именно жать по-французски, а не трясти по-англійски; участвуютъ въ привѣтствіи конечные два сустава или даже одна кисть, а не вся рука начиная съ плеча, какъ у Англичанина. Точно также и французское „вы“ входитъ въ народъ, хотя ту же. На этотъ разъ оно есть и англійское отчасти; но Англичанинъ уже всѣмъ, даже собакамъ, говоритъ „вы“, оставляя „ты“ для торжественной рѣчи и для Бога. Въ русскомъ „ты“ есть языкъ дружбы и близости, отчасти пренебреженія; въ коренномъ же словоупотребленіи оно есть законное обращеніе ко всѣмъ безразлично. Множественное въ обращеніи къ единственному лицу и даже къ себѣ также законно, но въ смыслѣ далеко отъ французскаго, приближающемся скорѣе къ латинскому, гдѣ въ первомъ лицѣ допускается употребленіе множественнаго вмѣсто единственнаго. Русскій языкъ, примѣняя „мы“ и „вы“ къ отдѣльному лицу, указываетъ на семью, родъ, міръ, къ которому лицо принадлежитъ (таково выраженіе „нашъ братъ“), и первымъ лицомъ пользуется въ этомъ смыслѣ чаще нежели вторымъ: „мы тебѣ покажемъ“, „наше“ или „ваше дѣло пахать“. Въ отличіе отъ латинскаго словоупотребленія, сохранившагося въ высочайшихъ манифестахъ, архіерейскихъ грамотахъ и у писателей, когда они говорятъ о себѣ лично, множественное въ коренномъ русскомъ означаетъ не столько смиреніе, сколько похвалу, увѣренность въ силѣ, которая присуща однородному, сплошному множеству.

Для этнографа это замѣчаніе будетъ не лишнимъ.

Синтаксис; тамъ атрибуты дѣйствительной власти были въ рукахъ: цензорство, аудиторство, старшинство. А здѣсь „старшіе“ существуютъ только для бурсаковъ, для своекоштныхъ же лишь номинально, да и назначаются изъ воспитанниковъ высшаго отдѣленія—„богослововъ“. Цензоръ хотя есть, но безо всякой власти, почти утратилъ и названіе цензора; его именуютъ чаще журналистомъ. И назначенъ онъ, какъ и вообще назначались, изъ казеннокоштныхъ; а на грѣхъ, въ нашемъ классѣ ни одного „старого“ нѣтъ изъ казеннокоштныхъ; журналъ потому оказался въ рукахъ новичка (перваго ученика изъ „Андроньевскихъ“). Аудиторы тоже назначены; но здѣсь, не такъ какъ въ училищѣ, это учрежденіе на столько слабо, что напримѣръ я не могу даже возстановить въ памяти ни одного случая, когда бы „слушался“. Ясно, что ученики смотрѣли на аудиторство, какъ на пустую формальность, лишенную значенія. И дѣйствительно, продолжалось оно всего мѣсяца четыре, послѣ чего было совсѣмъ упразднено; да и было только для уроковъ словесности.

Тѣмъ не менѣе „старые“ держали себя высокомерно, обращались съ замѣчаніями къ молодымъ и даже держали наказывать, чему молодые безропотно покорялись.

— Ты что это развалился? Харчевня здѣсь что ли? обращается старый къ кому-нибудь, сидящему слишкомъ развязно.

— Не изволь разговаривать! обращается къ другому.— А ты это что? кричитъ на третьяго.— Скажите, каковъ! Онъ и руки на столъ! Стой за это столбомъ.

Съ такими поученіями обращались впрочемъ къ тѣмъ лишь, кто одѣтъ побѣднѣе; соображали, что неравно вскочишь на московскаго поповича; тотъ самъ дастъ сдачи, да еще пожалуется. Къ чести семинаристовъ прибавлю, что и изъ „старыхъ“ не всѣ изъявляли притязаніе на эти приемы гувернантокъ съ ихъ „tenez-vous droit“. Въ нашемъ классѣ не было даже ни одного та-

кого; потѣшались приходящіе изъ другихъ риторикъ. Можетъ-быть и по природѣ наши были скромнѣе; а можетъ быть были и умнѣе, говорило сознаніе: какими же глазами посмѣю я смотрѣть послѣ въ глаза товарищамъ? Нашими наглость оказываема была въ другомъ видѣ, и то однимъ Михайломъ Ивановичемъ Грузовымъ, о которомъ еще будетъ рѣчь далѣе. „Поди напой чаемъ“, обращается онъ къ какому-нибудь новичку, подзывая въ трактиръ. А то и крикнетъ на весь классъ: „кто, господа, хочетъ со мною въ трактиръ?“ Легковѣрные пойдутъ въ обѣденные часы и заплатятъ за него. Къ слову сказать, въ обращеніи ко множеству теперь употребляется слово „господа“, тогда какъ въ училищѣ обычнымъ призываніемъ было „братцы“ или „ребята“. Съ правомъ на рукопожатіе „братецъ“ обращался въ „господина“.

Судьба этого Грузова была особенная. Не безъ дарованій, онъ кончилъ жалко и погубила его ноздревщина, сидѣвшая въ немъ. Выйдя изъ семинаріи студентомъ, получилъ діаконское мѣсто въ Москвѣ. Пилъ, да не какъ всѣ, съ соблюденіемъ бы приличій, а шляется по трактирамъ и кабакамъ, не будучи однако пьяницей. Умеръ у него ребенокъ, и онъ съ гробомъ дитяти, по дорогѣ на кладбище, зашелъ въ подливную, не то кабакъ, подкрѣпить себя на путешествіе. Долго ли коротко ли продолжались его подвиги въ такомъ родѣ, онъ былъ разстриженъ, и кончилъ жизнь гдѣ? Въ веселомъ заведеніи или подъ заборомъ гдѣ-нибудь въ подобномъ мѣстѣ.

Черезъ недѣлю, а то и менѣе, классъ сравнялся. Осмотрѣлись, приглядѣлись, старые смѣшались съ молодыми. Не удержалась и первоначальная разсадка; каждый выбралъ себѣ мѣсто по вкусу, который опредѣлялся составленными знакомствами, а отчасти степенью прилежанія. Друзья, однокашники облюбовывали себѣ, въ числѣ трюихъ-четверыхъ, опредѣленный уголъ: балбесы удалялись въ задъ, гдѣ можно заняться болтов-

ней. Передъ оставался для болѣе внимательныхъ къ урокамъ или желающихъ выставиться.

Учебные часы остались тѣ же что въ училищѣ: тѣ же три двухчасовые класса въ день, два предъ обѣдомъ (отъ 8 до 12) и одинъ (отъ 2 до 4) послѣ обѣда; тѣ же часовые или около того отдыхи между классами. Сверхъ субботняго вечера, который былъ гулевымъ въ училищѣ, прибавилось еще два, въ понедѣльникъ и въ четвергъ. Слѣдовало ли такъ по программѣ? Сомнѣваюсь; раза два-три собирали насъ на послѣобѣденные классы по понедѣльникамъ; осталось впечатлѣніе, что одинъ изъ прогульныхъ вечеровъ есть вольность, допущенная начальствомъ.

Итакъ, въ недѣлю приходилось учебныхъ часовъ, говоря строго, всего пятнадцать съ чѣмъ-нибудь, а на каждый день кругомъ менѣе трехъ. Семинаристы не могли жаловаться на утомленіе или опасаться искривленій стана и порчи глазъ. Естественнѣе спросить: чѣмъ наполнялось столь обширное пустое время? Во первыхъ, являлись позже звонка. Въ утреннюю перемѣну бродили по корридору, по двору, завтракали. Для денежныхъ людей къ услугамъ былъ булочникъ съ хлѣбами, пирогами, вареною колбасой; къ десяти часамъ онъ являлся неизмѣнно. Менѣе достаточные, но знакомые съ бурсаками, жившими въ корридорѣ рядомъ, пользовались казеннымъ чернымъ хлѣбомъ, ломти котораго цѣлыми корзинами принашивались въ нумера къ тому же часу. Въ обѣденное время квартировавшіе вблизи кейфовали по домамъ. Но несносны были долгіе обѣденные часы для тѣхъ, которые жили въ отдаленныхъ частяхъ города и обѣдать домой не уходили. Разбредались куда-то впрочемъ и эти, часть между прочимъ по трактирамъ.

Не могу не отмѣтить странности, которая только сейчасъ всплываетъ въ памяти. Я велъ въ началѣ семинарскаго курса какую-то безплотную жизнь. Не помню, чтобы голодалъ. Вставши рано, зимой до свѣта, под-

Жрѣпивъ себя не болѣе какъ чашкой чая съ ломтемъ хлѣба, я шагаль отъ Новодѣвичьяго монастыря пять верстъ на Никольскую и до возвращенія домой въ шестомъ часу вечера не чувствовалъ позыва на пищу. Я не отказывался закусить, когда приходилось, но никогда не приходила мысль: чего бы закусить? Равнодушно смотрѣлъ, какъ уписывали другіе булку или пирогъ: примѣръ не возбуждалъ аппетита. Не очень далеко отъ семинаріи жили двоюродные братья: въ Овчинникахъ дьякономъ былъ извѣстный читателю Иванъ Васильевичъ Смирновъ, а ближе, на Ильинкѣ, дьячкомъ у Николы Большаго Креста родной его братъ Василій Васильевичъ. Хаживалъ я иногда къ нимъ въ обѣденное время и обѣдывалъ, но хаживалъ не за тѣмъ чтобы пообѣдать, а отъ скуки и просто чтобы повидать. Приходя домой, даже когда повидимому утомленіе должно было дойти до послѣдняго градуса, послѣ двѣнадцати-часоваго воздержанія и десятиверстнаго пути, я не набрасывался на пищу. Напротивъ, случалось, что заходилъ куда-нибудь еще вечеромъ, отдалялъ время обѣда еще на нѣсколько часовъ, удлинялъ свой путь еще на нѣсколько верстъ и не ощущалъ ни усталости, ни голода, ни жажды. И я былъ цвѣтущъ и живъ. Мускулы были слабо развиты, но весь дышалъ здоровьемъ; напротивъ, первую немоготу почувствовалъ именно тогда, когда поступилъ на болѣе правильную повидимому жизнь и на болѣе сытную пищу. Вспоминая индійцевъ, довольствующихся полугорстью риса и собственный опытъ, колеблюсь признать безусловную вѣрность теоріи питанія, построенной на опытахъ откармливанья живности и на аппетитѣ Джонъ-Булля.

Постная жизнь, которую я велъ, была между прочимъ причиною, что я не познакомился и съ семинарскимъ булочникомъ. А вѣроятно онъ былъ лицо, и матеріально и нравственно связанное съ семинаріей, какъ бываетъ въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ, какъ было по крайней мѣрѣ въ Коломенскомъ училищѣ, и послѣ у

Троицы, въ Академіи. Въ Коломнѣ Степанъ калачникъ, Александръ сбитенщикъ и Акулина маковница, образовавшіе постоянный рынокъ у училищнаго двора, жили, по крайней мѣрѣ первые двое, одною съ учениками жизнью: не только знали всѣхъ, но интересовались успѣхами и неудачами каждаго, проникались уваженіемъ къ отлично учащимся, панибратски - пренебрежительно обращались съ лѣвтями и тупицами, трепетали предъ экзаменами и даже помогали обманывать ревизоровъ. Задано письменное упражненіе; насланный изъ Москвы ревизоръ сидитъ въ залѣ. Но текстъ задачи спускается на ниткѣ въ окно; подъ окномъ отвязываютъ и бѣгутъ къ отцу діакону какому-нибудь, а то и священнику, и готовый переводъ несутъ чрезъ полчаса снова на училищный дворъ. Снова ниточка, и ребята пользуются услугами можетъ-быть даже неизвѣстнаго имъ сострадательнаго благодѣтеля. Кто же отвязывалъ, кто привязывалъ, кто бѣгалъ, искалъ знатока латыни? Не ученикъ: опасно и некогда. Калачникъ или сбитенщикъ платятъ своею услугою въ тяжелое время проценты потребителямъ за полученные съ нихъ барыши. А Алексѣй хлѣбникъ у Троицы былъ живою исторіей Академіи. Никто такъ твердо не помнилъ академическихъ списковъ за цѣлыя десятки лѣтъ. Какъ въ календарѣ, у него можно было справиться, кто въ какомъ году кончилъ курсъ, съ какою степенью, въ какомъ номерѣ жилъ первые два года, въ какомъ вторые; мало того, кто куда былъ назначенъ, потомъ перемѣщенъ и гдѣ теперь служить. Но участіе Алексѣя было лишь историческое и вытекало изъ основаній экономическихъ. Студентъ пользовался у него безусловнымъ кредитомъ во все время курса, доходившимъ иногда до размѣровъ учительскаго жалованья. Если не при окончаніи курса, при полученіи подъемныхъ, то послѣ, со службы, должникъ его разомъ или по частямъ очиститъ свой долгъ. Алексѣй въ это вѣрилъ и не бывалъ обманутъ; но это же и образовало изъ него ходячую лѣтопись Академіи.



Писаны повѣсти и драматическія піесы на тему о полковыхъ собакахъ, полковыхъ сиротахъ; типы няньки, дядьки исчерпаны литературой; но типъ училищнаго булочника не менѣе занимателенъ, гдѣ духовные, отчасти и научные интересы вливаются въ душу безграмотнаго торговца, сорадующагося и сострадающаго событіямъ, не имѣющимъ отношенія ни къ калачамъ, ни къ торговлѣ. Благодаря этой нравственной связи, много мнѣ въ свое время выпало угощеній и сбитнемъ и булками, угощеній совершенно безкорыстныхъ, потому что ни вреда, ни пользы не могъ я ничѣмъ оказать ни Степану, ни Александру, ни Акулинѣ.

Сохранялась въ семинаріи и простота въ расположеніи уроковъ, съ какою мы знакомы были по училищу. Предметовъ преподаванія въ риторическомъ классѣ было пять: 1) Словесность, 2) Гражданская исторія, 3) Латинскій языкъ, 4) Греческій, 5) Французскій и Нѣмецкій—тотъ или другой по произволенію. На профессорѣ словесности лежало преподаваніе и латинскаго языка.

Глубокій, глубочайшій смыслъ лежалъ въ старой школьной системѣ. Разумность поступанія въ формальномъ развитіи очевидна; но не въ этомъ одномъ ея достоинство, а кромѣ того въ сосредоточенности и полнотѣ дѣйствія, которыя предполагались въ каждомъ постепенномъ шагѣ. Три класса: риторика, философія и богословіе. Въ каждомъ по одному руководителю и по одному пособию: въ риторикѣ пособиемъ профессора словесности—преподаватель исторіи; въ философіи къ преподавателю этой науки приставленъ преподаватель математики; при профессорѣ богословія въ богословскомъ классѣ стоитъ профессоръ церковной исторіи. Сосредоточивая учащагося подъ однимъ главнымъ руководителемъ и надъ однимъ главнымъ предметомъ, каждый классъ съ тѣмъ вмѣстѣ былъ полнымъ законченнымъ курсомъ: риторика и гражданская исторія не переходили въ философскій классъ, и философія съ ма-

лись безъ слѣда, даже проходя чрезъ память учащагося.

Впрочемъ, за исключеніемъ медицины съ сельскимъ хозяйствомъ, новая программа не прибавила ничего такого, чему бы не нашлось мѣста въ старой: профессоръ Богословія въ состояніи былъ преподавать (дѣльные и успѣвали преподавать) и герменевтику, и экзегетику, и гомилетику, и притомъ въ размѣрахъ не меньшихъ чѣмъ по новому уставу; профессоръ Церковной Исторіи въ состояніи былъ сообщить (дѣльные и сообщали) свѣдѣнія по патристикѣ и археологіи. И жалости было достойно, какъ при новомъ уставѣ подавалось учащимся совершенно то же, часто до буквальности повторяющееся, подъ разными именоваціями и въ разныхъ одѣяніяхъ — богословія или экзегетики, церковной исторіи или патристики. Кромѣ разсѣянности, неизбѣжной при множествѣ предметовъ, кромѣ потери времени на повтореніе тождественныхъ положеній и на изученіе „введеній“ въ разнообразныя новыя науки, получалось еще положительное развращеніе ума. Самоважнѣйшею частію курса все-таки продолжали считаться письменныя упражненія. Преданіе объ этомъ удержалось; соблюдалось и прежнее правило, что темы для сочиненій даются по главнымъ предметамъ въ каждомъ классѣ. И это было еще спасеніемъ, что на практикѣ понятіе о задачѣ учебнаго воспитанія не затерялось; слѣдили болѣе всего все-таки за развитіемъ. Но въ примѣненіи къ новой программѣ чѣмъ эта добрая забота между прочимъ сказала? Въ бывшемъ философскомъ классѣ главнымъ предметомъ на второй годъ поставлено было Ученіе объ Отцахъ Церкви, послѣ логики со психологіей, которыя служили главными для перваго года. Легко представить себѣ разладъ, вносимый въ голову такую очередь наукъ; легко представить нескладницу, что тотъ же преподаватель, въ качествѣ главнаго наставника, присяженъ къ столь разнороднымъ предметамъ, и легко представить развращеніе молодаго ума, обязаннаго писать разсужденія объ особенностяхъ того

и другаго Отца или о значеніи того и другаго творенія отеческаго, когда все свѣдѣніе объ Отцѣ ограничивается заученнымъ рукописнымъ полулистикомъ, со-общающимъ сухой перечень заглавій и два, три болѣе или менѣе короткія изреченія. Благодареніе судьбѣ, меня миновала эта бѣда: такъ какъ происходилъ самый переломъ программы, то патрологію не успѣли ввести тогда въ философскій классъ и возвыситъ въ чинъ главной науки; я слушалъ ее уже въ богословскомъ классѣ, и значилась она не главнымъ, напротивъ, едва не послѣднимъ предметомъ, а потому отъ обязанности самобыслышленныхъ мудрованій надъ историческими темами Богъ меня миловалъ.

Риторическій классъ, какъ сказалъ я выше, считался въ старину послѣднею стадіей формальной зрѣлости; изъ него поступали уже въ университетъ между прочимъ. Такъ было въ Славяно-Греко-Латинской Академіи; такъ продолжалось и въ семинаріи до тридцатыхъ годовъ. Риторы поэтому не считались мальчиками. Въ мое время прямой переходъ изъ риторическаго класса въ университетъ былъ затрудненъ, но по преданію, съ нами обращались почти какъ съ взрослыми. Объ училищныхъ наказаніяхъ въ родѣ сѣчень или колѣнопреклоненія не было помини. Хотя между семинаристами было сознаніе, что риторовъ можно сѣчь, и ходили слухи, что послѣ экзаменовъ призываютъ учениковъ дурно себя ведущихъ въ правленіе и тамъ ихъ сѣкутъ, но не припомню ни одного опредѣленнаго случая въ этомъ родѣ во все свое двухлѣтнее пребываніе въ риторическомъ классѣ. Болѣе обыкновеннымъ наказаніемъ для провинившихся было „сажанье за голодный столъ“ въ бур-сакской столовой; существовалъ карцеръ; но примѣненія были рѣдки во всякомъ случаѣ. Большинство профессоровъ даже съ нами, риторами, обращались на „вы“. Право единственнаго числа оставалось за ректоромъ и инспекторомъ по отношенію къ учащимся всѣхъ классовъ, и за главными наставниками по отношенію къ

риторамъ. Завелось это само собою, безъ понуждений и программъ. На говорившихъ „ты“ ученики не обижа-лись, вѣжливымъ съ собою обращеніемъ не кичились. Бывало, что въ томъ же классѣ и тотъ же преподава-тель обращается къ одному съ „ты“, къ другому съ „вы“, и выходило естественно, не возбуждая удивленія. Разница обращенія вызывалась неодинаковою заслугой учащагося и молча всѣми признавалась.

О дисциплинѣ, господствовавшей въ семинарской бур-сѣ, не имѣю понятія. Но кромѣ казеннокоштныхъ, по-мѣщавшихся въ самомъ зданіи семинаріи, семинаристы располагались общежитіями въ двухъ монастыряхъ, да-вавшихъ даровое помѣщеніе (Богоявленскомъ и Злато-устовскомъ), и въ такъ-называемомъ Остермановомъ до-мѣ. Это былъ домъ за Каретнымъ рядомъ, купленный Коммиссіей Духовныхъ Училищъ у наслѣдниковъ графа Остермана и назначенный для сооруженія новой семи-наріи. Въ періодъ стройки одинъ изъ старыхъ флиге-лей отдавался на житье семинаристамъ. Тамъ, какъ и въ двухъ поименованныхъ монастыряхъ, они вели свое хозяйство, то-есть нанимали повара и покупали прови-зію. Порядки были въ родѣ училищныхъ: тѣ же „стар-шіе“, та же невообразимая грязь и бѣдность, предъ ко-торыми самая бурса, нумера казеннокоштныхъ, могла казаться роскошью. Тутъ было свѣтло и по возможно-сти чисто; постели опрятны до извѣстной степени. А бывалъ я въ общежитіи Богоявленскаго монастыря: ниж-ній этажъ, низкія комнаты, почти нѣтъ свѣта, воздухъ нестерпимый, почти то же что въ Коломенской бурсѣ. Навѣдывались между тѣмъ по временамъ субъ-инспек-торы, и крошечку прибавить заботы о чистотѣ ничего бы не стоило. Но не ощущали въ ней потребности ни-подчиненные, ни начальство.

Надъ своекоштными, разсѣянными по одиночнымъ квартирамъ и родительскимъ домамъ, надзора не было никакого, хотя и числились по городу „старшіе“. Свое-коштные были вольныя птицы.

## XXXVI

## И с п ы т а н і е.

Когда это произошло? Черезъ недѣлю послѣ первоначальной нашей разсѣдки или раньше? Что вообще происходило въ первые дни, какъ явился къ намъ одинъ профессоръ и другой профессоръ, о чемъ они говорили, какіе уроки намъ были заданы, съ чьей тетради я списывалъ учебникъ словесности и даже списывалъ ли, гдѣ добылъ учебникъ Кайданова по всеобщей гражданской исторіи и даже обладалъ ли этою книгой, какъ и гдѣ училъ уроки, какъ и у кого „слушался“ — все затмилось. Какъ будто аудиторомъ былъ Солнцевъ, уже взрослый малый, брившій бороду, бѣлокурый, со звонкимъ голосомъ, позволявшимъ ему отвѣчать уроки по исторіи съ особенною отчетливостью звуковъ, отчеканивать. Такъ темно припоминается все, что не вполне рѣшались себя довѣрить. Яснѣе помню, какъ вошелъ къ намъ лекторъ греческаго языка (преподавателями греческаго и французскаго съ нѣмецкимъ были въ низшемъ отдѣленіи лекторы, ученики богословія). Помню, что это было въ утренній классъ, да и то удержалось въ памяти лишь по особенной искривленной улыбкѣ, которая свойственна была лектору и которую я тотчасъ же, при первомъ разѣ, замѣтилъ, удержалъ въ памяти и доселѣ живо представляю. Помню еще приходъ инспектора, іеромонаха Евсевія (скончавшагося архіепископомъ Могилевскимъ, кажется, въ прошломъ году). Приходилъ онъ предъ тѣмъ, какъ мы должны были объявить, кому изъ языковъ кто изъ насъ желаетъ учиться, французскому или нѣмецкому. Что-то онъ говорилъ, кажется, о новыхъ языкахъ вообще и повидимому рекомендовалъ нѣмецкій на томъ основаніи, что нѣмецкая литература обилуетъ учеными книгами. Но все это „по-

видимому“, „кажется“ и „будто“. Помню еще, и это достоверно, что собирались деньги (отъ меня ничего не сошло) на покупку книгъ для ученическаго чтенія; что куплены были *Часы Благоуговѣнія* и сочиненія Жуковскаго. Это было тоже въ первое время, но когда именно, о томъ не помню. Множество мелочей изъ коломенской, болѣе ранней жизни ясны въ памяти, а семинарскій періодъ и самое его начало, которое, казалось бы, должно всего неизгладимѣе запечатлѣться по рѣзкости перехода, тускло мерцають.

Бралъ ли я *Часы Благоуговѣнія*? Кажется нѣтъ, и если бралъ у кого-нибудь на посмотрѣніе въ теченіе четверти часа, то читать навѣрное болѣе двухъ-трехъ страницъ не читалъ. Еще не кончился тотъ періодъ, когда разсужденія и чувствованія въ книгахъ вообще мною пропускались.

Почему избралъ я французскій языкъ, а не нѣмецкій? Это помню. 1) Потому что присовѣтовалъ братъ, самъ учившійся хотя по-нѣмецки, но недовольный этимъ. Незнаніе французскаго языка особенно давало ему чувствовать свою невыгоду въ то время, когда онъ жилъ у Кирѣевскихъ, гдѣ семейство и все знакомое общество преимущественно объяснялись по-французски. 2) Я уже начиналъ учиться самоучкой французскому, переписалъ собственноручно правила произношенія, составленныя знакомымъ брата І. И. Горлицынымъ и заучилъ наизусть исключенія изъ правилъ. 3) Мнѣ претила нѣмецкая печать: какія-то каракули, „тараканьи ножки“, какъ я ихъ тогда называлъ. Каждая буква казалась настыкомымъ и возбуждала омерзѣніе, которое усилилось тѣмъ болѣе въ послѣдствіи, когда товарищи показали мнѣ письменное начертаніе буквъ. Искусственность начертанія, удаленіе отъ ясной простоты латинскаго меня возмущали. И не предполагалъ я, что будетъ чрезъ шестъ лѣтъ со мною! Положимъ, съ азбукой нѣмецкою я до сихъ поръ не примирился, но никакъ не могъ я ожидать, чтобы полюбить въ послѣдствіи литературу

нѣмецкую и возчувствовалъ наоборотъ безгливость ко французской.

По отношенію къ описываемому періоду жизни вообще я нахожу себя въ положеніи археолога, который по сохранившимся обломкамъ и отрывкамъ пытается угадать утратившіяся части и сравнительнымъ путемъ опредѣляетъ хронологическую данную, въ лѣтописяхъ умолчанную. Когда я напримѣръ въ гротѣ Александровскаго сада встрѣтилъ Француза-путешественника, заинтересовавшагося книжкой, бывшей у меня въ рукахъ, и записавшаго ея заглавіе? Въ какомъ году это было, 1839, 1840 или 1841? Начинаю соображать время года, часъ дня и по этимъ и другимъ признакамъ опредѣляю первоначально, когда этого не могу быть. Отсюда уже, по соображенію другихъ обстоятельствъ, прихожу къ достовѣрному заключенію, что происшествіе случилось въ августѣ 1841 года. Такимъ-то образомъ возстановляю и всю исторію шести лѣтъ, но возстановляю притомъ не самое пребываніе въ семинаріи, а обстоятельства внѣшнія, современные семинаріи, и по нимъ уже семинарію. Отъ того это, полагаю я, что семинарія во внутреннемъ моемъ ростѣ мало участвовала; онъ былъ плодомъ внутренней работы. Развѣ я училъ уроки? Никогда. Развѣ я слушалъ профессоровъ? Я болѣе надъ ними смѣялся; а начиная со средняго отдѣленія (философіи) только и зналъ, что смѣялся, смѣялся внутренно и критиковалъ ихъ въ товарищескихъ бесѣдахъ, подцѣплялъ ошибки, уличалъ невѣжество (не въ глаза конечно). Когда прохожденіе курса оказывалось только внѣшнимъ прикосновеніемъ къ нему, онъ и не могъ оставить глубокаго слѣда: пренебреженіе сказалось забвеніемъ.

Но свѣжо помню обстоятельство первыхъ дней риторическаго курса, озаглавленное выше словомъ „испытаніе“. Чрезъ недѣлю ли послѣ поступленія, раньше ли, позже ли это случилось, профессоръ словесно-

Невыразимое смущеніе чувствовалъ я, видя поднятыя на меня всѣми глаза при восклицаніи наставника.

Еще день прошелъ, или два, или три, не помню. Дошла рѣчь въ риторикѣ до періодовъ. Всѣ періоды были для меня лапотъ простой послѣ прошлогоднихъ упражненій. Даны профессоромъ объясненія, болѣе или менѣе обстоятельныя, указаны примѣры, выучены другіе примѣры по учебнику, и задано было *первое* сочиненіе—періодъ простой на тему „Благочестіе полезно“. Растолковано.

Періодъ, да еще простой! Какъ-то даже стыдно руки марать такою бездѣлицей. Передаю брату. Совѣтуемся: что бы написать? Не періодъ же простой. Я рѣшилъ и братъ одобрилъ написать *Разговоръ о пользѣ благочестія*. Написалъ безъ труда; показалъ брату; братъ поправилъ кое-гдѣ (болѣе повычеркнулъ казавшееся ему лишнимъ). Переписываю и подаю на утро, не увѣренный еще однако, что одобрительно посмотрятъ на мою вольность. Вѣрно *періодъ*, а я пишу *разговоръ*! Успокаивало только памятное воззваніе: „уважайте“. Снизойдутъ по крайней мѣрѣ, не будетъ выговора; а въ то же время покажу, что могу кое-что и болѣе нежели періодъ.

День или два еще прошло. Профессоръ приноситъ въ классъ мое сочиненіе, читаетъ въ слухъ, подвергаетъ рецензіи учениковъ. Ученики не въ состояніи ее дать; одинъ изъяснилъ сомнѣніе въ подлинности, но профессоръ поддержалъ меня, удостовѣрилъ, что сочиненіе не могло быть списаннымъ, и возвратилъ мнѣ мое писаніе съ надписью: „Отлично хорошо; сочиненіе это свидѣтельствуетъ о необыкновенныхъ дарованіяхъ сочинителя“.

Этотъ опытъ „необыкновенныхъ“ дарованій моихъ сохранился у меня. Какъ-то просматривалъ я его и раздумывалъ: что же такого необыкновеннаго показалось незабвенному Семену Николаевичу? Безошибочное правописаніе, такъ; складная рѣчь, но и все. Между тѣмъ дѣтски, пошло, мыслишки ходячія, общія мѣста. Не



обыкновенно было среди другихъ; но то ихъ было несчастье или мое особенное счастье, что я уже наметался въ письмѣ, пропасть читалъ, а они лишены были этого; но это еще не дарованіе! Спрашивалъ я себя: какой отзывъ я бы написалъ, когда бы по окончаніи академическаго курса пришлось мнѣ сѣсть за профессорскій столъ по классу словесности, и вмѣсто заданнаго періода простаго поданъ бы мнѣ былъ новичкомъ ученикомъ именно этотъ самый Разговоръ? Правда, я этой темы бы и не далъ ученикамъ для перваго раза, а придумалъ бы болѣе конкретную; но какой отзывъ мною былъ бы данъ? Затрудняюсь сказать; во всякомъ случаѣ похвала была преувеличенная.

Заданъ былъ и еще періодъ на тему: „Полезно читать книги“, и я снова написалъ Разговоръ и снова получилъ отличное одобреніе. Снова періодъ, темы не помню: я пишу на нее Письмо. Идутъ своимъ чередомъ изустные экспромпты, русскіе и латинскіе; въ нихъ я уже не мудрилъ, но отвѣчалъ, разумѣется, безукоризненно. Такъ прошли недѣли двѣ или три, едва ли больше, скорѣе менѣе, когда пришлось перенести испытаніе уже въ другомъ смыслѣ. Профессоръ захворалъ, а черезъ нѣсколько дней, едва ли даже недѣля прошла, объявлено, что Семенъ Николаевичъ умеръ; насъ приглашаютъ на панихиду, а потомъ на похороны, ради которыхъ и класса въ этотъ день не будетъ. Большинство ребятъ можетъ-быть порадовалось даже такому неожиданному случаю вакаціи среди учебнаго времени. Но глубоко было мое горе: я пораженъ былъ едва ли даже меньше, нежели молодая оставшаяся вдова Орлова, не наслаждавшаяся и года супружескимъ счастьемъ. Помню октябрьскій день похоронъ: грязь и снѣгъ хлопьями; ни въ домъ, ни въ церковь (Девяти Мучениковъ подъ Новинскимъ, гдѣ покойный жилъ у тестя протоіерея) проникнуть нельзя; распорядительности не хватило облегчить ученикамъ доступъ къ прощанью. Унылый я возвратился къ себѣ подъ Дѣвичій, и душа по-

просила излить свои чувства. Еслибы я владѣлъ стихомъ, то плодомъ моихъ чувствъ было бы стихотвореніе. Я написалъ письмо къ вымышленному другу. Оно не сохранилось, но вѣроятно было не дурно, хотя зять мой, мужъ моей старшей сестры, прочитавъ чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ это мое произведеніе, нашелъ, что оно не довольно пламенно. „Нѣтъ Агатона, нѣтъ моего друга!“ продекламировалъ онъ изъ Карамзина. „Вотъ какъ слѣдовало бы начать!“ Замѣчаніе подѣйствовало на меня непріятно, какъ профанация чувства, которое было искренно, свято, глубоко и не нуждалось въ риторическихкихъ прикрасахъ.

Низведеніе калифа на часть въ простые смертные, таково стало мое положеніе послѣ потери профессора. Я опять новичекъ изъ Коломенскаго училища, обязанный зарекомендовывать себя среди другихъ. Притомъ наступило междуцарствіе; впредь до новаго профессора къ намъ ходилъ временно преподаватель изъ другаго класса. Душа его къ намъ, пасынкамъ, не могла лежать; онъ долженъ былъ отнестись къ намъ небрежно. И дѣйствительно, сочиненія подаваемые ему не сдавались обратно; не всѣ онъ ихъ и читалъ, въ чемъ я удостоверился, когда мнѣ отданы были мои послѣ. Затѣмъ самъ онъ былъ новичекъ, только-что сошедшій съ академической скамьи. Онъ еще не приметался къ дѣлу; его можно было морочить, и его морочили. Помянутый въ предшедшей главѣ Грузовъ не давалъ ему отдыха своими вопросами, возраженіями, разсужденіями. То и дѣлывставалъ Михаилъ Ивановичъ, прерывалъ профессора. завязывалась между нимъ и профессоромъ бесѣда.

„Прерывалъ профессора...“ Читатель можетъ недоумѣвать. Въ объясненіе напому о диспутахъ, которые въ академическія и первыя семинарскія времена были существенною частью преподаванія (въ высшихъ классахъ). Обычай правильныхъ диспутовъ съ официальными оппонентами и дефендентами прекратился, но осталось право, никѣмъ не выговоренное и нигдѣ не писанное,

возражать на преподаваемое, предлагать недоумѣнія. Преподаватель обращался въ дефендента, и завязывалось подобіе диспута. Немногіе изъ учащихъ прибѣгали къ этому способу, не всѣ преподаватели съ одинаковою охотой его допускали, но никто не находилъ въ немъ нарушенія учебной дисциплины. Естественное желаніе учащагося глубоко и основательно усвоить уроки; законна обязанность преподавателя идти любознательности на встрѣчу. Грузовъ воспользовался обычаемъ, и видя неопытность профессора пускалъ пыль въ глаза. На меня нагналъ онъ нѣкоторый даже страхъ; пренія происходили не далѣе какъ о какихъ-нибудь періодахъ или состояли въ разборѣ какого-нибудь примѣра на правило, приведенное въ учебникъ; но Грузовъ употреблялъ ученые термины, заносился въ философію, и я смирялся, не догадываясь о шарлатанствѣ. Не догадывался и добродушный И. А. Бѣляевъ, временный преподаватель словесности, и пускался въ западню, которую подставлялъ ему ученикъ, держа высокую рѣчь.

Такъ прошло до Святковъ. Задаванье письменныхъ упражненій и изустныхъ экспромптовъ шло своимъ чередомъ; къ послѣднимъ прибѣгалъ Бѣляевъ впрочемъ не часто и преподавалъ вообще вяло. Не помню, дошли ли мы къ Святкамъ до хрій, но я на заданныя для періодовъ темы писалъ и періоды и хріи и даже маленькія разсужденія, хотя называлъ ихъ хріей. Наступили экзамены, составлены списки; по словесности Грузовъ-диспутантъ былъ поставленъ первымъ, Страховъ (первый изъ „старыхъ“) — вторымъ, я — третьимъ. По исторіи я значился вторымъ, а первымъ Солнцевъ, мой аудиторъ; ему доставилъ первое мѣсто звонкій голосъ и умѣнье съ толкомъ читать, а мнѣ второе мѣсто должно-быть дано за сочиненіе на тему „Леонидъ при Термопилахъ“, заданную профессоромъ исторіи. Какимъ значился я въ греческомъ и во французскомъ классѣ, не помню; да едва ли даже тогда интересовался знать;

успѣхъ и неуспѣхъ по этимъ двумъ предметамъ ни во что не считался тогда. А по одному письменному упражненію (переводъ съ греческаго и французскаго) было дано и лекторами, и эти переводы должно-быть послужили къ опредѣленію моихъ знаній, потому что изустныхъ переводовъ отъ меня во весь семестръ почти не спрашивали; не осталось по крайней мѣрѣ въ памяти ни одного случая.

Не помню я, какъ и экзаменъ прошелъ, кто насъ экзаменовалъ и въ какой залѣ. Экзаменовалъ непременно ректоръ, и эта первая встрѣча лицомъ къ лицу съ главнымъ начальникомъ заведенія должна бы оставить впечатлѣніе; но оно вылетѣло изъ головы. Должны бы первые экзамены запечатлѣться и потому еще, что здѣсь, не какъ въ училищѣ, вызывали на экзаменъ не всѣхъ по каждому предмету. И эта черта вообще замѣчательна: чѣмъ далѣе мы продвигались въ семинаріи, тѣмъ менѣе полны становились испытанія; они производились внимательно только по первостепеннымъ предметамъ; по второстепеннымъ же, особенно третьестепеннымъ, спросятъ пятерыхъ, шестерыхъ на выдержку, и только. Отъ перваго семинарскаго экзамена остался у меня въ памяти однако экзаменаторъ по французскому классу, профессоръ А. Θ. Кирьяковъ. Онъ поразилъ меня своимъ изящнымъ видомъ, красивымъ лицомъ, ослѣпительно чистымъ бѣлымъ при черномъ фракѣ и чрезвычайно деликатнымъ, вѣжливымъ обращеніемъ. Внѣшностью онъ рѣзко выдѣлялся изъ среды своихъ товарищей, и это помогло первой встрѣчѣ моей съ нимъ удержаться въ моей памяти.

Къ Святкамъ профессоромъ словесности на мѣсто умершаго С. Н. Орлова назначенъ Н. И. Надеждинъ, здравствующій доселѣ въ санѣ московскаго протоіерея. Въ первый же классъ по своемъ поступленіи онъ произвелъ намъ испытаніе (это было уже послѣ Святковъ), задалъ письменный экспромптъ, не помню на какую тему. Тема была на латинскомъ языкѣ; я написалъ *chriam*

ordinatam и заслужилъ отзывъ *calde bene*. Этотъ ли опытъ, другія ли сочиненія, которыя подавалъ я не-утомимо и на заданныя и на произвольныя темы, устные ли отвѣты привлекли на меня вниманіе, я къ слѣдующему семестральному экзамену, предъ вакаціей, поставленъ былъ первымъ, и это мѣсто почти безъ прерыва потомъ сохранилось за мною до окончанія курса. Прочіе профессора обыкновенно принимали за основаніе въ своихъ спискахъ списокъ, составленный главнымъ наставникомъ, и лишь слегка видоизмѣняли его, сообразно своимъ наблюденіямъ по своему предмету преподаванія. Такимъ образомъ первенство по словесности отразилось первенствомъ почти по всѣмъ остальнымъ классамъ и наукамъ и на весь семинарскій курсъ. Въ первый семестръ богословскаго класса я оказался вторымъ; поступили мы изъ двухъ параллельныхъ отдѣленій Философіи, и я изъ втораго отдѣленія. Но первенецъ перваго отдѣленія во второй же семестръ вышелъ изъ семинаріи, поступилъ въ университетъ, и первенство снова перешло ко мнѣ.

## XXXVII.

**Уровень преподаванія.**

Пробѣгаю мысленно весь шестилѣтній семинарскій курсъ и напрягаюсь опредѣлить: что мнѣ онъ далъ, на много ли и въ какой послѣдовательности распространялъ мои знанія и возвышалъ развитіе? Безплодно стараніе. Развитіе шло помимо аудиторій и отчасти вопреки имъ; тетрадки и книжки, служившія учебниками, часто возбуждали мысли въ обратную сторону своею неудовлетворительностію, а какъ эмпирическій матеріалъ свѣдѣній могли быть исчерпаны въ день, въ два,

въ недѣлю. Преподаватели были посредственные, а по второстепеннымъ предметамъ, можно сказать, совсѣмъ даже не было преподаванія. Преподаватели ходили для формы, для формы сидѣли ученики за скамьями; для формы спрашивали и отвѣчали; экзамены и тѣмъ болѣе были формою, да ихъ почти и не производилось. Большая часть преподавателей сами не знали своего предмета, сами должны были ему учиться; но даже и не учились, а довольствовались тѣмъ, что добывали академическія лекціи, сокращали и стряпали учебникъ, не заботясь далѣе ни о чемъ. Да и почему иначе? Назначенъ на кафедру безъ свѣрки о томъ, приготовленъ ли къ своему предмету; и притомъ сегодня преподаетъ гомиетику и греческій языкъ, или математику и Священное Писаніе, а завтра „Психологію и соединенные съ оною предметы“. Не правда ли, какъ мило это наименованіе, вошедшее въ официальное употребленіе? „Психологія и соединенные съ оною предметы“ могли означать разное: психологію и патрологію, или психологію, патрологію и еврейскій языкъ, и наконецъ что угодно: „соединеніе съ оною предметовъ“ опредѣлялось не внутреннею связью наукъ, а предѣлами, въ какихъ представлялось удобнымъ распределить кафедры по количеству учебныхъ часовъ и наличности преподавательскихъ силъ.

По старой программѣ не только ученикъ, но и учащій былъ сосредоточенъ; каждый наставникъ вѣдалъ одну науку, и лишь языки были придаткомъ; но изъ тѣхъ по крайней мѣрѣ латинскій не былъ внѣ связи съ главнымъ занятіемъ профессора, потому что уроки риторики и философіи, съ которыми соединялось преподаваніе латинскаго языка, давались на латинскомъ же. Только греческій, еврейскій и новѣйшіе оставались внѣ связи съ наукой, которую преподавалъ профессоръ; ихъ преподаваніе возлагалось на наставниковъ исторіи и математики, и это послужило къ упадку языкознанія. Но предполагалось, что съ языками (за исключеніемъ еврейскаго и новыхъ) вполне ознакомлены ученики уже

до семинаріи. И въ самомъ дѣлѣ, развѣ четырехъ лѣтъ, и почти даже пяти, исключительно посвященныхъ древнимъ языкамъ и болѣе ничему, недостаточно для полного ихъ усвоенія? Въ семинаріи оставалось бы только объяснять авторовъ исторически и критически. На дѣлѣ выходило однако, что латынью занимались спустя рукава, а изученіе греческаго языка шло попятно: выходившій изъ семинаріи зналъ слабѣе, нежели выходившій изъ училища. Было бы иное, когда бы главная наука брала у греческаго языка постоянный матеріалъ и ссылалась бы на него; напримѣръ профессоръ логики на Аристотеля, а профессоръ богословія приводилъ бы тексты на греческомъ. Съ еврейскимъ и новыми языками было еще хуже: то были предметы совсѣмъ отлетные, и преподаватели ихъ, за ничтожными исключеніями, сами были круглые невѣжды. Профессоровъ даже греческаго языка ученики иногда останавливали и поправляли, а одинъ преподаватель обезсмертилъ себя слѣдующимъ собственнымъ разсказомъ. „Зачѣмъ ты слушаешь подсказовъ?“ замѣчаетъ онъ экзаменуемому ритору (въ качествѣ профессора онъ экзаменовалъ, преподавателемъ былъ лекторъ). „Могутъ подсказать тебѣ на смѣхъ. Когда я въ семинаріи учился, было такъ. Ученикъ не зналъ даже что значить γάρ. Ему подсказываютъ: γάρ—ибо, а я *отвѣчаю*: γάρ—рыба“. И „γάρ—рыба“ оказался профессоромъ греческаго языка!

Послѣ преобразованія языки еще ниже упали, задавленные многопредметностью; еврейскій же съ французскимъ и нѣмецкимъ совсѣмъ отставлены, исключенные изъ числа обязательныхъ предметовъ. Упали и бывшіе второстепенные—исторія и математика. Оставаясь второстепенными въ курсѣ, онѣ сохраняли прежде главное значеніе по крайней мѣрѣ для самого преподавателя. Теперь же каждому, сверхъ уроковъ по языку, пристегнуто было еще по одному или нѣскольку предметовъ, равноправныхъ и съ исторіей и съ математикой, и даже важнѣйшихъ, въ родѣ Священнаго Писанія. Къ

— Вы заключаете вѣрно, отвѣчалъ я. — Прямызна строкъ произошла случайно, оттого что я писалъ записку на подоконникѣ въ швейцарской, стоя. А когда я пишу за столомъ и сидя, строки у меня дѣйствительно выходятъ съ прогибомъ въ серединѣ.

Итакъ, соотношеніе существуетъ, хотя законъ не изслѣдованъ. Какъ въ почеркѣ, такъ и въ наружномъ видѣ изданія отражается и умъ, и характеръ, и вкусы; почему знать—можетъ-быть даже наружный видъ автора и издателя, какъ бѣлокурые волосы въ почеркѣ (ихъ угадывалъ Чижевъ). Я наблюдаю, что есть книги, глупыя на видъ. Къ нѣкоторымъ питаю антипатію, независимо отъ ихъ содержанія. Книгопродавцы, букинисты въ особенности, обладаютъ даромъ угадывать внутреннее достоинство книги по наружности: повертеть, посмотреть, перелистуетъ, не читаетъ, какъ не читалъ и Чижевъ студенческихъ сочиненій,—и произнесетъ приговоръ, не о виѣшнемъ видѣ книги, а объ ея успѣхѣ въ публикѣ, объ ея содержаніи, въ общественное значеніе котораго какъ-то проникаетъ, не давая себѣ отчета, чрезъ наружность книги.

Учебники алгебры и геометріи, употреблявшіеся въ семинаріяхъ, казались мнѣ глупыми на видъ, и я не могъ съ ними помириться. Возьму, начну читать, углубляться,—нѣтъ, противно: и форматъ будто глупый, и шрифтъ нескладный, и строки смотрятъ неуклюже; самое изложеніе отъ того ли казалось неудовлетворительнымъ или дѣйствительно было не завлекательно; я бросалъ книгу. Взялся я за математику, но уже когда увидалъ *Энциклопедію* Перевощикова. Книжки смотрѣли умильно, ласково, смышлено, не отталкивало отъ нихъ, и я охотно за нихъ засѣлъ.

Большинство духовно-учебныхъ книгъ и даже вообще казенныхъ учебниковъ страдаютъ неприглядностью, и причина для меня ясна: души не приложено къ изданію; не самъ авторъ издаетъ; не книгопродавецъ, который смотритъ на книгу все-таки какъ на родное



дѣтище и наряжаетъ ее въ то, что ей къ лицу. Не заинтересованный факторъ казенной типографіи равнодушно опредѣляетъ форматъ и шрифтъ, и выйдетъ она изъ типографіи, а потомъ изъ переплетной, съ безмысленнымъ, нисколько не интереснымъ видомъ.

Были у насъ профессора, которые служили для всѣхъ учениковъ вѣчнымъ посмѣшищемъ, а одинъ преподавалъ цѣлый годъ даже главную науку. Его не уважали, не слушали; когда онъ рассказывалъ что-нибудь въ классѣ, казавшееся ему смѣшнымъ, слушатели хохотали, но не содержанію разсказа, а усилію разсказчика сказать острое и занимательное, выходившее на дѣлѣ и тупымъ и скучнымъ. Одинъ изъ учениковъ, большой лицедей, передразнивалъ искусно и походку и рѣчь презираемаго профессора, садился за столъ, вызывалъ учениковъ, дѣлалъ замѣчанія. Такъ было похоже, что хохотали до истерики. Объ этомъ несчастномъ педагогѣ можетъ дать понятіе случай, касавшійся меня. Въ первое же посѣщеніе класса онъ вызвалъ меня: *Аикита* (вмѣсто Никита) *Гиляровъ*! Не разобралъ сердечный и не сообразилъ. Похвалой этого профессора не дорожили и замѣчаніями пренебрегали.

Какое зрѣлище представлялъ классъ, когда шла лекція подобныхъ, нелюбимыхъ наставниковъ! Особенно безобразіемъ отличались въ такихъ случаяхъ послѣобѣденные классы. Потому ли что утомленное утренними занятіями вниманіе (хотя казалось бы чѣмъ же?) требовало отдыха и душа просила распахнуться?

Темно; классъ въ нижнемъ этажѣ со сводами; окна смотрять въ близкую стѣну. Сидятъ философы и ведутъ оживленный разговоръ въ полголоса; жужжаніе идетъ по классу. Профессоръ спрашиваетъ ученика, тотъ отвѣчаетъ, но за говоромъ не слышно. Отвѣчающій возвышаетъ голосъ, но и вся бесѣдующая аудиторія возвышаетъ голосъ, и такъ продолжается въ перегонки.

службу, и мы перешли на руки бездарному и презираемому „Алкитъ“, а на второй годъ къ чesавшемуся и цыкавшему Холмогорову. О богословскомъ классѣ скажу особо. И такъ, семинарія дала только посредственные учебники, большею частію рукописные. Большинство ихъ я не списывалъ; нѣкоторые, напримѣръ Алкиты, котораго называли также почему-то „Валуемъ“ и „Вахлюхтеромъ“, хромали даже грамотностью. Умозаключеніе напримѣръ опредѣлялось, помнится, такъ: „умозаключеніе есть такая форма мышленія, въ которомъ такъ какъ одно сужденіе полагается, то“ и проч. Но учебникъ вообще имѣетъ значеніе только при учителѣ; онъ долженъ быть справочною книгой, только; безъ живаго слова, чтѣ же онъ для развитія и для образованія вообще? Къ чему тогда и школа? Учебники составлялъ я и самъ, и особенно въ среднемъ отдѣленіи, передѣлывалъ, частію сокращалъ, частію дополнялъ. Такъ я составилъ Библейскую Исторію, Русскую Гражданскую Исторію, Логикъ и Психологію. Въ богословскомъ классѣ подобнымъ же образомъ обрабатывалъ Русскую Церковную Исторію. Но эта работа была самоученіемъ, къ которому семинарія призывала только тѣмъ, что сама ученія не давала по безалаберности программы и недостатку учителей.

Не имѣю понятія, какъ учили и учатъ въ гимназіяхъ, кадетскихъ корпусахъ, институтахъ и проч. Но мнѣ предносится типъ преподаванія, можетъ-быть и нигдѣ не существующій, но единственный заслуживающій одобренія: урокъ долженъ быть такъ преподанъ, чтобы по выходѣ изъ аудиторіи не наступало надобности заглядывать въ книгу. Богословское преподаваніе ректора Іосифа, котораго я слушалъ полгода въ высшемъ классѣ, было таково. Оно было не безъ недостатковъ, но за нимъ было то неоцѣнимое достоинство, что между слушавшими его не было ни первыхъ, ни послѣднихъ по успѣхамъ; всѣ знали преподанное одинаково твердо, первые и послѣдніе, и узнавали не послѣ, а

именно въ моментъ преподаванія. Правда, такъ преподавать требуетъ подвига. Но безъ того что же преподаватель? Заслуживаетъ ли своего наименованія учитель, ограничивающій педагогическую дѣятельность свою механизмомъ выслушиванія уроковъ и счета балловъ?

## XXXVIII.

## П у т е ш е с т в і я

Семинарскій курсъ мой правильнѣе было бы назвать семинарскимъ моціономъ, потому что, въ первые по крайней мѣрѣ четыре года, столько же времени употреблялось ежедневно на ходьбу, сколько на пребываніе въ классѣ. Менѣе трехъ часовъ въ день для класса; но отъ Дѣвичьяго до Никольской ходьбы часть съ хвостикомъ, оттуда столько же; затѣмъ обѣденное время, проводимое большею частію въ ходьбѣ же. Я такъ привыкъ къ пѣшехожденію, что разъ напримѣръ проводилъ товарища отъ семинаріи до Спаса-во-Спасской за Сухаревой Башней и оттуда, не передохнувъ, поворотилъ подъ Дѣвичій. Это было для меня—„завернуть по дорогѣ“. Однообразіе пути надоѣдало, и я выбиралъ намѣренно длинную дорогу: то пойду по Воздвиженкѣ на Арбатъ, и оттуда выйду на Дѣвичье Поле черезъ Плющиху, или чрезъ Саввинскій переулокъ; то отъ Пречистенскихъ Воротъ направлюсь по Остоженкѣ и чрезъ Хамовники доберусь до Дѣвичьяго задами. Было, что я выбралъ путь чрезъ Якиманку, дошелъ до Нескучнаго Сада, погулялъ тамъ, спустился, на лодкѣ переплылъ Москву-рѣку и огородами пробрался домой. Помню, эта прогулка совершена въ четвергъ или въ понедѣльникъ, когда не было послѣобѣденныхъ классовъ.

А и надоѣдало это однообразіе! Вѣчно одною и тою же дорогой, однимъ и тѣмъ же полемъ, гдѣ ничто не развлекаетъ, тою же правою стороною Пречистенки, гдѣ каждый домъ давно извѣстенъ, гдѣ проходя мимо дома Всеволожскихъ неизмѣнно чувствуешь подвальный холодъ изъ нижнихъ оконъ (съ 1812 года домъ стоялъ не отстроеннымъ); выше, за Пречистенскими Воротами, на такъ-называемой теперь Волхонкѣ, нѣсколько останавливали вниманіе работы по сооруженію Храма Христа Спасителя. Онъ выросъ на моихъ глазахъ. На моихъ глазахъ ломали Алексѣевскій монастырь; на моихъ глазахъ рыли и выкладывали фундаментъ. Какая глубокая яма! Люди внизу представляются карликами. И какъ красиво бутятъ! По залитому известкою слою танцевать можно. Я былъ зрителемъ торжества закладки; конечно лицезрѣлъ Вильгельма, теперешняго императора Германскаго, то-есть я ихъ всѣхъ видѣлъ, но не умѣлъ назвать никого кромѣ государя Николая Павловича и Паскевича. Далѣе еще отдыхалъ нѣсколько глазъ на Александровскомъ Садѣ, который однако наводилъ напротивъ тоску въ зимнее время противоположностью: усыпанная пескомъ дорожка и кругомъ—снѣгъ! Поднимаюсь къ Иверской; неизмѣнная картина молящихся; пробираюсь мимо Казанскаго собора чрезъ его ограду, съ неизмѣнною картиной крестящихся пѣшеходовъ.

А Храмъ Спасителя все строится, все выкладывается. Съ самыхъ малыхъ лѣтъ меня занимала его исторія. Я печалился объ участи Витбергскаго проекта; мечты мои разгуливались, представляя на мѣстѣ ежедневно видимыхъ горъ съ церковушкой на верху—величественную террасу съ величественнѣйшимъ храмомъ, съ величественнымъ мостомъ черезъ рѣку. Душа отдохнула по прочтеніи въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*, что разрѣшено новое сооруженіе; но я жалѣлъ, что мѣсто выбрано не на Вшивой Горѣ; разочаровался видомъ новаго храма, изображеннымъ кажется въ *Живописномъ Обзорѣ*

мій. Забоявся, прочитавъ штатъ комиссіи о построеніи. Ну, думаю, да кто же пойдетъ на эти скоро преходящія должности? Постройку предположено кончить въ шесть лѣтъ. Куда дѣнутся бѣдные служащіе потомъ? Слѣдовало бы въ росписаніи штаба успокоить ихъ, что послѣ даны будутъ мѣста; а иначе найдутся ли охотники? Дѣтская простота!

Почему однако правою стороною Пречистенки, а не лѣвою, правою всегда? Не смотря на околесицы, которыя совершаю въ избѣжаніе однообразія, никогда не приходитъ охота перемѣнить маршрутъ въ томъ смыслѣ, чтобъ идти лѣвою стороною, а не правою. Три уже года я ходилъ такъ и въ первый разъ обратилъ вниманіе на это обстоятельство, когда узналъ изъ физики о косности. Это косность, подумалъ я, не хочу, и пошелъ по лѣвой сторонѣ. Но привычка взяла свое; когда намѣренно не назначалъ себѣ идти налѣво, ноги продолжали сами собою идти направо.

Однообразіе, сказалъ я,—ничто не развлекаетъ, пусто на полѣ. Нѣтъ, не однообразно, не пусто. Лѣтомъ пасется стадо, а во вдающемся четвероугольникѣ поля лѣтомъ же зришь солдатское ученіе.

Ра-а-а-а-а-а-а.

Два-а-а-а-а (ниже тономъ).

Три!

Вытягиваетъ ногу солдатикъ и держитъ ее на вѣсу долго, долго, пока тянется два-а-а и не кончится быстрымъ „три!“ А вотъ инструкторъ бьетъ солдата по лицу, бьетъ въ брюхо: и тотъ стоитъ какъ кукла, неподвижно. Нѣтъ, пойду, нечего смотрѣть.

Осень на дворѣ глубокая, глубокая, ноябрь должно быть; снѣга нѣтъ, а ледъ есть на полѣ. И слякоть, и холодъ. Какъ-то особенно посвистываетъ музыка на обычномъ мѣстѣ ученія. Два строя стоятъ съ длинными, тонкими, зеленоватаго цвѣта палками; пуки такихъ же палокъ около. Офицеры медленно расхаживаютъ. А внутри ведутъ солдата безъ рубашки, въ нижнемъ

платѣь одномъ. Холодно ему? Нѣтъ, не холодно, горячо, очень горячо. Спина у него цвѣта выпѣвающихъ бобовъ, краснаго переходящаго въ черный. Идетъ онъ медленно, всплываетъ головой то сюда, то туда, со страдальческимъ видомъ. Взмахиваютъ солдаты палками, бьютъ, летятъ на земь верхніе обломки палокъ и берутся новыя палки. А музыка все посвистываетъ, свистятъ въ воздухъ потрясаемыя палки, и офицеры все двигаются около. Нѣтъ, мимо, плохое разнообразіе; разъ видѣлъ, больше не буду.

А вотъ и зима. Крутитъ снѣгъ, вертитъ вѣтеръ. Ни души въ седьмомъ часу утра. Рѣжетъ лицо. Повернешься на секунду спиной къ вѣтру, передохнешь и опять въ путь; далеко еще. Стучить въ глаза эта мелкая крупа, полы легко стеганой чуйки распахиваются. Руки коченѣютъ, онѣ голыя, а рукава коротеньки. Иди, иди, въ Zubovo придешь, будетъ легче.

Нѣтъ, за ночь выпалъ снѣгъ, глубокій снѣгъ. Глаза рѣжетъ однообразная бѣлизна; дороги нѣтъ, нѣтъ совсѣмъ. Видны по мѣстамъ глубокія отверстія, слѣды шаговъ. Кто же прошелъ? Должно-быть кто-нибудь къ Крючку въ кабакъ ходилъ погрѣться. Но иди. Снѣгъ по колѣна; ничего. Снѣгъ заваливается въ сапоги; не важность, бываетъ хуже. Только тяжело идти, вотъ что не хорошо. Вытянуть двѣ версты по такой дорогѣ! Отдыхаетъ душа въ Zubovъ; здѣсь начинаютъ кое-гдѣ даже мести троттуары.

А нѣтъ хуже весной, раннею весной. Бѣжитъ вода ручьями; дорога частію стаяла, по мѣстамъ остались только ледяные рельсы; но скверно особенно около Олсуфьевскаго дома. Въ другихъ мѣстахъ вода по ладыжки, а здѣсь почти до колѣна. Въ сапогахъ вода. Нижнее платье въ водѣ и прилипло къ тѣлу. Иди, иди, къ вечеру обсохнешь. И приходишь въ семинарію бодрый, шутишь, смѣешься.

Если приходится топтать грязь, это и совсѣмъ ничего. Правда, калошъ я не знаю, еще два, три года

пройдетъ прежде чѣмъ я съ ними познакомлюсь. Но мѣсить грязь или переходить воду? Первое предпочтительнѣе.

Какъ я не получилъ ревматизма? Не получилъ; но когда я бываю теперь въ банѣ и распариваюсь, въ ногахъ я чувствую не то что зудъ, выраженіе слабо, но стараю желаніемъ, чтобы мнѣ ноги скребли, драли, хотя бы до крови. Догадываюсь, что то слѣды путешествій по Дѣвичьему полю.

Разъ два было, что я даже пугался. Лютый морозъ, и я заоченѣлъ весь, весь въ полномъ смыслѣ слова. Я едва передвигалъ ноги, и начиналась дремота. Я понималъ, что это значитъ. Но все мужество собралъ и дошелъ до Зубова; а оттуда почти добѣжалъ до семинаріи и согрѣлся на дорогѣ.

Другой разъ обмерзли уши и щека. Свирѣпо слишкомъ дулъ вѣтеръ. Ноги я также едва передвигалъ по полю. Непріятно было ходить потомъ съ висячими огромными ушами; боялся, что онѣ отвалятся, такъ онѣ были велики и тяжелы.

Случай замерзнуть предстоялъ мнѣ и еще разъ, но не на Дѣвичьемъ полѣ; то было на людяхъ. Отправляюсь на Святки въ Коломну, нанимаю ямщика, беру мѣсто въ кибиткѣ. Садятся пассажиры, и ямщикъ упрямиваетъ меня сѣсть на передокъ, пока вотъ одного довезетъ только до Карачарова; „тамъ сѣдокъ слѣзаетъ, а вы уже на его мѣсто тамъ сядете“. Не сообразилъ я обмана, сѣлъ на передокъ. Но проѣхали Карачарово, пассажиръ, купецъ или крестьянинъ, дядя словомъ, выѣзжать не думаетъ. Обращаюсь къ ямщику.

— Что-жъ, доѣдемъ, ужъ не обижайтесь, баринъ.

Однако морозъ лютый, невыносимый; жестоко холодно сначала, но начинается дремота. Ямщикъ меня толкаетъ, будитъ, останавливаетъ лошадей; смотрю—кабакъ. Ямщикъ предлагаетъ пойти выпить. Это угощеніемъ заглаживаетъ свой обманъ!

— Я не пью.

учрежденіе Кредитнаго Общества; а до того времени Москва была по преимуществу двухъэтажная. Трехъэтажные дома были на перечетъ. Довольно того, что домъ Шипова на Лубянкѣ считался самымъ большимъ зданіемъ въ Москвѣ послѣ разныхъ казенныхъ.

Болѣе перемѣнъ послѣдовало въ нравственной физиономіи города, и одна изъ нихъ особенно замѣчательна, хотя повторилась вѣроятно въ другихъ городахъ и во всей Россіи: въ сороковыхъ годахъ не было женщинъ на улицахъ. Кухарка или швея, лавочница и горничная, не считая пріѣзжихъ крестьянокъ: вотъ единственный женскій персоналъ, дерзавшій показываться на улицѣ, тѣмъ болѣе на бульварѣ, безъ провожатыхъ. Съ удивленіемъ русскій человѣкъ читалъ объ англійскихъ, въ особенности американскихъ нравахъ, гдѣ леди совершаютъ даже путешествія въ одиночку. Такая вольность казалась почти невѣроятною, и для Россіи никогда невозможною. Желѣзныя дороги и женскія гимназіи, въ дополненіе къ упраздненію крѣпостнаго права, совершили казавшееся невѣроятнымъ, и теперь никого не удивляетъ появленіе дамъ и дѣвицъ, отнюдь не принадлежащихъ къ „этимъ дамамъ“, на улицахъ и бульварахъ. Женщины появляются теперь даже въ ресторанахъ и трактирахъ, здѣсь пока еще въ сопровожденіи, но дайте срокъ: по прошлому судя, свободу и тутъ завоеуетъ женскій полъ.

Въ Коломнѣ Е. И. Мѣцанинова еще развѣзжала на четвернѣ, но въ Москвѣ, къ сороковымъ годамъ, обычай ѣзды цугомъ началъ исчезать, хотя лежачихъ рессоръ еще не появлялось и крѣпостное право было въ полной силѣ. Три помянутыя обстоятельства между собой связаны. Помимо юридическихъ привилегій, ѣзда цугомъ условливалась: 1) лишнимъ количествомъ прислуги, 2) отсутствіемъ удобныхъ дорогъ, 3) тяжестью экипажей. Карету-домъ на высокихъ рессорахъ съ трудомъ тащила пара лошадей даже по исправной мостовой, а при ухабахъ и рытвинахъ лишняя сила и тѣмъ



болѣе необходима. Лошадей держать ничего не стоить, людей некуда дѣвать, и вотъ разъѣзжаютъ тяжелые экипажи четверней съ двумя лакеями на запяткахъ и съ форрейторомъ на первой парѣ. Въ прежнія времена, которыхъ я не засталъ, скакали еще вершники впереди, опять не столько ради важности, а въ виду невозможныхъ мостовыхъ. Старикъ-извозчикъ повѣствовалъ мнѣ, что на теперешней Большой Садовой мостовая въ началѣ столѣтія была деревянная, и весной иногда бревна торчали почти стойкомъ; при такой дорогѣ безъ передоваго вершника, понятно, пускаться въ путь бывало не безопасно. Привилегія позволяла превосходительнымъ ѣздить и на шестернѣ, но кромѣ митрополита и жениховъ съ невѣстами никто же этимъ не пользовался. Отмѣна шестерни была показателемъ улучшенія путей, какъ и отсутствіе особыхъ лакеевъ на боковыхъ подножкахъ: послѣднее условливалось грязью, черезъ которую приходилось переносить господъ на рукахъ. Но есть уже какія ни какія мостовыя; опасность утонуть въ грязи по выходѣ изъ кареты миновалась, и миновалась надобность въ боковыхъ лакеяхъ и въ лишней парѣ лошадей.

Вмѣсто стоящихъ на запяткахъ начали сперва появляться сидящіе; экипажи стали дѣлаться съ лакейскимъ мѣстомъ, и нововведеніе производило на первое время соблазнъ. Прохожіе останавливались, и разговаривая между собою, покачивали головой на баловство. Но баловство пошло потомъ далѣе; заднія мѣста отмѣнены; лакеямъ предоставили мѣсто на передкѣ рядомъ съ кучеромъ, какъ и теперь продолжается. Чтò сказалъ бы человѣкъ двадцатыхъ, десятыхъ годовъ, видя эту „республику?“ Въ присутствіи господъ лакей не только сидитъ, но сидитъ къ нимъ задомъ!

Однако и лишними людьми начинали уже тяготиться, и въ особенности крѣпостными. Плодъ назрѣлъ и не могъ держаться на вѣткѣ. Чѣмъ выше, чѣмъ богаче баринъ, тѣмъ рѣже встрѣтишь собственнаго человѣка

вѣстнаго званія, похожія преимущественно на приказниковъ безъ мѣста. Завязывались иногда разговоры, и я вслушивался, составляя себѣ понятіе объ интересахъ, занимающихъ этотъ людъ. Случались даже ученые пренія, точнѣе сказать—ученые рефераты. Ихъ излагалъ нѣкто Эльмановъ, увѣренный, что не земля вокругъ солнца, а солнце вертится. Онъ убѣжденъ былъ въ своей ереси фанатически, жилъ ею и на послѣдніе гроши (онъ былъ бѣдный мѣщанинъ) издалъ даже брошюру, очень безграмотную, надо отдать справедливость. Человѣкъ бывалый, ѣздилъ даже на Новую Землю, гдѣ „солнце,“ по его выраженію, „кругомъ катается.“ Разубѣдить его не было силъ; онъ приводилъ вычисленія и опыты, существа которыхъ не помню; уличалъ Коперникову систему въ какихъ-то яко бы несообразностяхъ; онъ пролѣзалъ даже къ высочайшимъ особамъ, все со своею идеей о неподвижности земли. Галилей своего рода, только въ обратную сторону. Мнѣ было его жалко, а прочіе посѣтители грота слушали его съ любопытствомъ и уваженіемъ. Мнѣ пріятнѣе было наводить его на рассказы о его странствіяхъ, на описанія глубокаго Сѣвера, на рыболовство и звѣроловство, съ которыми онъ былъ знакомъ.

Любилъ я посѣщать еще Толкучку, смотрѣть на „царскую кухню“, гдѣ за грошъ можно пообѣдать на открытомъ воздухѣ; любопытствовалъ о покупкахъ и продажахъ старья и краденаго, всматривался въ лица многочисленныхъ торговыхъ дѣльцовъ, живущихъ исключительно обманомъ. Ихъ притонъ здѣсь, и орудуютъ они въ лавкахъ и на открытомъ воздухѣ. Личныя наблюденія свои провѣрялъ я и дополнялъ рассказами двоюроднаго брата, дьячка отъ Николы Большаго Креста.

По зимамъ, и притомъ начиная со втораго года, совершалось въ послѣобѣденные часы посѣщеніе трактировъ, которое мало-по-малу стало регулярнымъ. Денегъ у меня не бывало, но я бралъ дань натурой съ товарищей, которымъ помогалъ перомъ. Оказалась эта про-

фессія наслѣдственною. Братъ Александръ также еще съ риторическаго класса давалъ пользоваться своимъ перомъ: писалъ товарищамъ сочиненія, писалъ сочиненія университетскимъ студентамъ; послѣ, уже на мѣстѣ, писалъ проповѣди для желающихъ и обязанныхъ проповѣдовать, но не владѣющихъ свободно перомъ. Пока онъ былъ дьякономъ, нѣкоторые изъ его товарищей и знакомыхъ прошли даже на священническія мѣста, зарекомендовавъ себя въ глазахъ митрополита, между прочимъ, чужими проповѣдями, то-есть братниными. Моя помощь сначала оказывалась даромъ. Заданъ экспромптъ. Я подалъ. Сосѣдъ проситъ оказать ему услугу—написать. По его примѣру, пятокъ другихъ обращается съ тою же просьбой. Потомъ пошли угощенія въ благодарность. Наконецъ поступило ко мнѣ предложеніе чрезъ третье лицо писать уже не экспромпты, а домашнія сочиненія для неизвѣстнаго, учащагося въ другомъ отдѣленіи. Написалъ я разъ и два, меня угостили; затѣмъ это вошло въ правило, и притомъ услугами моими пользовалось нѣсколько неизвѣстныхъ, все чрезъ того же агента, Николая Лаврова, товарища по Риторикѣ, но учившагося въ другомъ отдѣленіи. Установилась своего рода такса на сочиненія, въ результатъ чего оказывалась иногда у меня даже мелочь въ распоряженіи, а въ трактиръ приглашаемъ былъ ежедневно. Последнее было уже какъ бы оброкомъ: шли вдвоемъ, иногда втроемъ, въ сопровожденіи того самого, кто былъ, какъ я предполагалъ, главнымъ моимъ, но неизвѣстнымъ мнѣ кліентомъ. Однако я вида не показывалъ, что догадываюсь или подозреваю. Деньги за угощеніе платилъ или онъ, или Лавровъ.

Угощеніе впрочемъ было не Богъ вѣсть какое: чай, „три или четыре пары“, смотря по тому, двое насъ или трое; хлѣбъ къ чаю; иногда разстегай. А блины въ трактирѣ Воронина—то была роскошь, которая разрешалась лишь въ чрезвычайныхъ случаяхъ. Больше всего ограничивались чаемъ, и трактиръ посѣщаемъ былъ

картины. Въ общихъ чертахъ помню характеристику въ классѣ, произнесенную профессоромъ словесности предъ окончаніемъ курса. Онъ сравнивалъ первыхъ двухъ учениковъ своихъ, меня и Сперанскаго, и отдавая мнѣ честь за живость, бойкость, краснорѣчіе, находилъ въ моемъ товарищѣ спокойную разсудительность, которою онъ меня превосходилъ. Отзывъ былъ болѣе глубокъ, нежели можетъ-быть воображалъ почтенный, доселѣ здравствующій напѣ профессоръ. Пробѣгая въ теперешнее время свои опыты четырнадцати и пятнадцати лѣтъ, я вижу въ этомъ мальчикѣ готоваго хлесткаго фельетониста или будущаго беллетриста. Я пишу *Безпечный Семинаристъ*, характеристику своихъ товарищей; описываю вымышленный *Поюстъ Гороховцевъ* съ картиной сельской жизни. Не дурно и даже изящно, съ сильнымъ оттѣнкомъ ироніи; въ послѣднемъ узнаю слѣды *Библиотеки для Чтенія*. Эпизоды изъ Русской исторіи, вымышленныя рѣчи историческихъ героевъ, описаніе своего вѣзда въ Москву, историческая повѣсть; бойко, живо, есть воображеніе, есть соль, не говоря о правильности языка; слово слушается. Но разборы рѣчей Цицерона, разсужденія на отвлеченныя темы — мысль слабая, понятія готовые, самая рѣчь становится вязкою, теряетъ свободу. Еслибы съ риторической скамьи мнѣ перескочить прямо въ печать, я оказался бы не хуже многихъ другихъ борзописцевъ. Но потому-то не высоко я цѣню хлесткихъ борзописцевъ, даже пользующихся извѣстностью; я читаю въ нихъ близко знакомого мнѣ ученика Риторикѣ въ Московской семинаріи: ясенъ мнѣ процессъ, какъ заносятся къ нимъ въ голову слова принимаемыя ими за понятія, какъ усваиваются безъ мысли готовые положенія, заслушанныя и вычитанныя ими и въ механической перестановкѣ предлагаемыя публикѣ подъ видомъ надуманныхъ сужденій. Отъ того у насъ въ печати и преобладаніе пошлости; отъ того удивительно скоро и изнашиваются всѣ теоретическія положенія, выдаваемыя и прини-

маемые первоначально за открытія; изнашиваются самыя слова.

Предводитель долженъ произнести рѣчь при открытіи земскаго собранія. Ротмистру или майору стараго воспитанія словесность не далась. Когда же? Хозяйство! Литтературная дѣятельность ограничивалась письмами къ роднымъ и знакомымъ. Ему подають проектъ сочиненной для него рѣчи, которую онъ долженъ заучить до произнесенія. Прочиталъ, и облакомъ грусти омрачилось чело.

„Хорошо... Но знаете ли, недостаточно современно. Нельзя ли тутъ какъ-нибудь упомянуть объ „иниціативѣ“ и „благодѣтельной гласности?“ Пожалуйста. Кстати, что такое *иниціатива*?“

Подлинный фактъ шестидесятыхъ годовъ. А предводитель былъ даже не глупый человѣкъ.

Первоначальный мой руководитель, братъ, не стѣсняясь моей литтературной бойкости, во первыхъ, потому что находился подъ вліяніемъ *Библиотеки для Чтенія*, во вторыхъ, самъ, подобно безчисленному большинству семинаристовъ, цѣнилъ только, *какъ* написано, а не *что* написано. Въ собственныхъ проповѣдяхъ его обиходъ мысли былъ скуденъ. Но мнѣ съ приближеніемъ философскаго класса пришлось подумать о приготовленіи себя къ новой наукѣ, и прежде всего—къ логикѣ. На счастье мое или на несчастье—какъ это опредѣлить теперь?—учебникомъ философіи для семинаріи назначенъ былъ Баумейстеръ. Пусть по немъ уже не преподавали; но книга была у брата, и братъ съ увлеченіемъ рассказывалъ о методѣ Баумейстера, а равно о методѣ архимандрита Макарія, бывшаго въ прошломъ столѣтіи ректоромъ, если не ошибаюсь, Тверской семинаріи, и напечатавшаго свое Богословіе. Это произведеніе въ свое время было рѣдкостью, во первыхъ потому, что изложено было на русскомъ языкѣ, и во вторыхъ по методу изложенія, одинаковому съ Баумейстеровымъ. Баумейстеръ былъ вольфіанецъ, и изложеніе

и отвлеченно теперь. Я спотыкался на каждомъ понятіи, задумывался надъ каждымъ словомъ и не видѣлъ конца, гдѣ остановиться. Методъ требовалъ аксіомы во главѣ, положенія несомнѣнно удостовѣреннаго. Но мнѣ даютъ частный вопросъ изъ логики или психологіи. Приходилось *предположить* что-нибудь за несомнѣнное, заимствовать на вѣру ближайшее частное положеніе учебника, служащее основаніемъ къ данной темѣ. Но на чемъ основано само это положеніе? спрашивалъ я. Не должно ли оно быть само прежде выведено? И гдѣ же начало? Напряженіе доходило до того, что я бросаю думать; но и это не всегда удавалось. Построенія и попытки къ построеніямъ совершались мимо моей воли. Происходила двойная жизнь; я разговариваю съ кѣмъ-нибудь о сегодняшнемъ морозѣ, о вчерашней выходѣ Богоявленскаго, который по близорукости приставилъ лицо къ самой доскѣ и написалъ такъ мелко  $a + b$  и пр. что профессоръ попросилъ стереть и написать виднѣе. Стеръ; на полшага отойдя отъ доски, размахнулся всею рукой, на смѣхъ написалъ во всю доску „ $a +$ “ и обратился къ профессору съ совершенно серіознымъ видомъ: „Доски не хватаетъ“. Слушаю разговоръ, участвую въ немъ, смѣюсь, а въ головѣ, какъ та непослушная дудка въ органѣ, о которой говоритъ Гоголь, продолжаетъ само собою: „ $a$  равно  $a$ , золото есть золото; чѣмъ отличается законъ тождества отъ закона противорѣчія, и если отличается, почему законъ противорѣчія не есть выводъ изъ закона тождества? И нѣтъ ли выспаго закона, изъ котораго оба вытекаютъ?“

Сочиненія мои были уродливы; прочитывая ихъ чрезъ долгое время, я ихъ называлъ самъ себѣ „головастиками“: большая голова и безъ туловища, одинъ хвостъ. Въ длинномъ введеніи устанавливались предварительныя общія понятія; начиналось издалека, а самое положеніе, о которомъ слѣдовало разсуждать, изъяснялось на нѣсколькихъ строкахъ. Сочиненія, писанныя для кліентовъ, вѣроятно были удвѣлительнѣе собственныхъ,

обстоятельнѣе и яснѣе. Тутъ я не думалъ, а можно сказать игралъ мыслями.

Спасла бы меня философская литература, еслибъ она существовала на русскомъ языкѣ. Но какая же была литература? Я прочиталъ все или безъ малаго все печатное, доставая книги чрезъ брата отъ одного вино-торговца. Отмѣчаю эту странность. И. И. Мѣщанинова библіотека состояла изъ журналовъ, историческихъ, географическихъ сочиненій, изъ беллетристическихъ произведеній; но въ московскій періодъ моей жизни перестала и она существовать для меня. Отъ Н. Θ. Островскаго заимствовались тоже журналистикой. А за учеными книгами обращались къ погребщику Соколову, торговавшему въ Ножевой линіи. Онъ былъ библіофилъ, и именно по части серіозной литературы. Самъ онъ читалъ, когда читалъ, чтѣ извлекалъ? Видавъ его только въ лицо, не умѣю отвѣтить на эти вопросы. Но когда я перешелъ въ философскій классъ, и даже ранѣе, въ классъ Словесности, книги ученаго содержанія, относившіяся къ моимъ текущимъ занятіямъ, брались у него и находились всегда въ болѣе значительномъ обиліи, нежели можно было ожидать. Кромѣ современныхъ, каковы на примѣръ были логика Кизеветтера и Бахмана, къ моимъ услугамъ являлись такіе, какъ Шадъ, Галичъ, Сидонскаго *Введеніе въ философію* и другія произведенія отечественныхъ мыслителей. Разъ я узналъ, что Соколовъ приобрѣлъ даже *Гекзаглы* Оригена, купивъ у кого-то, при чемъ предварительно справился у брата, чтѣ это за книга, такъ какъ самъ не владелъ языками. Вотъ каковъ былъ Соколовъ-погребщикъ и вотъ въ какихъ неожиданныхъ мѣстахъ можно было находить ученые библіотеки!

И такъ, я прочитывалъ философскія книги, какъ прочитывалъ годъ и два назадъ книги по теоріи словесности. Но онѣ не возбуждали меня и не успокаивали. Большинство было даже слабо, и я отрицалъ въ нихъ философскій элементъ. А главное, всѣ онѣ нацѣлены

были не туда, куда стремилось мое вниманіе. Мнѣ еще тогда нужно было бы дать въ руки Спинозу, Юма и Канта, въ особенности послѣдняго; меня могла успокоить только критика познанія.

Не буду забѣгать и продолжать далѣе діагнозъ этой болѣзни моей, которой въ семинаріи было только начало. Назову ее „болѣзью о формальной истинѣ“: высшіе пароксизмы ея напали на меня уже въ Академіи, гдѣ было разъ, что я, по прибытіи въ Москву черезъ четыре мѣсяца отлучки, не былъ узнавъ близкими лицами: похудѣлъ, пожелтѣлъ, выцвѣлъ. И главною, если не единственною причиною было изнуреніе отъ умственнаго напряженія, въ которомъ проводилъ я дни и ночи, и ночи часто напролетъ до утра.

Какъ разъ къ тому времени какъ заболѣть мнѣ исканіемъ формальной истины, философскія статьи стали появляться въ журналахъ; къ философскимъ основаніямъ обращались критическіе отзывы о произведеніяхъ литературы; Бѣлинскій входилъ въ славу, Герценъ началъ писать. Требованіе основательности и послѣдовательности, овладѣвшее мною до болѣзни, было причиною того, что я съ глубокимъ скептицизмомъ отнесся къ этимъ писателямъ, пріобрѣтшимъ авторитетъ. А на чемъ это основано? А изъ чего это слѣдуетъ? А гдѣ же связь мыслей, явно смотрящихъ въ сторону? Раздѣльно ли самому автору представляется понятіе, съ которымъ онъ посится? Вотъ вопросы, которыми я сопровождалъ чтеніе, и на которые отвѣчалъ себѣ отрицательно. Я не увлекся ни на секунду и принималъ исторически положенія философствовавшихъ публицистовъ: „такой-то утверждаетъ то-то“. Далѣе притянуть къ себѣ ни тотъ ни другой не могъ меня, и Бѣлинскій тѣмъ менѣе, чѣмъ болѣе страстности слышалось въ его статьяхъ и чѣмъ явственнѣе была моему критическому взору произвольность его общихъ положеній, заимствованныхъ съ чужихъ словъ.

На счастіе или на несчастіе заполонилъ меня демон-



стративный методъ, но онъ оказалъ мнѣ ту услугу, что я въ наукѣ пересталъ принимать что-нибудь на вѣру и тѣмъ обереженъ былъ навсегда отъ увлеченій. Съ критическимъ стекломъ принимался я всегда за чтеніе любаго изслѣдованія, какому бы великому авторитету ни принадлежало оно. Я убѣждался въ чемъ-либо, но тогда лишь, когда находилъ безупречную внутреннюю послѣдовательность, и во всякомъ случаѣ оставляя себѣ право сомнѣваться, вѣрны ли еще основныя послылки. Объ этомъ своемъ скептическомъ критицизмѣ вспоминать приходилось не разъ мнѣ и благодарить за него судьбу, когда въ зрѣломъ уже возрастѣ видѣлъ вокругъ себя увлеченіе Бюхнеромъ и Фейербахомъ, Мошешотомъ и Контомъ, Бокклемъ и Дарвиномъ, и наконецъ экономическими крайностями въ ту и другую сторону, социалистическую и манчестерскую. Я задавалъ себѣ вопросъ: какое бы дѣйствіе произвела на меня эта литература, еслибы мнѣ пришлось познакомиться съ ней въ молодости? (Фейербаха впрочемъ я читалъ еще въ молодости). О новыхъ авторитетахъ въ сферахъ богословской, философской, политико-экономической не говорю уже; они рвутся по швамъ, способны быть уличены критикой, если она ограничится разборомъ ихъ даже на основаніи ихъ самихъ, а Контъ, напримѣръ, даже въ дѣтской неспособности мыслить. Но къ Дарвину, особенно къ Бокклю, я подступилъ бы съ вопросами: помимо того что обобщенія ваши слишкомъ широки, гдѣ ручательство, кромѣ вашей добросовѣстности, что факты, на которыхъ все опирается, не подтасованы? Подтасованы, согласенъ, можетъ быть даже неумышленно: глазъ столь же произвольно обращается къ извѣстнымъ оттѣнкамъ явленія, какъ ноги мои по пути въ семинарію на правую сторону Пречистенки. Не поддамся, пока самъ не увижу и не вложу руки въ язвы.

Этотъ непримиримый скептицизмъ можетъ быть причисленъ тоже къ болѣзнямъ. Не оспариваю этого и не утверждаю, а только объясняю, чѣмъ застрахованъ былъ

произношенія даже приблизительно; мудрость произношенія показана мнѣ была гораздо послѣ, когда я стоялъ уже на каедрѣ.

Нѣмецкому обучился я вскорѣ послѣ французскаго упомянутымъ же способомъ по двумъ хрестоматіямъ, краткой и пространной; у брата нашелся и словарь. Процессъ изученія на этотъ разъ былъ гораздо продолжительнѣе; здѣсь не помогала близость къ латинскому, какъ во французскомъ.

Понимать книги я выучился; но гдѣ ихъ доставать? что читать? Братъ на этотъ разъ не могъ оказать мнѣ помощи, потому во первыхъ, что самъ не зналъ новыхъ языковъ (нѣмецкому хотя учился, но забылъ) и не имѣлъ знакомыхъ, которые могли бы ссужать иностранными книгами. Затѣмъ если не косо, то равнодушно смотрѣлъ онъ на мои занятія дѣломъ, по его мнѣнію не существенно важнымъ; его образованіе не было образованіемъ ученаго, и *интересство* никогда его не манило. Толкался я иногда на Сухаревкѣ по воскресеньямъ; тамъ въ числѣ старыхъ книгъ попадались иностранныя. Но онѣ были мнѣ не по средствамъ при всей своей дешевизнѣ; притомъ болыпею частію касались спеціальностей, меня не привлекавшихъ. Однако я купилъ, помню, двѣ книжки, заплативъ по пятакъ за каждую и одною-то изъ нихъ заинтересовался Французъ, съ которымъ я столкнулся въ обычномъ своемъ мѣстѣ отдохновенія, гротѣ. Книжка заключала жизнеописанія французскихъ генераловъ времени революціи. У Француза была тоже книжка, *Самочиталь русскаго языка*, и онъ просилъ меня помочь въ произношеніи русскихъ буквъ. Съ охотой исполнилъ я его требованіе и даже вызвался придти въ другой разъ на то же мѣсто съ тою же цѣлію. Онъ принялъ мое предложеніе съ благодарностью, но этими двумя свиданіями и ограничилось наше знакомство. Нечаянный мой собесѣдникъ былъ уже не молодыхъ лѣтъ, съ сильною просѣдою, и объявилъ мнѣ, что пріѣхалъ въ Россію на

короткое время съ единственною цѣлью посмотреть страну, Европѣ неизвѣстную, но пользующуюся силой и вліяніемъ на европейскія судьбы. Я былъ несказанно радъ своему знакомству и ни мало не потяготился нарочно придти изъ-подъ Дѣвичьяго, чтобы дать второй урокъ произношенія, къ сожалѣнію безплодный. Произнести правильно слово *ножницы* было выше французскихъ силъ, и сколько разъ я ни повторялъ, Французъ ладилъ: *ноженитсюи*, по національному обыкновенію продолжая послѣдній слогъ и повышая на немъ голосъ.

Почти не болѣе того времени пришлось мнѣ быть учителемъ еще одного француза, фабриканта. Къ брату явилась женщина изъ простыхъ, въ родѣ горничной что-то, въ сопровожденіи молодаго человѣка, съ бакенбардами и большимъ носомъ. Объяснила, что вотъ этотъ Французъ желалъ бы учиться по-русски, но не знаетъ, къ кому обратиться. „Меня прислали къ вамъ,“ сказала она. На брата указали ей, должно-быть считая его болѣе образованнымъ изъ мѣстнаго духовенства. Объ отношеніяхъ своихъ къ приведенному французу неизвѣстная отозвалась уклончиво. Я обрадовался. Думаю—предложу себя; это мнѣ доставитъ двойную пользу: заплатятъ во первыхъ, да и самъ напрактикуюсь во французскомъ языкѣ. Надежды мои не оправдались, хотя предложеніе и было принято.

Назначили часъ. Являюсь. Фабрика была около Саввы Освященнаго, близехонько. Застаю предполагаемаго ученика вдвоемъ со старшимъ братомъ за столомъ, — кушаютъ жаркое. Первое свиданіе не повело ни къ чему. Я узналъ, что они изъ Ліона и затрудняются незнаніемъ языка, вынуждающимъ ихъ обращаться за всѣмъ къ прикащику; а прикащикъ тутъ же стоялъ, молодой человѣкъ, совершенно *рассейскій*, не чисто, но бойко болтавшій по-французски, намѣставшійся здѣсь же на фабрику. Второе свиданіе объяснило всю невозможность уроковъ. Слѣдовало пребывать при ученикѣ почти неотступно, въ числѣ другихъ причинъ и по той,

взялъ бы вѣроятно урокъ даже по математикѣ, которой не зналъ первоначальныхъ правилъ, или по преподаванію нѣмецкаго, котораго не разумѣлъ даже азбуки (по-французски онъ по крайней мѣрѣ разбиралъ, и хотя начала грамматики были ему извѣстны). И совершалъ бы все это въ полной увѣренности, что поступаетъ добросовѣстно.

Получая съ уроковъ, состоя агентомъ по доставкѣ готовыхъ письменныхъ упражненій лѣнивымъ или неспособнымъ писать (не принадлежалъ ли пожалуй онъ и самъ къ числу моихъ кліентовъ, сохранявшихъ някогнито?), онъ велъ и еще промыселъ—агента по перепискѣ лекцій для университетскихъ студентовъ. Тогда лекцій не литографировали; студенты готовились по рукописнымъ, нуждались въ переписчикахъ; ихъ доставляла семинарія, и многіе семинаристы тѣмъ исключительно кормились. Было нѣсколько агентовъ, и Лавровъ въ томъ числѣ. У него всегда бывали стопы оригиналовъ; раздавалъ онъ ихъ, а иногда переписывалъ и самъ. При раздачѣ переписки другимъ, онъ пользовался комиссіоннымъ процентомъ; полагаю, что не безъ того было и при передачѣ сочиненій мною изготовленныхъ. Затѣмъ, гонораръ за уроки. Лавровъ всегда поэтому былъ при деньгахъ и не тяготилъ своихъ родителей-бѣдняковъ; на свой счетъ одѣвался. Онъ всегда былъ даже при табакѣ, и притомъ Жукова, что не всякому семинаристу было по карману; большинство курило 3-й сортъ, Аванасьева и другихъ.

Итакъ, я не былъ удивленъ, что Лавровъ получилъ урокъ въ домѣ Талистовыхъ, и былъ порадованъ, когда Лавровъ предложилъ мнѣ не давать, а брать уроки французскаго языка у старика Талистова. Старикъ очень образованный человекъ; съ нимъ объ этомъ уже говорено и полагено; Лавровъ будетъ ходить къ нему, чтобы дополнить свои свѣдѣнія во французскомъ и именно пріучиться къ разговору. Но вдвоемъ будетъ охотнѣе, и онъ приглашалъ меня. Я ухватился за случай

тѣмъ съ большею радостью, что мнѣ не предстояло издерживаться. Плата предполагалась небольшая, да и ту принималъ на себя мой будущій соученикъ. А именно, онъ порядился, что Талистовъ будетъ намъ давать по два урока ежедневно, по два часа каждый, и получать за это пятнадцатинный, два кувшина молока и одинъ французскій хлѣбъ *въ недѣлю*. Практицизмъ Лаврова сказался и въ этомъ. Въ число элементовъ платы входило молоко, потому что у его родителей была своя корова; слѣдовательно, денежные издержки совсѣмъ сокращались.

Я нарочно остался въ этотъ (1841) годъ на вакацію, посѣтилъ съ Лавровымъ будущаго учителя и поразился его обширными знаніями. Онъ зналъ не только французскій, который былъ ему почти природный, но латинскій, нѣмецкій (слабѣе), итальянскій и даже еврейскій, которому выучился въ зрѣлыхъ лѣтахъ по любознательности. Его бывалость чрезвычайная: онъ путешествовалъ; въ Парижѣ жилъ въ самый разгаръ революціи; дома самой высшей аристократіи двора Екатерины были ему свои. Я впился въ него; расспросамъ не было конца: и о дворѣ прошлаго столѣтія, и о жизни нашихъ тогдашнихъ грандовъ, и объ иностранныхъ земляхъ, и о революціи. А онъ мнѣ передавалъ кромѣ того о своихъ былыхъ кутежахъ, о дуэляхъ, о любовницахъ, о томъ какъ прожилъ на нихъ состояніе, какъ брался потомъ за учительство въ пансіонахъ, остепенился и снова закучивалъ, переходилъ мало-по-малу отъ тонкихъ винъ къ сивухѣ и наконецъ дошелъ до настоящей своей слабости. Говорилъ онъ одушевленно и красиво, пересыпая цитатами изъ латинскихъ и французскихъ классиковъ—классиковъ стараго времени, Корнея и Расина. Не только Шатобрианъ, о которомъ отзывался онъ съ презрѣніемъ, но даже Вольтеръ былъ для него молодымъ, въ томъ по крайней мѣрѣ смыслѣ, что правописанія Вольтеровскаго онъ не признавалъ, возмущался имъ и писалъ *j'étois, j'avois*. Когда касался разго-

стнаго ему дома, заподозрилъ неблаговидныя цѣли и раскричался на меня, между прочимъ за то, что я бралъ съ собою *Дѣтскій Журналъ*, книгу Н. О. Островскаго, бывшую у насъ на поддержаніи. А я бралъ ее затѣмъ, чтобы подъ руководствомъ Талистова переводить ее на французскій. Отношенія мои съ братомъ къ тому времени уже разстроились. Я счелъ унижительнымъ для себя оправдываться и предпочелъ оставить свои ежедневныя учебныя посѣщенія, тѣмъ болѣе что къ тому же времени несчастный учитель мой и записалъ. Откуда онъ взялъ денегъ? Не наши ли пятнадцатипенные пособили ему? Я засталъ его въ одной рубашкѣ: семья спрятала даже его халатъ, чтобы отнять послѣднюю возможность выхода изъ дома. Съ помутившимися глазами бурчалъ онъ что-то по-французски; увидавъ меня, сталъ въ позу и началъ декламировать изъ Корнеля. Говорить было нечего, и я оставилъ чердакъ съ тяжелымъ чувствомъ. Такой человѣкъ, и такъ низпалъ!

Университетскія лекціи, бывавшія у Лаврова, не проходили мимо меня. Я не переписывалъ ихъ; почеркъ у меня всегда былъ негодный; но я прочитывалъ ихъ. Лекціи были преимущественно медицинскаго и юридическаго факультетовъ. Къ сожалѣнію, свѣдѣнія получались разрозненныя, безъ начала и конца, съ перерывами. Но помню, пробѣжалъ я съ жадностью тетрадки изъ фізіологій (кто ее тогда читалъ? не Филомаѳитскій ли?) Помню еще трактатъ, изъ какой науки не вѣдаю, заинтересовавшій меня, о государственныхъ и монастырскихъ имуществѣхъ. Много почерналъ я и еще, чего сейчасъ не приходитъ на память. Иногда находилъ въ себѣ неожиданное свѣдѣніе, котораго, сколько помнится, ни въ какой книгѣ не вычиталъ, и которое относится къ спеціальности, совсѣмъ мнѣ чуждой, недоумѣваю: да откуда же я взялъ это, какъ пришло ко мнѣ? Послѣ нѣкотораго усилія вспоминаю: „а, это въ какой-нибудь изъ рукописныхъ университетскихъ лекцій досмотрѣлъ я, тѣхъ что почитывалъ у Лаврова!“

## XII.

## Ближайшее окружающее.

Лавровъ былъ мнѣ не товарищъ. Приличный, почтительный къ старшимъ, цѣломудренный, вина не пилъ; но души я съ нимъ отводить не могъ. Подобія даже какихъ-нибудь идеальныхъ запросовъ не зарождалось въ душѣ у него. Достать урокъ, сходить на урокъ, достать лекцій для переписки, раздать лекціи переписчикамъ и собрать обратно, заплатить дань поклоновъ многочисленной, видной роднѣ, не опуская ничьихъ именинъ и рожденій, вотъ чѣмъ исчерпывались сего интересы. Вѣроятно свѣтилась ему въ отдаленіи мысль: получить при помощи всесильнаго родственника Александра Петровича дьяконское мѣсто въ Москвѣ по окончаніи курса, зажить домкомъ, а тамъ присматривать не подойдетъ ли случай со временемъ даже и священническое мѣсто получить при той же помощи. Но даже до этихъ мечтаній въ разговорѣ со мною у него не доходило: счастливая природа—довольствоваться окружающимъ, не забираясь ни въ глубь, ни въ даль! Я же могъ только подлаживать свои душевныя струны въ тонъ моему собесѣднику, спрашивать о подробностяхъ передаваемого имъ случая или объ обстоятельствахъ упоминаемаго имъ родственника, сообщать ему собственные мелочные случаи. Петръ Николаевичъ Кудрявцевъ, въ качествѣ родственника, былъ для Лаврова *случай* добывать лекціи для переписки; а для меня былъ Петръ Николаевичъ Кудрявцевъ—первый студентъ университета, вышедшій изъ нашей семинаріи первымъ же студентомъ, параллель Ивану Алексѣевичу Смирнову-Платову, первому студенту Виѣанской семинаріи, окончившему первымъ въ Академіи. Моя мысль неслась на сравненіе ихъ познаній и способностей, на то

какъ и чѣмъ они достигли своихъ успѣховъ. Завидовалъ въ частности, что вотъ Лавровъ можетъ осязать Кудрявцева; мечталось, сколько бы я могъ вырасти и обогатиться умственно чрезъ общеніе съ такою знаменитостію. А Петръ Николаевичъ—будущая знаменитость среди профессоровъ и литераторовъ—былъ знаменитостію и для семинаріи ранѣ своей славы въ университетѣ. Въ семинаріи, какъ и въ училищѣ, извѣстные воспитанники и цѣлые даже курсы оставляли преданіе; Петръ Николаевичъ выдавался и сохранился въ памяти. Мои взгляды, мои мечты не могли ожидать отзывчивости отъ Лаврова, и я могъ ихъ держать только при себѣ.

Лавровъ меня не навѣщалъ. Да вообще я не принималъ никого и принимать не могъ. Нужно было бы испрашивать позволеніе у брата и выслушивать допросы: кто, какъ, почему,—подвергнуть гостя можетъ-быть высокомѣрному, пренебрежительному обращенію. А Лавровъ и тѣмъ паче не смѣлъ бы переступить порогъ. Онъ былъ сынъ дьячка; а дьячокъ есть „ты“ для священника и для дьякона. Его употребляютъ на посылки, при чемъ за исполненіе награждаютъ поднесеніемъ рюмки. Дьячокъ не сидитъ въ присутствіи священнослужителя и не выпускается далѣе передней. Пусть Егоръ, отецъ Лаврова, и пользовался нѣкоторымъ уваженіемъ по своимъ лѣтамъ и вполне благопристойному поведенію; обращаясь къ нему употребляли и отчество иногда, имъ не помыкали; но все—дьячекъ, и сынъ его, пока не кончилъ курса, все сынъ дьячка, не болѣе.

Я въ свою очередь не часто посѣщалъ Лаврова, при всей близости мѣстожителства. Я захаживалъ къ нему передъ классомъ, чтобы вмѣстѣ отправиться въ семинарію. „Захаживалъ“, это значитъ совершалъ болѣе полуверсты крюку: шелъ въ противную отъ семинаріи сторону до Лаврова и затѣмъ проходилъ обратно тотъ же путь съ Лавровымъ. Очень рѣдко заходилъ я днемъ. Кромѣ *Деметія*, никого мы вмѣстѣ не посѣщали, и разъ только со-



вершили вдвоемъ прогулку на Воробьевы Горы, къ отцу Добронравова, обыкновеннаго нашего сотоварища по *Дементію*; отецъ Добронравова, болѣе извѣстный въ тогдашнемъ московскомъ духовенствѣ подъ именемъ Тарабара, былъ въ Воробьевѣ дьякономъ; онъ казался очень живымъ, веселымъ и необыкновенно разговорчивымъ человѣкомъ и далъ мнѣ изъ своего обращенія понять, почему его прозвали Тарабаромъ. Раза два ходили мы въ садъ Чижова (прежде Милюковой, а теперь Ганешина), гуляли по лабиринту, между прочимъ описанному въ одномъ изъ романовъ Загоскина, катались на лодкѣ по пруду. Но и туда прогулку я предпочиталъ послѣ того совершать въ одиночествѣ.

Садъ былъ въ частномъ владѣніи, однако я и Лавровъ, и всякій входилъ въ него свободно. Сиживалъ я тамъ по цѣлымъ часамъ, по получасамъ катался на лодкѣ, всегда свободной; она была на привязи и никогда не заперта. Ни разу ни отъ кого замѣчанія. Въ тѣ времена мнѣ и въ голову не приходило, что я самовольно распоряжаюсь въ чужомъ владѣніи, и миллионы русскихъ людей пребываютъ до смерти при этомъ неразвитомъ понятіи о собственности. Двадцать лѣтъ минуло и нужно было произойти особенному случаю, чтобы вопросъ о законности права, которымъ я пользовался безпрекословно въ Чижовскомъ садѣ, потребовалъ отъ меня размышленій. Я нанималъ дачу въ Останкинѣ. Вотчинная контора распорядилась между прочимъ загородить ходъ въ нѣкоторыя мѣста сада и парка. Дачники взволновались, забунтовали, и мнѣ пришлось по крайней мѣрѣ съ полудюжиной тратить время на препирательства.

— Да позвольте, возражалъ я,—контора вольна запереть намъ садъ совсѣмъ. Вы нанимаете у крестьянина; въ число договорныхъ условій не входило обязательство пускать васъ въ садъ, да и не въ волѣ это вашего хозяина это.

— Да я съ тѣмъ нанималъ. Я, гдѣ хотите, въ другомъ

мѣстѣ провелъ бы лѣто. Согласитесь, что это свинство, никогда этого не было. Намъ нѣсколько сотъ, какъ можно такъ съ нами обращаться!

— Но можетъ-быть у васъ въ городѣ, обращался я къ нѣкоторымъ,—есть и домъ и садъ. Вы позволите всякому постороннему ходить тамъ и проводить время по цѣлымъ днямъ?

— Это совсѣмъ другое, горячится собесѣдникъ.—То городъ, а то деревня. Тамъ придетъ воръ какой-нибудь, еще обокрадетъ. Помилуйте, графъ еще, огромное состояніе: что у него, испортятъ дорогу что ли, когда дачники, приличные люди, пройдутъ по ней? А извольте теперь, отправляйтесь кругомъ черезъ грязь.

И такъ далѣе. Меня занимали эти пренія тѣмъ, что происходили вскорѣ послѣ манифеста 19 февраля 1861 года, когда о правахъ собственности исписаны были по поводу реформы цѣлые томы; и притомъ споръ приходилось вести съ людьми, которые въ мигъ перемѣняли точку зрѣнія, когда повертывалъ я разговоръ на отношенія ихъ съ бывшими крѣпостными. Неуваженіе крестьянина къ принципу частной поземельной собственности ихъ возмущало, они негодовали; а здѣсь на оборотъ становились сами на осуждаемую ими точку зрѣнія и приходили въ негодованіе, когда я уличалъ ихъ. Здѣсь, по ихъ мнѣнію, въ Останкинѣ совсѣмъ другія отношенія.

То былъ первый случай соприкосновенія моего со сбивчивыми, противорѣчивыми представленіями о поземельномъ правѣ, не чуждыми даже образованному классу. Послѣ же приходилось десятки и даже сотни разъ встрѣчаться съ безсознательными коммунистами, очень ретиво однако оберегающими личное право, когда бы дѣло дошло до покушенія на ихъ собственность. Одинъ случай особенно характеренъ. Я жилъ близъ Петровскаго-Разумовскаго. Само Петровское-Разумовское съ садомъ и паркомъ принадлежало тогда П. А. Шульцу. Общество моихъ знакомыхъ отправилось въ садъ гу-

лять, и одинъ изъ кавалеровъ, желая услужить дамамъ, нарвалъ цвѣтовъ съ куртины, расположенной предъ самымъ домомъ владѣльца, который въ добавокъ сидѣлъ на ту пору предъ цвѣтникомъ съ семействомъ и гостями. Чрезъ садовника послѣдовало замѣчаніе и просьба не трогать цвѣтовъ; а услужливый кавалеръ выбиралъ что ни есть лучшіе, чтобы собрать букеты повеликолѣпнѣе. Послѣдовалъ крупный разговоръ. Потoki негодованія лились, когда виновники происшествія передавали мнѣ о грубости владѣльца. „Помилуйте, если ужъ ему такъ жалко, могъ лично подойти и вѣжливо попросить. Видитъ вѣдь, что дамы тутъ, и вдругъ садовника: не смѣй трогать! Видите, раззорили! Ему оказываютъ честь, что гуляютъ по его саду, а онъ...“

Убѣжденный опытомъ въ бесплодности, я уже не усиливался особенно разувѣрять, довольствуясь замѣчаніемъ, что нужно спасибо сказать, когда и гулять-то пускаютъ. Правда, не чувствомъ какого-нибудь нравственнаго долга внушается большею частію это вниманіе и владѣльцевъ къ публикѣ. Русскій просторъ и затрудненіе держать сторожей и устраивать изгороди, затѣмъ преданіе,—вотъ главная причина кажущагося великодушія, и если нельзя похвалить кавалеровъ, собирающихъ букеты въ чужихъ дорогахъ цвѣтникахъ, то стоить посмѣяться и надъ тѣми владѣльцами, которые обставляютъ свои парки и лѣса шестами съ надписью: „входить строго воспрещается“. Меня всегда забавляетъ эта непремѣнная прибавочка нарѣчія „строго“. Почему не просто „воспрещается?“ не все ли одно? А тутъ сказывается досада на сознаваемое безсиліе, и она вымещается словомъ „строго“. Нельзя помѣшать, пройдутъ все равно, не обращая вниманія на надпись; такъ хоть усилить выраженіе. Забавно! А этимъ господамъ, сердитымъ, но не сильнымъ, можно напомнить общепринятое международное правило, что „блокада тогда только признается, когда объявляющій блокаду обладаетъ средствами поддержать ее“. Такъ и владѣлецъ, объявляющій

свое поземельное владѣніе въ блокадѣ, обязанъ прокопать рвы, воздвигнуть изгороди, поставить сторожей. А безъ того оно есть общественное вхожее мѣсто, и нельзя гнѣваться, когда прохожіе не трогаются надписями „воспрещается“, хотя бы воспрещалось не просто, а „строго“. Обязанъ ли прохожій читать эти надписи и умѣть ли даже прочесть каждый?

Кромѣ Чижевскаго сада навѣщалъ я Нескучный, съ которымъ было легкое сообщеніе чрезъ перевозъ; казались тогда очень недалекими нѣсколько верстъ, отдѣлявшія Новодѣвичій отъ рѣки; входъ же въ Нескучный свободенъ былъ не только съ Калужской улицы, но и съ берега. Удалялся я на размышленія и въ садъ Ступина, большой, запущенный, расположенный между огородами, съ повалившимся по мѣстамъ заборомъ и со старымъ барскимъ домомъ, отъ котораго вѣяло плѣсенью. Сказывали, что нѣкогда помѣщался тутъ какой-то клубъ. Но къ моему времени даже памяти о человѣческомъ жильѣ не сказывалось ни домомъ, ни садомъ съ заросшими дорогами и бурьяномъ и съ грачами, каркавшими вокругъ. Я любилъ это уныніе и легче сосредоточивался, диктуя себѣ собственныя сочиненія или возносясь въ другой міръ на фантастическихъ крыльяхъ. Изъ любознательности, которую можно назвать тоже фантастическою, я отправился разъ на измѣреніе Вавилона-колодца, за монастырь, въ направленіи къ Воробьевымъ горамъ. Чтò это былъ за колодезь? Туда совершался крестный ходъ изъ монастыря въ урочный день года; патеръ надъ нимъ въ родѣ часовни; преданіе какое-то есть о немъ; говорятъ, онъ бездонный. Какъ бездонный? И я вооружился большимъ клубкомъ бичевки, привязалъ къ ней камень и сталъ спускать. Я дна дѣйствительно не досталъ, по крайней мѣрѣ такъ мнѣ показалось. Физики тогда не знали еще, и могло случиться, что развертывала клубокъ сама бичевка, размочившаяся и отъ того увеличившаяся въ вѣсѣ, а не камень, давнымъ-давно быть-можетъ лежавшій уже на днѣ.

Но вообще я не зналъ куда дѣвать время, когда не было ни чтенія дома, ни письменной работы. Такое несчастье въ особенности постигало въ каникулярные періоды, Святки, Масляницу, Свѣтлую Недѣлю и вакацію, если оставался въ Москвѣ; а Масляницу и Свѣтлую Недѣлю я, всѣ четыре года жизни у брата, проводилъ въ Москвѣ, не уѣзжая въ Коломну. Братъ, при всей природной словоохотливости, вступалъ теперь лишь изрѣдка въ разговоры; невѣстка была совсѣмъ изъ молчаливыхъ. Оставались дѣти, изъ которыхъ старшій былъ моложе меня на шесть лѣтъ. Посторонніе бывали рѣдко. Семью вообще можно было назвать читающею, но не говорящею. До нѣкоторой степени напоминалась даже коломенская семья, съ тѣмъ различіемъ что тамъ отецъ и я читали непрерывно, а сестра иногда. Здѣсь непрерывно читали невѣстка и дѣти (двое старшихъ), а братъ рѣже. Старшіе племянникъ и племянница забавлялись между собою иногда, экзаменуя себя взаимно. Я отъ нечего дѣлать принималъ участіе въ этой самоизобрѣтенной игрѣ, которая при благоразумномъ руководствѣ могла бы приносить дѣтямъ и положительную пользу. Дѣти читали въ журналахъ повѣсти и потомъ обращались другъ къ другу съ вопросами:

— „Ладно, сказалъ онъ, завертывая покупку въ грязную бумагу“. Гдѣ это сказано?

Собесѣдникъ большею частію угадывалъ, откуда взято мѣсто, и предлагалъ свой вопросъ въ видѣ цитаты изъ другой повѣсти или романа.

Особенно тоскливо тянулись Масляница и Свѣтлая недѣля. Чтобы дѣвать время, я отправлялся бродить по Москвѣ и наблюдать веселящихся по улицамъ и подъ Новинскимъ. Полагаю, съ тѣхъ поръ идетъ, что цѣлодневные звоны производятъ на меня крайне удручающее впечатлѣніе всегда. „У всякаго есть радость, есть забвеніе себя“, думалъ я, шагая по улицамъ. „Ну, чему они рады? Какъ это досадно!“

Подъ Новинскимъ разъ я сдѣлалъ наблюденіе надъ процессомъ кражи, оказавшейся для виновника забавно неудачною, а для потерпѣвшаго непріятною не въ смыслѣ потери имущества. Уже разъ двадцать можетъ-быть прошагалъ я отъ Кудрина до Смоленскаго и назадъ: та же глазѣющая толпа, тѣ же экипажи съ публикой мало интересною, тѣ же паяцы. Поворачиваю для разнообразія на заднюю сторону гулянья; она пуста совершенно, только извозчики жмутся кое-гдѣ у троттуаровъ, и нѣкоторые изъ любознательныхъ мастеровыхъ и крестьянъ уткнули носы въ стѣны балагановъ въ усиліи увидѣть что-нибудь. Вниманіе напряжено, и карманникъ этимъ воспользовался. Вижу: около крестьянина въ полшубкѣ, приставившаго глаза къ щели балагана, помѣстилась чуйка и осторожно вытаскиваетъ торчавшій изъ кармана у крестьянина ремешекъ. Медленно тянулъ кажущійся мастеровой, тоже смотря повидимому въ щель. Довольно долго продолжавшаяся операція завлекла меня. Тащилъ, тащилъ и наконецъ вытащилъ. Добыча оказалась не кошелькомъ, какъ воображалъ вѣроятно жуликъ, а только длиннымъ ремнемъ.

— Ахъ, ты!... вскрикнулъ воръ въ негодованіи, стегая мужика вытащеннымъ ремнемъ.—Гаскаешь такую дрянъ!

Оглянулся мужичекъ; оглянулись и прочіе участники контрабанднаго зрѣлища чрезъ щелку. Хохоть, остроты; участіе приняли и извозчики, жавшіеся у троттуаровъ, и предметомъ шутокъ были оба равномѣрно, и жертва и виновникъ проступка. А жуликъ остался тутъ же, лишь нѣсколько перемѣстившись.

— Не выудилъ! Поди, попытай еще, говорили ему въ слѣдъ добродушно.

Товарищей въ первые годы, да и во весь семинарскій курсъ не было такихъ, которыхъ бы я навѣщалъ; да и раздѣжались, къ кому бы еще могъ зайти. Но въ числѣ спутниковъ по дорогѣ изъ семинаріи былъ сынъ

дьякона съ Воздвиженья на Овражкахъ. Я былъ уже въ философскомъ классѣ, онъ въ риторическомъ. Онъ вышелъ первымъ изъ училища. Это обстоятельство меня къ нему потянуло. Я ожидалъ въ немъ найти подобіе и часть себя, заговаривалъ съ нимъ дорогой, а разъ, именно во время Масляницы, зашелъ къ нему. Онъ былъ единственный сынъ у отца-вдовца. Я надѣялся встрѣтить однозвучную мнѣ тоску, умъ томящійся уединеніемъ и бездѣйствіемъ. Я нашелъ юношу болѣе хозяиномъ, нежели любознательнымъ ученикомъ. Онъ разливалъ чай и вообще носилъ на себѣ прозаическій видъ хозяйки, немного возвышающейся надъ кухаркой. Мертвый разговоръ, а послѣ чая, такъ какъ я оказался третьимъ, мнѣ предложено играть въ горку. Я отозвался незнаніемъ. Меня обучили и тѣмъ легче убѣдили, что игра была не на деньги. Иль нѣтъ, на деньги, только на особенныя. Папаша-дьяконъ досталъ изъ шкафа мѣшечекъ, весь наполненный полушками стараго чекана, но не изношенными, раздѣлилъ между нами поровну и началась игра. По окончаніи игры поужинали, и я вышелъ разочарованный, очень благодарный за гостепріимство, но вынесшій хуже нежели пустоту, какое-то засореніе въ головѣ. Я бѣжалъ отъ уединенія, не зная чѣмъ избавить себя отъ поѣдающей меня внутренней работы логическихъ ли построеній или фантастическихъ сооружений, а нашелъ убиваніе времени, послѣ чего голова не освѣжалась, а тяжелѣла. Придешь къ Лаврову; тамъ по крайней мѣрѣ у отца его, дядька, вытеребишь объ его молодости. Онъ родомъ изъ барскаго села, и бариномъ у нихъ былъ сочинитель. Слово „сочинитель“ произносилось съ почтеніемъ, и изъ рассказовъ видно, что и тогда когда „сочинитель“ здравствовалъ, онъ пользовался почтеніемъ отъ окружающихъ за свое сочинительство.

„Кто же это такой? думалъ я. Не Державинъ ли? Ужъ не Карамзинъ ли?“ Изъ рассказовъ оказалось что это былъ Николевъ. Николевъ! Я до того времени о немъ

и не слыжалъ, а на дьячка Егоръ сохранилось обаяніе, и онъ съ видомъ почти благоговѣнія перечислялъ мнѣ творенія этого, совершенно забытаго теперь писателя, не пользовавшагося особенною славой, кажется, и въ свое время. Какая противоположность съ однимъ офицеромъ, съ которымъ я познакомился лѣтъ чрезъ десятокъ, родственникомъ по женѣ! Познакомившись, я полюбопытствовалъ знать о его службѣ: заставный офицеръ; а прежде гдѣ служилъ? Онъ перечислялъ полки и корпуса и затруднялся припомнить фамилію главнокомандующаго, при которомъ началъ службу.

— Вотъ не помню, какъ его...

Я пытался ему помочь, перечисляя нѣкоторыя фамиліи извѣстныхъ мнѣ второстепенныхъ генераловъ стараго времени. Наконецъ онъ вспомнилъ:

— Ну, Суворовъ. Вотъ, вспомнилъ.

Предоставляю читателю судить о моемъ не то удивленіи, а остоленіи. Я началъ допытываться, не смѣшалъ ли онъ, не перевралъ ли; нѣтъ, оказалось, что онъ забылъ именно фамилію знаменитаго полководца, перешедшаго Чертовъ мостъ, князя Италійскаго, графа Суворова - Рымникскаго. Вотъ и судите: одне съ благоговѣніемъ чтить память знаменитаго, по его мнѣнію, сочинителя Николева; другой не вспомнить фамилію главнокомандующаго, который однако былъ Суворовъ.

Досказать ли о Лавровѣ? Дьяконскаго мѣста въ Москвѣ онъ не успѣлъ получить. Просидѣвъ въ Риторикѣ шесть лѣтъ, онъ равно шесть лѣтъ просидѣлъ и въ Философіи. Я уже поступилъ въ Академію, а онъ все еще сидѣлъ на ученической скамьѣ средняго отдѣленія. Я уже потерялъ его изъ вида: совсѣмъ, года три почти не встрѣчался, какъ получаю въ Академіи письмо съ просьбой написать сочиненіе. Бѣдный, что съ нимъ стало?



## XII.

## Свѣтскій послушникъ.

Прерываю теченіе разсказа, чтобы познакомить читателя съ однимъ замѣчательнымъ человѣкомъ, упомянутымъ въ предшествовавшей главѣ. Онъ не имѣлъ отношенія ни къ семинаріи, ни ко мнѣ въ частности, но заслуживаетъ памяти какъ самъ по себѣ, такъ и потому что судьба его и положеніе даютъ дополненіе къ нравственному облику знаменитаго всероссійскаго іерарха, Филарета.

Я упомянулъ, что Николай Лавровъ, мой спутникъ и кліентъ, могъ мечтать о полученіи дьяконскаго мѣста въ Москвѣ со временемъ, при помощи „всесильнаго Александра Петровича“, своего родственника. Кто этотъ всесильный родственникъ? Это былъ Александръ Петровичъ Святославскій, домашній секретарь митрополита Филарета. Его считали всесильнымъ, потому что онъ успѣвалъ устраивать соихъ родныхъ на епархіальныя мѣста помимо болѣе достойныхъ кандидатовъ. Да и вообще проситель, снабженный помощью „Александра Петровича“, подъ этимъ именемъ извѣстнаго всей епархіи, могъ быть увѣренъ въ успѣхѣ. Его протекція для того, кто успѣвалъ ее пріобрѣсти, была вѣрнѣе протекціи всякаго сановника; но на дѣлѣ онъ былъ отнюдь не всесиленъ и не брался за то, что ему прямо не подлежало. Читатель ошибется, если въ образѣ Святославскаго представитъ себѣ архіерейскаго секретаря, подобнаго тому секретарю Орловскаго епископа, которому вмѣстѣ съ его патрономъ сочиненъ былъ въ пятидесятыхъ годахъ сатирической акаѳистъ, разошедшійся въ рукописи по духовенству всей Россіи. Ничего похожаго, потому что и самъ Филаретъ былъ не Смарагдъ.

По поступленіи на Московскую епархію, Филаретъ потребовалъ отъ консисторіи, чтобъ она прислала ему писца для домашней его канцеляріи. Консисторія прислала Святославскаго; \* онъ и былъ писецъ, не болѣе, хотя получилъ семинарское образованіе; писцомъ онъ и остался до смерти, послѣдовавшей чрезъ тридцать слишкомъ лѣтъ его службы. Во все это время Святославскій былъ неизмѣнною тѣнью митрополита, повсюду его сопровождавшею, ни на сутки, почти ни на часъ отъ него не отлучавшеюся, не потому однако и не затѣмъ, почему и затѣмъ неотлучно состоятъ секретари иногда при другихъ архіереяхъ и правители дѣлъ вообще у сановниковъ, затрудняющихся иногда ступить шагъ безъ „правой руки“. Митрополитъ не поручалъ никакихъ дѣлъ секретарю; каждое дѣло обсуживалъ самъ и самъ составлялъ каждую бумагу. Онъ не возлагалъ на секретаря никакихъ и докладовъ, а тѣмъ менѣе позволялъ ему подавать какія-нибудь мнѣнія. Доклады вѣданные, секретари консисторіи, ректоры, благотворительные, каждый по кругу своихъ обязанностей; просители каждый лично объясняли, когда помимо письменной просьбы требовалось личное объясненіе. Домашнему секретарю оставалось докладывать не о дѣлахъ, а только о лицахъ, являющихся съ докладами или просьбами, и то въ ограниченныхъ случаяхъ. Первою его обязанностью была регистратура официальной переписки митрополита. Затѣмъ онъ былъ переписчикъ и чтецъ. Читалъ онъ митрополиту иногда входящія бумаги (когда онъ бывали очень обширны), а чаще книги, и притомъ свѣтскія, когда любопытствовалъ владыка о ихъ содержаніи; переписывалъ бумаги исходящія отъ митрополита. Писецъ и чтецъ только, писецъ

\* Святославскій былъ сынъ извѣстнаго по исторіи протоіерея Сороковскаго церкви Веніамінова, убитаго въ 1812 году французами на паперти за отказъ отдать имъ ключи отъ церкви. У троихъ сыновей убитаго протоіерея были три разныхъ фамиліи: Веніаміновъ, Святославскій и Григоровичъ. Въ духовенствѣ была не рѣдкою такая прихотливость: родные братья, а фамиліи разныя.

и чтецъ неотступный въ теченіе тридцати слишкомъ лѣтъ, писецъ и чтецъ составлявшій всю канцелярію сановника, управлявшаго не только епархіальными дѣлами, но цѣлымъ духовно-учебнымъ округомъ, участвовавшаго во всѣхъ Синодальныхъ дѣлахъ сколько-нибудь важныхъ, входившаго въ постоянное должностное соприкосновеніе съ генераль-губернаторомъ и съ министрами. Александръ Петровичъ былъ показателемъ между прочимъ всей умственной мощи, всей невѣроятной-обширной личной дѣятельности знаменитаго іерарха. Заурядная личность не должна бы выдержать и своего скромнаго значенія тѣни; дюжинныхъ человѣческихъ силъ не должно бы хватить и на то, чтобы быть планетой столь большаго свѣтила. Но Святославскій выдержалъ, и въ теченіе тридцати лѣтъ не отходилъ отъ владыки, не искалъ повышеній или лишняго вознагражденія, кромѣ помощника себѣ, такого же писца. Онъ носилъ миниатюрный портретъ митрополита вмѣстѣ съ крестомъ на шеѣ, вынималъ его иногда и нелицемѣрно цѣловалъ наравнѣ съ крестомъ, какъ икону. Александръ Петровичъ былъ не только писецъ и чтецъ, но былъ подвижникъ, послушникъ, только одѣтый въ длиннополый сюртукъ вмѣсто подрясника; подвигъ иноческаго послушанія онъ несъ исправнѣе и ревностнѣе любаго монаха. Онъ не былъ женатъ и никуда, за исключеніемъ чрезвычайныхъ случаевъ, не выходилъ изъ своихъ двухъ комнатъ, которыми пользовался въ митрополичьихъ покояхъ. Единственными прихотями его были хорошій чай и трубка съ табакомъ. Хотя куренье табаку не одобрялось митрополитомъ, но онъ не насиловалъ въ этомъ своего секретаря.

Въ теченіе тридцати лѣтъ явва-митрополитъ ни разу не посадилъ своего писца-послушника въ своемъ присутствіи; только въ послѣдніе годы или даже въ одинъ, предсмертный годъ, когда Александръ Петровичъ, изнуренный, уже носилъ въ себѣ роковой исходъ, митрополитъ указывалъ ему на стулъ, съ позволеніемъ сѣдя

продолжать чтеніе, тянувшееся нѣсколько часовъ. Обращеніе владыки не переходило никогда въ подобіе близости. „Если святитель призоветъ да скажетъ ласковымъ, почти просительнымъ тономъ: вотъ поторопись, перепиши *пожалуйста*,—я ужъ понимаю. Это значитъ какая-нибудь длинная записка, за которою надобно сидѣть и день и ночь на пролетъ, да и не одну. Безъ того отдастъ молча или прикажетъ сухо: перепиши.“ Суровость обращенія впрочемъ вообще смягчилась послѣ того какъ за три года до смерти \* со Святославскимъ послѣдовалъ ударъ. Начали дѣлаться припадки, и когда доводимо было о нихъ до свѣдѣнія владыки, онъ входилъ къ больному, благословлялъ его; какъ родные увѣряютъ, Александръ Петровичъ немедленно подъ дѣйствіемъ благословенія приходилъ въ себя, раскрывалъ глаза и улыбался.

Александръ Петровичъ былъ почтенъ вниманіемъ и уваженіемъ не только епархіальнаго духовенства, но всѣхъ кому приходилось имѣть постоянныя дѣла съ митрополитомъ. Старосты и храмоздатели осыпали его подарками и не предпринимали ничего безъ его совѣта, а державшіе раскаивались послѣ въ своей самонадѣянности.

Митрополитъ не бралъ денегъ за освященіе храмовъ; онъ признавалъ совершеніе этого обряда обязанностію своего пастырскаго служенія. Александръ Петровичъ предупредилъ объ этомъ одного Тита Титыча, который удостоился того, что самъ владыка освятилъ созданный имъ храмъ.

— Ну, да мы знаемъ. Небось, не посрамлюсь.

Ввалился Титъ Титычъ ко владыкѣ благодарить за посѣщеніе, котораго удостоилось сооруженіе. Принять. Благодарить.

— Вотъ, владыка, примите отъ моего усердія, кланяется храмоздатель и предлагаетъ митрополиту пачку.

\* Умеръ Святославскій въ 1856 году, какъ говорили, отъ размягченія мозга.

Благословилъ митрополитъ и говорить: Я не принимаю платы за освященіе храмовъ.

— Да ваше высокопреосвященство, вы пересчитайте, вѣдь тутъ тысяча рублей, съ необыкновеннымъ самоудовольствомъ настаиваетъ Титъ Титычъ.

— Вонъ ступай! воскликнулъ раздраженный митрополитъ.

— Я васъ предупреждалъ, замѣчаетъ потомъ Святославскій ошпаренному ктитору, который уже предвкушалъ на своей груди медаль.—Охъ, то-то вотъ и есть; не общаюсь, но попытаюсь умолить владыку, продолжалъ Александръ Петровичъ.—Вы только не показывайтесь на глаза, пока я васъ не увѣдомлю.

Выбираетъ случай и докладываетъ владыкѣ Святославскій, что староста сокрушается, просить прощенія и не смѣетъ явиться.

— Да представь себѣ, онъ мнѣ предлагалъ деньги!

— Онъ не умѣлъ объяснить, владыка. Онъ деньги приносилъ не вамъ, а на Горихвостовское заведеніе для бѣдныхъ духовнаго званія. Хочетъ ознаменовать освященіе храма пожертвованіемъ на бѣдныхъ.

— Это дѣло другое, сказалъ митрополитъ смягчившись.—Пусть внесетъ.

— Но онъ проситъ вашего благословенія.

— Пусть явится.

Отъ совѣщанія съ Александромъ Петровичемъ не уклонялись и болѣе значительныя лица, имѣвшія нужду въ митрополитѣ, свѣтскія особы и духовныя, даже архіереи. Попастъ въ часъ, угодить вкусу, оберечься отъ безтактности,—кто же могъ наставить въ этомъ вѣрнѣе неизмѣнной тѣни митрополита, его неизмѣннаго слуги?

Просилъ я не разъ Александра Петровича къ себѣ, передавалъ мнѣ одинъ изъ московскихъ настоятелей, поддерживавшій добрыя сношенія со столь необходимымъ лицомъ какъ секретарь владыки.

— Вы знаете мое время, когда же мнѣ выбрать

своимъ знаніемъ? И должно отдать ему справедливость: онъ пользовался не на зло, а на добро, хотя иными не заслуженное.

Не оставилъ митрополитъ своего вѣрнаго писца-чтеца и безъ официальной награды. Онъ его представилъ къ ордену, и помнится по указанію Синодальнаго оберъ-прокурора. Самъ бы онъ на это не дерзнулъ. Официальное положеніе Святославскаго, не занимавшаго классной должности, значившагося едва ли не писцомъ консисторіи, не давало ему правъ на служебную награду. А митрополитъ былъ строгій законникъ, не позволялъ себѣ никогда превысить мѣру полномочій закономъ данныхъ, и тѣмъ болѣе просить чего-нибудь изъ уваженія къ себѣ лично, къ своимъ архіерейскимъ заслугамъ. Итакъ, въ силу посторонняго указанія, чуть не понужденія, послѣдовало представленіе.

— Чтó же это вы, владыка, ничѣмъ не наградите Александра Петровича: такъ воспроизвожу себѣ слова другаго Александра Петровича, графа Толстаго, который зналъ Святославскаго и обращался къ его посредничеству еще ранѣе, чѣмъ получилъ званіе Синодальнаго оберъ-прокурора.

— Да чѣмъ же я могу наградить? вѣроятно отвѣчалъ съ недоумѣніемъ смиренный митрополитъ.—Онъ служить усердно, правда, но онъ не занимаетъ штатной должности.

Оберъ-прокуроръ успокоилъ, и митрополитъ представилъ къ Аннѣ 3-й степени и несомнѣнно радовался дѣтски, что успѣлъ обломать такую штуку, выхлопотать своему слугѣ такую неслыханную награду!

Нѣчто подобное потомъ было съ А. В. Горскимъ. Когда поручено было Горскому съ Невоструевымъ составить описаніе рукописей Синодальной библіотеки и когда совершена была ими первая часть этого безпримѣрнаго труда, съ которымъ по полнотѣ, основательности, глубинѣ, подробности не могутъ быть даже сравниваемы знаменитѣйшія описанія знаменитѣйшихъ

библіотекъ, составленныя знаменитѣйшими учеными Европы, митрополитъ представилъ Горскаго къ ордену Владиміра 4-й степени. Награда, правда, небывалая: Горскій не имѣлъ священнаго сана, но и не переходилъ въ свѣтское званіе. Онъ оставался подобно многимъ, на степени амфибія, точнѣе, на степени эмбриона, зародыша, изъ котораго одинаково можетъ выйти и водное и земное существо. Такія лица стояли внѣ обычной служебной лѣстницы и не имѣли права ни на какія награды кромѣ прибавки жалованья, квартирнаго пособія или перемѣщенія на высшую каѳедру. Высшая администрація петербургская, по крайней мѣрѣ по словамъ директора духовно-учебнаго управленія, сдѣлала даже чуть не законодательный вопросъ изъ представленія о награжденіи Горскаго. Ходатайство однако было уважено, митрополитъ утѣшенъ и съ видомъ необыкновенно полнаго удовлетворенія сказалъ Горскому, подавая орденъ: „За твою усердную службу царь жалуетъ тебя дворяниномъ“. А ученики и ученики учениковъ Александра Васильевича, изъ тѣхъ что облеклись въ мундиръ или рясу, дюжинами уже получили такимъ путемъ дворянство и давно обогнали учителя, возвышавшійся по служебной, лѣстницѣ за труды, и количественно и качественно меньшіе трудовъ Горскаго, при заурядной службѣ, которая своею государственною пользой даже въ отдаленное сравненіе не могла идти съ заслугами и педагогическими и писательскими знаменитаго профессора.

— А у насъ не такъ, сказалъ мнѣ покойный графъ Д. Н. Блудовъ съ огорченіемъ:—лишнюю бумагу составить, требуетъ особая награда.

Произнесено было это замѣчаніе въ 1853 году. Мнѣ поручено было тогда разобрать, описать и распределить по учебнымъ заведеніямъ раскольническія книги и рукописи, въ числѣ не одной тысячи экземпляровъ хранившіяся въ Синодальной библіотекѣ. На вопросъ: „что же вы за это получите?“—„Ничего“, отвѣчалъ я,

удививъ графа своимъ отвѣтомъ и въ свою очередь удивившись вопросу. Но послѣ я уже не удивлялся, когда дозналъ порядки гражданской службы. Не удивился, когда услышалъ чрезъ немного лѣтъ, какъ и самъ графъ подвергся наградной эксплуатаціи, несслыханной даже на гражданской службѣ.

— Какъ это досадно, что это онъ надѣлалъ! говорилъ мнѣ А. Н. Поповъ, извѣстный ученый, объ одномъ своемъ товарищѣ по службѣ во II Отдѣленіи Собственной Канцеляріи Его Величества.

Графъ Блудовъ былъ тогда главноуправляющимъ II Отдѣленія, и А. Н. Поповъ состоялъ при немъ и управлялъ его домашнею канцеляріей.

— Мнѣ нужно было съѣздить въ деревню, продолжалъ Поповъ:—онъ (называя другаго чиновника) долженъ былъ знать, что нельзя же графа здѣсь одного въ Москвѣ оставить. И вообразите, писецъ, кантонистъ К., воспользовался добротой графа, составилъ о себѣ представленіе, да какое! О производствѣ себя прямо въ коллежскіе совѣтники, да и орденъ на шею (кажется даже — *Владимира*), и наконецъ пенсія. Государь изъ уваженія къ графу конечно утвердилъ. Но можно ли было допустить до этого, зная безконечную доброту графа и неспособность его отказывать просьбамъ?

И долго негодовалъ Александръ Николаевичъ, и долго не могъ уходить. А я слушалъ его и вспоминалъ о Горскомъ и Святославскомъ. Вотъ одинъ со Владиміромъ 4-й, другой съ Анной 3-й степени, представившіеся митрополиту удостоенными наградъ превыше самыхъ смѣлыхъ мечтаній. Вспоминалъ и объ А. Θ. Кирьяковѣ, между прочимъ содѣйствовавшемъ мнѣ въ описаніи раскольническихъ рукописей. Онъ зналъ исправно не только древній, но и новогреческій языкъ, и это послужило ему если не въ несчастіе, то въ значительное бремя. При каждомъ сношеніи съ восточными патріархами, когда приходилось справляться съ



древними актами, его запрягали рыться въ архивъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, извлекать изъ документовъ свѣдѣнія и переводить ихъ. Ему поручено было и перевести толкованіе Іоанна Златоуста на цѣлую книгу Новаго Завѣта (*Посланіе къ Галатамъ*). Все это онъ исполнялъ, разумѣется, безпрекословно, хотя ни переводы, ни архивныя розысканія не входили въ обязанность профессора семинаріи. И за всѣ свои заботы и труды, иногда очень не малые и продолжительные, долженъ былъ онъ довольствоваться ласковымъ словомъ и благословеніемъ митрополита. Но такъ насъ воспитывали; этотъ духъ Филарета крѣпокъ былъ тогда. Уклоняться отъ труда, когда предложеніе его есть честь оказываемая, тѣмъ болѣе—торговаться о трудѣ обнаруживало бы безчестный образъ мыслей. Спрашивай о томъ, полезенъ ли трудъ, и старайся о томъ, чтобъ онъ принесъ пользу; находи себѣ и утѣшеніе и награду въ приносимой тобою пользѣ. Разсуждая иначе, ты негодный наемникъ и не заслуживаешь ни довѣрія, ни уваженія, да и пользы принести не можешь, потому что не служишь и не способенъ служить дѣлу. Съ тѣмъ же А. Ѳ. Кирьяковымъ былъ случай даже нѣсколько забавный. Его переводъ *Посланія къ Галатамъ* былъ напечатанъ на Синодскій счетъ, а ему, переводчику, даже экземпляра не подарили. Этой черствой невнимательности тоже нельзя одобрить. Но забавно, что переводчикъ, чтобы поднести митрополиту свой трудъ въ печатномъ экземплярѣ, вынужденъ былъ его купить и на свой счетъ переплести!

Лично я зазналъ А. П. Святославскаго только шапочно и притомъ когда уже состоялъ на кафедрѣ. Гладко выбритый, съ вѣжливо ласковымъ выраженіемъ, онъ низко кланялся всѣмъ намъ, и старымъ и молодымъ педагогамъ Академіи, былъ предупредителемъ. Онъ держалъ себя не по своему дѣйствительному значенію, а по табели о рангахъ и виѣшнему положенію въ архіерейскомъ штатѣ.

## XLIII.

## Товарищи.

Еще чуть ли не въ первый мѣсяцъ пребыванія моего въ семинаріи завязалось у меня самымъ оригинальнымъ образомъ знакомство съ однимъ соученикомъ, поступившимъ изъ другаго училища. Съ поперечной скамьи, на которую первоначально былъ посаженъ, задумалъ я пересѣсть куда-нибудь и выбралъ вторую скамью на той же лѣвой сторонѣ. Почему ее, а не другую? На правую переходить далеко, а первая на лѣвой была занята старыми. Во всѣ два года я и не оставлялъ лѣвой стороны, садясь то на второй, то на третьей скамьѣ. На первыхъ садиться, выставляться, находилъ неловкимъ.

Сажу. Съ обѣихъ сторонъ незнакомыя лица. Во время лекціи, чувствую, чья-то рука съ правой отъ меня стороны подъ пюпитромъ тянется къ моей, ищетъ и кладетъ въ нее бумажку. Поднимаю изъ-подъ пюпитра руку, развертываю бумажку и вижу: совершенно пустая. Сидѣвшій направо сосѣдъ моего сосѣда хихикнулъ; его сосѣдъ, сидѣвшій далѣе, тоже засмѣялся. Въ наступившій свободный часъ послѣ лекцій шутникъ сталъ отпускать на счетъ меня остроты, впрочемъ безобидныя, задирать меня, обращаясь и лично, безъ дерзостей и оскорбленій однако. Сколько понимаю теперь, это былъ бурсацкій способъ рекомендовать себя въ знакомство. Болѣе умнаго и болѣе приличнаго способа малый не придумалъ. Онъ былъ Перервенецъ, слѣдовательно круглый сирота и никакого общества кромѣ бурсачнаго не видалъ. Пришлось мнѣ познакомиться невольно; я долженъ былъ отзываться, а затѣмъ и самъ задавать вопросы. Знакомство, такъ оригинально начавшееся, продолжалось затѣмъ во весь семинарскій курсъ. Только

Академія насъ разлучила; пріятель мой и туда за мною послѣдовалъ, но не выдержалъ вступительнаго экзамена.

Да, это былъ пріятель; изо всѣхъ соучащихся онъ былъ единственный, съ которымъ у меня дошло на „ты“. Болѣе ни къ кому я не обращался въ единственномъ числѣ за всѣ десять лѣтъ въ Семинаріи и въ Академіи. Отчего, самъ не постигаю. Были потомъ истинные друзья; любимые и уважаемые, единомысленные, друзья неразлучные въ теченіе цѣлыхъ шести лѣтъ; насъ было трое, и мы сами сознавали странность вѣжливо-холоднаго обращенія при нашей душевной близости; даже давали другъ другу слово обратиться къ единственному числу. Но нѣтъ, не выходило, и мы бросали, возвращаясь къ чинному „вы“. А съ Перервенцемъ, навязавшимся мнѣ въ знакомство, сошло на „ты“ очень скоро; выходило на оборотъ очень неловко держаться на множественномъ числѣ.

Пріязнь наступила не вдругъ и никогда не была ободно полною. Потребовалось болѣе двухъ лѣтъ, чтобъ отношенія стали тѣснѣе. Въ первые два года я не помню даже ни одного случая, гдѣ бы сказала наша общность; не припомню даже, гдѣ онъ жилъ учась въ низшемъ отдѣленіи. Только не въ „казнѣ“, не въ монастыряхъ и не въ Остермановомъ домѣ, и это меня удивляетъ теперь: въ качествѣ круглаго сироты онъ долженъ былъ состоять на казенномъ коштѣ; не получалъ ли онъ пособіе деньгами?

Близость трудно завязывалась, потому что мы замѣшаны были на разномъ тѣстѣ. Сирота съ ранняго дѣтства, сынъ сельскаго священника, пьянаго и буйнаго, сведшаго еще ранѣе мать въ могилу, Перервенецъ не имѣлъ и родныхъ близкихъ, а въ тѣхъ, которыхъ имѣлъ, не возбуждалъ родственной нѣжности. Ни память отца, ни личныя качества сиротъ, не трогали сердецъ у двоюроднаго дяди или двоюродной сестры. У тѣхъ свои семьи; въ пору на нихъ расходовать чувства. Отданы

ребята въ бурсу. Ихъ было четверо; старшій скоро вывалился и поступилъ писцомъ не то въ Сиротскій Судъ, не то въ Управу Благочинія, но и тамъ не удержался. Второй къ моему времени дошелъ до средняго отдѣленія семинаріи, поступилъ отсюда въ Медицинскую Академію, но почти тотчасъ женился на швеѣ, мѣщанкѣ какой-то во всякомъ случаѣ, да еще съ семьей, которая съѣла на шею зятю, или онъ ей—кто разберетъ? Но нищета вынудила бросить Академію и поступить на службу тоже писцомъ куда-то. Третій, лѣнивый и неспособный къ ученью малый, засидѣлся въ училищѣ, давъ обогнать себя четвертому, моему пріятелю. Пріятель мой былъ изъ первыхъ на Перервѣ, не выходилъ изъ числа лучшихъ и въ Семинаріи. Но самопомощь, въ которую бросила его судьба при столь неблагоприятной обстановкѣ, не могла воспитать въ немъ идеаловъ. Привычки и потребности были грубы. Рюмка и даже публичный домъ рано были ему знакомы, не возбуждая отвращенія; напротивъ, въ томъ и другомъ видѣлась ему, со многими другими, удаля, которою онъ хвалился. Безъ отвращенія, напротивъ съ восхищеніемъ объ изворотливости, передавалъ онъ о слышанныхъ имъ какихъ-нибудь небывалыхъ продѣлкахъ мошенничества. Чтò общаго могло быть съ нимъ у меня? На ряду со всѣми я выслушивалъ его рассказы о походахъ, часто очень грязныхъ, въ которыхъ онъ бывалъ иногда главнымъ, иногда второстепеннымъ участникомъ. Онъ умѣлъ рассказывать живо, не лишенъ бывалъ остроумія и лицедѣйственной способности; какъ душу общества, его приглашали нѣкоторые изъ соучениковъ къ себѣ даже въ домъ къ родителямъ; у нѣкоторыхъ онъ гащивалъ.

Онъ учился, онъ и читалъ; тѣ же обстоятельства ограничили однако чтеніе его Поль де-Кокомъ и литературой Толкучки. Когда мы бывали въ трактирѣ, онъ не бросался подобно мнѣ на журналы; любознательность его въ этомъ отношеніи была ниже даже, нежели у Доброуравова, моего кліента, и чуть не ниже нежели у

Лаврова. Онъ охотиѣ отправлялся, пока я читаю книгу, въ билліардную, посмотрѣть тамошній бой игроковъ. Но о содержаніи классныхъ уроковъ мы иногда разговаривали, передавали другъ другу недоумѣнія и разрѣшали ихъ. Больше впрочемъ наши отношенія вращались въ практической сферѣ: купить гдѣ что, гдѣ чего достать, на это онъ былъ хорошій совѣтникъ.

При казенномъ пособіи Перервенецъ, такъ буду называть его, питался перепиской лекцій; проживалъ на урокъ сначала у своего родственника дьякона, а потомъ у посторонняго протоіерея. Живалъ и на квартирахъ, и между прочимъ у своего брата, который колотился придумывать разные способы прокормить семью, въ томъ числѣ пусканье нахлѣбниковъ. Перервенецъ приглашалъ меня къ себѣ въ гости, между прочимъ и посмотрѣть Наташу, свояченицу (жену брата), за которою онъ ухаживалъ и которая будто бы тоже была равнодушна къ нему; а она красавица. И былъ я, и видѣлъ; дѣйствительно пышная, красивая женщина, и сердце мое сжалось. Цѣль ухаживанія, понятно, была самая грязная; у пріятеля былъ низкій замыселъ, между прочимъ поймать свояченицу въ расплохъ, даже подпойть ее. Я пытался представить ему всю гадость поступка, но говорилъ стѣнѣ. „Не я, такъ другой“, отвѣчалъ онъ. Вліянія не имѣлъ я на него; онъ былъ и старше меня и опытнѣе во всемъ. Во взаимномъ положеніи нашемъ мужескій элементъ, дѣятельный, былъ за нимъ; за мною женственный, пассивный. Еслибъ я не предохраненъ былъ всѣмъ внѣшнимъ прошлымъ и внутреннимъ самовоспитаніемъ, скорѣе могло случиться, что я бы низвергся въ бездну, увлеченный пріятелемъ.

Охотиѣ навѣщалъ я его, когда онъ квартировалъ у общаго нашего товарища въ домѣ князя Бѣлосельскаго-Бѣлозерскаго, на Тверской (домъ Малкіеля потомъ, теперь Носовыхъ). Во флигелѣ жилъ управляющій домомъ, дворовый человѣкъ. Розановъ, товарищъ нашъ — сынъ священника изъ села, принадлежавшаго Бѣлосельскимъ-

Бѣлозерскимъ, получалъ отъ управляющаго комнату, въ которой одно время жилъ и Перервенецъ. Съ восторгомъ передавалъ онъ мнѣ о спокойномъ, уютномъ, совершенно отдѣльномъ уголкѣ, на который онъ напалъ; объ удобствахъ заниматься, о независимости положенія: не то что на людяхъ, въ чужомъ домѣ на урокъ. А главное—предлагалъ онъ мнѣ послушать игрока на гитарѣ, необыкновенно искуснаго, по его словамъ, приводящаго въ восторгъ; онъ самъ ради этого началъ учиться на гитарѣ и даже купилъ подержанный инструментъ, заплативъ съ чѣмъ-то рубль. Отправился я, былъ и разъ, и два, и больше: просиживалъ по часамъ. Комната дѣйствительно особенная, хотя не отдѣльная, менѣе грязная нежели въ Коломенской бурсѣ или Богоявленскомъ общежитіи, удушливая однако до нестерпимости. За то была гитара, на которой я и самъ началъ учиться. Знаменитый игрокъ оказался исключенный изъ семинаріи прохвостъ, лѣтъ двадцати, прокармливавшійся игрой на билліардѣ въ трактирахъ, а можетъ-быть чѣмъ и еще хуже. Игралъ онъ не дурно дѣйствительно, сколько могу помнить. Въ ходу была тогда *Аскольдова Мошля*, и Перервенецъ перенялъ отъ него, а я отъ Перервенца, *Ахъ, подруженки*, *Ужъ какъ вьѣтъ вьтерокъ* и *Близко юрода Славянска*. Душа моя питалась нѣсколько, но впечатлѣніе все-таки омрачалось. Для игрока-учителя требовалось угощеніе; бутылки съ пивомъ, даже полштофъ съ зеленымъ являлись къ услугамъ. Участвія въ попойкахъ я не принималъ; положеніе бывало стѣснительно, и я уходилъ, предпочитая визиты, которые не вели ни къ встрѣчѣ съ билліардною знаменитостью, ни къ полштофамъ.

Уроки на гитарѣ и смотръ Наташѣ относились ко времени пребыванія моего въ среднемъ отдѣленіи семинаріи. Къ тому же времени относится и начало знакомства съ Алексѣемъ Алексѣевичемъ Остроумовымъ. Впрочемъ этимъ классомъ близкое знакомство и кончилось, а установилось оно чрезъ сосѣдство по ученической скамьѣ: мы сидѣли рядомъ, уже на первой скамьѣ

теперь, которой въ среднемъ отдѣленіи я не обѣгалъ. А. А. Остроумовъ вмѣстѣ съ братомъ Василиемъ Алексѣвичемъ былъ тоже круглый сирота. Когда еще былъ я въ низшемъ отдѣленіи, два эти брата поражали меня своимъ сходствомъ; я ихъ не отличалъ, хотя они были не близнецы; В. А. былъ старше, должно-быть, однимъ годомъ, и былъ уже въ среднемъ отдѣленіи, когда Алексѣй былъ въ низшемъ, только не въ томъ гдѣ я учился, а въ параллельномъ. Присмотрѣвшись послѣ, по переходѣ въ среднее отдѣленіе, я даже удивлялся, что принималъ ихъ за двойниковъ. Но было что-то, дававшее смѣшивать ихъ, или точнѣе — не было чего-нибудь, по чему посторонній глазъ и мой въ частности, на первый разъ отличаетъ одну фигуру отъ другой. Японцы и Китайцы Европейцу на первый разъ представляются всѣ на одно лицо; вѣроятно и Европейцы тоже Японцу или Китайцу, если не выдаетъ ростъ или рѣзко отличный цвѣтъ волосъ. Глазомъ, по крайней мѣрѣ моимъ, должно-быть схватывается прежде всего общій типъ, а къ подробнымъ чертамъ вниманіе обращается позднѣе.

А. А. Остроумовъ былъ юноша вполне приличный и въ одеждѣ и въ пріемахъ; на лицѣ не лежало ни пошлости, ни той печати, отличавшей семинарскіе подонки, которая по первому взгляду внушаетъ сомнѣніе, полпивная или мастерская чаще всего выдаетъ носителя фizioноміи. Въ цилиндрѣ, въ опрятномъ сюртукѣ, въ столь же опрятной шинели, онъ имѣлъ видъ джентльмена. Какъ много значитъ общество, среди котораго вырастаетъ дитя! Оба брата жили у опекуна, московскаго священника, и у того же священника проживалъ студентъ или кандидатъ перваго курса Московской Академіи, одинъ изъ неудачниковъ, почему-то не нашедшій должности и пріютившійся у товарища - священника. Должно-быть зелено-вино разстроило каррьеру ученаго мужа, фамиліи котораго не помню. Но простое треніе о развитую личность положило совсѣмъ другую отъ

товарищей печать и на братьевъ-питомцевъ. Не Польде-Кокъ и литература Толкучки были чтеніемъ Остроумова: онъ зналъ русскихъ поэтовъ, ощущалъ ихъ красоты, и многое изъ нихъ изучилъ наизусть. Выдающимся его мастерствомъ было умѣнье читать, чему помогалъ между прочимъ и прекрасный баритонъ, способный къ самымъ нѣжнымъ переливамъ. Онъ такъ мастерски читалъ, такъ осмысленно, что записанъ былъ первымъ по исторіи въ среднемъ отдѣленіи, подобно Солнцеву въ низшемъ. Это не диво, но диво то, что я, не чувствительный къ стихамъ вообще и неспособный ихъ заучивать, знаю нѣкоторыя стихотворенія наизусть доселѣ, послѣ того какъ прослушалъ чтеніе Остроумова. Можно отсюда видѣть, что это былъ огромный талантъ и конечно пропавшій; почтенный Алексѣй Алексѣвичъ теперь священствуется, да и притомъ въ такомъ приходѣ, гдѣ живой декламации прямо смерть—въ единовѣрческомъ. А я млѣлъ, заслушивались и другіе, когда онъ читывалъ, наизусть разумѣется, Пушкина, мелкія стихотворенія и цѣлыя главы. Такую силу дать каждому слову, такъ глубоко захватить каждый оттѣнокъ, каждую мелкую черту! Разъ чѣмъ-то возбудилъ неудовольствіе цѣлаго класса и Остроумова въ частности одинъ поступокъ воспитанника, прозваннаго Шишигой; не помню поступка, но онъ признанъ былъ неблагороднымъ. Остроумовъ сказалъ экспромптомъ рѣчь Шишигѣ. Я таялъ отъ восторга: это истинное краснорѣчіе, достойное Демосоена. Откуда взялись выраженія, сравненія и при всемъ этомъ удивительная декламация, въ самую душу проникающая! Такую декламацию я слышалъ только два раза въ жизни; подобное впечатлѣніе я испыталъ еще, когда слушалъ Щепкина, читавшаго сцены изъ *Скупую Рыцаря*.

Въ старыя, Платоновскія времена, къ декламации приучали въ семинаріяхъ. Самъ Платонъ былъ мастеръ въ произношеніи; таковымъ же былъ Августинъ; заботи-



признаніе одного магистра-священника: „ну, батюшка, я даже и читать почти разучился; книги не было въ рукахъ двадцать лѣтъ“. Но сожитель Остроумова, хотя и въ лѣтахъ человѣкъ, былъ какъ сейчасъ со школьной скамьи; умственные интересы сохранились, и тѣмъ живѣе ощущались, чѣмъ менѣе было постороннихъ развлеченій и чѣмъ болѣе могъ онъ поддерживать ихъ продолжающимся чтеніемъ. „Вотъ откуда, подумалъ я, идя изъ-за Сухаревой башни подъ Дѣвичій, у Алексѣя Алексѣевича такая любовь къ Пушкину и такое чутье къ его красотамъ!“

Въ богословскомъ классѣ мы разошлись съ Остроумовымъ, оттого что сѣли на разныхъ скамьяхъ. Здѣсь другой товарищъ-сосѣдъ сталъ ближайшимъ, Николай Алексѣевичъ Р. Живъ ли онъ? Въ одной залѣ мы слушали съ нимъ и лекціи философскаго класса, но въ два года другъ другу даже не поклонились. Сидѣлъ онъ на противоположной сторонѣ, и встрѣтиться поближе случая не приходило. Какое-то несчастное происшествіе было причиной, что его оставили въ философскомъ классѣ на повторительный курсъ, такъ что при переходѣ моемъ въ среднее отдѣленіе я нашелъ его тамъ „старымъ“. Но онъ былъ не изъ малоуспѣшныхъ; происшествіе, оставившее его старымъ, относилось къ поведенію, а не къ успѣхамъ. Чтò такое натворилъ онъ? Никогда я его не спрашивалъ, и онъ не упоминалъ. Виною было непременно недоразумѣніе; это былъ молодой человѣкъ серьезный и съ самообладаніемъ. Вышло почему-то, что я облюбовалъ по переходѣ въ богословскій классъ мѣсто на второй скамейкѣ между нимъ и И. П. Сокольскимъ, басомъ и солистомъ семинарскаго хора. Сокольскій былъ добрый малый, исправный ученикъ, но не хватавшій звѣздъ и не порывавшійся далеко. Но у Р. мыслительная машина была въ усиленномъ ходу, и я съ нимъ по сердцу бесѣдовалъ, передавая ему свои недоумѣнія и духовныя боли при слушаніи богословскаго курса и получая отъ него таковыя же. Сообща мы об-

суживали, спорили, успокоивались; вмѣстѣ обыкновенно готовились и къ экзамену. О существѣ нашихъ недоумѣній и совѣщаній сказать будетъ время; ограничусь пока только внѣшними отношеніями.

Николай Алексѣвичъ былъ старшимъ Богоявленскаго общежитія, и я навѣщалъ его, предъ экзаменомъ даже ночевалъ. Онъ былъ старше меня лѣтами вѣроятно года на три. Старшинство возраста вмѣстѣ со старшинствомъ по общежитію придавало ему сановитость. Онъ держалъ себя не только какъ взрослый, но какъ пожилой человѣкъ. Дурачествъ ни себѣ не позволялъ, ни въ другихъ ими не любовался. Удадь не была для него идеаломъ, какъ для Перервенца. Онъ не прочь былъ выпить рюмку, но не для того чтобы напиться, и кутежъ былъ не по его природѣ. Поэтому мы съ нимъ въ трактиръ не хаживали; чай онъ пилъ у себя дома, въ комнатѣ, которую въ качествѣ старшаго занималъ въ общежитіи отдѣльно отъ подвластныхъ ребятъ. Но былъ случай, онъ зазвалъ меня, и притомъ въ грязный трактиръ, для того чтобы посвятить меня во „взрослаго“. Это былъ трактиръ на Трубной площади, помню, Соколовскаго. Мы вошли, игралъ органъ; кромѣ посѣтителей мужскаго пола сидѣли и расхаживали дѣвицы. Николай Алексѣвичъ провелъ меня въ особенную комнату и здѣсь, пока мы сидѣли за чаемъ, велѣлъ позвать „Пелагею“, представилъ ей меня и мнѣ ее, поручая насъ взаимному вниманію. Это былъ первый разъ въ жизни, но онъ же былъ и послѣдній, что я видѣлъ вблизи особу такого сорта. Р. рекомендовалъ ее, какъ выдѣляющуюся изъ другихъ своею степенностію; изъ его словъ я понялъ, что онъ смотрѣлъ на нее какъ на ремесленницу, не отличая ремесла ея отъ другихъ ремеслъ. Меня это поразило и въ степенномъ Николаѣ Алексѣвичѣ удивляетъ до сихъ поръ. Но вотъ чего я не могу себѣ простить до сихъ поръ — малодушія, съ которымъ я отговорился отъ предлагаемаго знакомства, приведя не помню какую причину, но не отвращеніе,

которое въ дѣйствительности отталкивало меня. И въ отношеніи къ Р. я все-таки оставался женственнымъ элементомъ, не смотря на свое умственное превосходство, котораго вдобавокъ Р. во мнѣ и не отрицалъ. Можетъ-быть впрочемъ и онъ далъ бы мнѣ то же объясненіе, что Перервенецъ о Наташѣ?

Мужественный и женственный элементъ! Отъ одного замѣчательнаго русскаго ученаго, слышалъ я замѣчаніе, что сочетаніе половъ подъ разными видами и именоваціями проходитъ по всему мірозданію: не только въ животномъ и растительномъ царствѣ, но и въ химическихъ процессахъ и механическомъ движеніи свѣтилъ формула все та же одна вездѣ, говорилъ онъ, поясняя этотъ законъ опытами и математическими выкладками. Глубоко мнѣ врѣзалось это замѣчаніе; полное развитіе его въ научномъ изложеніи должно бы составить эпоху и поставить нашего ученаго въ рядъ съ Секки, если не выше. Но не въ томъ дѣло. Съ кѣмъ я ни соприкасался въ жизни, вездѣ за мною оставалась женственная, пассивная роль. Я занималъ каеэдру и пользовался рѣдкимъ вниманіемъ слушателей; я увлекалъ; затаивъ дыханіе мнѣ внимали. (Надѣюсь, бывшіе слушатели мои не отвергнуть этого и не улпчатъ въ неосновательномъ самохвальствѣ). Но я не породилъ и не воспиталъ учениковъ. На какихъ дальнѣйшихъ поприщахъ я ни стоялъ, никогда, почти никогда не давалось мнѣ руководство, на которое впрочемъ никогда не хватало у меня и дерзновенія. Препятствія не останавливали моей дѣятельности, но вгоняли внутрь. Чѣмъ порождена не отступавшая ни на минуту гамлетовщина, недовѣріе къ своей силѣ, сомнѣніе въ своемъ нравственномъ правѣ, вѣчное опасеніе переступить предѣлъ чужой свободы? Не бесплодно ли послѣ того можетъ-быть и пройдена жизнь?

Были у меня и еще товарищи, наиболѣе близкіе, наиболѣе родственные по духу. Пасъ было трое, объ этомъ сказалъ я выше. Но та близость была другаго строя,

не семинарская, и сошлись мы, строго говоря, не въ семинаріи. Богословскій классъ послужилъ только началомъ, хотя съ однимъ изъ троихъ, В. М. Сперанскимъ, началось знакомство еще съ Риторики, и сидѣлъ онъ въ томъ же второмъ отдѣленіи риторическаго класса что и я. Его уже и нѣтъ теперь на свѣтѣ, и его высокій, чистый образъ заслуживалъ бы подробнаго изложенія въ особенномъ обстоятельномъ очеркѣ. Дойдетъ ли однако до него когда-нибудь перо въ этихъ наброскахъ?

## XLIV.

**Составъ учащихся.**

Лавровъ, Перервенецъ, Остроумовъ, Николай Алексѣвичъ, это не всѣ типы семинаристовъ моего времени. Остроумовъ даже не типъ, онъ случайность. У каждаго изъ поименованныхъ была своя особенность, выдвигавшая его туда или сюда. Большинство было безличнѣе: вели себя исправно, неупустительно посѣщали классы, держали въ порядкѣ тетрадки, учили уроки, подавали письменныя упражненія, вдалѣ не заносились. Перейдя въ богословскій классъ, подумывали о мѣстахъ. Къ чести московскихъ семинаристовъ, водка не считалась поэзіей жизни, какъ въ другихъ семинаріяхъ. Бурсацкая удаля Перервенца, граничащая съ развратомъ въ одну сторону, мошенничествомъ въ другую, шла отъ закрытаго училища, въ которомъ онъ получилъ воспитаніе, и отъ сиротства, которое оставило его безъ добрыхъ примѣровъ. Главный контингентъ семинаристовъ, если не по числу то по вѣсу, растворенъ былъ въ обществѣ, сидѣлъ корнями въ семьѣ. Нравственная воспитательная сила сосредоточивалась въ священнослужительскомъ мірѣ, и притомъ столичномъ. Поповичи за-

давали тонъ, приучали къ благопристойности, въ которой дома воспитаны, и къ чувству нравственного достоинства. Повѣствованіе о грязныхъ похожденияхъ, которыя въ другихъ семинаріяхъ составили бы эпопею, здѣсь или не находило слушателей, или выслушивалось съ пренебрежительнымъ смѣхомъ, какимъ награждаютъ паяцовъ. Небольшой кружокъ собирался около рассказчика, да и тотъ состоялъ изъ отребья: знаменательная черта, которую не мѣшаетъ имѣть въ виду при разсужденіяхъ о сравнительномъ достоинствѣ закрытаго и открытаго воспитанія, именно въ духовноучебныхъ заведеніяхъ! Важенъ фактъ не самъ по себѣ, закрытое или открытое заведеніе; важно то, каковъ духъ въ немъ, откуда онъ идетъ и чѣмъ питается. Московская семинарія отличалась среди всѣхъ духомъ порядочности и относительнаго благородства. Разумѣю всѣ семинаріи великороссійскія и малороссійскія, не исключая Петербургской; петербургское столичное духовенство мало численнѣе московскаго и отъ себя мало влияло въ семинарію, распахивая дѣтей болѣе по другимъ заведеніямъ. (О семинаріяхъ Западнаго края не говорю: сколько видѣлъ я тамошнихъ воспитанниковъ, они болѣе всѣхъ другихъ приближались къ московскимъ и менѣе прочихъ носили бурсацкую печать.

Превосходство Московской семинаріи, сейчасъ упомянутое, отзывалось потомъ даже въ Академіи. „Москвичъ“, это былъ особый типъ среди академическихъ студентовъ, отличный отъ общаго бурсачнаго, и замѣчательная вещь, онъ не ограничивался наружностію или поведеніемъ, а оставлялъ свой слѣдъ въ учебныхъ успѣхахъ. Во всѣ тридцать лѣтъ отъ начала Академіи и до того времени, какъ я поступилъ въ нее и ее прошелъ, первенство по успѣхамъ оставалось преимущественно за Москвичами, иногда за Влѣандцами и рѣдко за студентами другихъ семинарій. Не помню твердо первыхъ четырехъ курсовъ: изъ перваго, во всякомъ случаѣ, вышелъ первенцемъ москвичъ. Делицынъ; на-

чиная же съ V курса до XVII, Москвичи были первенцами въ семи, въ трехъ Виѳанцы и только въ трехъ воспитанники всѣхъ остальныхъ семинарій; а вплоть до XV курса къ Московской Академіи приписаны были цѣлые два учебные округа съ своими семинаріями! Это умственное превозможеніе не ограничивалось поставкой первыхъ магистровъ. Въ XIII курсѣ и первый, и второй, и третій магистры были Москвичи, въ XVI—первый и второй; не знаю, былъ ли хотя одинъ курсъ, въ которомъ бы не оканчивало одного или даже двоихъ Москвичей въ первомъ пяткѣ, хотя бы первый магистръ былъ и не изъ московскихъ. Откуда это? Не отъ пристрастія; списки студентовъ составлялись, за весьма немногими исключеніями, строго. Не отъ семинарскаго преподаванія. Хотя въ Московскую семинарію и назначали профессоровъ изъ лучшихъ студентовъ, но я показалъ въ одной изъ предыдущихъ главъ, каковъ былъ уровень преподаванія. Успѣхъ условливался приготовительнымъ развитіемъ во всякомъ случаѣ. Безспорно, изъ другихъ семинарій поступали дарованія, можетъ быть даже болѣе сильныя; климатъ не могъ имѣть своимъ послѣдствіемъ, чтобы въ московскомъ духовенствѣ родились болѣе способныя дѣти, нежели въ остальныхъ двадцати слишкомъ губерніяхъ. Поступали изъ другихъ губерній безспорно даже лучше подготовленные въ школьномъ смыслѣ; вѣдь отовсюду присылаемы были первые, а курсъ учебный повсюду былъ тотъ же. Но кромѣ школьной подготовки была другая, жизненная; кромѣ умственной выправки — другая, духовная; кромѣ образованія—культура. Академія и семья, вотъ два дѣятеля, близость которыхъ давала москвичу и виѳанцу (одному въ болѣе сильной, другому въ слабѣйшей степени) высшую культуру сравнительно съ калужцемъ или пензенцемъ. Точки зрѣнія иныя, кругозоръ шире, нравственный подъемъ и выше, и глубже; а все это не могло не отзываться и на прохожденіи курса семинарскаго и академическаго. Были дѣятели



не дюжинные и въ наукѣ, и въ литературѣ изъ воспитанниковъ Московской Академіи, не удостоенные отъ нея магистерской степени; назову нѣкоторыхъ: Биларскій, Иринархъ Введенскій, Вуколъ Ундольскій. Академію, казалось бы, можно упрекнуть за несправедливость, невнимательность. Я иначе объясняю: то развитіе, та культура, которыя на студенческой скамьѣ вручали первенство другимъ, пріобрѣтены поименованными позднѣе, а задатки были богаче нежели у ихъ сверстниковъ-магистровъ, которыхъ развитіе можетъ быть даже и остановилось съ окончаніемъ академическаго курса, когда у тѣхъ напротивъ продолжалось и росло.

Въ грязныхъ кутежахъ, сказалъ я, московскій семинаристъ не находилъ поэзіи. Большинство за то не искало и никакой поэзіи; какъ бы только перейти въ слѣдующій классъ, а затѣмъ кончить курсъ, внѣ же класса — добыть кусокъ, если нѣтъ готоваго въ казнѣ или въ родительскомъ домѣ. Посторонними средствами пропитанія были: 1) уроки, 2) переписка и 3) работа голосомъ. Немногіе были столь счастливы, чтобы находить подобно Лаврову амбулаторные уроки и получать поурочную плату. Большею частію садились въ домъ на хлѣбъ у какого-нибудь священника или даже дьячка, съ обязанностью проходить съ парнишкой училищный курсъ или помогать при прохожденіи риторическаго; плата, кромѣ стола и помѣщенія, простиралась отъ пяти до десяти рублей въ мѣсяцъ (ассигнаціями). Переписка производилась въ обширныхъ размѣрахъ. Однихъ агентовъ въ родѣ Лаврова было, думаю, до десятка; матеріалами снабжалъ университетъ (переписывались и лекціи, и диссертациі); снабжали и присутственные мѣста. Цѣны были разныя, соображенныя и съ количествомъ, и съ качествомъ работы. Перервенецъ получалъ лишній противъ другихъ заработокъ за красивый почеркъ; ему давали и матеріалъ болѣе цѣнный, въ родѣ докладныхъ записокъ. Бывали работы хотя соединенныя съ перепиской, но требовавшія не одного ме-

ханическаго труда; тотъ же Перервенецъ трудился въ Архивѣ надъ извлеченіемъ матеріаловъ для Гастева, издававшаго историческія и статистическія свѣдѣнія о Москвѣ.

Голосомъ работавшіе большею частію были отпѣтый народъ; зачислялись въ частный хоръ и шлялись по халтурамъ, смотрѣли вонъ изъ семинаріи. Ради похоронъ и свадебъ пропускались и классы. Исключеніе составляли пѣвчіе семинарскаго хора; у нихъ тоже были халтуры, нанимали ихъ и на обѣдни, и на всенощныя, и на свадьбы; хоръ имѣлъ и годовыя заподряженныя мѣста; но пѣвчіе не принадлежали къ отбросу, по крайней мѣрѣ не всѣ принадлежали. Вообще же пѣвчій слылъ пьяницей: если не всѣ пристращались къ напиткамъ, то не было ни одного не пьющаго, по странному антигигіеническому предразсудку, что пѣвчему неизбѣжно „прочищать голосъ“, особенно басу. Откуда взялось это глупое преданіе и въ силу чего укрѣпилось?

Голосъ для семинариста былъ капиталъ, и именно басъ. Хорошіе тенора вообще рѣдки, да ими и не дорожили; кромѣ пѣвческаго хора куда же съ нимъ? Другое дѣло басъ; съ нимъ при посредственномъ аттестатѣ можно получить дьяконское мѣсто въ самой Москвѣ или даже протодьяконское; даже курса не нужно оканчивать, чтобы получить мѣсто, въ соборѣ напримѣръ. Оттого шестнадцатилѣтніе и даже пятнадцатилѣтніе мальчуганы старались „накрикивать“ себѣ басы. Если для развлечения философъ или даже риторъ возглашаетъ Апостолъ (это случалось иногда даже въ классной залѣ въ свободные часы), подражая чтенію въ церкви, то возглашаетъ непременно басомъ, и чаще всего свадебный Апостолъ, чтобы дать почувствовать силу окончательныхъ словъ: „а жена да боится своего мужа“; „своего мужа“ есть динамометръ горла.

Учился со мною сынъ успенскаго протодьякона, знаменитаго Александра Антоновича. Учился хотя посредственно, но не такъ однако, чтобы угодить на исклю-



ченіе. Голоса не было у него никакого; рѣчь глухая, беззвучная, горло будто обложено бархатомъ. Нѣкоторые удивлялись что у голосистаго отца такой безголосый сынъ, и самъ Зиновьевъ видимо скорбѣлъ объ отсутствіи отцовскаго дара. „А мнѣ кажется, возражалъ я, наоборотъ; эта безголосица и предвѣщаетъ голосъ; смотрите, откроется басина не хуже отцовскаго“. — „Нѣтъ, ужъ этого не будетъ, отзывался съ отчаяніемъ протодьяконскій сынъ; горло у меня должно-быть застужено“. Предсказаніе мое сбылось. По переводѣ въ среднее отдѣленіе, голосъ у Зиновьева, по народному выраженію, сталъ „ломаться“; рѣчь начала издавать двоящіеся и троящіеся звуки, въ которыхъ безтонная сипота соперничала съ тонами низкими и высокими, выходившими въ перемежку и даже одновременно. Голосъ очистился и затѣмъ образовался басъ,—не берусь судить, равный ли отцовскому, но сильный и пріятный. Ожилъ парень. Онъ носился со своимъ кладомъ; съ такимъ лицомъ, воображаю, ходять въ первые дни выигравшіе 200.000 по лоттерейному билету. Куда тутъ уроки, куда обдумыванья темъ на письменныя упражненія? Въ рекреационныя часы между классами то и дѣло слышишь или густое „Благочестивѣйшему, Самодержавнѣйшему“... или громогласное „Да боится своего мужа“, а не то „Исусъ Христомъ бытъ“. Последняя фраза есть конецъ пасхальнаго евангелія, и Зиновьевъ объяснялъ, что она есть труднѣйшее изъ всѣхъ окончаній во всѣхъ евангельскихъ чтеніяхъ: сверхъестественнымъ искусствомъ нужно обладать, чтобы поднявъ голосъ на высшую ноту діапазона, произнести *бытъ*, а не *бастъ*. — Что же? Зиновьевъ и исчезъ скоро; исчезъ и погибъ; погибъ между прочимъ именно отъ этого дьявольскаго предразсудка, что необходимо прочищать голосъ.

Есть однако, были по крайней мѣрѣ, элементы для разумнаго пѣвческаго воспитанія, котораго до сихъ поръ не достаетъ Россіи, въ частности духовенству. Можно было бы воспользоваться самымъ этимъ басо-

любіемъ, взять его въ руки, поднять цѣну другимъ голосамъ, возбудить соревнованіе, развитъ вкусъ и искусство.

Насъ окончило курсъ девяносто человѣкъ ровно или съ небольшимъ, а въ низшемъ отдѣленіи было до трехсотъ если не болѣе; двѣ трети отошло. Отваливались или особенно бойкіе, или совсѣмъ негодные, невозможные. Впрочемъ со мною даже окончилъ курсъ совсѣмъ невозможный. Аттестованный семинарскимъ начальствомъ „со странностями въ характерѣ“, Иванъ Михайловичъ былъ по нынѣшнему вѣжливымъ выраженію душевнобольной человѣкъ. Онъ былъ казеннокоштный. Съ наружностью орангъ-утанга, не высокій ростомъ, онъ держалъ себя и расхаживалъ важно въ длиннополомъ казенномъ сюртукѣ синяго сукна, съ чувствомъ само-довольной увѣренности размахивая руками. Онъ приносилъ въ классъ и прочитывалъ въ слухъ товарищамъ свои литературныя произведенія, повѣсти и драмы, которыя пекъ какъ блины. Чтò это были за произведенія! Въ нихъ было все кромѣ смысла. Былъ и смыслъ, но только грамматическій, а далѣе никакая пиѣя не разобрала бы; слова безо всякой, даже кажущейся связи; дѣйствія невозможныя, имена неслыханныя. И однако дотянулъ и окончилъ курсъ! Товарищи надъ нимъ издѣвались, приставали къ нему, дразнили, расхваливали на смѣхъ его писанія, поощряли къ нимъ, и онъ не шутя сердился и не шутя гордился. Дергали его за полы во время чтенія, поставивъ его предварительно на столъ. Онъ оборачивался туда и сюда къ пристававшимъ, огрызался; но и успокоивался тотчасъ, когда дразнившіе выражали удивленіе необыкновеннымъ творческимъ способностямъ автора. Это было гадкое зрѣлище, и мы удалялись съ Николаемъ Алексѣвичемъ, жалѣя несчастнаго и негодуя на безсердечность издѣвавшихся. Но аттестатъ о полномъ окончаніи курса въ рукахъ субъекта съ такими „странностями въ характерѣ“ остается фактомъ, характеризующимъ семинарское

воспитаніе. Куда дѣлся Иванъ Михайловичъ? Какой несчастный приходъ получилъ его въ пастыри? И нашлась невѣста, и народились конечно дѣти... Мы съ Николаемъ Алексѣевичемъ разсуждали, что единственная дорога ему была бы въ послушники.

Въ обоихъ младшихъ отдѣленіяхъ, низшемъ и среднемъ, скоро означался отстой. Онъ рано повадился хотѣть по полпивнымъ и билліарднымъ, уроковъ не училъ; когда спрашивали, пробивался подсказами; на экзаменахъ предлагалъ вмѣсто отвѣта молчаніе. Иногда олухъ не довольствовался этимъ, но возвращаясь отъ экзаменационнаго стола, дѣлалъ рожу въ направленіи къ экзаменаторамъ, хотя и невидимо для нихъ, какъ бы говоря: „что, много взяли?“ Ахъ, помню я сцену, глубоко потрясшую классъ! Экзаменовавшій ректоръ (Иосифъ) замѣтилъ это нахальное движеніе. Ученикъ былъ казеннокоштный. Ректоръ позвалъ его къ столу и произнесъ ему рѣчь, начинавшуюся словами: „чему ты смѣешься? надъ чѣмъ ты смѣешься?“ Напомнилъ ему о потрачиваемыхъ на него деньгахъ, о заботахъ на него простираемыхъ и о его неблагодарности, сопровождаемой притомъ такою оскорбительною непочтительностью къ присутствующимъ, и къ начальству, и къ товарищамъ. Олицетворилъ ему настроеніе товарищей, съ какимъ они должны смотрѣть на его кривлянье, только ему кажущееся забавнымъ и ничего ни отъ кого для него не влекущее кромѣ тѣмъ болѣе усиленнаго презрѣнія къ нему же самому ото всѣхъ. Ректоръ говорилъ долго, говорилъ мягко, говорилъ съ дрожаніемъ въ голосъ. Еще немного, и классъ бы расплакался. А получавшій внушеніе стоялъ, нагнувъ голову нѣсколько на бокъ съ глупѣйшимъ видомъ, желавшимъ изобразить раскаяніе, но не выразившимъ ничего кромѣ досады, что такъ долго держать у стола.

Эти подонки семинарскіе большею частію были изъ сельскихъ захребетниковъ, иногда же дѣти и московскихъ дьячковъ, не выдавшіе добраго примѣра и въ

семействѣ, принимаемые къ собутыльничеству самими родителями. Семейная жизнь съ хозяйственными заботами можетъ-быть исправляла нѣкоторыхъ по поступленіи во дьячки; вырабатывался практическій человѣкъ; семинарская безпорядочность оказывалась временнымъ угаромъ молодости.

Не весь отстой однако шелъ во дьячки. Часть поступала на гражданскую службу, умножая собою красивое сѣмя, именно дѣти священниковъ и дьяконовъ; не знаю даже случая, чтобы кто-нибудь изъ привилегированныхъ по рожденію, каковыми были священнослужительскія дѣти, добровольно обращался въ безправное состояніе причетниковъ. Сыновья даже причетниковъ только при безысходной нуждѣ и совершенной неспособности къ наукѣ рѣшались надѣть причетническій стихарь. Не говоря о философскомъ классѣ, откуда исключенному, хотя бы сыну дьячка, открывалась дорога въ сельскіе и уѣздные дьяконы, даже для уволенныхъ изъ риторики былъ выходъ помимо причетничества: ветеринарный институтъ. Экзаменъ былъ легкій, свѣдѣній особыхъ не требовалось. Я знаю нѣсколькихъ исключенныхъ изъ риторики дьячковскихъ дѣтей, которыя такимъ путемъ вышли изъ распутія, оставлявшаго имъ на выборъ идти или въ мѣщане, или по примѣру отца въ причетники.

Рѣзко выдѣлялась изъ безличной массы другая половина, состоявшая преимущественно изъ поповичей. Не всѣ могли похвалиться успѣхами и прилежаніемъ; были балбесы, но всѣ отличались одеждой и обращеніемъ; всѣ читали болѣе или менѣе, посѣщали театръ, ѣздили въ клубы на балы. Сравнительно немногіе готовятъ себя къ духовному званію; борода имъ претитъ, какъ и большинству ихъ сестрицъ. Если не въ университетъ, то въ гражданскую службу. У меня былъ товарищъ, который еще съ низшаго отдѣленія носилъ цилиндръ и перчатки; лѣтомъ являлся въ гарусномъ сюртучкѣ, а зимой въ норковой шубѣ, надѣтой на одно



нечто, онъ сбрасывалъ съ себя нубу съ нидомъ господина, который увѣрять, что за нибъ стоитъ лавей. Его батюшка вѣроятно любовался извѣстными намерами сына, дошло конпроваинаго приказаніемъ Кузнецкаго Моста и даже отъѣзжаго на вопросъ, гдѣ кунить перчатки или нонаду, безукоризненныя французскія выговоромъ: аи Pont des Magéschalx. Щеголь скрылся изъ средняго отдѣленія, пріютившись въ какой-то изъ губерскихъ налатъ.

Въ университетъ начинали выбывать съ перваго года философіи предъ переходомъ на второй. Въ мое время вышли такъ рано, помнится, только двое, дѣти тоже московскихъ священниковъ, не замедлившіе осенью явиться къ намъ показать себя въ свѣтъ воротникъ.

Неохота московскихъ нововичей идти въ духовное званіе шла послѣ меня все въ гору, начавшись еще ранѣе. Въ мое время не брезгали по крайней мѣрѣ семинаріей. Примѣръ С. М. Соловьева, котораго отецъ, законоучитель Коммерческаго Училища, отдалъ съ самаго начала въ гимназію, передаваемъ былъ какъ соблазнительная новость, какъ ересь. Но потомъ, особенно въ послѣднее время, дѣти-гимназисты отца-священника стали не рѣдкостью. Прибѣгаютъ къ заблаговременному изверженію дѣтей изъ духовнаго званія главнымъ, если не единственнымъ образомъ, священники столичные; а со введеніемъ гимназій по уѣзднымъ городамъ будутъ туда отливать и дѣти уѣзднаго духовенства, между прочимъ по тому разсчету, что воспитаніе производится на родительскихъ глазахъ, притомъ не потребуетъ лишнихъ издержекъ на квартиру, неизбежныхъ при отдачѣ сына въ столичную семинарію.

Будущихъ студентовъ университета и медиковъ можно было узнать заранѣе; чаще другихъ видишь ихъ съ книгой въ рукахъ не учебнаго содержанія, преимущественно съ журналомъ. Они интересуются литературными новостями. Театральный раекъ видитъ ихъ въ числѣ частыхъ посѣтителей; они говорятъ о Мочаловѣ и Сан-

ковской. А иной сидитъ съ учебникомъ математики, этимъ наиболѣе опаснымъ подводнымъ камнемъ для семинариста.

Умолчу ли объ отпрыскахъ семинаріи въ артистическомъ и литературномъ мірѣ? Владиславлевъ, извѣстный оперный пѣвецъ, былъ сынъ московскаго священника, выскочившій изъ семинаріи до окончанія курса. Несчастный отецъ пострадалъ за него: Филаретъ поставилъ родителю въ вину, что сынъ поступилъ на сцену. Другаго помню тоже вышедшаго на сцену изъ средняго отдѣленія (Славина), но то былъ не пѣвецъ, а трагикъ (разумѣется, только воображалъ себя трагикомъ). Далѣе дебюта онъ, кажется, не пошелъ, но пописывалъ за то повѣстухи, узрѣвавшія свѣтъ на Толкучкѣ. Онъ былъ градусомъ выше повѣстей Александра Анфимовича Орлова, извѣстнаго тогда кропателя по заказу Никольскихъ издателей, но между семинаристами, товарищами автора по школѣ, производили эффектъ: писатель хрій, не далѣе какъ вчера сидѣвшій на этой скамьѣ, обратился въ сочинителя, котораго произведенія печатаются! Надобно отдать справедливость, лучшіе изъ семинаристовъ посмѣивались надъ этимъ бумагомараніемъ, не придавая ему цѣны.

Не будемъ слѣдить за дальнѣйшею судьбой выходцевъ изъ сословія, —какая окончательная судьба постигла скороспѣлаго литератора или на чемъ оканчивали нырнувшіе въ гражданскую службу. Доходили до столоначальника, экзекутора, а благословить Богъ, и до приходо-расходчика. Сколотить деньженокъ доходцами, болѣе грѣшными нежели безгрѣшными; иной женится, купить домокъ и будетъ коротать вѣкъ, досиживая геморрой послѣ канцелярскаго стола за карточнымъ столомъ. Отсѣдъ, поступавшій во дьячки, иногда выхаживался, какъ я уже сказалъ; но замѣчательная черта: наружная цивилизація чрезъ семинарію и тутъ оказывала дѣйствіе. Если поповичъ, гнушаясь бородой, бѣжалъ изъ духовнаго званія, то причетнической сынъ, поступаая въ при-

четники, просто не зарашивалъ бороды, продолжая бриться. Почти на моихъ глазахъ совершился у дьячковъ постепенный переходъ отъ пучковъ на головѣ до щегольской прически и отъ длиннаго сюртука безъ разрѣза назадъ до фрака. Въ мое малолѣтство пучекъ былъ почти общою принадлежностью причетника, именно пучекъ, а не коса. Священникъ и дьяконъ распускали косу, а причетникъ и въ церкви оставался съ заплетенною, свернутою пучкомъ. Благодѣтельнымъ одно время былъ въ Коломнѣ протоіерей Петръ Софронычъ (Горскій), который строго слѣдилъ за соблюденіемъ правдовскаго обычая. Онъ будетъ таскать за вихры, морить на колѣнахъ въ церкви, замучить земными поклонами, еслибы нашелся дерзкій, брѣющій бороду, стригущій волосы, да притомъ въ сюртукъ только до колѣнъ. Въ силу какого указа такъ дѣйствовали старые благочинные? Не вмѣняется ли имъ инструкціей слѣдить за дьячковскими волосами и длиннополыми сюртуками? Въ такомъ случаѣ благочинные скоро развратились. Придираться къ волосамъ и одеждѣ стало постыднымъ. Уволили себя благочинные и еще отъ обязанности, которая однако несомнѣнно предписывается имъ инструкціей. Инструкція велитъ благочинному при посѣщеніи церквей экзаменовывать причетниковъ изъ чтенія, пѣнія, Катихизиса и Церковнаго Устава, и въ малолѣтство мое тотъ же Петръ Софронычъ свято исполнялъ эту обязанность. Подходить бывало время визитаціи; смотришь, сидитъ дьячекъ Ѳедотъ или пономарь Андреичъ, одинъ за Катихизисомъ, долбитъ, другой за Октоихомъ. Несчастный именно *долбитъ* Катихизисъ. Заслуженный, почти старикъ, имѣющій взрослыхъ сыновей, становится на время двойникомъ своего малолѣтнаго Ванюшки или Петрушки и воспроизводитъ на колокольнѣ то самое, что его сынишка за партой. Этотъ обычай вывелся самъ собою вмѣстѣ съ распространеніемъ болѣе человѣческаго обращенія вообще съ дьячками; свой братъ-благочинный засмѣетъ не въ мѣру точнаго исполнителя Инструк-

ціи. Познанія дьячковъ, правда, одновременно съ тѣмъ не повысились, если не считать такъ-называемыхъ псаломщиковъ, то-есть причетниковъ изъ окончившихъ курсъ.

Попадаютъ однако и до сихъ поръ изъ благочинныхъ охотники производить экзаменъ. Въ Нижегородской епархіи по крайней мѣрѣ, я слышалъ, былъ въ самое послѣднее время, если не подвизается доселѣ, экзаменаторъ-благочинный, котораго трепещутъ причетники. Впрочемъ у ревностнаго благочиннаго умыселъ другой: отъ экзамена можно откупиться; духъ вѣка коснулся и Инструкцій благочиннымъ! Но одинъ причетникъ, говорятъ, умудрился освободиться отъ экзамена и болѣе дешевымъ способомъ. Не давъ еще отцу благочинному предложить вопроса, хитрецъ самъ предлагаетъ ему свое недоумѣніе.

— Не знаю, какъ править въ такомъ-то случаѣ, по Благовѣщенской ли или по Храмовой главѣ. Не оставьте, ваше высокопреподобіе, научите.

А его высокопреподобіе самъ не твердо знаетъ уставъ. Приходится отправляться въ книгу и справками разрѣшать недоумѣніе, не безъ возраженій со стороны причетника. За экзаменами уже не погнался строгій благочинный. Петръ Софронычъ въ Коломнѣ поступалъ проще: онъ и экзаменовалъ-то держа книгу (*Катихизисъ*) въ рукахъ и слѣдилъ пальцемъ, вѣрно ли вызубрено. Противъ того всякое недоумѣніе было бы безсильно.

Но что это за новыя лица, являющіяся въ семинарію неизмѣнно предъ каждымъ экзаменомъ? Никто ихъ не видалъ до того и не видитъ послѣ. А, это пѣвчіе Синодальнаго и архіерейскаго хора; они значатся въ семинарскихъ спискахъ и переходятъ изъ класса въ классъ, ничему не учась, ни разу не посѣщая ни одной лекціи и не подавъ ни одного письменнаго упражненія. Служба въ хорѣ замѣняетъ имъ всѣ семинарскіе труды. Для прохожденія училищнаго курса къ малолѣтнимъ изъ



нихъ еще приставлены особые инспекторы, числящіеся при хорѣ, но болѣе состоящіе для мебели; назначали ихъ для очистки совѣсти. А на преподаваніе семинарскихъ наукъ даже никого не назначалось. Жалкая была судьба пѣвчихъ; не даромъ бѣгали и хоронились ребята въ училищѣ и въ риторическомъ классѣ, когда являлся регентъ за отысканіемъ голосовъ. Благо, если альтъ или дискантъ перейдутъ потомъ въ теноръ или басъ. Воспитавшій ихъ хоръ оставить ихъ при себѣ; пропитаніе обезпечено. Нѣкоторые получали потомъ и дьяконскія мѣста за свой голосъ. Но горе, когда съ прежняго голоса спалъ, а новаго не нараждается; негоднаго члена выбрасываютъ изъ хора. Куда онъ пойдетъ; и кто за него заступится? Вотъ въ виду этого-то и позволяли имъ числиться въ семинарскихъ спискахъ; ихъ переводили изъ класса въ классъ безъ испытанія; хотя они являлись на экзамены, ихъ не спрашивали; давали имъ кончить даже курсъ, выпуская въ третьемъ разрядѣ. Но льгота простиралась все-таки на дѣйствительныхъ членовъ хора, а къ выброшенному возвращались всѣ семинарскія обязанности, за чѣмъ слѣдовало, понятно, исключеніе, съ его послѣдствіями, тѣмъ болѣе безотрадными, что пребываніе въ хорѣ оторвало его не только отъ семинаріи, но и отъ семьи и отъ родныхъ; для пѣвчаго нѣтъ отпусковъ и нѣтъ вакаціи.

#### XLV.

### Раздумье.

„Куда я пойду?“ Мысль объ этомъ начала меня тревожить еще съ низшаго отдѣленія. Куда я пойду? Въ благополучномъ окончаніи курса я былъ увѣренъ, но дотягивать ли семинарію? Само собою разумѣется, меня ни на минуту не увлекала мысль воспользоваться преж-

девременнымъ выходомъ изъ семинаріи для поступленія куда-нибудь „младшимъ помощникомъ столоначальника“, по просту—писцомъ, хотя я и находилъ основательными расчеты тѣхъ, кто, не имѣя склонности къ духовному званію, оставлялъ семинарію среди курса. Права для священнослужительскихъ дѣтей одинаковы, выйдетъ ли кто изъ философскаго, риторическаго класса, даже изъ училища, или же окончить курсъ во второмъ и третьемъ разрядѣ: каждому изъ нихъ до класснаго чина нужно служить то же число лѣтъ. Для кончившаго курсъ въ первомъ разрядѣ перспектива повидимому измѣнялась: онъ прямо переименовывался въ классный чинъ. Но риторъ, поступаая на гражданскую службу, достигалъ того же ранѣ, да кромѣ того запасался приличною опытностью.

Приказная карьера не занимала меня сама по себѣ: неизбѣжное побирошество мелкаго чина, тѣмъ болѣе писца, въ моихъ глазахъ равнялось съ побирошествомъ дьячковъ. Какъ тѣ съ поклономъ подносятъ на тарелкѣ просфору богатому прихожанину, въ ожиданіи получить гривенникъ, или и безъ просфоры подходятъ послѣ службы и кланяются, поздравляя съ принятіемъ таинства или другимъ чѣмъ, въ ожиданіи того же гривенника, такъ и приказный собираетъ тѣ же гривенники такими же поздравленіями или прижимками, что не лучше. Помимо того, любознательность, духовное стремленіе вдаль были такъ сильны, что вдругъ запереть машину на всемъ ходу, объ этомъ и представленія не возникало. Но не перервать ли семинарію для университета? Вотъ что меня занимало. Окончу семинарскій курсъ, безъ сомнѣнія, въ первомъ разрядѣ. Куда же двинусь потомъ? Предстояли четыре дороги: та же гражданская служба, во первыхъ, и тѣ же противъ нея возраженія; во вторыхъ, дьяконское мѣсто въ Москвѣ или учительское мѣсто въ училищѣ, за чѣмъ слѣдовало опять то же дьяконское мѣсто; или же духовная академія со слѣдующимъ за нею учительствомъ въ семинаріи и да-

лѣе—священническимъ мѣстомъ въ Москвѣ; или наконецъ—университетъ. Духовное званіе меня не манило и болѣе всего по связанной съ нимъ необходимости жениться. Семейная жизнь казалась мнѣ скучнѣйшею прозой, среди которой должны погаснуть всѣ идеалы. Я приходилъ въ содраганіе, воображая себя женатымъ молодымъ человѣкомъ съ кучей мелкихъ обязанностей и заботъ, и сердечно сочувствовалъ своему старшему зятю, когда онъ сѣтовалъ на прозу своей жизни. Онъ былъ пламенная, восторженная душа; его мысль и духъ всегда парили; онъ всегда былъ лирикъ, всю жизнь былъ идеалистъ. Отлично учился и отлично кончилъ курсъ въ семинаріи (Рязанской); вмѣсто академіи, куда бы ему поступить было пристойнѣе, онъ попалъ на священническое мѣсто въ село. Отецъ умеръ, оставивъ жену съ тремя не пристроенными дѣтьми сверхъ самого Ѳедора Васильевича (такъ звали моего зятя). Мать съ сиротами осталась на его плечахъ, и онъ принялъ отцовское мѣсто для исполненія обязанностей къ сиротамъ. Но огонь горѣлъ въ немъ и продолжалъ горѣть. Село съ трудами хлѣбопашества и съ мужиками кругомъ, и забитыми барщиной, и пьяными, и невѣжественными, не смяли его. Онъ былъ вѣчно бодръ, юнъ, живъ. „Никогда не женись, братъ“, сказалъ онъ мнѣ, полусмѣясь, среди пировъ на свадьбѣ средней сестры (это было въ лѣтнюю вакацію 1839 года). „Ты читаешь что-нибудь; вотъ мѣсто, которое тебя восторгаетъ; ты возносишься, потокъ мыслей кипитъ, чувство тебя захватываетъ, ты хочешь излиться, чувствуешь въ себѣ Пиндара, хочешь пѣть. „Маша, скажешь, поди-ка, поди-ка, послушай. Читаешь съ жаромъ, она выслушаетъ и потомъ скажетъ: а знаешь ли, буренку нужно бы свести къ пастуху““. Пиндаръ и буренка! Нѣтъ, братъ, никогда не женись“. Безъ негодованія, даже безъ досады говорилъ это Ѳедоръ Васильевичъ; онъ очень любилъ и цѣнилъ жену, какъ и она его. Шутливымъ тономъ давалъ онъ мнѣ этотъ совѣтъ и вмѣстѣ ме-



ланхолическимъ. Разсказъ его былъ необыкновенно живъ; онъ читалъ наизусть тѣ самыя мѣста, которыя приводили его въ восторгъ, подробно воспроизводилъ мысли и фантазіи въ немъ возбуждавшіяся, декламировалъ стихи при этомъ поэта какого-нибудь, или свои собственные, внезапно въ немъ складывавшіеся. Онъ былъ всегда вдохновенъ и не говорилъ иначе какъ вдохновенно. И съ тою же живостію и подробностію изображалъ тотчасъ картину мелочныхъ заботъ и еще болѣе мелочныхъ дрызгъ, внезапно низводившихъ его съ высотъ, въ которыхъ онъ парилъ, въ грязный хлѣвъ, въ расчеты съ работникомъ, который крадетъ овесъ и относитъ въ кабакъ, въ расчеты съ торговцами, сбывающими божась полтину за рубль.

Заговоривъ о старшемъ зятѣ, не могу уже не кончить. Дойдутъ ли до васъ эти строки, дорогой, высокоуважаемый Ѳеодоръ Васильевичъ, теперь уже маститый старецъ, доживающій свои дни въ печальной болѣзни на рукахъ внучатъ? По моему разсказу читатель вообразитъ въ немъ пожалуй пражнаго мечтателя, другой экземпляръ Манилова. Напротивъ, Ѳеодоръ Васильевичъ былъ величайшій практикъ и безпримѣрный хозяинъ; съ тѣмъ вмѣстѣ, тотъ идеальный пастырь, какихъ развѣ только десятки наберутся въ Россіи. Никогда пражнаго слова, весь въ трудъ, образцово воздержный, строгій къ себѣ, онъ переродилъ прихожанъ. Когда мы говорять, что сельскому батюшкѣ невозможно не пить, потому что прихожане угощаютъ; что угождать невѣжеству неизбѣжно, потому что иначе безъ хлѣба сидишься; что нравственное дѣйствіе на грубую массу поселянъ, погрязшую въ суевѣріяхъ и порокахъ, невозможно: я воспроизвожу между прочимъ образъ Ѳеодора Васильевича. Онъ не пилъ ничего, замѣстивъ однако родителя, придерживавшагося чарочки и панибратствовавшаго съ мужиками; а онъ напротивъ былъ строгъ. Онъ поступилъ на мѣсто запущенное, въ домъ раззоренный. Туго сначала пришлось. Онъ занялся хозяйствомъ.

Помимо хлѣбопашества завелъ при домѣ садъ и огородъ. Съ рѣдкою дальновидностью засадилъ границу своей усадьбы ветловыми кольями, сказавъ себѣ: черезъ десятки лѣтъ это будетъ богатство. Колья были изъ породы ветелъ, такъ-называемыхъ „красныхъ“, изъ которыхъ гнутъ дуги, и дѣйствительно, колья оказались потомъ богатствомъ, когда выросшія ветлы продавались на аршины не дешевле сосноваго балочнаго лѣса. На десятокъ верстъ у него одного былъ свой овощъ, и со своею обычною меланхоліей, шутливо жалобнымъ тономъ, а сестра съ негодованіемъ передавали, что лучшіе качаны капусты у нихъ срѣзывали, морковь и прочіе корнеплоды выдергивали. „И нѣтъ того, чтобы завести самимъ, прибавляла съ желчью сестра; Ѳедоръ Васильевичъ долбитъ, долбитъ имъ: заведите, и примѣръ показываетъ, но, братецъ, ужъ такой мужикъ сипь; упоренъ, лѣнивъ, пьянъ“. А Ѳедоръ Васильевичъ, слушая рѣчь жены, меланхолически прибавляетъ: „Мнѣ больше всего жалъ моей елочки. Вышла изъ сѣмени, самъ посадилъ; здѣсь хвоя, какъ вы знаете, совсѣмъ не растетъ. Топчетъ глупый, идетъ не смотря подъ ноги. Я останавливаю. Подумай, вотъ я посѣялъ, выходилъ, вотъ малютка выросла, и ты топчешь; за что? Ты мнѣ хочешь зло сдѣлать?—Нѣтъ, батюшка.—А зло дѣлаешь. Ты затопталъ елочку, ты загубилъ мой трудъ; ей было уже два года, и два года пропали, а твой сынъ вырастетъ, былъ бы благодаренъ за елочку, какъ вы благодарны за ветлу; а тоже вытаскивали ихъ, когда сажалъ я колышками“.

„Попъ“ было ругательное имя; при видѣ попа крестьянинъ сворачивалъ съ дороги, видя дурное предзнаменованіе. Сквернословіе было въ полномъ ходу и служило приправой въ разговорѣ. Таковъ былъ приходъ, когда Ѳедоръ Васильевичъ вступилъ. А послѣ вотъ какой порядокъ завелся. Выѣзжаетъ съ требой батюшка въ какую-нибудь изъ пятнадцати своихъ деревень—все населеніе, которое не въ полѣ, высыпаетъ на улицу,

а дѣти становятся въ рядъ, чтобы батюшка всѣхъ ихъ благословилъ. Крестьянинъ, завидя батюшку, сталъ снимать шапку издалека, дальше нежели снималъ предъ управляющимъ.

— Какъ же это стало? спрашиваю у сестры.

— Да что, отвѣчаетъ она махнувъ рукой, припоминная докучливыя сцены, въ свое время досадныя ей, но отдавая теперь справедливость поведенію, которое казалось ей тяжелымъ. — Бывало ѣдемъ въ городъ; слышитъ, мужикъ выругался. Остановить лошадей, попросить мужика остановиться да и начнетъ пѣть, поетъ, поетъ. Тутъ, думаешь, опоздаемъ на базаръ, а онъ поетъ. Такъ и отучилъ, и всѣ стали почтительны.

Кончаково, куда отдана была сестра, посѣтилъ я въ первый разъ еще мальчикомъ, въ 1833 году. Шелъ только второй годъ ея замужества. Помню страхъ свой, когда проѣзжалъ боромъ; темъ, безконечная колоннада обнаженныхъ сосенъ, которыхъ только верхушки зеленѣли. На землѣ ни травинки, только грибы по мѣстамъ манили къ себѣ; красная стѣна деревъ облежала съ обѣихъ сторонъ; рассказъ о разбойникахъ, которые будто тутъ укрываются. Братъ Иванъ Васильевичъ, насъ сопровождавшій, осматриваетъ заряженное ружье. Извозчикъ идетъ поодаль отъ лошадей, держа конецъ вожжей на разстояніи аршинъ четырехъ отъ лошади. Мы съ сестрой Аннушкой вдругъ вскрикиваемъ: „грибъ, грибъ!“ или „брусника, брусника!“ Но ступить шагъ въ лѣсъ боимся, вида ружье, слыша рассказы. Развалины какого-то завода на Черной рѣчкѣ, и названіе такое страшное. Пріѣхали въ Кончаково: убого и голо, хотя рига и полна снопами.

Пріѣхалъ я туда же чрезъ тридцать лѣтъ, въ 1863 году. Нѣтъ бора; новая дорога, и притомъ шоссе, пролегаетъ по другому мѣсту. Бойко отхваталъ ямщикъ недалекое пространство тридцати верстъ. Вотъ Кончаково. Сопровождавшій меня другой зять говоритъ, ука-



зывая на видѣвшуюся телѣгу: „смотрите, это вѣдь Ѳеодоръ Васильевичъ ѣдетъ“.

Онъ. Давно я его не видалъ, лѣтъ пятнадцать. Думаю, постарѣлъ, живость прежняя прошла; ему уже подъ шестьдесятъ. Встрѣчаемся: тотъ же, ни сѣдинки, такіе же быстрые глаза. Сначала онъ меня не узналъ, а поздоровавшись тотчасъ же заговорилъ: „я васъ спрошу, ученый мужъ, вотъ о чемъ: почему у насъ нападаютъ на папу, когда“ и пр., и началъ сыпать, перебирая явленія въ іерархіи, гдѣ сказывается тоже папистское начало, хотя и въ неразвитомъ зародышѣ. Сестра до смерти рада, племянница предлагаетъ яблоки своего сада, поданъ чай, а хозяинъ сыплеть свое. „Ну, вотъ, пошелъ! ворчитъ сестра. Ты не дашь брату осмотрѣться“. Но я осмотрѣлся. Какъ и тогда, тридцать лѣтъ назадъ, переночевалъ. На другой день утромъ колоколъ, звонившій къ обѣднѣ, разбудилъ меня. Всталъ я и вижу толпу, окружившую домъ, и около нея Ѳеодора Васильевича. „Это что?“ я спросилъ.—„Мужъ жену избилъ; да вѣдь это почти каждый праздникъ ходятъ къ Ѳеодору Васильевичу разбираться съ каждымъ дѣломъ“.—„Кто же это завелъ?“—„Да завелось само собою; мужики очень любятъ; ужъ какъ положить бабюшка, такъ тому и быть; ужъ очень онъ, братецъ, справедливъ и внимателенъ“, поясняетъ сестра.

Выхожу на задворки. Гдѣ была голая луговина, спускавшаяся къ ручью, тамъ теперь густой садъ съ отборнѣйшими сортами яблонь; вѣтви ломились отъ плодовъ, подпертыя палками. Пили въ саду чай при оригинальной музыкѣ: то тамъ, то здѣсь шлепъ, шлепъ, падали яблоки на землю. Спускаюсь къ ручью: высокія ветлы на прежнемъ пустомъ пространствѣ, а въ серединѣ нижней луговинки высочайшій осокоръ, сажень въ 20 по крайней мѣрѣ, смотрѣть на верхъ надо заломя голову, чистый, ровный, прямой какъ стрѣла. „Ѳеодоръ Васильевичъ выростилъ и всегда за нимъ ухаживалъ, обчищалъ“.

Когда преосвященный Алексій вступилъ въ управленіе Рязанскою епархіей въ концѣ шестидесятыхъ годовъ, и Ѳеодоръ Васильевичъ представлялся ему въ качествѣ благочиннаго, съ неудовольствіемъ преосвященный вскинулъ на него взоръ. „Что это, какого молодого сдѣлали у васъ благочиннымъ! За что это? Сколько тебѣ лѣтъ?“ И когда мнимый юноша объявилъ о своихъ шестидесятихъ годахъ, можно представить изумленіе архіерея. Моложавость шестидесятилѣтнему старцу придавали небольшой ростъ, худощавость, быстрыя движенія съ подпрыгивающею походкой, живые глаза и совершенное отсутствіе сѣдинъ.

Итакъ „не женись, братъ, никогда“, вспоминалось мнѣ, и я не могъ не убѣждаться всѣми видѣнными примѣрами въ прозѣ семейной жизни. Но проза не въ семейной только жизни, а въ духовенствѣ вообще. На кого ни посмотришь, всякій, поступая на священнослужительское мѣсто, опускается, начинаетъ растительную жизнь, наращиваетъ брюшко, засыпаетъ умственно. При довольномъ доходѣ лѣнится, при маломъ доходѣ приходитъ въ движеніе, но изошряясь въ одномъ—добыть матеріальныхъ средства. Я не давалъ себѣ отчета, но чутьемъ слышалъ, что изъ всѣхъ званій духовное есть самое ложное, хотя самое высокое по идеѣ, и именно потому ложное, что слишкомъ высоко. Солдатъ, крестьянинъ, купецъ, врачъ, профессоръ—каждый есть то что онъ есть, воюетъ, пашетъ, торгуетъ, лѣчитъ, учительствуетъ. А пастырь, о которомъ извѣствуется въ Пастырскомъ Богословіи, и батюшка въ дѣйствительности—двѣ разныя сущности; послѣдній есть футляръ, оболочка, скорлупа, видъ, механизмъ безъ души. Отсюда пустота жизни. Ѳеодоры Васильевичи—единицы изъ десятковъ тысячъ. То о чемъ зазубривалось въ Пастырскомъ Богословіи, умомъ принято и сердцемъ пожалуй, но въ практику не проходитъ и при данной обстановкѣ перейти не можетъ. На практикѣ онъ—обыкновенный, подобострастный всѣмъ человѣкъ, съ тѣмъ различіемъ



принимая священство. По порядкамъ гражданской службы, профессоръ семинаріи чрезъ шесть, а въ академіи чрезъ четыре года пріобрѣталъ переименованіе въ VIII классъ, и слѣдовательно на потомственное дворянство, которое состояло тогда съ VIII классомъ. Въ смыслѣ карьеры продолжать бы имъ дорогу, на которую вступившись изъ епархіальнаго вѣдомства при вступленіи въ академію. Отказаться отъ правъ, жертвовать независимостью, обращаться въ крѣпостное состояние епархіальнаго вѣдомства, бросать книги и заниматься тѣмъ, чтобы гдѣ-нибудь въ Замоскворѣчьи или въ слободѣ кланяться невѣжественнымъ купцамъ, а дома заниматься кучей ребятъ, да женой, которая сама кучи не знаетъ, ничѣмъ кромѣ кулебяки и утѣшить не можетъ: это не постигалъ. Затѣмъ вѣчное стѣсненіе, вѣчная обязанность держать себя, невозможность жить на широкую ногу, сюда нельзя идти, при этомъ неприлично и т. д.

Итакъ, или академія, и притомъ безъ возвращенія въ епархіальное вѣдомство, или университетъ: вотъ представлявшіеся виды. А если рѣшиться на университетъ, то не будетъ ли потерей времени пребываніе въ семинаріи, начиная со втораго года философіи? Изъ передившихъ меня на одинъ курсъ нѣкоторые перешли въ университетъ изъ средняго отдѣленія. Былъ я и я теперь съ ними, размышлялъ я, когда бы не оставался въ училищѣ лишніе два года. Отсталость меня мучила, тѣмъ болѣе что въ семинаріи я не ожидалъ впереди узнать ничего кромѣ повтореній болѣе или менѣе извѣстнаго. Въ университетѣ наука свѣжѣе и обильнѣе. Безъ доступа къ ученой литературѣ всѣ мои приготовленія по языкознанію пропадутъ даромъ, а доступъ къ наукѣ видится только чрезъ университетъ.

Разъ заикнулся я о своемъ желаніи брату (это было еще въ низшемъ отдѣленіи); тотъ не отринулъ моего намѣренія рѣшительно, но возсталъ противъ намѣренія

бросить семинарію среди курса. „Сперва надобно кончить курсъ здѣсь, а затѣмъ вольная дорога, иди куда влечетъ. Положимъ, поступишь въ университетъ; а ну, тамъ тоже не кончишь курса? Мало ли какія могутъ случиться неожиданныя обстоятельства! Помимо всего можешь заболѣть, и болѣзнь вынудить бросить университетъ прежде времени. Чтѣ тогда? Останешься получателемъ на всю жизнь“. Совѣтъ брата подѣйствовалъ глубже, нежели онъ могъ ожидать. Я усомнился не только въ благополучномъ окончаніи университетскаго курса, но даже въ томъ, выдержу ли вступительный экзаменъ. Примѣры повидимому должны были меня успокоить; въ университетъ поступили же если не изъ посредственныхъ, то во всякомъ случаѣ не изъ отличнѣйшихъ, даже не изъ лучшихъ семинаристовъ. Но я приписывалъ ихъ успѣхъ случайности; себя цѣнилъ я очень низко. Свое первенство среди сверстниковъ я склонялся объяснять тоже случайностью или недоразумѣніемъ профессоровъ, тѣмъ болѣе что братъ меня не баловалъ отзывами. На „дурака“ онъ не скупился въ привѣтствіяхъ мнѣ; когда попадалось ему сочиненіе не читанное имъ и не правленое, онъ усиленно, по ниточкѣ разбиралъ его, клеймилъ сарказмами и мысли и выраженія. Иногда же выставялъ въ такомъ высокомъ свѣтѣ университетскую науку и познанія университетскихъ и въ такомъ презрительномъ видѣ семинарію и даже академію, что я терялся и со страхомъ думалъ: куда жъ мнѣ до университета и его науки? То ли дѣло старыя времена, горевалъ я; бывало можно было держать экзаменъ, не представляя увольнительнаго изъ семинаріи свидѣтельства. Между прочимъ, братъ Иванъ Васильевичъ не только допущенъ былъ до экзамена, но нѣсколько недѣль даже посѣщалъ лекціи Медико-Хирургической Академіи, не бывъ уволенъ изъ духовнаго званія, и потомъ ушелъ. Можетъ-быть, не смотря на совѣты брата, я попытался бы по крайней мѣрѣ держать экзаменъ, когда бы старые порядки продолжа-

лись; но бросить все, оторваться отъ одного берега и пожалуй не пристать къ другому, нѣтъ, страшно!

Робость моя еще тѣмъ усиливалась, что ближайшихъ свѣдѣній объ университетѣ мнѣ не откуда было получить. У другихъ были, у кого родной братъ, у кого какой-нибудь родственникъ въ университетѣ; студенты знакомы, бываютъ въ домѣ; университетскія новости извѣстны въ тотъ же день; студенческіе интересы принимаются къ сердцу семинаристомъ-братомъ или родственникомъ; рассказы о профессорахъ и лекціяхъ слушаются съ участіемъ, какъ бы о своихъ семинарскихъ. А я объ этомъ университетѣ слышалъ хотя довольно, но изъ третьихъ рукъ, отъ В. М. Сперанскаго, у котораго два брата были студентами: на медицинскомъ факультетѣ одинъ, на словесномъ другой. Лично же ни съ однимъ студентомъ въ четыре года не пришлось сказать ни слова. Все знакомство ограничивалось лицеизрѣніемъ посѣтителей Великобританіи (трактира) и лицеизрѣніемъ еще студента-сосѣда, жившаго на урокѣ въ домѣ протопопа, наискось отъ братниаго дома. Но кто такой этотъ студентъ? Чѣмъ онъ занимается? Чтò читаетъ, какъ судить? Напрасно было любопытство; я видѣлъ и слышалъ что возбуждавшій мое любопытство синій воротникъ игралъ иногда на гитарѣ, а это единственное свѣдѣніе не говорило конечно ничего.

Былъ и еще студентъ; раза два, три онъ даже пріѣзжалъ въ домъ брата, близкій его родственникъ, родной ему племянникъ по женѣ. Но я сидѣлъ въ своемъ углу при этихъ визитахъ; никто меня не вызывалъ, никто не представлялъ гостю, и гость едва ли вѣдалъ о моемъ существованіи, хотя я сильно имъ интересовался. Я зналъ, что онъ кончилъ курсъ съ отличіемъ въ гимназій; слышалъ, что онъ въ гимназій читалъ Софокла. Но чтò онъ теперь? Дѣвочка-племянница сказала мнѣ разъ, что гость-студентъ привезъ между прочимъ ноты и сидитъ теперь, ихъ читаетъ. Это извѣстіе



окончательно повергло меня въ ничтожество: читаетъ ноты какъ книгу!

Этотъ гость-студентъ, племянникъ моей невѣстки, былъ А. Н. Островскій, столь извѣстный теперь драматургъ. Черезъ шестнадцать лѣтъ потомъ мнѣ пришлось съ нимъ встрѣтиться и познакомиться, но при другихъ обстоятельствахъ. Для *Русской Бесѣды* въ одну изъ начальныхъ ея книжекъ назначалась пьеса Александра Николаевича, и авторъ долженъ былъ прочесть ее въ кругу ближайшихъ къ редакціи лицъ, къ которымъ и я принадлежалъ. Кромѣ Кошелева и Филиппова, тутъ были Хомяковъ и Константинъ Аксаковъ. Кто былъ еще и гдѣ это происходило? У Кошелева и Хомякова? Нѣтъ. У Елагиныхъ, у Аксаковыхъ? Не помню. Но это было въ 1856 году, и событіе запечатлѣлось во мнѣ можетъ-быть именно по воспоминанію о студентѣ, читавшемъ про себя ноты въ томъ домѣ, гдѣ другой юноша, ему незнаемый, такъ сильно имъ интересовался между прочимъ изъ желанія знать поближе, какіе-такіе бываютъ студенты, кончившіе курсъ съ отличіемъ въ гимназій.

## XLVI.

## Чужой хлѣбъ.

Я послушалъ брата и бросилъ на время помышленіе объ университетѣ. Но я не могъ безъ горечи вспоминать объ этомъ до самаго богословскаго класса; я сидѣлъ на чужихъ рукахъ, когда могъ бы самъ добывать хлѣбъ. Горекъ чужой хлѣбъ, особенно когда и попрекнуть имъ подчасъ. Завидовалъ я Лаврову, достававшему непостижимымъ путемъ уроки; завидовалъ имѣвшимъ почеркъ, что могли добывать деньгу хотя перепиской. Единственный заработокъ, стряпанье сочиненій для неспособныхъ и лѣнивыхъ, доставлялъ мнѣ всего

по нѣскольку гривенъ. Кромѣ книжекъ, я въ силахъ оказался приобрести на свои трудовыя только шляпу, купивъ ее за 70 коп. у кухаркина мужа, служившаго гдѣ-то дворникомъ. Шляпа была изящная, французскаго плюша, но помятая, брошенная очевидно за негодностию. Я отдалъ ее поправить, и она смотрѣла какъ новая, лоснилась, блестѣла, и воображаю, какъ странно смотрѣло это парижское издѣліе при потертомъ сюртукѣ съ полупродранными локтями и порыжѣлыхъ брюкахъ.

Читатель знаетъ о моей казинетовой чуйкѣ и мухояровомъ ватномъ сюртукѣ, въ которыхъ я выѣхалъ изъ Коломны. Сюртукъ служилъ мнѣ около двухъ лѣтъ, чуйка около трехъ. Обыкновенныхъ сюртуковъ съ нижнимъ платьемъ я перемѣнилъ три въ теченіе четырехъ лѣтъ. Я росъ сильно и къ восемнадцатилѣтнему возрасту почти остановился; платье, даже недавно купленное, становилось коротко, а чуйка, сшитая на весь ростъ, чрезъ два года имѣла видъ теперешняго пальто, только съ укороченными рукавами. Братъ Сергѣй, пріѣхавъ зимой въ Москву, сжалился и купилъ мнѣ шинель; это было на первомъ году средняго отдѣленія. Шинель куплена была, какъ и все мнѣ покупалось, на такъ-называемой Площади близъ Толкучки, поношенная. Голубой ея цвѣтъ и короткій стоячій воротникъ внушалъ догадку, что когда-то она принадлежала жандармскому офицеру, а вата съ зеленымъ узорочнымъ подбоемъ изъ фланели показывала, что послѣ жандарма шинель была на плечахъ у какого-нибудь статскаго и уже отъ него перешла въ лавку. Въ шинели я казался себѣ почти уже щеголемъ. А дотога стыдился даже выходить днемъ въ своей чуйкѣ, которая кстати и поразодралась; меня въ ней видѣли только раннее утро на пути въ семинарію и темный вечеръ на обратномъ пути домой.

Сюртуки покупались тоже изъ подержанныхъ, однако перешитые заново, и одинъ былъ даже изъ разныхъ суконъ, полы одного, а рукава другаго сукна; на первый взглядъ это впрочемъ было незамѣтно. Брюки до-



ставались всегда новые, но зато суконныхъ и не покупалось: отвѣчала нанка и разныя пеньковыя матеріи. Изъ числа сюртуковъ одинъ былъ однако новый, по заказу сшитый, казинетовый, голубаго цвѣта; я любилъ его болѣе всѣхъ, потому между прочимъ, что онъ былъ единственный сшитый по моей мѣркѣ и слѣдовательно сидѣвшій складно. Готовое не могло быть помнѣ, тѣмъ болѣе при особенностяхъ моего стана: я, вытянувшись до  $2\frac{1}{2}$  аршинъ, былъ тонокъ и узкоплечъ, высокая былинка; готовый сюртукъ оказывался либо широкъ, либо коротокъ, либо то и другое. Обыкновенно мы долго бродили по Площади съ двоюроднымъ братомъ, дьячкомъ отъ Николы Большаго Креста, прежде чѣмъ находили желаемое. Какъ мѣстному жителю, Василию Васильевичу лавочники были знакомы и пріатели, и онъ сразу осаживалъ ихъ, когда они пускали въ ходъ привычный себѣ пріемъ надувательства. Онъ швырялъ иногда первую показываемую партію, требовалъ „настоящаго“, и дѣло улаживалось. Я отдавался волѣ и вкусу моего покровителя и только слушалъ диссертациі о сравнительныхъ достоинствахъ и недостаткахъ показываемаго сюртука или сюртучной пары. „Смотри, не завощено ли гдѣ, или не закрашено ли?“— „Нѣтъ, Василій Васильевичъ, предъ вами мы этого не смѣемъ; вотъ извольте посмотрѣть, этого мы вамъ и не подаемъ. Извольте видѣть, вотъ закрашено: сюртукъ до перваго дождя. А вотъ у этого рукавъ, видите, вывороченъ и начесанъ, я этого не подаю. Здѣсь рукава изъ другаго сукна, разные, за новое я и не продаю; но сюртукъ хорошій, видный“.

Было разъ, мы ходили съ Васильемъ Васильевичемъ въ Лоскутный Рядъ, бывшій на мѣстѣ теперешней Лоскутной гостиницы, очень темный, со множествомъ лавокъ. Мой патронъ по костюмерной части объявилъ мнѣ, что здѣсь торгуютъ всѣми возможными тканями и мѣхами, но только не цѣльными кусками... Откуда же берутъ? Откуда набирается такъ много? любопыт-

ствовалъ я.—Да изъ лавокъ продають остатки, но оттуда мало; для лавокъ есть другіе покупатели, портные и картузники, а сюда больше несутъ краденое. Портной, портниха, скорнякъ принесетъ стащенное у хозяина или у закащика, а то и прямо жуликъ; попадаетъ и имъ иногда новое. Старого, ношенного здѣсь не берутъ; старье идетъ на Площадь. Цѣльную штуку если принесутъ сюда, ее рѣжутъ на куски, чтобъ обокраденные хозяева не признали ихъ въ случаѣ обыска. Зато здѣсь уже есть все; нѣтъ матеріи, какого бы сорта и цвѣта ни было, чтобы нельзя было подобрать. А бываетъ нужно, вотъ какъ намъ съ вами теперь, у фрака рукавъ чѣмъ-нибудь попорченъ, у дамскаго платья спинка; и фракъ и платье совсѣмъ новые; портной вставить другое полотнище на мѣсто испорченнаго; а здѣсь подгонять матерію и сортъ такъ, что не отличишь. Мы однако не нашли тогда, чего искали. А намъ нужно было, рукавъ ли или что другое, вставить въ приторгованный сюртукъ, во всѣхъ другихъ частяхъ выдержавшій испытаніе строгаго знатока, Василія Васильевича.

Невзрачность одежды меня угнетала. Зная, что по платью не только „встрѣчаютъ“, но часто и провожаютъ, кѣмъ, думалось мнѣ, долженъ я представляться постороннему? На какое обращеніе уполномочивается каждый встрѣчный моею наружностію? Да и помимо платья, что я такое — продолжалъ я размышлять — ученикъ послѣдняго класса семинаріи, такого заведенія, котораго не уважають, надъ которымъ смѣются, о которомъ не услышишь отзыва, не только почтительнаго, но даже снисходительнаго. Предъ незнакомымъ, кого встрѣчалъ въ первый разъ и о комъ имѣлъ основаніе предположить, что снова не встрѣчусь, я въ разговорѣ скрывалъ свое званіе и положеніе, даже лгалъ, когда спрашивали, повышалъ себя на классъ, если признавалъ себя ученикомъ семинаріи, или же придумывалъ другое званіе. Прилипалъ языкъ, я не смѣлъ принять участія въ разговорѣ, когда предполагалъ собесѣдника знающимъ, кто я.

Братъ я на вечерахъ въ Казанку живѣлъ въ сопровожденіи брата Сергія. Начали на всѣхъ нашихъ днѣхъ. Братъ прілегалъ уснуть, мнѣ спать не хотѣлось: не спать и еще одинъ неизбѣжный изъ „рассказовъ“ — разговоръ — приходилъ въ той же или осязательной близости. Не спитъ, мнѣ жаждала у лица разговоръ и съ чѣмъ началось, но онъ скоро перешелъ на умныя матеріи и на общественные вопросы. Собственно, оказался быть участкомъ удивленаго ученика. Какъ относились Казанка и вообще культурный классъ къ образованію, какое личное возмущеніе испытывалъ учитель, какъ гибнуть не раздѣламъ, дѣламъ! Есть необыкновенно даровитый мальчикъ, Тарусинъ (я даже охотно записывалъ: невольно моего у него талантъ въ разговорахъ, изъ развѣтвляющихся; но завтра возмущать его такъ, какъ кули, не дадутъ и курсъ возмущать родителей: курсъ оканчиваютъ лишь дѣти прилагательныя. Бесѣдовали мы долго, при чемъ и я вступалъ въ сужденія, сообщалъ свои замѣчанія и наблюденія. Я говорилъ смѣло: дѣло ночное: кто я, почему можетъ знать мой собесѣдникъ? Предубѣжденія у него не должно быть. Я говорилъ смѣло, судить свободно, оспаривалъ своего собесѣдника въ нѣкоторыхъ пунктахъ.

Но былъ свидѣтель нашего разговора. Братъ, котораго я предполагалъ спать, не спалъ: можетъ-быть проснулся, нами разбуженный, но продолжалъ молчать. Онъ былъ пораженъ. Вѣчно молчаливый, никогда своего сужденія никуда не вставляющій, а только выслушивающій и изрѣдка лишь обращающійся съ вопросами и просьбами о поясненіи, младшій братишка не только разсуждалъ, вступая въ пренія со взрослыми, но разсуждалъ о такихъ предметахъ и такъ, что приходится только соглашаться съ нимъ человеку, не запасшемуся особенными свѣдѣніями! Я произвелъ очевидно впечатлѣніе. Иванушки дурачка, преобразившагося предъ королевскимъ дворцомъ. Заключаю такъ изъ нѣсколькихъ словъ брата Александра, мнѣ ли брошенныхъ



потомъ въ видѣ упрека, или другимъ при мнѣ съ выраженіемъ удивленія. Черезъ нѣсколько недѣль, мѣсяцевъ даже можетъ-быть, не забылъ Сергѣй передать Александру о подслушанномъ разговорѣ: столь сильное произведено было на него впечатлѣніе!

Задумываюсь объ этой двойственности, даже тройственности, въ которой я держалъ себя тогда. Она не ограничилась тогдашнимъ временемъ; преслѣдовала она меня долго, до самаго выхода изъ духовнаго вѣдомства и даже далѣе. Я занималъ уже кафедру; въ одинъ изъ каникулярныхъ періодовъ гостилъ въ Москвѣ; отправился разъ въ Кремль, былъ какой-то праздникъ; въ Чудовѣ архіерейское служеніе. Направляюсь въ церковь, пробираюсь сквозь ряды богомольцевъ, тѣснящихся на ступеняхъ высокаго крыльца. Наверху стоитъ стражъ благочинія, квартальный. „Долой, пошли! Назадъ, назадъ!“ кричитъ онъ столь извѣстнымъ Россіи полицейскимъ голосомъ, отпихивая тѣснящихся въ церковь. Попадаю подъ его властную длань и я; онъ толкаетъ меня съ такою силой, что я кувыркомъ лечу съ лѣстницы. Поднялся я и размышляю послѣ первой секунды негодованія. „Развѣ написано на мнѣ, кто я? Да положимъ, онъ и зналъ бы мое общественное положеніе. Правда, онъ оказалъ бы мнѣ вѣжливость, даже внимательность можетъ быть. Ну, а эта сотня желающихъ молиться? Я буду избавленъ отъ толчковъ ради своего соціальнаго положенія, а ихъ будутъ бить такъ же какъ бьютъ сейчасъ, какъ бьютъ вездѣ. Правъ ли я буду, нравственно воспользовавшись привилегіей своего внѣшняго положенія, получа ради его доступъ въ соборъ, куда вступить изъ сотни этихъ богомольцевъ половина достойнѣе меня? Ихъ влечетъ желаніе молиться, а меня можетъ-быть болѣе любопытство нежели молитвенное расположеніе. Квартальный не исправится, если я пожалуюсь; да и винить его нельзя, его должность такая; даванье зуботычинъ входитъ въ его прерогативы, безъ которыхъ по об-

щему мнѣнію, пусть ложному, нельзя обойтись. Да и кому я пойду жаловаться, чѣмъ докажу фактъ грубаго обращенія? Производить ли скандалъ здѣсь на паперти, требовать составленія акта? Это комично наконецъ, и что я выиграю? Выговоръ квартальному, по совѣсти имъ даже не заслуженный, извиненіе предо мною, которое для меня никакой цѣны не имѣетъ, когда степень культуры моего оскорбителя мнѣ извѣстна. Да, Игнатій Алексѣевичъ вотъ сердится, когда спотыкнется на камень, попадающійся подъ ногу. Не довольствуясь тѣмъ, что отпихнетъ неожиданное препятствіе, онъ сердится; онъ гонится за камнемъ, отбрасывая все далѣе и далѣе съ гнѣвнымъ восклицаніемъ: „а, негодный!“ То же дѣлаетъ и съ прутомъ, нечаянно хлестнувшимъ его въ лѣсу; съ гнѣвомъ ломаетъ его, бросаетъ и топчетъ. Не то же ли повторю и я, требуя извиненій отъ квартальнаго?“ Низверженіе мое и слѣдовавшія за нимъ размышленія столь сильно на меня подѣйствовали, что въ послѣдствіи я, собираясь на какую-нибудь церемонію... читатель ожидаетъ—надѣвалъ мундиръ?... Нѣтъ, наоборотъ, я накидывалъ самое невзрачное изъ своихъ одѣяній, и помню, въ овчинномъ тулупчикѣ слушалъ въ Успенскомъ соборѣ литургію и манифестъ объ освобожденіи крестьянъ. Стократъ счастливымъ счелъ я себя тогда; что и рубище не закрыло первопрестольнаго собора для меня въ этотъ знаменательный для Россіи день. Мысленно я пародировалъ себѣ въ подобныхъ случаяхъ слова Библейской Исторіи Филарета о Моисеѣ, что онъ „предпочелъ страдать съ народомъ Божіимъ, нежели раздѣлять временную грѣха сладость“; удержусь отъ пользованія случайными виѣшними преимуществами, когда дѣло идетъ о доступѣ къ такому благу, на которое всѣ имѣютъ равное право человѣка ли вообще, русскаго ли человѣка въ частности.

Сказанная сейчасъ черта выразилась во мнѣ можетъ-быть даже преувеличенно. Долгое, очень долгое время



я не рѣшался выступать съ личными сужденіями и въ печати, и въ разговорахъ. До самыхъ послѣднихъ временъ я не допускалъ своей полной подписи подъ статьями; въ разговорахъ, и притомъ когда занималъ уже положеніе въ обществѣ, я долго не рѣшался употреблять выраженія: „я полагаю“ или „мое мнѣніе таково“; высказывалъ свое мнѣніе не иначе какъ въ выраженіяхъ: „есть мнѣніе“ или „есть люди, которые полагаютъ, напротивъ“... Эта несмѣлость выраженія, это отвращеніе къ выставочности, эта вѣчная боязнь злоупотребить авторитетомъ, хотя бы иногда былъ онъ даже законный, или встрѣтить возраженіе, основанное не на существѣ мысли, а на личномъ противъ меня предубѣжденіи, эта сдержанность—коренилась съ тѣхъ молодыхъ лѣтъ, когда я былъ еще въ семинаріи, когда каждое поползновеніе выступить заграждалось встававшимъ тотчасъ же недоумѣніемъ: „а скажутъ тебѣ: что ты суешься? Кто ты такой? Знай сверчокъ свой шестокъ; ты семинаристъ, не больше“.

Рѣзкое обращеніе брата довершило эту пригнетенность духа. „Глупо! Совсѣмъ не такъ!“ Братъ не замѣтилъ моего внутренняго роста; безоглядность и опрометчивость были вообще въ его природѣ. Были пункты, въ которыхъ я переросъ даже его, а онъ продолжалъ обращаться ко мнѣ съ тою же авторитетностью, не допускавшею возраженій, какъ было два, три года назадъ. Я замолчалъ. Я только слушалъ и изрѣдка спрашивалъ. Въ классѣ же среди сверстниковъ рѣчь моя напротивъ лилась; я сыпалъ замѣчанія, веселые рассказы и отличался даромъ живаго изложенія, пересыпаннаго остротами. Это была тоже натяжка, я лицемерилъ; я не находилъ отрады въ пересмѣшничествѣ; я ему предавался за недостаткомъ болѣе развитыхъ собесѣдниковъ и болѣе серіозныхъ предметовъ для бесѣды. Своимъ балагурствомъ я примѣнялся къ окружающимъ, съ которыми, чувствовалъ я, другого, болѣе питательнаго разговора нельзя вести. Я даже

иногда лгалъ на себя, изображая себя въ положеніяхъ, которыхъ на дѣлѣ не принималъ, но которыя, еслибы водились за мною, уравнивали бы меня съ товарищами.

Проходя ежедневно Дѣвичьимъ Полемъ, я вскидывалъ иногда взоръ на сторону, откуда высматривалъ задумчиво домъ съ большимъ садомъ, бывшій нѣкогда князя Щербатова, историка, недавно пріобрѣтенный Погодинымъ. Съ тоской думалъ я: вотъ какъ близко отъ извѣстнаго профессора и публициста, а не подойдешь! Еслибы братъ, познакомившійся послѣ съ Погодинымъ, сошелся съ нимъ еще когда я жилъ на Дѣвичьемъ Полѣ, дальнѣйшая судьба моя несомнѣнно пошла бы другимъ путемъ; мнѣ бы открылся кругъ, въ который я введенъ былъ уже тринадцать лѣтъ спустя; и развитіе и внѣшнее положеніе опредѣлились бы иначе. Университетъ не былъ бы мнѣ страшенъ, и въ семинаріи навѣрное бы я не остался. Мнѣ открылись бы уроки, и я былъ бы избавленъ отъ необходимости ѣсть чужой хлѣбъ. Прибавилось бы и бодрости; не приходило бы надобности въ превращеніяхъ Иванушки дурачка; все пошло бы ровнѣе и отъ сколькихъ дальнѣйшихъ противорѣчій въ жизни я былъ бы спасенъ!

Два раза однако наворачивались было уроки. Зять Лаврова, дьяконъ, женатый на его сестрѣ, рекомендовалъ меня своему прихожанину, купцу въ Таганкѣ, искавшему преподавателя началъ французскаго языка. Явился я. Встрѣчаетъ хозяинъ-бородачъ. Потолковали. „Такъ-то все такъ, заключилъ бесѣду хозяинъ, но видите, у меня дочка на возрастъ, вы человѣкъ молодой; что это дьяконъ-то вздумалъ васъ прислать?“ Выраженія едва ли не были даже грубѣе по направленію отъ дьякона. Я ушелъ ни съ чѣмъ, оплеванный; между тѣмъ и учить-то приходилось совсѣмъ не дочку на возрастъ, а сына лѣтъ одиннадцати.

Другой урокъ былъ репетиторство со внукомъ священника Пятницы на Божедомкѣ, того самаго кото-



рый прїѣзжалъ къ родителю въ Коломну, спасаясь отъ Франгузовъ. Это было мнѣ по дорогѣ изъ семинаріи въ Дѣвичій, и я вечерами изъ класса заходилъ къ своему ученику. Увы! я нашелъ малаго не только плохо учившагося, но и не желавшаго учиться. Въ другихъ выраженіяхъ, но онъ повторялъ Митрофаново „не хочу учиться, хочу жениться“; заговаривалъ, вмѣсто сдачи урока, о бульварныхъ дѣвицахъ, о сравнительномъ достоинствѣ полпивныхъ. Походивъ недѣлю или двѣ, я бросилъ; было тошно заниматься, да и недобросовѣстно брать деньги даромъ. И деньги-то впрочемъ ничтожныя, едвали не полтора рубля за мѣсяцъ.

Откуда-то Лавровъ досталъ мнѣ работу—переводить съ французскаго какое-то руководство къ земледѣлію ли вообще или къ огородничеству въ частности. Полнаго заглавія не знаю, мнѣ данъ былъ только отрывокъ „Объ устройствѣ и обдѣлкѣ грядъ“. Однако и этотъ способъ добытки средствъ только поманилъ меня: листъ или два переведены были мною за цѣну, почти не превышавшую цѣны переписки; болѣе у моего прїятеля не оказалось оригинала. Я не зналъ, кѣмъ этотъ трудъ былъ и заказанъ. Да зналъ ли и самъ Лавровъ? Къ нему перешелъ оригиналъ вѣроятно изъ третьихъ рукъ въ четвертыя.

## XLVII.

## Б ѣ г с т в о.

Приближалась лѣтняя вакація 1840 года. Я готовился къ переступленію въ Среднее Отдѣленіе. Прошлогодною вакацію провелъ я въ Коломнѣ, и эта побывка оставила во мнѣ восхитительнѣйшее впечатлѣніе. Снова въ теплое гнѣздышко, къ своимъ ближайшимъ, роднѣйшимъ, къ спутницамъ моего дѣтства, въ тотъ садикъ,

гдѣ, бывало, въ это время аккуратно я начиналъ каждый день тѣмъ, что проходилъ частоколъ сосѣдскаго сада и обиралъ малину на прутьяхъ, свѣсившихся чрезъ частоколъ въ нашъ садъ. До малины въ нашемъ саду дойдетъ очередь, но обобратъ надобно первоначально эту, сосѣдскую. Ахъ, сосѣдскій садъ! Сколько онъ доставлялъ намъ радостей, а мнѣ однажды большое огорченіе. Садъ былъ полонъ яблонями, и какое всегда на нихъ обиліе яблокъ! Глаза у насъ разгорались на эти краснобокіе фрукты. Кто-то изъ двоюродныхъ братьевъ научилъ сестеръ хитрости, показавъ примѣръ. Онъ взялъ большой шестъ, на вершинѣ его вбилъ перпендикулярно гвоздь, острый конецъ котораго далеко выставлялся. Съ шестомъ въ рукѣ проходили по частоколу, поднимали шестъ и вонзали приготовленное орудіе въ облюбованный фруктъ; поворачивали шестъ и тащили назадъ, уже съ яблокомъ на немъ. У сестеръ всегда былъ запасъ Кузнецовскихъ яблокъ; меня къ участию въ своей охотѣ не допускали, хотя яблоками и угощали. Шестъ гдѣ-то хранился въ потаенномъ мѣстѣ. Взяла меня зависть и жадность. Я отправился на охоту безъ орудія. Чего стоило вскочить на частоколъ, перелѣзть, оборвать ближайшую яблоню и—назадъ! Я полѣзъ на частоколъ, но только что ступилъ на него, какъ нога завязла между кольями; а въ ту же минуту хлопнула калитка съ сосѣдскаго двора. Идутъ въ садъ! Стараюсь вытащить застрявшую ногу; тщетно! Между тѣмъ, вижу, приближается кто-то ближе и ближе, а ноги все въ частоколѣ. Подходитъ кухарка. „Ты зачѣмъ это здѣсь?“ Не помню, какую я выдумалъ причину, что-то я закинулъ нечаянно въ садъ и иду отыскать затерянную вещь. „Не ври, голубчикъ; ты за яблоками лѣзъ. То-то у насъ яблоки убавляются съ вашей стороны. Пойдемъ къ хозяину.“ „Матушка, голубушка“, взмолился я и началъ припоминать, какія ласкательныя выраженія употребляются въ обращеніи къ женщинамъ такого

возраста. Такъ былъ растерянъ и напуганъ, что никакъ не могъ найти искомаго слова. „Матушка, *старушка* (вмѣсто „тетушка“, слова котораго я искалъ), отпусти.“ „Какая я старушка! возразила гнѣвно кухарка. Ишь ты вздумалъ, въ старухи меня пожаловалъ! Пойдемъ, пойдемъ!“

И взяла она, какъ воробья изъ тенетъ, и привела къ хозяину.

— Это не дѣло, сказалъ старикъ купецъ.—Вотъ я батюшкѣ скажу, чтобъ онъ тебя наказалъ.

Я пролепеталъ то же нескладное оправданіе и былъ отпущенъ. Черезъ полчаса явился посланный, чтобъ извѣстить моего отца. Горячо было бы мнѣ, еслибы довели дѣло до моего родителя. Но отецъ спалъ; посланнаго приняли сестры и обѣщали передать порученіе. Но не передали, вѣроятно потому что ихъ собственная совѣсть была не чиста. Такъ кончилась моя попытка къ кражѣ.

Не для такихъ походовъ я пріѣхалъ на вакацію; но все мнѣ вспомнилось, каждый кустикъ, каждое деревцо о чемъ-нибудь мнѣ напоминали. Истинно я блаженствовалъ, а одно происшествіе оставило во мнѣ глубоко трогательное впечатлѣніе, силу котораго доселѣ живо воспроизвожу.

Жаркій день и жаркая ночь. Я сплю на балконѣ; тамъ же и сестры. Рано, рано, часа въ три утра я былъ разбуженъ, колокольный звонъ раздавался по городу, звонили на всѣхъ колокольныхъ и даже сельскихъ подгороднихъ.

— Что это такое? спросилъ я.

— Митрополитъ пріѣхалъ, на похороны должно-быть. Никита Михайловичъ умеръ.

Никита Михайловичъ, протоіерей сосѣдней Зачатіевской церкви, былъ родной братъ Филарета. У меня слезы выступили на глазахъ. Это чудное утро, легкій туманъ, едва поднимающееся солнце, полная повсюду тишина, и этотъ звонъ, возвѣщающій о пріѣздѣ архі-



ерея-брата на послѣднее цѣлованіе брата-протоіерея. Меня тронула эта родственная нѣжность высокаго іерарха къ своему невидному брату, притомъ и бѣдному внутренними достоинствами. Покойникъ родитель мой, бывшій на погребеніи, передавалъ мнѣ потомъ, что двѣ крупныя слезы скатились по щекамъ митрополита во время прощальнаго обряда.

Естественно было желаніе во мнѣ повторить сладкія впечатлѣнія свиданія съ родиной. Нужно было спросить брата.

Но съ братомъ уже разладилось у меня. О, какая мудреная наука найти черту, гдѣ должна окончиться нравственная опека, и отыскать правильную постепенность, съ какою должны быть ослабляемы возжи. Съ глубокой, безусловной вѣрою въ брата пріѣхалъ я въ Москву. Со внимательною любовью относился ко мнѣ братъ. Одинъ случай дастъ понятіе объ отношеніяхъ, какія сохранялись еще весной 1839 года, черезъ девять мѣсяцевъ послѣ моего переѣзда въ столицу. Братъ былъ охотникъ до наливокъ и мастеръ ихъ настаивать. Окна были заставлены бутылками. Разъ, въ отсутствіе и брата и невѣстки (они были гдѣ-то въ гостяхъ), племянникъ-мальчикъ предложилъ мнѣ попробовать изъ одной бутылки; я имѣлъ легкомысліе принять предложеніе. Попробовали изъ одной, попробовали изъ другой. Обойдя всѣ бутылки, мы оба опьянѣли. Много ли намъ нужно было, мнѣ четырнадцати-лѣтнему, а тѣмъ болѣе осмилѣтнему племяннику? У него закружилась голова и его стошнило. До свѣдѣнія брата доведено было происшествіе. Я уже спалъ, когда онъ и невѣстка возвратились изъ гостей; раннимъ утромъ я отправился по обыкновенію въ семинарію. По приходѣ домой нахожу брата пасмурнымъ.

— Чтò ты сдѣлалъ? Чтò вы сдѣлали? А я уже боялся, не случилось ли чего съ тобой, не бросился ли ты въ рѣку; ты такъ долго не возвращался.

Но мое промедленіе было случайно, о чемъ я и объ-



яснилъ брату. Затѣмъ послѣдовалъ упрекъ, мягкій, дружественный, раскрывавшій всю гадость поступка особенно по отношенію къ мальчику.

— Я Петра (сына) наказалъ. Что же мнѣ съ тобой сдѣлать?

— Накажите и меня, отвѣчалъ я тронутый, сознавъ вполнѣ всю непростительность своего легкомыслія.

— Я его высѣкъ.

Не отказался и я отъ такого внушенія, самъ сознавая себя болѣе виноватымъ нежели мальчикъ-племянникъ. Братъ приготовилъ розгу; я легъ.

— Нѣтъ, вставай, сказалъ онъ расплаканный; не могу.

Я плакалъ, понятно, тронутый не меньше его. Мы расцѣловались, и о происшествіи не было больше помина. Но взаимное довѣріе начало ослабляться по мѣрѣ того какъ я росъ. Я сталъ тяготиться постоянною указкой; у брата вырывались слова, что онъ тяготится моимъ содержаніемъ. Слова эти срывались не часто и притомъ въ гнѣвѣ, но достаточно было сказать разъ, чтобы утратилась прежняя моя безбоязненность. Братъ приходилъ въ негодованіе, пожалуй и справедливо, на то что я лѣнился чистить свои сапоги. Начиналъ онъ иногда указывать на меня своимъ дѣтямъ, чтобъ они не брали примѣръ съ меня. Доходило до того, что онъ товаривалъ: „смотрите, смотрите, какъ онъ ѣстъ!“ То-есть какъ будто я ѣлъ съ жадностью. Я отмалчивался, и это приводило его въ раздраженіе, свидѣтельствовало о моей глубокой испорченности, безчувственности. Надо мною читались дѣтямъ рацеи. Охлажденіе и взаимное нравственное удаленіе были неизбѣжны. Онъ требовалъ за непремѣнное, чтобы я показывалъ ему все свои сочиненія; а я уже пересталъ вѣрить въ совершенство его поправокъ. Онъ высказывалъ замѣчанія и сужденія, но я съ нѣкоторыми уже не соглашался. Противорѣчіе выводило его изъ себя; легко воспламеняемый, онъ наговаривалъ много несправедливаго и оскорбительнаго.

Черезъ два года отношенія уже натянулись. Я жилъ въ себѣ больше, и братъ ко мнѣ не часто обращался. Помимо службы онъ былъ поглощенъ воспитаніемъ сына, занимаясь съ нимъ усердно.

Я стоялъ у печки въ приѣмной комнатѣ, которую называли „залой“; она первая послѣ прихожей, угольная, два окна на одну сторону, два на другую. Зеркало; печка въ углу; старинное фортепіано налѣво у стѣны, отдѣляющей залу отъ спальни. Братъ ходилъ по комнатѣ.

— Братецъ, можно мнѣ ѣхать въ Коломну? спросилъ я просительнымъ тономъ.

Онъ отвѣчалъ отказомъ рѣзкимъ и грубымъ. Представилъ какія-то основанія и заключилъ, чтобъ я не смѣлъ и думать.

— А если я поѣду безъ позволенія? спросилъ я самымъ смиреннымъ, какъ мнѣ казалось, тономъ. Но должно-быть въ немъ слышалась досада, какъ сужу изъ послѣдующаго.

Неожиданное и небывалое противорѣчіе взорвало брата. Съ потоками брани, какъ я смѣлъ это сказать и думать, онъ бросился на меня и схватилъ за волосы. Я вырвался и произнесъ три слова:

— Это уже слишкомъ!

Два года я жилъ; рука его никогда на меня не поднималась, хотя язвительныхъ и грубыхъ словъ рстало довольно.

Я выбѣжалъ на дворъ; братъ погнался было, но воротился. Какъ я досталъ картузъ, не помню. Только я вышелъ со двора и направился къ полю (Дѣвичьему) съ рѣшимостью не возвращаться.

Дѣло было вечеромъ. Куда я пойду? Но я объ этомъ не думалъ, душа во мнѣ кипѣла. Я припоминалъ всѣ грубые попреки, которые считалъ тѣмъ менѣе заслуженными, что сердечно жалѣлъ о тягости, которую наложила дороговизна хлѣба въ этотъ годъ, и отъ души желалъ облегчить брата. Но не я, а онъ же виновать,

что всѣ способы у меня отняты. Даже отдаленный намекъ о томъ, что я могъ бы достать какой-нибудь уро-чишка, встрѣчалъ съ его стороны рѣшительный отказъ. Я не могу отлучиться никуда, чтобы не вызвать выговоровъ и обидныхъ подозрѣній. Самыя невинныя дѣйствія мои истолковывались превратно, въ дурную сторону. Моя скромность истолковывалась какъ жестокость. И наконецъ, что преступнаго, что дурнаго, что я желаю ѣхать къ отцу и сестрамъ? Домъ на Дѣвичьемъ Полѣ развѣ тюрьма для меня и за что я заключенъ?

И я все шелъ. Пришелъ въ Москву, то-есть прошелъ поле, вступилъ на Пречистенку. По косности привели меня ноги и къ Александровскому саду. „Куда жъ теперь?“ подумалъ я и направился на Ильинку къ брату Василию Васильевичу. Никогда я до сихъ поръ не проводилъ ночи внѣ дома, и я стѣснялся попросить ночлега, хотя въ такой просьбѣ не было ничего чрезвычайнаго. Но мнѣ казалось, что на меня посмотрятъ какъ на бродягу, что на лицѣ моемъ прочтутъ преступленіе.

Опасенія мои, разумѣется, не оправдались. Меня приняли радушно. Разговорились, и незамѣтно, само собою вышло, что я долженъ ночевать; время позднее, подъ Дѣвичій далеко. Разумѣется, я ни слова не сказалъ о причинѣ, приведшей меня въ столь необычный часъ на Ильинку.

Но до роспуска оставалось еще два дня. Слѣдующій день былъ канунъ публичнаго экзамена. Годъ былъ курсовый, переходный. На этотъ разъ семинарія была между прочимъ и ревизована. Ревизоромъ былъ назначенъ викарный архіерей Виталій. Экзамены частные всѣ были мною уже сданы, и отъ нихъ осталось между прочимъ неутѣшительное для меня воспоминаніе. Ревизоръ нашелъ, что отвѣчающій ученикъ плохо прочиталъ какой-то примѣръ, кажется отрывокъ изъ проповѣди Массильона о Страшномъ Судѣ. Захотѣлось ему испытать искусство чтенія. Какъ перваго ученика, вызвали меня.



— Знаете оду *Богъ*?

— Знаю.

— Прочитайте-ка.

Я началъ. Прислушалъ архіерей нѣсколько и отпустилъ со словами:

— Э, батюшка, и вы читать не умѣете.

Прошатался я утро по Москвѣ; обѣдать зашелъ къ другому двоюродному брату, Ивану Васильевичу, въ Овчинникахъ. Тары да бары до вечера. Однако не ночевать же мнѣ здѣсь. Это будетъ даже подозрительно: у одного брата сегодня, у другаго завтра. Я отправился снова шататься и забрелъ въ Александровскій садъ. Здѣсь въ гротѣ нахожу господина, разговорюсь съ которымъ узналъ, что это землемѣръ, командированный куда-то за тысячи верстъ. Очень долгая, занимательная для меня бесѣда; я вызналъ о землемѣріи все, что только можно вызнать въ такое короткое время; между прочимъ узналъ, какимъ великимъ опасностямъ подвергались землемѣры во время генеральнаго межеванія и какимъ оригинальнымъ средствомъ спасались. Для крестьянъ это было дѣло невиданное и непонятное, а интересовъ касались кровныхъ. Когда всѣ попытки къ словесному убѣжденію истощались, а крестьяне свирѣпѣли и принимались за колья, наступая на межевщика, онъ раскидывалъ астролябію и садился подъ нее, окруживъ ее цѣпью въ добавокъ. Въ суетвѣрномъ страхѣ крестьяне отступали.

Однако ночь, и собесѣдникъ мой со мной распростился. Куда же я? Раскинулись по небу звѣзды, все тише и тише на улицахъ. Не только экипажи, но и ваньки замерли. Развѣ тѣ съ громомъ промчатся, которыхъ такъ затѣйливо наименовала одна служанка своей барыни, воображая, что выражается высокимъ и приличнымъ матеріи слогомъ: „Настасья, Настасья, будить встревоженная барыня горничную. Встань, посмотри-ка, никакъ пожаръ! Гдѣ? Что? Куда это пожарные ѣдутъ?“

Встала горничная, посмотрѣла и лѣнливо отвѣчала:

„Э, матушка барыня! Успокойтесь, это не пожаръ; это съ духовенствомъ проѣхали“.

Да, за полночь уже. Прошелъ я на набережную. Вотъ Волчья Долина, знаменитый трактиръ-вертепъ, о которомъ я слышался отъ Перервенца. Зашелъ бы туда; но у меня нѣтъ даже пяточка. Я предался размышленіямъ между прочимъ о знаменитомъ соловьѣ, заслуживавшемъ котораго приходили тысячи. За четверть версты было его слышно. Набережныя были полны слушателями, а трактиръ выручалъ тысячи отъ слушателей-посѣтителей. Но другой трактирщикъ-соперникъ подучилъ злаго чловѣка: подошелъ гость къ дорогому пѣвцу и окормилъ его. Опустѣлъ трактиръ, опустѣла набережная.

А вотъ Каменный мостъ. Не здѣсь ли, не въ сегодняшнюю ли зиму подшутилъ Александръ Антоновичъ протодьяконъ надъ жуликами, дерзнувшими было напасть на него, одиноко шествовавшего ночью? Схватилъ обоихъ за шиворотъ, одного одною рукой, другаго другою, перекинулъ чрезъ каменную ограду моста и трясъ надъ шипящею внизу водой запѣлъ своимъ знаменитымъ басомъ: „во Іорданѣ крещающуся...“ Однако здоровъ Александръ Антоновичъ! Ломаются ли и гнутся ли подъ нимъ рессоры? Знаменитаго „Тверскаго“ придворнаго протодьякона извозчики, сказываютъ, перестали возить, не брали ни за какую цѣну.

Куда же идти? Повернулъ снова въ Александровскій садъ и направился къ любимому мѣсту, къ гроту. Тамъ уже есть кто-то, въ чуйкѣ, въ картузѣ, лежитъ на скамьѣ, спитъ повидимому; сомнительный субъектъ! Однако послѣдую примѣру. Я сѣлъ, нагнувъ картузъ немного на лобъ и скоро задремалъ. Долго ли я проспалъ, неизвѣстно; но когда проснулся, неизвѣстнаго въ чуйкѣ не было уже. Утро съ полнымъ солнцемъ, и та специальная вонь, которая отравляетъ самыя восхитительныя лѣтнія утра въ Москвѣ. Она, вонь, какъ будто тоже встаетъ утромъ и совершаетъ свой туалетъ.

Вечерняя и ночная вонь непріятны, а утренняя и того тошнѣе, можетъ быть по противоположности съ яркимъ солнцемъ и по воспоминанію, которое вызывается о благоуханіи луга и лѣса въ этотъ часъ.

Немного посидѣвъ, я прошелъ въ Охотный рядъ, чрезъ Театральную площадь, обогнулъ Китайскую стѣну и явился въ семинарію. Приготовленіе къ экзамену, какъ прошлымъ годомъ, какъ всегда. Вотъ богословы съ тетрадками ходятъ; вѣдь имъ экзаменъ главный. Вотъ младшая братія; ей нѣтъ экзамена сегодня; ее потянутъ завтра. Вотъ ректоръ и профессора на крыльцѣ въ ожиданіи владыки.

— Ну, что вы боитесь, что тревожитесь? Соберите все спокойствіе, будьте смѣлѣе. Чего бояться? Вѣдь кто? Вѣдь владыка, вѣдь онъ нашъ отецъ—чего бояться?

Такими словами успокаиваетъ своихъ птенцовъ отецъ-ректоръ, держа конспектъ въ рукѣ, которая ходитъ ходенемъ.

— Ну, что бояться, чего бояться? повторяетъ онъ, а рука продолжаетъ трястись, и листы конспекта гремятъ, какъ будто вѣтеръ по нимъ ходитъ.

Но вотъ зазвонили, владыка пріѣхалъ, его высаживаютъ изъ кареты и ведутъ, почти несутъ по лѣстницѣ. Лиловая ряса съ бѣлымъ клобукомъ выдѣляется среди черныхъ рясъ и черныхъ профессорскихъ фраговъ съ бѣлыми пуговицами.

Зала богословская тѣсна, она не можетъ вмѣстить всей семинаріи, тѣмъ болѣе что цѣлая треть отведена для экзаменующихъ. Скамьи вынесены. Ученики стоятъ, тѣ классы которымъ испытаніе предстоитъ ранѣе другихъ. Впередъ протиснуться нельзя, духота непомѣрная. Въ этотъ-то достопамятный день случилось происшествіе, повергшее всѣхъ въ ужасъ. При тѣснотѣ, вызываемые къ отвѣту продвигались, но почти не отдѣлялись отъ прочихъ, стоящихъ позади. Вызываютъ ученика. Онъ отвѣчаетъ частію по собственной памяти, частію по подсказу сзади стоящаго суфлера. Встаетъ митрополитъ



внезапно изъ-за стола, беретъ собственноручно суфлера и выводитъ вонъ съ гнѣвнымъ напоминаніемъ, что шепотникъ по-гречески называется διάβολος (діаволъ). Шепотникомъ оказался ученикъ перваго разряда, будущій студентъ. Пропалъ онъ! Нѣтъ, не напрасно же говорилъ ректоръ, дрожа всѣмъ тѣломъ и чуть не стуча зубами: „вѣдь онъ нашъ отецъ! Чего бояться?“ Шепотникъ только тѣмъ и отдѣлался, что его вывела высокопреосвященная рука.

Отошелъ экзаменъ, и я направился на Ильинку, гдѣ ночевалъ третьяго дня. Пообѣдалъ. Послѣ обѣда является третій братъ, Смирновъ младшій, Дмитрій Васильевичъ, дядечекъ изъ Покровскаго-Глѣбова. Человѣкъ веселый и любилъ выпить. Поздоровался со мной.

— Какъ поживаешь?

Я отвѣчалъ съ грустью, что очень дурно.

— Exclusus (исключенъ)? спросилъ онъ съ участіемъ.

Онъ вспомнилъ должно-быть свою участь въ свое время. Какая иронія судьбы! подумалъ я про себя. Мнѣ, первому ученику, выражаютъ участливую боязнь, не исключенъ ли я за малоуспѣшность!

— Нѣтъ, отвѣчалъ я въ слухъ и передалъ вкратцѣ свое бѣгство или изгнаніе. Съ Дмитріемъ Васильевичемъ я могъ говорить откровеннѣе; онъ ближе тѣхъ братьевъ мнѣ по лѣтамъ.

— Ну, что это, пустое! сказалъ онъ успокоившись. А пойдемъ-ка съ нами. Братъ, пойдемъ, обратился онъ и къ Василию Васильевичу.

Мы отправились въ полпивную. Я хотя вообще и не пилъ, но на этотъ разъ не смѣлъ отказаться, боясь огорчить гостепріимца. Я пилъ осторожно, но два брата—очень изрядно. Василій Васильевичъ былъ особенно охотникъ до пива. Онъ нажилъ даже неестественную полноту отъ пива и пальцы у него были какъ огурцы. Эти пальцы переживаютъ теперь второй періодъ. Прежде Василій Васильевичъ былъ дядькомъ въ Черкизовѣ. Въ тѣ времена онъ былъ не только худощавъ, но руки

его были тѣмъ замѣчательны, что вполнѣ не разжимались. Онѣ имѣли видъ граблей, пальцы не выпрямлялись. Онъ былъ необыкновенно работающъ: соха, топоръ, возжи не выходили изъ его рукъ и произвели эту постоянную скрюченность. Но по поступленіи въ Москву на богатое мѣсто, доходъ котораго равнялся священническому и даже превосходилъ умѣренное содержаніе, получаемое священникомъ средняго прихода, Василій Васильевичъ пополнѣлъ, разботѣлъ, расцвѣлъ, лицо его закруглилось и залоснилось, а пальцы не только выпрямились, но раздулись: прежде онъ не могъ рукъ разжать вполнѣ; теперь наоборотъ трудно прижать пальцы къ ладони.

— А что, братъ, пойдѣмъ-ка ко мнѣ ночевать, въ Покровское! пригласилъ меня Дмитрій Васильевичъ.

Я радъ былъ идти и дальше, лишь бы ночевать подъ кровлей. И мы отправились. Но прежде чѣмъ выйти за заставу, мы еще порядочно поколесили. Куда-то все нужно было ему зайти. Первоначально зашли въ Пѣвчую (переулокъ, бывший на мѣстѣ теперешнихъ Теплыхъ рядовъ). Здѣсь Дмитрій Васильевичъ предполагалъ купить картузь. Долго торговался съ картузникомъ, долго выбиралъ, наконецъ купилъ. Спрыснуть надо; зашли снова въ полпивную, оттуда въ Охотный рядъ, за провизіей. Изъ лавки въ лавку. Опять пересмотръ товара, опять торговаться четверть часа; наконецъ и здѣсь кончили. Отправились куда-то еще, не помню куда, но мы очутились къ ночи на Знаменкѣ, совсѣмъ не по дорогѣ въ Покровское. Въ большомъ трехэтажномъ домѣ, противъ Пашкова дома, огни. Это пансіонъ, пояснилъ мнѣ Дмитрій Васильевичъ, и здѣсь балъ. Вышли наконецъ за заставу; здѣсь заходить уже некуда было. Сильно нагруженный пришелъ младшій Смирновъ домой и началъ бурлить. Жена качала ребенка въ люлькѣ. Приглашая меня къ себѣ, онъ расписывалъ Покровское какъ рай небесный и что я чудеснѣйшимъ образомъ отдохну и освѣжусь предъ экза-



меномъ послѣ двухсуточного мытарства; но оказалось, что онъ живетъ въ крошечномъ чуланчикѣ, и мнѣ почти лечь негдѣ. Домъ отданъ былъ въ наемъ дачнику.

Какое ужъ тутъ было спанье? Хозяинъ бурлилъ, придирался къ женѣ; ребенокъ нѣтъ, нѣтъ, да начиналъ неистово кричать. Со скрипомъ качалась люлька, въ полголоса идетъ баюканье. Одинъ глазъ у меня спитъ, другой бодрствуетъ; я былъ въ полуснѣ. Не взяла и усталость послѣ вчерашняго и сегодняшняго путешествія. Чѣмъ свѣтъ я всталъ и направился въ Москву, не простясь съ хозяевами. Они спали, а мнѣ нужно поспѣвать къ экзамену. Я пришелъ на Никольскую рано, хотя шелъ не торопясь. Покровскую рощу и всю дорогу до Всѣхсвятскаго шелъ почти шагомъ, упиваясь свѣжимъ воздухомъ; прибавилъ шагу только на пыльномъ шоссе, рядомъ съ недавно разведеннымъ паркомъ. А отъ Тверской заставы до Никольской, это по тогдашнимъ моимъ ногамъ было ровно ничего.

На экзаменѣ я былъ спрошенъ, но отвѣчалъ всего словъ пять. Почти при самомъ началѣ отвѣта, мнѣ сказано: „довольно!“ и я, самъ очень довольный, не замедлилъ укрыться въ задніе ряды.

Скоро и кончился экзаменъ. Радостный я поспѣшилъ съ Никольской въ Рогожскую. Ямщики окружили.

— Куда баринъ?

— Въ Коломну.

— Лѣшій! Спрашиваешь! Развѣ не видишь? Это батюшки Никитскаго сынъ.

— И то!

Ряда была не долга. Задатка обыкновенно требуемаго я не далъ. У меня ничего не было. Да и зачѣмъ задатокъ? Я самъ задатокъ, лично. Кто повезетъ? Гдѣ кибитка? Жеребій кинуть; вотъ кто повезетъ. Но прежде онъ пойдетъ чаю напиться. Накидывается халатъ синяго сукна поверхъ сѣраго армяка. Пошелъ мой ямщикъ въ трактиръ. Но халатъ немедленно выносятся изъ трактира обратно и накидывается на другаго, по-

томъ на третьяго, все тотъ же халатъ. Вышло строгое запрещеніе: пускать въ трактиръ только чистую публику, сѣраго мужика не смѣй. Суконный халатъ есть признакъ купца иль мѣщанина — чистая публика, и единственный на постояломъ дворѣ халатъ переходить съ плечъ на плечи, поочередно обращая сѣраго мужика въ чистую публику.

Черезъ два часа бубенчики зазвенѣли, и я катилъ въ Коломну.

#### XLVIII.

### И з г н а н і е.

Переходные годы были для меня какъ бы роковыми. Я съѣздилъ въ Коломну, по возвратѣ явился подъ Дѣвичье, какъ бы ничего не случилось. Братъ былъ отходчивый человѣкъ. Онъ не поминалъ ни слова о моемъ бѣгствѣ, я тѣмъ менѣе. Потянулась жизнь по прежнему. Прошелъ годъ, наступилъ 1842, второй пребыванія моего въ Среднемъ Отдѣленіи. Въ виду были экзамены, былъ іюнь въ началѣ. Послѣдовала вторая разлука съ братомъ. Уже не намѣреніе мое ѣхать въ Коломну вызвало гнѣвъ и не мое скромное возраженіе. Едва ли не сапоги несчастные были причиной. Словомъ, братъ вспылилъ, замѣтивъ сапоги ли не чищенные или другое что, свидѣтельствовавшее о моей неряшливости и невнимательности. На мое обычное молчаніе онъ расходился еще болѣе, и разгорячась окончательно, закричалъ мнѣ: „Вонъ ступай! Убирайся куда знаешь!“ Кухарка, по его приказанію, выбросила мои вещи. Это было среди дня, въ воскресный день. По обыкновенію, не сказавъ ни слова, я удалился, надѣвъ свою голубую шинель и свой парижскій цилиндръ. Не какъ два года назадъ, теперь я зналъ куда идти. Перервенецъ давно описывалъ мнѣ въ самыхъ привлекательныхъ чертахъ



свое новое житье. Вмѣстѣ съ двумя старшими братьями своими и двумя пѣвчими онъ нанимаетъ квартиру. Совершенно независимая жизнь. Они нанимаютъ кухарку, сами покупаютъ провизію; заниматься никто не мѣшаетъ; обходится дешево—по разверсткѣ рублей по десяти (ассигнаціями) въ мѣсяцъ. Я рѣшился отправиться туда, да и некуда было больше. Это не два года назадъ, когда скитался безъ ноши. Теперь весь скръбъ при мнѣ: мой войлокъ, подушка, бѣлье. На дворѣ завязалъ я все это какъ-то; никто мнѣ не помогалъ. Взяли на себя ношу и побрелъ. Дорогой размышлялъ о томъ, каково бываетъ идти солдатамъ въ походной формѣ: оружіе, ранецъ, шинель, киверъ на головѣ чуть не въ полтора аршина, а въ немъ наложено чуть не полтора пуда. Мнѣ было не лучше. Палящій жаръ; я въ ватной шинели и съ невообразимо громаднымъ узломъ на плечахъ. Понесу на одномъ плечѣ, устану, перекидываю на другое. Вытянулъ поле; а идти Москвой далеко, почти на другой конецъ, въ Сыромятники. Добрелъ я какъ-то; малосиленъ я былъ, но молодъ, только что минуло восемнадцать лѣтъ; къ ходьбѣ привыкъ. Не помню даже, чтобы присѣдалъ гдѣ-нибудь. Черезъ Кремль, на Варварку, оттуда на Солянку и мимо Рождества-на-Стрѣлкѣ, черезъ Воробино на Воронцово Поле, затѣмъ минуя Садовую—въ Сыромятники. Я помнилъ домъ—Кокушкина; я зналъ, что не только квартира отдѣльная, но домъ нанимается отдѣльный.

Вотъ этотъ домъ, то-есть домикъ въ три окна. Переулокъ немощенный, но грязи не будетъ, мѣсто песчаное. Направо и налево тянется заборъ. Дворъ на лѣвой сторонѣ длинный и широкій, заросшій травой. Длинные сараи послѣ нѣкотораго перерыва составляютъ продолженіе линіи, на которой стоитъ домикъ, а по другую сторону двора, лѣвую, тянется фабричный двухэтажный корпусъ, въ который входъ однако не съ нашего двора. Такимъ образомъ пустынно, и въ этомъ отношеніи рекомендація Перервенца справедлива.

Было уже къ вечеру дѣло, когда я подошелъ къ будущему жилищу. Перервенецъ былъ дома и сидѣлъ за урокомъ; его сожители — тоже дома. Часть ихъ была мнѣ знакома; самый старшій братъ Перервенца, неизвестной профессіи человѣкъ; другой братъ, помоложе, исключенный изъ Низшаго Отдѣленія семинаріи и теперь состоящій въ вольномъ хорѣ пѣвчимъ; Егоръ Павловичъ — тоже пѣвчій изъ исключенныхъ. Былъ еще сожитель, Рыжій, его всѣ такъ и звали; онъ изъ Виѣанской семинаріи, состоялъ пѣвчимъ также; но я его не засталъ, да и вообще потомъ видалъ мало.

Взошелъ я. Перервенецъ мнѣ искренно обрадовался, съ участіемъ выслушалъ мою исторію и съ увѣренностью успокоилъ меня за будущее, какъ мы будемъ здѣсь вмѣстѣ жить и заниматься. На первый разъ онъ принялъ на себя обязанности моей няньки или экономки и сложилъ куда-то мой узелъ. Мнѣ не дали путемъ осмотрѣться, какъ позвали въ трактиръ; надобно спрыснуть новоселье. Отказываться отъ угощенія было даже невѣжливо, тѣмъ болѣе что я не могъ предвидѣть дальнѣйшаго. Угощеніе предлагалъ братъ Перервенца, пѣвчій (Александръ), и мы отправились вчетверомъ, Перервенецъ съ братьями и я. Трактиръ принадлежалъ содержателю пѣвчихъ, и Александру открытъ былъ тамъ кредитъ. Мы пошли къ Яузѣ, перешли ее по двумъ дощечкамъ, перекинутымъ на другой берегъ, поднялись въ гору и здѣсь, недалеко отъ Андроньева монастыря, вошли въ гостепріимное заведеніе. Потребованы были чай и водка. Я водки не пилъ, а остальные трое не только были пьющіе, но впившіеся. Меня даже не спросили, пью я или нѣтъ; въ обществѣ, куда я попалъ, вопроса объ этомъ не допускалось; съ представленіемъ о взросломъ человѣкѣ не укладывалось предположеніе, чтобъ онъ не пилъ. Налили всѣмъ и мнѣ въ томъ числѣ. Отказываться было невѣжливо, неприлично. Я оскорбилъ бы радушное гостепріимство, мнѣ оказанное, и въ частности Александра, угощавшаго насъ. А это



былъ добросердечный, благороднаго характера малый. Богъ обдѣлилъ его умственными дарованіями, но у него были открытое сердце, прямота, честный взглядъ, великодушіе. Я сталъ пить на ряду съ другими и вскорѣ опьянѣлъ, опьянѣлъ такъ, какъ не былъ никогда потомъ пьянъ во всю жизнь свою. Я едва могъ встать съ мѣста и идти не могъ безъ посторонней помощи. Я всталъ было и плюхнулъ снова, раздавивъ при этомъ свой парижскій цилиндръ. Много ли угощались мои товарищи, не знаю; но они были, какъ выражаются, „ни въ одномъ глазѣ“; еслибъ они и вдесятеро болѣе противъ моего выпили, они были бы только навеселѣ.

Надобно было возвращаться назадъ. О переходѣ чрезъ дощечки нечего было и думать; я не могъ ступить прямо по мостовой. Мы направились въ обходъ къ мосту: я въ серединѣ и двое около меня по бокамъ, ведшіе меня подъ руки; третій изъ братьевъ шелъ сзади.

Сознаніе меня однако не оставляло; напротивъ, мозгъ работалъ сильнѣе обыкновеннаго. Я представлялъ ясно все безобразіе картины пьянаго, едва передвигающаго ноги, двумя ведомаго и третьимъ сопровождаемаго. Я видѣлъ глубину своего паденія, и раскаяніе мучило меня. Съ глубокимъ отвращеніемъ я размышлялъ о себѣ, проклиналъ свое малодушіе, уступчивость, съ которою не колеблясь принялъ угощеніе. Чтò я такое послѣ того? Куда я гожусь? Не было для меня ничего отвратительнѣе, какъ видъ пьянаго. Удивлялся я на людей, находящихъ удовольствіе въ питьѣ, съ презрѣніемъ смотрѣлъ на людей, отдавшихъ низкой склонности; ниспаденіемъ съ человѣческаго достоинства и добровольнымъ скотоподобіемъ признавалъ я всегда пьяное состояніе, и самъ..... Я былъ гадою себѣ, и жизнь мнѣ стала постыла. Изъ меня ничего и не выйдетъ путнаго, бросьте меня въ воду! „Бросьте меня въ воду!“ наставлялъ я, когда мы переходили мостъ. Я старался высвободиться отъ своихъ драбантовъ и порывался, но оба они были замѣчательной силы; они почти унесли меня

на берегъ. „Бросьте меня, я не стою жить!“ повторялъ я.

Отчаяніе, столь открыто выраженное мною, чрезвычайное опьянѣніе, въ которое я впалъ, принесло мнѣ однако пользу въ томъ отношеніи, что новые друзья мои въ слѣдующіе разы уже не настаивали на угощеніи и снисходительно увольняли меня отъ выпивки, уважая мою отговорку, что я слишкомъ слабъ.

Привели меня домой и уложили спать. Ночлегомъ нашимъ былъ сарай, огромный и пустой, съ сѣноваломъ на верху, который однако тоже былъ пустъ. Спали на войлокахъ, обшитыхъ тикомъ и лоснившихся отъ грязи, напомнившихъ мнѣ коломенскую бурсу. Крысы бѣгали, производя возню до самаго свѣта; нѣкоторые перебѣгали черезъ насъ, ни мало не тревожась нашимъ присутствіемъ и не заботясь о нашемъ покоѣ. Все это усмотрѣлъ я, разумѣется, послѣ; въ настоящій же вечеръ, когда меня уложили, я послѣ нѣкотораго головокруженія вскорѣ заснулъ и проснулся рано. Всталъ, и первымъ моимъ чувствомъ было удивленіе: отчего же у меня голова не болитъ? Даже у менѣ напивающихся голова трещитъ утромъ, по ихъ выраженію, и душа требуетъ похмѣлья. А я былъ совершенно свѣжъ, никакой боли въ головѣ и никакой потребности въ винѣ. Вчерашняго какъ бы не было; оно осталось только воспоминаніемъ.

Скоро, въ тотъ же день, сбѣжали всѣ радужные цвѣта, въ которыхъ изображалъ Перервенецъ свое общезжитіе. Трехоконный домикъ раздѣлялся на двѣ половины, изъ которыхъ одну занимала кухня съ сѣнями, другая была раздѣлена на двѣ клѣтушки. Небольшой столикъ, едва достаточный чтобъ установить шашечницу, два стула, изъ которыхъ одинъ трехногій, скамейка и деревянная кровать — такова была вся утварь. Писать было не на чемъ, хотя была чернильница. Засаленный столъ былъ невозможенъ; оставалось писать только на подоконникѣ. Читать нужно было или на



крыльцѣ, помѣстившись на ступеняхъ, или на дворѣ гдѣ-нибудь, сидя на чурбанѣ, а то и просто на травѣ. Таково удобство для занятій. Квартира не представляла даже ночлега; если бы дожить до осени, не говоря уже до зимы, размѣститься четверымъ для сна было бы физически невозможно. Въ каждой каморкѣ не было ширины и трехъ аршинъ; поперекъ улечься невозможно, вдоль тоже: мѣшала мебель, какъ ни была она малочисленна.

Сожители утромъ, а иногда и вечеромъ отсутствовали, трое по пѣвческому ремеслу, старшій братъ Перервенца по неизвѣстной причинѣ. Повидимому онъ занимался перепиской гдѣ-то; но онъ рассказывалъ съ услажденіемъ о подвигахъ карманниковъ и валетовъ мелкаго разбора, гдѣ у кого что вытащили ловко или у кого выманили что-нибудь; о прежнихъ временахъ было извѣстно, что Николай былъ даже въ шайкѣ; о настоящемъ оставалось подъ сомнѣніемъ, состоялъ ли онъ дѣйствующимъ лицомъ или только причисленнымъ къ штабу.

Всѣ трое пѣвчихъ состояли въ хорѣ Прокофьева или Прокофія (его называли послѣднимъ именемъ), любителя-купца. Вольное пѣвчество тогда далеко еще не было развито какъ теперь, когда можно насчитать болѣе десятка частныхъ хоровъ, изъ которыхъ каждый считаетъ пѣвчихъ десятками, почти до сотни. Большихъ частныхъ хоровъ было только два: Табачниковскій—человѣкъ въ 60 и Прокофьевскій—въ 80. Трое изъ сожителей моихъ были пѣвчими, и всѣ были въ силу того если не пьяницы, то любившіе выпить и не понимавшіе другаго житейскаго наслажденія кромѣ выпивки, если не считать билліарда, отчасти и веселаго дома: то и другое было впрочемъ болѣе рѣдкимъ удовольствіемъ. Питье доходило до маніи, гдѣ цѣль уже отставлялась въ сторону, а пили для того чтобы пить. Принесена бутылъ. Кто-то гдѣ-то раздобылся деньгами, которыхъ у сожителей вообще не бывало; имѣя кредитъ въ трак-

тирѣ, они не выходили изъ долга у хозяина. Въ видѣ закуски припасены свѣжіе огурцы. Пьютъ по очереди. Всѣ безъ верхняго платя въ однихъ рубашкахъ. Пили до того, что нейдетъ въ душу; тогда искусственно вызывали у себя рвоту и снова пили до пресыщенія; снова потомъ вызывали рвоту и опять пили.

Таковы были люди, съ которыми доводилось мнѣ жить. Мнѣ они оказывали родъ сострадательнаго почтенія; сдерживало ихъ вѣроятно положеніе мое по семинаріи, къ которому они, по ученической памяти, не могли не питать уваженія. Моя воздержность, безучастіе при вакханаліяхъ, задумчивое молчаніе при грязныхъ разсказахъ оказывали свою долю дѣйствія. Ко мнѣ были даже предупредительны, меня старались покорить, хотя я въ сущности жилъ на ихъ счетъ, пришелъ безъ гроша и ни гроша не добылъ. Я занималъ положеніе дамы среди общества мужчинъ, и мнѣ оказывали деликатность какъ дамѣ: уступали лучший кусокъ въ небольшой трапезѣ, давали удобнѣе мѣсто и сидѣть и спать.

Наступилъ какой-то праздникъ и свободный вечеръ; открылось новое удовольствіе. Противъ нашего дома была фабрика (помѣщавшаяся на нашемъ дворѣ, стояла, кажется, безъ работы). Фабричные высыпали съ пѣснями и гармониками. Женскій полъ былъ въ ихъ числѣ, и Перервенецъ не упустилъ свести съ нѣкоторыми знакомства; онъ считался ходокомъ по женской части и мастеромъ на любезности, предъ которыми склоняется кухарка или фабричная работница. Сожителямъ онъ предложилъ ввести ихъ въ открытое имъ общество. Повлекли и меня. Обширный дворъ; на немъ водятъ хороводы; въ другихъ мѣстахъ ходятъ парами или маленькими кучками; нѣкоторые веселятся въ одиночку. Есть и совсѣмъ не принимающіе участія въ весельѣ: задумчиво ходитъ или сидитъ; забота должна быть какая на душѣ. Рядомъ съ воротами у забора длинная лавка, образованная изъ досокъ, положенныхъ



на камни. Здѣсь сидятъ нѣсколько фабричныхъ дѣвицъ, и среди нихъ Перервенецъ, потѣшающій ихъ разсказами. Онѣ покатываются со смѣху. Онъ беретъ гармоникъ, играетъ, поетъ и пляшетъ, передразнивая поющихъ и пляшущихъ среди двора, измѣняя голосъ, карикатура лицомъ, преувеличенно кривляясь станомъ. Другіе изъ нашихъ подсѣли и завели отдѣльный разговоръ, каждый съ одною или двумя. Сѣлъ и я, но не зналъ что предпринять. Мнѣ оставлена дѣвица съ глупымъ лицомъ и непривлекательною наружностью. И всѣ-то онѣ, правду сказать, были некрасивы; а эта, сидѣвшая съ краю, показалась мнѣ даже совсѣмъ безобразною. Но она пришлась мнѣ сосѣдкою. Я чувствовалъ себя въ глупомъ положеніи. На паясничество, которымъ потѣшалъ Перервенецъ, я былъ неспособенъ; еще менѣе имѣлъ способности и склонности начинать романъ прямо прозаическимъ концомъ, какъ повидимому рѣшили прочіе изъ пришедшихъ сюда сожителей. Молчать находилъ неловкимъ, выжидать вопроса тоже. Не думаю, чтобы моя сосѣдка была довольна вопросами любознательности, на которые одинъ я и оказывался способнымъ: Откуда? Какъ зовутъ? Давно ли на фабрикѣ? Много ли васъ изъ одной деревни? Сколько народа всегда на фабрикѣ? Какая работа? Тяжело или легко?

Смерклось, кончился хороводъ, разбредаются отдѣльныя кучки и пары. „Ну, дѣвки, пора!“ восклицаетъ и на нашей лавкѣ одна, болѣе другихъ бойкая. „Пора!“ вторятъ другія и поднимаются съ лавки. Я отправился домой, пришли и другіе, за исключеніемъ Перервенца. Онъ увлекъ какую-то далѣе предѣловъ, допускаемыхъ дѣвичьимъ цѣломудріемъ, и хвалился потомъ своею побѣдой.

Тяжело мнѣ было провести полтора мѣсяца въ такой обстановкѣ. Заниматься не было возможности. Въ добавокъ у меня не было даже поллиста бумаги. А приближались экзамены; требовалось усиленное приготовленіе. Пусть оно меня и не тяготило: я пробѣгалъ

приходя въ классъ, что мнѣ было нужно. Но не было угла, гдѣ бы уединиться и спокойно заняться. Я сталъ бѣгать. Выручалъ отчасти Лавровъ, неизмѣнно приглашавшій въ трактиръ. Я перебиралъ въ умѣ всѣхъ родныхъ и знакомыхъ, къ которымъ бы могъ зайти. У Смирновыхъ былъ чаще обыкновеннаго. Отыскалъ и еще двоюродныхъ сестеръ, дочерей дьячка отъ Іакова Апостола въ Казенной, того батюшкина свояка, который навезъ въ Коломну гостей въ 1812 году. Обѣ его дочери оказались при томъ же приходѣ, одна за дьячкомъ, другая за пономаремъ; у одной сынъ сверстникъ мнѣ по семинаріи, хотя въ другомъ отдѣленіи. Хаживалъ я и сюда и даже ночевалъ разъ; хаживалъ я и къ зятю Лаврова, дьякону, тому самому который рекомендовалъ мнѣ урокъ у купца. Но ограниченъ былъ кругъ моего знакомства, времени оставалось пропасть, и я не зналъ, куда съ нимъ дѣваться. Входилъ по неволѣ и въ нѣкоторые интересы моихъ сожителей, тѣ по крайней мѣрѣ, которые были почище. Не смотря на всю грязь, въ которую были они погружены, у нихъ сохранялась артистическая жилка; они цѣнили пѣніе не только какъ ремесло, но и какъ искусство. Три или четыре службы выслушалъ я по ихъ рекомендаціи, нѣсколько—исполненныхъ Прокофьевскимъ хоромъ, въ которомъ они состояли. Какое-то *Тебе Бога хвалимъ* они считали своимъ совершенствомъ и приглашали послушать. Я былъ, видѣлъ въ полномъ сборѣ весь хоръ, смотрѣлъ какъ самъ Прокофій, сѣдой старикъ съ черною повязкой на лбу, постоянно имъ носимою, одушевленно дирижировалъ, размахивая руками; слышалъ хваленыхъ солистовъ, но живаго впечатлѣнія во мнѣ не осталось.

Другой разъ мы цѣлою гурьбой ходили слушать Чудовской хоръ въ полномъ сборѣ. Онъ уже былъ подъ управленіемъ Багрецова, и тогда только что явилось его извѣстное *Нынѣ отпущаеши* съ диссонансами. Мои пѣвчіе были въ восторгѣ и признавали, что такая пѣса по силамъ только Багрецову и только Чудовскому хору.



Случай выслушать знаменитое произведеніе, достойнымъ образомъ исполненное, представился скоро: Чудовскіе должны были полнымъ хоромъ пѣть всеобщую у Алексѣя митрополита въ Рогожской. Церковь была набита биткомъ, когда мы прибыли. Надобно было протискиваться, чтобы стать ближе къ клиросу. Пѣніе было дѣйствительно мастерское, самая же пьеса извѣстна; она, кажется, исполняется и доселѣ. О впечатлѣніи, произведенномъ на предстоящихъ, можно судить изъ того, что немедленно послѣ того какъ замерли послѣдніе звуки, кто-то чисто одѣтый, но изъ купцовъ повидимому, потянулся къ клиросу, поманилъ пѣвчаго ли, самого ли регента и сунулъ ему въ руку десятирублевую кредитку. Это было своего рода рукоплесканіемъ. Еслибы не храмъ, и раздались бы рукоплесканія. Да *Ныкъ отпу-щаеши* Багрецова и по духу таково, что ему приличіе быть исполняемымъ въ концертной залѣ, а не въ храмѣ.

## XLIX.

## Послѣдняя вакація.

Я не зналъ, какъ вырваться изъ омута, въ который попалъ. Подобно тому какъ два года назадъ, немедленно послѣ отвѣта на публичномъ экзаменѣ, не дождавшись и конца экзаменной церемоніи, я направился въ Рогожскую; забѣжалъ лишь на минуту въ свою конуру, чтобъ накинуть на себя свою жандармскую шинель. Весь прочій скарбъ я тамъ оставилъ въ предположеніи, что вернусь послѣ вакацій. Однако я не вернулся, да и квартира была брошена; общежитіе въ мое отсутствіе разрушилось, и сожители разсѣялись; старшій изъ нихъ, Егоръ Павловичъ, поступилъ куда-то на дьяконское мѣсто.

Вакацію, проведенную затѣмъ на родинѣ, я называлъ въ заголовкѣ „послѣднею;“ столь же основательно назвать ее и первою. Это была первая и послѣдняя вакація въ тѣсномъ смыслѣ слова,—единственный въполнѣ гулевыя шесть недѣль, проведенныя въ теченіе четырехъ, пожалуй и шести прошлыхъ лѣтъ. Ни одни каникулы доселѣ не разлучали меня съ дѣломъ; я или читалъ или писалъ, учился не смотря на прекращеніе учебныхъ часовъ; жилъ постоянно въ себѣ, спускаясь и выходя во внѣшній міръ по неизбѣжности ѣсть, пить, вести разговоръ со встрѣченнымъ лицомъ, или по собственному побужденію отдохнуть на прогулкѣ, при чемъ однако умъ не оставался празднымъ. Но эти шесть недѣль вышли полными *недѣлями*, то-есть бездѣльными. Три года уже какъ выдана средняя сестра замужъ за дьякона въ той же Коломнѣ. Зять Петръ Григорьевичъ былъ прекрасной души человѣкъ, заботливый, внимательный и необыкновенно ровнаго характера. Чета жила душа въ душу, и гармонія тѣмъ была полнѣе, что зять хотя и кончилъ курсъ семинаріи, но въ третьемъ разрядѣ и былъ сынъ сельскаго дьячка, притомъ Виванецъ; сестра же была городская поповна, и притомъ окунавшаяся въ книги: въ дѣвицахъ она почитывала; умственное развитіе одного не превосходило надъ развитіемъ другаго, хотя пройденные пути были различны, и духовный запасъ у каждаго былъ въ своемъ родѣ. На меня пахнуло тѣмъ семейнымъ счастьемъ, котораго я не признавалъ доселѣ. Тогда я не созналъ этого, но душѣ было тепло, уютно, когда я бывалъ у Богословскихъ; такъ называли мы зятнинъ домъ по церкви Іоанна Богослова, гдѣ зять былъ дьякономъ.

Я поморщился три года назадъ, когда узналъ, что сестра выдана за „третьеразряднаго“; съ понятіемъ о третьемъ разрядѣ связывалось понятіе о буйствѣ и пьянствѣ. Традиціонное сердоболіе семинарскихъ начальниковъ никого не спускало ниже втораго разряда за простую малоуспѣшность, развѣ проходилъ случайно до Бо-



гословія совершенный уже идиотъ или протаскивался пѣвчій, не стоившій перевода даже въ Риторику. Къ утѣшенію узналъ я потомъ, что зять, шедшій во второмъ разрядѣ, сведенъ въ третій къ самому окончанію курса, по недоразумѣнію, въ слѣдствіе какой-то дѣйствительно буйной исторіи, но въ которой онъ былъ побочнымъ, невиннымъ соучастникомъ. Меня коробило сначала и то, что зять, по окончаніи курса, зарабатывалъ себѣ хлѣбъ въ частномъ хорѣ (Табачникова). Возбуждалось также подозрѣніе о поведеніи. Однако, не смотря на свой басъ, не смотря на пребываніе въ частномъ хорѣ, Петръ Григорьевичъ не опустился, и женитьба на моей сестрѣ была вѣроятно изъ числа причинъ, предохранявшихъ его отъ наклонной плоскости, по которой катятся другіе въ подобныхъ обстоятельствахъ. Сестра носила въ себѣ идеалъ благовоспитанности: это была ея даже болѣзнь, какъ и общая наша—молодаго поколѣнія Никитскихъ, о чемъ я пояснялъ въ одной изъ прежнихъ главъ. Она поставила домъ свой на другую ногу, нежели у консервативнаго отца. Здѣсь былъ урочный чай утромъ и вечеромъ. Пивали даже кофе, не настоящій правда, а цикорный; настоящаго кофе я лично вкусилъ уже на 19 году жизни. Но все же и то былъ кофе. Заведены знакомства. Домъ не былъ монастыремъ, какъ у Никиты мученика, куда никто не заглядывалъ и откуда въ гости никуда не ходятъ. Товарищъ по семинаріи, а вмѣстѣ и односелецъ—столоничальникъ уѣзднаго суда, и молодой дьяконъ изъ другаго прихода, доводившійся товарищемъ зятю по званію и должности, а мнѣ товарищемъ по семинаріи: таково между прочимъ было знакомство. Кромѣ того, домъ зятя стоялъ на большой проѣздной улицѣ, и мѣстоположеніе обращало его въ гостиницу своего рода. Родственники и знакомые изъ селъ, въ томъ числѣ и братъ Сергѣй, не миновали Богословскихъ при пріѣздахъ въ городъ; происходилъ обмѣнъ новостей. Словомъ, проводилось время въ мирной живости, хотя не безъ нужды. Но и докучливую нужду

отгоняло одно счастливое обстоятельство. Бойкое мѣсто, на которомъ стоялъ домъ, обращало его въ доходную статью. Онъ былъ небольшой, ветхій, но каменный и притомъ двухэтажный; о бокъ съ нимъ еще табачная лавочка, принадлежавшая зятю. Половина верхняго этажа отдавалась жильцамъ, табачная лавочка приносила доходъ сама собою; но главнымъ источникомъ дохода былъ нижній этажъ, гдѣ помѣщалась овощная лавка и въ ней лавочникъ Климъ или „Климанъ“, какъ его называли, тутъ же квартировавшій. Лавка Климана только называлась лавкой; это былъ цѣлый магазинъ, почти складъ. Климанъ жилъ сѣро, происходилъ изъ мужиковъ, но торговалъ шибко и былъ богатъ; считали, что у него побольше ста тысячъ. Богатство доставила ему, при скромной жизни, лавка, а лавкѣ—ея выгодное, ни съ чѣмъ не сравнимое мѣстоположеніе на главной проѣздной улицѣ, притомъ же рядомъ съ площадью. Климанъ дорожилъ поэтому своею квартирой, а зять находилъ въ лавкѣ Климана, а иногда и въ кошелькѣ, не оскудѣвавшій запасъ для удовлетворенія хозяйственныхъ нуждъ. Съ пособіемъ Климана Петръ Григорьевичъ выстроилъ потомъ на мѣстѣ стараго каменнаго новый обширный домъ съ каменнымъ низомъ, по Коломнѣ даже роскошный.

Два года назадъ, по пріѣздѣ изъ своего бѣгства, я считался еще на линіи полу-мальчика, и жизнь „Богословскихъ“ еще не развернулась вполнѣ. Хаживалъ я къ нимъ тогда часто, но сидѣлъ и у Никиты Мученика за книгами, сочиненіемъ исторической повѣсти и веденіемъ дневника. Теперь же пріѣхалъ завтрашнимъ „богословомъ“; другой въ моемъ положеніи считался бы уже женихомъ. Сидѣвшій со мной годъ назадъ на ученической скамьѣ, теперь дьяконъ здѣшней Спасской церкви—отецъ семейства, „самъ“. Въ глазахъ другихъ я оказывался тоже „самъ“; признаніе моей самости сказывалось и въ обращеніи со мной, а мое первенство по семинаріи накидывало на меня еще особое сіяніе. Какая



противоположность со сценою изгнанія, послѣдовавшею мѣсяць назадъ! Какая противоположность со вчерашнимъ днемъ, когда я былъ „за даму“ среди своихъ сожителей по конурѣ въ Сыромятникахъ! Ко мнѣ были теперь внимательны, предупредительны; но то было не сострадательнымъ уже снисхожденіемъ къ моей женственной слабости, а почтеніемъ къ моему положенію. Спасскій дьяконъ явился къ Петру Григорьевичу со специальною просьбой, чтобъ я оказалъ честь и пожаловалъ навѣстить стараго товарища. Одновременно со мной гостилъ у Петра Григорьевича его родной братъ, только что кончившій Виѣанскую семинарію, а Спасскаго дьякона навѣщалъ пріѣхавшій, одного со мною класса, родственникъ его, гостившій въ Коломнѣ у другаго родственника. Протопоповъ былъ тоже Виѣанецъ, хотя къ удивленію былъ сынъ московскаго священника; почему онъ попалъ въ Виѣанскую, а не въ Московскую семинарію, осталось мнѣ неизвѣстнымъ. Протопоповъ считалъ знакомство со мной также за честь себѣ, изъ уваженія къ моему семинарскому положенію. Онъ учился не ахти и должно быть сгинулъ въ послѣдствіи; а Иванъ Григорьевичъ, братъ зятя, и совсѣмъ погибъ. Женился, получилъ священническое мѣсто, взялъ за себя сельскую куваду и запилъ; его послали во дьячки, и умеръ онъ потомъ отъ неводержности. Товарищъ-дьяконъ тоже, какъ я слышалъ, запилъ потомъ, а задатковъ къ тому повидимому не было въ первые года дьяконства. Такова-то сила обстановки, и отсюда-то вывожу заключеніе, что Петръ Григорьевичъ сохранился благодаря женѣ между прочимъ. Условія происхожденія и учебнаго курса намѣчали судьбу брата Ивана; условія служебнаго положенія влекли по дорогѣ Спасскаго дьякона.

Мы совершали прогулки, малыя и большія, отправлялись на рыбную ловлю, ходили по гостямъ, принимали гостей и по свободнымъ вечерамъ играли въ вистъ, разумѣется, безъ денегъ, изъ одного удовольствія; учили и меня тогда этой игрѣ. Не могу безъ улыбки

вспомнить, что разъ отправлялся я даже на охоту съ ружьемъ. У батюшки было ружье, откуда-то доставшееся въ древнія времена, съ суконною подушечкой на прикладѣ. Оно бывало въ рукахъ моихъ, и я частенько стрѣливалъ еще въ дѣтствѣ, упражняясь впрочемъ больше надъ воробьями, галками, а главное надъ вороньимъ, постоянно каркавшимъ съ креста колокольни. Охота по галкамъ и воробьямъ бывала удачна, но досадный воронъ такъ и не далъ себя застрѣлить, не смотря на все пламенное мое желаніе заткнуть ему глотку и сшибить. И ружье-то было плохое, да и зарядъ должно быть бывалъ слабъ; въ наилучшемъ случаѣ посыплются перышки, взлетитъ на короткое время, а потомъ снова сядетъ каркать свое однообразное призываніе. На этотъ разъ мы отправились вчетверомъ: я, братъ Петра Григорьевича, Протопоповъ и Егоръ дячекъ отъ Никиты Мученика, молодой парень, лѣтъ на шесть старше меня. Добро бы идти засвѣтло на рѣку по куликамъ, а то ночью, въ лѣсъ, съ единственнымъ ружьемъ и притомъ безъ собаки. Но мы надѣялись пристрѣлить какого-нибудь звѣря. Разумѣется, возвратились ни съ чѣмъ изъ своего Донкихотскаго путешествія, разрядивъ ружье на воздухъ. Но прогулка все-таки была веселая.

Младшая сестра моя была красавица; на нее засматривались, и это обстоятельство послужило поводомъ къ особенному, впрочемъ скоротечному знакомству. Одинъ изъ преслѣдователей, письмоводитель городническаго правленія, лишенный всякихъ вѣроятностей успѣха уже потому, что былъ женатъ, искалъ случая хотя познакомиться съ Богословскими, войти въ домъ, гдѣ сестра часто бывала. Поползновеніе къ этому было отклонено; онъ попросилъ тогда Протопопова, съ которымъ свелъ трактирную дружбу, познакомить его со мною. Зазвалъ меня Протопоповъ въ трактиръ; здѣсь сильно они кутили, упростили и меня выпить рюмки двѣ какого-то вина. Въ довершеніе Петръ Петровичъ (такъ звали моего печальнаго знакомаго) затащилъ къ себѣ въ домъ.



Была уже глубокая ночь. Квартира очень приличная; просторная гостиная съ хорошею мебелью. Но поведеніе хозяина напомнило мнѣ ночи въ Покровскомъ, въ усиленномъ видѣ. Петръ Петровичъ не бурлилъ, а бушевалъ, билъ бутылки, бросалъ стулья, съ аккомпаниментомъ гитары оралъ во все горло: „Ты не повѣришь“, пошлый романсъ, бывший тогда въ ходу. Въ своихъ выкрикиваніяхъ, въ импровизаціяхъ, которыя вставлялъ въ текстъ пѣсни, онъ посылалъ намеки по направленію ко мнѣ и къ моей сестрѣ. Съ негодованіемъ выслушивалъ я пьяныя полупризнанія и особенно отвратительно мнѣ стало, когда на просьбу прислуги „успокоиться и не тревожить барыню и дѣтей“, послѣдовало ругательство въ такомъ смыслѣ, что де пускай хоть издохнуть, поскорѣй дадутъ мнѣ свободу.

Удостоился и я нѣжнаго вниманія. У зятя квартировалъ калмыкъ-купецъ; онъ впрочемъ не торговалъ; жилъ вѣроятно доходами. Говорили, что онъ сосланъ въ Коломну за смертоубійство, учиненное въ кулачномъ бою, не только безъ умысла, но и не по собственному почину. Графъ Алексѣй Григорьевичъ Орловъ вызывалъ къ себѣ бойцовъ и борцовъ драться и бороться съ собою и при себѣ; къ числу ихъ принадлежалъ калмыкъ и слишкомъ неосторожно показалъ свое искусство, убивъ какого-то соперника наповалъ кулакомъ. Кулачный бой остался навсегда его страстію; онъ дрожалъ отъ вожделѣнія принять участіе, когда видѣлъ разгаръ боя; нужно было уводить его, чтобы не подвергать его несчастію вторичнаго смертоубійства.

Самъ калмыкъ былъ нелюдимъ, но наши познакомились съ его семействомъ, состоявшимъ изъ жены и троихъ дочерей дѣвицъ. Старшей было за двадцать; было ли средней двадцать, не умѣю опредѣлить, а младшей лѣтъ шестнадцать. Старшая и младшая носили калмыцкій отпечатокъ, что не мѣшало младшей быть очень красивою. Не менѣе красива была и средняя, но калмыцкаго въ ней не было тѣни. Иванъ Григорьевичъ,

братъ зятя, ухаживалъ за красавицами, за которою и какими способами, не вспомню, да и не интересовало тогда; я выслушивалъ отъ него только отзывъ о привлекательности калмычекъ, замѣчанія о подмѣченныхъ знакахъ вниманія и шутки надъ нимъ зятя, объяснявшего, что еще когда онъ былъ въ училищѣ, восемь лѣтъ тому назадъ, на старшую сестру зарились; она была и тогда невѣстой, а стало-быть теперь уже совсѣмъ перерѣлая дѣва.

Я съ дѣвцами встрѣчался ежедневно и не по одному разу въ день. Входя въ оба жилья верхняго этажа былъ общій. Неоднократно пивали чай вмѣстѣ; я присутствовалъ при варкѣ варенья, которая производима была поочередно то сестрой, то жилицами. Случались долгія прогулки по вечерамъ, общія обѣихъ семей. Самъ я никогда не заговаривалъ ни съ одной; но меня вызывали на разговоръ, расспрашивали и сами съ разсказами обращались ко мнѣ. Иванъ Григорьевичъ объяснилъ мнѣ, что я имѣю большой успѣхъ у сестеръ, у средней преимущественно. Со смѣхомъ принялъ я это извѣстіе; отвѣтилъ, что это ему показалось, и дѣйствительно былъ въ томъ увѣренъ. Но не далѣе какъ на другой день произошелъ случай, поставившій меня въ тупикъ, а наканунѣ отъѣзда моего другой, совсѣмъ меня поразившій. Вхожу я по лѣстницѣ; на встрѣчу спускается средняя изъ сестеръ. Она идетъ своею лѣвою стороною, я своею, стараясь по чувству приличія держаться ближе къ стѣнѣ. Только что мы поравнялись, вдругъ, не знаю какимъ образомъ, оказывается моя рука въ ея рукѣ, совершенно мерзлой, такъ она холодна была, и я слышу дрожащій голосъ: „ахъ, пустите меня“. Я не могъ опомниться, не находилъ ни слова, прошелъ далѣе, и она спустилась далѣе. Происшествіе было такъ странно, такъ самому мнѣ невѣроятно, что я не рѣшался о томъ сказать даже Ивану Григорьевичу, не смотря на его продолжавшійся бредъ о калмычкахъ. Я готовъ былъ спросить себя, не приснилось ли мнѣ на яву, тѣмъ болѣе

что дальнѣйшая встрѣча, разговоръ, прогулки не напоминали ничѣмъ о сценѣ на лѣстницѣ.

Наступилъ день отъѣзда. Канунъ я весь провелъ у Богословскихъ. Среди дня прохожу съними, собираясь въ садъ ли выйти, на улицу ли. Дверь въ перегородкѣ, отдѣляющей нашу половину отъ жильцовской, пріотворяется. Проглядываетъ головка; меня окликаютъ, я подхожу. „Вы ѣдете?“—„Да, ѣду, завтра.“ „Что же такъ скоро? Объ васъ здѣсь будутъ скучать. Оставайтесь“.—„Нельзя; чтò же дѣлать, надо.“—„Ну прощайте“, и въ ту же минуту ринулась она ко мнѣ и поцѣловала меня въ губы. Какъ холодны были руки ея во время известной остановки на лѣстницѣ, такъ горячи теперь были ея губы; это былъ огонь.

Тѣмъ кончились наши встрѣчи и разговоры. Чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ, когда я пріѣхалъ въ Коломну на болѣе краткую побывку, я видѣлъ увлекшуюся дѣвушку. Съ сестрами приходила она къ Богословскимъ на другой же день послѣ моего пріѣзда, хотя калмыкъ жилъ даже на другой квартирѣ. Очевидно она меня не забыла.

Съ этой стороны я вообще былъ неуязвимъ, и ничто меня такъ не возмущало, ничто не возбуждало столь сильнаго негодованія какъ подозрѣнія брата: иногда отъ него слышалось, что я будто ухаживаю за крылошанками. Никогда ни малѣйшій помыселъ не увлекалъ меня противъ цѣломудрія; никогда въ отдаленнѣйшихъ мечтахъ не грезились мнѣ любовныя похождения. Читая объ нихъ въ романахъ, я вѣрилъ имъ только на половину, признавая въ нихъ отчасти украшенное скотоподобіе или напыщенное описаніе чувства человѣческаго, но по моему представленію—непремѣнно болѣе тихаго, нежели описывается. Опьянѣть отъ любовной страсти казалось мнѣ прямо невѣроятностію. Муція Сцеволу, Стефана Первомученика, Галилея я понималъ, но Вертера отказывался признать, а тѣмъ болѣе уважать его или сочувствовать ему.



Не умолчу о поступкѣ, навлекшемъ на меня гнѣвъ брата и дѣйствительно, какъ подумаю теперь, непростительномъ. Въ меня *влюбилась* кухарка. Слово это пошло и пожалуй не соотвѣтствуетъ дѣлу, но другаго не приберу. Она осыпала меня въ глаза восторженными похвалами, настолько прозрачными, что я при всемъ тогдашнемъ углубленіи въ себя и далекости отъ игривыхъ помысловъ не могъ не понять состоянія жалкой женщины. Во мнѣ возбуждилось любопытство; вмѣсто того чтобы осадить сразу, я молчалъ и сохранялъ выжидательное положеніе. Дошло до того, что разъ я слышу: „вы должно быть такъ крѣпко спите, что около васъ что ни дѣлай, вы не услышите?“—„Не знаю, отвѣчалъ я, а кажется, дѣйствительно я крѣпко сплю“.—„А вотъ я попробую“.—„Попробуй“. Какъ сообразилъ я потомъ, это было ни болѣе ни менѣе какъ предложеніемъ ночнаго свиданія, и дѣйствительно, чуть ли не въ ту же ночь среди сна слышу я прикосновеніе чьей-то руки къ моей рукѣ. Я мгновенно проснулся какъ ужаленный; негодованіе, омерзѣніе, я не знаю какъ и назвать это чувство, закипѣло въ мнѣ. „Прочь! прочь! пошла вонъ!“ закричалъ я, насколько позволяла ночная тишина.

Я тогда велъ дневникъ. По очень дурной привычкѣ, которую братъ къ удивленію не останавливалъ, дѣти безпрепятственно рылись въ моихъ бумагахъ, нашли дневникъ и поднесли родителю. Братъ не воспиталъ въ себѣ той деликатности, чтобы воздержаться отъ чтенія чужихъ бумагъ; вмѣсто того чтобы прикрикнуть на ребятъ и запретить впредь низкое подглядываніе и подслушиваніе, онъ взялъ дневникъ, прочелъ и даже, сколько я могъ замѣтить потомъ, читалъ другимъ. Очень возможно даже, что чтеніе производилось постоянно, и мнѣ потомъ снова подкладывали тетрадь. Но роль тайнаго соглядатая не была додержана. Когда занесена была въ дневникъ исторія съ кухаркой, братъ призвалъ меня, объяснилъ гадость моего пассивнаго, какъ бы изволиваго отношенія, всю безразличность моихъ выра-

женій, неоднократно повторявшихся въ дневникѣ: „ожидаю, что будетъ дальше“ или: „посмотрю, что дальше“.

Удивительна мнѣ теперь эта нравственная неразвитость брата, возмущившагося тѣмъ, что молодой человѣкъ любопытствуетъ касательно развитія страсти, имъ (невольно) внушенной, и не считавшаго въ то же время предосудительнымъ шпионить за исповѣдью, которую излагаетъ другой о самомъ себѣ самому себѣ. Ему не въ догадъ было, что наушничество, до котораго унизился онъ самъ и къ которому поощрялъ дѣтей, гаже психологическаго наблюденія, которое дозволилъ я себѣ. Я вознегодовалъ на нескромное обслѣдованіе моихъ душевныхъ тайнъ; я пылалъ гнѣвомъ, и нравоученія пропали тогда для меня, заслоненныя возмутительностію инквизиторства, котораго я былъ жертвой. Но я вспомнилъ объ этомъ эпизодѣ своей жизни послѣ, лѣтъ семь спустя, когда читалъ мемуары Фесслера, перваго профессора философіи, выписаннаго въ Петербургскую Духовную Академію. Поступокъ Фесслера былъ и совсѣмъ мерзокъ: онъ производилъ эксперименты надъ женой, возбуждая намѣренно въ ней страсть, которую оставлялъ безъ успокоенія. Эта отвратительная пытка, достойная воспитанника іезуитовъ, какимъ былъ Фесслеръ, напомнила мнѣ и о моемъ: „посмотрю, что будетъ дальше“. Мои наблюденія были безъ сравненія невиннѣе. Однако, сказалъ я самъ себѣ, и ты семь лѣтъ назадъ поступалъ не хорошо, и нравоученіе брата было справедливо. Твой поступокъ и поступокъ Фесслера различаются только въ степени, а качества они того же. Играть чувствами и слабостями другаго, а тѣмъ болѣе увлекавшагося лично тобою—подло, если судить по кодексу даже языческой нравственности, не говоря уже о христіанской.



## I.

## Богословскій классъ.

Пока я находился въ изгнаніи и праздновалъ послѣднюю вакацію, исполнилось предсказаніе Татьяны Ѳедоровны: братъ получилъ священническое мѣсто въ Ново-Дѣвичьемъ монастырѣ. Извѣщая родителя о своей радости, онъ приглашалъ между прочимъ и меня вернуться. Я послѣдовалъ зову. Опять ни слова о прошедшемъ. Я встрѣченъ дружескимъ разговоромъ объ исторіи посвященія. „Не помяни, владыко, грѣховъ моей юности и невѣдѣнія“, произнесъ новопосвященный, благодаря митрополита за свое возвышеніе. Грѣхами или, точнѣе сказать, единственнымъ „грѣхомъ юности“ брата былъ необузданный языкъ, при независимомъ характерѣ. До митрополита доходили слухи, и вотъ почему Гиларовъ Дѣвичьяго монастыря не получалъ повышенія, хотя въ порядкѣ священноначалія и заслуживалъ бы. Три года назадъ на подобную же священническую вакансію въ Дѣвичьемъ монастырѣ опредѣленъ былъ сверстникъ и сослуживецъ брата, другой діаконъ, изъ второразрядныхъ учениковъ и не безукоризненной жизни. Но за нимъ не было грѣха излишней прямоты. Бесильны были ходатайства и шурина братнина, Геннадія Ѳедоровича Островскаго, доводившагося въ близкомъ свойствѣ митрополиту и пользовавшагося его благоволеніемъ. „Онъ дерзокъ, въ немъ нѣтъ смиренія, самомнителенъ:“ таковъ былъ отвѣтъ митрополита. Съ этими недостатками однако такъ и въ могилу сошелъ братъ, и доля его мало украсилась даже съ возвышеніемъ во священники. Жизнь незазорная во всѣхъ отношеніяхъ, исправное священнослуженіе, неутомимое проповѣданіе Слова Божія, не снискало ему отличій. Напротивъ, за рѣзкое слово, сказанное кому-то изъ князей Гагариныхъ

по случаю какой-то излишней требовательности отъ дѣвиченскаго духовенства, братъ спустя немного лѣтъ выведенъ былъ изъ Дѣвичьяго монастыря къ бѣдной церкви Воздвиженья-на-Овражкахъ, а оттуда, не имѣя средствъ купить священническій домъ, самъ перепросился въ приходъ Св. Владиміра, еще болѣе убогій, но гдѣ по крайней мѣрѣ квартира была церковная. Тамъ и скончался онъ среди нужды, въ числѣ самыхъ заурядныхъ священниковъ, обогнанный по службѣ посредственностями и ничтожествами, часто полуграмотными, въ жизнь не написавшими проповѣди, иногда пристрастными и къ рюмкѣ, и къ картамъ, но умѣвшими блюсти свой языкъ.

На этотъ разъ я замѣтилъ въ домѣ брата относительное довольство, между прочимъ въ видѣ третьяго блюда, являвшагося иногда даже по буднямъ. Но въ общемъ образъ жизни не измѣнился и обращеніе со мной осталось такимъ же равнодушнымъ, хотя я перешелъ въ богословскій классъ, гдѣ ходъ занятій повидимому долженъ бы возбуждать въ братѣ болѣе любопытства по крайней мѣрѣ.

А въ семинарскомъ положеніи моемъ произошла существенная перемѣна: я перешелъ грань самую рѣзкую; выражаясь по нынѣшнему, кончилъ общее образованіе и поступалъ на курсъ спеціальный, факультетскій. Такъ смотрѣли въ старину на „богослововъ“, хотя новая семинарская программа продолжнымъ разрѣзомъ курса и перестала соответствовать укоренившемуся воззрѣнію. Но программа программой, а преданіе преданіемъ. Нужды нѣтъ, что богословскія науки были введены въ низшіе классы, а классъ, числившійся прежде богословскимъ, былъ обремененъ такими науками какъ сельское хозяйство и медицина: и профессора и ученики въ мысляхъ отдѣляли богословскій классъ отъ остальныхъ, какъ отличный не степенью, а качествомъ знаній. Мѣшать науку съ откровеніемъ, по ихъ мнѣнію, не слѣдовало.

Отдамъ должное старой школѣ: ея христіанскія вѣро-



ванія были глубоко искренни, и отсюда истекало мнѣніе, что все общее образованіе должно служить только подготовкой къ принятію откровеннаго ученія и такою притомъ подготовкой, которая, на основаніи собственныхъ данныхъ естественнаго знанія, приведетъ къ исканію высшаго просвѣщенія въ откровеніи. На этомъ-то основаніи въ низшихъ классахъ о богословскихъ знаніяхъ не заботились: изученію Слова Божія и богословскаго культа мѣста не давалось. Если бы риторъ или философъ стараго времени въ своемъ ученическомъ упражненіи вздумалъ подтвердить какое-нибудь положеніе изреченіемъ Священнаго Писанія, онъ получилъ бы дурную отмѣтку. „Твое дѣло доказать отъ разума и опыта“: такъ разсуждали тогда, въ твердой вѣрѣ что самостоятельныя изслѣдованія разума и не предубѣжденный опытъ не могутъ не привести къ убѣжденію въ необходимости Откровенія. Богословіе въ свою очередь предполагалось ученіемъ цѣльнымъ, не раздробленнымъ, и оттого хотя „Гомилетика“ или ученіе о проповѣданіи Слова Божія значилась въ курсѣ особою наукой и, кажется, преподавалась, профессоръ богословія, онъ же и ректоръ, первымъ дѣломъ училъ насъ, среди уроковъ богословія, искусству проповѣданія.

Я сказалъ: кажется, преподавалась. Да, „кажется“; ее преподавалъ тотъ Алкита или Вахлюхтеръ, который два года назадъ поступилъ было на преподаваніе философскихъ наукъ. Но дѣйствительно ли слушали мы уроки Гомилетики или Каноническаго Права и Церковной Археологій, этого память мнѣ не сохранила; только о „Патристикѣ“ я твердо убѣжденъ, что изъ нея уроки были задаваемы. Это означало, что если и преподавались „разныя“ побочныя богословскія науки, то ими никто не занимался, и молчаливымъ единогласіемъ онѣ признавались за дѣтища, самовольно отлучившіяся отъ родителя. Значилось въ программѣ; пускай значитъ, но курсъ шелъ по старому, лишь нѣсколько ослабленный. Богословіе посократилось, ограничившись догматиче-



скимъ и нравственнымъ съ пастырскимъ, тогда какъ не только Гомилетика и Герменевтика, но и Каноника съ Литургикой должны бы войти въ него, по старымъ понятіямъ. Изъ богословія выдѣлялась только церковная исторія въ тѣсномъ смыслѣ; самостоятельность ея содержанія признавалась.

Въ мое время, сверхъ Богословія требовали вниманія еще уроки по истолкованію Священнаго Писанія, но причина была внѣшняя: преподавателемъ состоялъ инспекторъ семинаріи. Съ новою программой совершилось это перемѣщеніе инспектора. Дотошъ инспекторы неизмѣнно преподавали философію, подобно какъ префекты въ Славяно-Греко-Латинской академіи, которыхъ они замѣстили. Въ тѣ древнія времена учащіе вмѣстѣ съ учениками подвигались по той же лѣстницѣ. Начиная съ низшаго класса, преподаватель со своими учительскими обязанностями переходилъ въ дальнѣйшіе, пока достигалъ философіи, съ чѣмъ соединялось званіе префекта; изъ префектовъ поступали въ ректоры и тѣмъ самымъ въ преподаватели Богословія. Сказывалось господство все того же воззрѣнія, что наука есть подготовка къ вѣрѣ и философія—дверь въ богословіе. Тогдашнее преобразование не вникло въ эту идею, перекроило науки и вмѣсто внутренняго порядка усвоило внѣшній. Когда классы перестали быть стадіями развитія, терялось основаніе инспектору руководить непосредственнымъ преддверіемъ въ богословіе. Отсюда переводъ его въ богословскій классъ и катедра Священнаго Писанія, ближайшая къ наукѣ, преподаваемой ректоромъ и личная инспектору какъ монаху.

Толкователь Священнаго Писанія не пользовался однако нашимъ уваженіемъ какъ профессоръ, хотя его любили какъ инспектора. Онъ былъ не строгъ; можно было даже обезоруживать его начальническое неудовольствіе средствомъ, впрочемъ, оригинальнымъ — разсмѣшивъ его. У насъ находился даже специалистъ для этого. Какъ бы ни велика была шалость, но если въ ней

съ другими участвовалъ Павелъ Воскресенскій, все сойdetъ съ рукъ. Воскресенскій бралъ иногда на себя вину въ проступкѣ, котораго даже не совершалъ. Но пойдеть къ инспектору, начнетъ резонировать, даже за панибрата усовѣщивать, какъ де не стыдно на пустяки обращать вниманіе; притворнымъ видомъ простодушія заставить хохотать инспектора, вызвавъ на разговоръ, и дѣло выигрывалось.

Но въ наукѣ Алексій былъ слабъ. Ходило преданіе, что мѣстомъ въ списокѣ магистровъ и первоначальнымъ ходомъ учебной службы онъ обязанъ былъ, во первыхъ, своему монашеству, а во вторыхъ, тому обстоятельству, что онъ оказался какъ бы крестникомъ Великой Княгини (Маріи Николаевны). Ея Высочество пожелала видѣть обрядъ постриженія; тутъ какъ разъ подоспѣло разрѣшеніе студенту Руфину Ржаницыну принять иночество; постриженіе его съ переименованіемъ въ Алексія и совершилось въ присутствіи Великой Княгини.

Сколь однако велики были его познанія, о томъ можетъ дать понятіе слѣдующій случай, заставившій ребятъ много смѣяться. Зашла рѣчь о томъ, что въ Ветхомъ Заветѣ открываются намеки на троичность лицъ въ Божествѣ. На это указываетъ, сказалъ одинъ изъ бойкихъ учениковъ, между прочимъ слово *лицо*, которое по-еврейски употребительно только во множественномъ числѣ: *панимъ*. „Да, да, подтвердилъ загусывая усь по своему обыкновенію профессоръ, истолкователь Священнаго Писанія, онъ же инспекторъ: *канимъ* лицо, *канимъ*“.

Бѣдный не разслыхалъ и обнаружилъ незнаніе такого слова, которое встрѣчается на второй же строкѣ Библии.

Ректора Іосифа, напротивъ, и уважали, и любили, и боялись, хотя высокой учености тоже не предполагали въ немъ; да ея и не было у него; онъ не имѣлъ и магистерской степени. Про себя ребята даже шутили надъ нимъ, пересмѣивали его, но въ самомъ смѣхѣ сохраняли почтительное уваженіе. Смѣялись надъ его



святою простотой, надъ чистотой его понятій, которая казалась комическою среди окружающей грубости и растлѣнія, но въ душѣ тѣмъ глубже предъ ней преклонялись.

— Ты гдѣ это напился? допрашиваетъ ректоръ казеннокоштнаго большого болвана, ввалившагося вчера пьянымъ въ номеръ и видѣннаго кѣмъ-то изъ начальства въ этомъ безобразіи. — Гдѣ это ты такъ нахлестался?

— Виновать, ваше высокопреподобіе, отвѣчаетъ болванъ, сооронивъ смиренно-постную рожу. — Пришелъ отецъ, дячокъ изъ села, повелъ въ подпивную. Не смѣлъ ослушаться родителя: онъ меня угостилъ, заставилъ выпить бутылку пива.

— Бутылку! воскликнулъ въ непритворномъ ужасѣ ректоръ. — Ты цѣлую бутылку выпилъ?

— Да, смиренно продолжалъ кающійся, воображая, что указаніемъ на такую незначительную дозу такого невиннаго напитка онъ совершенно обезоружилъ гнѣвъ отца ректора.

— Такъ цѣлую бутылку, ц-ѣ-ѣ-лую бутылку! Да какъ тебя не рѣзорвало! Цѣлую бутылку!

Исторія о „цѣлой бутылкѣ“ съ тѣмъ же ужасомъ и тѣмъ же недоумѣніемъ „какъ не рѣзорвало“ рассказана была потомъ въ назиданіе и предостереженіе ученикамъ при полномъ собраніи класса. А ребята посмѣивались себѣ, недоумѣвая въ свою очередь, какъ же это ректоръ не знаетъ, что Любимовъ или Малининъ можетъ осушить не бутылку, а цѣлыя двѣ дюжины и будетъ ни въ одномъ глазѣ, на этотъ же разъ вѣроятно опустошилъ четвертную, да не пива, а сивухи.

— Вотъ бывало и я такъ же, говорилъ ректоръ въ другое время: все что ни напишу, все безъ толку. Что-жь, сударь, трудомъ, размышленіемъ, прилежаніемъ достигъ того, что выучился, да и васъ учу. Разъ я размышлялъ и не замѣтилъ, какъ въ яму попалъ. Вотъ, сударь, а ты что?

Такіе рассказы заставляли смѣяться; но ректоръ былъ

высокій труженикъ, подвижникъ долга, монахъ примѣрной жизни, нелицепріятный начальникъ. Какъ дѣтски простодушенъ и отечески нѣженъ бывалъ онъ во вразумленіяхъ провинившимся, такъ дѣтски радовался успѣхамъ и дарованіямъ учениковъ. Помню, рассказывалъ онъ намъ въ классѣ про одного изъ своихъ бывшихъ учениковъ, года три или четыре уже послѣ того какъ выпустилъ его. „Слова не выкинешь, слова не прибавишь, вотъ какъ писалъ!“ съ восхищеніемъ восклицалъ добрый ректоръ, и умильно улыбаясь, нѣсколько разъ по своему обыкновенію повторялъ слова, обращаясь то въ ту, то въ другую сторону къ ученикамъ съ выразительнымъ жестомъ: „слова не выкинешь, слова не прибавишь, вотъ какъ писалъ!“

И однако его боялись; лишь завидять бывало, всѣ разбѣгаются. Это особенно замѣтно бывало, когда выходилъ онъ изъ класса. Онъ имѣлъ обыкновеніе засиживать долѣе звонка. Богословскій классъ помѣщался во второмъ этажѣ, и распущенные ученики младшихъ классовъ расхаживали по двору въ ожиданіи послѣобѣденной перемѣны, толпились на крыльцѣ. Меня удивляло это бѣгство предъ лицомъ начальника. „Что за глупая, что за рабская привычка! разсуждалъ я въ негодованіи. Ректоръ не звѣрь. На-же, останусь на крыльцѣ“. Такъ и поступилъ; я былъ въ Среднемъ Отдѣленіи. Завидя ректора сходящаго съ лѣстницы, всѣ по обыкновенію разсыпались. Я остался сидящимъ на крылечной оградѣ. Ректоръ сошелъ, поравнялся со мной. Я всталъ и поклонился. „Гилярѣвъ!“ (онъ такъ произносилъ мою фамилію) возвысилъ онъ голосъ обратившись ко мнѣ, „ты что же тутъ сидишь? Камни протрешь, пошелъ бы да размышлялъ. Что за дѣло сидѣть, ногами болтать да камни тереть!“ Я поклонился въ знакъ послушанія и подумалъ: а вѣдь значить есть основаніе, почему завидѣвъ его всѣ разбѣгаются.

Закончу описаніе учительскаго персонала, къ которому мы поступали, Александромъ Ѳедоровичемъ Кирь-



яковымъ, преподававшимъ Церковную Исторію. Это былъ сама воплощенная деликатность, необыкновенно мягкій въ обращеніи, никогда ни въ какомъ случаѣ не возвышавшій голоса, даже тогда когда разъ, возмущенный какимъ-то грубѣйшимъ незнаніемъ ученика, рѣшился наконецъ вымолвить: „садитесь... болванъ!“ Но самое это слово „болванъ“, невольно вырвавшееся, произнесено было нѣжнымъ, почти плачущимъ тономъ. Его любили, но въ наукѣ онъ ограничивался „отъ сихъ до сихъ“, и ни одной свѣжей мысли, ни одного разсказа, который оживилъ бы вниманіе и возбудилъ любознательность, мы не слышали отъ него.

Если не считать преподавателей греческаго и еврейскаго (на первомъ былъ извѣстный уже читателю Алкита, а второй преподавался только желающимъ, которыхъ однако не было и десятка), то вотъ и весь составъ преподавателей факультетскихъ, долженствовавшихъ ввести насъ въ науку, вѣнчающую наше образованіе, по отношенію къ которой все остальное было только преддверіе, само о себѣ сказывавшее, что оно есть первая ступень, знаніе низшее, недостаточное.

Большинство моихъ товарищей не разсуждало, училось механически: такъ сказано или такъ написано въ книгѣ, и довольно. Но я растерялся. Мученикъ формальной истины, умъ мой искалъ основаній, сообразія, послѣдовательности. Съ перваго же дня въ богословскомъ классѣ душа слышала, что здѣсь я новаго ничего не приобрѣту и въ приобрѣтенномъ крѣпче не утвержусь. Пробѣгалъ я письменные уроки, которыми будутъ назидать насъ въ Богословіи. Они мнѣ показались дѣтски составленными, нескладно, съ противорѣчіями, никакого вопроса не рѣшающими и ни одного серьезнаго даже не затрагивающими. Года полтора назадъ я прочитывалъ богословскій курсъ Кирилла, рукописный же. То были даже академическіе уроки, но и они мнѣ показались слабыми, все до перетертости знакомымъ; я не находилъ къ чему прицѣпиться живою мыслию. А се-

минарскій учебникъ и еще болѣе страдалъ тѣми же недостатками. Я не рѣшалъ себѣ, чѣмъ буду заниматься въ послѣдніе два года образованія, но предшествующимъ ходомъ развитія само собою предрѣшалось, что заниматься, чѣмъ другіе, не буду. Душа не будетъ въ состояніи принять къ сердечному убѣжденію то, чему предлагать увѣрять; уму не останется работы кромѣ критической, отрицательной. Таково и оставалось на оба года мое умственное настроеніе. Все официально преподаваемое казалось мнѣ непослѣдовательнымъ, неточнымъ, противорѣчащимъ, произвольнымъ, даже ложнымъ въ томъ отношеніи, что сами учителя, казалось мнѣ, въ сущности не вѣрятъ проповѣдуемой истинѣ, а только говорятъ по заученому, не трудясь размыслить.

Впрочемъ, не буду прерывать повѣствованія. Достаточно сказать, что я съ поступленіемъ въ богословскій классъ внутри свернулся. Я не сдѣлался рѣшительнымъ отрицателемъ, потому что къ отрицанію умъ требовалъ тоже основанія. Въмѣсто одного произвола подставить другой произволь, это мнѣ равно претило; строгій къ формальной истинѣ, я остался къ ея внутреннему содержанію въ раздвоенномъ состояніи: „можетъ-быть и это вѣрно, можетъ-быть и то истинно; но то и другое равно неосновательно. Гдѣ же основаніе всепримиряющее и всерѣшающее, и есть ли оно?“ Самый этотъ вопросъ еще только мерцалъ предо мной гдѣ-то вдали, не выступая опредѣленно и не понуждая къ поискамъ. Я оставался въ готовности все принять и все отвергнуть, когда предстанутъ неотразимыя основанія убѣдиться. Стоя на поддорогѣ, я напоминалъ ту простодушную крестьянку, которая сначала неумышленно поставила свѣчку или приложила къ изображенію сатаны на Страшномъ Судѣ. „Что же это ты дѣлаешь? укоряють ее. Вѣдь ты приложила къ нечистому“. — „И, батюшка, отвѣчала она, сознавъ ошибку, ничего; вѣдь еще неизвѣстно, къ кому-то попадешь, можетъ и къ нему“.



## II.

## Два ректора.

Продолговатая зала со столами въ два ряда, расположенными по наружной стѣнѣ и примыкающимъ къ ней двумъ внутреннимъ. Въ серединѣ третьей внутренней—профессорскій столъ со стуломъ. Таково расположеніе богословскаго класса. Мы усѣлись. Приходитъ ректоръ и въ слѣдъ за обычною молитвой тихимъ голосомъ даетъ вопросъ, ни къ кому не обращаясь: „Что такое Богословіе?“ Это было первое его слово къ намъ, какъ учителя къ ученикамъ.

— Что такое Богословіе? повторяетъ онъ, немного возвысивъ голосъ.—Ты!

И ректоръ пальцемъ указываетъ на ученика.

— Что такое Богословіе?

Ученикъ молчитъ, но можно сказать, что прежде нежели успѣлъ онъ замолчать, уже ректоръ обращается къ другому, затѣмъ къ третьему:

— Ну, говори, здѣсь пришли не дремать, а дѣло дѣлать: что такое Богословіе?

— Богословіе происходитъ отъ словъ *Богъ* и *слово*, отвѣчаетъ наконецъ одинъ.

— Богъ и слово! одобрительно повторяетъ ректоръ. Что же это: слово Бога къ человѣку иль о человѣкѣ, или слово человѣка къ Богу или о Богѣ?

И прежде нежели успѣлъ задумавшійся ученикъ отвѣтить, онъ уже обращается къ другому, повторяя вопросъ.

— Слово человѣка къ Богу или о Богѣ, отвѣчаетъ кто-то.

— Почему?

— Слово Бога къ человѣку и о человѣкѣ, рѣшается сказать одинъ изъ поднятыхъ.

— Почему? Отчего не слово чело́вѣка къ Богу или о Богѣ? Ты, ты, ты!

Послѣ многихъ такихъ обращеній, вопросовъ, возраженій, профессоръ добивается объясненія, что слово Бога къ чело́вѣку и о чело́вѣкѣ—въ Откровеніи, а слово чело́вѣка къ Богу есть молитва, Богословіе же есть слово чело́вѣка о Богѣ. Анализъ конченъ. Всѣ „ты“ и „ты“, нѣсколько разъ поднятые, нѣсколько разъ посаженные, получили позволеніе садиться окончательно. Начался синтезъ.

Кратко повторяется все то, что добыто перекрестными вопросами и отвѣтами. И объясняя это, ректоръ все ходитъ; скажетъ, пройдетъ два шага, обернется мгновенно въ другую сторону и снова съ усиливающимся жаромъ повторитъ сказанное.

Такъ прошелъ весь первый классъ, всѣ два часа, и мы едва переползли черезъ „опредѣленіе“ науки. Пояснивъ, повторивъ, подтвердивъ, ректоръ еще не удовольствовался, но заставилъ кого-то снова резюмировать слышанное.

Второй урокъ былъ подобіемъ перваго; затѣмъ третій, четвертый и далѣе, тотъ же порядокъ: „здѣсь пришли не дремать, а дѣло дѣлать!“ Урокъ, еще не пройденный, проходится первоначально въ видѣ гадательныхъ отвѣтовъ, даваемыхъ учениками; за ними слѣдуетъ изложеніе самого учителя, иногда повторенное изложеніемъ ученика.

Вмѣстѣ со введеніемъ въ Богословіе насъ принялся учить ректоръ и проповѣдничеству. Тотчасъ послѣ поступленія въ Богословскій классъ намъ всѣмъ уже назначено по проповѣди. Но прежде чѣмъ писать самую проповѣдь, мы обязаны были подать ея „расположеніе“, то-есть существо и порядокъ мыслей, которыя въ ней будутъ изложены. Черезъ нѣсколько дней, когда часть „расположеній“ уже подана, классъ начинался съ ихъ разбора.

— Архангельскій, по обыкновенію тихимъ голосомъ начинаетъ ректоръ: мысли твоего расположенія?



Архангельскій или тамъ какой Воздвиженскій начинается:

— Въ приступѣ говорится то и то; затѣмъ въ трактатѣ излагается такая и такая мысль.

— Соколовъ, какъ ты находишь это расположеніе?

— Оно неправильно.

— Неправильно! А я скажу: правильно. Почему неправильно?

— У него члены дѣленія совпадаютъ.

— А что такое члены дѣленія совпадаютъ? Ты, ты... ты!

— Члены дѣленія совмѣщаются, отвѣчаетъ кто-то.

— А что такое „совмѣщаются“?

— Нѣтъ, члены дѣленія у меня не совмѣщаются, отзывается проповѣдникъ.

— А онъ говоритъ—совмѣщаются! живо откликается ректоръ.—Ты объясни: почему?

И такъ перетиралъ онъ насъ каждый классъ. Острые языки изъ насъ говаривали, что еслибы не постоянная обязанность быть наготовѣ къ отвѣту, то послѣ первой четверти часа можно уснуть, съ тѣмъ чтобы проснуться къ концу класса и вновь услышать уже слышанное. Но я съ глубокимъ благоговѣніемъ вспоминаю объ этомъ наставникѣ и истинномъ отцѣ. Лично я и можетъ-быть многіе узнали отъ него мало новаго; содержаніе уроковъ было не обширно и не щеголяло глубокомысліемъ. Но ученики избавлены были отъ обязанности долбить учебникъ, хотя и не избавлялись отъ обязанности готовиться. Они надалбливались вдосталь въ аудиторіи, а готовиться приходилось имъ, чтобы не мѣшкать отвѣтомъ на вопросъ, къ слѣдующему уроку, который будетъ разбираться завтра въ классѣ. Выходя изъ аудиторіи, ученикъ уже зналъ твердо урокъ, не могъ его не запомнить, заучивалъ тексты и не могъ ихъ не заучивать, потому что въ каждомъ текстѣ, который приводится учебникомъ, каждое слово прошло чрезъ ту же процедуру перекрестныхъ вопросовъ и

отвѣтовъ, смыкаемыхъ окончательнымъ изложеніемъ учителя. Тетрадки учебника обращались въ конспектъ, только напоминающій о слышанномъ и уже усвоенномъ. Ученики узнавали пожалуй и немногое, но знали твердо и знали почти одинаково отчетливо всѣ, первые какъ и послѣдніе. Какой великій плодъ и какое изумительное терпѣніе учителя!

Терпѣніе! Нѣтъ, я употребилъ не подходящее выраженіе. Ректоръ въ классъ рѣдкій разъ не одушевлялся; отъ спокойствія онъ приходилъ постепенно въ большій и большій жаръ; голосъ возвышался, движенія становились живѣе; слышались ноты растроганной души.

Урокъ шелъ о страданіяхъ Спасителя, отреченіи Петра. Какъ живо помню, какъ ясно представляю фигуру! Слышу патетическія слова:

— И кто же? Петръ, избранный изъ апостоловъ, первый исповѣдавшій его Сыномъ Божиимъ. И что же? Отречешься!.. И когда же отречешься? Въ сію самую ночь, прежде нежели пѣтель возгласить. И какъ же? Трижды!.. трижды отречешься... прежде нежели пѣтель возгласить...

Голосъ ужъ дрожить, но фигура оборачивается къ другой сторонѣ залы, и аудиторія слушаетъ снова:

— И кто же? Петръ... и проч.

Это въ трогательномъ родѣ. Вотъ примѣръ другой, изъ исторіи воскресенія. Воины объясняютъ, что тѣло распятаго и погребеннаго украдено.

— Украдоша намъ спящимъ, приводитъ ректоръ съ усмѣшкой это показаніе стражи. Хм!.. Украли, когда они спали! Хм! Спали и видѣли. Какъ же они видѣли, когда спали? Если спали, то не видали, а если видѣли, то какъ же допустили?

„Украдоша намъ спящимъ“, повторяется по обыкновенію опять то же еще горячѣе, и еще язвительнѣе улыбка.—Спали и видѣли!.. видѣли и спали!.. Видѣли и допустили!..

Какъ слѣдовало по семинарскому обычаю, кромѣ про-



повѣди назначено было намъ еще сочиненіе. Единственная тема дана была ректоромъ во все первое полугодіе. Но помимо заданной, обязательной (на латинскомъ языкѣ) отъ насъ принимались, а тѣмъ самымъ и требовались косвенно диссертациі произвольныя. По утвердившемуся обычаю, онѣ состояли въ развитіи вопросовъ, объясненіе которыхъ слышано было въ классѣ. Каждый день при выходѣ изъ аудиторіи ректоръ получалъ по вороху такихъ сочиненій, понятно, всегда болѣе или менѣе короткихъ по краткости времени, въ которое изготовлялись. Писали, можно сказать, въ перегонки, и къ этому поощряла внимательность ректора, прочитывавшаго поданныя упражненія немедленно и сдававшего обратно съ рецензіями рѣдко позже завтрашняго дня. На чтеніе посвящался у него вечеръ, при чемъ почти неизмѣнно приглашался кто-нибудь изъ казенно-коштныхъ въ качествѣ чтеца, а кстати и соучастника въ рецензіи. О количествѣ труда, который на это клался можно судить по тому, что изъ числа моихъ товарищей нѣкоторые подали до декабря сто упражненій и даже болѣе. А насъ было слишкомъ девяносто. Я не послѣдовалъ этому примѣру. Я привыкъ отъ сочиненія требовать умственного усилія и только духовною работою опредѣлялъ ему цѣну; я не могъ приладиться; мнѣ даже претило подъ видомъ собственнаго сочиненія подать механически повторенную другими словами часть прослушаннаго урока. Не помню, дошло ли у меня даже до дюжины къ концу семестра число произвольныхъ сочиненій, и я удивляюсь теперь, какимъ образомъ еще сохранилъ я къ рождественскому экзамену свое мѣсто втораго ученика въ спискѣ, — втораго, а не перваго, потому что въ Богословскій классъ переведены два параллельныя отдѣленія предшествующаго класса: перваго Средняго Отдѣленія, въ которомъ былъ свой первый ученикъ, и — втораго, гдѣ былъ я. Судя по тому, какъ я отнесся къ произвольнымъ диссертациямъ, а еще болѣе къ проповѣдямъ, по всей справедливости заслуживалъ

русскій переводъ Библии Павскаго. Самый фактъ перевода найденъ былъ преступнымъ; наряжено было цѣлое слѣдствіе; переводы отбирались. Въ Московскую академію посланъ былъ нарочный чиновникъ, допрашивавшій студентовъ и наставниковъ по одиночкѣ. Среди учащихся и вообще въ той части духовенства, которая соприкасалась со школой, этотъ походъ, поднятый графомъ Протасовымъ, и вообще все новое направленіе, называвшееся въ тѣсномъ смыслѣ „православнымъ“, встрѣчено было сильнымъ неудовольствіемъ, такъ что слово „православіе“ долгое время школьнымъ міромъ употреблялось въ насмѣшливомъ смыслѣ. Дотогѣ говорили „греко-восточное“ или „греко-россійское“ исповѣданіе, „каѳолическая“ церковь или просто „христіанство“ и „христіанскій“. Самый катихизисъ Филарета въ первоначальныхъ изданіяхъ назывался просто „христіанскимъ“ и уже послѣ къ своему наименованію прибавилъ „православный“. Послѣ того понятно сочувствіе и почтительное уваженіе, съ которымъ ожидали Филовея. Лично я, по слухамъ заранѣе уважая будущаго ученаго ректора, занялся работой, которою намѣревался зарекомендовать себя, когда онъ пріѣдетъ. Въ этихъ-то видахъ я и приготовилъ диссертацию *De lapsu angelorum*, о которой говорилъ въ одной изъ предшедшихъ главъ.

Но сбылось совершенно вопреки ожиданіямъ. Никто не думалъ, не гадалъ, чтобы ректоромъ въ Москву назначенъ былъ нашъ же инспекторъ Алексій, не знавшій слова *паннимъ*. И однако такъ случилось. Филовей, на шесть лѣтъ старшій по службѣ и безъ сравненія превосходившій познаніями, переведенъ былъ только чрезъ нѣсколько лѣтъ, да и то сперва въ Виѣанскую, а потомъ уже въ Московскую семинарію, когда Алексій, шагая быстро, возвысился уже до ректора академіи.

Какъ пошли уроки при Алексіи? Ни сократическаго метода, ни произвольныхъ сочиненій, ни тѣхъ неумимыхъ разборовъ, которыми не давалъ ни себѣ, ни



ученикамъ отдыха Іосифъ, не было въ поминѣ; потянулось заурадливымъ образомъ, вяло и механически. Я въ частности находилъ удовольствіе, выражусь такъ, дразнить и сбивать ректора. Я бы не дерзнулъ на то предъ Іосифомъ, хотя подобные же вопросы тревожили меня и тогда. Но Алексія я любилъ приводить въ досаду, хотя пользовался его благоволеніемъ и самъ его любилъ.

Съ поступленіемъ Алексія я мало даже посѣщалъ классы. Едва ли много преувеличу, когда скажу, что пропустилъ цѣлую половину. Къ концу перваго учебнаго года я схватилъ перемежающуюся лихорадку, которая потрепала меня сперва нѣсколько недѣль дома, потомъ въ Голицынской больницѣ, куда вынужденъ былъ я наконецъ лечь, видя безуспѣшность домашняго пичканья хиной и прохладительными микстурами. А на второй, окончательный годъ часто пользовался возможностью подавать донесеніе о болѣзни, тѣмъ болѣе что достовѣрности донесенія никто никогда не повѣрялъ. Приходилось засѣсть за какую-нибудь книгу, отъ которой не желаешь оторваться, или увлечешься какимъ-нибудь добровольнымъ письменнымъ занятіемъ, и на недѣлю, на двѣ заболѣваешь. Этимъ днямъ притворной болѣзни я обязанъ первымъ изученіемъ англійскаго языка и началъ итальянскаго, ради чего обзавелся грамматиками и хрестоматіями (на нѣмецкомъ). Въ тѣ же гулевые дни я почти вполнѣ перевелъ съ нѣмецкаго богословіе Клеэ. Это была первая система богословія, которая поколебала мое предубѣжденіе противъ богословскихъ книгъ вообще. Всегда жадный до чтенія, я просилъ себѣ изъ семинарской библіотеки книгъ для пособія при сочиненіяхъ. Долго не получалъ ничего кромѣ средневѣковыхъ фоліантовъ; но они общими мѣстами, которыми переполнены, и схоластическими препирательствами протестантовъ съ католиками, мало меня удовлетворяли. Попросивъ разъ толковника на Библію и получивъ Мальдоната, я даже вознегодовалъ на себя,

что оттянул руку, таща домой увѣсистый фоліантъ, въ которомъ потомъ не обрѣлъ ничего кромѣ пусто-словнаго перифраза въ родѣ того, что бѣлизной называется качество бѣлаго, а чернымъ именуется черное. На просьбу дать что-нибудь поновѣе и притомъ на современномъ языкѣ я получилъ три части Клеа и поразился съ первой страницы, увлекшись содержаніемъ, а далѣе во всемъ сочиненіи восхитившись необыкновенно красивою системою, выдержанною до щепетильности. Авторитетъ Гегеля во время автора былъ еще въ полной силѣ, и католическій богословъ изложилъ свою науку въ Гегелевской симметріи, отыскивая всюду два момента, замыкаемые третьимъ. Введеніе же сжато-сосредоточеннымъ языкомъ излагало понятія о скептицизмѣ, идеализмѣ и (псевдо) реализмѣ, которыхъ, выражаясь Гегелевски, отрицаніе есть религія. Эти страницы очаровали меня и засадили за переводъ.

Изученіе еврейскаго языка привело къ другой работѣ. Этимологія еврейская движется внутри словъ, выражаясь перемѣной гласныхъ, тогда какъ согласныя остаются постоянно тѣ же. Я поразился существованіемъ подобнаго явленія въ нѣкоторыхъ русскихъ глаголахъ, изъ которыхъ первымъ представился мнѣ *убить* и *убиютъ*. Перемѣна залога, достигаемая перемѣной внутреннихъ гласныхъ, напоминала еврейское спряженіе, и я принялся за составленіе списка, гдѣ повторяется то же явленіе. Пытался сличеніемъ проникнуть даже законъ и смыслъ измѣненій. Но недостатокъ лингвистической подготовки остановилъ работу, и уже долго спустя, черезъ шестнадцать лѣтъ, я возобновилъ ее, но въ болѣе широкихъ размѣрахъ и на болѣе прочныхъ основаніяхъ, не доведя ее впрочемъ до полнаго конца даже доселѣ. Тѣмъ не менѣе и въ тѣ юношескія лѣта, въ 1842 году, сличеніе глаголовъ отняло довольно времени, оставивъ по себѣ памятникъ въ видѣ нѣсколькихъ рапортовъ о болѣзни.

Не смотря на свое болѣе нежели равнодушное отно-



ровъ - малороссовъ; другая подобная кафедра устроена была въ церкви Іоанна Воина, на Якиманкѣ, и только двѣ ихъ было во всей Москвѣ. Настоятелемъ церкви Іоанна Воина былъ знаменитый по своему времени проповѣдникъ Десницкій, въ послѣдствіи митрополитъ Петербургскій (Михаилъ). Думаю, что его проповѣдническая слава и повела къ устройству кафедры.

Съ первыхъ же дней нѣкоторые изъ насъ, лучшіе, въ числѣ полдюжины или съ чѣмъ-нибудь, представлены были семинарскимъ правленіемъ къ посвященію въ стихарь. Представленіе такого рода продолжалось потомъ въ теченіе цѣлаго курса, по мѣрѣ ученическихъ успѣховъ; нѣкоторые впрочемъ такъ и оканчивали не удостоившись посвященія. Я не успѣлъ оглянуться, какъ объявлено было, что въ числѣ другихъ я долженъ исповѣдаться у такого-то законоспаскаго іеромонаха, а затѣмъ явиться на Саввинское подворье въ церковь для посвященія. Исповѣдь и опредѣленный духовникъ назначались не только потому, что въ день посвященія мы будемъ причащены и вообще должны явиться къ руковозложенію (хиротесіи) очищенными, но и затѣмъ что засвидѣтельствовать, достойны ли мы вступленія въ церковный клиръ, помимо семинарскаго начальства, обязанъ еще духовникъ. Есть грѣхи, съ которыми принимать къ посвященію запрещаютъ правила, и совѣсти духовника предоставляется veto, безъ объясненія причинъ, которыя остаются тайной между имъ и кающимся. „Каяться ли?“ спрашивали другъ у друга нѣкоторые изъ товарищей. Никто изъ нихъ неповиненъ былъ конечно ни въ татѣбѣ, ни въ убійствѣ, но не всѣ сознавали себя чистыми противъ седьмой заповѣди. Я не рѣшился потомъ допрашивать, они ли ко грѣху добавили еще тягчайшій смертельный грѣхъ, посмѣявшись таинству, или же духовникъ, изъ снисхожденія къ современной немощи общества, удовольствовался келейною епитиміей, не лишивъ молодыхъ грѣшниковъ предстоявшаго посвященія? Скорѣе было послѣднее, и на это,

го самымъ руковожденію при такой механической обстановкѣ.

Насъ облачили сначала въ малый фелонъ или фелончикъ, какъ его называютъ, потомъ въ стихарь. Фелончикъ только и употребляется для такихъ случаевъ; никто изъ клира никогда его не носитъ. Большинство читателей вѣроятно не имѣетъ о немъ даже понятія. Круглый кусокъ матеріи и въ серединѣ его отверстіе для головы, вотъ фелончикъ. Когда его надѣнуть, онъ имѣетъ видъ пелеринки, и такъ какъ матерія очень небогатая, едва ли даже шелковая, то мы и сами себя представляли комичными фигурами, и присутствующіе въ церкви, намъ казалось, должны смотрѣть на насъ какъ на шутовъ. А напрасно. Фелончикъ на мой взглядъ даже красивъ; онъ есть первообразъ дѣйствительнаго фелона, притомъ удержавшій основной типъ въ чистотѣ, чего уже нѣтъ въ обыкновенномъ фелонѣ, то-есть священнической ризѣ. Представимъ себѣ тотъ же кусокъ, но бѣльшаго размѣра, достаточный чтобы покрыть все тѣло, а не одни плечи. Представимъ то же отверстіе для головы въ серединѣ, да по краямъ кайму изъ другой матеріи, и вотъ вамъ фелонъ обыкновенный или священническая риза. Таковымъ онъ и былъ въ древности. Такъ какъ однако подобный сплошной мѣшокъ не даетъ свободы рукамъ, то придумали измѣненія. Западная церковь усвоила разрѣзъ или выемку съ боковъ, давшія свободу рукамъ; а на востокѣ та же цѣль достигнута тѣмъ, что передъ вздергивался до груди и тутъ прикрѣплялся на петляхъ къ пуговицамъ. Послѣ, изъ экономіи матеріала или не знаю уже изъ чего, вмѣсто вздергиванія на пуговицы предпочли вырѣзывать весь передъ, съ сохраненіемъ однако пуговицъ и позумента, идущаго неправильною линіей по изуродованному краю. Таковъ теперешній фелонъ, покроємъ своимъ безспорно уступающій древнему и въ изяществѣ и въ чистотѣ стиля. Но фелончикъ сохранилъ чистоту стиля, и если проигрываетъ въ изя-



ществѣ, то единственно потому что шьется едва не изъ рублища; но за то онъ вѣрный представитель преданія.

Первая проповѣдь мнѣ, какъ перваку втораго Отдѣленія, назначена была въ ближайшій праздникъ—Воздвиженіе; первому ученику перваго Отдѣленія досталась вѣроятно недѣля предъ Воздвиженьемъ. Проповѣдь, а предварительно, какъ водится, „расположеніе ея“, были написаны, поданы и возвращены съ одобреніемъ; однако проповѣдь не произнесена. Почему? Твердо не помню. Во всякомъ случаѣ не потому чтобы ректоръ нашелъ ее негодною, а вѣроятно предоставлено было мнѣ произнести ее въ любой церкви. Можетъ-быть даже мнѣ предложено было произнести въ Заиконоспасскомъ, но самъ я нашелъ чѣмъ-нибудь отговориться. Въ Заиконоспасскомъ, помнится, говорилъ на этотъ разъ мой пріятель Николай Алексѣевичъ (вышедшій изъ Философіи вторымъ). Помню, какъ наканунѣ я слушалъ всенощную въ Заиконоспасскомъ, просто ялъ въ самое Воздвиженіе и обѣдню. Возлѣ меня стоялъ какой-то господинъ, и когда во время причастнаго стиха Николай Алексѣевичъ началъ въ виду всѣхъ подниматься по лѣстницѣ и затѣмъ сталъ на кафедру, блѣдный какъ предъ смертною казнію, сосѣдъ мой воскликнулъ съ выраженіемъ досады и сожалѣнія: „что это такое! возможно ли такъ трусить!“ Мнѣ въ свою очередь стало досадно на непрошеннаго критика и было жаль своего пріятеля, почти потерявшаго голосъ отъ смущенія.

Почему же однако я не говорилъ проповѣдь? Потому что моя проповѣдь была для меня отвратительна. Еслибы не обязанность представлять всѣ письменныя упражненія къ экзамену, я бы немедленно изорвалъ свой первый плодъ церковнаго краснорѣчія. Я не имѣлъ духа даже ни разу посмотрѣть на него въ послѣдствіи. И не потому что мое произведеніе было неудачно; со школьной точки оно было сносно. Но оно было плохо въ моихъ глазахъ уже потому, что оно проповѣдь. По

мнѣ пробѣгала нервная дрожь, когда я вспоминалъ, что *тамъ*, въ тетрадяхъ есть моя проповѣдь.

Многимъ въ зрѣлыхъ лѣтахъ и даже до старости продолжаютъ сниться экзамены, страхъ предъ ними, ощущение мучительной боли отъ полученной двойки; въ холодномъ потѣ просыпается сорокалѣтній мужъ, отдыхая мыслію, что слава Богу это только сонъ; кошмаръ принялъ только форму мучительнѣйшаго изъ всѣхъ гнетущихъ впечатлѣній, которымъ пришлось въ жизни подвергаться. Снились и мнѣ экзамены; чувство не изъ пріятныхъ, но никогда не доходило до полного угнетенія. Повятно: и на яву экзамены въ семинаріи и академіи не имѣли того всерѣшающаго значенія, какъ въ гимназіяхъ и университетахъ. Можно было, въ мое по крайней мѣрѣ время, сдать посредственно устный экзаменъ, даже вполнѣ срѣзаться и тѣмъ не менѣе числиться въ отличныхъ, первыхъ ученикахъ; на дальнѣйшую судьбу устный экзаменъ, свидѣтельство о памяти и зубрежкѣ, оказывалъ малое вліяніе. Но меня десятки лѣтъ посѣщаль кошмаръ въ видѣ приближающейся обязанности писать проповѣдь. Безпокойство, страхъ, невѣроятное напряженіе ума и... полное безсиліе! А срокъ приближается; вотъ уже остался день, нѣтъ, нѣсколько часовъ, и я неспособенъ выжать изъ себя что-нибудь. Я чувствую срамъ оказанной неспособности изготвить произведеніе, легко дающееся самому заурядному таланту, даже бездарностямъ.

Что же это такое? Въ самомъ ли дѣлѣ я неспособенъ былъ составить риторическое произведеніе? Чего! Я писывалъ проповѣди чуть не дюжинами для семинаристовъ, для дьяконовъ и священниковъ. Разъ, также еще семинаристомъ, составилъ для будущаго своего тестя такую проповѣдь на память объ освященіи храма, что благочинный-цензоръ, не находилъ словъ хвалить ее всѣмъ, какъ замѣчательнѣйшее произведеніе. Братъ Александръ, искусившійся въ проповѣдничествѣ и очень щекотливый въ авторствѣ, пробѣгалъ на старости къ



моимъ совѣтамъ, выслушивалъ замѣчанія и принималъ поправки. Но то было для другихъ, а не для себя. Случалось, когда измученный безплодными усиліями, не находя ни мыслей, ни словъ, я въ отчаяніи обращался къ себѣ: „Да вообрази, что готовишь не для себя, что тебя просилъ NN. О, Боже, хоть бы кто-нибудь обманулъ меня и попросилъ на этотъ день сочинить ему проповѣдь, а потомъ сострадательно сказалъ: я пошутилъ, это вамъ именно и назначено“. Но моего мученія никто не знаетъ; признаться въ немъ было мнѣ стыдно, да и приняли бы за шутку, никто не повѣрилъ бы. Пишетъ головоломныя диссертациі и затрудняется такими пустяками! Но и не затрудняюсь, напишу легко, только не для себя; а когда доходить до собственнаго лица, теряю всякую способность, въ головѣ путается; я не могу сочетать мыслей и не приходить слова на умъ, не найду о чемъ писать. Одна тема кажется слишкомъ пошлою, другая слишкомъ натянутою, третья пересыпаніемъ изъ пустаго въ порожнее.

Тринадцать лѣтъ я носилъ стихарь на правахъ „проповѣдника“: два года въ семинаріи, четыре на студенческой скамьѣ въ академіи и семь лѣтъ на академической службѣ. Въ тринадцать лѣтъ я ухитрился подать всего пять проповѣдей, изъ нихъ три въ семинаріи; въ одиннадцать же лѣтъ академическаго поприща—только двѣ, тогда какъ начиная со старшаго академическаго курса по крайней мѣрѣ по одной проповѣди въ годъ было обязательно. Произнесъ же по заказу изъ пяти проповѣдей всего одну. Это было въ семинаріи, какъ помню, въ недѣлю Мытаря и Фарисея, какія-то общія мѣста о милосердіи, совершенно ребяческія. Но чего онѣ мнѣ стоили! Въ остальныхъ случаяхъ находилъ способъ увертываться, за исключеніемъ послѣдняго, о которомъ стоить сказать особенно.

Я былъ уже на службѣ. Случилось, что проповѣдь назначена мнѣ была на лѣтній Николинъ день; а на ту

пору пріѣхалъ въ Лавру митрополитъ, которому въ такихъ случаяхъ представлялась проповѣдь лично на цензуру. Въ ужасѣ, о которомъ доселѣ не могу вспомнить безъ содраганія, я просилъ ректора (Алексія), нельзя ли какъ-нибудь меня высвободить.

— Нельзя, отвѣчалъ ректоръ.— Владыка уже знаетъ; онъ даже спрашивалъ, кому назначено, и ожидаетъ. Я совѣтовалъ бы вамъ пораньше подать, чтобы не затруднять его, а то времени ему не будетъ.

Я представлялъ разные резоны: и некогда мнѣ, и диссертаций на рукахъ куча, и лекціи на плечахъ, да наконецъ что просто не могу и не умѣю. На послѣднее ректоръ улыбнулся, давая мнѣ понять, что напротивъ, онъ очень даже радъ случаю поставить меня лицомъ къ лицу со владыкой. Онъ увѣренъ былъ, что оказываетъ мнѣ величайшую услугу.

— Увѣряю васъ, ваше высокопреподобіе, это будетъ такая гадость, что вамъ будетъ тошно читать.

Обыкновенныя муки проповѣдническаго писательства терзали меня теперь въ утроенномъ размѣрѣ. Я написалъ уже дѣйствительно нескладное, натянутое, такъ что еслибы мнѣ студентъ или даже ученикъ семинаріи подалъ такую безобразную хрію, я бы поставилъ крестъ. Тѣмъ не менѣе придумать что-нибудь другое умъ отказывался.

— Вы мнѣ не хотѣли вѣрить, сказалъ я ректору, принеся проповѣдь.— Смотрите же, какая гадость.

Ректоръ выручилъ на сей разъ. Не помню, чѣмъ онъ отговорился отъ владыки, а мнѣ, отдавая проповѣдь, сказалъ:

— Дѣйствительно, видна поспѣшность; напрасно не хотѣли вы присѣсть повнимательнѣе.

Чего „не хотѣли“! Усилій было потрачено болѣе чѣмъ на цѣлый томъ самаго утонченнаго научнаго изслѣдованія. Но разувѣрять ректора было излишне: онъ бы не повѣрилъ.

Я не донесъ своего произведенія даже до квартиры;

вспомнилъ что въ церкви.  
вспомнилъ.

Признаюсь я въ немудрой своей привычкѣ. Не считая  
тѣмъ еще своимъ деломъ въ общественномъ мнѣніи и по-  
литикѣ независимости. Признаюсь я прибѣгалъ къ Ко-  
луну на помощь. Тѣмъ мнѣ-то въ свою очередь  
что быть независимымъ отъ Императорскаго вѣдѣнія.  
Вотъ я и былъ въ оппозиціи. Тамъ независимы са-  
модѣи и умилили угнѣбленныхъ.

Вѣдь, отбѣдаль я — на званіе какъ не считать.

И ты думаешь? спросилъ меня.

— Вотъ мистификаціонъ признаюсь въ софистикѣ.

На другой день, послѣдовавъ приглашенію Евангелия, я  
тутъ же въ время литургии вынулъ съ собою что-то  
и началъ на записку. Я признаюсь... безспорно лучше  
всѣхъ ты знаешь о мнѣшномъ въ Западнорусскомъ  
монастырѣ и безспорно совершеннѣйшемъ монашѣ хри-  
стѣ Исаиѣ мнѣ, гонимомъ на протестъ владыки.

Изъ этого, кажется, я составилъ историческаго фак-  
та, какъ-будто бы я былъ, да и не былъ. Про-  
мѣна мнѣшная была глупостію софиста, а не  
убѣжденіемъ, какъ бы мнѣшная софиста.

Примечаніе усиливается думнымъ остономъ  
примечанія. Такимъ, съ понятіемъ. Но тебѣ же сказано,  
что себя ты долженъ запретать въ проповѣди покая-  
нія. Ректоръ Іосифъ не только ораторскія движенія, но  
даже импрессионную форму рѣчи находилъ въ пропо-  
вѣди непримѣною: „Зачѣмъ же ругаться?“ посылалъ  
онъ въ такихъ случаяхъ. Да и въ самомъ дѣлѣ кто ты?  
Ни архіерей, ни священникъ, ни дьяконъ, ни даже мѣст-  
ный дьячекъ. Итакъ ты долженъ быть безличнымъ чте-  
номъ безличной истины и однако воображать, что гово-  
ришь проповѣдь, и притомъ сочинять ее. Но если я только  
чтецъ, гдѣ нравственное основаніе выступать мнѣ съ  
собственнымъ измышленіемъ, когда есть лучшія и на-  
вѣрно болѣе назидательныя лицъ болѣе авторитетныхъ?

Во время академическаго курса, у товарищей своихъ,



поступившихъ изъ другихъ семинарій, я нашелъ также отвращеніе къ проповѣдничеству, за исключеніемъ одного или двухъ, охотно писавшихъ проповѣди и тѣшившихся ими. Остальные смотрѣли на проповѣди, какъ на занятіе унижающее: въ пору де баловаться проповѣдничествомъ людямъ, не доросшимъ и неспособнымъ дорости до науки. Но презрительное мнѣніе не отнимало у нихъ способности писать проповѣди. Рефлексія ихъ оставляла на полдорогѣ: ихъ творческое отношеніе въ моменты, когда они писали, было, полагаю, то самое какое у меня, когда я писалъ для другихъ. Они находили, что это есть низшій родъ сочиненій, но не доходили до сознанія, что это родъ и ложный; въ самовмѣненіи напускныхъ благочестивыхъ фразъ не слышали кощунства. Короче сказать: они можетъ-быть *стыдились* проповѣдей, но не *совѣстились*.

Съ которыхъ поръ пошло это отношеніе къ проповѣдямъ въ Московской Духовной Академіи и продолжается ли оно? Причиной не послужило ли учено-изыскательное направленіе, толчекъ къ которому данъ ректоромъ Филаретомъ Гумилевскимъ (послѣ архіепископомъ Черниговскимъ) и А. В. Горскимъ? Какъ бы тамъ ни было, но пренебреженіе къ проповѣдничеству тѣмъ болѣе было странно, что Академія состояла подъ главнымъ надзоромъ іерарха, придававшего особенное значеніе именно проповѣдямъ: хорошая проповѣдь была для Филарета главнымъ мѣриломъ въ оцѣнкѣ достоинствъ.

— Но его проповѣди хороши, отвѣчалъ онъ, когда ему выразили удивленіе, почему онъ возвысилъ Алексія, обойдя не только старшихъ, но и болѣе ученыхъ.

Въ другихъ академіяхъ было иначе, и особенно въ Кіевской. Тамъ въ проповѣди вѣрили; профессоръ Амфитеатровъ умѣлъ внушить воспитанникамъ любовь и почтеніе къ этому роду авторства. На чтѣ у насъ смотрѣли какъ на форму, какъ на внѣшній долгъ, въ чемъ видѣли не болѣе риторики, то въ Кіевѣ идеализовалось; проповѣдями искренно восторгались и прилагали къ

нимъ душу. Едва ли ошибусь, приписавъ это между прочимъ обаятельному примѣру высокоталантливаго проповѣдника-художника Иннокентія. У Троицы же наравнѣ со студентами сами профессора смотрѣли косо на проповѣдничество. Каѳедру гомилетики считали послѣднею, не стоящею вниманія тѣ самыя, на комъ лежало ея преподаваніе. Ею тяготились, не находя для нея содержанія. Такъ смотрѣлъ и профессоръ, котораго я слушалъ, И. М. Аничковъ-Платоновъ. И его преемникъ, одинъ изъ бывшихъ моихъ слушателей (нынѣ занимающій епископскую каѳедру), также признавалъ для себя бременемъ гомилетическую каѳедру и искалъ себѣ духовнаго возмездія въ усиленномъ занятіи другою наукой, преподаваніе которой равно лежало на его обязанности. Когда въ дружеской бесѣдѣ сѣтовалъ достойный А. Ѳ. Л. на судьбу, присадившую его къ безсодержательной наукѣ, я, выразивъ сочувствіе къ его ощущенію, возразилъ ему однако, что можно взглянуть иначе на пустую науку и найти въ ней даже болѣе интереса, нежели въ каноническомъ правѣ, которое по академической программѣ прицѣплено къ обязанностямъ преподавателя гомилетики.

Да, съ той отдаленной поры, когда я юношей мучился въ безсиліи и негодованіи надъ составленіемъ проповѣдническихъ хрій, и до того времени когда происходила упомянутая бесѣда съ профессоромъ гомилетики, протекло много лѣтъ. Много мною вновь продумано, изучено, испытано. Проповѣдническій родъ есть ложный родъ, но въ томъ видѣ какъ онъ поставленъ, а не самъ въ себѣ. Гомилетика есть безсодержательная наука, совсѣмъ не наука, но потому что она видитъ въ себѣ не болѣе какъ прикладную часть риторики. Да для чего же ей смотрѣть такъ на себя? Церковное проповѣдничество не ограничивается выходомъ облаченнаго въ стихарь или ризу на амвонъ съ тетрадкой и даже не въ этомъ состоитъ. Проповѣдническая дѣятельность есть апостольская дѣятельность; Апостолы, разнесшіе и утвердившіе

христіанство, были прежде всего проповѣдники. Слово есть одно изъ двухъ естественныхъ орудій, которымъ, на ряду съ примѣромъ, образомъ житія, возбуждается и воспитывается вѣра. Посмотрите съ этой обширной точки зрѣнія на проповѣди и изучите законы, которымъ она подчиняется въ своемъ происхожденіи и въ своемъ дѣйствіи на массы,—какое широкое и глубокое поле представляется вашей „безсодержательной“ наукѣ! Риторическія формы, внѣшніе искусственные приемы отойдутъ на задній планъ. Предъ вами законы слова и законы души человѣческой въ обоюдномъ подчиненіи законамъ исторіи, и подъ совокупнымъ дѣйствіемъ ихъ—слово, въ частности, христіанской проповѣди, назидающее вѣру и жизнь христіанскую въ массахъ.

Слишкомъ далеко бы я зашелъ, еслибы продолжилъ эту тему. Но безжизненность, преобладаніе риторики есть фактъ безспорный русской церковной проповѣди, и онъ зависитъ отъ неправильной постановки дѣла. Статочна ли, чтобъ именно та цѣль, для которой и предполагается все духовно-учебное образованіе, именно она-то и не достигалась? Выходятъ изъ духовной школы замѣчательные ученые и литтераторы, дѣловые люди, а проповѣдники-то, къ чему все готовилось, и отсутствуютъ? Не вопіющее ли это уродство? Мой примѣръ, можетъ-быть и исключительный, назидателенъ во всякомъ случаѣ.

### ІІІ.

#### Новая обстановка.

Въ октябрѣ ли это было или въ самомъ началѣ ноября (помнится 6 числа), во всякомъ случаѣ шла еще грязная, а не снѣжная осень. Послѣобѣденный классъ должно-быть скоро начнется; всѣ кто не ходитъ за отдаленностію обѣдать домой, ужь на лицо, и въ



обожанія и ее давалъ домашнимъ отдыха восклицаніями: „вотъ еслибы такого учителя! Вотъ кабы онъ согласился!“ И описывалъ меня вѣроятно, какъ сказочнаго царевича съ семью звѣздами на лбу. По семинарскому счету я былъ такая значительная величина, что могли дѣйствительно опасаться презрительнаго отказа. Они не знали о моей нуждѣ, а о моемъ скромномъ характерѣ и подавно.

Пришли. Полуторазтажный деревянный домъ, семь оконъ на улицу (одно фальшивое). Я проведенъ былъ чрезъ заднее крыльцо въ заднюю переднюю, гдѣ Троицкій поторопился снять съ меня шинель. Впереди была лѣстница на антресоли, налѣво кухня, направо столовая, за ней спальня. Меня провели чрезъ низкую столовую (надъ ней антресоли) въ спальню, высокую комнату съ двумя высокими окнами. Направо двуспальная кровать, за ней коммодъ и далѣе въ углу образница, налѣво лежанка, далѣе часы съ портретомъ какого-то духовнаго лица надъ ними и далѣе дверь въ гостиную. А впереди, въ простѣнкѣ между окнами, дубовый столикъ съ зеркаломъ надъ нимъ и по бокамъ два кресла.

При входѣ нашемъ, съ правыхъ креселъ всталъ низенькій, очень низенькій старичекъ съ сѣдою, бѣлосѣбною бородой, совершенно лысый, едва нѣсколько волосъ на затылкѣ, въ свѣтлоглубомъ подрясникѣ изъ шерстяной матеріи.

Первыя обычныя привѣтствія. Старичекъ держалъ себя важно, но замѣчательно вѣжливо, говорилъ съ разстановкой, сопровождая слова любезною улыбкой. Намъ говорить впрочемъ не дали. Серdito замѣтилъ мой будущій ученикъ, обращаясь къ матери, что онъ проголодался, поскорѣе бы накрывали на столъ.

— Не угодно ли откушать? предложила мнѣ сидѣвшая съ другой стороны столика старушка съ какою-то работой въ рукахъ.

Я поблагодарилъ, и мы, трое пришедшіе, сѣли въ столовой обѣдать.

— Не угодно ли водки? предложилъ мнѣ Павелъ Троицкій.

Я поблагодарилъ, сказавъ, что не пью.

— Вотъ это хорошо, отозвался хозяинъ, стоявшій около насъ на этотъ разъ.

Послѣ обѣда разговоръ о цѣли моего посѣщенія въ двухъ словахъ, не болѣе. Существо моихъ обязанностей предполагалось извѣстнымъ и предоставлялось въ подробностяхъ опредѣлить мнѣ самому. „Я платилъ семь рублей въ мѣсяцъ (ассигнаціями)“, объяснилъ батюшка. Квартира и столъ подразумѣвались. „Павелъ (Троицкій) покажетъ вамъ комнату“. Меня повели на антресоли и показали угловую комнату, свѣтлую, уютненькую, совершенно на отлетѣ, съ мебелью болѣе нежели приличною; она привела меня въ восторгъ.

Я сошелъ внизъ и объявилъ свое согласіе. Предложили курить, въ чемъ подалъ примѣръ Троицкій съ ученикомъ. Затѣмъ поданъ чай. Краткіе разговоры съ матушкой - попадѣй, состоявшіе въ разспросахъ, гдѣ я жилъ. Хозяинъ исчезъ: онъ легъ отдохнуть въ гостиной.

Потацили двое ребятъ снова на верхъ; Павелъ болталъ неумолкаемо; старался угадывать мои желанія, совался съ услугами. Ученикъ болѣе молчалъ и нѣсколько дрожалъ, что у него бывало признакомъ восхищенія. Изрѣдка обращался съ чѣмъ-то къ Павлу; тотъ выбѣгалъ и возвращался или съ какимъ-нибудь лакомствомъ, или съ показомъ какой-нибудь вещи, которая, по ихъ предположенію, могла меня заинтересовать.

Уже поздній вечеръ. Подали ужинать. Ужинало насъ только трое; хозяевъ не было. Троицкій просилъ меня ночевать. „Что вамъ ѣхать? Далеко, да ужъ ночь“.

Я остался. Да такъ и остался совсѣмъ. Къ брату подъ Дѣвичій я попалъ уже черезъ нѣсколько мѣсяцевъ только, найдя нужнымъ все-таки навѣстить его. Даже увѣдомить своевременно о своемъ переѣздѣ не удалось или не пришло въ голову.

Я нашелъ такое радушіе, такую теплоту приѣма и

обращенія, столько предупредительной ото всѣхъ деликатности, что не было даже дня, нѣтъ, этого мало,—не было даже часа, когда бы успѣлъ оглянуться, что я у чужихъ, что я нахлѣбникъ и наемникъ. Да и дѣйствительно я оказался ничуть не наемникомъ. Жалованье хотя мнѣ и выговорено, но я его ни разу не получилъ, а получалъ на свои нужды, сколько мнѣ было надобно, по мѣрѣ того какъ надобилось и часто безъ своего вѣдома. Черезъ нѣсколько же дней у меня явились калоши, на которыя мнѣ указалъ Троицкій и о заказѣ которыхъ для меня я не подозрѣвалъ; явилось бѣлье; какъ бы по щучьему велѣнью, носовые платки оказывались въ моихъ карманахъ; приходилъ портной снимать съ меня мѣрку „кстати“, потому что шилось что-то для моего ученика. Цѣлая пара очень тонкаго сукна, полученная отъ какого-то купца, показана была мнѣ, не пригодится ли она мнѣ, потому что „Игнашенька“ (ученикъ), которому она предназначалась, ея не желаетъ, не нравится; онъ оставилъ изъ нея себѣ только жилетъ рытаго бархата. Мнѣ даютъ денегъ на извозчика, если на дворѣ грязно. На праздникахъ предлагаютъ пятирублевки и десятирублевки въ виду моихъ нуждъ, которыя могутъ быть неизвѣстны, и въ виду того, что я же совсѣмъ не бралъ жалованья. Но странно было мнѣ и требовать жалованье, когда я удовлетворенъ выше мѣры, когда мои нужды исполнены прежде, чѣмъ я самъ успѣлъ ихъ видѣть. Заикаться о какомъ нибудь своемъ желаніи, даже косвенно намекать на недостатку чего-нибудь было даже совѣстно, и я остерегался. Я зналъ, что подниму этимъ всѣхъ на ноги и вызову заботы, которыхъ обо мнѣ было и безъ того черезъ край.

Съдой лысый старичекъ-священникъ и старушка жена его—знакомые читателю изъ прежнихъ главъ, Алексѣй Ивановичъ и Надежда Алексѣевна Богдановы. Послѣ Двѣнадцатаго Года, при описаніи котораго я познакомилъ съ ними читателей, Алексѣй Ивановичъ продолжалъ дьяконствовать при церкви Симеона Столпника,



не ища ни перехода въ другое мѣсто, ни священническаго сана и не имѣя въ томъ нужды, потому что воспитательница Надежды Алексѣевны, Надежда Ѳедоровна Козлова, не оставляла ихъ своими пособіями. Каждую зиму цѣлыми обозами отправлялась изъ Тульской губерніи всякая провизія, какъ въ домъ самой Козловой, такъ и къ симоновскому дьякону. Никакой нужды и заботъ не давала появляться названная мать; съ появленіемъ каждаго ребенка на свѣтъ являлся и значительный денежный подарокъ отъ крестной матери, а первую дочь Надежды Алексѣевны Надежда Ѳедоровна, принявъ отъ купели, взяла себѣ даже совсѣмъ въ дочери, подобно какъ взята была нѣкогда и сама Надежда Алексѣевна. Но для дочери Алексѣя Ивановича уже не предвидѣлось соперницы, которая стала бы поперекъ дороги, какъ случилось нѣкогда съ дочерью дьякона подмосковной деревни. Машеньку начали воспитывать, какъ родную дочь и будущую наследницу, о чемъ и объявлено всѣмъ роднымъ Козловой.

Алексѣй Ивановичъ не искалъ священническаго мѣста, но его взыскалъ Филаретъ. Просматривая клировыя вѣдомости, митрополитъ обратилъ вниманіе на неподвижность симоновскаго дьякона, нигуда не перепрашивающагося, хотя пользующагося постояннымъ одобреніемъ начальства и не лѣниваго въ проповѣданіи (въ глазахъ Филарета это много значило). Предположивъ (отчасти это и было справедливо) въ Богдановѣ избытокъ смиренія, владыка вызвалъ его и самъ предложилъ священническое мѣсто при единовѣрческой церкви. По доходности оно было изъ лучшихъ и вело къ близкому протоіерейству.

— Простите, святѣйшій владыко, возразилъ повергшись ницъ отличенный діаконъ, — не налагайте на меня бремени, которое понести я не въ силахъ.

— Почему такъ?

Алексѣй Ивановичъ началъ представлять, что служеніе при единовѣрческой церкви налагаетъ на священника по существу особенный долгъ: содѣйствовать совер-

шенному примиренію единовѣрцевъ съ церковью. А онъ не чувствуетъ себя къ этому въ силахъ, не приготовленъ, мало знакомъ.

Митрополитъ уважилъ просьбу, но вскорѣ снова его вызвалъ.

— Теперь уже не предлагаю тебѣ, а прошу. Вотъ мѣсто, въ Алексѣевскомъ дѣвичьемъ монастырѣ. Прошу его принять. Игуменья тутъ гордая и строптивая; стерпи, исполняй долгъ безъ потворства, но и безъ пререканій, а въ затруднительныхъ случаяхъ ко мнѣ обращайся. Должно, чтобы ты поступилъ, не кто другой. Я тебя не забуду.

На этотъ разъ Алексѣй Ивановичъ принялъ бремя. Игуменья попалась дѣйствительно высокомерная, самовластная, сварливая. Она входила въ пререканія съ самимъ митрополитомъ, и разногласіе ихъ чуть ли не доходило до Синода. Священники должны были ходить у ней по стрункѣ, по цѣлымъ часамъ дожидаться въ церкви какъ бы высочайшей особы, безъ ея позволенія не ступать ни шагу, выслушивать строгія замѣчанія. Алексѣй Ивановичъ достойно исполнилъ щекотливое порученіе, возложенное на него: терпѣлъ, держалъ себя смиренно, вѣжливо, но съ достоинствомъ, въ недоумѣніяхъ обращался къ митрополиту. Не прошло нѣсколькихъ мѣсяцевъ, какъ въ одинъ изъ подобныхъ докладовъ митрополитъ сказалъ ему: „Освободилось мѣсто у Флора и Лавра въ Ямской Коломенской слободѣ; приходи богатый; сужу изъ того, что тридцать просьбъ мнѣ подано. Если желаешь перевода, подай прошеніе.“

Алексѣю Ивановичу осталось благодарить, и онъ поступилъ на Зацѣпу, въ своего рода помѣстье; приходъ простирался на двѣ версты въ поперечникѣ, многочисленный, сѣрый, какъ выражаются въ духовенствѣ, но вполнѣ обезпечивающій содержаніе причта; пятаками набрасаютъ тысячи. Въ тогдашнія времена, а этому уже сорокъ четыре года, священнику приходило до восьми тысячъ ассигнаціями безо всякаго усилія. Фондомъ на-



селенія были ямщики, огородники, мастеровые всѣхъ возможныхъ ремеслъ, но жили и фабриканты и чиновники; довольно хлыстовъ, множество хлыстовокъ, какъ извѣстно, по наружности очень приверженныхъ къ церкви. Превозмогающихъ тузовъ, которымъ бы нужно было кланяться, не имѣлось; причтъ былъ независимъ, и Алексѣй Ивановичъ заѣлился, и чѣмъ далѣе шло время, тѣмъ болѣе лѣнился. Когда я къ нему поступилъ въ домъ, прошло уже шестнадцать лѣтъ со времени его священства. „Я совсѣмъ одичалъ, говаривалъ онъ мнѣ, боюсь разучиться читать“. Другой на его мѣстѣ, уже отличенный митрополитомъ, постарался бы выставиться, совался бы въ должности, но Алексѣя Ивановича всякій выходъ изъ его скорлупы повергалъ въ смущеніе. А вызовъ на подворье такъ никогда не обходился безъ того, чтобы не произвести разстройства въ желудкѣ. Лѣтъ за шесть до моего поступленія приходилось освящать придѣльную церковь, которая въ настоятельство Алексѣя Ивановича сооружена вновь и съ новою колокольней. Алексѣй Ивановичъ выждалъ нарочно времени, когда митрополитъ уѣдетъ въ Петербургъ, чтобы только не просить его на освященіе. Нужды нѣтъ, что послѣдовала бы тогда награда за усердіе по сооруженію храма, но лицезрѣніе владыки страшно. Такъ и остался Флоровскій священникъ даже безо всякаго одобрительнаго отзыва за храмосданіе.

Въ неподвижномъ спокойствіи проводила жизнь и Надежда Алексѣевна, ставъ отъявленною домосѣдкой, почти не сходящею со своего кресла съ глухою спинкой, предъ окномъ въ спальнѣ, у дубоваго столика. Выѣхать въ гости къ роднымъ, хотя бы для поздравленія, требуемаго неизбѣжнымъ приличіемъ, было для нея подвигомъ, о которомъ она за нѣсколько дней охала. Съ такою тягостью поднималась она даже къ замужней родной дочери, не говоря о многочисленной роднѣ своего мужа, которой не то что не любила, но не сочувствовала изъ нея никому.

За то собственный ихъ домъ отличался гостепріимствомъ; двери для всѣхъ открыты, и каждый гость, если угодно, живи сколько хочешь. Эта барская привычка осталась по памяти отъ „маменьки“, какъ называла Надежда Алексѣевна свою нареченную мать-воспитательницу. Тѣ же деревенскія преданія сказывались и въ размашистомъ столѣ, для чего не переводились собственные индюки и утки, которымъ кстати былъ и просторъ: впереди обширный монастырскій погостъ, сзади огороды на полторы версты съ собственнымъ прудомъ на священнической землѣ. Свои коровы, и въ сливкахъ хоть купайся. Чаевъ и кофеевъ каждый изъ семьи заказывай хоть по двадцати разъ въ сутки и каждый разъ пей сколько угодно, съ хлѣбомъ, сухарями, печеньемъ, по выбору. Да кромѣ того, въ спальнѣ на коммодѣ, а иногда и въ столовой, смотря по времени года, стоятъ тарелки или подносы съ лакомствами: лѣтомъ ягоды, какія поспѣли къ тому времени, осенью арбузы и дыни, зимой сухія сласти: миндальные орѣхи, фисташки, черносливъ, яблоки и такъ далѣе, безпереводно. Подойдетъ тотъ или другой среди дня, кому охота, и истребляетъ въ количествѣ, которое дозволяетъ аппетитъ. Тарелка, подносъ или корзина опустошаются; но не тревожьтесь, недостачи не будетъ: зоркій глазъ хозяйки замѣтилъ, и черезъ минуту вновь полны тарелка или подносъ.

Таковъ былъ домъ, куда я поступилъ. Надежда Федоровна Козлова лѣтъ восемь уже умерла къ тому времени, но хозяйство домашнее шло тѣмъ же порядкомъ какъ бы при ней, когда и она сама, случалось, гаси-вала у названныхъ дѣтей. Вozы съ провизіей уже не прїѣзжали изъ степи, крѣпостные уже не сидѣли въ передней и буфетѣ; двѣ обыкновенныя Авдотьи составляли всю прислугу, но старосвѣтскій складъ, завѣщанный епифанскою помѣщицей, пребывалъ. Какъ зрѣлый плодъ сваливается съ дерева, такъ, не слышно разлучившись съ братомъ, я не помялъ боковъ, подобно падающему на землю плоду; я попалъ въ луночку, какъ



бы для меня приготовленную и выложенную соломой ли, хлопкомъ ли. Эта жизнь, освобождавшая ото всѣхъ вѣшнихъ заботъ, способна была дѣйствовать даже развращающимъ образомъ, облѣнить, усыпить, притупить умъ. Въ своемъ ученикѣ и даже въ Павлѣ Троицкомъ (хотя въ послѣднемъ менѣе) я и нашелъ это.

Павелъ Троицкій, этотъ не то членъ семейства, не то нѣтъ, казавшійся мнѣ съ этой стороны загадочнымъ въ началѣ, скоро выяснился. Сынъ мѣстной просвири, сверстникъ по лѣтамъ Игнатію Алексѣвичу, а отсюда и по играмъ и занятіямъ, онъ занялъ мѣсто, какое въ старыхъ боярскихъ домахъ припасалось мелкопомѣстному баричу, а не то и дворовому, чтобъ „охотнѣе было молодому барину учиться“. Онъ учился вровень съ Игнатіемъ Алексѣвичемъ, а теперь нѣсколько обогналъ его, перейдя въ Среднее Отдѣленіе, тогда какъ Игнатій Алексѣвичъ остался на повторительный курсъ. Онъ былъ свой человѣкъ въ домѣ, обращался со всѣми за панибрата, кромѣ батюшки, съ которымъ еще сохранялъ сдержанность, позволяя себѣ однако относиться и къ нему съ шуточками. Надежду Алексѣевну заочно и въ глаза называлъ „старѣйшиной“, передавалъ ей съ трубкой во рту мѣстные происшествія, исполнялъ разные порученія. Съ нимъ совѣтовались, отъ него не было домашнихъ секретовъ, и онъ въ первые же дни, чуть даже не въ одинъ день познакомилъ меня со всею судьбой семейства и его родными, описавъ каждого и притомъ съ благопріятной стороны, въ чемъ надобно отдать справедливость чужехлѣбнику: такая нѣжность отношеній рѣдко бываетъ у людей въ его положеніи.

Троицкій дневалъ и ночевалъ, обѣдалъ и спалъ у Богдановыхъ, забѣгая развѣ на полчаса къ матери, о которой и вообще о домашнихъ своихъ хранилъ скромное молчаніе. Проведя съ нимъ много дней, трудно было и догадаться безъ посторонняго объясненія, что у этого молодого человѣка есть своя семья. Въ отношеніи меня онъ исполнялъ обязанности посредника. Чрезъ



него узнавали о моихъ нуждахъ или онъ самъ о нихъ докладывалъ; а я употреблялъ его, хотя съ малымъ успѣхомъ, чтобы чрезъ него привлечь своего ученика къ занятіямъ.

Восторженное обожаніе, которымъ ко мнѣ проникся ученикъ, любовь и уваженіе, встрѣченныя отъ его семьи, готовность содѣйствовать во всѣхъ моихъ личныхъ надобностяхъ, не говоря о надобностяхъ сына, внушили было мнѣ надежду, что я блистательно исполню долгъ учителя и руководителя, что изъ моихъ рукъ выйдетъ развитой молодой человѣкъ; въ него я вдохну идеалы, которыми самъ жилъ, пробужу его любознательность, открою міръ знаній. Къ сожалѣнію, природа моего ученика, хотя благороднѣйшая и добрѣйшая, оказалась неудобною почвой. Восторженное чувство и было единственнымъ, до чего она способна была подниматься; но гдѣ начинался трудъ, активная работа, духъ падалъ, овладѣвала лѣнь, и умъ въ добавокъ былъ не изъ быстрыхъ и блестящихъ. При объясненіи ли урока или темъ для сочиненія, если что и способно было увлечь его, то исключительно внѣшняя сторона; дѣйствовало воображеніе, за которымъ умъ и дѣятельность отказывались слѣдовать. Положимъ, читается мѣсто писателя; я разбираю и указываю достоинства. Онъ принимаетъ ихъ на вѣру и потомъ спрашиваетъ: „а много онъ написалъ?“ или „какіе онъ языки зналъ?“—„Каково!“ продолжаетъ онъ, въ восторгѣ отъ того, что вотъ де какіе есть и были талантливые или ученые мужи или подвижники. Алексѣй Ивановичъ, не смотря на то что сынъ былъ у него единственный, съ простосердечіемъ, достойнымъ умиленія, говаривалъ мнѣ: „не хлопочи, братъ, много; ничего не выйдетъ; я давно вижу“; говорилъ онъ это съ покорностью судьбѣ. Троицкій же Павелъ, въ которомъ я надѣялся найти подстрекающее орудіе, былъ слишкомъ практическаго склада. Да еслибъ и удалось мнѣ зажечь въ немъ огонь и довести до того, чтобъ онъ достигъ, положимъ, перваго мѣста въ списокѣ, единствен-

нымъ отраженіемъ его успѣховъ на моемъ ученикѣ было бы то, что Игнатій Алексѣевичъ радовался бы отъ души и восхищался бы: „каковъ Паша!“

Что-то дѣтское, младенческое оставалось въ моемъ ученикѣ и сохранилось, мало видоизмѣнившись, на всю жизнь. Въ этомъ онъ былъ отчасти повтореніемъ своего отца. Пятидесяти восьми лѣтъ, кажется, былъ Алексѣй Ивановичъ, когда я съ нимъ познакомился, а дѣтскаго въ немъ было пропасть. Еслибъ онъ былъ старше, я бы предположилъ старческое расслабленіе, возвращающее къ младенчеству. Мозгъ его былъ совершенно здоровъ; онъ разсуждалъ дѣльно и даже остроумно, но лишь тогда когда было не лѣнь. Его тянуло къ совершенному спокойствію, къ отдыху ума и воли, и онъ игралъ въ куклы какъ и сынъ; у того и другаго были свои куклы, и каждый игралъ по своему.

Начать съ того, что Алексѣй Ивановичъ кралъ у себя деньги. Хозяйствомъ онъ совершенно не занимался, не понималъ въ немъ ничего и не хотѣлъ ничего знать; это была область, въ которой Надежда Алексѣевна распоряжалась всевластно, и Алексѣй Ивановичъ ограничивался тѣмъ, что добродушно подсмѣивался иногда надъ женой, чѣмъ-нибудь обезпокоюною, и старался ее раздражить насмѣшливо преувеличенною трудностію озаботившаго ее дѣла. Какъ хозяйкѣ, Алексѣй Ивановичъ отдавалъ женѣ и получаемые доходы въ безконтрольное распоряженіе; однако не всѣ, и въ этомъ сила. Кредитки поновѣе и пощеголеватѣе на видъ онъ оставлялъ у себя и пряталъ въ конторкѣ. Для чего? Для исполненія фантазій, которыя у него являлись, то та, то другая. Понравилось ему переплетное мастерство: онъ купилъ картоновъ, купилъ прессъ и разныя принадлежности переплетнаго мастерства, но не съ тѣмъ чтобы имъ заняться, хотя и съ рѣшительнымъ повидимому намѣреніемъ. То—занятіе столярное: сколько куплено инструментовъ, рубанковъ, пилокъ, фанерочекъ! Но все это брошено чрезъ нѣсколько дней или недѣль;



все удостоилось только поглядѣнья. Не то начнетъ его сокрушать забота объ отсталости. „Ничего не читаю, братъ, стыдно“, говорилъ онъ мнѣ, и такое признаніе бывало предвѣстіемъ, что онъ разъ, два и три ѣдетъ въ книжныя лавки, покупаетъ произведеній, духовныхъ и свѣтскихъ, пользующихся славой, отдаетъ ихъ въ богатый переплетъ, и... не читаетъ; развѣ я бывало иногда увлеку его и прочту страницы двѣ, которыми однако скоро онъ и утомится.

Сынъ его, Игнатій Алексѣевичъ, точно также не прочь былъ закупать бездѣлушекъ, даже буквально куколъ, стоять надъ ними и дрожать. А ему было 14 и 15 лѣтъ! Не то вотъ было его удовольствіе. Родныхъ было у него (по отцу главнымъ образомъ) гибель неисчислимая; однихъ двоюродныхъ чуть ли не до сотни обоего пола. Игнатій Алексѣевичъ ежемѣсячно составлялъ имъ списки по поведенію, тщательно разграфлялъ бумагу и выводилъ имена старательнымъ почеркомъ, при чемъ спрашивалъ иногда совѣта у Павла и даже у меня, подвергая сужденію какой-нибудь поступокъ или какое-нибудь слово тѣхъ или другихъ брата или сестры, честно ли и благородно ли поступлено и сказано.

Самъ Алексѣй Ивановичъ поражалъ меня излишествомъ почтительныхъ, даже благоговѣйныхъ отзывовъ о всѣхъ лицахъ, сколько-нибудь извѣстныхъ. Недостатки, даже для всѣхъ видимые, какъ будто завѣшивались для него. Онъ говорилъ и всегда важно, но по мѣрѣ почтенія къ тому или другому выраженіе его лица и интонація словъ переходили въ таинственность, какъ бы въ указаніе того, что дѣло идетъ о необыкновенной глубинѣ ума, или недостижимости подвига. Сынъ унаследовалъ эту черту добродушнаго кумиротушенія. Въ числѣ учителей его былъ нѣкогда В. И. Красовъ, безызвѣстный поэтъ и членъ Станкевичевскаго кружка; въ числѣ преподавателей музыки—А. И. Дюбюкъ. „О!“ и „а!“ медленно восклицаемыя, съ приложеніемъ руки къ головѣ и съ покачиваньемъ головой, до того часто

слышались мною, что я возымѣлъ предубѣжденіе противъ обоихъ лицъ и не имѣлъ силъ даже принудить себя ни разу сойти въ гостинную, когда пріѣзжалъ Красовъ, и сначала съ трудомъ сошелъ послушать А. И. Дюбюка, къ которому долгое время сохранялось недо-вѣріе, воспитанное неумѣренными восторженными отзывами Богдановыхъ.

Надежда Алексѣевна, умъ практическій, восторгамъ не предавалась. Ея спокойной добротѣ я удивлялся. Я никогда ея не видѣлъ „вышедшею изъ себя“; если ее очень уже разстроить, приведутъ въ негодованіе какимъ-нибудь непріятнымъ поступкомъ, она „уходила отъ другихъ“, махнувъ рукой, и облегчала надорванную душу двумя-тремя слезами наединѣ. Ея благодушіе къ легко-мыслию, а иногда и серіознымъ проказамъ своего мужа было изумительно. Это была всепрощающая натура.

Старики были очень добры. Надежда Алексѣевна слыла скупой, но это можно было говорить, только сравнивая ее съ мужемъ. Алексѣй Ивановичъ, и въ этомъ наслѣдовалъ ему сынъ, былъ щедръ и сострадателенъ безконечно. Несчастному и нуждающемуся онъ готовъ былъ отдать и, случалось, отдавалъ все, что при немъ было. Когда отправлялся онъ въ приходъ съ требой, если это было днемъ, уличные ребята могли рассчитывать на жатву; онъ покупалъ имъ лакомства или раздавалъ деньги. Отправляясь къ бѣдному, онъ давалъ больному на лѣкарства. Холера 1831 и 1848 годовъ видѣла въ немъ неутомимаго труженика, а въ 1831 году даже самоотверженнаго. Тогда вѣрили въ заразительность холеры, и Надежда Алексѣевна показывала мнѣ, до котораго изразца достигали на лежанкѣ деньги, поступавшія отъ холерныхъ больныхъ. Изъ опасенія заразы, къ деньгамъ не прикасались, а по высотѣ горы, составившейся изъ грошей и пятаковъ, можно было заключить, сколько было больныхъ и сколько было труда священнику.

Злопамятности, мстительности не было у Алексѣя Ивановича и тѣни. „Ну, меня не убудетъ“, говорилъ онъ



въ виду какой-нибудь грубѣйшей несправедливости; или даже представить въ комическомъ свѣтѣ обиду, противъ него замышленную или учиненную, какъ очень забавную по своей мелочности. Надежда Алексѣевна въ этомъ отношеніи была нѣсколько болѣе прочнаго металла. Не мстила и она, непріятностями за непріятности не воздавала, но мелочность или низость другихъ оцѣнивала по заслуженному; съ добродушіемъ, но мѣтко, а подчасъ художественно, очерчивала она, помню, характеръ ближайшихъ родныхъ мужа: грубость, на примѣръ, зятя, бывшаго квартальнаго, и скупость брата, Басманскаго протоіерея. Въ комическомъ видѣ передавала, какъ, получивъ въ подарокъ лошадь, онъ отправлялся въ тяжелыхъ четверныхъ дрожкахъ куда-нибудь въ гости съ семьей, распорядившись дома уже ничего не готовить; на дорогѣ же приказывалъ распрягать лошадь среди улицы и кормить, совершая часть пути пѣшкомъ. Можетъ-быть разсказъ былъ и преувеличенъ, но комическая сторона мастерски изображалась съ тою выпуклостью, какой можно было ожидать отъ женщины, выросшей въ холѣ и не испытавшей нужды въ зрѣломъ возрастѣ.

## LIV.

## Церковное письмоводство.

Въ новой семьѣ, меня пріютившей, я вскорѣ же приобрѣлъ безусловный авторитетъ по всѣмъ дѣламъ и вопросамъ, для которыхъ требовалось научное образованіе или даже простая грамотность. Алексѣй Ивановичъ тѣмъ болѣе мнѣ обрадовался, что лѣнь его по части всякаго умственнаго напряженія находила себѣ поблажку, окончательно освобождавшую его отъ труда. Написать о чемъ-нибудь прошеніе, дать офиціальное

объясненіе, составить проповѣдь, стало моимъ дѣломъ.

На меня легло и все письмо по церкви. При всей лѣности Алексѣй Ивановичъ былъ тѣмъ не менѣе мнителенъ, и когда брался за что, то исполнялъ съ педантической аккуратностью. Все исходившее изъ его рукъ носило печать законченности; логически и грамматически правильная рѣчь, до мелочности соблюденное правописаніе, и самый почеркъ, правильный, ясный, изящный, хоть бы молодому человѣку въ пору. Его приводили въ негодованіе и возбуждали въ немъ почти физическую боль безграмотныя лавочныя вывѣски. Разъ, когда я жилъ уже въ Сергіевскомъ Посадѣ, Алексѣй Ивановичъ гостилъ у меня, и мы пошли прогуляться. Въ Рядахъ онъ прочиталъ надъ одной изъ лавокъ „продажа децкихъ игрушекъ“ и сталъ нервно жаловаться на то, что „терпятъ такое безобразіе“; затѣмъ усиленно просилъ не водить его болѣе по мѣстамъ, гдѣ онъ испытываетъ впечатлѣніе, производимое на другихъ видомъ лягушки, паука и вообще гада. Церковное писмоводство было для него поэтому источникомъ довольныхъ мученій. Онъ не довѣрялъ дьякону, тѣмъ болѣе дьячку. Пытался поручать веденіе метрическихъ и другихъ книгъ зятямъ, но морщился, когда пересматривалъ. „Все, братъ, не то“, передавалъ онъ мнѣ потомъ.

Я ему угодилъ сразу; я самъ былъ педантъ законченности; видъ подскобленной фразы или не на мѣстѣ поставленное ъ, а тѣмъ болѣе неточный оборотъ производили на меня самото нервное дѣйствіе. Алексѣй Ивановичъ довѣрился всецѣло, никогда меня не перечитывалъ и разъ поручилъ даже такое дѣло, которое уже совсѣмъ мнѣ было не по силамъ. Къ числу вѣдомостей, подаваемыхъ отъ приходскихъ церквей, принадлежатъ такъ называемыя „клировыя“, съ инвентарною описью церкви и послужными списками причта. Онѣ подаются чрезъ благочинныхъ архіерею, которому служатъ въ теченіе года настольною справочною книгой. Въ виду этого онѣ переписывались особенно тща-



тельнымъ почеркомъ; Алексѣй же Ивановичъ поручилъ мнѣ не только составить, но и переписать,—мнѣ съ моимъ безобразнымъ, неправильнымъ почеркомъ, съ буквами, смотрящими каждая въ свою сторону,—мнѣ, никогда отъ рода даже не писавшему „по крупному“! Это было совершенное ослѣпленіе; Алексѣй Ивановичъ даже подписалъ вѣдомость, хотя она смотрѣла не лучше счета изъ овощной лавочки. Я не отговорился отъ порученія, какъ вообще ни отъ чего не отговаривался, чѣмъ могъ услужить добрейшему старцу. Но благочинный возвратилъ рукопись, выразивъ удивленіе на неряшество, допущенное щепетильнымъ Алексѣемъ Ивановичемъ.

Церковное письмоводство принесло мнѣ свою пользу, дополнивъ мои познанія съ одного уголка, доселѣ мнѣ чуждаго. Я велъ метрическія книги, писалъ приходо-расходныя, составлялъ клировыя, статистическія, оспенныя и разныя другія, словомъ всякія вѣдомости, возлагаемыя на причтъ, за исключеніемъ „исповѣдныхъ“, которыя возлагались на дьякона.

Запись метрикъ требуетъ особенной строгости, какъ и понятно. Это есть важнѣйшій актъ, основаніе всѣхъ правъ. „Что запись сія ведена нами своевременно; пропусковъ, подчистокъ и поправокъ въ ней нѣтъ...“ и проч. ежемѣсячно удостовѣряется рукоприкладствомъ всего причта, который независимо отъ того подписывается подъ каждою статьею о каждомъ родившемся, умершемъ, бракосочетавшемся. Книги пишутся въ двухъ экземплярахъ, изъ которыхъ одинъ, помѣченный по листамъ и зашнурованный, подается въ консисторію; ведется двойная нумерація, общая числу рожденій, браковъ и смертей, и частная по поламъ. Все, кажется, предусмотрѣно; но есть прорѣхи.

Начать съ того, что хотя предполагается запись „веденною своевременно“, но своевременность ничѣмъ не гарантирована и соблюдается, по крайней мѣрѣ соблюдалась, только въ малолюдныхъ приходахъ, а тамъ гдѣ всего и легче проскочить ошибокъ, гдѣ родившіеся

и умершіе считаются многими сотнями, книги составляются спустя время. Такъ было и у Флора и Лавра. На основаніи черновыхъ малограмотныхъ замѣтокъ дьячка, метрики переносились въ книгу только по полугодіямъ, ко времени ревизіи благочиннаго. Случалось, что Алексѣй Ивановичъ выведетъ своимъ красивымъ почеркомъ первыя двѣ или три статьи съ очевиднымъ желаніемъ продолжать такъ и далѣе, но тѣмъ и оканчивалось. Подойдетъ до послѣдняго дня, и засаживаюсь я. Поспѣшность вела къ ошибкамъ, и я, чтобъ не дѣлать подчистокъ и оговорокъ, прибѣгалъ къ способу, придуманному Собакевичемъ: вносилъ тоже „Елизаветъ Воробей“. Родилось у Степана и воспріемникомъ былъ Андрей; спутавшись и записавъ Аѳанасія вмѣсто Андрея, или Сидора вмѣсто Степана, я писалъ вторыя статьи, уже точныя, оставляя первыя безъ оговорокъ, а иногда для баланса присочинялъ; каюсь совершалъ грѣхи противъ статистики. Отдаленнаго уѣзда несуществующей волости и небывалаго села крестьяне Еремей Андреевъ и законная жена его Степанида Ѳедорова родили у меня дѣтей мужескаго и женскаго пола и получали воспріемниковъ; не рождавшіеся дѣти умирали и хоронились то на Даниловскомъ, то на Калитниковскомъ кладбищѣ.

Кромѣ невиннаго подлога съ цѣлію правильнаго баланса или даже для возстановленія точности свѣдѣній и восполненія пропусковъ, могутъ совершаться и злоумышленные, особенно тамъ гдѣ, какъ у Флора и Лавра, подписывались статьи членами причта не читая. Расскажу одинъ дѣйствительный случай, гдѣ при полномъ соблюденіи формы, не смотря на всѣ предосторожности, предписанныя закономъ, подложно было сообщено лицу важное гражданское право.

Отставной офицеръ-помѣщикъ, молодыхъ лѣтъ, древней фамиліи. Мать его—барыня чистой крови, которая только съ ужасомъ можетъ себя представить *mésalliance*. К — ій (фамилія офицера) путешествуетъ по



Европѣ, ѣдетъ во Францію. Здѣсь въ одномъ провинціальномъ городѣ знакомится съ семействомъ, доводящимся сродни фамиліи Бонапартовъ (это было при Людовикѣ Филиппѣ). Въ семействѣ дѣвица; какъ начался романъ, объ этомъ мнѣ не передано, но любовь увлекла молодого человѣка далѣе предѣловъ, допускаемыхъ честью, а дѣвица увлекшись отдалась ему. К—ій же посмотрѣлъ на свой романъ, какъ на шалость, оставилъ вскорѣ городъ и Францію.

Живетъ онъ въ Москвѣ съ матерью. Ничего не чаявшій, получаетъ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ съ нарочнымъ посланнымъ письмо. Откуда? Отъ кого? Отвѣчаютъ: съ Кузнецкаго моста, изъ меблированныхъ комнатъ.

„Я здѣсь, и съ твоимъ ребенкомъ, писалось въ письмѣ; мнѣ остается или умереть или возвратиться съ моимъ позоромъ во Францію“.

Какая тема для романа! Молодая дѣвушка знаменитой во Франціи фамиліи, на послѣднихъ мѣсяцахъ беременности, ѣдетъ въ Москву искать бросившаго ее, но клявшагося безъ сомнѣнія въ вѣчной любви и честныхъ намѣреніяхъ. Переписки между ними не было; она ѣхала на удачу; слыхала отъ него о родныхъ его и матери; знала, что онъ съ Москвою переписывался, въ Москву она и поѣхала. Но онъ могъ быть на этотъ разъ въ деревнѣ или даже путешествовать. Какія надежды и какіе планы бродили въ головѣ пораженной ужасомъ дѣвушки? Сколько мужества нужно имѣть, чтобы бросить семью и одной, безъ провожатыхъ, пуститься въ такую даль и въ положеніи, которое могло среди пути быть застигнуто катастрофой! Однако она доѣхала; отыскала вѣроломнаго. Разрѣшилась она чрезъ нѣсколько дней по приѣздѣ.

Молодой человѣкъ былъ пораженъ этимъ героизмомъ любви; прежняя нѣжность проснулась; онъ устыдился своего поступка и рѣшился его загладить. Но какъ?

Въ близкихъ отношеніяхъ находился онъ къ брату Александру.

— Конечно вы должны жениться, совѣтовалъ ему братъ.

— Ну, да. Только устройте. Вы понимаете, нужно такъ, чтобы матушка не узнала, чтобы ей сообщить о томъ, какъ о совершившемся уже фактѣ.

Устроить было и не трудно. Документы у К-аго и о невѣсты были въ порядкѣ. Онъ былъ совершенно лѣтъ; она, какъ иностранка, освобождалась отъ нѣкоторыхъ формальностей, хотя нѣкоторымъ лишнимъ и подвергалась. Поручители готовы; въ числѣ ихъ былъ и родной братъ жениха и французскій консулъ. Приняты были предосторожности, чтобы избѣгнуть огласки. Хотя бракъ совершенъ былъ въ ближайшей приходской церкви, въ трехъ шагахъ отъ дома матери; прислуга могла попасть въ число зрителей: но воспользовались тѣмъ, что въ церкви на этотъ разъ производились постройки; она была постоянно отперта; архитекторъ и подрядчикъ то и дѣло навѣщали ее; прибытіе нѣсколькихъ постороннихъ не могло возбудить опаснаго любопытства въ сосѣдяхъ.

Но что дѣлать съ ребенкомъ? На Кузнецкомъ мосту, въ меблированныхъ комнатахъ онъ рожденъ, нигдѣ не записанъ и не крещенъ. Отдать въ чужія руки, отречься запрещала проснувшаяся совѣсть отца и глубокая нѣжность матери.

Держать при себѣ и воспитывать? Но какъ объяснить бабушкѣ происхожденіе дитяти?

Необходимо узаконить ребенка и представить его бабушкѣ, какъ законнорожденное, но скрытое до времени, какъ и бракъ изъ опасенія ея гнѣва.

Исполнить задуманную хитрость помогла форма метрику, несовершеннолетняя при всѣхъ предосторожностяхъ. Рожденіе и крещеніе, не смотря на существенное различіе обоихъ актовъ, записываются въ одной статьѣ. Крещеніе, самое совершеніе его и день, въ который оно совершено, удостовѣряются поименованіемъ свидѣтелей (воспріемниковъ) и рукоприкладствомъ священника, со-

вершавшаго таинство, и причта ему содѣйствовавшаго. О днѣ же рожденія, равно и о родителяхъ, записывается со словъ, на вѣру. И такъ, въ дѣлѣ К-аго задача состояла только въ томъ, чтобы крестить ребенка послѣ брака. Священникъ занесетъ этотъ фактъ въ соотвѣствующее число, при чемъ въ волѣ родителей будетъ и о днѣ рожденія показать, что онъ послѣдовалъ также по совершеніи брака. А чтобы не было слишкомъ явной улики о давнемъ рожденіи, рѣшили крестить даже подальше отъ мѣстожителства. Наняты лошади; морозъ или выюга вынудили ночевать въ селѣ около дороги, и здѣсь ребенокъ былъ крещенъ. Священникъ былъ предувѣдомленъ разумѣется.

— Да чтожъ! Я и не обязанъ смотрѣть въ зубы крещаемому. Моя обязанность крестить и не допустить подлога въ родителяхъ, когда подлинныя родители мнѣ достоверно извѣстны. Съ этой стороны чисто. А что ребенокъ явился на свѣтъ нѣсколькими недѣлями или даже мѣсяцами раньше, нежели родители показываютъ, судить объ этомъ и возбуждать дѣло не моя обязанность.

Такъ разсуждалъ священникъ и не безъ основанія.

Ребенокъ былъ женскаго пола да скоро и умеръ. Со-наслѣдникъ, родной братъ мужа, зналъ о заговорѣ. Въ имущественныхъ правахъ не нанесено никому ущерба. За то нравственная обязанность выполнена, честь и миръ семьи сохранены. Старуха-мать, разумѣется, простила, всему повѣрила и полюбила невѣстку и внуку. Однако тотъ же пробѣлъ въ метрическихъ записяхъ можетъ вести и къ предвосхищенію гражданскихъ правъ.

Не слѣдуетъ ли вмѣнить причтамъ въ обязанность, чтобы удостовѣрялись и въ днѣ рожденія крещаемыхъ? Но тогда метрическія записи теряютъ свой подлинный смыслъ. Онѣ записи церковныя; церковь отмѣчаетъ поступающихъ въ нее, а вступаютъ въ церковь не тѣлеснымъ рожденіемъ, а духовнымъ, крещеніемъ. Государство только пользуется этою записью для своихъ цѣлей, избавляя себя отъ труда содержать особыхъ аген-



товъ-регистраторовъ. Для него тѣмъ удобнѣе облегчать себя въ веденіи метрической регистратуры, что „лишенныхъ вѣроисповѣданія“ (Confessionslos) оно не признаетъ, какъ другія государства. Такимъ образомъ регистратура рожденій, браковъ, смертей и остается на духовенствѣ, за исключеніемъ немногихъ случаевъ, когда вѣроисповѣданіе, къ которому принадлежитъ рождаемый, брачащійся или умирающій, не признано государственною властію, а съ тѣмъ вмѣстѣ не признано, понятно, и его духовенство; за регистратуру тогда берется гражданская администрація.

Однако справедливо ли и цѣлесообразно ли такъ дѣло поставлено? Второе рожденіе, духовное, предполагается только христіанскими исповѣданіями; а въ другихъ его нѣтъ, и нѣтъ у нихъ самаго духовенства; ламамъ, ахунамъ и раввинамъ законъ приписываетъ значеніе среди единовѣрцевъ, котораго они по закону своей вѣры не имѣютъ. И напрасно: государство официальнымъ полномочіемъ усиливаетъ ихъ власть противъ своихъ интересовъ. Оно тѣмъ даетъ не одно покровительство, но дѣятельную поддержку каждому исповѣданію со стѣсненіемъ личной совѣсти до извѣстной степени. Высокопреосвященный Веніаминъ въ своей запискѣ о миссіонерствѣ убѣдительно поясняетъ, какимъ образомъ закрѣпляется продолженіе языческихъ суевѣрій и затрудняется распространеніе христіанства и русской народности неправильнымъ присвоеніемъ достоинства, а съ нимъ и власти духовныхъ лицъ ламамъ. Тоже съ раввинами. Лѣтъ шестнадцать назадъ получилъ всеобщую огласку споръ въ Петербургѣ между евреемъ, у котораго родился мальчикъ, и раввиномъ. Родители-евреи не желали, чтобы ребенокъ подвергался обрѣзанію; раввинъ безъ того не давалъ метрическаго свидѣтельства. Положимъ, родитель на этотъ разъ, кажется, одолѣлъ, но потому что это былъ Гинцбургъ, а всякій другой вынужденъ былъ бы покориться и закрѣпить ребенка лишнимъ осязательнымъ узломъ въ религіозныхъ особенностяхъ юдаизма.

У духовенства нехристiанскихъ исповѣданiй по справедливости и здравому смыслу должно быть отнято право, приписанное ему неосновательнымъ сравненiемъ его съ христiанскимъ священствомъ. Если для раскольниковъ записи ведутся полицiей, почему не вести ей же для магометанъ, евреевъ, язычниковъ? А затѣмъ необходимо ли предоставлять гражданскую силу записямъ даже ксендзовъ и пасторовъ? При громадномъ, подавляющемъ большинствѣ православнаго народонаселенiя, ради единства, а частiю и въ политическихъ видахъ, можетъ быть полезно было бы и метрику католиковъ съ протестантами сосредоточить въ рукахъ гражданской администрацiи. Въ Западномъ краѣ и въ Балтiйскихъ губернiяхъ отнята была бы лишняя сила у элементовъ, коренному населенiю и даже государственной власти непрiязненныхъ.

Веденiе приходо-расходныхъ книгъ познакомило меня съ колоссальнымъ обманомъ, который совершался на пространствѣ имперiи завѣдомо для всѣхъ, не исключая правительства. По закону, тогда существовавшему (придуманному Сперанскимъ), вся прибыль отъ церковной продажи свѣчей должна была поступать въ Святѣйшiй Синодъ на содержанiе духовно-учебныхъ заведенiй, — „на пользу церкви“, какъ значилось въ заголовкѣ графы. Теоретически было справедливо: храмъ не лавочка; коммерческая нажива профанируетъ вѣру и противна слову Христа, изгнавшаго торжниковъ изъ дома молитвы; пусть храмъ содержится на подаянiя, собираемая въ „кошелекъ“ и „кружку“. Но на дѣлѣ ни одинъ храмъ кошелечковыми и кружечными сборами содержаться не можетъ. Отсюда обманъ, къ которому вынуждены были прибѣгнуть причты со старостами: количество проданныхъ свѣчей, а слѣдовательно и прибыль съ нихъ показывались въ меньшемъ количествѣ; равно утаивалось и количество огарковъ, остававшихся отъ зажигаемыхъ свѣчей. Наблюдалось одно: лишь бы сумма, отчисляемая „на пользу церкви“, оказывалась не мень-

ше отосланной прошлымъ годомъ; хоть на одну копейку, да будь больше. Иначе потребуютъ объясненій, наряжено будетъ слѣдствіе. Я забавлялся и возвышалъ иногда доходъ всего на одну четверть или даже на одну седьмую копейки; продолжись законъ хотя на сто лѣтъ, раззореніе не велико, придется черезъ сто лѣтъ заплатить лишняго одинъ рубль, а то и того менѣе. Но бывали въ иныхъ церквахъ старосты, прибавлявшіе по десяткамъ и даже сотнямъ рублей сразу. Не для соблюденія правды это совершалось, а для полученія медали. Доходы показывались все таки въ уменьшенномъ количествѣ противъ дѣйствительнаго, и объ этомъ, помимо старосты, извѣстно было причту, ходатайствовавшему о наградѣ, принимавшему ходатайство архіерею, и самому Синоду, представлявшему старосту къ медали. Кого обманывалъ? А между тѣмъ выдавались порядкомъ шнуровыя книги, производился ежемѣсячно и записывался фиктивный счетъ денегъ, книги въ каждое полугодіе отправляемы были на ревизію. И въ нихъ все было ложно, насочинено отъ первой строки до послѣдней.

Когда я ихъ сочинялъ, младшій зять Алексѣя Ивановича, служившій въ казенной палатѣ контролеромъ, занимался другимъ сочиненіемъ: составлялъ счетныя книги для полиціи, подлежащія его контролю. О, Русь! О, бумажное царство формы! Весь губернскій контроль занимался подобною работою: онъ не контролировалъ, а сочинялъ книги, подлежащія контролю и получалъ жалованье за это, не отъ казны конечно, а отъ тѣхъ, кого законъ предполагалъ контролируемыми, и въ чиновничьемъ міровоззрѣніи этотъ доходъ считался „честнымъ“, не смѣшивался со взяточничествомъ. Это-де не болѣе какъ помощь въ счетоводствѣ: когда же тутъ частному приставу вычислять осьмушки и полуосьмушки дровъ или полуфунты масла, требующія цифръ съ дробями, и сводить итоги! Не контролера, такъ другаго онъ долженъ просить о помощи въ мудреной цифирѣ. За то книги теперь въ порядкѣ, ко времени поданы,



проконтролированы, и законъ къ обоюдному удовольствію соблюденъ.

Большинство старостъ и причтовъ въ намѣренно-уменьшенномъ количествѣ представили церковный свѣчной доходъ при самомъ первоначальномъ показаніи, когда опрашивали ихъ еще передъ изданіемъ закона объ отчисленіи прибылей: чуяли они, что спрашиваютъ ихъ не къ добру. Но были недогадливые и поплатились. „Эта церковь, кажется, богата“, спрашивалъ я у Алексѣя Ивановича, указывая на какую нибудь.—Нѣтъ, отвѣчалъ онъ; почти весь свѣчной сборъ приходится ей отсылать; если бы не староста помогалъ изъ своихъ средствъ, въ пору бы ее закрывать. Или рассказывалось о другой, какъ стало наконецъ ей не въ моготу, и она начала уменьшать оброкъ, подвергаясь всѣмъ не-пріятностямъ дознанія и слѣдствія. Но слѣдствіе велось легко; епархіальная власть знала объ истинномъ побужденіи и ему сочувствовала: непосильная дань послѣ фиктивного слѣдствія отмѣнялась, и прихода-расходныя книги усвоивали общую обманную форму.

При ложномъ показаніи доходовъ должны были и расходы показываться ложно, само собою разумѣется. Получая черновыя записи отъ старосты, я сообразно данной мнѣ инструкціи соображалъ, во-первыхъ, стоитъ ли такой-то расходъ заносить въ книгу. Напримѣръ, о наймѣ пѣвчихъ можно умолчать. Но вотъ церковь ремонтирована, иконостасъ позолоченъ, новое паникадило куплено,—на свѣчные доходы, понятно. Тогда придумываются „доброхотныя даянія“ и „пожертвованія“ на такой-то опредѣленный предметъ отъ неизвестныхъ или отъ старосты, а расходъ разбивается на части, чтобы не превысить суммы, дозволенной къ расходованію безъ разрѣшенія. Такимъ образомъ пишешь: „на позолоту иконостаса у такой-то иконы“ (а позолоченъ весь иконостасъ) неизвестнымъ пожертвовано сто пятьдесятъ восемь рублей шестьдесятъ шесть копѣекъ съ половиною (въ воровскихъ сче-

тахъ дробн обыкновенно показываються, для лучшаго увѣренія въ точности). И такъ далѣе, по частямъ. А о паникадигъ будетъ внесено въ опись: „старостою церковнымъ пожертвовано паникадило вѣсомъ столько-то, изъ такого-то металла“.

Однако доходы не вполнѣ затрачивались. Приходъ Флора и Лавра былъ изъ богатѣйшихъ, и староста ежегодно показывалъ остатки въ нѣсколько тысячъ. Что съ ними дѣлать? Размѣстить ихъ приходъ по „пожертвованіямъ“ и „даяніямъ“ можно; но законъ болѣе полутораста рублей наличными деньгами запрещаетъ держать въ церковномъ ящикѣ. Со взносомъ же въ банкъ староста и причтъ лишаются распоряженія своими деньгами; о каждой копейкѣ послѣ нужно просить разрѣшенія; да покажи, для чего ее надобно вынуть. Слѣдовательно весь остатокъ, свѣше полутораста рублей, остается просто утаить; въ такомъ смыслѣ и дана мнѣ инструкція. Я исполнилъ; но по истеченіи перваго же года увидалъ, къ какимъ ужаснымъ послѣдствіямъ приводитъ утайка. Я ожидалъ, что староста черновую запись слѣдующаго года начнетъ тѣмъ остаткомъ, который былъ имъ показанъ въ записяхъ прошлаго. Напротивъ онъ начинаетъ съ полутораста рублей, которые мною выведены въ показной книгѣ; о пяти тысячахъ дѣйствительнаго остатка, значившагося въ черновой записи, ни помина. Остатокъ, правда, снова выведенъ въ нѣсколько тысячъ, но уже отъ доходовъ нынѣшняго года. Я къ Алексѣю Ивановичу. Это прямая кража, говорю ему. Позвольте, я выведу полный остатокъ, четыре тысячи, какъ у него показано; внесете въ сохранную казну, и будетъ лежать до того, какъ приступите къ постройкѣ церкви. Церковь не будетъ нуждаться; на ежегодные расходы будетъ хватать; видите, второй годъ поскольку остается за всѣми расходами.

— Нѣтъ, оставь, отвѣчалъ честнѣйшій іерей. Воровства тутъ не можетъ быть. Кондратій Степановичъ (не называю подлиннаго имени, не хочу омрачать памяти



несчастнаго) ни копѣйки не попользуется; я знаю, онъ мой сынъ духовный.

Изъ того что староста не каялся на духу въ присвоеніи церковныхъ денегъ, духовникъ заключилъ, что присвоенія и не было. Почтенна, умилительна эта вѣра въ таинство! Но меня младенческая довѣрчивость чистой души не разубѣдила. Я съ новымъ вниманіемъ перечиталъ записъ нынѣшняго года, сличилъ ее съ запискою прошлаго, которую сохранила мнѣ память, принялъ въ соображеніе всѣ несомнѣнные доходы, не допускающіе утайки (напримѣръ арендную плату), вѣроятное количество прочихъ доходовъ по соображенію съ доходами другихъ церквей и наконецъ—дѣйствительные расходы; убѣжденіе составилось непоколебимое, что деньги церковныя крадутся ежегодно и притомъ въ болѣе значительномъ размѣрѣ нежели показывались старостою остатки. Года черезъ три или около того староста умеръ; на мѣсто его поступилъ другой. Доходы мгновенно возросли, дали возможность приступить даже къ сооруженію новой обширной церкви. И для этого старосты въ первые года два я велъ книги. Ясно было для меня, что староста, какъ новичекъ, сразу не успѣлъ понять возможности въ обширныхъ размѣрахъ помогать своей коммерціи церковными деньгами; можетъ быть и совѣсть стѣсняла. Но послѣ онъ исправился: въ дальнѣйшіе года онъ сталъ показывать остатки уже не въ прежнемъ количествѣ. Никакихъ причинъ между тѣмъ не видѣлось, почему бы умаляться доходамъ; церковъ не пустѣла, народонаселеніе и число домовъ въ приходѣ росло; расходы же ординарные не прибавлялись противъ прежняго. Трудно было удержаться отъ заключенія: не устоялъ сердечный и онъ противъ совѣсти. Да и сколько героизма въ самомъ дѣлѣ потребно, чтобы воздержаться коммерческому человѣку отъ оборота капиталомъ, притекающимъ къ нему въ безконтрольное распоряженіе!

Продолжаютъ ли вестись при церквахъ *оспенныя* вѣ-

домости досель? Вотъ было сочиненіе! Всѣ безъ исключенія цифры были придуманныя, а подавались вѣдомости аккуратно; особый священникъ назначенъ былъ отъ епархіальнаго начальства, который принималъ вѣдомости, сводилъ итоги, подавалъ по начальству отчеты, получалъ за это награды. Начальство въ свою очередь препровождало фантастическіе отчеты въ Петербургъ. Сколько труда, сколько бумаги, и только одно лгание! Да и дѣло ли причта и какая ему возможность слѣдить за оспoprививаніемъ?

## LV.

**ЛѢтний день.**

Почему, когда я вспоминаю про Зацѣпскую свою жизнь, мнѣ первымъ представляется всегда лѣтній, а не зимній день? Потому вѣроятно, что полнаго дня отъ ранняго утра до полной ночи мнѣ удавалось быть свидѣтелемъ болѣе всего во время вакаціи,—когда притомъ и у самого по временамъ не находилось дѣла: и читать нечего, и письменной работы никакой себѣ не задалъ. Другіе каникулярные періоды, святки и свѣтлая недѣля, вносили пертурбацію въ обычный порядокъ моей новой семьи. Алексѣй Ивановичъ занятъ службою и хожденіемъ по приходу, продолжавшимся по нѣскольку дней въ оба праздника. Каждый день, за исключеніемъ перваго, непременно гости, тотъ или другой изъ многочисленной родни. Бывали гости даже въ деревенскомъ смыслѣ, то есть пріѣзжіе изъ городовъ, располагавшіеся по нѣскольку дней совсѣмъ какъ въ гостинницѣ; таковы были двое братьевъ старшаго зятя, служившіе въ уѣздныхъ городахъ, одинъ учителемъ уѣзднаго училища, другой мелкимъ канцелярскимъ чиновникомъ. Кромѣ того застрѣвалъ и ночевывалъ какой-нибудь изъ

многочисленныхъ племянниковъ, явившійся днемъ, но засидѣвшійся до ночи.

Не по мнѣ были эти праздничные дни! Для всѣхъ набѣглыхъ родныхъ дома я былъ чужой. Въ святки я еще утѣшалъ себя работою по составленію приходо-расходныхъ книгъ или вѣнчиковыхъ вѣдомостей; но за окончаніемъ ихъ, предпочиталъ уходить куда-нибудь, бродилъ по городу, дополняя свое изученіе Москвы. Первые дни и Рождества и Святой были особенно томительны, тѣмъ болѣе что и уходить было неприлично и сѣсть за дѣло какъ-то совѣстно. Не смотря на всю ихъ праздничность и обязательное веселіе, тоска сжимала сердце. Привычный порядокъ уже разстроился, образовалась пустота, которую однако наполнить нечѣмъ. А при взглядѣ на беззаботную веселость разряженного простонародья, на порхающихъ извозчиковъ съ отправителями визитовъ брала даже злость. Визитовъ некому дѣлать и не отъ кого принимать присоединиться къ этимъ добродушнымъ веселящимся не могу, не примутъ, да и не развеселить меня ихъ забава. Въ домѣ тишина, ожиданіе, скоро ли батюшка воротится изъ прихода; затѣмъ обѣдъ и сонъ обоихъ, хозяина и хозяйки. Скучно!

Скученъ, но не томителенъ по крайней мѣрѣ былъ обыкновенный, *лѣнивый* день. Лѣнивый онъ былъ и располагалъ къ лѣни: пустота, дремота духовная обаятельно дѣйствовала, подзывала къ себѣ въ невозмутимую растительную жизнь.

Утро. Матушка (такъ я называлъ Надежду Алексѣевну), если я сходилъ внизъ, неизмѣнно сидѣла въ кухнѣ на лавкѣ противъ печки; можетъ быть чистить картофель или рыбу, а чаще занимается бесѣдою съ какимъ-нибудь изъ разнощиковъ. Что онъ принесъ: ягоды, рыбу или что другое, Надежда Алексѣевна либо торгуется, либо отказывается брать, тогда какъ разнощикъ настаиваетъ.—Нѣтъ, ужъ возьмите.—Не нужно мнѣ, у меня еще отъ прошлаго осталось.—Да возьмите, я вамъ



оставлю; возьмите по чемъ хотите, денегъ не платите. Разнощики вѣрятъ въ легкую руку Надежды Алексѣевны и какъ будто по наряду являлись къ ней, прося неотступно что-нибудь купить. Побывавшій разъ разнощикъ дѣлался уже неизмѣннымъ посѣтителемъ. Удивительный предразсудокъ! Тѣмъ не менѣе я съ нимъ встрѣчался не на Зацѣпѣ только; а на Зацѣпѣ, когда, заинтересованный повѣрьемъ, обращался я за разъясненіемъ къ разнощикамъ, всѣ увѣряли, что если только „матушка“ возьметъ, то лотокъ его скоро будетъ пустъ; что это вѣрно, что это замѣчено. На чемъ основано повѣрье, и много ли въ немъ дѣйствительности?

Но всѣ кухонныя приготовленія кончены, и Надежда Алексѣевна идетъ въ спальню на обычное мѣсто у окна, передъ дубовымъ, древнимъ, предревнимъ столикомъ. Въ рукѣ у нея платокъ носовой и неизбѣжная четырехугольная квадратная серебряная табакерка, очень грубой работы, должно быть времянъ далѣе Екатерины, и въ добавокъ такъ плохо затворявшаяся, что положить ее въ карманъ, не просыпавъ табаку, было бы мудреною задачею.

Сѣла Надежда Алексѣевна и за что-нибудь принялась, за штопанье большею частью или за чулокъ, какъ голосъ изъ гостиной:

— Надежда!

— Что?

— Дай рюмочку.

Это Алексѣй Ивановичъ. Онъ лежитъ навзничъ на диванѣ, поставленномъ классически по срединѣ стѣны. На лѣво отъ него фортепіано; прямо, между окнами, полукруглый столъ въ простѣнкѣ; надъ нимъ высокое узкое зеркало; то и другое краснаго дерева. На право кресла, предъ самымъ диваномъ овальный столъ. Двѣ стѣны и надъ диваномъ въ томъ числѣ увѣшаны картинами. Надъ диваномъ большая картина, изображающая Моисея младенца, показываемаго Фараону. Миѣ было объяснено, что по отзывамъ художниковъ эта

картина оригинальная и замѣчательная. Я долженъ былъ повѣрить, потому что плохо разумѣлъ живопись и цѣнить ея искусство не способенъ.

— Надежда!

— Что-о?

— Дай рюмочку.

Надежда Алексѣевна поднимается и съ очень легкимъ, едва слышимымъ „охъ“ отправляется со связкою ключей черезъ гостинную въ залу; тамъ въ углу, въ фальшивой печи—шкафъ, въ которомъ между прочимъ стояла бутылъ. Надежда Алексѣевна отпираетъ шкафъ, наливаетъ рюмку, беретъ закуску, икру большею частию съ ломтикомъ бѣлаго хлѣба, и подаетъ супругу. Тотъ, не оставляя лежачаго положенія, выпиваетъ. Надежда Алексѣевна возвращается на свое мѣсто за свою работу. А супругъ можетъ быть задремлетъ, а можетъ быть и такъ будетъ лежать въ молчаніи. Это его постоянная привычка и постоянное положеніе. Если не сидитъ за обѣдомъ или за чаемъ, то лежитъ непременно на своемъ диванѣ. Приходъ гостей, понятно, его подниметъ. Воспитало эту привычку первоначально утомленіе отъ приходскихъ трудовъ, утрени, обѣдни и послѣ нихъ нѣсколько требъ на нѣсколькихъ верстахъ разстоянія; затѣмъ—болѣзнь ноги, когда-то простуженной и запущенной. Но съ четверть часа, а то и полчаса добрыхъ прошло. Снова голосъ:

— Надежда!

— Что тебѣ?

— Дай рюмочку.

Новое хожденіе въ шкафъ по прежнему рецепту, съ новымъ легкимъ вздохомъ. Но когда повторится тоже и еще чрезъ полчаса, и опять чрезъ полчаса, Надежда Алексѣевна проговоритъ наконецъ: „Да будетъ тебѣ, Алексѣй Ивановичъ!“ и получаетъ добродушный смѣхъ въ отвѣтъ, со словами: „дай рюмочку! Ха, ха, ха!“

Такъ проходитъ до обѣда. Соскучилось Алексѣю Ива-

новичу просить „рюмочку“, и онъ обращается съ вопросомъ „какой чашъ“ и „не пора ли обѣдать“, при чемъ рюмочка подносится ему по положенію.

Послѣ обѣда Алексѣй Ивановичъ засыпаетъ настоящимъ образомъ вплоть до чая. Послѣ чая отправляется на диванъ, лежитъ, если не позвали на потребу, и иногда тоже требуетъ рюмочки, разъ и другой, теперь значитъ уже передъ ужиномъ, за которымъ слѣдуетъ сонъ не на диванѣ, а на постелѣ въ спальнѣ.

Старикамъ кладъ, когда кто-нибудь придетъ къ нимъ изъ постороннихъ или даже изъ своихъ. Приходитъ Павелъ Троицкій съ трубкою на длинномъ чубукѣ, шутить со „старѣйшиною“ и передаетъ ей новости монастырскаго двора.

Спускаюсь я. Въ гостинной слышатъ мой приходъ.

— Ну, что, братъ, Никитичъ Петровичъ (такъ звалъ меня Алексѣй Ивановичъ шутя). Онъ вѣщаетъ меня и обращается съ вопросомъ о политическомъ происшествіи какомъ-нибудь, о которомъ слышалъ, или о событіи въ духовенствѣ.

— Говорятъ—передвижка архіереевъ. Не слышать ли чего о такомъ-то?

Называетъ архіерея. Я отвѣчаю какъ умѣю. Завязалъ бы разговоръ, да не знаешь, съ чего и какъ. Обращаешься къ его воспоминаніямъ, стараешься вызвать его на разсказъ о прошломъ. Иногда удается, но часто получаешь очень лаконическіе общіе отвѣты, показывающіе, что голову трудитъ воспоминаніемъ старику не охота. Становится его жалко, но не знаешь, какъ помочь, чѣмъ занять. А въ другое время мои нервы содрагаются, я чувствую боль; это бываетъ, когда упомянешь о лицѣ или происшествіи, о которыхъ, знаю непременно, послѣдуетъ отзывъ, сто разъ мною слышанный и въ стереотипно неизмѣнныхъ выраженіяхъ. „Тайники митрополита...“ скажетъ онъ медленно, съ разстановкой, когда упомянешь имя одного изъ двухъ протоіереевъ, извѣстныхъ тогда въ Москвѣ и



пользовавшихся благоволеніемъ Филарета. Или, при упоминаніи объ Иванѣ Грозномъ, непремѣнно ждешь и непремѣнно услышишь столь же важно, почти таинственно произнесенный отзывъ: „онъ былъ... пьяный человѣкъ“. Я разъ было съ нимъ даже поспорилъ, что это вовсе не характеристическая черта Іоанна и не понимаю де, откуда вы это взяли, требую и приношу Карамзина исторію, чтобы его убѣдить. Но ни къ чему это не повело, не смотря на все довѣріе старика ко мнѣ, и я со страхомъ ожидаю, какъ бы при серіозномъ разговорѣ съ кѣмъ-нибудь не было произнесено имени Іоанна Грознаго. Произнесено, и я уже трепеталъ и съ болью нервовъ вынуждался слышать въ сотый, въ тысячный разъ повтореніе тѣхъ же словъ, съ той же интонаціей, съ тѣмъ же выраженіемъ лица. О, человѣкъ, какою однако ты бываешь машиною!

Забавляешься лакомствомъ, стоящимъ на коммодѣ въ спальнѣ, опустошаешь тарелку или поднось, ѣшь до оскомины. Совѣстно станеть. Подсаживаешься къ „матушкѣ“. Неизмѣнная просьба въ неизмѣнныхъ выраженіяхъ.

— Скажи мнѣ что-нибудь.

Почти столько же раздражало меня и это стереотипное требованіе, какъ и неизмѣнныя изреченія Алексѣя Ивановича. Но съ Надеждой Алексѣевной ладить было легче; ее скорѣе можно было завести на разговоръ вопросами о прошломъ ли, о современномъ ли,—последнее по части хозяйства, или же о знакомыхъ и родныхъ. Алексѣй Ивановичъ прислушивался изъ гостинной къ ея разговорамъ или къ моимъ, когда я находилъ что-нибудь сказать способное заинтересовать по моему мнѣнію. Ея рассказы иногда поправлялъ или дополнял лаконическими изреченіями, посылаемыми все-таки изъ гостинной.

— Нѣтъ, это было ужъ послѣ смерти Николая Ѳеодоровича.

— Да нѣтъ, полно, что ты толкуешь! возражаетъ

Надежда Алексѣевна, доказываетъ вѣрность своей хронологіи и продолжаетъ разсказъ.

Бывало, что мои разсказы въ спальнѣ заинтересовываютъ старика, и онъ хотя слышалъ почти все, просить повторить ему въ гостинной и спрашиваетъ дополнительныхъ подробностей.

То приходитъ кухарка Авдотья Евтѣевна съ отчетомъ о покупкахъ, съ рыночными новостями, съ донесеніями и предположеніями объ удоѣ коровъ, объ индюшечьихъ цыплятахъ, и о томъ, не сходить ли къ огороднику за спаржей. Такого рода зелень доставлялась большею частію даромъ. Огородникъ—арендаторъ земель частію причта, то есть церковныхъ, частію собственной земли Алексѣя Ивановича, который владѣлъ ею на оригинальномъ правѣ. Предмѣстникъ его, священникъ, точнѣе—наслѣдники его передали Алексѣю Ивановичу, что при землѣ огородной церковной есть земля де объявленная, принадлежащая священнику на частномъ правѣ, не угодно ли ее купить. Алексѣй Ивановичъ заплатилъ, кажется, тридцать рублей и сдѣлался собственникомъ безъ всякаго документа, на словѣ, котораго впрочемъ никто не оспаривалъ; арендаторы нанимали, договаривались и платили, признавая въ священникѣ собственника и отличая эту землю отъ церковной.

„Да гдѣ же эта земля и сколько ея?“ добивался я и у Алексѣя Ивановича и у Надежды Алексѣевны; но тщетно. Ни тотъ ни другая не могли мнѣ опредѣлить ни того ни другаго. Любопытно, что случилось теперь съ этою таинственною собственностью, безъ плана и документовъ, безъ опредѣленнаго мѣстоположенія. Перешла ли она къ преемникамъ Алексѣя Ивановича и оформлено ли право, или же присоединилась по молчаливому соглашенію къ церковнымъ ли землямъ, къ ямскимъ ли?

Изъ разговоровъ Надежды Алексѣевны я почерпнулъ много, и вспоминая теперь, дивлюсь ея замѣчательной наблюдательности. Вышла она замужъ молодой дѣви-



цей и къ своей „маменькѣ“ въ деревню ѣздила всего разъ послѣ замужества (въ 12 году); но съ такими подробностями она передавала всѣ мелочи дворянскаго хозяйства и разныя происшествія помѣщичьяго быта, свидѣтельница которыхъ была въ дѣвочкахъ, что въ пору было бы человѣку, въ зрѣлыхъ лѣтахъ серьезно изучавшему деревню. Я кое-что зналъ по книгамъ, но Надежда Алексѣевна, какъ будто была старостой, посвятила меня во всѣ тайны оброка и барщины и во всѣ снабженія помѣщичьяго хозяйства, всѣ выгоды, которыя дворянамъ давались и которыми они не умѣли пользоваться. Съ большимъ сочувствіемъ передавала она о какомъ-то мелкопомѣстномъ старикѣ-сосѣдѣ, тихонькомъ, услужливомъ, котораго едва отличали отъ мебели, когда онъ являлся къ столбовымъ сосѣдямъ; но который не въ очень продолжительное время составилъ себѣ значительное состояніе, сталъ крупнымъ помѣщикомъ, не переставая быть по прежнему низкопоклоннымъ, и вывелъ дѣтей своихъ въ люди удачнѣе богачей сосѣдей. Онъ не упустилъ аукціоновъ и высматривалъ имѣнія. Свое маленькое заложилъ и купилъ съ торговъ другое съ переводомъ долга. Доходовъ не проживалъ, а въ каждомъ купленномъ устраивалъ хозяйство. Гдѣ мужики обнищали, тамъ возстановлялъ ихъ хозяйство и по поправкѣ накладывалъ на нихъ высокій оброкъ; отпускалъ охотно на волю за большія деньги, и пріобрѣтая имѣніе за имѣніемъ, сдѣлался помѣщикомъ подъ тысячу душъ, притомъ округливъ одно изъ помѣстій выгоднымъ промѣномъ съ сосѣдомъ.

Преподавала мнѣ Надежда Ивановна о пчеловодствѣ, опять съ поясненіемъ, что лишь бы не тратился помѣщикъ на карточную игру, на безумные пиры да на охоту, то стоитъ каждому обернуться, и потекутъ доходы. Какая-то изъ ихъ сосѣдокъ выручала до семидесяти тысячъ рублей (ассигнаціонныхъ) со пчелъ. Надежда Алексѣевна не упускала прибавить, что много при этомъ значить удача и умѣнье выбрать человѣка для

ухода. При счастѣ каждый улей можетъ прибавить въ годъ два, три улья новыхъ, не считая меда и воска. Но бываетъ, отъ небреженія и губять.

На коммодѣ лежатъ орѣхи. Припоминаетъ Надежда Алексѣевна объ орѣховыхъ кустарникахъ, росшихъ на дворѣ ея благодѣтельница, замѣчательныхъ крупнымъ зерномъ и тонкою кожею. Очень просто, отъ чего это, поясняла она: земля на задворкѣ жирная, и кусты защищены отъ вѣтра. Но взять эти орѣхи—не повѣришь, что они отъ обыкновенныхъ лѣсныхъ.

Повѣствовала она, какъ у нихъ выливали грибные помои постоянно на одно мѣсто, на луговину, и какъ черезъ нѣсколько лѣтъ луговина сдѣлалась необыкновенно грибною, хотя сортъ грибовъ былъ и не тотъ, отъ которыхъ сливали помои; не лѣсные, но и не шампиньоны, тѣмъ не менѣе съдобные.

Съ живымъ интересомъ слушалъ я эти рассказы. Между прочимъ тогда же запаала мнѣ мысль, которую нахожу основательною до сихъ поръ. Помѣщичье хозяйство щеголяло оранжереями и теплицами. Что онѣ дали странѣ и чѣмъ послужили прогрессу? Какому-нибудь любителю можетъ быть и удалось выгнать новый видъ орхидей или пестролистныхъ розъ. Но кромѣ новости въ декоративномъ садоводствѣ какой отъ того толкъ? Какія услуги въ культурѣ полезныхъ растений оставлены въ преемство вольнонаемному хозяйству? Улучшались сѣмена выпискою изъ-за границы. Здравый смыслъ говорить, что прежде чѣмъ акклиматизовать растенія чужой почвы, нужно бы улучшать мѣстныя, искони свойственныя климату. Лѣсные орѣхи, брусника, клюква, рябина, вотъ произведенія туземныя. Опытъ улучшенія орѣховъ, правда, случайнаго, былъ же, по словамъ Надежды Алексѣевны; слѣдовательно можно достигнуть того же искусствомъ. Брусника, клюква, рябина терпки; но яблоки лѣсныя тоже горьки и кислы. Культура нашла возможнымъ облагородить яблоки: отчего пересадкою, прививкою и вообще

извѣстными наукою способами не облагородить и клюкву съ рябиной? Успѣхъ тѣмъ возможнѣе, что во Владимірской губерніи растетъ рябина, такъ называемая Невѣжинская, о которой говорятъ, и притомъ люди съ агрономическимъ образованіемъ, что ее можно подавать, какъ десертъ, и лакомиться ею безъ сахара. Наконецъ, грибовъ почему не разводить искусственно? Разводятъ; но шампиньоны, отъ того что они употребляются въ иностранной кухнѣ; а лѣсное произрастеніе, употребляемое всѣмъ народомъ, потребленіе котораго простирается на милліоны рублей,—на его искусственную культуру не подумали приложить рукъ. Между тѣмъ отысканіе практическихъ пріемовъ къ разведенію съѣдобныхъ грибовъ, помимо увеличенія производительности вообще, обогатило бы хозяина. Сравнительно грибы у насъ очень дорогой продуктъ.

Сама Надежда Алексѣевна въ тѣхъ предѣлахъ, которые были для нея доступны, вела разумно хозяйство. Между прочимъ она, не обращаясь ни къ чему пособию, выстроила два дома, первоначально у Симеона Столпника, потомъ на Зацѣпѣ. Она знала цѣну каждому дереву, сама покупывала ихъ на базарѣ, когда была молода. Съ плотниками разговаривала, обнаруживая свѣдѣнія, хоть бы и десятнику въ пору; и она любила толковать о постройкахъ. Собесѣдникомъ ея, кромѣ меня, которому впрочемъ приходилось только поучаться и слушать, бывалъ плотникъ Андрей, строившій нѣкогда Надеждѣ Алексѣевнѣ домъ, а теперь прихаживавшій обыкновенно предъ началомъ рабочаго времени, во первыхъ навѣдаться, нѣтъ ли работы, а во вторыхъ получить ночлегъ и столъ, которые по старой памяти отводились ему даромъ до пріисканія гдѣ-нибудь дѣла. Алексѣй Ивановичъ добродушно смѣялся при строительныхъ разговорахъ своей жены, изъ которыхъ ни слова не понималъ, и обращаясь къ Андрею съ улыбкой спрашивалъ:

— Ну, ты что почесъ?

Этотъ вопросъ показывалъ, что Алексѣй Ивановичъ запомнилъ твердо одну фразу плотника, о которой сообщилъ мнѣ, какъ о замѣчательной особенноти говора:

„Я почѣсть всю нощь вечерося не спалъ“.

Особенность дѣйствительно замѣчательна прибавленіемъ *ся въ нощь и вечерось*. Но плотникъ и слово „почестъ“ произносилъ какъ „почесь“ и получилъ отсюда кличку отъ Алексѣя Ивановича.

LVI.

### Житейская философія.

Въ гнѣздахъ, гдѣ я воспитывался не только подъ Дѣвичимъ, но и въ провинціальной Коломнѣ, слѣдили за теченіемъ общественной мысли и жизни: газеты и журналы читались по мѣрѣ выхода, пусть и не всѣ немедленно. Во всякомъ случаѣ мы не „отставали отъ времени“, употреблю это опошленное выраженіе; общественный пульсъ бился, сознаніе общественное отражалось; мы были его участниками. Зацѣпа ничего не получала, за исключеніемъ обязательныхъ Губернскихъ и Полицейскихъ Вѣдомостей, и не искала получать. Все родство Богдановыхъ также погружено было исключительно въ практическій бытъ. Для меня было новостью жить въ такомъ мірѣ. Внѣшнимъ образомъ я зналъ, что есть семейства, гдѣ ничего не читаютъ, о литературѣ не хотѣли знать, для которыхъ наука представляется только школою, неизбежною для полученія аттестата. При встрѣчахъ, мимолетныхъ знакомствахъ, я прилаживался къ этому строю, но также мимоходомъ. А теперь мнѣ пришлось жить въ немъ и узнать его въ полнотѣ, въ системѣ, въ гармоніи.

Философія, которую исповѣдывалъ этотъ кругъ, впро-



чемъ не формулируя своихъ положеній, сокращалась въ два слова: *мѣсто* и *доходъ*. Духовенство, чиновники, лѣкаря, вотъ изъ кого состоялъ кругъ. „Мѣсто получилъ“, „мѣста ищетъ“, „доходъ“ большой или скудный,—вотъ единственный существенный интересъ, единственная точка зрѣнія на мѣръ, съ которою близко или далеко связана вся жизнь.

Я узналъ здѣсь, что существуютъ мѣста на службѣ „благородныя“ и „неблагородныя“. Послѣднихъ благородными прямо не называли, но и названія благородными къ нимъ не примѣнено. Благородное есть то мѣсто государственной службы, гдѣ брать взятки не введено, то есть невозможно; гдѣ чиновникъ живетъ однимъ жалованьемъ или и постороннимъ доходомъ, но честнымъ. Контролеръ, составляющій для контролирующихъ отчеты, получаетъ доходъ честный, также и полицейскій врачъ, хотя жалованья онъ получаетъ менѣе кучера. Но „благодарность“, получаемая чиновникомъ, не мѣшаетъ его, въ казенной ли палатѣ, въ комиссаріатѣ ли. При казенномъ жалованьи получаютъ жалованье отъ откупщика тоже непостыдно, законно даже и справедливо. Но „бездоходная“ должность при достаточномъ жалованьи во всякомъ случаѣ есть самое высшее, и о такомъ положеніи какъ въ Опекунскомъ совѣтѣ, гдѣ „доходовъ“ нѣтъ, да еще есть пятилѣтія, можно только мечтать, какъ о недостижимомъ счастіи, удостоиться котораго можно развѣ при сильной протекціи.

Я познакомился съ системой дѣленія московскихъ приходовъ, опять съ точки зрѣнія доходности. Богатые, бѣдные и средніе; среднимъ приходомъ назывался дающій священнику три тысячи рублей (по тогдашнему ассигнаціонному счету). Бываютъ приходы чистые и сѣрые, купеческіе, дворянскіе и смѣшанные. Сѣрые опоясываютъ Москву, и они всѣ многолюдные, начиная съ Василія Неокесарійскаго и до Казанской у Калужскихъ воротъ. Безъ труда они даютъ доходъ большой и принадлежатъ къ самымъ богатымъ. Но имъ почти

не уступаютъ и нѣкоторые центральные и притомъ совсѣмъ малочисленные, съ пятью, шестью или даже двумя домами всего. За то тамъ есть церковные дома, съ дохода которыхъ часть, обыкновенно половина, идетъ причту. У самого причта на церковной землѣ собственные дома, иногда и лавки, также доходныя, равняющіяся доходностью иному цѣлому приходу.

„Чистые“ приходы, купеческіе и дворянскіе, имѣютъ каждый свою характеристику. Какъ Опекунскій Совѣтъ для чиновника, такъ дворянскій приходъ, въ особенности многочисленный, считается счастьемъ для священника. Здѣсь священнику не предстоитъ унижаться, отца духовнаго почитаютъ, и онъ можетъ быть увѣренъ, что даже со смертію его ни жену его, ни дѣтей не забудутъ. Здѣсь притомъ уроки, здѣсь *случай*, то есть люди, чрезъ которыхъ можно устроить сыновей или зятьевъ на службу. Не то въ купеческихъ приходахъ. Въ нихъ пошъ батракъ, поденщикъ, стоящій на задѣльной платѣ; богатый прихожанинъ что нибудь сдѣлаетъ для тебя, но съ видомъ, говорящимъ или даже прямо со словами: „а ты чувствуй и понимай!“—„Да ты посмотри, что я тебѣ далъ!“ сказалъ одинъ прихожанинъ, принявъ священника со святыней, какъ почетнаго гостя, то есть въ шелковомъ халатѣ; въ этомъ кругу понятія о приличіи обратныя: обыкновенно въ сибиркѣ или сюртукѣ, а для гостя надѣваетъ халатъ“. „Да ты посмотри, что я тебѣ далъ!“ Онъ награждалъ прежде рублевкою, а теперь расщедрился пятеркою. Пользуйся купцомъ, пока онъ у тебя въ приходѣ, но на сохраненіе сердечныхъ отношеній и вообще на сердечныя отношенія не надѣйся, хотя бы ты былъ отцемъ духовнымъ. Коммерческій взглядъ купцомъ переносится и на отношенія къ духовному отцу. Церкви въ дворянскихъ приходахъ рѣдко бываютъ украшены богато, но духовенство по мѣрѣ силъ награждается; въ купеческихъ церковь блеститъ, колоколъ гудитъ чуть не тысячепудовой: но не заключайте отсюда, чтобы о причтѣ приложена была

равномѣрная заботливость, развѣ изъ тщеславія будетъ что оказано.

Не перечисляю другихъ подробностей, тѣмъ болѣе что съ паденіемъ крѣпостнаго права вѣроятно онѣ измѣнились, но характеристика проходила до мелочей, какая именно статья сколько даетъ въ каждомъ приходѣ. „Здѣсь икона“, скажутъ объ одномъ приходѣ; молебновъ много служатъ, ее и по домамъ возятъ. „Вы говорите, маленькій приходъ? Онъ не большой, а дома-то все дворянскіе; въ каждомъ служатъ всенощныя на дому, да домахъ въ шести молебны по первымъ числамъ каждаго мѣсяца, да передъ отъѣздомъ въ деревню и при пріѣздѣ, да уроки домахъ въ трехъ: вотъ и считайте; маленькій-то онъ, маленькій!“

И предо мной проходили живые экземпляры, часто съ отпечаткомъ на себѣ прихода, въ которомъ кто состоитъ. Въ послѣдствіи я дополнилъ эти наблюденія и убѣдился, что вопреки пословицѣ бываетъ не таковъ приходъ, каковъ попъ, а на оборотъ: въ одномъ священникъ загрубѣваетъ, засыпаетъ, въ другомъ выглаживается и просвѣтляется. Алексѣй Ивановичъ, танцоръ и весельчакъ съ молодости, пописывавшій проповѣдки и почитывавшій въ зрѣломъ возрастѣ, опустился и сталъ разнообразить день воззваніемъ: „Надежда, дай рюмочку“—отъ того что попалъ въ сѣрый приходъ. „Слова не съ кѣмъ сказать!“ говорилъ онъ мнѣ нѣсколько разъ и потомъ самъ началъ тосковать, что получилъ пристрастіе къ рюмкѣ. Онъ началъ лѣчиться у какого-то знахаря. Лѣченіе оказалось удачнымъ; Алексѣй Ивановичъ отказался отъ рюмочки совсѣмъ. Онъ посвѣжѣлъ, пободрѣлъ, сталъ поливать, но продержался, кажется, не болѣе года съ чѣмъ-то. Отправился куда-то съ утра, долго не возвращался и наконецъ пріѣхалъ подъ вечеръ. „Майскій день! День майскій!“ было его первымъ словомъ, когда онъ переступилъ порогъ, и одинъ звукъ его голоса сказалъ Надеждѣ Алексѣевнѣ, что супругъ разрѣшилъ: двоюродный племянникъ, тоже священникъ,

увлекъ его на прогулку подъ Симоновъ и уговорилъ выпить для компаніи.

Лѣчатъ отъ пьянства, отъ запоя, и вылѣчиваютъ нѣ-  
которыхъ. Что это, психологическое дѣйствіе или фи-  
зіологическое; рѣшимость ли тутъ главный дѣятель, съ  
воображеніемъ, настроеннымъ „я де лѣчусь“; или есть  
медикаменты дѣйствительно, которые выбиваютъ вкусъ  
къ вину и позывъ на него? Меня занимаетъ выраже-  
ніе, слышанное не отъ одного изъ пристрастныхъ къ  
вину, и повторяемое тѣмъ и другимъ и третьимъ буквально:  
„червякъ завозился“. Отсюда и метафорическое: замо-  
рить червячка“, употребляемое правда не о питьѣ толь-  
ко, а и о пищѣ. Но пристрастные къ выпивкѣ увѣряли ме-  
ня, что они чувствуютъ именно какъ бы червячка, который  
точить, сосетъ и успокаивается лишь по принятіи ал-  
коголя. Теперь, когда съ легкой руки Пастера, вездѣ  
находятъ микробовъ и бактерій и ими объясняютъ едва  
не всѣ болѣзни, приходитъ мысль: червякъ пьяницы не  
есть ли дѣйствительный червякъ, лишь микроскопиче-  
скій, такой же паразитъ, какъ глисть круглый или  
плоскій, и также командующій несчастнымъ, который  
его въ себѣ носитъ? Невѣроятнаго нѣтъ, тѣмъ болѣе  
что для многихъ явленій пьянства, запоя въ особен-  
ности, удовлетворительнаго объясненія не имѣется. Не  
странное ли явленіе эта періодичность болѣзни и эта  
неспособность сдержатъ себя съ наступленіемъ ея сро-  
ка, не смотря на все свое желаніе?

Старшій братъ Алексѣя Ивановича, Басманскій про-  
тоіерей Василій Ивановичъ, представлялся въ моихъ гла-  
захъ тѣмъ, чѣмъ былъ бы Алексѣй Ивановичъ, если бы  
не попалъ въ тину сѣраго прихода и если бы готовое  
обезпеченіе не избавляло его отъ заботъ о средствахъ.  
Но братья походили одинъ на другаго. Такого же ма-  
ленькаго роста, Василій Ивановичъ и въ разговорахъ  
соблюдалъ ту же важность, и даже еще болѣе таин-  
ственную, нежели братъ. Когда они вдвоемъ бесѣдова-  
ли о чемъ-нибудь, со стороны можно было подумать,



по поговоркѣ, что они рѣшаютъ „судьбу Европы“, хотя бы разговоръ шелъ о погодѣ или о томъ, много ли было духовенства въ послѣднемъ крестномъ ходу. Педантическая аккуратность была также качествомъ Василія Ивановича, и опять въ еще болѣе усиленной степени. Мнительность была крайняя, до того тревожная, что назначенный благочиннымъ, онъ нашелъ невозможнымъ исправлять эту должность, а чрезъ нѣсколько лѣтъ попросилъ митрополита объ увольненіи. Опасенія неисправностей въ благочиніи, страхъ, соблюдена ли самимъ во всемъ точность, повергала его почти въ болѣзнь, не давала спать ночей.

Василій Ивановичъ принадлежалъ къ именитому духовенству тогдашней Москвы. Кромѣ обычныхъ отличій онъ украшенъ былъ брилліантовымъ крестомъ, „кабинетскимъ“, то есть пожалованнымъ внѣ обычнаго представленія черезъ Синодъ. Удостоенныхъ такого отличія было въ Москвѣ тогда только двое, и Василій Ивановичъ обязанъ этимъ ходатайству императрицы Маріи Ѳеодоровны, которой онъ былъ лично извѣстенъ и которая оказывала ему особенное благоволеніе. По словамъ Алексѣя Ивановича, она называла брата его „мой священникъ“ и разъ остановила изъ-за него цѣлый крестный ходъ, увидавъ „своего священника“ въ ряду другихъ и выразивъ желаніе отрекомендовать его Августѣйшему сыну, императору Александру Павловичу, который тутъ же находился.

Василій Ивановичъ былъ прежде законоучителемъ Екатерининскаго института, едва ли не первымъ по его основаніи: вотъ что дало ему извѣстность и снискало монаршее благоволеніе. Епархіальное начальство въ свою очередь на небывалое дотолъ мѣсто законоучителя въ небывалое еще учебное заведеніе озаботилось представить лучшую изъ педагогическихъ силъ, которымъ располагало: Василій Ивановичъ въ Славяно-Греко-Латинской Академіи былъ учителемъ риторики, слѣдовательно въ тогдашней Академической іерархіи первымъ лицомъ

въ учительскомъ персоналѣ послѣ префекта. Выслуживъ свой срокъ въ институтѣ, онъ получилъ мѣсто въ Басманскомъ приходѣ, первомъ тогда въ Москвѣ, — разумѣется по доходамъ, потому что съ этой единственной точки зрѣнія и судилось о приходѣ.

Мнѣ любопытенъ былъ этотъ обломокъ „старого образованія“, одинъ изъ лучшихъ его представителей. Помимо классическаго латинскаго, который былъ свой для академиковъ, Василій Ивановичъ знакомъ былъ съ новѣйшими, а нѣмецкимъ владѣлъ въ совершенствѣ. Надежда Алексѣевна, не долюбливавшая деверя, подсмѣивалась, что какъ мужъ ея болтать по французски, такъ и деверь по нѣмецки выучились, шлеясь въ молодости по Кузнецкому мосту, откуда до ихъ родительскаго дома у Евпла на Мясницкой было не далеко. Но Василій Ивановичъ точно также ничего уже не читалъ теперь и ничѣмъ не интересовался общественнымъ; житейская философія овладѣла совершенно и имъ. Пять сыновей и пять дочерей; ихъ нужно пристроить, и притомъ достойно отца, — вотъ о чемъ забота. Отсюда и экономія, которую Надежда Алексѣевна принимала за скарденничество. Въ первый годъ житья на Зацѣпѣ я не удостоивался ни малѣйшаго вниманія, ни даже слова отъ важнаго протоіерея. Но чѣмъ дальше подвигался по учебной лѣстницѣ, тѣмъ болѣе сходилъ спѣсь, не по уваженію впрочемъ къ моимъ достоинствамъ: а я переходилъ въ вѣроятнаго „жениха“; невѣсть же на рукахъ еще три!

Обратная характеристика „каковъ приходъ, таковъ попъ“ на Васильѣ Ивановичѣ отразилась можетъ быть выпуклѣе, нежели на комъ-нибудь, и первый мнѣ указалъ на это братъ Александръ. — „А ты не видишь, что онъ, тершись около дамъ, самъ сдѣлался дамою?“ И дѣйствительно, его важность напоминала нѣсколько архіерейскую, которая съ своей стороны напоминаетъ дамскую. Это не гордость, а опасеніе неприличнаго, съ привычкою быть предметомъ ухаживанія. Сочетаніе

природной важности съ нѣжною деликатностью, нажитою постояннымъ обращеніемъ съ дамами, и представляло комическій элементъ, дававшій Павлу Успенскому передразнивать своего протопопа. При священнослуженіи эта комическая черта особенно выдавалась: Василій Ивановичъ не только читалъ, но и возгласы произносилъ разговорнымъ тономъ, притомъ съ отѣнкомъ предупредительной нѣжности. „Нѣсколько лѣтъ служилъ для дѣвицъ и заговорилъ по ихнему“, прибавлялъ братъ, въ поясненіе передразнивъ басманскаго протопопа, не менѣе искусно, чѣмъ Павелъ Успенскій, сынъ Басманской просвирни.

Главный контингентъ родныхъ и знакомыхъ Зацѣпы состоялъ впрочемъ изъ свѣтскихъ: вдова брата-лѣкаря, помѣщица изъ купчихъ; зять, мужъ сестры, Петръ Ивановичъ, бывшій квартальный, типическое лицо, заслуживающее особой для себя главы; многочисленные племянники и племянницы, не говоря о зятяхъ.

Въ числѣ племянниковъ (зять невѣстки-помѣщицы) былъ лѣкарь, трагическая судьба котораго заслуживаетъ нѣсколькихъ словъ. Нѣсколько лѣтъ тянулъ онъ лямку сверхштатнаго лѣкаря при полицейской части, въ надеждѣ когда-нибудь добраться и до штатнаго; а быть „штатнымъ“ манна небесная. Покойный Иноземцевъ раззнакомливался съ тѣми изъ слушателей, которые брали должность при полиціи. Вступая въ полицію, врачъ уже подписывалъ себѣ приговоръ, какъ помощнику страждущихъ и какъ человѣку науки. Но житейская философія разсуждала не такъ, и десятки молодыхъ врачей терлись въ сверхштатныхъ, мечтая пробраться въ штатные, и притомъ лучшей Части. Части, какъ и приходы, не одинаково хлѣбны: гдѣ больше актовъ, тамъ доходнѣе.

Проходятъ годы, одинъ и другой и третій: отъ кого, черезъ кого продвинется Алексѣй Моисеевичъ и гдѣ вакансія? Вакансія наконецъ опросталась, и Алексѣй Моисеевичъ получилъ мѣсто, разумѣется по рекоменда-



...иновавшимъ былъ Высотскій, знаменитый да и Москвѣ врачъ, а къ Высотскому прошель Алексѣй Моисеевичъ чрезъ посредство Алексѣя Иванова, дочь котораго лѣчилась у Высотскаго: за посредство между больной и знаменитымъ докторомъ и вѣтилъ Алексѣй Моисеевичъ; оно его и вывезло. Получена была въ вѣдѣніе одна изъ лучшихъ частей, Срѣтенская. А лучшею частью считалась она потому, что въ ней дома терпимости, оброчная статья каждаго. Блаженствовать бы; цѣль достигнута; наживайся и дослуживайся до срока, когда купивъ имѣніе или домъ на благопріобрѣтенныя, можно доживать остальные годы спокойно и безъ практики и безъ должности. Но подвернулось происшествіе, все ниспровергшее. Алексѣй Моисеевичъ былъ тотъ врачъ, котораго засудили и отставили отъ должности, вмѣстѣ съ чинами полиціи, за избіеніе студентовъ въ публичномъ домѣ. Это было въ 1856 или вѣрнѣе въ 1855 году. Студенты разбушевались въ непотребномъ домѣ и ихъ поколотили. Но то былъ самый разгаръ почтенія къ студенту и ненависти и презрѣнія къ полиціи, которыми прониклось общество въ началѣ царствованія. Поднялось дѣло. Какъ! бить нагайками и кого? Студента, „молодое поколѣніе“, надежду общества! И кто же, полиція! Полицію повыгнали со службы и Алексѣя Моисеевича, какъ ея потворщика: зачѣмъ онъ не нашелъ на студентскихъ спинахъ знака побоевъ, или призналъ ихъ болѣе легкими, нежели было на дѣлѣ.

Каждый полицейскій врачъ, понятно, поступилъ бы также и не могъ иначе поступить, потому именно что онъ полицейскій. Его бы также выгнали изъ службы на другой день, когда бы онъ вздумалъ свидѣтельствомъ своимъ и подводить свое начальство подъ неприятность. Слѣдовательно врачъ былъ только несчастенъ, что попалъ на такой случай, или не предусмотрителенъ, что не догадался за себя послать сверхштатнаго на составленіе акта: пуля бы миновала. Алек-

сѣй Моисеевичъ не вынесъ горя и безчестія; вскорѣ же послѣ своего отрешенія, кажется менѣе нежели черезъ годъ, умеръ.

Эта студенческая побѣда надъ полиціей при пособіи вознегодовавшаго общества была въ своемъ родѣ знаменательна, тѣмъ болѣе что послужила эпохой, съ которой студенчество начало зазнаваться болѣе и болѣе, приведя себя однако за тѣмъ и къ Дрезденскому и Охотнорядскому избіеніямъ. Помимо участія къ попавшемуся Алексѣю Моисеевичу, я и тогда смотрѣлъ скептически на пылъ либеральнаго негодованія по поводу происшествія въ непотребномъ домѣ. Меня удивляло и досадовало, что общество оскорбилось нагайками, погулявшими по студенческимъ спинамъ, а не огорчилось буянствомъ студентовъ и не устыдилось за нихъ, что ареною героизма своего они выбрали публичный домъ. Меня напротивъ возмущала болѣе всего эта черта студенческаго поведенія, и не высоко себя зарекомендовывало въ глазахъ моихъ общество, благословлявшее молодежь на подвиги во всѣхъ отношеніяхъ грязные. „Какой прецедентъ!“ думалъ я про себя и говорилъ въ слухъ кому приходилось. Самоуправная дерзость полиціи наказана; пусть это послужитъ ей урокомъ. А буяны-то и развратники, несомнѣнно вызвавшіе эту дерзость и навлекшіе сами на себя побои, остаются какъ бы и ни при чемъ? Ихъ считаютъ *только* жертвой. Да чего тутъ! Ихъ подвигъ считается благороднымъ и высокимъ, они герои.

Чѣмъ же питали духъ свой житейскіе философы, въ кругъ которыхъ я вступилъ? Картами. Я не говорю этимъ конечно ничего новаго и не указываю ничего особеннаго, потому что вся Россія такова; но я поражался сначала, что есть люди образованные, которые свободное отъ занятій время охотно, даже съ одушевленіемъ убиваютъ на карты, и принимая гостей, не находятъ для нихъ опять лучшаго препровожденія времени, какъ за карточнымъ столомъ. Садились за карты

и у кся Ивановича гости въ дни собраній, въ именины напимъръ и другіе. Играли и свѣтскіе и духовные, въ коммерческія игры и въ азартныя; тогда находились и разговоры у самыхъ молчаливыхъ, относившіеся конечно къ картамъ же. Съ печальнымъ удивленіемъ смотрѣлъ я на одного изъ племянниковъ, носившаго синій воротникъ, что и онъ наравнѣ съ другими съ удовольствіемъ и охотою присаживается къ зеленому столу. Tu quoque! Я ожидалъ другаго отъ него: я полагалъ, что въ разговорѣ, если не съ кѣмъ нибудь, то со мной проговоритъ онъ о послѣдней книжкѣ журнала, гдѣ шли тогда занимавшія большинство статьи Искандера, или о публичныхъ лекціяхъ, производившихъ шумъ въ Москвѣ. Ничего не бывало: „пасъ“ и „семь въ червахъ“, вотъ что. Молодой человѣкъ тѣмъ не мѣнѣе кончилъ курсъ кандидатомъ, но утонулъ затѣмъ въ какой-то канцеляріи, обратившись въ самага обыкновеннѣйшаго чиновника.

Музыка, театръ, выѣздъ въ собранія (купеческій и нѣмецкій клубъ) на вечера. Это было, но не какъ потребность, а какъ внѣшняя принадлежность, требуемая приличіемъ. Мазурка на фортепіано или романсъ, вошедшій въ моду, съ аккомпаниментомъ, пожалуй, баса, учителя изъ народнаго училища, пріѣхавшаго на побывку, и тенора, чиновника изъ Опекунскаго Совѣта, съ высшимъ образованіемъ человѣка. О выѣздахъ въ собранія не говорю, потому что въ нихъ не участвовалъ, а въ театръ былъ приглашенъ, думаю, спустя мѣсяцъ по поступленіи на Зацѣпу. Пріѣхалъ старшій зять, лѣкарь изъ провинціального города, и взялъ ложу; мѣсто оставалось, и я былъ приглашенъ на нѣмецкую оперу. Давался *Карлъ Смѣлый*.

Театръ не произвелъ на меня особеннаго впечатлѣнія своимъ видомъ; и безъ того слишкомъ живо я представлялъ его по рассказамъ сестры; музыка тронула, но впечатлѣніе раздѣлить было не съ кѣмъ. Казалось, сидѣвшіе со мной болѣе довольны были тѣмъ, что они



отсиживаютъ визитъ, дающій возможность сказать: „мы были въ театрѣ“, нежели восхищались голосами или трогались содержаніемъ либретто и музыки. И мой ученикъ, бывшій съ нами же, восторгался по обыкновенію внѣшностью пѣвцовъ, театра, или „каково онъ пропѣлъ!“

Послѣ того я уже по собственному почину бывалъ нѣсколько разъ въ театрѣ на пьесахъ русскихъ, но не пристрастился къ нему, хотя сцена имѣла тогда Мочалова, Щепкина, Живокини, Садовскаго. Всѣхъ ихъ видѣлъ въ лучшихъ роляхъ, и Мочалова притомъ въ лучшіе его моменты, то есть въ моменты истиннаго вдохновенія, что съ нимъ не всегда случалось. Я оцѣнивалъ игру и наслаждался; но меня не тянуло повторить наслажденіе, какъ, знаю, тянетъ другихъ. Не берусь объяснить внутреннюю причину, но отчасти можетъ быть виноватъ недостатокъ зрѣнія и слуха; зрѣніе настолько слабо, что въ заднихъ рядахъ сидя, ничего не разбираю безъ бинокля, а съ бинноклемъ, особенно въ переднихъ рядахъ, начинаю видѣть гримировку. Притомъ общее впечатлѣніе сцены при биноклѣ пропадаетъ. Слухъ также слабъ, и я многого не разбираю. Балетъ и опера, поэтому, зрѣнію и слуху моему болѣе доступны. Но ни однимъ изъ видовъ сценическаго искусства театръ меня все таки не увлекъ.

При всѣхъ оказываемыхъ мнѣ ласкахъ я чувствовалъ себя все таки чужимъ на Зацѣпѣ, и должно быть смотрѣлъ угрюмо. Заключаю изъ того, что меня употребляли какъ пугало. Безъ того не проходило, чтобы въ домѣ не гостилъ кто нибудь изъ малютокъ, дѣтей Марьи Алексѣевны, старшей дочери Алексѣя Ивановича. А мнѣ было 18, 19 лѣтъ; юноша былъ благообразный. Но когда двухлѣтній мальчикъ слишкомъ разкапризничаетъ, такъ что съ нимъ „сладу нѣтъ“, призывался я, какъ *ultima ratio*. Прихожу, и мнѣ достаточно посмотреѣть, только посмотреѣть: ребенокъ усмиряется немедленно и вполнѣ. И вообще дѣти такого



воз меня боялись, не подходили ко мнѣ, не заигрывали, не ласкались. Напротивъ, ощущали неловкость, и если случалось, я останавливалъ на нихъ пристальный взоръ, прятались за старшихъ, убѣгали, или же раздражались плачемъ.

Не знаю, какъ думали обо мнѣ тѣ изъ знакомыхъ и родныхъ, куда, случалось, провожалъ я Алексѣя Ивановича по его приглашенію. Въ рюмочкахъ я не участвовалъ, въ разговорахъ также; я не въ состояніи бывалъ наладить себя на обсуждаемыя темы. Молча разглядывалъ я стѣны, бралъ книгу, если оказывалась таковая по случаю, и забывая всякое приличіе, тутъ же начиналъ читать про себя. Или удовлетворялъ свою любознательность разспросами: объ обстоятельствахъ службы, о порядкахъ, о старыхъ временахъ. Это случалось особенно когда оставался съ глазу на глазъ съ собесѣдникомъ, и молчаніе становилось полнымъ неприличіемъ.

## LVII.

### Дядюшка Петръ Ивановичъ.

Я называю его дядюшкой, потому что онъ доводился дядей моему ученику; родная сестра Алексѣя Ивановича, Авдотья Ивановна, была за Петромъ Ивановичемъ. Они были бездѣтны и проживали около Сухаревой башни на квартирѣ. Квартиры мѣняли, но мѣстности нѣтъ. Разъ Петръ Ивановичъ купилъ даже домъ, но на углу Уланскаго переулка и Садовой; съ Сухаревой башней не разстался. Онъ не могъ разстаться. Его препровожденіе времени было въ погребѣ или лавкѣ Богданова у Сухаревой башни. Это былъ его клубъ и его обсервационный пунктъ. Другаго мѣста и другаго дѣла у него не было.

Онъ былъ отставной квартальный, какъ я сказалъ. Сынъ ли онъ былъ даточнаго солдата, доводился ли онъ какъ даточному солдату, не помню. Но говоря о происхожденіи Петра Ивановича, Надежда Алексѣевна упоминала о даточномъ, поясняя: „чего же ждать послѣ того?“ Самъ Петръ Ивановичъ не безъ гордости упоминалъ, что ему приходится двоюроднымъ братомъ Михайлъ Петровичъ Погодинъ; Погодинъ въ послѣдствіи, когда я съ нимъ познакомился, подтвердилъ это родство. Самъ Михайлъ Петровичъ, какъ извѣстно, происходилъ отъ крѣпостныхъ; слѣдовательно не удивительна близость Петра Ивановича къ даточному солдату.

— Почему же Петръ Ивановичъ не служить? Человѣкъ въ силѣ, хотя и съ просѣдью.

— Его отрѣшили отъ службы, и уже не въ первый разъ. Наказывали его переводомъ изъ хорошаго квартала въ худшій; наконецъ выгнали.

— За что? любопытствовалъ я у „Матушки“.

— Жестокъ былъ очень; до смерти засѣкалъ. А тутъ было съ крѣпостнымъ человѣкомъ; не понялъ онъ что ли приказанія, кто его знаетъ. Вотъ его по жалобѣ помѣщика и отрѣшили отъ службы.

Меня заинтересовалъ квартальный, хладнокровно засѣкавшій до смерти. Кромѣ того Надежда Алексѣевна рассказывала чудеса о его сыскныхъ способностяхъ. По положенію своему въ домѣ Богдановыхъ, я не смѣлъ его спрашивать. Да и самъ онъ, когда пріѣзжалъ къ Алексѣю Ивановичу, болѣе молчалъ, ограничиваясь лаконическими изреченіями и напоминая мнѣ тѣмъ Собакевича, на котораго, какъ мнѣ казалось, походилъ онъ и наружностью. Онъ былъ высокаго роста и плотный, что называется — „ражій“ мужчина. Когда разгорячался въ разговорѣ и черные глаза его начинали сверкать подъ нахмуренными бровями, онъ былъ страшенъ, и я догадывался, что его въ былыя времена должны были трепетать попадавшіе къ нему подъ руку. Только послѣ, спустя нѣсколько лѣтъ, когда обществен-

тачки не жди отъ меня, и знали, что я всѣхъ знаю. Ну, и былъ порядокъ. Да развѣ и здѣсь на рынкѣ было ли бы жулья хотя одна душа, если бы порядокъ? обратился онъ снова къ Сухаревой башнѣ.

Ясно, что у него на душѣ наболѣло ежедневное созерцаніе безпорядковъ, которые по его мнѣнію ничего не стоило истребить.

— А говорятъ, вы много излавливали преступниковъ, спросилъ я.

— Да, отвѣчалъ онъ довольно равнодушно.

— Надежда Алексѣевна рассказывала, что вы отличились и награждены были за это особенно.

— Какъ же! Вотъ.

Петръ Ивановичъ полѣзъ въ конторку и досталъ листъ—какъ бы его назвать?—похвальнымъ, что ли, удостоившій, что квартальный поручикъ Андреевъ въ теченіе одного такого-то мѣсяца изловилъ и представилъ до двухъ сотъ бѣглыхъ и безпаспортныхъ. Не помню, кѣмъ изъ начальственныхъ лицъ подписанъ былъ этотъ листъ.

— Да это что? съ искреннимъ или притворнымъ небреженіемъ сказалъ Петръ Ивановичъ. Это пустое! Это еще когда я былъ поручикомъ, въ началѣ службы. Я былъ тогда въ Новинской части.

— Двѣсти человекъ, да въ одинъ еще мѣсяцъ, это не пустое, помигуйте, возразилъ я. Не даромъ же вамъ листъ выдали.

— Да такъ, пустое. Вотъ я вамъ скажу, бывали вы въ Живорыбномъ ряду и видѣли, какъ торговецъ черпакомъ беретъ рыбу и подаетъ вамъ? Вотъ все равно и это.

Я сильно заинтересовался. Отъ Надежды Алексѣевны слышалъ я, что Петръ Ивановичъ отличался необыкновенными поимками преступниковъ.

— Вѣдь бѣглые прячутся, продолжалъ я, живутъ Богъ знаетъ гдѣ. Какъ же...

— Эхъ, да вѣдь то-то и есть, что это глупый народъ;

отъ того и попадаетъ, что прячется. Знаешь, гдѣ онъ пребываетъ, и берешь. Этихъ двухъ сотъ человѣкъ гдѣ я набралъ? Больше на берегу.

Я выразилъ удивленіе.

— Да такъ. Сказывалъ я вамъ, что я былъ тогда въ Новинской части. По берегу-то Москвы рѣки лѣсъ лежитъ сплавной, привезенъ. Вотъ они между полѣньями-то и бревнами тамъ и укрываются; ночью особенно. Никто тамъ не видитъ. Оно и точно: кто туда ночью пойдеть? А сторожу что? Ничего у него не трогаютъ. Да если бы онъ и увидалъ что, такъ молчи, а то не сносишь головы. Ну, а я знаю; и пойду, бывало, обходомъ шарить между бревнами-то и тесомъ, и наберу: готовъ только веревки. Все это пустое; все это можно вывести. А теперь, посмотрите вы, подумайте; и обхода-то настоящаго не дѣлають.

Къ Петру Ивановичу снова подступала желчь. Я послѣшилъ отвести его мысли отъ современныхъ кварталныхъ.

— Мнѣ сказывала Надежда Алексѣевна, что вы по виду узнавали преступниковъ...

— Какъ же не узнать? Вѣдь вотъ я вамъ говорилъ, что когда хожу по рынку, то вижу,—не въ то время конечно, когда онъ уже лѣзетъ въ карманъ; а я вижу, что это за человѣкъ. Становится ужь очень досадно, когда и городской, смотришь, тутъ же торчитъ. И говоришь ему: что же ты, ворона, зѣваешь? Развѣ не видишь, это кто?

— Что же, беретъ тогда городской или прогоняетъ?

— Ждите! Ничего: ворона, какъ и есть, дуракъ и больше ничего. Развѣ такихъ нужно держать въ полиціи?

И у Петра Ивановича снова сверкнули глаза. Если бы попался ему въ ту минуту городской рогозѣй, онъ бы его, мнѣ казалось, въ клочья изорвалъ.

— Такъ вы и узнавали? (Я все ладилъ къ прошедшему).

— Да. Когда я служилъ въ Городской части, мое мѣсто было противъ Лобнаго, у Глаголя. Офицеръ долженъ быть на своемъ посту, повторилъ онъ опять внушительно. Можетъ полицеймейстеръ, Оберъ-Полицеймейстеръ проѣхать; я тутъ на лицо всегда, всегда можно найти; а то теперь ищите надзирателя; да и не найдете...

Я перебиваю его, предвидя, что онъ снова разразится въ негодованіяхъ.

— Конечно, конечно, поддакиваю. Это значить, съ которой стороны у Лобнаго, къ Никольской ближе?

— Ну, да, у Глаголя, я вамъ говорю. Сидишь, купцы обступать. А знаете ли, тутъ внизу, такъ народъ и снуется впередъ и назадъ, мимо Василя Блаженнаго. Ну, для шутки, увидишь кого и скажешь: а знаете ли, господа, кто прошелъ? Вотъ, видите, въ картузъ?

«— Видимъ. Кто же его знаетъ?

«— Это бѣглый дворовый человѣкъ.

«— Ну!

«— Хотите на дюжину?

«— Извольте. По рукамъ.

«— Я сейчасъ: Городовой!

И Петръ Ивановичъ восклицаетъ это зычнымъ полицейскимъ голосомъ.

«— Городовой, взять его! Береть, продолжаетъ Петръ Ивановичъ, опуская голосъ; беретъ, приводитъ.

«— Ты что за человѣкъ? (Петръ Ивановичъ заговорилъ опять полицейскимъ голосомъ).

«— Мѣщанинъ.

«— Откуда?

«— Изъ Весьегонска.

«— Паспортъ гдѣ?

«— Въ Рогожской, въ обозѣ.

«— Врешь! (и у Петра Ивановича глаза засвѣркали).

Ты бѣглый дворовый человѣкъ.

«— Виновать.

«— Вяжи ему руки.

„А мы, съ улыбкой самодовольствія тихо докончилиъ Петръ Ивановичъ, идемъ къ Бубнову выпивать пари“.

— Почему же однако вы узнавали?

— Да видно это.

— Какъ же это видно? И видно, что дворовый человекъ?

— Непремѣнно.

Надежда Алексѣевна дѣйствительно сказывала мнѣ, что Петръ Ивановичъ не только узнавалъ преступниковъ, но опредѣлялъ родъ преступленія, и мнѣ въ высшей степени интересно было теперь анализировать основанія, по которымъ отгадывалъ Петръ Ивановичъ профессію наблюдаемыхъ субъектовъ. Но усилія мои были тщетны.

— Почему же вы узнаете?

— Да такъ, по лицу видно, сказалъ Петръ Ивановичъ мягко и съ нѣкоторою даже нѣжностію. На лицѣ написано: знаете, совѣсть у каждаго есть, и видишь.

Меня такое объясненіе, разумѣется, не могло удовлетворить. Разговоръ происходилъ, когда я состоялъ уже на службѣ въ Академіи; у Петра Ивановича я былъ теперь на правахъ почетнаго гостя. Онъ жилъ тогда въ одной изъ Мѣщанскихъ, въ уютной свѣтленькой квартирѣ, въ верхнемъ этажѣ деревяннаго новаго дома. Неоклеенныя стѣны обдавали сосновымъ запахомъ.

— А вотъ что, Н. П., обратился ко мнѣ дядюшка. Закусимъ-ка. Не угодно ли, икру могу рекомендовать, балыкъ тоже, смотрите-ка; не найдете такого. Угодно вамъ полынной или померанцевой?

Какъ гастрономъ, Петръ Ивановичъ зналъ толкъ въ провизіи. Лучше его дѣйствительно никто не купитъ; зернистая икра оказалась превосходною.

— Однако какъ же это? Вы говорите: совѣсть говоритъ...

— Да вы сперва закусите, а я вамъ потомъ расска-

жу, какъ я двухъ воровъ поймалъ и золотые часы за нихъ получилъ и триста рублей въ подарокъ. Слышали вы объ этомъ?

— Да, да, слышалъ. Какъ же это было?

— Пожалуйста закусите.

Я повиновался.

— Это было въ самый сочельникъ, наканунѣ Рождества, морозъ большой, началъ Петръ Ивановичъ. Я служилъ тогда въ Новинской части (она тогда еще была). А правило мое: быть на посту. На лежанкѣ лежать или въ конторѣ торчать, на то писарь есть...

Я чувствовалъ, что начнется филиппика.

— И такъ, перебилъ я его, вы изловили двухъ воровъ?

— Ну, да; ну, да. Я объ этомъ вамъ и рассказываю. А надо вамъ знать, наканунѣ мы получили секретное предписаніе, что одного помѣщика обокрали на триста тысячъ рублей двое дворовыхъ людей и скрылись. Ну, понятно не станутъ они тамъ ждать, пробормоталъ, какъ бы въ скобкахъ, понизивъ голосъ, Петръ Ивановичъ. Приказано, стало быть, слѣдить. Сажу я на другой это день, въ сочельникъ, на углу, на Смоленскомъ рынкѣ, у лавокъ. У меня, знаете, правило было всегда: на углу, на перекресткѣ; видите, я вамъ сказывалъ, что когда служилъ я въ Городской части, то противъ Лобнаго мѣста...

Я боялся, что повторить мораль: „офицеръ долженъ быть на своемъ посту“.—Но прошло мимо.

— И здѣсь тоже на перекресткѣ, продолжалъ Петръ Ивановичъ. А напротивъ трактиръ; я какъ разъ противъ него; морозъ, я вамъ сказывалъ, сильный. Вижу вдругъ: подъѣзжаютъ къ трактиру сани тройкой, двое сидятъ, кушаками *поднасы*. Думаю, они!

— Да почему жъ они? перерываю я.

— Какъ же! Сани открытыя, тройка, кушаками *поднасы*...

Мнѣ осталось покориться такому объясненію.



— То есть какъ же это?

— Да вотъ какъ. Было Гусятниковское подворье. Народу перебываетъ тамъ пропасть, товару тьма; ну, и контрабанды тоже. За всѣмъ вѣдь и не усмотритъ содержатель. Да это ниче:о, а вотъ ни копѣйки отъ него не сходило. Вотъ мы и нагрянули на него съ ревизіей да съ обыскомъ. Само собой: поищешь, такъ всегда найдешь тамъ просроченный паспортъ, тотъ совсѣмъ безъ вида, а то и контрабанда; она ли нѣтъ ли, да подозрительно. Ну, и написали на него! Писарь пишетъ, а мы говоримъ: Иванъ Григорьичъ (дядюшка назвагъ подлинное имя, которое я забылъ), знай праздники! А ты пиши, пиши, говоримъ писарю. Тотъ пишетъ, а мы: Иванъ Григорьевичъ, знай праздники, почитай угодниковъ.

— Дорого ему обошлось! прибавилъ затѣмъ Петръ Ивановичъ послѣ минутной задумчивости. За то потомъ шелковый стагъ. Ну, да мы обывателей не обижали, наставительно прибавилъ дядя. Все въ удовольствіе сдѣлаемъ, а ужъ кражъ или чего такого, это прибави Богъ. Вотъ теперь, слышали вы, обокрали магазинъ?

Петръ Ивановичъ напомнилъ о случаѣ, который недавно описанъ былъ въ газетахъ.

— Такъ какъ же это можно? Значить, и обхода не дѣлалось! Да послѣ того весь городъ перекрадутъ.

Петръ Ивановичъ готовъ былъ расходиться.

— Но вѣдь и въ ваше время было же безъ того, замѣтилъ я.

— Было; за то мы и накрывали. Вамъ сказывали, какъ меня цѣлыя двѣ улицы воры тащили?

— Да.

— Такъ видите, дѣло было такъ. Я иду обходомъ, вижу: окно въ домѣ отворено. Стой! Какъ! Значить воры? А тутъ, внизу уже караулятъ товарищи; это—принимать вещи, которыя будутъ имъ кидать. Свистнули что ли, знакъ ли какой подали: всѣ бѣжать. Я въ до-

гонку; схватилъ двоихъ, а они меня; повалили. Да вѣдь со мной сладить трудно. Они вырываются отъ меня, я отъ нихъ, да такъ цѣлые два переулка по Зарядью проволокли.

— Кто же кого отпустилъ?

— Я не выпустилъ, и будочники явились. Воры знали, что я рта не развѣваю; шалостей не очень было. Да за то и тяжело было служить... У!... прибавилъ дядя, качнувъ головой.

— Чѣмъ же тяжело?

— Отвѣтственность! Александръ Сергѣевичъ Шулгинъ былъ добрый генералъ, но ужъ у него смотря. Да и накладно въ Городской части, начетисто.

— Куда же вы платили? На что тратили?

— Да вотъ на что: провизія тутъ отличная, вина, да и чего хочешь. Бывало прочтаетъ генералъ въ газетахъ или услышитъ: свѣжую зернистую икру привезли къ такому-то. Сейчасъ нарядъ къ Бубнову; заказать сколько тамъ дюжинъ шампанскаго, пять, десять, бургонскаго тамъ еще или какого, устрицъ: завтракъ чтобъ былъ богатый; полицеймейстера еще пригласить такого-то, да такого то еще частнаго; ну, и я тутъ, какъ мѣстный надзиратель. Да бывало, рублей по сту такъ съ брата и сойдетъ. Раскошеливайся... Ну, да съ меня-то не брали, меланхолически заключалъ, понизивъ голосъ, Петръ Ивановичъ послѣ нѣсколькихъ минутъ молчанія.

— Или вотъ къ цыганкамъ. Приказъ: винъ тамъ, десерту, чего, чего! Кто исполняетъ? Я. Пойдешь по погребамъ, заберешь. Поѣдемъ, кутежъ идетъ, дымъ коромысломъ. А вѣдь чего это стоитъ? Разъ этакъ со, считали на шесть сотъ рублей со всѣхъ-то сошло... Ну, да съ меня-то, положимъ, не брали, опять понизивъ голосъ, заключилъ Петръ Ивановичъ послѣ небольшой паузы.

— А въ Арбатской части вѣроятно было хуже?

— Тамъ ѣсть нечего было; что въ Арбатской, что въ

Пречистенской. Тамъ господа одни; всѣмъ угоди, а то и съ мѣста вышвырнуть. Одними людьми одолѣють.

— Какими людьми?

— Какъ же! Присылають человѣка: высѣчь. Другой присылаетъ дѣвку: высѣчь. Долженъ исполнить, а не всегда угодишь; на тебя же пожалуются. Разъ я своихъ пять рублей затратилъ, поблагодарилъ, кто надомилъ вора найти.

Я упрямиваю рассказать, какъ это было.

— Да такъ. На Тверскомъ бульварѣ, не по этой сторонѣ, гдѣ оберъ-полицеймейстеръ, а по той что къ Садовой, есть домъ; принадлежалъ онъ господину, вы его не могли знать, времени давно—надворному совѣтнику Дмитрію Павловичу Голохвастову.

Въ то время какъ дядя рассказывалъ это, Д. П. Голохвастовъ былъ попечителемъ Московскаго университета, и уже не надворнымъ совѣтникомъ. Но я не сталъ возражать и кивнулъ головою въ удостовѣреніе, что я действительно не имѣю понятія о Д. П. Голохвастовѣ.

— Требуешь онъ меня къ себѣ. — Являюсь. У меня, говорить, покража; вы должны найти.

«— Воровъ отыскивать есть наша обязанность; но позвольте, говорю, узнать, при какихъ обстоятельствахъ, гдѣ совершилась кража, и что украдено.

«— Украдено изъ коммоды, вещей тысячъ на семьдесятъ.

«— Позвольте посмотреть.

«Ведетъ меня, показываетъ коммодъ. А знаете ли, прибавилъ Петръ Ивановичъ конфиденціальнымъ тономъ и съ разстановкою: „Ни-ка-кой воръ ни-ко-гда чисто своего дѣла не сдѣлаетъ“.

«— Вотъ я смотрю. Должны быть слѣды; ну, гдѣ нибудь, какіе нибудь. Никакихъ, ни царапины, чисто. Я и говорю: имѣете вы, Дмитрій Павловичъ, на кого подозрѣніе? — Ни на кого! — Не подозрѣваете-ли кого изъ людей? — Я въ своихъ людяхъ увѣренъ; ни одинъ не тронетъ господскаго добра! — А вѣдь ясное дѣло,

продолжалъ Петръ Ивановичъ, что если украдено, то воръ былъ домашній.

«— Такъ вы не находите ничего нужнымъ мнѣ больше осмотрѣть?»

«— Ничего; а вы должны найти, иначе отвѣтите.

«Обидно мнѣ стало, а дѣлать нечего, ушелъ. Видите, вотъ такая Арбатская часть; гроша доходовъ нѣтъ, а тутъ Святымъ Духомъ находи воровъ. Не найдешь— поѣдешь къ генералу. Что ему? Ему слово сказать, и съ мѣста слетишь. А онъ съ нимъ въ клубъ, и вездѣ, въ обществѣ, тамъ и здѣсь, свои люди.»

— Такъ и не нашли? тревожно спросилъ я, безпокоясь, уже не за этотъ ли случай его оставили.

— Нѣтъ, нашелъ, успокоительно проговорилъ Петръ Ивановичъ. Но вѣдь я вамъ и говорилъ, что самому стоило пять рублей.

— За понимку?

— Да. Пошелъ я оттуда печальный. Думаю, что же дѣлать? Потребуется генералъ, никакихъ отговорокъ не приметъ. А мнѣ родить что-ли? Откуда возьму пропажу? Иду эдакъ, а у просвирни живетъ гадалка, видѣть меня въ окно и кличетъ: зайди, Петръ Ивановичъ! Зайду, думаю, и то; что она скажетъ?

«— Что такъ запечалился? говорить.

«Я рассказываю.

«— А вотъ что, совѣтуетъ она, выпей-ка сперва для бодрости; а я тамъ скажу тебѣ, какъ поступить.

«Подумалъ я: генералъ потребуется. Ну, что же! Скажу: для пользы службы выпилъ рюмку, ваше превосходительство!

«— Выпили. Гадалка мнѣ и говорить: по твоему, люди украли?

«— Разумѣется, говорю: свои люди.

«— Ну, такъ вотъ что: иди ты назадъ и потребуй, чтобы тебѣ показали людей непременно. Вотъ и все. Посмотришь ихъ и узнаешь. Хуже тебѣ не будетъ отъ этого.

«И то, думаю: хуже не будетъ, все равно поѣдетъ жаловаться.

«Прихожу. Докладываютъ. Говорю: воля ваша, Дмитрій Павловичъ, а позвольте мнѣ осмотрѣть вашихъ людей. У! Вспылилъ, закричалъ, наговорилъ дерзостей, что и люди-то у него лучше меня. Я на своемъ стою: вы желаете, чтобъ я отыскалъ пропажу; позвольте осмотрѣть людей.

«Согласился наконецъ, отвелъ залу. Собрали людей. Всѣ? я спрашиваю. Отвѣчаютъ: всѣ. А много ихъ было, съ полсотни. Я затворилъ дверь».

Петръ Ивановичъ продолжалъ затѣмъ рѣчь съ особенною торжественностью, медленно:

«Вотъ, оглянулъ я ихъ сперва мелькомъ. Потомъ сказалъ: становитесь въ рядъ. Разставилъ какъ солдатъ. Стали.

«Тогда я подошелъ къ первому и сталъ ему смотрѣть въ глаза. Смотрю эдакъ съ минуту, съ полторы, можетъ быть и меньше, не говоря ни слова; понюхаю табачку.

«Ничего!

«Подхожу ко второму. Также молча смотрю въ глаза, столько же времени.—Ничего!

«Подхожу дальше къ третьему, потомъ къ четвертому; все также молчу и смотрю, и все по столько же времени.

«Подхожу къ пятому, смотрю. Вижу, какъ будто въ лицѣ что-то есть. Но я вида не показавъ; простоялъ передъ нимъ столько же, сколько передъ другими, и такъ обошелъ всѣхъ...

Да вы бы выкушали, прерываетъ себя дядя, какъ французскій романистъ, на самомъ интересномъ мѣстѣ. Наливаетъ рюмку.

— Нѣтъ, благодарю, кушайте вы.

— Нѣтъ, кушайте, настаиваетъ хозяинъ.

Я понимаю, что послѣ долгаго разсказа ему самому нужно перевести духъ и промочить горло; прилебываю.

— Рябчикъ—чудо! говоритъ Петръ Ивановичъ, выпивъ рюмку и закусывая. Такимъ образомъ, говорю, я

обошелъ всѣхъ и ни въ комъ кромѣ пятого ничего не замѣтилъ. Начинаю сызнава. Опять подхожу къ первому, опять ко второму, опять къ третьему. Дошелъ до пятого: румянецъ на скулахъ показался. Опять я не подалъ вида; опять прошелъ всѣхъ, опять стою предъ каждымъ по стольку же. Иду въ третій разъ.

— Ну, да это вору пытка просто! воскликнулъ я не удержавшись.

— Конечно; да за то вѣрно; вотъ увидите. Прохожу въ третій разъ. Опять также молча, опять предъ каждымъ по стольку же, и опять кромѣ пятого ни у кого ничего; а у него на вискахъ потъ. Я прошелъ всѣхъ по прежнему, и потомъ подошелъ къ нему: ты любезный, говорю, останься; а вы всѣ уходите, обратился къ остальнымъ.

«— Ну, признавайся, ты обокралъ своего господина. Куда дѣлъ вещи?»

«— Нѣтъ.

«— Чего нѣтъ! Признавайся. Все равно, далеко спрятать ты не успѣлъ, домъ обыщемъ, покража найдется, и тебѣ очень, очень худо будетъ. А если самъ укажешь, гдѣ положилъ, я даю слово попросить твоего господина, чтобъ не такъ строго тебя наказалъ.

«Повалился въ ноги. Виновать!»

«— Гдѣ же?

«Подъ застрехой на чердакѣ».

Тогда я отворяю дверь и говорю: Дмитрій Павловичъ, пожалуйста; вотъ вашъ воръ, а вещи онъ вамъ укажетъ подъ застрехой на чердакѣ. Я же прошу васъ, накажите его не такъ строго; я ему это обѣщалъ. Прощать его конечно нельзя: онъ мало того что укралъ, да еще обманулъ довѣренность своего господина; но за признаніе и раскаяніе можно снизить въ наказаніи.

— Чѣмъ же кончилось? спрашиваю я.

— Какъ чѣмъ? Вещи нашлись.

— Нѣтъ, а поблагодарилъ ли васъ Дмитрій Павловичъ?

— Хоть бы плюнулъ, хоть бы слово сказалъ. Я говорю вамъ, что самъ заплатилъ пять рублей. Это я гадалкѣ пятирублевую: на, тебѣ, говорю, за совѣтъ, за то что надоумила. Да чего! Знаете ли? Не послушалъ и моей просьбы: вору никакой пощады, ни малѣйшей жалости! Вѣдь это что? Я толкую себѣ такъ: онъ больше всего обозлился, что предо мной осрамился, послѣ того какъ хвастался людьми. Вотъ они, господа! Вотъ вамъ и Арбатская часть, о которой вы изволите спрашивать.

Болѣе я не сталъ вывѣдывать. Послѣдній способъ, примѣненный къ пропажѣ у Голохвастова, самъ по себѣ ясенъ. Но „на лицѣ написано“, „совѣсть говоритъ“, — такіе отвѣты показываютъ, что почтенный Петръ Ивановичъ самъ не могъ отдать себѣ отчета, не могъ сознательно разложить черты; по которымъ распознавалъ бѣглаго, и притомъ каторжника и двороваго, или вора и убійцу. Можетъ быть поддалась бы анализу и эта поимка двухъ „на тройкѣ *подпасныхъ*“. Вѣроятно такъ было въ его головѣ: какіе де люди могутъ и куда ѣхать на тройкѣ въ открытыхъ саняхъ, наканунѣ праздника, въ сочельникъ? Они подпоясаны, слѣдовательно не проѣзжаютъ лошадей, а ѣдутъ въ даль; это доказывается и тѣмъ, что заѣхали въ трактиръ. И такъ далѣе. Объясненіе, которымъ ограничивался Петръ Ивановичъ: „на тройкѣ, въ открытыхъ саняхъ, кушаками подпасаны“ было частію тѣхъ признаковъ, по которымъ онъ судилъ и которыхъ не въ силахъ былъ формулировать.

Во всякомъ случаѣ Петръ Ивановичъ Андреевъ былъ замѣчательнымъ полицейскимъ, и полицейскому вѣдомству слѣдовало бы искать и воспитывать такихъ ищеекъ, которыя бы по аттестату, написанному на лицѣ, могли узнавать преступника и отгадывать видъ преступленія. Года четыре назадъ мнѣ пришлось говорить съ однимъ жандармскимъ офицеромъ. Я передалъ ему известное мнѣ о дядюшкѣ Петрѣ Ивановичѣ и спрашивалъ: есть ли теперь такіе? Тотъ отвѣтилъ утверди-



тельно и даже прибавилъ, что самъ по одному наружному виду узналъ преступника, покушавшагося на взрывъ желѣзной дороги, и руководимый первоначально этимъ чутьемъ, выслѣдилъ и арестовалъ его. Можетъ быть Петры Ивановичи не умираютъ дѣйствительно, хотя мы ихъ и не видимъ.

## LVIII.

## Игра судьбы.

Счастіе ли мое такое, что на жизненной дорогѣ попадались существа, рѣзко отмѣченные бытомъ, характеромъ, судьбой? Или вѣчное духовное одиночество, а отсюда нѣкоторое отдаленіе отъ окружающаго давали мнѣ подмѣчать особенности, ускользавшія отъ вниманія самихъ дѣятелей мірка, въ которомъ я вращался? Тотъ же Петръ Ивановичъ, отставной квартальный, вѣчный гость Богдановскаго погреба, отличный знатокъ провизіи, знавшій въ ней вкусъ и умѣвшій, гдѣ и какъ покупать лучшее, что онъ для другихъ? Прошелъ, какъ и всѣ, ничѣмъ не отличенный: мало ли отставныхъ чиновниковъ и квартальныхъ въ частности? Одинъ какъ другой. Меня поразило даръ физиономистики, которымъ надѣленъ былъ Петръ Ивановичъ, и я его эксплуатировалъ, выпытывалъ, заставляя рассказать происшествія съ интересовавшей меня стороны. А не одному мнѣ было извѣстно и о похвальномъ листѣ, ему пожалованномъ, и о часахъ подаренныхъ за поимку воровъ. Но для большинства знавшихъ важно было то, что вотъ человѣку выпала удача, а не то чѣмъ удача была достигнута. А можетъ быть и сотни еще, мимо которыхъ прошелъ и я не глядя, каждый прожилъ особенную въ чемъ нибудь внутреннюю ль, внѣшнюю ли исторію, хотя пошлая наружность и не отличаетъ ихъ отъ пошлаго окружающаго.

Петръ Ивановичъ былъ квартальный. Кромѣ событій, свидѣтельствовавшихъ о его сыскномъ чутьѣ, въ разсказахъ своихъ мнѣ онъ отчасти обнажилъ свою душу, невольно, не думая ее показывать; обнаружилъ нравственный кодексъ, внушавшій ему беречь обывателя отъ воровъ и вмѣстѣ учить того же обывателя почтенію къ праздникамъ; возмущаться, что начальство вынуждаетъ къ складчинѣ на дорогіе обѣды и тѣмъ же разомъ находить въ порядкѣ вещей, что этотъ самый обѣдъ ему, квартальному, обходился на чужой счетъ.

Какое, подумаешь, противорѣчіе! А меньшее ли противорѣчіе въ катихизисѣ офицера-героя, прогремѣвшаго на весь свѣтъ подвигами безстрашія въ битвѣ или самоотверженія въ осадномъ сидѣннѣ, а въ наступившее замиреніе обирающаго народъ по системѣ Сквозника-Дмухановскаго, или того хуже—во время самой войны обирающаго солдатъ, полуголодныхъ, больныхъ, раненыхъ? Всему свѣту извѣстно, до чего обыкновенна такая непослѣдовательность, повидимому невѣроятная. Разберите же душу такого офицера!

Душа квартального! Расскажу о случаѣ, который не со мною былъ, но который также обнажилъ душу другаго квартального, и притомъ съ другой стороны. Чѣмъ живетъ квартальный?—Доходами, разумѣется... Нѣтъ, а чѣмъ живетъ его душа? У Петра Ивановича по отношенію къ преступникамъ было чувство охотника; оно есть источникъ наслажденія борьбою, безкорыстнаго, идеальнаго. Не у всѣхъ квартальныхъ оно есть; но кромѣ прозаическаго услажденія утробы и кармана, шевелится же у нихъ и для души нѣчто въ утѣшеніе.

Было освященіе церкви. Студентъ съ пріателемъ, тоже изъ сланихъ воротниковъ, отправился и вошелъ въ олтарь, чтобы не тѣсниться съ народомъ, который въ такіе дни едва виѣщается въ храмѣ. Квартальный подходитъ къ молодымъ людямъ и вѣжливо, мягкимъ,

тономъ просить удалиться: присутствие ихъ будетъ вѣшать священнодѣйствующимъ. Студенты вышли. Вотъ и все. Кажется, ничего болѣе.

Наступаетъ вечеръ. Тѣ же студенты сидятъ въ квартирѣ одного изъ нихъ; а квартира отдалена лишь тонкой перегородкой отъ помѣщенія, занимаемаго нисарскимъ кварталомъ. Слышать они: входитъ квартальный, и по голосу его замѣтно, что за угощеніемъ не востоялъ храмоздатель. Квартальный баситъ, подражая протодіакону:

„Вое-на-чалъ-ни-комъ, градо-на-чалъ-ни-комъ....“<sup>1</sup>

— А намъ, Петя, многолѣтіе возглашала нынче!... Говоритъ квартальный и продолжаетъ басить: „Вое-на-чалъ-ни-комъ, градо-на-чалъ-ни-комъ...“<sup>2</sup>

— Тамъ въ олтарѣ студенты стояли. Я имъ сказать: „пошли вонъ!“ (Квартальный произнесъ это слово повелительнымъ рѣзкимъ тономъ) .. Вышли.... „Вое-на-чалъ-ни-комъ, градо-на-чалъ-ни-комъ.....“<sup>3</sup>

И такъ, вотъ процессъ, пережитый душою квартальнаго, во время церемоніи. „Захочу и выгоню; и пойдутъ; ученые люди повинуются“. Стражъ благочинія услаждается властью, которою онъ облеченъ. А затѣмъ еще полнѣе услаждается торжественною почестью: ему, ему въ числѣ другихъ здравствовалъ протодіаконъ, возглашала многолѣтіе „градоначальникомъ“. Да не онъ ли одинъ, изъ присутствовавшихъ сверхъ частнаго приостава, и былъ „градоначальникъ“ на церемоніи?

Этимъ замѣчаніемъ о недостаточности границъ между обыкновеннымъ и чрезвычайнымъ начинаю разсказъ объ особенной судьбѣ старшей дочери Алексѣя Ивановича. Судьба ея была особенная, но въ самой особенности не была ли обыкновенною?

Съ пеленокъ, какъ читатели уже знаютъ, Марья Алексѣевна взята была благодѣтельницею Надежды Алексѣевны, ея крестной матерью. Надежда Федоровна не надышала на свою воспріемную внучку. Не на положеніи куклы, которою утѣшаются, которую любятъ,

но которую держать между дѣвчьею и спальнею, лишь нѣсколько отличая отъ Палашекъ и Матрешекъ,—Машенька сосредоточила на себѣ всю любовь, заботливость, почти обожаніе „барышни“, уже заканчивавшей вѣкъ. Для Машеньки исключительно и живетъ „бабушка“; ей готовить состояніе, копить остатки отъ доходовъ, немалыхъ при пятистахъ или болѣе душахъ. Машенька не отличена отъ родныхъ племянницъ и даже предпочтена имъ. И должно отдать справедливость питомицѣ: она была вполнѣ достойна той, почти страстной нѣжности, которую питала къ ней „бабушка“. И наружность и душевныя качества ея были равно прекрасны. Правильныя, чрезвычайно миловидныя черты лица, мягкій голосъ и столь же мягкія манеры, и къ этому душа столь же мягкая, деликатная, покорная. Я узналъ ея во второй порѣ молодости и въ возрастѣ, приближавшемся къ старости: ни раза я не замѣтилъ никогда ни рѣзкаго движенія, ни рѣзкаго голоса, тѣмъ менѣе рѣзкаго поступка; и мнѣ ясно, почему ея боготворила бабушка, видѣла въ ней порошинку, заслуживающую, чтобъ ее холить и беречь, бояться, чтобы самое легкое дуновеніе ея не коснулось.

Слѣдуя за вѣкомъ, не захотѣла бабушка лишить боготворимую внучку и умственного воспитанія; нужно, чтобъ ея крошки, будущей наслѣдницы, не погнушались самый знатный женихъ, чтобъ каждый за честь почелъ, если его удостоятъ вниманіемъ. Надежда Федоровна обратилась въ Екатерининскій институтъ съ просьбою доставить лучшую воспитательную силу, какою располагало заведеніе; за вознагражденіемъ она не постоитъ. Отпущена ли была какая изъ классныхъ дамъ, или уже послѣ гувернантка Марья Алексѣевна поступила въ классныя дамы института, если не въ инспектрисы, этого до меня не дошло; но достоверно, что она была классной ли дамой, инспектрисой ли, и это указываетъ мѣру заботливости, какую прилагала „бабушка“ къ своей пріемной внучкѣ.

Фамилія воспитательницы удержана моею памятью, но я не назову ее. Съ умомъ и образованіемъ, сколько понимаю теперь, она соединяла характеръ, немногимъ уступающій характеру извѣстной Булахъ. Она не думала помрачать разсудка своей питомицы, подобно Булахъ; напротивъ приложила стараніе передать ей свои знанія и умственное развитіе; но у нея былъ братъ, и она не упустила ея сердцу питомицы разставить паутины, чтобъ лакомый кусокъ, бывшій у нея на рукахъ, не ушелъ отъ нея замужествомъ. Четырнадцать, пятнадцать лѣтъ была Машенька, ее вывозили уже по сосѣдямъ, и многіе за нею увивались. Воспитательница нашла полезнымъ представить Надеждѣ Федоровнѣ и своего брата-офицера. Какъ вела она интригу, неизвѣстно, да и знать не нужно: умная женщина сумѣла представить брата въ привлекательномъ свѣтѣ; онъ самъ не упустилъ стараній понравиться, и бабушка уже рѣшалась благословить внучку; но уважая родительскія права, не преминула сообщить и Надеждѣ Алексѣевнѣ съ Алексѣемъ Ивановичемъ о представляющей партіи. Родители оказались менѣе легковѣрными: навели справки. Свѣдѣнія оказались не въ пользу намѣченного жениха: онъ славился, какъ клубный игрокъ, и притомъ не безупречнаго поведенія.

Послѣ такого открытія, понятно, Надежда Федоровна отложила свое намѣреніе, можетъ быть и съ сожалѣніемъ: искусительница продолжала жить при ней и не думала отступаться отъ своего плана, хотя видимо и покорилась. Подробности мнѣ неизвѣстны, но изъ нѣкоторыхъ обстоятельствъ заключаю, что она поощряла переписку между своею питомицею и братомъ, и кажется, рѣшила устроить побѣгъ или похищеніе: нужно было только дождаться „лѣтъ“, то есть когда исполнится Марѣ Алексѣевнѣ шестнадцать. Но неожиданное обстоятельство опрокинуло замыселъ. Не ждавшіе и не гадавшіе Зацѣпскіе родители въ одинъ осенній день увидѣли подъѣхавшій къ ихъ воротамъ дормезъ

шестерней, со всѣми признаками дальняго барскаго путешествія: баулами, дорожными сундуками и кучею людей на козлахъ, на запяткахъ, на переднихъ выносныхъ.—„Что значитъ? маменька пріѣхала!“

Нѣтъ, не маменька пріѣхала; „маменька“ скончалась и зарыта, а привезли Машеньку съ ея воспитательницею, съ ея гардеробомъ и со всею челядью, которая ходила за нею при покойной „барышнѣ“. Надежда Ѳедоровна скончалась внезапно, „наскоро“, отъ холеры, и наслѣдники попросили питомицу покойной отправиться къ родителямъ. Конечно безъ намѣренія насмѣяться, но въ тонѣ, который для родителей звучалъ злѣйшей ироніей, письмо, вмѣстѣ съ извѣщеніемъ о кончинѣ Надежды Ѳедоровны, предлагало Машенькѣ оставить при себѣ прислугу, которая за ней ходила, и —даже лошадей.

Но Машенька была объявленной наслѣдницей? Да, и завѣщаніе было написано, подписано и засвидѣтельствовано. Да хранилось-то завѣщаніе въ коммодѣ самой бабушки, и не шестнадцатилѣтней дѣвочки, не опытной и притомъ безконечно робкой и покорной, заявлять было о своихъ правахъ нагрянувшимъ наслѣдникамъ. А воспитательница предпочла сыграть роль, которая представлялась выгоднѣйшею: при извѣстномъ несогласіи родителей, желанный бракъ, даже посредствомъ похищенія, обращался въ бесполезную затѣю.

Одинъ изъ наслѣдниковъ (ихъ оказалось много, за отсутствіемъ ближайшихъ кровныхъ, перемершихъ притомъ безъ потомства) пріѣзжалъ чрезъ нѣсколько времени на Зацѣпу „для объясненій“. Не отрицалъ существованія завѣщанія, но выражалъ сомнѣніе въ его подлинности: рука покойницы не похожа. Свидѣтель, (чуть ли не священникъ) по его словамъ, тоже отрекается отъ подписи. Не согласится ли Алексѣй Ивановичъ на сдѣлку? Алексѣй Ивановичъ выпрямился, на сколько позволялъ ему его малый ростъ, и съ тою медленностью, которая свойственна была его рѣчи въ

важныхъ случаяхъ, произнесъ: „своею дочерью я не торгую и оскорблять память благодѣтельницы нашей себѣ не позволю. Не хотите вы признать завѣщанія,— воля ваша. Я дѣла начинать не стану, успокойтесь; а подаванія отъ васъ не приму“.

Съ небольшими сравнительно деньгами, выданными въ попыхахъ при отправкѣ въ Москву, во всякомъ случаѣ значительно превосходившими дорожныя издержки, такъ и осталась на рукахъ у родителей боготворимая Машенька. Часы, которые всего за нѣсколько недѣль до смерти подарила бабушка своей питомицѣ, и тѣ остались было у княгини, одной изъ наслѣдницъ. Княгиня до сіятельнаго титула воспитывалась вмѣстѣ съ Машенькой, была съ ней на „ты“, считалась ея другомъ, бывши почти ровесницею. Перебирая вещи, княгиня однако вспомнила, кому были подарены часы, и возвратила.

И лошади съ экипажемъ, и люди отпущены; поблагодарили и Анну Павловну за проводы. Настала для Марьи Алексѣевны новая жизнь, не бѣдственная правда, Алексѣй Ивановичъ съ Надеждою Алексѣевной, по своему положенью, были даже богаты; но что значила жизнь въ домѣ московскаго священника, съ одною, много двумя прислугами, сравнительно съ барскими хоромами и цѣлымъ полчищемъ дворни? Марья Алексѣевна не умѣла, да! не умѣла ни обуться, ни одѣться, ни причесать голову, и туалетъ ея, въ которомъ помогали ей теперь сестры, въ первое время извлекалъ у нея ежедневно слезы,—не объ утекшемъ богатствѣ, а объ неумѣньѣ исполнять столь простыя вещи. При первой попыткѣ она гребнемъ только выдирала себѣ съ болью волосы; застегнуться оказалось мудреною наукой. Наконецъ она не умѣла... ходить! По полу она ходила, и притомъ только по ровному; на неровныхъ половицахъ спотыкалась, а на дворѣ и на улицѣ даже падала. Сохранился трагикомическій рассказъ о томъ, какъ родители, прилагавшіе все усиліе, на сколько было въ ихъ



средствахъ, внушить Машенькѣ забвеніе объ ея сиротствѣ, купили ей самую дорогую шляпку, съ виноградомъ (стекляннымъ, разумѣется), какъ требовала послѣдняя мода. Отправилась Машенька въ церковь обновить изящный уборъ; счетомъ до церкви ровно двадцать шаговъ. Но и тѣхъ она не прошла, упала; шляпка свалилась и отъ винограда осталось битое стекло.

Года три или четыре прожила Марья Алексѣевна въ домѣ родителей, приучившись потомъ сама ходить за собою. Родители оказывали ей все вниманіе, сестры съ братомъ всю любовь. Сватались женихи, одинъ за другимъ, по памяти деревенской; хотя богатство ушло, но наружныя и внутреннія достоинства оставались не менѣе привлекательными. Находились и въ Москвѣ желавшіе ея руки; партіи представлялись на столько выгодныя, что никакая другая поповна не могла бы и помыслить о подобныхъ. Но Марья Алексѣевна упорно отказывала и виднымъ помѣщикамъ и не менѣе виднымъ инженерамъ. Почему? Потому ли, что наружность ихъ не привлекала сердца? Ея рѣдкая скромность не выдавала тайны; но можно изъ послѣдующаго догадываться, что первая любовь, въ которой ее воспитали, глубоко пустила корни. Можетъ быть она надѣялась на возвратъ ея; можетъ быть поклявшись нѣкогда въ *вѣчной* любви (первая любовь всегда бываетъ вѣчною) рѣшилась сдержать слово, не смотря на его измѣну.

Въ приходѣ Алексѣя Ивановича жилъ одинъ домашній учитель, бывшій студентъ Медико-хирургической Академіи, не кончившій курса и добывавшій безбѣдный хлѣбъ уроками по купеческимъ домамъ. Къ Алексѣю Ивановичу онъ былъ вхожъ, тѣмъ болѣе что и батюшкины дѣти отчасти не миновали его уроковъ. Въ одинъ зимній мясоѣстъ къ Николаю Тимоѣевичу (имя учителя) пріѣхалъ на побывку лѣкарь изъ Свеаборга, нѣкогда товарищъ по Академіи, не имѣвшій ни души знакомыхъ въ Москвѣ. Женитьба была одною изъ цѣлей его поѣздки и его надеждою. Увидѣвъ пріѣзжій

гость Марью Алексѣевну въ церкви.—„Посватай“.—Высоко братъ берешь. Посмотри на себя, кто ты и что ты, что въ тебѣ и на тебѣ, и что у тебя; и живешь-то ты Богъ знаетъ гдѣ. Сватались такой-то и такой-то, остались съ носомъ. NN неотступно ухаживалъ, больше года, партія завидная; и тому отказано.

Гость однако настаивалъ, и хозяинъ, скрѣпя сердце, согласился; прежде всего попросить батюшку съ семействомъ на чай. Это было за обыкновеніе, и всею семьєю, съ тремя дочерьми и малолѣткомъ сыномъ, отправились Алексѣй Ивановичъ и супруга. Когда возвратились домой, много было смѣха въ семьѣ на неуклюжую наружность пріѣзжаго лѣкаря, на его мундиръ съ черной портупеей, на угловатыя манеры, и односложныя отвѣты съ повтореніями и запинаньями: „да, да, да!“ „вотъ, вотъ...“ и т. п.

На другой же день утромъ явился къ Алексѣю Ивановичу Николай Тимоѣевичъ просить позволенія привести съ собой гостя, намекнувъ при этомъ и о его желаніи просить руки Марьи Алексѣевны. Подивился про себя Алексѣй Ивановичъ, но просилъ пожаловать къ обѣду. Младшія дочери во время обѣда едва удерживались отъ смѣха, и матушка сама кусала губы, морщась по адресу надсаживавшихся отъ усилія удержать смѣхъ. Обѣдъ кончился, и пріѣзжій гость немедленно же въ сепаратной аудіенціи у родителей сталъ просить руки старшей дочери „Это отъ нея зависитъ“, отвѣчали родители. Одна изъ младшихъ дочерей тутъ подвернулась, и ее отправили „на верхъ“, къ Машенькѣ, сообщить предложеніе. Съ хохотомъ отправилась посланница и едва переводя духъ отъ смѣха сообщила: „а знаете, Машенька, что выдумалъ *этотъ*? Вѣдь онъ къ Вамъ сватается. Не вѣрите? Право...“ И хохотъ снова прервалъ ея слова.

— Чему же ты смѣешься? отвѣтила старшая сестра кротко по своему обыкновенію, но серіозно и почти строго. Смѣшнаго тутъ ничего нѣтъ; я согласна за него выйти.

Вѣстница окаменѣла. Поражены были и родители. Гостямъ сказали, что отвѣтъ на предложеніе они получаютъ можетъ быть завтра.

— Машенька! Что ты дѣлаешь? Неужели это правда? Ты соглашаешься? Не говоримъ объ его наружности; сама ты вчера на нее смѣялась. Но подумай, чѣмъ вы будете жить при ничтожномъ жалованьи корабельнаго врача? И притомъ ѣхать въ такую даль, за тысячу слишкомъ верстъ отъ насъ, разлучиться со всѣми родными....

Машенька плакала, отвѣчала, что ей разстаться съ домомъ будетъ очень тяжело, но что она рѣшилась. Наружность ничего не значить; бѣдность она перенесетъ. Говорятъ же, онъ добрый человѣкъ; потому она надѣется его полюбить и будетъ счастлива.

Сколько доводовъ, предостереженій, слезъ ни истощали родители и сестры, Машенька была непреклонна: согласна, иду за него.

Повиновались родители; передали отвѣтъ. А срокъ отъпуска свеаборгскому врачу наступалъ. Черезъ нѣсколько дней, нагавнувъ масляницы, онъ былъ обвинчанъ и изъ церкви прямо перешелъ на житье съ новобрачной въ домъ тестя. А еще черезъ нѣсколько дней глухой тарантасъ повезъ молодыхъ супруговъ въ Свеаборгъ. Марья Алексѣевна этого не помнила: ее положили въ повозку безъ чувствъ, почти бездыханную.

Что такое? Ни я, ни изъ кровныхъ родныхъ никто не рѣшался потомъ никогда допрашивать объ этомъ душевномъ переворотѣ, объ этой неожиданной и невѣроятной рѣшимости. А сама Марья Алексѣевна, при своей врожденной скромности, тѣмъ менѣе находила нужнымъ пускаться въ объясненіе; говорила только, что не скоро привыкла къ мужу; что въ отсутствіе его, при частыхъ отлучкахъ, требовавшихся службою, она въ однихъ слезахъ проводила время, не давая мужу однако даже догадываться о своемъ душевномъ состояніи. Она была къ нему внимательна, а онъ души въ ней не

чаялъ; для общества же офицеровъ она была яснымъ солнцемъ.

Тоска однако сквозила во всѣхъ ея письмахъ къ роднымъ. Съ какою жадностью они читались! Съ какимъ вниманіемъ приглядывались ко всему, что шло отъ любимѣйшей дочери! Когда я поступилъ на Зацѣпу, уже больше пяти лѣтъ прошло со времени замужества Марьи Алексѣевны, но старики съ любовію обращались къ рассказамъ о Свеаборгѣ, о финляндскихъ обычаяхъ, о финнахъ и шведахъ, о безпошлинныхъ товарахъ, тамъ получаемыхъ, вынимали дочернія письма, нѣкогда полученные, и заставляли любоваться необыкновенною тониною почтовой заграничной бумаги и самымъ начертаніемъ писемъ: бумага исписывалась вдоль, а потомъ и поперекъ, по писанному, — отъ полноты чувствъ, не умѣщавшихся на листѣ.

Не выдержали ни родители ни дочь. Годъ съ небольшимъ прошелъ, и Марью Алексѣевну съ мужемъ упростили переѣхать въ Москву. Службы для него въ Москвѣ не предвидѣлось; но не можетъ же быть, найдется мѣсто; а пока домъ родителей къ услугамъ. И они переѣхали; онъ бросилъ службу.

Не на веселое же житіе и промѣняли они свое изгнаніе. Старики были рады, ласковы, ни въ чемъ не отказывали. Но цѣлыхъ четыре года прошло, прежде чѣмъ зятю отыскали мѣсто, и притомъ именно тестъ съ тещей, найдя черезъ знакомыхъ дорогу къ медицинскому начальству. А частной практики у зятя не было: онъ былъ вообще „неискательный“, и все примѣненіе врачебнаго искусства ограничивалось у него лѣченіемъ огородниковъ и ямщиковъ, притомъ безмезднымъ, да и лѣкарствами-то иногда, на собственный счетъ купленными. Между тѣмъ одинъ за другимъ пошли дѣти. При моемъ поселеніи на Зацѣпу, назначеніе Дмитрія Александровича (какъ звали мужа Марьи Алексѣевны) врачомъ въ уѣздный городъ только что состоялось, и она съ троими дѣтьми еще проживала у родителей

нѣсколько недѣль, прежде чѣмъ ее проводили. Да и то дѣти были не всѣ увезены. Дѣдъ съ бабкой удержали одного, и затѣмъ во все время замужества Марьи Алексѣевны, не переводилось на Зацѣпѣ безъ ребятъ; первыя попеченія о новорожденныхъ лѣтъ до трехъ, четырехъ лежало на старикахъ, и они находили въ томъ утѣшеніе.

„Во время замужества“, сказалъ я, потому что черезъ шесть лѣтъ новаго мѣстожителства Марья Алексѣевна овдовѣла и снова переселилась къ родителямъ, у которыхъ и оставалась до ихъ кончины. Съ кончиною мужа Марьи Алексѣевны связаны два обстоятельства, о которыхъ не могу умолчать.

Служила у нея одна пожилая дѣвушка изъ Москвы не то компаньонкою, не то экономкою, вѣрнѣе—и тѣмъ, и другимъ. „Худо!“ сказала она роднымъ Марьи Алексѣевны, пріѣхавъ разъ въ Москву на побывку. „Власьева, гадалка, на чаю высмотрѣла, что Дмитрій Александровичъ нынѣшнимъ годомъ умереть. Марья Алексѣевна будетъ жить въ какомъ-то большомъ городѣ, словно въ Мбсквѣ, а дѣти—въ большомъ, пребольшомъ домѣ“. — „О Дмитрій-то Александровичъ, прибавила Анна Секундовна, Власьева не сказала Марьѣ Алексѣевнѣ, а только мнѣ; а объ дѣтяхъ и объ ней самой сказала. Марья Алексѣевна такъ порадовались даже; не знаютъ, бѣдная, какая бѣда грозитъ“.

Это я слышалъ отъ Анны Секундовны въ 1847 году, зимою, а въ 1848 году лѣтомъ, мужъ Марьи Алексѣевны умеръ отъ холеры, она переехала въ Москву, и дѣти ея взяты были въ Воспитательный Домъ. Можетъ быть это есть случайное совпаденіе, во всякомъ случаѣ замѣчательное. Не умолчу, что любопытство во мнѣ было возбуждено, и я вскорѣ уговорилъ двухъ своихъ товарищей по академіи поѣхать къ Власьевѣ, адресъ которой я узналъ. Мы трое, каждый порознь, предложили ей свою судьбу на разгадку. Я помню, что предсказаніе дочери Алексѣя Ивановича было высмотрѣно „на

чаю“, и потому потребовалъ, чтобы употребленъ былъ не другой, а этотъ способъ гаданья (Власьева предложила сначала на картахъ). Ворожея не отказала, но наговорила небылицы, ни на комъ изъ насъ не оправдавшіяся, и любознательные рубли, нами ей врученные, оказались потраченными даромъ.

Другой случай. По переездѣ въ Москву послѣ потери мужа, Марья Алексѣевна удостоилась неожиданнаго визита. Явился къ Зацѣпскимъ старикамъ старичекъ тоже, отрекомендовался дворецкимъ или прикащикомъ той княгини-наслѣдницы, о которой выше рѣчь была. Онъ освѣдомлялся, гдѣ можетъ найти Марью Алексѣевну, и удивился, что она овдовѣла и живетъ тутъ же въ Москвѣ, притомъ въ этомъ же домѣ. Мнѣ поручено, сообщалъ онъ, передать Марьѣ Алексѣевнѣ пять тысячъ рублей. Удивила такая поздняя память бывшей сверстницы—черезъ пятнадцать лѣтъ! Во всѣ пятнадцать лѣтъ не было никакихъ сношеній, ни переписки, ни съ нею, ни съ кѣмъ изъ бывшихъ знаемыхъ въ Епифани.

Неожиданнаго вѣстника пригласили откушать чаю. Разговорились; старики дивились. „Да вотъ что я доложу вашей милости, сказалъ между прочимъ посланецъ, понизивъ голосъ. „Покойница-то“ очень докучала ея сіятельству. Все снилась, и „обидѣла ты, говорить, Машеньку (то-есть Марью-то Алексѣевну), обидѣла“. Это ужъ не разъ, говорить, было; намъ извѣстно. А въ послѣднее-то время особенно, дѣвушки сказывали, покойница, царство ей небесное, тревожила княгиню, все приставала. Такъ вотъ видите, ея сіятельство-то и пожелали исполнить волю бабушки. Покойница-то вѣдь ихъ любили, Марью-то Алексѣевну, души въ ней не чаяли. Мы помнимъ, изволю я вамъ доложить, прибавилъ дворецкій, въ утѣшеніе ли старикамъ, въ укоръ ли наслѣдникамъ, однихъ денегъ-то наличныхъ отказано было Марьѣ Алексѣевнѣ, мы знаемъ, сто тысячъ. Эти-то деньги, что я привезъ, можетъ и полная доля, что изъ

Марьи Алексѣевниныхъ досталось нашей-то княгинѣ, а можетъ и нѣтъ“.

Пожалуй, опять не болѣе какъ совпаденіе: совѣсть говорила, воплотилась въ сонномъ видѣніи; все это естественно. А почему неотступнѣе всего стала докучать совѣсть именно ко времени, когда обездоленная потеряла послѣднее, мужа-опору,—тутъ можно видѣть случайность.—Но случайность ли?—вопроса объ этомъ я не возьму на себя рѣшить.

## LIX.

### Донъ-Кихоты Просвѣщенія.

Тѣмъ временемъ я доканчивалъ свой семинарскій курсъ. Послѣдній годъ его ознаменованъ былъ происшествіемъ, доставившимъ не малое развлеченіе молодымъ богословамъ. Разъ вмѣстѣ съ ректоромъ, преподававшимъ на тотъ годъ Нравственное Богословіе, входитъ къ намъ пожилой мужчина въ бакенбардахъ и въ слѣдъ за молитвою садится рядомъ съ учениками на концѣ скамьи, ближайшей къ двери. Молча просидѣлъ онъ классъ и молча вышелъ за ректоромъ. Одинокій случай и не обратилъ бы на себя вниманія, но затѣмъ онъ сталъ ежедневно повторяться, и наконецъ неизвѣстный посетитель издалъ голосъ. Не помню по поводу какой-то нравственно-богословской формулы онъ всталъ, не то съ возраженіемъ, не то съ объясненіемъ, которое произнесъ громкимъ и до нѣкоторой степени ораторскимъ голосомъ, растягивая концы словъ. Выслушалъ ректоръ, выслушали мы, изумленные. Говорилъ человѣкъ какого-то другаго міра, словами для насъ непривычными и въ связи для насъ непонятной, хотя о предметѣ извѣстномъ, о которомъ сейчасъ шла рѣчь. Ректоръ поручилъ одному изъ учениковъ дать отвѣтъ; самъ прибавилъ нѣсколько словъ, уклончивыхъ во всякомъ случаѣ, потому



слушалъ ректорскія лекціи, а въ залѣ средняго (философскаго) отдѣленія произнесъ рѣчь, послѣ обычнаго привѣтствія «братіе», начинавшуюся словами: «братъ нашъ Павелъ умеръ; тѣло его состояло изъ кислорода, водорода, углерода и азота, которые высвободились». Потрактовавши покойнаго съ химической точки зрѣнія, онъ перешелъ къ нравоученію: «а гдѣ его душа?» и проч...

Чудакъ! Да; вѣжливіе и точнѣе сказать: «эксцентрикъ». Прохоровъ былъ по своему образованный человѣкъ и другъ народа. Если не ошибаюсь, онъ давалъ даже средства на изданіе назидательныхъ книжекъ. Въ числѣ произведеній его фабрики были нравоучительныя платки, то есть съ изображеніями и текстомъ; помнится, онъ ихъ и изобрѣлъ. Словомъ—фабрикантъ-миссіонеръ, и проникнутый этимъ призваніемъ, онъ искалъ и случаевъ и правъ учить народъ. Случай ему давался самъ собой въ видѣ рабочихъ; онъ собиралъ ихъ послѣ богослуженія и говорилъ проповѣди, вѣроятно еще менѣе понятныя для нихъ, чѣмъ были понятны намъ рѣчи, къ намъ обращенныя. Но этого ему мало было: онъ завидовалъ каждому студенту, становившемуся за аналой въ стихарѣ, лицомъ къ народу, а тѣмъ болѣе священнослужителю. Такъ пояснилъ мнѣ, лѣтъ черезъ двадцать послѣ того какъ Прохоровъ слушалъ лекціи въ семинаріи, священникъ, бывшій слушатель и потомъ сослуживецъ мой по Академіи; товарищу моему пришлось состоять съ оригинальнымъ фабрикантомъ въ частыхъ и близкихъ сношеніяхъ. Онъ же передавалъ мнѣ, что позволеніе слушать лекціи Богословія испрошено было Прохоровымъ именно въ надеждѣ удостоиться проповѣдническаго стихаря.

Разумѣется, опытъ скоро разочаровалъ почтеннаго фабриканта. Самъ ли онъ увидалъ, что нельзя начинать съ уроковъ Нравственнаго Богословія безъ подготовительныхъ свѣдѣній; внушилъ ли ему кто, что стихаря ему все-таки не получить; или просто онъ заскучалъ, не находя въ семинарскихъ стѣнахъ благодарнаго по-

прища: чрезъ нѣсколько недѣль, можетъ быть даже дней, онъ исчезъ и не показывался болѣе въ семинарію.

Приходилось мнѣ въ жизни потомъ зазнать не одного изъ такихъ эксцентриковъ, людей идеи во всякомъ случаѣ, честнѣйшихъ и одаренныхъ умомъ, даже не дюжиннымъ, но... нѣсколько помѣшанныхъ. Безъ прочнаго фундамента свѣдѣній, умъ ихъ спѣшилъ составлять выводы, создавалъ цѣлыя міросозерцанія, воображеніе уносило, и въ итогѣ оказывалось недоразумѣніе: ни онъ не понималъ окружающей жизни, ни его—окружающая жизнь; и практически большею частію не умѣли они прилаживаться къ даннымъ условіямъ: шары, выкинутые центробѣжною силою съ вертящейся доски, потому что не сумѣли помѣститься на надлежащемъ разстояніи отъ центра. И понятія у нихъ свои и логика своя; въ довершеніе—неуклонная прямолинейность. Говоришь, возражаешь. Онъ повидимому тебя слушаетъ, даже поддакивается, отвѣчаетъ: „понимаю“. Но вы остановились, и какъ бы ни длинна была ваша рѣчь, — собесѣдникъ оканчиваетъ вторую половину фразы, которую четверть часа тому назадъ вы не дали ему договорить, прервавъ своею рѣчью.

Былъ довольно близкій мнѣ человекъ, два года прожившій со мною въ одной комнатѣ, въ послѣдствіи не безызвѣстный въ литературѣ: архимандритъ Феодоръ, потомъ сложившій съ себя санъ и писавшій подъ своимъ свѣтскимъ именемъ Бухарева. Въ 1864 году, въ маѣ мѣсяцѣ, мнѣ пришлось быть въ Переславлѣ Залѣскомъ. Тамъ проживалъ Феодоръ на испытаніи или увѣщаніи, которое положено было ему отъ Св. Синода, прежде чѣмъ разрѣшить ему снятіе сана. Лѣтъ двѣнадцать не видались мы. А я уже успѣлъ слышать отъ мѣстныхъ мѣщанъ въ самый день пріѣзда, что вотъ у нихъ „Златоустъ“, и затѣмъ шли нескончаемыя похвалы силѣ его слова и назидательности, съ изложеніемъ самаго содержанія проповѣдей. Порадовался я за о. Феодора и за Переславскій народъ. Я зналъ пылкую при-

роду моего однокашника и не сомнѣвался, что такимъ-то людямъ и умѣстно быть миссіонерами. Я поспѣшилъ свидѣться. Разговорились. Но съ первыхъ же словъ я напелъ себя вынужденнымъ замолчать. Я увидалъ, что собесѣдникъ мой слишкомъ далеко шагнулъ послѣ того какъ четырнадцать и пятнадцать лѣтъ назадъ препирались мы съ нимъ, ходя по лаврской стѣнѣ, о томъ „что такое русскій расколъ“,—онъ на основаніи фантастическихъ построеній, я—на основаніи историческихъ данныхъ. Изъ келліи Никитскаго монастыря мы втроемъ отправились на прогулку. Спущено на воду судно, состоявшее изъ четырехъ бочекъ, съ накладенными поверхъ досками, и на нихъ скамьи. Вечеръ. Тихо стояло, едва колышась, Плещеево озеро; точками виднѣлись рыбацьи лодки. Мало обращая вниманія на мои нетерпѣливые вопросы объ озерѣ и окружающей мѣстности,—о мѣстномъ бытѣ, о способахъ ловли, породахъ рыбы и мѣстѣ сбыта; съ видимымъ неудовольствіемъ поглядывая на третьяго собесѣдника, удовлетворявшаго мои разспросы, о. Ѳеодоръ заговорилъ о современной богословской литературѣ, осуждалъ ея сухость и кривое направленіе, поясняя, что истинное христіанское богословіе раскрывается въ Современникѣ; пустился въ толкованіе христіанскихъ принциповъ, сознательно руководившихъ, по его мнѣнію, сотрудниками *Современника*. Послушать его, въ *Свистопляскѣ* былъ ключъ къ уразумѣнію православія. Разувѣрять было бесполезно. Человѣкъ ни одной книжки по Политической Экономіи не читалъ, или читалъ уже тогда, когда при чтеніи смыслъ строился на основаніи предвзятаго міровоззрѣнія; о социализмъ зналъ по наслышкѣ. Брать на себя характеристику современныхъ русскихъ писателей, достаточно и доподлинно извѣстныхъ мнѣ по своему направленію, было бы неблагодарнымъ трудомъ. Мнѣ оставалось слушать и воспоминать со щемлящимъ сердцемъ:

Вотъ онъ, Александръ Матвѣевичъ, нѣкогда, двадца-

тихотный юноша, вѣжливо почти съ заискивающимъ видомъ подходившій къ намъ вечерами поочередно, съ предложеніемъ читать молитвы на сонъ грядущимъ. Онъ въ Академіи былъ „старшимъ“ въ нашемъ номерѣ (комнатнымъ надзирателемъ), когда я былъ въ младшемъ отдѣленіи. Двадцати двухъ лѣтъ принимаетъ монашество. Душа набожная, пылкое сердце, живой умъ, перо легкое и бойкое, но... свѣдѣній никакихъ, за исключеніемъ семинарскихъ учебниковъ. Одинъ изъ его поднадзорныхъ, мой товарищъ, М. С. Б—скій, проговорилъ ему предостереженіе, когда онъ съ нами „прощался“. Это былъ трогательный обычай: студентъ, принимая иноческій образъ, предъ постриженіемъ обходилъ студенческіе номера, прощаясь съ „міромъ“. М. С. проводилъ его строгимъ, почти безжалостнымъ напутствіемъ, внушеннымъ впрочемъ любовію. „Возвращаться поздно; но подумали ль вы о страшномъ шагѣ, который опрометчиво совершаете? Вы дали себя увлечь инспектору. Посовѣтовались бы съ кѣмънибудь,—насъ убѣдили бы по крайней мѣрѣ повременить. Въ ваши лѣта, съ вашей пылкой душой, дай Богъ, чтобъ вы не сошли съ ума потомъ или не спились, когда наступитъ раскаяніе о непоправимомъ шагѣ“. Такъ приблизительно говорилъ Б-скій въ нашемъ присутствіи молча слушавшему кандидату въ постриженики; но говорилъ рѣзко, почти съ сердцемъ. Съ почтеніемъ къ М. С. Б—скому воспоминаю я объ этомъ мужествѣ братскаго участія. И съ какою точностію сбылось предвѣщаніе!

Оставили Бухарева, теперь іеромонаха Θεодора, при Академіи и поручили катедру Священнаго Писанія. На грѣхъ попались въ руки литографированныя лекціи по Всеобщей Исторіи Лоренца, и онѣ, талантливо изложенныя, стали для молодаго бакалавра-монаха вторымъ Евангеліемъ, по которому онъ изъясняетъ Библію. А тутъ еще подоспѣла Восточная война; съ Апокалипсисомъ и Лоренцемъ въ рукахъ, Θεодоръ толкуетъ судьбы міра; библейски оцѣниваетъ Наполеона III, Пальмерстона и лорда

Непира; (кромѣ Лоренца, другихъ историковъ онъ не читалъ, а новѣйшихъ языковъ не зналъ, да и въ древнихъ былъ слабъ). Прослышалъ Филаретъ, потребовалъ лекціи, вызвалъ бакалавра, уговаривалъ отечески, просилъ смирить гордость самомнѣнія, притомъ неосновательнаго. Θεодоръ смирился, но только по наружности, а Филаретъ вскорѣ же сбылъ заблудившагося монаха, представивъ его къ повышенію въ инспекторы Казанской Академіи. Несомнѣнно и тамъ умъ его колобродилъ. Распахнуть-ся было свободнѣе: Филаретова глаза не было. Но я не слѣдилъ за казанскою дѣятельностью Θεодора. Онъ потомъ выплылъ на свѣтъ либеральнымъ духовнымъ цензоромъ въ Петербургѣ и наконецъ сложилъ санъ, оставаясь глубоко вѣрующимъ и искренно набожнымъ, но находя тѣмъ не менѣе, что истинный путь ко Христу (въ положительномъ, а не отрицательномъ смыслѣ) называется *Современникомъ* и вообще красною печатью западнаго направленія.

Поплавали мы. Я проводилъ Переславскаго Златоуста до келліи архимандрита въ Никитскомъ монастырѣ. Тамъ ждала дама, ученица Θεодора; (послѣ — супруга его, какъ я слышалъ). Благоговѣйный взоръ, устремленный на учителя, боязнь проронить каждое его слово.... Я уѣхалъ съ тяжелымъ чувствомъ.

Послѣ, уже издателемъ газеты, я получилъ отъ Александра Матвѣевича одну или двѣ статьи о какихъ-то общественныхъ вопросахъ; печатать я ихъ не нашелъ возможнымъ: складныя и горячо написанныя, онѣ лишены были, какъ и надлежало ожидать, всякаго пониманія дѣйствительности. Слышалъ я, что Бухаревъ и жилъ и умеръ истиннымъ подвижникомъ; и не удивительно: онъ былъ святая душа во всякомъ случаѣ.

Чтобы договорить объ о. Θεодорѣ все, скажу, что во время совмѣстнаго служенія нашего въ Академіи, онъ ѣздилъ изъ Троицы въ Ростовъ, между прочимъ молиться обо мнѣ. Въ Ростовѣ проживалъ нѣкто, кажется, изъ заштатныхъ священниковъ, „Петръ Юродивый“, слыв-

шій угодникомъ и прозорливымъ. Къ нему-то обратился Θεодоръ, вмѣстѣ съ другомъ своимъ, тоже монахомъ-бакалавромъ и столь же одностороннимъ энтузіастомъ (Порфиріемъ): просили они молитвъ блаженнаго за себя да и за меня кстати. По слухамъ, дошедшимъ до нихъ отъ студентовъ, недостаточно меня выразумѣвавшихъ и во всякомъ случаѣ искажавшихъ содержаніе моихъ лекцій, они признали меня еретикомъ и отступникомъ.

Выслушавъ ихъ сердобольное моленіе угодникъ Божій: „да вы о себѣ-то молитесь больше и препобѣждайте гордость духовную, а не осуждайте другихъ“. Объ этомъ отвѣтъ, съ достойною уваженія откровенностью, передавали потомъ сами богомольцы.

Зналъ я и еще—настоящаго ученаго на этотъ разъ, но замолчаннаго отчасти и отчасти засмѣяннаго, доктора Ивана (помнится Андреевича) Зацѣпина. Чуть ли не состоялъ онъ чѣмъ-то прежде въ Медицинской Академіи. Свела меня съ нимъ цензура: нѣсколько томовъ его сочиненія, озаглавливавшася, помнится, *Опытъ Сближенія Медицинскихъ Наукъ съ Вѣрою*, не могли пройти въ печать при существованіи специальныхъ цензуръ, медицинской и духовной, отъ которыхъ были уже противопоставлены или ожидалась препоны. Я разрѣшилъ ихъ печатаніе на свой страхъ, не обращаясь ни къ той ни къ другой специальной власти. Разрѣшилъ и книгу подъ заглавіемъ: *Вотъ каковы вы, нѣмцы, и вотъ каковы мы, русскіе*. Содержаніе книги съ этимъ прямымъ заглавіемъ было заимствовано изъ упомянутаго выше большаго труда и издано подъ псевдонимомъ Зацѣпина *Панезицъ*. Понятно, я снискалъ благодарность доктора своимъ либеральнымъ отношеніемъ къ его труду: онъ посѣщалъ меня не рѣдко, просиживалъ со мной часы за шахматной игрой и охотно бесѣдовалъ. Онъ былъ замѣчательный игрокъ. Можетъ быть заключеніе мое и не вѣрно, основанное на томъ, что я - то слабо играю, какъ и другіе сядившіеся съ нимъ; во всякомъ случаѣ онъ постоянно оставался побѣдителемъ. Но замѣчательнымъ мнѣ казалъ-

ся способъ его игры, по соотвѣтствію съ характеромъ всей его умственной дѣятельности. Игралъ онъ не только спокойно, но не задумывался ни надъ однимъ ходомъ на полсекунды. Едва поставилъ противникъ шашку, какъ уже отвѣтъ готовъ. Спокойное благодущіе, озаряемое необыкновенно ласковымъ взглядомъ, и было его отличительною чертою; а слово было проникнуто легкимъ юморомъ. Ученныя воззрѣнія его сложились, для меня это ясно было, подъ дѣйствіемъ борьбы, нѣкогда кипѣвшей въ медицинскомъ мірѣ, на службѣ и на кафедрѣ, между нѣмецкою и русскою партіею. Борьба эта представляетъ не малый историческій интересъ, и очень жаль, если сходящіе уже со сцены дѣятели врачебной науки, участвовавшіе въ ней или бывшіе очевидцами, не освѣтятъ ее для потомства. Основнымъ положеніемъ Зацѣпина было: что нѣмцы и вообще иностранцы не заслуживаютъ авторитета, которымъ пользуются въ медицинской наукѣ. Этому основоположенію сопутствовало высокое понятіе о русскомъ народѣ, его умственныхъ способностяхъ, характерѣ, бытѣ и вѣрѣ. Въ отрицательной половинѣ своихъ мнѣній, Зацѣпинъ по моему былъ побѣдоносенъ: критика его была мѣтка, оцѣнка теорій и практики знаменитыхъ и нѣмецкихъ и французскихъ свѣтилъ убійственна. Но въ положительныхъ мнѣніяхъ пристрастіе и преувеличеніе били въ глаза. Голословно онъ ничего не утверждалъ, все подкрѣплялъ изъ *Lancet'a* и другихъ англійскихъ, французскихъ и нѣмецкихъ изданій; но частные недостатки иностранцевъ онъ возводилъ въ общія черты, отдѣльнымъ случаямъ придавалъ типическое значеніе. Равно и наоборотъ, у русскаго все превосходно: весь бытъ его въ томъ видѣ, какъ онъ есть, соотвѣтствуетъ не только нравственнымъ идеаламъ общества, но даже строго-научной гигиенѣ. Онъ доказывалъ на примѣръ, что не только квасъ есть идеальный напитокъ, но посты въ томъ видѣ и въ тѣ сроки, какъ соблюдаетъ ихъ русскій народъ, самымъ точнымъ образомъ соотвѣтствуютъ требованіямъ климата и организма.

Какъ сказалъ я, Зацѣпинъ былъ частію замолчанъ, частію засмѣянъ; въ послѣднемъ упражнялись юмористическіе листки, сотрудники которыхъ, разумѣется, не трудились читать самыхъ книгъ, а довольствовались публикаціями, въ которыхъ самъ авторъ рекламировалъ свою книгу выдержками изъ нея. По моему онъ не заслуживалъ столь непріязненнаго пріема. Самъ онъ впрочемъ ни сколько не обижался поварьной насмѣшкой, которою его преслѣдовали, и спокойно, съ жалостью объяснялъ, не совсѣмъ безъ основанія, что это „плоды неосмысленнаго рабства предъ иностранцами и неумѣнья жить своимъ умомъ“.

Умолчать ли объ Лукашевичѣ, котораго я лично не зналъ, но котораго читалъ, между прочимъ и по обязанности цензора? Въ одномъ трудѣ своемъ (очень обширномъ) Лукашевичъ доказывалъ, что русскій и китайскій языкъ тождественны. Всѣ языки по его мнѣнію происходятъ отъ русскаго, только лишь намѣренно исковерканы другими народами. А китайцы такъ не умѣли даже закрыть слѣда; ихъ языкъ расширявать очень просто: стоитъ читать китайскія слова на выворотъ, съ конца, и получатся русскія. Все это доказывалось ученымъ образомъ; авторъ обладалъ обширною начитанностью. Когда Ю. О. Самаринъ пріѣхалъ въ концѣ сороковыхъ годовъ или началъ пятидесятыхъ въ Кіевъ на службу, багажъ его на нѣсколько дней запоздалъ, и онъ, скучая, обратился къ жившему около Кіева О. В. Чижову, съ просьбою прислать ему какихъ нибудь книгъ для чтенія. Чижовъ въ шутку отправилъ ему *Чаромутіе* Лукашевича. „Я читаю, передавалъ мнѣ потомъ Юрій Оедоровичъ, вчитываюсь, употребляю усиліе собрать смыслъ и наконецъ спрашиваю: я ли съ ума сошелъ или авторъ? Но книга имѣетъ всѣ признаки осмысленнаго ученаго изложенія. Всѣ слова знакомы и предметъ извѣстный, но стоятъ они въ странномъ сочетаніи.“—Вотъ впечатлѣніе отъ сочиненій Лукашевича! Близкое къ тому было и впечатлѣніе отъ



рѣчей К. В. Прохорова. Дополнять ли, что приблизительно то же испытывается при чтеніи нѣкоторыхъ умствованій современнаго, въ другихъ отношеніяхъ знаменитаго писателя?

Знакомство съ подобными людьми обогатило мой психологическій опытъ и между прочимъ дало матеріалъ къ объясненію многихъ религіозныхъ движеній, особенно въ русскомъ народѣ. О. Ѳеодоръ Бухаревъ и К. Прохоровъ, при другихъ обстоятельствахъ, были бы родоначальниками секты, Зацѣпинъ и Лукашевичъ—новой ученой школы. А Левъ Толстой уже и становится главою новаго ученія. Между геніями и помѣшанными пролегаетъ очень неопредѣленная черта: не мною первымъ это сказано. Дѣло въ томъ, что творецъ-геній попадаетъ на точку, гдѣ его оригинальная мысль оказывается продолженіемъ разрозненныхъ усилій народа или даже человечества, воплощается въ своемъ единичномъ умѣ ихъ чаянія. Другой же самостоятельный умъ напротивъ отрывается совсѣмъ отъ дѣйствительности и заканчиваетъ жизнь въ домѣ душевно-больныхъ. А въ серединѣ стоятъ оригиналы, достаточно сохранившіе смысла и воли, чтобы совсѣмъ не свихнуться, но не умѣвшіе войти въ общее теченіе и къ нему приладиться. Изъ нихъ выходятъ гг. Пашковы или оо. Ѳеодоры, смотря по обстоятельствамъ привлекающіе послѣдователей или остающіеся въ одиночествѣ. Въ графѣ Толстомъ представляется особый видъ эксцентричности: безпримѣрный пластикъ съ своихъ художественныхъ произведеній, онъ въ умствованіяхъ—о. Ѳеодоръ помноженный на К. В. Прохорова: та же скудость подготовительныхъ свѣдѣній, да въ добавокъ со слабою логикой при сильной фантазіи.

Всѣмъ перечисленнымъ Донъ-Кихотамъ и имъ подобнымъ общая черта: непоколебимая самоувѣренность, неспособность слушать и понимать возраженія; всѣ они Колумбы, открывающіе Америку.

Исходъ открытій, совершаемыхъ этими Колумбами въ области мысли, зависитъ не только отъ искренности и

полноты убѣжденія въ нихъ самихъ (условіе необходимое), но главное отъ единства почвы, на которой стоятъ съ ними слушатели ихъ или читатели. „Нѣтъ, никогда вы не приведете въ чувство и не озарите этотъ дикій, жалкій народъ“: таковъ былъ нѣкогда споръ между студентами Троицкой Академіи, изъ которыхъ одинъ настаивалъ, что нищіе, докучающіе богомольцамъ, представляютъ матеріалъ, ожидающій проповѣдника, и что заняться духовнымъ перевоспитаніемъ этого жалкаго люда было бы доброе дѣло. Послѣдовало пари. М. В. Т—въ (въ послѣдствіи онъ принялъ монашество) нашелъ нищенку и уговорилъ ее приходить къ нему по утрамъ, общая ей за это платить (на первые только разы, какъ ему представлялось). Шло дѣло ладно по-видимому: нищенка приходила, слушала, отвѣчала, вздыхала, иногда прослезялась. Проповѣдникъ приложилъ душу. Товарищи про себя посмѣивались, ожидая конца. Разъ, уже много дней спустя послѣ начала бесѣдъ, проповѣдникъ вошелъ въ особенный жаръ. Нищенка внимательно слѣдила за своимъ наставникомъ, но въ серединѣ рѣчи, въ минуту самаго патетическаго движенія, когда для выразительности невольно поднялъ онъ руку, она поспѣшно подставила свою,—воображая, что урокъ кончился, и время получить условленную подачку настало.—Проповѣдникъ призналъ себя проигравшимъ.

## LX.

## Три друга.

Въ одной изъ прежнихъ главъ я уже намекалъ на «друзей», которые не могли добиться отъ себя, чтобы называть другъ друга *ты*, хотя желали и даже уговаривались въ этомъ. Теперь время сказать о нихъ, потому что тѣсное сближеніе наше началось съ богослов-

скаго класса. Но предварительно передамъ эпизодъ, гдѣ завязывалась у меня тоже «дружба» и даже такимъ именемъ назвала себя; (трое, о которыхъ рѣчь выше и ниже, «друзьями» себя ни лично, ни заочно не величали, хотя посторонніе ихъ разумѣли не иначе).

По дорогѣ изъ семинаріи подѣ Дѣвичій, когда я былъ еще въ Философскомъ классѣ, однимъ изъ спутниковъ моихъ до поворота на Волхонку бывалъ мальчикъ - риторъ. Наружность этого кудряваго, голубоглазаго блондина располагала въ его пользу. На немъ не лежало отпечатка бурсаческой грубости; не было и приказчицей развязности, которую московскіе поповичи принимали за хорошій тонъ. Разговорились. Я узналъ, что это однако московскій поповичъ, и притомъ изъ лучшихъ учениковъ. Къ лучшимъ ученикамъ я всегда чувствовалъ нѣжность; а умная рѣчь, интересы не только выше бурсацки-семинарскихъ, но и вообще ученическихъ, большая начитанность, обнаруженные моимъ спутникомъ, окончательно меня покорили. Онъ тоже привязался ко мнѣ. Помимо дорожныхъ встрѣчъ устраивались нами нарочныя свиданія, по праздникамъ и въ каникулярныя недѣли; помню одно въ Нескучномъ саду, другое подѣ Новинскимъ. Завязалась переписка, первоначально условленная, помнится, краткостью встрѣчъ и невольнымъ домоѣдствомъ моего молодого «друга», жившаго должно быть подѣ строгой домашней дисциплиной. Переписка дышала нѣжностью и самыя отношенія наши подходили къ «обожанію» институтокъ. Своихъ писемъ содержанія я совершенно не помню; но его письма были наполнены тоской, недовольствомъ собою и окружающими, стремленіемъ полетѣть куда-то. Мнѣ и тогда представлялось это настроеніе неестественнымъ, страданія фиктивными, хотя несомнѣнно ощущаемыми. Теперь толкую такъ: начитанность и отсутствіе равныхъ по развитію сверстниковъ породили, какъ и во мнѣ, мечтательность, только направивъ ее не въ эпическую сторону, какъ у меня, а въ лириче-

скую: у меня картины политическія и географическія, у него—душевныя состоянія. Предоставляю судить о вѣрности моего толкованія кратковременному другу моему самому; ибо онъ здравствуетъ. Провѣрить наши впечатлѣнія было бы можетъ быть даже не лишено интереса психологическаго и педагогическаго.

И этотъ другъ въ сердечномъ порывѣ требовалъ однимъ изъ писемъ перехода съ «вы» на «ты»; въ письмахъ мы и перешли, но въ разговорѣ не удалось. Не особенно длилась и переписка; едва ли продолжалась даже годъ. При поступленіи моемъ въ Богословскій классъ мы уже почти совсѣмъ разлучились, впрочемъ взаимно радуясь при каждой встрѣчѣ и обоюднo чувствуя себя родственными другъ къ другу. Помню, съ заѣзской своей квартиры я даже навѣстилъ разъ своего друга въ его домъ. Затѣмъ жизнь развела насъ въ разныя стороны, не навсегда однако. Мы встрѣтились: я—студентъ духовной академіи, онъ—студентъ университета (оба—первые студенты). Я былъ у него съ визитомъ при каникулярной побывкѣ въ Москвѣ; онъ, въ случайную поѣздку къ Троицѣ, навѣстилъ студентовъ Академіи, бывшихъ своихъ товарищей по Семинаріи, при чемъ и меня вызвали. Это былъ уже не мальчикъ, страдавшій фиктивными печалами, а самоувѣренный юноша, чувствовавшій на себѣ и дававшій другимъ чувствовать сіяніе, которымъ озаряли его Грановскій, Кудрявцевъ и другіе, еще здравствующія знаменитости университета. «А на этомъ основаніи, говорилъ онъ мнѣ въ одно изъ этихъ свиданій о нашей бывшей нѣжной перепискѣ, могло создаться нѣчто серьезное». Я съ нимъ согласился.

Затѣмъ мы и снова встрѣтились, въ печати и на службѣ. Но повѣствованіе объ этомъ отылекло бы меня отъ темы, выставленной въ заголовкѣ этой главы.

«Три друга», о которыхъ я намѣренъ сказать, были я, Василій Михайловичъ Сперанскій и Иванъ Николаевичъ Александровскій.

Василій Михайловичъ былъ моимъ соученикомъ въ Риторическомъ классѣ, и вышелъ изъ него вторымъ, когда я первымъ. Въ его-то сочиненіяхъ профессоръ находилъ преимущество мысли, отдавая мнѣ преимущество въ изложеніи. На два дальнѣйшіе годы мы были разлучены: изъ двухъ параллельныхъ отдѣленій Философскаго класса онъ былъ переведенъ въ первое, я во второе; Богословскій классъ насъ опять соединилъ. Какъ сказано выше, отсюда и начинается близость; до того было знакомство довольно поверхностное даже и Риторическомъ классѣ: здоровались, когда встрѣчались, вступали въ разговоръ, когда приходилось быть вмѣстѣ, но впечатлѣніями не дѣлились.

Съ Иваномъ Николаевичемъ я и познакомился только въ Богословскомъ классѣ; но въ Богословскій классъ онъ перешелъ, уже тѣсно сдружившись съ Василіемъ Михайловичемъ. За то отселъ мы начинаемъ быть трое соединенными, и въ Академіи еще тѣснѣе чѣмъ въ Семинаріи. Гдѣ было насъ двое, тамъ нужно было искать третьяго.

Я долженъ перервать свою рѣчь и повиниться въ грѣхѣ, въ недостаткѣ, не знаю какъ назвать, сознаніе котораго гложетъ меня, но котораго преодолѣть я не въ силахъ. Въ теченіе девятнадцати лѣтъ изданія газеты я ставилъ себѣ за непремѣнное правило, при кончинѣ людей, отмѣтившихся чѣмъ нибудь въ общественной жизни, поминать ихъ оцѣнкою ихъ дѣятельности, если имѣлъ о нихъ что сказать. И я исполнялъ этотъ долгъ свято. Но о четырехъ отошедшихъ замѣчательныхъ людяхъ я не сказалъ ничего, хотя на мнѣ-то болѣе всѣхъ и лежала эта обязанность, мнѣ-то изъ всѣхъ пишущихъ всего ближе и были извѣстны эти лица. Но именно потому, что память ихъ слишкомъ близка моему сердцу, руки останавливались и перо не поднималось. Кончина незабвеннаго Александра Васильевича Горскаго, учителя и сослуживца, свѣтившаго мнѣ съ кафедръ, просвѣщавшаго въ товарищескихъ бесѣ-

дахъ, руководствовавшего и безмолвно жизнію, для слабыхъ силъ недосыгаемою, чей образъ вдохновительно поднимался предо мною при всякомъ серьезномъ трудѣ, который приходилось начинать, если не совершать,—кончина, говорю, А. В. Горскаго послѣдовала, когда я нѣсколько лѣтъ уже былъ издателемъ газеты, и я... не обмолвился ни словомъ. Н. С. Тихонравовъ поминальною рѣчью по знаменитомъ ученомъ приподнял завѣсу, за которою таился отъ глазъ толпы необыкновенный дѣятель. Поражена удивленіемъ была публика. А открывшееся было—вѣрный обликъ Горскаго, но куда далеко не весь онъ! Закипѣли у меня воспоминанія, вставали случаи, цѣлыя новыя стороны характера и дѣятельности просились подъ перо; но... рука нѣмѣла.

Скончался преосвященный Веніаминъ, епископъ Рижскій, однокашникъ мой по Академіи. Эта душа хрустальной чистоты открыта была мнѣ со школьной скамьи. Долгія, долгія бессонныя ночи просиживали мы бесѣдуя, при чемъ младенческая простота Василя Матвѣевича (такъ въ мірѣ звали Веніамина) предоставляла мнѣ положеніе старшаго брата-руководителя. Въ важныхъ случаяхъ трудной обязанности пастыря новообращенныхъ эстовъ, въ затрудненіяхъ должности ректорской и потомъ епископской, въ смущеніяхъ по вопросамъ высшаго умственного порядка, онъ не переставалъ время отъ времени обращаться ко мнѣ. Скончался онъ, и я—ни слова; и тѣмъ мучительнѣе для меня объ этомъ воспоминаніе. что одинъ изъ подчиненныхъ почившаго архіерея, повиdimому даже и родственникъ, письмомъ изъ Балтійскаго края напомнилъ мнѣ о моей обязанности почтить память усопшаго, столь близкаго мнѣ духовно; высказаніе и просьбу. Достопочтенный іерей или протоіерей остался, полагаю, сильно разочарованнымъ въ отзывѣхъ, слышанныхъ обо мнѣ отъ архипастыря; считъ меня, можетъ быть, бездушнымъ эгоистомъ....

Тоже и съ упомянутыми двумя друзьями. Когда Васи-

лій Михайловичъ умеръ, я замѣтилъ окружающимъ о словѣ, произнесенномъ надъ его гробомъ: «хорошо, тепло, но мало; Василій Михайловичъ заслуживаетъ большаго». А сказали ли, написали ли я чтонибудь?—Ни слова, и одинъ изъ бывшихъ слушателей моихъ, И. Д. Бердниковъ, обратился ко мнѣ даже съ укоромъ негодования: «да вы же научили меня чтить Василя Михайловича; вы же мнѣ охарактеризовали его, какъ *иконное письмо*, и вы-то ничего не сказали!» Повиненъ, каюсь.

Такъ и нѣсколько недѣль назадъ тому проводилъ я до могилы Ивана Николаевича Александровскаго. Слезы подступали ко мнѣ, когда я слушалъ надъ могилою рѣчи гимназистовъ, рѣчи студентовъ, бывшихъ учениковъ покойнаго. Слезы подступали, что по обстановкѣ рѣчи эти могутъ быть причислены къ обыкновеннымъ параднымъ, когда знавши покойнаго лучше другихъ окружавшихъ, я прозрѣвалъ всю глубокую искренность почтительной любви, которую стяжалъ себѣ въ юношескихъ сердцахъ этотъ законоучитель. А я все таки не сказалъ ни слова, ни устнаго надъ могилой, ни письменнаго въ своемъ органѣ. Пусть рѣчи надъ гробомъ и надъ могилою вообще претятъ мнѣ; онѣ мнѣ кажутся профанаціей скорби, неумѣстнымъ смущеніемъ молитвеннаго чувства, которое одно въ подобныхъ случаяхъ уместно: но подѣлиться своими свѣдѣніями о почившемъ, освѣтить его личность предъ публикою, болѣе многочисленною нежели собравшаяся вокругъ могилы въ день погребенія, это лежало на моей обязанности.

Равно и теперь съ трудомъ приступаю къ разсказу; не могу преодолѣть увѣренности, что очеркъ обоихъ друзей выйдетъ и блѣденъ и не полонъ, и я буду терзаться мыслию, что слабымъ описаніемъ болѣе провинился предъ ихъ памятью, чѣмъ бы оскорбилъ ее своимъ молчаніемъ.

Василій Михайловичъ былъ сынъ московскаго священника. Отецъ его слылъ чудакомъ и нелюдимымъ. Последнее повидимому справедливо, потому что по женѣ

онъ приходился двоюроднымъ Алексѣю Ивановичу Богданову, но они не знались домами. Ипохондрія въ родѣ Сперанскихъ была наслѣдственная; замѣчали ее, по крайней мѣрѣ смолода, въ Евгеніѣ Казанцевѣ, архіепископѣ Ярославскомъ, который доводился сродни Сперанскому. Объ этомъ передавалъ мнѣ братъ Александръ, учившійся въ семинаріи, когда Евгеній былъ ректоромъ. Ректоръ, по разсказу брата, гнался разъ съ вишкою за своимъ послушникомъ чрезъ весь монастырь; на него вообще „находило“, такъ выражались семинаристы. И Василій Михайловичъ съ самыхъ юныхъ лѣтъ, какъ только запомню его, былъ молчаливъ и какъ бы задумчивъ. Между прочимъ содѣйствовалъ тому и природный его недостатокъ: онъ заикался. Пустая вещь, да и косноязычіе-то было ничтожное; но оно отозвалось ему въ жизни и даже опредѣлило его судьбу. Старшіе братья его пошли по свѣтской дорогѣ, и черезъ нихъ Василій Михайловичъ бокомъ прикасался къ университету, а чрезъ университетъ къ свѣтской литературѣ и публицистикѣ въ частности. Для насъ остальныхъ двоихъ онъ былъ главнымъ источникомъ новостей въ университетскомъ и журнальномъ мірѣ. Отъ него напимѣръ узналъ я, кому принадлежатъ *Письма объ Изученіи Природы*, кто такой Герценъ и кто вообще участвуетъ въ *Отечественныхъ Запискахъ*. Въѣстъ съ Александровскимъ онъ посѣщалъ публичныя лекціи университетскихъ профессоровъ. Съ восторгомъ отзывались оба они о Филомаѣитскомъ, при чемъ столь подробно и точно передавали выслушанныя свѣдѣнія по физиологіи, что и я могъ отчетливо передать ихъ другимъ, какъ бы самъ слушалъ профессора. Это было и толчкомъ—поинтересоваться уголкомъ науки, дотолѣ почти неизвѣстнымъ для насъ. Началось съ изученія Макровіотики Гуфеланда, которую читалъ я и прежде, но теперь снова перечелъ уже втроемъ. Я пошелъ далѣе: ловилъ медицинскія книги, между прочимъ перечелъ неоднократно, почти заучивъ, *Enchiridion* Гуфеланда,



недавно переведенную Г. И. Сокольскимъ. Въ книгахъ, случайно оставленныхъ на Зацѣпѣ мужемъ Марьи Алексѣевны, открылъ и проглотилъ руководства къ *Судебной Медицинѣ*, къ *Родовспомогательной Наукѣ*, *Анатомическія* таблицы съ объясненіями и проч. Въ послѣдствіи оказалось это для меня капиталомъ. Когда пришлось на кафедрѣ разбираться съ богословами-натуралистами, я былъ не чужой человѣкъ, читая анатомическія, физиологическія и судебномедицинскія объясненія, приложенныя къ послѣднимъ главамъ Евангелія.

Иванъ Николаевичъ Александровскій примыкалъ на оборотъ къ Академіи. Его отецъ, тоже московскій священникъ, былъ кандидатъ Академіи, товарищъ Делицына и Голубинскаго; когда мы оканчивали курсъ семинарскій, въ Академіи у Троицы досиживалъ послѣдніе годы двоюродный братъ Ивана Николаевича, вмѣстѣ съ нимъ взросшій; сестра Ивана Николаевича только что выдана была за бакалавра, считавшагося, впрочемъ пока онъ былъ на школьной скамѣ, знаменитостью. Самъ Иванъ Николаевичъ ѣздилъ на побывку къ зятю, и притомъ въ учебное время. Оттуда онъ привезъ характеристику профессоровъ, описаніе академическихъ корпусовъ, аудиторій, столовой, студенческой жизни, потому что вездѣ былъ: и на лекціяхъ и за обѣдомъ и въ спальняхъ. Кромѣ того какимъ-то путемъ попали въ домъ Александровскихъ и тамъ остались рукописныя сочиненія студентовъ изъ старыхъ сравнительно временъ, съ профессорскими отмѣтками. Сочиненія принадлежали не къ курсовымъ, на степень, а къ мѣсячнымъ и вообще второстепеннымъ упражненіямъ; въ числѣ ихъ были даже коротенькія, въ поллистъ, листъ письма, экзаменическіе „экспромпты“. Надоумѣваю доселѣ, какъ они попали. А между тѣмъ они были даже переплетены. Съ величайшимъ вниманіемъ не разъ я перелистывалъ ихъ и перечитывалъ, сличая обнаруживавшіяся знанія старыхъ студентовъ съ тѣми, которыя нами несены были въ Академію. Я испытывалъ приниженіе, находя

обработку темъ по первоисточникамъ, знакомство съ литературой предмета, а еще болѣе образцовый латинскій языкъ, на которомъ писана большая часть сочиненій. Любовался въ особенности изящною ясностію въ сочиненіяхъ И. Терновскаго - Платонова; имя это я запомнилъ и заключаю отсюда, что сочиненія принадлежали между прочимъ V курсу Академіи, къ которому принадлежалъ Терновскій, читавшій потомъ лекціи въ Московскомъ университетѣ (едва ли не по философіи), но не унаслѣдовавшій здѣсь своей академической славы. Почему? А талантъ былъ не изъ заурядныхъ. Или можетъ быть онъ преувеличиванъ былъ сравнительнымъ убожествомъ собственныхъ моихъ тогдашнихъ и свѣдѣній и критической мѣрки?

Василій Михайловичъ былъ домохозяинъ, человекъ семьи. Театръ едва ли даже былъ имъ посѣщенъ хоть разъ тогда, собранія и подавно; онъ и не чувствовалъ къ нимъ влеченія. Даже за городомъ онъ не бывалъ, и когда разъ почему-то случилось ему съ семьею выѣхать за заставу, онъ описывалъ мнѣ на другой день Петровское-Разумовское все равно, если бы съѣздили въ Америку: поля, лѣсъ, дачныя строенія произвели на него впечатлѣніе, какъ бы на слѣпоржденного, открыли ему такія стороны, мимо которыхъ проходилъ, не замѣчая, нашъ привычный глазъ. Книга была его единственный интересъ и предметъ для размышленій. Иванъ Николаевичъ наоборотъ былъ человекъ свѣта, посѣтитель театра и собраній, впрочемъ посѣщавшій ихъ не по влеченію, а болѣе въ качествѣ невольнаго кавалера родственницъ и знакомыхъ. Онъ былъ солидно обученъ музыкѣ и самъ игралъ на фортепіано; игралъ, полагаю, лучше двухъ тогдашнихъ моихъ товарищей, которые славились между нами этимъ искусствомъ, одинъ какъ импровизаторъ по преимуществу, игравшій собственныя фантазіи, ослѣпявшія его, когда онъ садился за инструментъ, другой—какъ отчетливый исполнитель трудныхъ піесъ. Но Иванъ Николаевичъ ни разу не передалъ намъ впечатлѣнія, остав-

ленного вчерашнимъ ли баломъ или спектаклемъ. Ни о новой піесѣ, ни о новомъ артистѣ не слыхалъ я отзыва, произнесеннаго по собственному почину; не было и тѣни упоенія, когда онъ садился за инструментъ. Не жеманился, когда его просили, не отказывался дать мнѣніе, когда его спрашивали о видѣнномъ и слышанномъ вчера; но его отзывы были кратки и рѣшительны. На требованія подробностей онъ давалъ объясненія тономъ спокойнаго докладчика, доказывавшимъ, что мнѣніе не голословно, но чуждымъ увлеченія или риторическихъ прикрасъ. Эта черта осталась въ немъ на всю жизнь, и знавшіе его подтверждать, что ровность, чувство мѣры не покидали его во всемъ. Шутя говаривалъ я ему еще тогда, что его *intrepidum ferient ruinae*, что онъ не далекъ отъ воплощенія Платоновой Евфросини. Можно было подумать снаружи, что онъ не умѣлъ глубоко чувствовать. Но какая была бы ошибка! Его и въ могилу свелъ ударъ, перенесенный хладнокровно по наружности, но оставившій внутреннюю рану съ роковымъ исходомъ.

Для Ивана Николаевича не было вопросовъ ни въ наукѣ, ни въ жизни: для всѣхъ находилъ онъ прямое и быстрое рѣшеніе. Головоломщины его природа отворачивалась. Въ практическихъ затрудненіяхъ, съ которыми къ нему обращались, онъ давалъ немедленный отвѣтъ, казавшійся намъ двойною практическою мудростью. Боже мой, какъ простодушны были мы въ своихъ понятіяхъ о „практичности!“ Онъ былъ идеалистъ не менѣе насъ обоихъ; но онъ понималъ свѣтъ, какъ онъ есть, и обсуждалъ событія и людей по житейской философіи, которой самъ не слѣдовалъ. Онъ переходилъ даже въ крайность: не вѣрилъ безкорыстнымъ влеченіямъ и высокимъ порывамъ, признавая на примѣръ Василя Михайловича исключеніемъ, съ любовію говоря въ глаза: „да вы—уродъ, что съ вами говорить“. Съ годъ тому назадъ или полтора меня даже огорчило, когда сѣдовласый уже протоіерей упорно настаивалъ на томъ, что

искренней переменѣ въ роисповѣданіи никогда не бываетъ. „Какъ хотите, не повѣрю, не повѣрю никогда!“ продолжалъ онъ твердить на мои возраженія изъ опыта и изъ законовъ человѣческой души.

Немедленность отвѣтовъ, даваемыхъ Иваномъ Николаевичемъ на всѣ наши вопросы, повели къ обычаю между нами—обращаться къ нему полупути, полусерьіозно даже съ такими вопросами, на которые по здравому смыслу нельзя требовать отвѣта. „Какая погода, Иванъ Николаевичъ, будетъ на слѣдующей недѣлѣ въ четвергъ?“ Или: „какъ вы думаете, что теперь дѣлаетъ митрополитъ?“ Ни мало не смущаясь, съ шуточною важностью, Иванъ Николаевичъ отвѣтитъ и даже приведетъ основаніе, если предъявлены будутъ сомнѣнія въ точности рѣшенія.

Въ противоположность Ивану Николаевичу, Василій Михайловичъ во все углублялся; не допуская безотчетности для себя ни въ мысли ни въ дѣятельности, чего бы это ни касалось, начиная съ гигиены и домашнихъ привычекъ и кончая догматами вѣры и первоначалами нравственности. За то, убѣдившись, онъ уже былъ послѣдователенъ до ригоризма, даже—комизма. Напримѣръ, онъ никогда не лгалъ, и исходя изъ этого правила, доводилъ младенческую искренность о себѣ до нарушенія условныхъ пріемовъ вѣжливости. „Почему Василій Михайловичъ не былъ у насъ прошлую пятницу хотя мы его просили?“ Отвѣтятъ за него: „былъ не совсѣмъ здоровъ, или—занятъ“. А Василій Михайловичъ тутъ же съ невиннѣйшимъ простодушіемъ отречется и отъ болѣзней и отъ занятій; нѣтъ, скажетъ, я думалъ, что у васъ будетъ скучно. Въ шутку я говаривалъ Василію Михайловичу, что онъ страдаетъ болѣзью „прописной нравственности“. Читайте прописи и знайте, что все тамъ написанное исполняется Василиемъ Михайловичемъ съ педантическою строгостью.

Примѣненіе той же искренности кромѣ себя и къ другимъ, должно было бы повидимому поставлять Ва-

силы Михайловича въ затруднительное положеніе человека, вынужденнаго иной разъ высказывать *юръ-кую* правду. Но его выручало другое правило: „не говори ни о комъ худа“. Оба эти правила такъ и стоять въ прописяхъ рядомъ: „не говори ни о комъ худа и никогда не лги“. И Василій Михайловичъ избѣгалъ злорѣчія, не потому только что оно другому обидно, а потому что говорить худо было бы и ложью. Какъ Иванъ Николаевичъ былъ пессимистомъ до известной степени, такъ Василій Михайловичъ взиралъ на людей оптимистически. Въ дурномъ чужомъ поступкѣ онъ непремѣнно отыщетъ свѣтлыя стороны или приищеть невинныя побужденія; самый рассказъ объ этомъ поступкѣ подвергнетъ сомнѣнію, точенъ ли онъ еще. Я любилъ дразнить Василя Михайловича (какъ въ послѣдствіи А. В. Горскаго) и намѣренно выставлялъ въ преувеличенномъ свѣтѣ смѣшныя или черныя стороны въ почтенныхъ, авторитетныхъ для него лицахъ. Василій Михайловичъ спокойно слушаетъ, столь же спокойно возражаетъ, изрѣдка прижимая пальцемъ правую ноздрю (его привычка); наконецъ только улыбается, начиная догадываться о моемъ умыслѣ его сбить.

Наружность обоихъ друзей соответствовала ихъ характерамъ: Василій Михайловичъ совсѣмъ никакъ не держался, и походка его была неровная, одна нога какъ будто сильнѣе и продолжительнѣе опиралась, нежели другая. Иванъ Николаевичъ держалъ себя прямо какъ стрѣлка, ходилъ бодро и ровно: названіе „королька“, кѣмъ-то ему данное, чуть ли не мною, шло къ нему. Кромѣ преимуществъ внѣшней выправки вообще, его отличало предъ нами заграничное воспитаніе. Его отецъ былъ нѣсколько лѣтъ священникомъ при дворѣ великой княгини Анны Павловны, и дѣтство Ивана Николаевича проведено въ Гаагѣ. Оттуда онъ вывезъ и свое искусство въ музыкѣ и обладаніе французскимъ и нѣмецкимъ языками, на которыхъ онъ, не въ примѣръ намъ всѣмъ прочимъ, не только читалъ свободно, но

писалъ и говорилъ. Годы, проведенные мною въ бурсачной обстановкѣ Коломенскаго училища, Василиемъ Михайловичемъ въ домашней школѣ подъ ферилой отца, нѣкогда учителя Троицкой семинаріи; озарены были для Ивана Николаевича, кромѣ домашняго обученія русскимъ предметамъ, еще и уроками лучшихъ учителей Голландской столицы. Тотъ и другой и третій пришли въ семинарію съ разными опытами.

Таковы были насъ трое. Самому трудно судить о мѣстѣ, которое я занималъ среди двоихъ. Не ручаюсь даже, кѣмъ я былъ для нихъ заочно, Гиляровымъ или Никитою Петровичемъ, когда для меня, какъ и для себя взаимно, они оба были только Василиемъ Михайловичемъ и Иваномъ Николаевичемъ; по фамиліи звать ихъ, даже говоря съ посторонними, для меня было неховко. Но мы были соединены. Встрѣчаясь, мы даже не здоровались, хотя на прощанье иногда пожимали руки. Сутки, даже недѣли прошли, но когда мы снова видимся, казалось, что разстались всего пять минутъ назадъ. Дружба наша витала внѣ личныхъ отношеній и интересовъ, и одному не приходило въ голову спрашивать, другому передавать, о случившемся въ промежутокъ разлуки.

Въ утренніе классы я былъ раздѣленъ отъ своихъ друзей (они сидѣли вдвоемъ на передней скамьѣ); но вечерніе, мы и садились вмѣстѣ, на еврейскомъ классѣ особенно, потому что, кажется, мы только трое и занимались этимъ языкомъ серьезно. Пока нѣтъ профессора, между нами идетъ обмѣнъ наблюденій и свѣдѣній.

Во время моихъ неоднократныхъ мнимыхъ и одной дѣйствительной болѣзни, мы входили въ переписку, причемъ я впрочемъ былъ почти единственнымъ корреспондентомъ, и притомъ писавшимъ на иностранныхъ діалектахъ, французскомъ и нѣмецкомъ. Я видѣлъ въ этомъ для себя школу, рассчитывая, что Иванъ Николаевичъ въ случаѣ поправить мои ошибки въ иностранной грамотѣ. Отвѣчалъ мнѣ изрѣдка только Василій

Михайловичъ; онъ же сообщалъ мнѣ и грамматическія замѣчанія Ивана Николаевича.

Вообще мы трое, не скажу держали, а чувствовали себя выше класса, включая сюда не только соучениковъ, но и профессоровъ. Выходило это какъ-то само собою; ни одному изъ насъ не приходило въ голову оглянуться на себя съ этой стороны и оправдать свои внутреннія отношенія къ окружающимъ, по молчаливому нашему соглашенію, признаннымъ стоящими на низшемъ предъ нами уровнѣ. Мы образовали аристократію класса, и постороннему глазу могла казаться наша компактность спѣсью трехъ первыхъ учениковъ. Но если бы подвернулся четвертый, равный по развитію и съ однородными интересами, мы точно также сомкнулись бы и четверомъ какъ втроемъ. Съ другой стороны, первымъ ученикомъ, какъ было выше упомянуто, нѣкоторое время по переходѣ въ Богословскій классъ, значился не я и не остальные двое; отъ этого ученика, однакожъ, не смотря на его „первенство“, мы были далеки.

Товарищей и даже классныхъ занятій бесѣды наши почти не касались, исключая критическихъ замѣчаній на пустоту уроковъ и неспособность преподавателей; пересудовъ никакихъ. Наука вообще и литература внѣ классныхъ стѣнъ насъ занимали; много толковали объ Академіи, куда влекла и собственная рѣшимость и наше положеніе первыхъ учениковъ. Кто тамъ будетъ съ нами еще изъ товарищей, насъ не интересовало, и мы не перебросились объ этомъ ни однимъ словомъ ни съ однимъ; мы оставались въ себѣ несмѣсимою единицею и въ такомъ же видѣ представляли себѣ ближайшее будущее.

Я вносилъ живость въ отношенія, и это повидимому выдѣляло меня отъ двухъ остальныхъ. Разсуживая себя по физиологическимъ признакамъ и частію по Макровіотикъ Гуфеланда, мы рѣшили промежъ себя, что Василій Михайловичъ (темнорусый, почти брюнетъ) есть меланхоликъ, Иванъ Николаевичъ (блондинъ) флегма-

вмѣстѣ и судя по себѣ вѣроятно. Замѣчанія и настоянія чаще получались обратныя. Ректоръ (Евсевій, скончавшійся архіепископомъ Могилевскимъ) беспокоился о здоровьѣ воспитанниковъ, надсаживавшихся за занятіями, и настаивалъ, чтобы они имѣли больше движенія, а главное—чтобъ не засиживались по ночамъ. Ради этого принимались мѣры: въ родѣ того на примѣръ, чтобы не принимать сочиненій мѣсячныхъ позднѣе срока или не отпускать свѣчей на ночь. Но то и другое безуспѣшно: студенты затягивались въ сочиненія и засиживали ночи.

Послѣобѣденные классы, посвященные языкамъ (еврейскому, нѣмецкому, французскому, отчасти греческому) посѣщались студентами особенно неохотно. Разъ, въ одну изъ такихъ послѣобѣденныхъ вакацій, Василій Михайловичъ входитъ ко мнѣ. „Что же это вы, Василій Михайловичъ, не въ классъ?“ спрашиваю. Онъ отвѣчалъ мнѣ обыкновенными доводами: что посѣщеніе класса будетъ потерю времени; что онъ больше успѣетъ здѣсь; что нужно имѣть въ виду главную цѣль нашего ученія, а ей наносится ущербъ, когда будешь выслушивать давно извѣстное и т. д. Въ шутку я началъ опровергать его: что умничать надъ уставомъ не наше дѣло; что насъ поятъ, кормятъ, одѣваютъ, обуваютъ, даютъ всѣ средства, и мы обязаны изъ одной уже благодарности за эту заботливость подчиняться правиламъ заведенія; что и давно извѣстное, когда вновь повторяется, можетъ навести на новыя мысли; что въ большей части отговаривается отъ классовъ лѣнь, а не дѣйствительное трудолюбіе; что нарушеніе дисциплины во всякомъ случаѣ есть дурной примѣръ; что не честно мы поступаемъ въ отношеніи наставника, который можетъ быть особенно готовился и вдругъ увидить пустую аудиторію, и пр. и пр.—А что же вы сами остались? простодушно спросилъ онъ.—Я? я дурно поступаю, и сознаюсь въ этомъ; но вамъ я не примѣръ и не отговорка.



И не ожидалъ я, чтобы моя, болѣе шуточная нежели серьезная, аргументація достигла успѣха. А она произвела такое глубокое дѣйствіе, что потомъ Василій Михайловичъ не пропустилъ уже *ни одною класса* до самаго окончанія курса. И онъ сталъ козломъ отпущенія для всѣхъ; на нѣкоторыхъ классахъ онъ былъ единственнымъ слушателемъ. Не ходили даже дежурные, обязанные носить классическій журналъ ректору; журналъ они понесутъ, а въ классѣ все-таки не останутся, зная, что благодаря Василю Михайловичу, профессоръ будетъ не въ пустыхъ стѣнахъ.

Я сказалъ: не пропустилъ *ни одною класса*. Нѣтъ, былъ пропущенъ одинъ, и по слѣдующему случаю. Баккалавръ еврейскаго языка пожаловался ректору, что его совсѣмъ не посѣщаютъ. Ректоръ обязанъ былъ принять къ свѣдѣнію жалобу; вызвалъ „старшихъ“ и потребовалъ, чтобы студенты не уклонялись отъ еврейскихъ уроковъ. Какъ быть? Задумались студенты, тѣмъ болѣе что и у себя, въ комнатахъ, не многіе занимались еврейскимъ. Послѣ долгихъ совѣщаній принято было мое предложеніе, тѣмъ болѣе что оно пришлось съ руки малознающимъ и лѣнливцамъ и напротивъ должно было отозваться непріятностями именно на насъ, лучшихъ. Я предложилъ: желаніе преподавателя исполнить и въ слѣдующій же классъ отправиться всѣмъ до одинаго; но—безъ книгъ, а на вопросы, которые будетъ давать преподаватель, отзываться полнымъ незнаніемъ даже читать по еврейски. Многіе такимъ отвѣтомъ скажутъ чистую правду, а мы, знающіе, принимаемъ на себя всѣ непріятныя послѣдствія отвѣта, ложь котораго преподавателю будетъ очевидна. Все дѣло наше: доказать бесплодность и мелочность придирки и отучить отъ жалобъ. „Но, прибавилъ я, Василій Михайловичъ, этотъ единственный доселѣ слушатель еврейскихъ уроковъ, долженъ на этотъ разъ отправиться гулять. Мы, неисправные, можемъ рисковать собой, и если постигнетъ чужазаніе, заслуженно подвергнемся ему. Но безчестно

ставить единственнаго исправнаго студента въ ложное положеніе. Съ какими глазами онъ будетъ увѣрять, что забылъ еврейскую Библію, когда не болѣе двухъ дней назадъ, онъ же читалъ ее вмѣстѣ съ бакалавромъ?<sup>4</sup> Безъ труда я уговорилъ Василю Михайловича принести эту жертву товарищамъ. Кстати сказать, подленькіе все-таки среди нихъ нашлись. Одинъ началъ отговариваться, что не пойдетъ, такъ какъ числится больнымъ. Этого усовѣстили, доказавъ, что и болѣзнь-то его, какъ извѣстно, вымышленная, и что подлымъ образомъ онъ хочетъ ею только воспользоваться для избѣжанія непріятности, на которую идутъ всѣ. А другой оказался въ иноческомъ образѣ. Когда преподаватель вошелъ въ аудиторію и нашелъ ее полною, довольная улыбка озарила его лице. Радостно обратился онъ къ М. С. Боголюбскому (нынѣ протоіерею) студенту, наилучше подготовленному по еврейскому языку. Книги у него не оказалось по уговору, равно и у всѣхъ, сидѣвшихъ на передней скамьѣ. Преподаватель даетъ экземпляръ; студентъ выказываетъ себя затрудненнымъ. Заговоръ былъ ясенъ. Бакалавръ окидываетъ тогда взоромъ залу и обращается къ сидѣвшему на задней скамьѣ черноризцу. Всталъ тотъ, съ величайшимъ смущеніемъ поглядывая на товарищей; затѣмъ медленно, робко вытащилъ книгу изъ своего широкаго рукава.— Впрочемъ и то сказать: какъ было поступить ему иначе? Онъ былъ монахъ; шалость, извинительная для насъ, непростительна была бы для него.

Василій Михайловичъ былъ всеобщимъ будильникомъ и всеобщимъ справщикомъ. Ложились спать, когда кто хотѣлъ; вставали также. „Василій Михайловичъ, говоритъ одинъ студентъ, разбудите меня въ пять часовъ“. „А меня въ четверть шестаго“, проситъ другой,—и такъ далѣе: назначаютъ часы, получасы и даже четверти. Василій Михайловичъ переспроситъ, ляжетъ спать когда ему нужно; но къ назначеннымъ часамъ, получасамъ, четвертямъ часа, будетъ подниматься, будетъ и добу-

живаться; снова ляжетъ и снова встанетъ, хотя бы десять разъ въ одну ночь.

„Василій Михайловичъ, какъ это перевести?“ Несутъ греческую книгу или показываютъ еврейское мѣсто у нѣмецкаго писателя. „Василій Михайловичъ, не помните ли вы, что значить такое-то слово,“ или: „кто жилъ прежде, такой-то или такой-то?“ И Василій Михайловичъ безропотно оставляетъ свое дѣло, иногда самъ вынуждаясь справляться и задумываться; но исполняетъ просьбу. Былъ случай, меня даже возмущившій и многихъ заставившій пожимать плечами. Къ концу курса, для диссертации на ученую степень одному студенту назначено было изслѣдованіе о греческомъ церковномъ писателѣ позднихъ вѣковъ, почти неизвѣстномъ литературѣ. Сочиненія его недавно были изданы, и притомъ безъ латинскаго перевода; языкъ уже отошедшій отъ языка древнихъ отцевъ; руководствъ никакихъ. Магистрантъ насѣлъ на Василія Михайловича, заставилъ его перевести всего писателя, подъ видомъ то того, то другаго случайно непонятнаго мѣста. И добро бы съ просьбою! Нѣтъ, онъ обращался съ высокомѣрно-снисходительнымъ видомъ, какъ будто оказывалъ одолженіе; говорилъ такимъ тономъ, какимъ важный баринъ приказываетъ слугѣ съ презрительно вытянутою губою: „почистите пожалуйста сапоги“. А вмѣсто благодарности отплатить одобрительнымъ кивкомъ головы, какъ бы экзаменаторъ испытываемому.

По переходѣ въ старшее отдѣленіе Академіи (черезъ два года по поступленіи) Василій Михайловичъ заскучалъ. Онъ былъ назначенъ „старшимъ“ (комнатнымъ надзирателемъ) среди новопоступившихъ. Хотя Иванъ Николаевичъ назначенъ старшимъ въ слѣдующей же комнатѣ, рядомъ, но Василій Михайловичъ сталъ задумываться сильнѣе обыкновеннаго и откровенно объяснилъ причину: тягость надзирательскаго отношенія и непривычка къ новымъ сожителямъ. Посовѣтовались мы съ Иваномъ Николаевичемъ вдвоемъ, предлагали за-

скучавшему другу просить перемѣщенія. Не рѣшается: „какъ это покажется?„ Тогда я рѣшился взять дѣло на себя: отправился къ инспектору и просилъ о разжалованіи Василія Михайловича, объяснивъ причины. Съ какою радостью, можно сказать опрометью, перебрался заскучавшій другъ въ другой корпусъ, въ рядовые студенты, подѣ номинальный надзоръ ко мнѣ, вмѣстѣ съ одноклассниками-товарищами!

Иванъ Николаевичъ, какъ „практическій“ по нашему мнѣнію человекъ, былъ въ Академіи нашею обоимъ нянькою: онъ въ первые два года, когда всѣ трое мы жили въ одномъ корпусѣ, заваривалъ намъ чай, ежедневно являясь по утрамъ съ полотенцемъ на плечѣ, и будя меня, если я заспался; не ставя себя за трудъ напоить меня и особо, если я, засидѣвшись до пяти часовъ утра, просилъ дать мнѣ выспаться. Онъ занималъ намъ лошадей въ Москву и обратно (ѣздили мы всегда втроемъ) ридилъ, покупалъ, вѣдалъ всѣ наши хозяйственныя дѣла, покуда были они у насъ общія; былъ нашимъ казначеемъ. Трогательно было отношеніе этой благороднѣйшей души къ намъ обоимъ, когда послѣ пріемнаго экзамена, мы оказались ниже его поставленными въ студенческомъ спискѣ. Онъ принятъ былъ въ числѣ пяти „очень хорошихъ“ (эта отмѣтка равнялась университетской круглой пятеркѣ), я—въ числѣ „хорошихъ“, а Василій Михайловичъ еще въ низшемъ разрядѣ; и такъ оставалось цѣлый годъ, списокъ не измѣнялся. Когда спрашивалъ кто нибудь изъ постороннихъ, „какъ мы трое идемъ въ Академію“, Иванъ Николаевичъ, не давая намъ рта разинуть, обыкновенно отвѣчалъ, указывая на насъ обоихъ: „онъ первымъ, а онъ вторымъ; я стою первымъ въ спискѣ, но это по алфавиту“. Когда мы возражали противъ неумѣстной скромности, даже несправедливой, онъ отвѣчалъ своимъ аподиктическимъ тономъ: „ничуть это не скромность; глупо приписывать себя случайность, чтобы потомъ самому себя развѣнчивать. Я знаю, что такъ будетъ“. За то и Василій

Михайловичъ, отвѣчалъ педобнымъ же образомъ въ послѣдствіи, когда по окончаніи курса, митрополитъ (Филаретъ) низвелъ меня съ перваго мѣста, на которомъ я значился по списку академической конференціи. Первое мѣсто оказалось тогда за нашимъ кроткимъ другомъ. „Совсѣмъ не съ чѣмъ поздравлять меня, говорилъ онъ на поздравленіе по этому случаю; меня совсѣмъ не повысили, а только Н. П.—ча понизили“.

Служба разлучила насъ, погнавъ меня въ особенности совсѣмъ по другой дорогѣ. Но оба мои присные остались до гроба тѣмъ же, чѣмъ были на школьныхъ скамьяхъ. Кроткаго Василя Михайловича не забудутъ всѣ кто его зналъ, равно и Ивана Николаевича, всегда ровнаго и яснаго. Въ концѣ пятидесятихъ годовъ, навѣстивъ какъ-то Василя Михайловича, я замѣтилъ, что онъ томился отсутствіемъ дѣла. Я сталъ ему представлять, что съ его познаніями и способностями грѣшно не приложить рукъ къ чему нибудь на пользу общественную. Посыпались отвѣты, мною предвидѣнные, какъ-де соваться, да какое дѣло ему по силамъ. Я предложилъ ему вмѣстѣ со мною заняться переводомъ греческихъ классиковъ, какъ нѣкогда сообща переводили мы Фихте младшаго и Пассаванта съ нѣмецкаго, Юма съ англійскаго (переводы эти остались домашнимъ нашимъ упражненіемъ). Онъ согласился, и первыя главы *Киропедіи* Ксенофонта въ его переводѣ, кажется, сейчасъ въ одномъ изъ моихъ портфелей. Но мои мытарства по службѣ, а потомъ умножившіяся и у него служебныя занятія не дали намъ окончить общаго труда.

Съ Иваномъ Николаевичемъ на службѣ стряслось происшествіе, которое, какъ выше я сказалъ, и свело его во гробъ по моему мнѣнію. Въ началѣ шестидесятихъ годовъ я, по приглашенію въ Бозѣ почившей Государыни Императрицы, составилъ записку „О первоначальномъ народномъ обученіи“. Стоило бы разсказать исторію этой записки, странствовавшей изъ кабинета Государыни къ Государю и въ Комитетъ, обсуждавшій

дѣло народнаго обученія, чтеніе ея предъ митрополитомъ Филаретомъ и двоекратное, даже троекратное потомъ появленіе ея въ печати. Но это отвлекло бы меня. Дѣло въ томъ, что я проектировалъ церковно-приходскія школы по той программѣ, какая, нѣсколько уже анахронически, усвоена теперь, послѣ того какъ уже двадцать слишкомъ лѣтъ живутъ школы на иномъ основаніи, успѣвши воспитать поколѣніе и образовать преданіе. Въ тѣ времена, чтобы слово не оставалось безъ дѣла и былъ готовый примѣръ, я предложилъ одному московскому протоіерею дать совѣтъ благотворителю, недоумѣвавшему, какъ употребить капиталъ, назначенный имъ на церковь: „совѣтуйте учредить церковно-приходскую школу“. Совѣтъ принять, и я достигъ, что сама Императрица присутствовала при открытіи заведенія. Тотъ же совѣтъ поданъ мною былъ потомъ и Ивану Николаевичу, состоявшему священникомъ въ одномъ изъ замоскворѣцкихъ приходовъ. Староста, безнадежно больной, составилъ завѣщаніе и обратился къ батюшкѣ, чтобы надоумилъ, какъ распорядиться частію имущества, предназначеннаго имъ на богоугодныя дѣла. Совѣтъ и здѣсь принять. Купецъ умираетъ; дѣла его принимаютъ душеприкащики. Но прознала о завѣщаніи извѣстная мать Митрофанія; уговорила дать ей капиталъ, назначенный на церковь и школу; заручилась разрѣшеніемъ митрополита (Иннокентія). Иванъ Николаевичъ, сохраняя всю почтительность къ архипастырю, противосталъ этому хищенію, нарушавшему волю завѣщателя, и заплатилъ за ревность о правдѣ и о домѣ Божіемъ: онъ немедленно переведенъ былъ съ достаточнаго прихода въ бѣдный. Я уже издавалъ газету. Стороною слышалъ о происшествіи, навелъ справки и написалъ замѣтку, оканчивавшуюся словами: „враги церковнаго просвѣщенія, посягатели на церковную собственность, радуйтесь“. Намѣренно я невидѣлся съ пострадавшимъ; я зналъ, что онъ упросилъ бы меня воздержаться отъ огласки. Но я исполнилъ долгъ, какъ понималъ его.

Послѣ Иванъ Николаевичъ былъ вознагражденъ за невзгоду имъ перенесенную и получилъ одинъ изъ видныхъ приходовъ. Но не повѣрю, чтобы она прошла ему даромъ: она-то и отозвалась въ болѣзни, сведшей его въ могилу.

Заключу происшествіемъ изъ студенческой жизни, которое характеризуетъ обоихъ моихъ присныхъ, а можетъ быть и меня въ моей юности.

Была весна 1848 года, по всей вѣроятности мартъ или первая половина апрѣля; снѣгъ уже почти сошелъ съ полей, шоссе представляло дорогу полусанную, полуколесную; конусы гравія по сторонамъ и земля около нихъ были совсѣмъ на лѣтнемъ положеніи; послѣднее обстоятельство помню живо. Вызвалъ я своихъ пріятелей на прогулку въ монастырь, провелъ съ версту или полверсты за посадъ и пригласилъ ихъ сѣсть на одинъ изъ конусовъ.

„Я отвелъ васъ нарочно далеко, началъ я, чтобы намъ никто не помѣшалъ, никто насъ не видѣлъ, и никто не зналъ, о чемъ мы будемъ говорить. Почта сегодня не пришла; какъ вы объ этомъ судите?“

Почта ходила въ посадъ всего два раза въ недѣлю. Понятно, всегда ждали ее съ нетерпѣніемъ; небывалая просрочка ея при столь близкомъ разстояніи отъ Москвы, являлась событіемъ загадочнымъ и возбуждала толки. А время было тревожное: февральская революція въ Парижѣ; изъ Москвы шли слухи, неопредѣленные большею частію, иногда прямо нелѣпыя, но дававшіе подозрѣвать что-то неладное. Телеграфа не было, да и газетъ, кромѣ *Московскихъ Вѣдомостей*, тоже.

Иванъ Николаевичъ съ обычною рѣшительностью немедленнаго объяснителя всѣхъ житейскихъ вопросовъ, отвѣтилъ:

«Ямщикъ напился пьянъ, лошади понесли, вывалили почту; почтальонъ сломалъ ногу. Сумка гдѣ нибудь на проселкѣ, куда заѣхали лошади; мужики ее караулятъ. Дали знать становому, донесли въ Москву. Оттуда прі-

ѣдетъ чиновникъ, провѣритъ почту, и мы вечеромъ ее получимъ».

Василій Михайловичъ слушалъ, улыбаясь находчивости друга и вполне съ нимъ соглашаясь.

— Однако вы слышали, возразилъ я, что толкуютъ о бунтѣ. Можетъ быть это вздоръ: но представьте, что въ Петербургѣ революція, порядокъ поставленъ верхъ дномъ, и мы сегодня ли вечеромъ, завтра ли, получимъ предписаніе отъ новаго правительства о присягѣ. Какъ мы должны поступить,—мы, первые студенты? Голосъ нашъ будетъ авторитетенъ; за нами послѣдуютъ другіе. И такъ, уговориться заранѣе: что мы скажемъ и какъ мы поступимъ?

На такую неожиданную рѣчь Иванъ Николаевичъ отвѣтилъ, что наша обязанность послѣдовать приказаніямъ ближайшаго начальства; какъ поступить ректоръ, митрополитъ, что они скажутъ. Намъ разсуждать нечего.

— Какъ! вскричалъ я съ обычною мнѣ тогда живостью. Алексій вздумаетъ завтра пропѣть Марсельезу, а васъ, Иванъ Николаевичъ, какъ знатока во французскомъ и музыканта, заставить обучать насъ ей во французскомъ подлинникѣ и подыгрывать мотивъ на фортепіано! И мы съ Василиемъ Михайловичемъ будемъ подтягивать изъ того только, что его высокопреподобію и его высокопреосвященству такъ угодно? (Мои пріатели смѣются, воображая картину, какъ ректоръ будетъ пѣть Марсельезу). Начальство *теперь* наша власть, и мы обязаны ему повиноваться *теперь*, при существующемъ порядкѣ. Но когда порядокъ низвергнуть, низвергнуто самое правительство, отъ котораго поставлено наше начальство, положеніе измѣнится: мы должны будемъ сказать, мы сами должны будемъ рѣшить, на которую сторону стать.

Василій Михайловичъ пустился въ высшія теоретическія разсужденія о такихъ или другихъ возможныхъ цѣляхъ переворота и его характерѣ, съ намѣреніемъ впрочемъ болѣе замаять вопросъ, смягчить его рѣзкую форму и отклонить рѣшеніе, нежели рѣшить.



Я не далъ ему договорить и въ намѣренномъ преувеличеніи изобразилъ страшную картину происшедшаго въ Петербургѣ: бунтъ 14 декабря въ обширнѣйшихъ размѣрахъ и съ обратнымъ концемъ. Пальба, кровопролитіе, висѣлицы и разстрѣліянія. «Я про себя рѣшилъ, заключилъ я: я умру за старый порядокъ, о чемъ вамъ и объявляю».

— Но вы сами же какъ на него нападали! возразилъ Василій Михайловичъ.

— Это дѣло другое, возразилъ я; я нападаю, протестую, критикую, гнушаюсь, но—въ предѣлахъ основнаго государственнаго порядка, который можетъ-быть только терпимъ народомъ, пусть, но по моему мнѣнію даже не терпится, не попускается, а признается сердцемъ. Я смѣюсь и негодную надъ частными несовершенствами, злоупотребленіями, безправіемъ, попраніемъ личности. Еще бы одобрять Н—ву, когда она остригла косу дѣвкѣ и выдала за пастуха, въ наказаніе что не хотѣла та облизать рану комнатной собачкѣ! Такое право однако неизбѣжно ли соединено съ даннымъ порядкомъ? Грабительство окружныхъ и тиранство Котка (извѣстный тогда по округѣ сельскій голова) непременно ли настоящимъ порядкомъ требуется? Это есть вопросъ. А народъ повинуется царю не только за страхъ, но и за совѣсть, вотъ что мы знаемъ. Посмотрите, какъ мой Матвѣй (солдатъ-служитель) разсуждаетъ о несправедливыхъ наказаніяхъ, которымъ подвергался на службѣ: «въ этомъ не виноватъ, за то въ другомъ былъ грѣшенъ, и—прими наказаніе». Вотъ народное-міросозерцаніе. Да и не въ этомъ вопросъ. А кто уполномочилъ какого-нибудь офицеришку, можетъ быть начитавшагося книжекъ, по моему мнѣнію да и по вашему полагаю, даже поверхностныхъ, внушенныхъ страстію больше, нежели мыслию—кто уполномочилъ такихъ умниковъ ломать тысячелѣтній строй и перелаживать государства по вычитаннымъ или выдуманнымъ рецептамъ? Пойдите пожалуйста!—И я долженъ

сейчасъ покориться? Да я-то можетъ быть и еще лучше ихъ придумаю, такой благодѣтельный государственный проектъ составляю, что умрутъ отъ восторга. А народъ меня на вины приметъ; да и всякаго другаго благодѣтеля, я увѣренъ. Потомъ имѣйте въ виду: и весь-то народъ въ его теперешней совокупности, есть только моментъ народа; истинный „народъ“—въ исторіи, а не въ нынѣшнемъ или вчерашнемъ днѣ. Потому-то внезапный переворотъ государственный всегда есть зло, порокъ и болѣзнь, отравѣ общества.

А надобно замѣтить, что къ тому времени я-то уже достаточно освоился съ государственными и социальными теоріями, и наблюденіе надъ историческими законами привело меня къ заключенію, котораго держусь доселѣ: что отвлеченное начало, приложенное къ строенію человѣческихъ обществъ, одинаково разстроиваетъ отправленія духовнаго организма, какъ чистый химическій элементъ, введенный въ растительный организмъ. Чистымъ азотомъ погубишь растеніе, хотя азотъ и нуженъ для его жизни; и „правами человѣчества“ не выразишь государства, хотя «Декларация» о нихъ и заключала въ себѣ истины.

Слова мои подѣйствовали, и пріятели рѣшились послѣдовать моему примѣру. Разумѣется, страхи оказались напрасными, призраки грозныхъ рѣшительныхъ вопросовъ разсѣялись. Иванъ Николаевичъ по всей вѣроятности даже забылъ потомъ о нашемъ уговорѣ. Но мы съ Васи́ліемъ Михайловичемъ какъ-то вспомнили объ немъ смѣясь; и я увѣренъ, наступи испытаніе, Васи́лій Михайловичъ принялъ бы смерть не моргнувъ глазомъ. Съ совѣстью онъ не умѣлъ торговаться.

## LXII.

## Переходъ въ Академію.

И такъ вотъ съ кѣмъ я долженъ былъ отправиться въ Академію. Опускаю церемонію семинарскихъ выпускныхъ экзаменовъ, на сей разъ не представлявшую ничего особеннаго; но не умолчу о выданномъ мнѣ аттестатѣ, на которомъ вмѣстѣ съ похвалами объ отличныхъ успѣхахъ въ такихъ наукахъ, которыми я почти не занимался, отмѣченъ былъ я поведенію «добраго». Только «добраго»! подумалъ я. Меня, перваго студента, вмѣсто «отлично хорошаго» награждаютъ только «добрымъ»! По справкѣ я успокоился, хотя дивиться не пересталъ. По терминологіи, усвоенной ректоромъ Алексіемъ, удостовѣренія въ «добромъ» поведеніи удостоивались лишь весьма немногіе избранные; за снѣ шли поведенія «честнаго», потомъ «очень хорошаго», «хорошаго» и такъ далѣе. На чемъ основывалась такая постепенность, самъ ли ректоръ ее придумалъ, и во всѣхъ ли епархіяхъ принята таже формула? На послѣдніе два вопроса я колебался отвѣтить утвердительно, да и сейчасъ колеблюсь. Полагаю, что ректору внушенъ былъ порядокъ аттестацій митрополитомъ: а почему „честное“ поведеніе выше „очень хорошаго“ и какое опредѣленное понятіе подразумѣвалось подъ „добрымъ“, недоумѣваю и сейчасъ.

Составъ нашего курса былъ, какъ я уже говорилъ, не изъ отличныхъ, по моему мнѣнію; я былъ Оома дворянинъ на безлюдѣ. Слѣдовавшій за нами курсъ былъ безспорно выше и выставилъ не одно замѣчательное дарованіе, болѣе или менѣе громко заявившее о себѣ обществу и въ печати. Слабѣ насъ пожалуй былъ курсъ, непосредственно намъ предшествовавшій; но передъ тѣмъ опять два курса сряду памяты блестящими дарованіями. Ректоръ же нашъ, можетъ быть по неопыт-

ности, а можетъ быть потому, что недостаточно придавалъ вѣса академическимъ требованіямъ, судя по собственной студенческой удачѣ, признавалъ чуть не поголовно всѣхъ московскихъ студентовъ, то есть кончившихъ у него въ первомъ разрядѣ, стоящими перехода въ академію. Всѣхъ спрашивалъ, „куда думаютъ“; при выраженномъ колебаніи настоятельно совѣтовалъ отправляться къ Троицѣ; на сомнѣніе же, достаточна ли подготовка, отвѣчалъ успокоительнымъ увѣреніемъ: «непремѣнно примутъ! какъ не принять!»

Пятерыхъ отъ Московской семинаріи Академія *требовала*; это разрядъ такъ называемыхъ «присланныхъ». Выборъ имъ бывалъ во всѣхъ семинаріяхъ строгій, и отправляемы бывали они на казенный счетъ. По строгости выбора рѣдко и случалось, чтобы присланные не выдерживали экзамена, тѣмъ болѣе что только изъ Московской семинаріи вызывалось до пяти студентовъ; другія приглашаемы были выслать трехъ, двухъ, иногда и одного. Если случалось несчастіе, присланный проваливался, его возвращали въ епархіальное вѣдомство на счетъ приславшаго семинарскаго начальства, и такое обстоятельство клало безчестіе на заведеніе, или неспособное цѣнить людей или не умѣющее готовить воспитанниковъ къ высшему образованію.

При отборѣ студентовъ для казенной отсылки изъ нашей семинаріи Алексѣй употребилъ хитрость, которая вмѣстѣ была несправедливостью. Василій Михайловичъ, какъ сказалъ я выше, слегка заикался. Ректоръ призвалъ его къ себѣ и объяснилъ, что постоянный еще съ Риторическаго класса второй ученикъ вполнѣ конечно заслуживаетъ быть отправленнымъ въ Академію на казенный счетъ. „Но вы знаете за собой физическій недостатокъ, прибавилъ онъ; а въ Академію требуются студенты безъ тѣлесныхъ пороковъ. Совѣтую вамъ потому отправиться на собственный счетъ, *волонтеромъ* (такъ назывались добровольно поступающіе, не изъ присланныхъ). Вы этимъ откроете

случай воспользоваться казеннымъ пособіемъ другому, недостаточному. Васъ же какъ бы даже не воротили за вашъ недостатокъ, когда бы мы васъ послали; мнѣ не хотѣлось бы испытать эту неприятность. Впрочемъ я увѣренъ, заключилъ ректоръ, въ успокоеніе, что васъ примутъ, когда вы явитесь волонтеромъ; я съ своей стороны напишу письмо къ академическимъ властямъ". Василій Михайловичъ былъ не изъ такихъ, чтобы послушаться, и на столько свѣтъ, что даже не подозревалъ лукавства и не замѣтилъ противорѣчій въ ректорскихъ словахъ. Но они заключали ложь съ начала до конца. Все дѣло состояло въ томъ, чтобы втереть въ число пятерыхъ такого, о которомъ основательно можно было опасаться, что его вернуть, когда бы онъ явился волонтеромъ: волонтеровъ обыкновенно строже Академія экзаменовала, нежели присланныхъ.

Къ одной несправедливости прибавлена была и другая: въ окончательномъ списокѣ студентовъ выпущенъ можетъ быть лучший изъ всѣхъ насъ не вторымъ, какимъ онъ числился всегда, а третьимъ! Товарищи объясняли это желаніемъ скрыть махинацію отъ митрополита. Зоркій глазъ его мигомъ замѣтилъ бы, что рекомендуютъ въ Академію пятерыхъ, минуя втораго студента. Неизбѣжно послѣдовалъ бы вопросъ: почему? Пришлось бы сослаться на физическій недостатокъ; а на это послѣдовало бы неизбѣжное возраженіе: „я былъ на экзаменахъ и не замѣтилъ; пришли его ко мнѣ". Впрочемъ можетъ быть то была и напраслина, и возможно, что списокъ былъ составленъ по доброй совѣсти.

Помимо Василя Михайловича отправилось въ Академію волонтерами еще семеро, всего значитъ съ вызванными тринадцать. Никогда такого числа не составляла семинарія; и всего вакансій-то было въ Академіи шестьдесятъ, большинство которыхъ, понятно, будетъ занято присланными. Но москвичи ѣхали безъ тревоги, обнадѣженные ректоромъ; да и не бывало при-

мѣра отъ начала Академіи и Семинаріи, чтобы поворачивали назадъ,—кого же?—Московскихъ воспитанниковъ,—изъ семинаріи, стоящей подъ непосредственнымъ надзоромъ самого митрополита.

Сговаривались о повздкѣ только мы трое; (Иванъ Николаевичъ былъ въ числѣ посланныхъ). Впрочемъ забота лежала исключительно на Иванѣ Николаевичѣ: онъ знаетъ, когда и гдѣ нанять ямщика, даже котораго ямщика; сколько заплатить; куда мы должны съѣзжаться, чтобы сѣсть на лошадей; въ какой день выѣзжать и въ какой часъ, и чѣмъ мы должны запастись на дорогу и на будущее житье въ теченіе цѣлой „трети“, самой долгой,—отъ половины августа до конца декабря. Онъ знаетъ больше того: заранее намъ сказалъ, гдѣ мы слѣземъ по пріѣздѣ къ Троицѣ и куда пойдемъ, и что намъ скажутъ по взятіи отъ насъ аттестатовъ. Заранѣ опредѣлилъ онъ, въ какомъ и номерѣ мы будемъ жить по пріемѣ въ Академію: въ девятомъ; это самый веселый и самый почетный номеръ, подъ инспекторскою квартирою; москвичей перваковъ и вообще лучшихъ студентовъ туда помѣщаютъ. Это единственный номеръ, въ которомъ окна смотрятъ на три стороны, а не на одну или на двѣ, какъ въ другихъ. Одно изъ оконъ выходитъ, между прочимъ, на открытое мѣсто къ Святымъ воротамъ; имъ мы впрочемъ не будемъ пользоваться; здѣсь, въ свѣтломъ углу будетъ сидѣть нашъ „старшій“, то есть надзиратель изъ студентовъ, которому полагается особенный, отдѣльный отъ другихъ столъ. Прочіе будутъ сидѣть за общими столами, которыхъ въ этомъ номерѣ будетъ два. Иванъ Николаевичъ перебиралъ даже студентовъ, гадая, кто будетъ нашимъ „старшимъ“, и дѣлалъ каждому характеристику; вѣдь онъ недавно гостилъ тамъ и знаетъ всѣхъ. Предупреждалъ насъ Иванъ Николаевичъ и о томъ, что мы найдемъ между прочимъ вахлаковъ, чучель, пріѣхавшихъ изъ дальнихъ губерній, которые будутъ насъ дичиться; но мы будемъ какъ у себя и вообще на правахъ почетныхъ гостей.

15 августа 1844 года мы тронулись раннимъ утромъ и прибыли къ Троицѣ во время всенощной. Все шло по предсказанному заранѣе. Дороги я почти не замѣтилъ; помню, что мы ежеминутно сворачивали съ главной линіи и что была непомѣрная грязь; тогда прокладывали шоссе, это и вынуждало проѣзжихъ прибѣгать къ околицамъ. Приѣхали, слѣзли и вошли въ монастырь; послѣдовали за Иваномъ Николаевичемъ на инспекторское крыльце. Въ одну минуту онъ сбѣгалъ во второй этажъ и воротился назадъ: инспекторъ у всенощной, придется немножко подождать; но уходить мы не должны, сейчасъ онъ воротится. Пока нашъ руководитель ходилъ справляться, пробили часы на колокольнѣ и раздался всенощный звонъ. И гармоничный бой часовъ и этотъ стройный звонъ въ сумракѣ, продолжавшій гудѣть нѣсколько секундъ послѣ даже своего окончанія, потрясли меня. Мигомъ будущее съ безчисленными вопросами предстало предъ мною. Что я здѣсь найду? Какъ найдусь? Какъ перенесу общежитіе, котораго никогда не испыталъ? Найду-ли духовное и умственное удовлетвореніе въ лекціяхъ и въ занятіяхъ и пр. и пр.? Не успѣлъ я кончить мыслей, какъ Иванъ Николаевичъ объявилъ: „пойдемте“. Я почти не замѣтилъ, какъ прошелъ мимо насъ инспекторъ-архимандритъ, низко намъ кланяясь, при чемъ я, смотря на товарищей, машинально снялъ картузъ, не зная, кому отдаю почтеніе.

Вошли на верхній этажъ, при чемъ дорогою Иванъ Николаевичъ, указавъ намъ въ первомъ этажѣ направо „девятый номеръ“. Вошли въ переднюю инспектора и по указанію слуги—въ залу. Предъ нами архимандритъ, высокаго роста, какъ мнѣ тогда показалось, необыкновенно худой и блѣдный. Благословивъ каждого изъ насъ, и принявъ отъ насъ аттестаты, тихимъ, мягкимъ, чрезвычайно симпатичнымъ голосомъ, онъ спросилъ, какъ бы въ подтвержденіе: „изъ Московской семинаріи?“ Произношеніе сильно обало. Мы отвѣтили поклономъ.

„Пожалуйте въ шестой номеръ“; сказавъ это, поклонился намъ и удалился къ себѣ въ другую комнату. „Въ Лапландію! проговорилъ Иванъ Николаевичъ, когда мы вышли въ сѣни. Пойдемте.“

Изъ всѣхъ памятей памятью мѣстности я обдѣленъ. Не говоря о лѣсѣ, я не скоро найдусь въ городѣ. Поэтому я тогда совсѣмъ не разобралъ пути, которымъ слѣдовалъ за нашимъ провожатымъ, тѣмъ болѣе что смерклося. Я почти не замѣтилъ сада, которымъ проведенъ, но охваченъ былъ чувствомъ, когда подошелъ къ крыльцу дома, смотрѣвшаго средними вѣками: съ двойными окнами, необыкновенно расположенными, вообще съ фizioномією, не напоминающею пошлой городской архитектуры. Я почувствовалъ внезапное почтеніе и къ зданію, и къ тому что по предположенію въ немъ должно быть. Какъ много значитъ видъ зданій! Сколько разъ я это испытывалъ на себѣ и видѣлъ на другихъ! Вырости и воспитаться въ виду Кремля, или въ виду казармъ,—совсѣмъ другой человѣкъ выйдетъ, не менѣе того какъ совсѣмъ разные люди выходятъ изъ жителей долины, гдѣ взоръ упирается въ стѣну, сокращающую кругозоръ, и изъ жителей горныхъ, степныхъ, наконецъ приморскихъ. Иначе складывается не только характеръ, но и умъ: онъ пріобрѣтаетъ свойства и направление, родственныя особенностямъ природы или искусства, которыми былъ окруженъ глазъ съ дѣтства.

Послышался чей-то голосъ и вопросъ, на который послѣдовалъ отъ Ивана Николаевича отвѣтъ. Полурадостное легкое восклицаніе вырвалось у спрашивавшаго. Оба мои товарища вошли въ сѣни; я за ними, но ничего не вижу, темнота полнѣйшая. „Давайте мнѣ руку!“ произнесъ незнакомый голосъ, и чья-то рука, нѣжная и мягкая, какъ бы рука семнадцатилѣтней дѣвушки, взяла мою. Я болѣе догадался, чѣмъ увидѣлъ, что меня ведетъ монахъ. Подведя меня къ двери, онъ ушелъ со словами обращенными къ намъ: „смотрите же, господа, пожалуйста ко мнѣ завтра чаю напиться“. Это былъ,



какъ объяснилось чрезъ нѣсколько минутъ изъ разспросовъ у Ивана Николаевича, студентъ-іеродиаконъ Фотій, изъ Московской семинаріи, бывшій Аркадій Романовскій (въ послѣдствіи ректоръ семинаріи, а за тѣмъ, одновременно съ Теодоромъ — либеральный духовный цензоръ). Едва поступилъ онъ два года назадъ въ Академію, какъ охватилъ его аскетическій энтузіазмъ, и онъ принялъ монашество на 19-мъ году отъ рожденія.

Въ первой комнатѣ, куда мы вошли, дымъ столбомъ; народу биткомъ, кровати стояли чуть не одна на другой; говоръ, шумъ. Кто сидѣлъ, кто лежалъ, кто стоялъ. Мы прошли въ слѣдующую комнату. Народа такъ же множество, хотя здѣсь какъ будто меньше; кроватей такая же тѣснота. Парусные своды; стѣны толщиною аршина въ два съ половиною; окна въ полтора, если не болѣе, квадрата шириною. „Вотъ гдѣ мы пока будемъ жить“, сказалъ намъ Иванъ Николаевичъ. Взглядомъ хозяина окинулъ онъ комнату; сейчасъ отыскалъ празднаыя кровати. „Я беру эту кровать. Вы гдѣ? спросилъ онъ обращаясь къ намъ двоимъ. Здѣсь? А вы—здѣсь? Хорошо“. И прежде чѣмъ мы опомнились, онъ скрылся. Прошло съ четверть часа, пока онъ воротился съ ямщикомъ и служителемъ, тащившими наши чемоданы и вещи. Иванъ Николаевичъ распорядился, гдѣ что положить, подъ чью кроватью и на чьей кровати; рассчитался съ ямщикомъ и служителемъ и обратился къ намъ:—„Ну, теперь я къ вашимъ услугамъ. Что вы хотѣли сказать, Василій Михайловичъ?“

— А здѣсь вы играли, Иванъ Николаевичъ, на фортепіано?

— Да, здѣсь. Вы, вѣроятно, господа, ужинать не будете. Я тоже. Думаю, что намъ нужно спать поскорѣе.

Иванъ Николаевичъ вообще любилъ поспать и могъ спать въ любое время. Остальные часы поздняго вечера мы успѣли немножко поразобраться съ вещами; перекинулись кое съ кѣмъ изъ сожителей; узнали, что нѣкоторые изъ Могилевской епархіи, одинъ изъ Полтав-

ской. Иванъ Николаевичъ объяснилъ мнѣ, что оба номера, которые я видѣлъ, называются Лапландією, потому что солнце никогда въ нихъ не заходитъ; окна не только смотрѣли къ сѣверу, но и упирались въ монастырскую стѣну.

— Завтра, если хотите, я покажу вамъ мѣсто, которое называется Критикой, а теперь давайте спать.

Утро посвящено было посѣщенію Троицкаго собора, гдѣ почиваетъ Св. Сергій, обходу лавры и прилегающаго къ ней лаврскаго Пафнутьевскаго сада. Здѣсь показалъ И. Н. и Критику, — пригорокъ близъ одной изъ угольныхъ башенъ, съ котораго видна московская дорога. Скамейка, здѣсь расположенная, давала студентамъ возможность глазѣть на движеніе по дорогѣ, откуда и произошла кличка „Критики.“ Послѣдовалъ затѣмъ обѣдъ въ академической столовой; остальную часть дня отчасти бесѣдовали съ прочими изъ наѣхавшихъ москвичей, отчасти знакомились съ сожителями изъ другихъ епархій. Въ пятомъ часу не преминулъ явиться Фотій, напомнилъ о вчерашнемъ приглашеніи и увелъ къ себѣ. Онъ помѣщался въ одной изъ малыхъ профессорскихъ квартиръ, имѣвшей расположеніе на подобіе номеровъ въ гостинницахъ: просторная комната въ два окна, перегородженная къ сторонѣ корридора, чрезъ что образовались сверхъ залы еще передняя и темная спальня. Крашенныя стѣны безъ обоевъ, рѣдкая мебель изъ жесткихъ стульевъ и такого же дивана придавали квартирѣ сухой и холодный видъ. Служитель принесъ самоваръ; разговоръ состоялъ изъ разспросовъ, много ли насъ пріѣхало, не было ли чего интереснаго въ семинаріи за послѣднее время. Вопросы относились ко мнѣ преимущественно, потому что Василій Михайловичъ былъ не разговорчивъ, а Иванъ Николаевичъ еще ранѣе того исчезъ изъ Лапландіи въ посадъ къ сестрѣ.

Разговоры съ пріѣзжими иногородными товарищами въ этотъ вечеръ и прочіе ограничивались вѣтскими

сторонами семинарской жизни: кто ректоръ и инспекторъ, по какимъ учебникамъ проходили. У насъ, въ свою очередь, спрашивали о зданіяхъ Москвы и ея видахъ, особенно тѣ которымъ пришлось доѣхать до посада, не видавъ Москвы; таковы были владимірцы, вологодцы, ярославцы, костромичи. Одинъ владимірецъ въ наивномъ увлеченіи своимъ губернскимъ городомъ и губерніею вообще, не могъ представить, а потому и допустить чего нибудь болѣе великолѣпнаго Большой Владимірской улицы (единственной притомъ, какъ смѣялись нѣкоторые) и красивѣе Шум. Моя наблюдательность питалась особенностями во внѣшности самихъ студентовъ, и въ говорѣ особенно. Студенты изъ западныхъ губерній, могилевцы и виленцы, выдѣлялись отсутствіемъ неотесанности, печать которой лежала на остальныхъ. Въ движеніяхъ, взглядахъ, разговорѣ слышалась, позволяю себѣ такъ выразиться, цивилизація. Я не бывалъ въ западныхъ губерніяхъ, но понимаю отзывъ одного моего бывшего сослуживца, прокочевавшаго по всему Западному Краю и отзывавшагося о тамошнихъ городахъ, что тамъ „въ воздухѣ носится цивилизація“. Могилевцы и виленцы наружностью почти не отличались отъ москвичей и притомъ отъ болѣе полированныхъ изъ насъ. Виленцевъ выдавалъ только выговоръ и болѣе всего неспособность къ мягкому произношенію звука *р*; *ря*, *рю* для нихъ было недоступно; *рядъ* у нихъ былъ *радъ* (вліяніе близости польскаго).

Говоръ пріѣзжихъ былъ особенно разнообразенъ. Нѣкоторыхъ изъ вологодцевъ, особенно при ихъ скороговоркѣ, трудно было даже понимать съ непривычки. Много словъ они употребляли, намъ необычныхъ; глаголѣ „ревѣть“ спрягали „револю, ревишь, ревить“. Ярославцы нашу *Язу* произносили *Яза* (съ удареніемъ на предпоследнемъ слогѣ). Я внималъ полтавскому произношенію *бчол* (пчела), полногласному *чу* и *ча* нѣкоторыхъ, разнымъ оттѣнкамъ оканья, аканья, еканья

и иканья, смотря по мѣстностямъ. Интонація была у каждой мѣстности своя, звуки *и* (въ сочетаніи съ гласными) и *ч* произносились по разному, не говоря уже объ удивительной идіосинкразіи хохлацкаго слуха, передающаго *хв*, когда ихъ просятъ произнести *ф*, и на оборотъ; хохоль *фалитъ*, а не *хвалитъ*, и министръ у него не *финансовъ*, а *хвинансовъ*. Прислушавшись, я потомъ такъ наострился, что съ первыхъ звуковъ угадывалъ, изъ какой приблизительно губерніи мой собесѣдникъ. Въ послѣдствіи, познакомившись съ извѣстнымъ А. Н. Поповымъ (ислѣдователемъ *Русской Правды*, авторомъ путешествія въ Черногорію и другихъ сочиненій), и въ одно изъ первыхъ же свиданій спросилъ его: „мнѣ сдается, что вы изъ Тульской губерніи.“ Александръ Николаевичъ, подтвердивъ мою догадку, подивился, что я основалъ ее на выговорѣ. Ему казалось, что говоръ его вполнѣ московскій; но особенное произношеніе звука *а* и нѣкоторая придыхательность согласной *з*, не смотря на московское воспитаніе и нѣсколько лѣтъ петербургской службы, обличали туляка.

Нашимъ московскимъ выговоромъ многіе восхищались и, какъ послѣ признавались, вступали съ нами въ разговоръ не за тѣмъ, чтобы узнать что-нибудь, а единственно чтобы послушать, какъ мы говоримъ. Очаровывало ихъ въ нашемъ говорѣ не то, что онъ усвоенъ наиболѣе цивилизованнымъ классомъ; ихъ ласкали самые звуки, отдававшіеся имъ, по ихъ словамъ, нѣжною музыкою. Подобное же послѣ слышалъ я отъ двухъ дамъ, родившихся и проведшихъ дѣтство на южной окраинѣ Россіи. Дѣвочками онѣ выбѣгали слушать, когда появлялась къ нимъ московская торговка, и упивались ея говоромъ.

Нѣкоторыхъ поражала не рѣчь, а уличная или правильнѣе надворная фауна. Могилевецъ Ф. К. постоянно выбѣгаетъ на крыльцо и смотритъ въ воздухъ. „Что за прелестныя птицы у васъ! Какъ ихъ называютъ?“—

„Галки“, отвѣчаемъ мы, и удивляемся, что прїѣзжій товарищъ любитъ такую пошлую, вульгарную, приглядѣвшуюся намъ птицею.—У насъ только сороки, пояснилъ онъ. А мы ему повѣдали, что въ Москвѣ на оборотъ нѣтъ сорокъ, и передали народную легенду, что эта птица проклята Алексѣемъ митрополитомъ и на пятьдесятъ, если не на сто верстъ отъ Москвы не смѣетъ показываться.

А почему въ самомъ дѣлѣ галки не жалуютъ Могилева, сороки — Москвы? Орнитологи обязаны были бы это объяснить.

На который день послѣ прїѣзда нашего последовалъ прїемный экзаменъ, не помню. Впрочемъ, къ экзамену ни я, ни москвичи вообще, ни большинство прїѣхавшихъ не готовились. Я—по чутью, что это формальность, которая не будетъ для меня имѣть послѣдствій; все дѣло въ сочиненіяхъ, которыя, въ видѣ испытанія, будутъ намъ заданы; другіе—по неизвѣстности, о чемъ будутъ спрашивать и по какой программѣ. Но находились, изъ особенно трусливыхъ вѣроятно, которые вытаскивали изъ чемодановъ свои тетрадки; тверскіе же исполняли это повидимому ради щегольства; богословская система ректора ихъ Макарія затмѣвала обширностью и обстоятельностью уроки всѣхъ другихъ семинарій. Я въ послѣдствіи пробѣгалъ ее и отдавалъ справедливость уму и трудолюбію ректора, кончившаго впрочемъ свое поприще не особенно блистательно: за какіе-то грѣхи его уволили, чуть не отрѣшили отъ должности.

Экзаменъ (устный) начался съ московскихъ „присланныхъ“ и изъ нихъ съ меня, разумѣется, какъ перваго студента. О чемъ спрашивалъ ректоръ изъ богословія, и кромѣ богословія и философіи спрашивали-ль еще изъ какихъ наукъ, не помню, вѣроятно потому именно, что не придавалъ экзамену важности. Помню, какъ сквозь сонъ, испытаніе изъ французскаго, и то потому только, что экзаменаторъ спросилъ, на какомъ осно-

ваніи Lumières я перевелъ „свѣдѣнія“; да еще помню вопросъ, которымъ началъ меня испытывать Голубинскій: *quid est Philosophia*? Я посмотрѣлъ съ недоумѣніемъ, потому что насъ въ семинаріи уже не учили, какъ нашихъ предшественниковъ, философіи, а только логику и психологіи, и во вторыхъ уроки были русскіе, а не латинскіе. Однако я отвѣчалъ по латыни, не забывъ читанное мною нѣкогда Введеніе въ философію именно самого Голубинскаго. Кто-то изъ экзаменаторовъ, сидѣвшихъ рядомъ съ Голубинскимъ, шепнулъ ему, должно быть о томъ, что онъ спрашиваетъ, чему насъ не учили и не на томъ языкѣ. „Тѣмъ лучше, что г. Гиляровъ отвѣчаетъ“, послѣдовалъ его отвѣтъ.

Засадили насъ и за сочиненія, не выходя изъ класса, одно латинское, другое русское; этимъ испытаніямъ посвящены были особенные дни. Я написалъ несомнѣнно плохо, въ чемъ самъ потомъ удостовѣрился, прочитавъ черновыя. Перемудрилъ, какъ всегда со мною бывало въ подобныхъ случаяхъ. Не вѣрилъ элементарности вопроса, предполагая, что если высшее учебное заведеніе, то въ простой темѣ, имъ данной, подразумѣвается что нибудь глубокое. Неумѣстное напряженіе разрѣшается уродомъ, по пословицѣ *parturiunt montes, mus ridiculus nascitur*. (Мучатся родами горы, и смѣшная мышь родится). И послѣ, на службѣ, повторялись со мною подобные казусы. Когда бывшій министръ Головинъ, поручивъ мнѣ писать исторію Министерства Народнаго Просвѣщенія, пожелалъ, чтобы я представилъ программу будущаго труда, я занёсся такъ далеко и высоко, что вѣроятно повергъ министра въ недоумѣніе; одинъ изъ знаменитыхъ публицистовъ даже посмѣялся мнѣ въ глаза на мою наивность, заподозривъ (совершенно неосновательно), что я думалъ поразить министра глубиною.

Экзамены кончились; ждуть съ напряженіемъ объявленія участи своей студенты, особенно волонтеры. Не долго ждали; списокъ объявленъ: о, позоръ для насъ

москвичей вообще, а для меня въ частности! Изъ восьми волонтеровъ-москвичей приняты трое только, и я, первый студентъ, обстоятельство тоже едва ли бывалое, зачисленъ, какъ выше сказано, не болѣе какъ въ „хорошія“. По совѣсти, я и этого не заслуживалъ; но должно быть конференція сама объяснила неудачу моихъ сочиненій случайностью.

Смущеніе осрамившихся было неописанное. Многіе напились съ горя; съ какими глазами они покажутся роднымъ, которые уже видѣли въ нихъ будущихъ магистровъ? Не отзовется ли ихъ срамъ на ихъ будущности? А одинъ такъ просто рыдалъ. Это былъ извѣстный изъ прежнихъ главъ Перервенецъ. Круглое сиротство еще болѣе омрачало его душу, покрывая неизвѣстностью дальнѣйшую судьбу. Чтобы сколько нибудь утѣшить, я предложилъ ему поступить на мое мѣсто у Зацѣпскихъ, гдѣ онъ и прожилъ первые мѣсяцы, получивъ потомъ мѣсто въ Казенной палатѣ по ходатайству втораго зятя Богдановыхъ.

Но вышелъ изъ Академіи тотчасъ же послѣ экзаменовъ и одинъ изъ принятыхъ москвичей, притомъ не волонтеръ, а присланный. За обиду ему показалось, что онъ, второй по списку студентъ Московской семинаріи, принять чуть ли не въ послѣдней категоріи. Мелочное побужденіе свое онъ прикрылъ вымышленными причинами, въ родѣ того что отецъ внезапно заболѣлъ, или чѣмъ-то подобнымъ. Никого изъ насъ впрочемъ онъ этимъ вымысломъ не обманулъ; да ничего и не потерялъ потомъ по службѣ отъ выхода изъ Академіи, скорѣе выгадалъ даже.

А Василій Михайловичъ, нашъ подлинный второй студентъ, низведенный съ своего мѣста ректоромъ, на сей разъ, какъ и всегда, не выразилъ даже удивленія на оцѣнку, которая, по моему и Ивана Николаевича мнѣнію, была ниже его достоинства.

## LXIII.

## Въ преддверіи науки.

И вотъ мы остались. Отслуженъ, какъ водится, молебенъ, и насъ распредѣлили по номерамъ, при чемъ исполнилось предсказаніе Ивана Николаевича: меня съ нимъ зачислили въ девятый номеръ; только Василій Михайловичъ, хотя въ томъ же корпусѣ, но отдѣленъ отъ насъ двумя комнатами и корридормъ. Явился экономъ-іеромонахъ, вѣчно смѣющийся, какъ будто родившійся съ обнаженными бѣлыми зубами обѣихъ челюстей. Суетня: одѣляютъ насъ, cadaго, волосяными матрасами (поступающими въ нашу полную собственность) перьями и бумагой; портной приходитъ мѣрить мѣрку для изготовленія казенной одежды; вопросы: натурой или деньгами желаемъ получать бѣлье? Зовутъ въ бібліотеку получать книги, какія пожелаемъ для самообразованія, а учебники—обязательно. Изъ послѣднихъ нѣкоторые пользуются незавидной привилегіею быть не развернутыми ни раза до окончанія курса. Философія Карпе: кто слыхалъ это имя? Какая это такая философія неизвѣстнаго творца? Но она значилась учебникомъ, и бібліотекарь, А. В. Горскій, откладывалъ ее каждому, съ улыбкой впрочемъ, говорившею: „конечно, вы книги не развернете, но должны взять“. А Θ. А. Голубинскій, во введеніи въ философію, даже упомянетъ объ опредѣленіи, которое даетъ Карпе этой наукѣ.

Всѣ формальности исполнены и росписаніе уроковъ дано; скоро откроются лекціи.

Уже въ первыя двѣ недѣли, въ дни экзаменовъ, должно было почувствоваться, и иногородными еще болѣе нежели москвичами, что мы перешли въ новую духовную атмосферу. О томъ напоминало прежде всего необыкновенное уваженіе къ „господину студенту“, оказываемое всѣми, начиная отъ служителя и до ректора,



отправилъ руку по направленію, куда и слушатель, надеясь снабдить нужнымъ щепоть столь же незамѣтно; шарилъ, шарилъ и... сдернулъ рукавомъ бумажку,—она полетѣла съ содержимымъ на полъ. До крайности смущенный, онъ признался въ искушеніи, которому не могъ противостоять, и горячо началъ просить прощенія за свою неловкость и за огорченіе, причиненное, какъ онъ полагалъ, Ильѣ Васильевичу.

При такихъ отношеніяхъ намъ не казалось необыкновеннымъ, но посторонняго, если бы онъ вздумалъ при-смотреться, должно было бы поразить, что вчерашній студентъ, сегоднешній сослуживецъ входилъ къ обоимъ ветеранамъ, по поступленіи своемъ на кафедру, какъ бы въ его положеніи никакой перемѣны не произошло. Развѣ только черезъ нѣсколько дней или недѣль молодой птенецъ, иногда цѣлыми тридцатью годами отстоявшій отъ профессоровъ-патріарховъ, сынъ ихъ школьнаго товарища, позволить себѣ вольность даже до шутки надъ кѣмъ нибудь изъ нихъ, даже надъ обоими,—которой онъ не посмѣлъ бы допустить себѣ въ студенчествѣ, но которую сами профессора примутъ теперь съ благодушіемъ, какъ бы отъ совершенно равнаго.

Тонъ, заданный старшею двоицею профессоровъ, своего рода родоначальниками Академіи, не могъ не поддерживаться другими. Дико было бы, когда бы какой ректоръ или инспекторъ, на котораго они могли взглянуть какъ на мальчишку, ихъ бывшій ученикъ и даже ученикъ учениковъ ихъ, взялъ на себя важность выше мѣры. Въ академическомъ мірѣ отсюда и пошло это общее уравниеніе, братство своего рода. Оно завѣщано было впрочемъ еще самимъ основаніемъ Академіи „по новому образованію“, какъ тогда называли. На первый курсъ Петербургской академіи, положившей начало „новому образованію“, поступили слушателями не только студенты старыхъ Академій, но учителя и даже префектъ (Кутневичъ). Съ бывшимъ префектомъ, то есть вторымъ изъ начальствующихъ лицъ семинаріи, нѣсколь-

ко лѣтъ учительствовавшимъ, можно ли было обращаться, какъ съ безусымъ мальчикомъ, только пересѣвшимъ съ одной ученической скамьи на другую? Да и въ болѣе позднее время поступали въ число студентовъ и учителя, и вдовы священники, и іеромонахи. Такія единицы, не переводившіяся никогда, клали отпечатокъ почтенности на весь составъ учащихся. Академія представлялась не такимъ учрежденіемъ, въ которомъ доканчиваютъ учебное воспитаніе, а учрежденіемъ, куда поступаютъ для самообразованія подъ руководствомъ старшихъ люди уже окончившіе школу, уже пріобрѣвшіе право располагать собою, не нуждающіеся въ ферулѣ, а добровольно себя на время ограничивающіе въ видахъ занятія наукою.

Таково было подразумеваемое понятіе объ Академіи; въ мое время оно еще мерцало, питаемое преданіями и примѣромъ. Преемству духа помогала между прочимъ постепенность, съ какою пополнялся составъ профессоръ свѣжими силами изъ студентовъ. Новый бакалавръ, кто бы онъ ни былъ, отецъ Феодоръ, Іоаннъ или свѣтскій преподаватель, онъ два мѣсяца и спалъ и ѣлъ вмѣстѣ со своими теперешними слушателями; близкіе ему годъ назадъ навѣщаютъ его и теперь, какъ товарища, и онъ съ ними обращается какъ товарищъ, дѣлится своими преподавательскими планами; они сообщаютъ ему свои студенческія мысли и ожиданія. По мѣрѣ продолженія преподавательской дѣятельности или восхожденія по ней (если монахъ), бакалавръ, а потомъ профессоръ теряетъ студентовъ-товарищей, которые обратились теперь въ сослуживцевъ; но связь со студентами не теряется, поддерживаясь „землячествомъ“. Это особенная черта, найденная мною въ Академіи: тулякъ держитъ туляка, виѳанецъ виѳанца; единство семинаріи продолжаетъ связь между ея питомцами въ Академіи. Старый студентъ вводитъ младшаго къ земляку-профессору; а тамъ между тѣмъ подбываютъ новые бакалавры, вчера сошедшіе со скамей, которымъ

студенты доводятся товарищами въ тѣсномъ смыслѣ. Образовывалась непрерывная цѣпь; а Филаретъ строго блюлъ, чтобы она не разрывалась; изъ чужихъ Академій онъ допускалъ преподавателей только какъ исключеніе, а въ начальники ни одного.

Мы, новички, только что поступившіе, даже прежде дѣйствительнаго поступленія, уже погружены были въ преданіе. Въ теченіе экзаменовъ не только старшіе студенты, почему либо остававшіеся на каникулы въ Академіи, но и нѣкоторые кончившіе уже курсъ, но остававшіеся въ ожиданіи назначенія на должность, знакомились съ нами и вступали въ бесѣды (особенно съ земляками). Мы успѣли узнать до точности профессоровъ, какой въ чемъ силенъ, какой въ чемъ слабъ, чѣмъ кто руководится. О Голубинскомъ отзывались съ чрезвычайнымъ почтеніемъ, дивясь его громаднымъ знаніямъ, но находили его отсталымъ и ставили ему въ вину эклектизмъ. За то съ восторгомъ, чуть не съ поклоненіемъ отзывались объ Е. В. Амфитеатровѣ. То была пора, когда и до Академіи дошло увлеченіе Гегелемъ (немного поздненько, больше десятка лѣтъ послѣ его смерти), вынудившее Голубинскаго посвятить разборъ этого философа довольное число лекцій. На все что пахло Гегелемъ бросались съ жадностью; а Е. В. Амфитеатровъ въ Эстетикѣ держался Гегелевой терминологіи и слѣдовалъ за нимъ въ методѣ. „Отъ больше узнаете философіи, чѣмъ отъ Федора Александровича“: таковъ былъ общій отзывъ. Особенно страстно отзывался о Гегелѣ и рѣзко о всякомъ другомъ міровоззрѣніи студентъ Р-въ, пріѣхавшій за увольнительнымъ свидѣтельствомъ. Онъ до того въѣлся въ новую (но тогдашнему) нѣмецкую философію, что не захотѣлъ слушать богословскаго курса. О немъ рассказывали, что въ сочиненіи на тему „О философіи Григорія Назіанзина“ онъ отнесся къ философской сторонѣ твореній Св. Отца отрицательно, заключивъ диссертацию словами (обращенными къ святому-то отцу): „нѣтъ“

ваше преосвященство, философія-то, видится, вамъ не по плечу“.

Изъ преподавателей на богословскомъ курсѣ отдавали безусловное почтеніе трудолюбію и необыкновенной эрудиціи А. В. Горскаго, но находили въ лекціяхъ его элементъ слащавости и недостатокъ критики. Рекомендовали Іоанна (потомъ епископа Смоленскаго) за реальную постановку вопросовъ Нравственнаго Богословія и рѣшенія ихъ, соотвѣтствующія запросамъ жизни. Онъ не остается парить на отвлеченныхъ высотахъ, на избитыхъ темахъ, а нисходитъ въ общественную душу времени. Инспектора, какъ и блудейскаго экзегета хвалили за ясность изложенія и хорошее знакомство, съ еврейскимъ языкомъ; почтительно удивлялись чистотѣ его монашеской жизни, передавая, въ видѣ анекдотовъ, вопросы, съ которыми онъ иногда обращался къ студентамъ и которые оказывали въ немъ младенческое невѣдѣніе обыкновеннѣйшихъ житейскихъ отношеній. Съ уваженіемъ и сожалѣніемъ вспоминали о Филаретѣ (Гумилевскомъ), глубоко-ученомъ богословѣ, по сравненію съ настоящимъ ректоромъ, который не даетъ ни изслѣдованій, ни исторіи догмата, ни связной системы, а безсодержательный сборъ избитыхъ катихизическихъ положеній.

Толковали о кончившихъ курсъ студентахъ и диссертацияхъ, надъ которыми тѣ сидѣли. Съ нѣкотораго рода благоговѣніемъ отзывались о С. И. Зерновѣ, (недавно скончавшемся въ Москвѣ, въ санѣ протоіерея), что онъ одолѣлъ Климента Александрійскаго и выяснилъ его *тосисъ*, о которомъ спорить и недоумѣваетъ сама Западная богословская наука. Предсказывали, что его трудолюбіе и способности обѣщаютъ въ немъ замѣчательнаго бакалавра.

Итакъ, наука, эрудиція, трудъ надъ первоисточниками, новые шаги, требуемые въ разработкѣ знаній, не только мірскихъ, но и духовныхъ: вотъ тонъ, который слышался и задавался. Огромный кабинетъ ректора, весь

установленный фоліантами, квартира А. В. Горскаго, въ которой почти нельзя было повернуться среди книгъ; поражающія знанія Голубинскаго, который по поводу какого нибудь выраженія или мнѣнія, случайно ему сказаннаго, въ теченіе получаса начинаетъ объяснять, у кого изъ древнихъ, среднихъ и новѣйшихъ писателей они встрѣчались, при чемъ цитуетъ подлинныя слова и объясняетъ ихъ связь и значеніе; или необыкновенная начитанность А. В. Горскаго, къ которому обратятся съ частнымъ вопросомъ изъ церковной исторіи или археологіи, и онъ выложитъ десятки книгъ, укажетъ главы и страницы, а въ случаѣ нужды отправится со спрашивающимъ въ библіотеку и въ вечернемъ мракѣ ощупью отыщетъ въ извѣстномъ ему шкафѣ, на извѣстной ему полкѣ, стараго писателя, котораго и имя спрашивающему неизвѣстно; но Александръ Васильевичъ скажетъ, что о такой-то сторонѣ вопроса здѣсь много собрано; „поищите, найдете вѣроятно указанія, которыя наведутъ васъ на путь“: такая обстановка должна была производить и возвышающее и подавляющее впечатлѣніе за разъ; на меня по крайней мѣрѣ она производила то и другое. Ночною порою, когда бывало выйдешь въ садъ разогнуть спину и видишь далеко за полночь свѣтящійся огонь въ квартирѣ Александра Васильевича, — знаешь, что и тамъ совершается священнодѣйствіе ученаго труда. Не этотъ ли примѣръ дѣйствовалъ отчасти, что и мы засиживались по ночамъ? И обложиться фоліантами тоже любили, нѣкоторые даже только для хвастовства. Одинъ первый студентъ (тремя курсами старше меня) почти не оставилъ книги въ библіотекѣ безъ надписи своей фамиліи на заглавномъ листѣ. Не всѣ онѣ конечно были прочитаны, да даже и читаны, но были въ рукахъ, и рука чесалась оставить память о своей эрудиціи. Мелочное желаніе, но и оно не оставалось безъ поощрительнаго добраго дѣйствія: книга не такая вещь, чтобы взявъ ее не почерпнуть хоть чего нибудь изъ нея. Да и внѣшнее одно знаніе о книгахъ, библіографія, все таки есть знаніе.

О Петръ Спиридоновичъ менѣе было разсказовъ по научной части; кафедра-то его была не подходящая ко вкусу студентовъ. Но знали и говорили, что онъ верховный редакторъ перевода Твореній Св. Отцевъ и въ сущности единственный переводчикъ; труды прочихъ есть только чернякъ, матеріаль. Знали и говорили, что онъ вмѣстѣ съ Ѳ. Александровичемъ перевелъ нѣсколькихъ нѣмецкихъ писателей, между прочимъ Канта (я видѣлъ этотъ переводъ, сохранился ли онъ?); что П. Спиридоновичъ любитъ отдыхать, во первыхъ, за чтеніемъ древнихъ классиковъ, и во вторыхъ за новѣйшею русскою литературою, даже беллетристическою, и что кому желательно познакомиться съ новымъ какимъ русскимъ писателемъ, можно достать у Петра Спиридоновича. Но особенно сіялъ въ мнѣніи студентовъ Петръ Спиридоновичъ, какъ дѣлецъ, умѣющій выпутывать Академію изъ трудныхъ положеній, а въ особенности выпутывать студентовъ, въ чемъ нибудь попавшихся. Это гора, за которую можно заслониться, сила, которая не выдастъ: таково было убѣжденіе.

Сказать ли, кто еще былъ хранителемъ добраго преданія? Прислуга. Два служителя въ нашихъ номерахъ, Семенъ зайка и пьяница, среднихъ лѣтъ, и Платонъ бородатый, степенный старикъ, проводили можетъ быть не менѣе десятка курсовъ, оставаясь въ тѣхъ же должностяхъ и на тѣхъ же мѣстахъ. Это были два столбца лѣтописнаго списка о томъ, на какой кровати спалъ и отецъ ректоръ, и отецъ инспекторъ, и такой-то преосвященный; какъ ихъ звали въ міру, когда и почему они пошли въ монахи, и даже иногда—о чемъ кто писалъ диссертацию и какому профессору. По ученой части отличался особенно Платонъ, самъ неграмотный, но употреблявшій слова „идея“, „логика“, „діалектика“,—всегда ли кстати, это вопросъ. А Семенъ разъ, выпивши по обыкновенію, пришелъ къ намъ въ девятый номеръ, остановился предъ одною кроватью и произнесъ надгробное слово. Умеръ бывший студентъ; о кончинѣ его гдѣ-то вдали

на службѣ было возвѣщено Семену. Назвавъ покойнаго именемъ и отчествомъ, онъ началъ съ плачемъ причитывать, вспоминая событія изъ студенческой жизни покойнаго, спавшаго вотъ на этой самой кровати.

Хотя Академія помѣщалась въ самой лаврѣ, но лавры какъ бы не было для студентовъ. Къ Преподобному ходили поклониться, но съ монашествующими не вели знакомства. Даже разговоры о нихъ мало бывало, и если бывали, то развѣ по поводу какого нибудь неблаговиднаго происшествія, получившаго огласку, — рѣдко впрочемъ выходившую изъ предѣловъ посада. Скитъ тогда только что зачинался, и въ Академіи смотрѣли на это предпріятіе болѣе нежели со скептицизмомъ, предполагая самыя прозаическія побужденія. Нельзя сказать, чтобы къ подвижничеству и въ академическихъ стѣнахъ не питали почтенія. Напротивъ, и изъ самихъ студентовъ выходили энтузіасты иночества; упоминалось съ уваженіемъ и о нѣкоторыхъ лаврскихъ инокахъ не по названію только (на примѣръ о гробовомъ монахѣ Авелѣ); но большинство тогдашней лаврской братіи было слишкомъ мірское, возбуждая противъ себя только ироническій взглядъ молодыхъ людей, пріѣхавшихъ учиться.

Скажу кстати: мнѣ довелось учиться среди двухъ переломовъ, — учебной программы въ семинаріи, и студенческаго быта въ Академіи. Первые два года по поступленіи въ Академію, комнаты для занятій, онѣ же были и нашими спальнями: по стѣнамъ кровати, на срединѣ и въ простѣнкахъ столы. Здѣсь же мы и чай пили; нѣкоторые изъ своего самоварчика; умываться ходили въ служительскую комнату; только обѣдали и ужинали въ общей столовой. Грязненько было и даже очень, но уютно; живемъ какъ будто своимъ домкомъ: въ комнатѣ помѣщалось шесть, семь человѣкъ, а въ нѣкоторыхъ и всего четверо. Грязь же была такая, что въ нѣкоторыхъ номерахъ стѣны надъ потолкомъ казались украшенными каймою; а кайма эта, вершка четыре шири-

ною кругомъ всей комнаты, состояла изъ насѣкомыхъ, на день избравшихъ это горнее мѣсто жительство. И какъ терпѣли, и чего смотрѣли прислуга и начальство? Но терпѣли и даже не жаловались; иначе конечно приняты были бы мѣры.

Черезъ два года комнаты для занятій отдѣлили отъ спаленъ; отвели особыя чайныя и умывальныя; назначили опредѣленные часы для занятій въ каждомъ изъ отдѣленій. Но новый порядокъ не сложился; старая привычка брала свое: въ комнатахъ для занятій не спали, правда; за то для занятій уходили многіе въ спальни, или сидѣли ночь въ комнатахъ для занятій, когда онѣ предполагались запертыми. Соблюденіе внѣшнихъ формъ дисциплины вообще не привилось,—даже такой обычай, какъ ходить всѣмъ попарно къ богослуженію въ опредѣленную церковь. „Замѣчаю, что не всѣ гг. студенты ходятъ въ церковь“, сказалъ разъ инспекторъ собравшимся старшимъ.—„Повидимому всѣ“, отвѣчали старшіе.—„Вѣрю, но должно быть не въ нашу“.

Этимъ деликатнымъ предположеніемъ и ограничилось все замѣчаніе начальника.

Кладу перо. Описаніе моихъ студенческихъ занятій обратило бы мой разсказъ въ собраніе ученыхъ и критическихъ трактатовъ. Сухая номенклатура вопросовъ и писателей не дастъ ничего. Платонъ и Гердеръ, Гегель и Фейербахъ съ предшественниками, Юмъ, Кантъ и Спиноза съ Лейбницемъ, затѣмъ Лувбранъ, Прудонъ, Деру, Контъ и далѣе Фурье, Сен-Симонъ, Бентамъ, Се, Адамъ Смитъ и Рикардо, наконецъ Вильгельмъ Гумбольдтъ, Лессингъ, Крейцеръ, Гиббонъ, Лео, Ранке, Мишле,—что скажутъ эти имена, не говоря о другихъ, менѣе славныхъ или совсѣмъ неизвѣстныхъ? А меж-



ду тѣмъ въ чередованіи ихъ была связь, одинъ писатель подзывалъ къ другому. Равно и въ окончательномъ, богословскомъ двухлѣтніи академическаго курса даже дикимъ можетъ показаться сопоставленіе Кипріяна Карфагенскаго съ Діонисіемъ Ареопагитомъ, Аѳанасія Великаго съ Теодоромъ Студитомъ и Максимомъ Исповѣдникомъ, не говоря о западныхъ богословахъ отъ Ансельма до Беллармина, Герарда и Квенштедта, которые однако позвали обратиться и къ Сведенборгу и къ Мейеру съ записками о Преворстской Ясновидящей.

Во всякомъ случаѣ интересъ бытовой, педагогическій и психологическій, который приписываю я своему дѣтству и отрочеству, кончился, потому что ростъ кончился. Дальнѣйшія событія моей жизни если заслуживаютъ вниманія, то не по себѣ, а потому что дали видѣть и знать людей, прямо или косвенно двигавшихъ судьбами и просвѣщеніемъ Россіи; интересъ историческій. Но то предметъ для особаго труда въ видѣ монографій, не нуждающагося въ хронологической связи и не обязаннаго къ ней.

Одно скажу въ заключеніе. Особеннымъ для себя счастіемъ почитаю, что внѣшній случай приставилъ меня къ самымъ средоточнымъ вопросамъ знанія и вѣры, и притомъ гдѣ обѣ области соприкасаются: такого характера даваемы были мнѣ темы для диссертаций въ студенчествѣ и таковы были потомъ двѣ каѳедры, мнѣ врученныя; не давали завязать въ побочномъ и второстепенномъ, не сковывали спеціальностью. А вѣчная, неотступная боль о фор-

мальной истинѣ, уже объясненная мною въ одной изъ предшедшихъ главъ, гнала неутомонный умъ отъ писателя къ писателю, отъ вопроса къ вопросу, не останавливая на авторитетѣ, подвергая критикѣ каждаго; не останавливаясь и на критикѣ, а для каждаго явленія, мнѣнія, вѣрованія ища основаній въ жизни; поселивъ окончательно убѣжденіе, ставшее потомъ для меня кореннымъ: въ призрачности всѣхъ формулъ; въ добросовѣстномъ самообманѣ всѣхъ мнѣній, какъ бы ни казались они безспорными; въ зависимости всѣхъ мнѣній и вѣрованій отъ душевныхъ требованій нравственнаго или животнаго порядка, смотря по обстоятельствамъ. Академіи же моя вѣчная признательность, что давала просторъ моей внутренней жизни. Она мнѣ снисходила, даже баловала меня. На цѣлые мѣсяцы уѣзжалъ я въ Москву въ теченіи учебнаго курса, чтобы изученіемъ писателей, которыхъ не находилъ въ академической библіотекѣ, заполнять оказывавшіеся пробѣлы. Въ послѣдній годъ студенчества мнѣ отведена была даже профессорская квартира, чтобы общежитіе своимъ многолюдствомъ не нарушало моего углубленнаго труда, напряженіе котораго, съ вѣчными муками умственнаго чадорожденія, начальству было даже мало извѣстно. Воспоминанія объ этомъ не могутъ меня не трогать и обязываютъ отнестись къ мѣсту окончательнаго образованія моего и начальнаго служенія съ тѣми же словами, съ какими обращалась библейская пѣснь къ Іерусалиму: „забудь меня рука моя, я тебя не забуду“.

К о н е ц ъ.



## ОГЛАВЛЕНІЕ.

	Стр.
XXXIV. Переходъ въ семинарію . . . . .	8
XXXV. Семинарскіе распорядки . . . . .	11
XXXVI. Испытаніе. . . . .	23
XXXVII. Уровень преподаванія . . . . .	33
XXXVIII. Путешествія. . . . .	43
XXXIX. Письменные работы . . . . .	56
XL. Домашній курсъ . . . . .	66
XLI. Ближайшее окружающее . . . . .	77
XLII. Свѣтскій послушникъ. . . . .	87
XLIII. Товарищи . . . . .	99
XLIV. Составъ учащихся . . . . .	111
XLV. Раздумье. . . . .	124
XLVI. Чужой хлебъ. . . . .	136
XLVII. Бѣгство . . . . .	145
XLVIII. Изгнаніе. . . . .	158
XLIX. Последняя вакація. . . . .	167
L. Богословскій классъ . . . . .	178
LI. Два ректора. . . . .	187
LII. Проповѣдничество. . . . .	196
LIII. Новая обстановка . . . . .	207
LIV. Церковное писмоводство. . . . .	221
LV. Лѣнивый день . . . . .	234
LVI. Житейская философія . . . . .	244
LVII. Дядюшка Петръ Ивановичъ . . . . .	256
LVIII. Игра судьбы. . . . .	272
LIX. Донъ-Кихоты Просвѣщенія. . . . .	285
LX. Три друга. . . . .	296
LXI. На оселкѣ жизни . . . . .	310
LXII. Переходъ въ Академію. . . . .	322
LXIII. Въ преддверіи науки. . . . .	335

















CT 1218 .G5 .A3  
lz perezhitago

C.1

Stanford University Libraries



3 6105 036 962 699

CT  
1218  
.G5.A3  
v.1/2

DATE DUE

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES  
STANFORD, CALIFORNIA  
94305